

ISSN 0130-7673

# НОВЫЙ МИР

1

---

1992

1

НОВЫЙ МИР

1992

# НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 1 (801)

Январь, 1992 г.

УЧРЕДИТЕЛИ: ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ, ЛИТЕРАТУРНЫЙ  
ФОНД СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР, ЦЕНТР «НОВЫЙ МИР»

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ЕЛЕНА УШАКОВА — Сквозь снег, стихи	3
И. С. КАРПОВ — По волнам житейского моря. Воспоминания. Публикация и подготовка текста Г. В. Маркелова и С. С. Гречишкина. Вступительное слово Г. В. Маркелова	7
МАРК БОГОСЛАВСКИЙ — Забыв сказать прощальные слова, стихи. Предисловие Бориса Чичибабина	77
МИХАИЛ РОЩИН — На открытом сердце. Из книги «Америка»	80
МИХАИЛ СИНЕЛЬНИКОВ — Тихие вихри, стихи	123
БОРИС ПАСТЕРНАК. ПИСЬМА К ЖАКЛИН ДЕ ПРУАЙЯР. Публикация Жаклин де Пруайяр. Перевод предисловия — Е. Б. Пастернака. Перевод писем Пастернака — Е. Кузнецовой и Е. Б. Пастернака. Сопроводительный текст к письмам — Е. В. Пастернак	127
ВЕНИАМИН БЛАЖЕННЫХ — Страшная сказка, стихи	190
<b>ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ</b>	
А. Н. БОГОСЛОВСКИЙ — Газета «Русская мысль»: единство культуры поверх границы	193
И. СУРАТ — О Литературном приложении к «Русской мысли»	195
<b>РЕЛИГИЯ И СОВРЕМЕННЫЙ МИР</b>	
СТЕФАН ВИЛЬКАНОВИЧ — Десять заповедей демократии в христианском разумении. Перевела с польского Т. Д. Вентцель	198
Ю. ШРЕЙДЕР — Поиски христианских основ демократии	203
<b>ПУБЛИЦИСТИКА</b>	
ЛЕВ СИМКИН — Закон и право. Судебная реформа в прошлом и настоящем	207
<i>Предварительные итоги XX века</i>	
АЛЛА ЛАТЫНИНА, ЮЛИЯ ЛАТЫНИНА — Время разбирать баррикады	220

(См. на обороте)

## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
<b>КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>	
<i>Литература и искусство</i>	
Марина Новикова. Тринадцатый стакан. Анна Фрумкина. Предназначение и тайна. Олег Дарк. Трагедия драмы.	237
<i>Политика и наука</i>	
Андрей Василевский. Метаморфозы «воровской иди». И. Созин. О Пилсудском без легенд и вымыслов	245
<b>КОРОТКО О КНИГАХ:</b>	
Ю р и й К л я ч к о. — Б. И. Казаков. Исхак Савельевич Мустафин. 1908—1968. ♦	
С. Л а р и н. — Урмас Отт. Вопрос + ответ = интервью	252
<b>РУССКАЯ КНИГА ЗА РУБЕЖОМ</b>	255

### В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ:

АНТОНИЙ, митрополит Сурожский. **О встрече.**  
ВИКТОР АСТАФЬЕВ. **Забубенная головушка. Вечерние раздумья.** Главы из книги «Последний поклон».  
АРМАНДО ВАЛЬЯДАРЕС. **С надеждой в сердце...** Главы из книги. Перевела с испанского Е. Богуш. Вступительное слово В. Селюнина.  
АНДРЕЙ ВОЛОС. **Кудыч.** Повесть.  
ЛЕОНИД ГРИГОРЬЯН. **Это мы накануне восстания.** Стихи.  
В. ДОМОГАЦКИЙ. **Кладовка.** Попытка консервации.  
ЮРИЙ КРАСАВИН. **Валенки.** Послевоенная повесть.  
ВЯЧЕСЛАВ КУРИЦЫН. **Постмодернизм: новая первобытная культура.**  
ВИЙВИ ЛУЙК. **Красота истории.** Роман. Перевела с эстонского Е. Каллонен.  
СЕРГЕЙ НОСОВ. **Литература и игра.**  
Л. ПЕТРУШЕВСКАЯ. **Время ночь.** Повесть.  
ГЕНРИХ САПГИР. **Развитие метода.** Стихи.  
НАТАЛИ САРРОТ. **Дар речи.** Перевела с французского И. Кузнецова.  
СЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЛО КРУЖКА «ВОСКРЕСЕНИЕ» (20-е годы: М. Бахтин, Л. Пумпянский, А. Меер).  
АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. **Публицистика.**  
АЛЕКСАНДР СОПРОВСКИЙ. **Из философского и поэтического наследия.**  
РОБЕРТ ПЕНН УОРРЕН. **Пещера.** Роман. Перевод с английского.  
ДАНИИЛ ХАРМС. **«Боже, какая ужасная жизнь и какое ужасное у меня состояние».** Публикация В. Глоцера.

### К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ «НОВОГО МИРА» ЗА РУБЕЖОМ

Все права на проведение подписки на журнал во всех странах (кроме СССР) принадлежат германской фирме «А. NEIMANIS». По всем вопросам, связанным с подпиской и распространением журнала за рубежом, следует обращаться по адресу:

**A. Neimanis Buchvertrieb & Verlag Hans-Sachs-Str. 10, 8000 München 5, Germany. Tel. 089/26 30 76, fax 26 30 77.**

---

---

ЕЛЕНА УШАКОВА

\*

## СКВОЗЬ СНЕГ

18 марта 1990 г.

Мне снились выборы в ночь на восемнадцатое марта.  
Будто по черной лестнице, с тусклым дрожащим освещением —  
Такова детской местности потерянная карта —  
Мы поднимаемся всем классом тихим, ползущим движением.

Вниз съезжают грязные стены, ступени, перила,  
Наверху то ли старые холодильники, то ли стиральные машины,  
В них растерянно роюсь, ищу то, что сама положила,  
В бумажных пакетах надорванных... сухие овощи, ромашка, крушина...

И похожие на аптечные прописи этикетки  
Будто содержат имена наших кандидатов.  
«Субетто», — читаю, был такой в теледебатах, со странной фамилией редкой,  
Недалекий военный, вычеркнуть, думаю, надо.

«Беглец Италии, Жьячинто, дядька мой» — является забытая строчка  
Из Баратынского. Как уживались в лоскутном сознании,  
Словно сходились на коммунальной кухне: синяк и примочка  
Соседа, очки учителя и запретного плода тоскливое ожидание,

Физкультурные мероприятия, кинозвезды и вожди на параде,  
Недоступные, обязательные, причесанные классики недорогие —  
Казенный Пушкин, Толстой, Чехов... Как вытерпели? Наверно, не глядя  
Смотрели со стен, ослепленные тайно, немые, глухие?

Алла Ларионова Антону Павловичу подмигивала разрешенной улыбкой с экрана;  
Управдом провожал косым взглядом до остановки; о, дикие советские клипы  
Нашей юности, ночные и дневные кошмары! И сами мы обезьяны,  
Еще не люди, выбирай же, пока дают, вычеркивай, где этот аппаратчик Филиппов?

\* \*  
\*

Ах, за что мне, за что мне счастье проезжать Фрибург, из Женевы  
Едучи в Цюрих через всю Швейцарию поездом плавным?  
Так, я думаю, мир открывался райским полднем для Евы,  
Чудеса его и узоры красотой Божеству равны.

Видеть доверчиво протянутые этой земли ладони, бока, щеки,  
Черепичные крыши, белые и красные, — здасьте, здасьте! —  
Аккуратно разложенные сельскохозяйственные уроки,  
Благополучных белолобых коров светло-желтенькой масти.

Вдруг — пушистые, мохнатые склоны,  
Сбегающие к лазурным озерам, как сказал Тютчев,



Сместив ударение подвижное, передвижное, как слоеный  
Берег, шевелящий ветками, растопырив их, скрючив.

Мир и покой, покой и мир над каждой пашней, верандой  
Пансионата встречного, и тот преступник темный,  
Кто не вывез отсюда на родину их контрабандой —  
Хоть шепотку в нагрудном кармане, если не багажом объемным,

Тот, кто приводил в действие опасные рычаги отсюда,  
Любуясь собой, своей правой картавой...  
Крошечные просторы, пуповина уюта,  
Деликатное «нет» злым фальшивым литаврам,

Которые я невольно провожу, словно родимые пятна,  
Экзему, заразу невидимую, патриотизм — вон он!  
Мы — носители бесполезного бесполого чувства, приятно ль?  
Ах, держаться подальше — ваша, честные швейцарцы, забота!

\* \*  
\*

Осторожный женский робкий ум живет  
По своим законам, он не в силах, нежный,  
Вдруг достичь желаемого, мед  
Так пчела отрывисто, глоточками берет,  
Огибая цель движеньем центробежным.

И единственное слово нужное окружено  
Смежными по смыслу однокоренными именами,  
Пенится, клубится речевое дно  
Илистое; словно сон, пугается оно  
Называнья — речь в родстве со снами.

Как бы вдвое мне трудней,  
Дольше путь к загадочной мишени —  
Смыслу точному; созвездье Водолей,  
Ковш Медведицы, все семь ее огней  
Ближе слов, неуловимых, точно тени.

Я бы думала, что тоже жертва, Боже мой,  
Созданной природою хитиновой колодки,  
Если бы не знала, что поэт с лихвой  
Наделен — так надо! — «страстной женскою душой»,  
Тютчев потому и жалит мыслью кроткой.

Так заплаканный в стихи ложится лед  
Нищенский, являются балкончики и шторки,  
Половица под ногой трехстопником поет,  
Вышитый на скатерти тюльпан, смотри, цветет,  
И душа, как ракушка, распахивает створки!

\* \*  
\*

И когда этот междугородный звонок расстрелял тишину,  
Из какой-то невидимой точки пространства, сжав трубку в руке,  
Я настигла свой дом и себя на шестом этаже, и как будто смахнув  
Двери, окна и стены, парижский сквозняк прикоснулся, лизнув по щеке.

Острый, яркий, дрожащий, жуком пролетевший, упущенный миг!  
 То ли милой привычке поддавшись твоими глазами смотреть...  
 То ли души способны на сверхскоростные полеты и времени сдвиг,—  
 Если одновременно рвануться, все сорваны петли, распахнута клеть!

Как мы в юности долгой (дожизненной, кажется) тщимся понять,  
 Разрешить все задачки и бьемся бритоголовым умом  
 О пространство, о время, о славу, о смерть и любовь — где тетрадь  
 Разлинованная, чтобы суть занести ученическим шатким пером?

Смысл пока не оброс еще плотью и в кость глубоко не вонзен,  
 Где-то реет вверху, вот на палец сейчас наматает его резонер,  
 А потом — понабравшейся опыта полной душой постигаем закон,  
 Ум отходит в сторону — так грушу бесчувственную покидает боксер.

Вот что голос твой, смолкнув уже, мне донес с Елисейских полей,  
 Что внезапно усвоила сердцем, за ним в темноте подсмотрев,  
 Не терять, не забыть бы в уверенном беге неряшливых дней  
 О летучих мгновеньях за сеткой дождя, сквозь унынье и гнев.

Наши здешние дни — лишь частица всего капитала, гроши,  
 Лишь карманные деньги — ах, вырвать доступный при жизни процент  
 В виде снов, слез счастливых и мыслей, что даже без слов хороши,  
 Впрочем, словс для этого — лучший, удобнейший инструмент!

\* \*  
 \*

И если к Богу я стучалась с ранних пор  
 И лаз, могу сказать, что протаранила сама, его любя,  
 То все ж чудесная обратная с ним связь и разговор  
 Возникли, думаю, благодаря тебе, мой друг, через тебя.

Ты, он, она (любовь)... к нему, к тебе...  
 Местоимения друг другу так близки,  
 Как мы с тобой в час пик в случайной уличной толпе  
 Зажатые, сжимая свертки и кульки.

Ты помнишь, в августе, когда становится опять черна  
 Ночь, мы невидимы и спасены в нагретой звездной темноте,  
 С тобой к нему я ближе, чем одна,  
 Целуя в сердце, лежа на твоём локте.

Я, кажется, всю жизнь во тьму мелодий рвусь,  
 С утра под душем что-нибудь из Блока бормоча,  
 Есть строки влюбчивые, неотвязные, попутные и пусть,  
 Как листик сорванный новорожденный: пусть на языке горчат.

Но есть такие не освоенные еще, прячущиеся стихи —  
 Впотьмах разыскиваем к ним дорогу всякий раз:  
 Ритм синтаксисом побежден, мелодия немзыкальна, пустяки  
 Топорщатся, никак нельзя сказать, о чем рассказ,—

За ними будущее! Тайный опыт полуночницы души,  
 Повсюду жало любопытного вниманья запустив,  
 Впитав, не выплакав... скорей хватай блокнотик, запиши  
 Спасительный, страдательный мотив.

\* \*  
\*

Сквозь снег торчащие полузасыпанные цветочки,  
Черные хвостики с повисшими бывшими лепестками...  
В декабре зима еще не поставила окончательной точки,  
Стоят, напоминая о клумбе, побитыми растерзанными рядами.

Что это были за цветы — не разобрать уже, их много,  
Полуистлевшие прутики и мягкие растительные лохмотья.  
Разбитое наголову войско, пленные калеки, ковляющие убого,  
Непонятные письма мокрые, проступающие на обороте.

Что это? Останавливая на них взгляд долгий,  
Отдавая неодушевленным козявкам теплое вниманье,  
Отнимая его у сына, у сестры, отрывая от книжной полки  
И на это время всему на свете говоря «до свиданья»,

Вероятно, я невольно грешу, значенье придавая  
Большее, чем они заслуживают, некоторым вещам и предметам.  
Вон как торопливо обходят их люди, вся Боровая  
Улица деловито игнорирует, не замечая тления этого.

И угрюмая очередь в столовку с вывеской «Чебуреки»,  
И на ногах не стоящий пьянчужка, ветром колеблем...  
Сам-то ты, Господи, прикрывая веки,  
Едва смотришь, я думаю, как замертво падают стебли.

Мне стыдно, не есть ли это с моей стороны сентиментальность  
Так всей кожей, что ли, к ним присмотреться,  
До глубокой тоски, под новокаином,— спасает дальность  
Того, к чему обращены разум и сердце.

Это душа хочет чувствовать всю жизнь без изъятия,  
Не хочет быть занятой, поглощенной чем-то одним всецело,  
О, вырваться на простор, расширить рискованное объятье,  
Все примерить, пригубить, прижаться сочувственным телом!



---

---

И. С. КАРПОВ

\*

## ПО ВОЛНАМ ЖИТЕЙСКОГО МОРЯ

Воспоминания

*В громадной толще отечественной мемуаристики мемуары русских крестьян составляют самый тонкий, исчезающе тонкий слой.*

Такие сочинения, а тем более опубликованные, можно просто пересчитать по пальцам. К числу этих редкостей, вышедших за последние годы, можно, например, отнести книгу «Воспоминания крестьян-толстовцев. 1910—1930-е годы», выпущенную издательством «Книга» в прошлом году и мгновенно ставшую из-за малого тиража библиографической редкостью. Когда я говорю о мемуарах крестьян, я имею в виду, разумеется, тех авторов, которые не просто выводят, так сказать, корни своего происхождения из грунта российского крестьянства — таких ныне едва ли не большинство, — я же говорю о тех мемуаристах, которые, родившись крестьянами, прожили всю жизнь в деревне, разделив с нею собственную судьбу, испытав на себе все, что Провидению было угодно сотворить с этой частью русского народа.

К числу именно таких мемуаров следует отнести и жизнеописание красноборского крестьянина *Ивана Степановича Карпова*. Мемуары свои он написал в начале 70-х годов, когда ему было уже за восемьдесят лет. Умер Иван Степанович в 1986 году в возрасте девяноста восьми лет и похоронен у себя на родине в Пермогорье Красноборского района Архангельской области.

Рукопись его жизнеописания хранится в Дрeвлехранилище Пушкинского Дома в Красноборском собрании за номером 162. Она представляет собой несколько обыкновенных общих школьных тетрадей, соединенных в одном переплете и исписанных угловатым стариковским почерком, довольно легко читаемым. Кроме того, здесь же хранится краткая автобиография Карпова, а в фонде Н. П. Борисова в рукописном отделе Пушкинского Дома имеются два письма Карпова от 1971 и 1972 годов. Именно Н. П. Борисову мы обязаны тем, что рукопись Карпова оказалась в нашем распоряжении. Сам уроженец того же Красноборского района, Борисов в один из своих приездов на родину через местного краеведа С. И. Тупицына познакомился с Карповым, тогда уже глубоким старцем, и, оценив по достоинству рукопись, посоветовал переслать ее в Дрeвлехранилище Пушкинского Дома В. И. Малышеву, что и было сделано в 1972 году. Малышев прочитал жизнеописание Карпова и начертил на листке собственноручно: «Рукопись читателям не выдавать», листок был вложен в папку, а папка с рукописью поставлена на полку Красноборского фонда. В 1989 году рукопись была извлечена и помещена на выставку в Дрeвлехранилище рядом с родственными материалами, хранящимися у нас, — дневниками, записками, письмами севернорусских крестьян. Записки Карпова привлекли внимание посетителей выставки, и у сотрудников Дрeвлехранилища окрепло убеждение, что карповские мемуары следует публиковать. В красноборской газете «Знамя» С. И. Тупицын напечатал в 1988 году одну из глав, описывающую арест Карпова и его пребывание в лагере НКВД. Фрагменты воспоминаний публиковались в журнале «Огонек» в 1990 году. Такова предыстория.

А теперь позволю себе две цитаты.

*«Отец ми бысть священник Петр... прилежаше пития хмельнова, мати же моя постница и молитвенница бысть, всегда учаше мя страху Божию... Потом мати моя овдовела, а я осиротел... Изволила мати меня женить, аз же молихся да даст ми жену-помощницу ко спасению. И в том же селе девица, сиротина же, беспрестанно во церковь ходила... в скудости живяше и моляшесь Богу... Посем мати моя от'иде к Богу в подвизе велице... Аз же от изгнания преселихся во ино место...»*

Этими знаковыми всем словами начинается «Житие протопопа Авакума» (отрывки цитируются по автографу Авакума, хранящемуся в Пушкинском Доме). А вот



отрывки из рукописи *Ивана Степановича Карпова*, написанные им без малого триста лет спустя после пустозерского узника: «Мама ходила по церквам, заказывала малебны, сама усердно со слезами молилась... Отец редко находился дома — то у соседей курит табак, то в кабаке... Ни слезы мамы, ни угрозы дедушки отца не трогали, и он не мог остановиться пьянствовать... Мама какими-то судьбами научилась славянским буквам... Она часто садилась с Псалтирью и пальцом водила по буквам... стала и меня учить алфавиту...» Это с первой страницы рукописи Карпова. Далее он пишет о том, как погиб от пьянства отец, как позднее мать найдет Ивану Степановичу невесту в соседней деревне — дочь бедного псаломщика.

Собственно, на этом сходство двух судеб русских людей из российской сельской глубинки, разделенных тремя веками, заканчивается: один уйдет в Москву и окончит свою жизнь государственным преступником на костре, оставшись великим русским писателем, другой, безвестный, проживет почти сто лет в родных северодвинских местах, испытав на себе все ошеломляющие события нашей новейшей истории. Соединит обоих вновь решение, венчающее их такие разные жизни, — каждый из них напишет свое житие, и обе рукописи заботами В. И. Малышева займут свое место в Древлехранилище Пушкинского Дома.

В жизнеописании Карпова нет стройности литературного сюжета; какой бы то ни было обработанности слога. Как вспоминалось, так и писалось: то широкие мазки повествования, емкие, обобщающие, сочные, то он переходит к мелким эпизодам, расцвечивая полотно живыми и точными деталями. Не заботился Иван Степанович и о красотах стиля. Но удивительный феномен его книги — раз вчитавшись, уже не отложишь в сторону, а читаешь целиком, сразу и до конца, насладившись (если так позволительно выразиться о трагедийном повествовании) подлинностью, навьдуманностью, правдой крестьянского рассказа.

Подсудно при чтении возникают главные темы: разрушение и конечная утрата русской православной крестьянской культуры и разрушение основ крестьянского быта и бытия. Страшные в своей неодолимости и безысходности темы. Авторы этого апокалиптического разрушения сегодня известны. Но в жизнеописании нет проклятий разрушителям и осквернителям. Ужасается Иван Степанович молчаливому согласию и покорности своим односельчан. Равнодушие к творимому безумию поражает мемуариста.

Происходящие в стране события самым непосредственным образом отражаются на судьбе Карпова. После закрытия церкви он лишается дома и хозяйства. В колхоз его как лишеница не принимают. Тогда семья делает попытку обратиться в одну из коммун, но абсолютная неприемлемость образа жизни коммунаров заставляет искать убежище в другом месте. Несколько страниц жизнеописания Карпова посвящены страшным трем годам лагерной жизни; можно полагать, что мемуарист о многом, самом страшном, умалчивает, опасаясь за свою судьбу и сохранность рукописи.

Во второй главе «Архипелага ГУЛАГ» Александр Солженицын, повествуя об ошеломляющей катастрофе крестьянства в сталинской России, писал: «...мужики — народ бессловесный, бесписьменный, ни жалоб не написали, ни мемуаров...» Рукопись *Ивана Степановича Карпова* в какой-то мере опровергает это утверждение писателя. Все описанное Карповым не выдуманно. Тяготы и лишения своей жизни он переносит стоически, не отрекаясь от веры и убеждений. Он мог бы сказать о себе словами библейского Иова: «Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращаюсь. Господь дал, Господь и взял; да будет имя Господне благословенно!» В жизнеописании Карпова нет нагнетания ужасов, оно проникнуто светлым духом доброты и надежды, и в этом отношении его труд имеет глубокий учительный смысл.

Как и что подвигло глубокого старика, северодвинского крестьянина, описать свое житие — Бог весть. Аввакумом руководило его «равноапостольское» призвание. Карпов сосредоточен на обстоятельствах частной жизни. Для нас воспоминания Карпова — один из замечательных памятников русской мемуарной прозы, памятник подлинной литературы, взывающий к современному читателю.

Г. В. МАРКЕЛОВ,  
научный сотрудник Древлехранилища  
Пушкинского Дома.

## Предисловие

**И**сполняя задачу столь для меня трудную, как описание своей жизни, считаю обязанным объяснить причину, побудившую меня на этот труд.

Будучи служителем Церкви со дня революции во время ломки старого быта и построения нового советского общества, пришлось пережить все гонения на Церковь, на служителей и на себе лично испытать вплоть до ужасов тюрьмы.

И последующая жизнь моя в новом советском обществе выделяла меня как бывшего служителя Церкви, отставшего от современной культуры.

Вот это и навело меня на мысль оставить после смерти свое писание для любознательных, может и прочитают и вынесут свой суд обо мне, грешном. Современный, беспристрастный, хотя и не верующий человек, прочтет как историю построения нового советского общества, а верующий <как> борьбу со старыми традициями и гонение на Церковь во время революции.

Настоящее мое описание своей жизни, если случится прочесть человеку образованному, пусть не удивляется, что написано не грамматически, с орфографическими ошибками, как <у> человека малообразованного, кончившего начальную школу в 1899 году, 71 год назад. Я писал о фактах кратко и насколько мог — ясно. При пространным описании получилась бы большая книга — требующая большого времени для чтения

*Житейское море воздвигаемое напастей бурю.*<sup>1</sup>

### Глава 1-я

Начало моей памяти 1891 год. Запомнил я, что в весеннее время меня, маленького, трехлетнего, на руках вынесла девушка на крыльцо, чтобы охладить меня, я болел корью, была сыпь, и сильно болела голова. Я знал, что эта девушка не наша, а нищая, и нет у ней ни отца, ни матери, она найденыш — внебрачная. Она проживала у нас и помогала маме в работах. Звали ее Федосьей. Отца я мало видел днем дома, не знаю, где он днем находился, а приходил домой поздно вечером, поужинав, ложился спать рядом со мной на полу, потому что у нас ни кроватей, ни стульев не было, были около стен лавки и обеденный грубо сделанный стол. От отца сильно пахло табаком. Был дедушка 80-ти лет, спал он на лавке с подставленной скамейкой. Помню — летом в избе никто не спал, все спали на повети на сеновале, так как в избе было много клопов.

Был у нас очень смиренный старый конь — Рыжко, очень я любил Рыжка, и меня часто садили ему на спину, и я только и ждал этого случая. Дедушка чистил Рыжка железной щеткой. Была у нас корова и несколько овец.

Мама, проснувшись, вставала на молитву перед иконами и клала земные поклоны. Дедушка почему-то, если позволяет погода, выходил на крыльцо и молился на часовню, читая молитву: «Спаси Господи люди Твоя». Не знаю, знал ли он еще какую молитву. Федосья тоже молилась, мама учила ее молиться.

Все были неграмотные, а мама какими-то судьбами научилась славянским буквам и умела складывать слова и стала меня учить алфавит: аз, буки, веди, глаголь, добро, есть, живете, зело, земля, иже, и, како, люди, мыслете, наш, он, покой, рцы, слово, твердо, ук, ферт, хер, кси, пси, ер, еры, юс, фита, ижица. Это мне, малышу, было под силу. А вот складывать слова долго не мог научиться, но наконец одолел и эту премудрость.

Например, как сложить слова: Иван, Степан, Семен. Иже-веди-аз-наш-ер — Иван. Слово-твердо-есть-покой-аз-наш-ер — Степан. Слово-есть-мыслете-есть-наш-ер — Семен. Приходилось складывать слова и читать очень медленно. Сначала учили из Псалтыри псалом «Блажен муж»: буки-люди-аз-живете-есть-наш-ер — блажен, мыслете-ук-живете-ер — муж. Мама часто при свете лучины садилась с Псалтирью и пальцем водила по буквам. Федосья, видимо, не интересовалась грамотой.

Спать ложили меня рано на полу, а мама и Федосья сидели с лучиной до полуночи за прялкой, дым от лучины ел глаза. Дедушка вечером приготавливал для лучины плахи и садил в печь для просушки. Отец в это время уходил к соседям покурить табаку и возвращался домой, когда ложились спать.

Окна у избы были маленькие, не окосяченные, в диаметре 32 × 32 сантиметра, вставлялась рамочка с одним стеклом, замерзала, в избе темно и сыро, к ночи с наружной стороны в окна вкладывалась соломенная мата, и стекло в течение ночи оттаивало. Не было дровяных пил, и дрова заготавливали на топор.

Вечером на заре у всех почти домов раздается стук топора, идет заготовка дров к следующему утру. Не знаю, дедушка или отец смастерил мне салазки,

<sup>1</sup> Ирмос (начальные стихи) 6-й песни Канона покаянного ко Господу нашему Иисусу Христу.

сделали горку, и вечером Федосья садила меня себе на колени в салазки, и мы катились.

У мамы было очень много работы: прясть, пряжу белить на снегу, ткать холст, и Федосья к этой работе приучилась. Отец ездил за сеном, за дровами, но наш добрый Рыжко стал старый, стал спотыкаться и обессилел. Поехали отец и дедушка на Крещенскую ярмарку в Красноборск и променяли Рыжка на вороного коня. Поставили в конюшню, пришел дедушка утром к коню, а он лежит ногами под яслями и весь укатался в навозе. Дедушка каждое утро чистил коня, но повторялось одно и то же. Для работы конь не плохой. И решил дедушка и отец, что коня мучит «домовой», «дедушка». Этот «дедушка» в каждом доме жив<ет> и одних коней любит, а других мучит. Решили и этого вороного променять. Поехал отец в Красноборск на Алексеевскую ярмарку (17 марта ст. ст.). Не знаем подробности мены конями, а нам сосед привел не на узде, а на веревке коня на трех ногах, а через сутки привезли мертвецки пьяного отца без саней, дуги и хомута. Трое мужиков втащили отца в избу пьяного до бесчувствия.

Я уже чувствовал тяжесть положения, хотя был 4—5 лет, утрату коня, саней, сбруи, слезы мамы и угрозы дедушки. Ранним утром отец ушел в кабак (кабак был в деревне через полверсты), а дед взял увесистую рябиновую палку и так отколотил в кабаке отца, что проспавшись отец показал на теле все синяки. С этого времени я стал уже понимать, что все мы не живем, а мучимся.

Отец редко стал находиться дома — то у соседней курит табак, то в кабаке. Дома отец иногда чинил свои развалившиеся валенки (хорошие-то уже променял). Мама ходила по церквам, заказывала молебны, сама усердно со слезами молилась. Но, видимо, Богу нужно было судить иначе. И вот мама решилась идти пешком в Киев, к старцу Никодиму, пошла с ней две девушки и две женщины — всякая со своим горем. Путеводителем был старичок Лука Бережной, который 8 раз ходил и знал, где лучше идти и где есть дома для паломников, где можно отдохнуть, помыться и починить обувь.

Каких жертв стоило такое путешествие! Девушки шли за советом, как устроить свою жизнь, а женщины излить свое горе. Все были приняты и получили совет. А маме сказал старец, что ничего тебе не поделать, твоя скорбь велика, и Бог все видит, но отчаяние Иуды велико и отчаяние твоего мужа велико. С таким загадочным и нерешенным предсказанием и камнем на сердце вернулась мама домой.

Конечно, питались в дороге подаванием, т. к. с собою ни хлеба, ни денег не было. 5 лет тому назад одна старушка рассказала мне о путешествии в Киев, и она была свидетельницей слов, какие сказал маме старец Никодим.

Годы шли. У мамы было 11 детей, в живых осталось нас двое: я и мой брат моложе меня на 10 лет. Хозяйство наше постепенно разрушалось. Отец, хотя на время просыпался и домашнюю работу выполнял, но на хромом коне ничего не заработаешь, разве дров для себя кой-как привезти. Да и вообще в то время негде было найти работу дома, кроме города Архангельска.

Меня уже стали летом брать с собой на работу, чтобы не оставлять одного дома. Федосья прижилась у нас, и, видимо, ей неплохо было у нас — ведь она круглая сирота и внебрачная, а в то время тяжкое клеймо висело на таком человеке. Хлеба для себя у нас хватало, потому что были раскопаны полянки, не входящие в душевые наделы. Пашни и жатвы было много, все жали и мне давали маленький серп.

Со мной был чрезвычайный случай. В сентябре уже на жатве было холодно, и для меня был разведен костер, и я на огне пек репу. Грея на огне спину, я не чувствовал никакого ожога, а чувствовал тепло, а мама увидела: полушубок мой огнем горит. Отец бежит тушить мой пожар, а я убегаю от него, думая, что побить меня хочет. Кой-как сорвали с меня полушубок, и я ничуть не пострадал, только вшили в спину кусок овчины с большую тарелку.

Когда дожали последний сноп овса, оставляли немного овса несжатого, навивали пучок и приговаривали кому-то в подарок, не знаю кому, вероятно, какому-то дедушке-домовому. Последний сжатый сноп дедушка приносил домой и ставил под божницу за столом. Мама зажигала лампадку и благодарила Бога. Хотя стол наш был самый скудный, но по обычаю в день окончания жатвы готовили какие-либо жиры с толокном или ячменной крупой.

Ни слезы мамы, ни угрозы дедушки отца не трогали, и он не мог остановиться не пьянствовать. Дедушка ухаживал за трехногим конем, и конь был тяглый, опаживал нашу пахотную землю. Дедушка стал дряхлеть, часто лазил на печь отдыхать, но и по силам работал, ему было тогда 83 года. Он был мастером складывать рожь в скирды и знал какой-то волшебный заговор против мышей, чтобы они не трогали хлеба. Его самая главная работа при молотье: сушить овины и выбрасывать сухие снопы из овина, причем он вылезал из овина весь черный и плевал сажей. Так шла обычно наша жизнь до 1895 года.

В 1895 году у нас в Ляхове открылась первая школа грамоты с четырехгодичным обучением, с вывеской «Земское начальное училище». Здания для школы не было, поэтому для нея арендовали двухэтажное здание крестьянского дома. Во втором этаже вместились всего 60 человек. Объявили запись учеников, и мама повела меня записываться. Много родителей привели записывать своих детей. Много было взрослых до 16 — 18 годов. Записывали не моложе 8 лет, а мне было семь. Мама сказала учителю, что мне 8 лет, а тут кто-то сказал учителю, что я грамотный. Учитель подал мне азбуку и заставил читать: Коля пошел к бабушке, бабушка дала ему две груши. Я начал: како-он-люди-юс — Коля, покой-он-ша-он-люди-ер — пошел. Учитель, улыбаясь, взял у меня азбуку и сказал: «На будущий год приходи».

Мама заплакала, и я всю дорогу, идя домой, плакал. На следующий день в школе был водосвятный молебен о начале учения. Народу собралось очень много — до тесноты. Завидно было счастью других, ведь не все попали из-за тесноты здания в школу. Учитель разрешил желающим родителям посещать и стоять на уроках, и я много раз бывал. Каждый месяц в субботу либо на праздник служили всенощную, и это <было> для нас с мамой радостное событие.

Я уже ранее с дедушкой и мамой молился и знал молитвы. Дедушка каждый год в Великий пост в церкви говел целую неделю, и один раз и меня, малыша, отправили с ним. Я не мог выстаивать длинной великопостной службы, сидел на лавку у церковной сторожки. Дедушке очень тяжело было класть земные поклонь. Меня причащали без исповеди. В церкви по правую сторону не было клироса, а в каменном углублении (ниша) стоял резной из дерева в рост человека св. Николай Чудотворец с евангелием в руках. (Почему-то церковные власти приказали взять из дерева резную статую в Великоустюжский музей, и черевковские прихожане очень жалели.) Моя поездка с дедушкой в церковь кончилась неблагополучно — я потерял хорошие рукавички, подаренные мне тетужкой Ольгой. Хотя стоили они 8 копеек, но я остался в мороз без рукавиц, а дедушке не на что было купить другие. Их вытащил из кармана один мальчик-нищий, это видели, но где его найдешь.

Уже в 1896 году я в школу ходил, когда дедушку пришел исповедать о. Харламгий — наш законоучитель, и вскоре дедушка умер. Теперь состояла наша семья из пяти человек: отца, мамы, меня, девочки сестры Марии двух лет и Федосьи. В том году была эпидемия скарлатины и дифтерита, и сестра Мария и многие дети померли от скарлатины и дизентерии, да и все мои братья и сестры, которых у мамы было одиннадцать, умерли от оспы и скарлатины.

Мама мне говорила, что я родился мертвым, т. к. роды были без всякой посторонней помощи, и я мог бы погибнуть, но Федосья подняла меня на голбец к теплой печке, и я оказался с признаками жизни. А отец в это время был в кабаке. Жизнь мамы была в опасности, и в этот момент она дала обещание Богу: если она останется жива, послать меня на год к преподобным Зосиме и Савватию, Соловецким чудотворцам.

Отец извлекал из хозяйства все, что стоило хоть ничтожные копейки. А мама сделалась беременной. Летом 1899 году я ночью слышал стон и крики в избе (спал я на сеновале), в этот момент мама родила мальчика, тут находился при родах отец. Он взял мальчика, поднял на голбец к печке и сказал мне: «Ну, Ванька, придется тебе идти в солдаты — ведь родился-то парень». Такое ужасное положение было у всех женщин, — не было медицинской помощи при родах. Родили на жатве, уборке сена, до последней минуты работали, а на другой день после родов за работу принимались.



Видимо, мама при этих родах дала обещание съездить к преподобным Зосиме и Савватию, и меня взяла с собой, а двухлетнего брата моего сдала на попечение своей сестры — моей тетушки. С нами поехала из соседней деревни женщина со своим сыном, тоже учеником школы. Ехали мы на барже целую неделю, платили по 50 копеек, а на пароходе надо платить рубль. За билет в Соловки нужно 4 рубля, но у нас денег не было, и мама подала в кассу 15 аршин белого полотна. Пароход «Михаил Архангел» небольшой, нас посадили в трюм. Поднялась такая качка, что людей и вещи кидало, как щепки, из стороны в сторону. Никто не остался цел, все ублевались и укатились в блевотине и изгадили весь трюм.

В гостиницу нас не пустили, а отправили в купальню на Святое озеро, где после купания дали ярлык для входа во Святые ворота монастыря. Нашу нищенскую одежду мама вымыла и высушила на солнце на берегу моря. Пробыли мы в монастыре 5 дней, ходили к дяде в келью.

На обратном пути абсолютная тишина, море как зеркало. Пение монастырское мне было малопонятное, напевы под диктовку канонарха, но знакомые слова понимал.

В Архангельске ночевали мы на Соловецком подворье. Мама с вечера узнала, что рядом с подворьем в церкви будет служба по случаю именин Настоятеля. Мы пришли в церковь к началу обедни, и услышал я такое невыразимо приятное пение, что у меня волосы ставали от восхищения, а пели две барышни, а молодой мужчина дирижировал и пел жиденьким баском. Видимо, пели хористы певчие.

Обратно домой ехали на буксирном пароходе, где нет места для пассажиров, а одна голая без крышки палуба. Холодно. Мама приспособила меня около машины, где было тепло, и я уснул, но меня одна страшная на вид старуха стащила с теплого места и сама легла. На уговоры мамы она отвечала грубыми ругательствами.

Тетушка с братцем Васей домовничала хорошо — кормила его молоком Управились в этом году и с полевой работой; люди, управившись со своей, помогли нам управиться. На хромом коне с поля хлеб убрали, да хлеба на три надела немного и было. Отец в наше отсутствие мало пил, да и не на что — из дому взять было нечего. Приближалась осень и молотьба хлеба. Нужно овины сушить и молотить. С Воздвижения мне в школу идти: а кто будет дома с братом, ведь ему всего 2 года? Наняли в няни девушку из соседней деревни, самую бедную, родители отпустили ее, лучше все же, чем идти кусочки побирать. Хромой конь и тут помог: сосед повозил на нем дров и отработал за коня молотьбой.

После Воздвижения молебн в школе и начало учения. Приехала на помощь учителю учительница для первого и второго классов Любовь Николаевна Светлосанова.

Учитель Иван Дмитриевич Евтюхов стал заниматься с 3 и 4 классом. По субботам служили всенощную. Девушка (няня) была больна припадками падучей болезнью, а мы этого не знали, она стала падать и в судорогах стонать, пришлось ее отправить домой. Теперь по приходе из школы мне пришлось одновременно учить уроки и качать льолку. Братец от скарлатины уцелел. Я кормил его вареным молоком из коровьей соски, натянутой на коровий рог. (У всех тогда был такой способ кормления.) Соска закисала и сильно воняла. У братца, вероятно, от кислой коровьей соски болел желудок, братец плакал, а <я> думал, что он голоден. Лил ему в рот молоко, а он не желал принять и захлебывался.

Каникулы у нас начинались за 5 дней до Рождества. У нас начинался самый радостный праздник — идти со звездой и славить Христа. Звезда у нас была сделана 4 года тому назад, и ежегодно ходили славить в деревни за 5 километров от дома, начиная с двух часов ночи. Подходя к дому, мы стучали по стене палкой и кричали: «Не надо ли Христа прославить!» Отвечают: «Не надо!» Мы говорили: «За копейку споем, нет копейки — за краюшку хлеба споем». Отвечают: «Краюшку сами съедим». Но если ворота дома не заперты, тогда мы без всякого разрешения входим со звездой в избу и начинаем петь, не рассчитывая на то, дадут или нет чего-нибудь. А пели-то мы, как Бог на душу положит, тропарь и кондак Рождеству и ранее кем-то сочиненную бессмыслицу: «Как хозяин выхо-

дил, по рублевке нам дарил, как хозяйка выходила, по полтине нам дарила, а кухарка выходила, помелом нас прогонила, как собаки набежали, все подолы оборвали». Хозяин раскошеливался, давал нам копейку, а хозяйка, если испеклись пироги, давала нам в корзинку пирог либо краюшку хлеба. И так славили с 2 часов ночи до 12 часов дня. В своей деревне все без исключения принимали нас со звездой. Хлеба, краюшек и пирогов собирали две корзины, хлеб продавали по одной копейке фунт, и вся сумма с хлебом и копейками достигала до 80 копеек — присчитывалось по 15 копеек на каждого. Лишались голоса, все охрипли — ведь орали из всех сил. Я неделю времени шепотом говорил — так охрип.

Еще до школы я научился рыбу удить. А рыбы в реке было так много, что она на виду у берега стаями ходит, в реке плещется. Все время уходило на ловлю мух, которыми начинал крючок и не успевал дергать рыбу. В праздники и в воскресенья по закону запрещалось работать, поэтому в хорошую погоду все, кому не лень, шли с удочками на реку, так что не хватало удобного места на берегу сесть с удочкой. Домой уходили все с уловом. У меня был дядя — часовой мастер и специалист по всем механизмам, но он во время лета бросал свою работу, садился с удочкой на берег и запасал себе рыбы на круглый год. Прошло с тех пор 70 лет, и в настоящее время, сидя с удочкой на берегу, не увидишь всплеснувшей рыбки, случайно выудишь одну-две. Исчезла рыба в Двине.

В Великий пост нас — школьников — в числе 60 человек водили в Черевковскую церковь на исповедь, шли пешком 14 километров. Какой торжественный для нас день был тогда, когда мы бегом бежали из захолустья Ляхова в большое село Черевково с церковью, богатыми домами, большими окнами и рядом торговых магазинов. Но где ученикам разместиться ночевать? Квартир не было. Ищи ночлег себе у знакомых или просись где-нибудь переночевать. Всякий нес с собой на 4 дня хлеба. Мама всегда пекла для этой ходьбы гороховые шаньги и давала мне две копейки — одну священнику за исповедь, а другую копейку на калачи. Но я предпочитал на копейку покупать 4 конфеты-леденца с картинками: Дуня, Ваня, Сеня, они с загадками. Развернешь конфету и прочитаешь загадку.

В церкви нас ставили рядами, учителя за порядком и стройностью следили. Посмотрели бы ученики современной школы на нас — учеников того времени и удивились бы бедности обуви и одежды, и не удивительно, что некоторые с голоду не утерпели — проворовались исповедники. Учителям, конечно, неприятность, но приходится только пожалеть воришек.

Ближние две школы привели к обедне учеников и в церкви едва поместились. Заходя в церковь через паперть, едва пройдешь улочкой до двери церкви — вся паперть занята оборванными нищими, их не сосчитать. Протягивают руки, просят: «Дяденька, дай копеечку!» Но, как видно, копеечек им мало дают. Нищих в черевковскую церковь влечет богатство прихода. Три священника, служба ежедневная, ежедневно в гробах умерших 3 — 5 человек. Принято в Черевкове по умершим подавать на паперти церковной пироги и ломти хлеба и копейки, и в ожидании подавания нищие стоят на паперти несмотря ни на какой мороз. Тяжела доля нищего. В лохмотьях с сумой и в лаптях приходится голодному ждать случайного подаяния. А где ночлег?

В Черевкове купцы Гусевы открыли богадельню для 4 — 5 человек, в ней живут инвалиды старухи, и эта богадельня служит ночлегом для приходящих из далека в церковь. Да авторитет этой богадельни плохой, много клопов, блох и тараканов.

Черевковский район считается богатым по хлебу, церковь (приход) самым богатым приходом по всей Двине. Ярмарки: 1-я Девятая, 2-я Ильинская, 3-я Введенская, 4-я Крещенская, 5-я Алексеевская. Нищих стекается со всех малоурожайных мест хлебом. В зимнее время с Пинеги, Выи, Тоймы выезжают в Черевковскую волость на лошадях семьями, чтобы прокормить и семью и лошадь.

И сидим мы с мамой и братом Васей на печи от холода, и вдруг вваливается семья нищих и просит милостину Христа ради, а для лошади сена не найдется ли? Мама отрежет ломоть хлеба, разрежет по числу просящих, они приложат кусочки ко лбу и скажут: «Спаси, Господи». А сена-то у нас не было. Не успели уйти первые — идут другие, калеки, слепые. Как слепых, их водит за палку

поводырь. Не спрашивая разрешения хозяина дома, они поют: «Как Архангел Михаил вострубит во трубу золотую, как Христос будет судить тех, кто во церковь Божью не ходили, нищего не приютили, середу — пятницу не чтили. Святии Апостоли Петр да и Павел, да отпирайте Вы райские двери, да только трех душ не пускайте. Первая душа тяжко согрешила — во утробе младенца задушила, вторая душа тяжко согрешила — отца и мать по-матерно ругала, третья душа тяжко согрешила — из хлеба и соли спорину вынимала. Тем душам не будет во веки прощенья, только одно покаяние. Дедушка — денежку, тетушка — пирожок да шанежку». За такую длинную, заунывную песню иная хозяйка почерпнет чашку муки и сыпнет в мешок, который носят они с собой, и краюшку хлеба отрежет.

На хромом коне я уже сам стал привозить понемногу дров, если отец подготовит, и полен и чурок нарубить мог, лучины к зиме заготовить, снять бересто и оскоблить кору.

Приблизился Ильин день и ярмарка в Черевкове. Отец еще накануне приготовился ехать на ярмарку. Не додумались мы с мамой, почему отец на сеновале снимает хранящиеся вилы, недоделанные лопаты и складывает на телегу, а оказалось, что он решил продать этот инвентарь за какие-нибудь копейки и пропить. Поехала мама, и я поехал. Народу на ярмарке непроходимо. Мы ушли с мамой в церковь к обедне и пришли к телеге. Но скарб наш цел — видимо никому не нужен. Отец связал веревкой весь скарб и на плечах унес куда-то в ближайшую деревню. Долго мы ждали, и вернулся он не вовсе, но пьяный — видимо сбыл свой товар. По приезде домой хромой конь был выпряжен, и я свел его, навязал на травку. Отец ушел к соседям покурить, а время позднее — пора спать, и мы уснули. Вернулся отец, лег возле меня не раздеваясь, в жилете. Проснувшись, мы отца не нашли — он куда-то ушел. Вероятно, как обычно, ушел к соседям. Не приходил до вечера, в кабаке справлились — не был. Прошли сутки, двои, — нет и нет. На четвертый день заявили уряднику, он дал распоряжение искать по баням, овинам, во ржи, и сельсисполнители искали в такое дорогое время — сенокос, жатва. Прекратили поиски.

На заборах и домах появились объявления: «20 июля среди ночи пропал человек без вести. Приметы: без шапки, босой, на нем серый жилет и серые брюки, рост средний, небольшая рыжая бородка. По обнаружении сообщите уряднику второго участка». Прошла неделя-другая, никаких сведений об отце нет. Мама пошла заказывать молебны в Черевковскую, Ягршскую, Ракульскую церкви. Наконец из Ягршша один человек сообщил и то через людей заказал, что на речке Авнюге на сенокосе он видел человека, который собирает малину, весь оборванный и без шапки. Без сомнения, это — отец. Наняли мы соседа по деревне, охотника, который все зимы на Авнюге ловил зверей и рыбу, знал там все охотничьи избушки и каждый пень.

Охотник выследил отца, но себя не обнаружил. Отец скрывался в заброшенной охотничьей избушке. Объявили уряднику, который дал наряд 4-м десятникам взять и привести домой отца. Взяли длинную рубаху, веревку, отправились за 18 верст болотами в сопровождении охотника. Пришли усталые к избушке вечером, даже с осторожностью <не решались> подойти к избушке — ведь леший увел человека, и с таким делом иметь опасно, но надо же приступить к делу.

Охотник, конечно, смелее. Подойдя услышал храп — значит уснул — надо как-то разбудить. Да отец и сам, услышав шорох и открыв дверцу, швырнул в них доской, и все в испуге отступили от избушки, но подготовившись, схватили его, связали. Вели с ним нормальный разговор, и отец нормально стал разговаривать, и его развязали. На костре наварили пищи, наужинались и с наступлением рассвета пошли домой, надев на отца принесенную рубаху. 18-тиверстную дорогу шли целый августовский день болотами.

Мы и вся наша деревня были в ожидании, скоро ли приведут. До лесу — открытое поле, и уже в сумерки увидели в поле группу людей медленнодвигающихся. Идут по деревне, на отце вместо шапки одет котелок. С какими чувствами встречали мы отца? С чувством позора и обиды. Мама истопила баню, упростила всех идти помыться, помылся и отец. Поужинали. Мама настелила соломы на пол, и все улеглись спать. С устатку все быстро заснули. Отец лег возле меня, худой, постаревший.

Когда он стал засыпать, мама сняла распятие с божницы и положила под подушку отца. Вздремнула мама и я, а отца нет, встревожились, обыскали все в доме, разбудили спящих соседей, но нигде не нашли. Никто не заметил, что на сеновале через главную слегу перетянута веревка, а отец, видимо, услышав тревогу и спрятался под пустой чан, не успев совершить самоубийство. Сам пришел, и мама приготовила какой могла обед.

Наш сенокосный надел продан отцом с условием выставки, и в лугу почти все скошено, а у нас стоит нескошенное. Я, десятилетний, плохой косец, а отец, покосив с полчаса, бросил косу и ушел домой, оставив меня одного. Я покосил сколько мог и пошел домой. Отец, пришедший домой в отсутствие мамы, сломал замок в верхнюю комнату, сломал замок у ящика и взял 9 белых хороших овчин, а сам скрылся неизвестно куда. Но дом и комнату он оставил незапертыми — хотел вину сложить на воров.

Снова начинать поиски отца никто не соглашался, предполагая, что сам придет домой, но отец не приходил. Уже все убрано с луга, с полей убирают, и наш участок на лугу сам купивший хозяин убрал. Идет молотьба хлеба, октябрь, ноябрь, а отца все нет. Оглавился в Ракулке — на другой, правой стороне Двины, там с собутыльниками пирует. Мама с дядей поехали, нашли его, но он домой не поехал. Пришел домой за 5 дней до Рождества. Соседям рассказывал, что дорогой пытался 2 раза повеситься. В первом остожье сена уже перекинул со стога на стог жердь, но приехали за сеном и его отогнали. Пошел к другим стогам, но там уже наложены возы сена. Подходя к берегу, хотел броситься в прорубь — женщина с ведром идет за водой, так и пришел домой.

В этот день в школе отпуск до 10 января. Я собрался в школу и, посолив ломти хлеба, жарил в топящейся печи себе на обед в школе. Отец погладил меня по голове и сказал маме: «Ты у меня Ваню и Васю не обижай». Я ушел в школу — начался урок Закона Божия, пришла соседка — принесла обед своему сыну и сообщила, что Степа повесился. О. Харлампович отпустил меня домой. Подходя к дому, я вижу, что у нашего дома много людей из соседних деревень. Ворота на поветь (на сеновал) открыты, народ, сгрудившись, смотрит на отца в петле. У него под одной ногой высокая колодка, а другая не хватает земли. Никто не осмелился прикоснуться к отцу, проверить, бьется ли пульс и есть ли хоть теплота.

Было сообщено уряднику, он приехал, составил акт, приказал сделать гроб и положить тело отца. Все сделали. Велел урядник сделать 2 тренога, чтобы поставить гроб наравне с окнами нашего дома. Поставили гроб, как приказано, и к вечеру к нам приходили два человека и караулили. Через два дня приехал судебный следователь, опросил всех соседей деревни о том, не сами ли мы его положили в петлю. Гроб стоял на треногах до 8 января по старому стилю. Похоронную нужно получать от пристава. Мама с дядей ездили к приставу два раза, он не хотел и говорить с ними. Священник объяснил, что самоубийца церковь не поминает и на церковном кладбище хоронить не разрешает. Один добрый старичок из Черевково знал нашу беду, он сказал маме, что не ходите напрасно с пустыми руками к безбожному взяточнику, ничего вам не добиться без взятки. Пришлось продать за семь рублей маленький амбарчик, в котором ранее хранили хлебное зерно. Крестный отца дал три рубля и учительница Любовь Николаевна 5 рублей. Не знаю, все ли 15 рублей взял пристав, но лошадей нанять везти гроб денег хватило.

Вот и поехали мама и дядя со взяткой к приставу. Пристав вышел в сени, и дядя вложил ему в руку золотую. Тогда же пристав написал похоронную, назначил место кладбища выше Черевкова два километра на лугу под названием «Вересник», куда вода никогда весной не заходила, и хоронили в вересник павшего скота. 8 января ст. ст. мама, дядя и три соседа поехали с гробом в 10 часов вечера, чтобы доехать до места, а ехать 16 километров. Гроб замаскировали. Приехали, принялись за могилу и только что начали огребать снег — увидели по дороге идет человек, волокет лыжи, на плечах несет пешню, вероятно, рыбак. «Что делаете?» — закричал человек, и тогда пришлось не могилу копать, а немедленно уезжать. Быстро уехали, оставив гроб, чуть-чуть покрытый снегом, и уехали совершенно в другую сторону, в Ракулку, чтобы не знали, откуда



привезен гроб. Приехали иззябшие, и на столе появилась бутылка с вином, вероятно, от денег, данных на взятку, три рубля осталось. Я с полатей смотрю на мужиков, а Вася еще мал, ничего не сознает.

Создалось суеверное мнение, что возле нашего дома ночью страшно ходить. Леший увел в лес, а потом человек удавился, тут будет нечистая сила пугать! И действительно, к нам многие соседи и дальние опасались ходить. Федосья изредка навещала нас, она батрачила в богатом хозяйстве в двух километрах от нас. При разделе земли ее как внебрачную не наделили.

Все грозное свершилось. Остались мы от отца втроем: мама, я, брат и хромой конь, он кормилец, он пахал нашу землю и землю соседа. Я школу кончил в 1899 году с похвальным листом. Приложить руки, еще слабые, к какому-нибудь труду еще рано. Вот и решила мама в 1902 году отправить меня на год в Соловки. И это не так было страшно для меня, потому что у меня там был дядя, мамин брат, он был уже рясофорный монах.

Со мной собрался ехать сосед, тоже ученик школы, и еще из соседней деревни старик 60-ти с лишком лет. Этот старик в возмещение того, что не выполнил обещания в молодости, выкормил красавца-жеребца рыжей масти и повез его в Соловецкий монастырь. Поставили жеребца в баржу с сеном, и мы все трое плыли на барже за пароходом 8 дней. Жеребца с баржи приняли на Соловецкое подворье в Архангельск<е>. Прибыли в Архангельск рано, море не очистилось ото льда, и Соловецкие пароходы еще не пришли. Наш товарищ-старик нашел всем работу. Проводилась очистка улиц, и таких, как мы, свободных людей искали. Сколько разного хлама и нечистот мы убрали и такой щедрой платы не ожидали, без нашей просьбы хорошо плотили и благодарили. Ночевали на Соловецком подворье. Наконец дождались Соловецкого парохода. Поездка была при умеренном ветре, немного покачало, но мы не ублевались. Оказалось, что мы еще молоды и нас на работу в монастырь не возьмут. А требуются люди в Трифоно-печенский монастырь. О, горе! куда за океан увезут — со скуки помрешь!

## Глава 2-я

Явился я к своему дяде Прокопию Петровичу, теперь отцу Прокопию, со своим горем, что молод я и не принимают на работу в монастырь. «Не печалься, Бог все устроит к лучшему. Станем учить какому-нибудь мастерству». А рядом была келья уставщика клироса церкви святителя Филиппа, и уставщик посоветовал направить меня к регенту соборного хора. Привел меня дядя, а тут сидят еще двое в ожидании, когда впустят в келью.

«Рабы Божии, войдите!» — но это впустил не регент, а его служитель. Регент, как видно, не монах, а еще только готовился к монашеству — только носит один подрясник. Стоит фисгармония и висит на стене скрипка. Нажимает клавиши и заставляет тянуть тот же самый звук а, о, и. Потом берет скрипку, тоже просит тянуть тот же самый звук, но просит через открытый рот, а не через зубы.

Дядя дожидается результатов. Регент двоим из нас велел приходиться на клирос в собор, а одного куда-то не назначил. Божие мое, какое удовлетворительное чувство я испытал тогда, а не менее дядя. Но все это время был в страхе.

Меня поместили в Зосиминском корпусе в числе 19 человек под наблюдением дядьки — бывшего офицера. Слово «дай» совершенно исключено в монастыре и заменено словом «благослови». И мы — малыши, — обращаясь между собой при просьбе, например, говорили: «Благослови, отец Иван, мне эту книгу». Слово «отец» обязательно прилагать к имени. Например: мы идем огрести снег и просим у мужика Семена лопаты и говорим: «Отец Семен, благослови лопату», — а он скажет: «Бог благословит».

В нашем Зосиминском корпусе жили так называемые «вкладчики» — это богатые люди, желающие доживать свой век под кровом обители. Они внесли в монастырь свой капитал, и за это обитель предоставила им жилье и все бытовые условия. Они свободно ходят по всей территории монастыря и ездят по Соловецким островам. У каждого слуга-послушник. Вот блаженная райская жизнь! Эти вкладчики любили нас — озорников — и дарили в праздник гостинцы —

конфеты. Рядом с их кельями жил инженер-немец (забыл имя), он руководил работами по соединению со Св<ятым> озером 52 озер, чтобы давать в судостроительный док нужное количество воды. Он часто приглашал нас к себе на пение и часто приходил на спевку, дарил конфеты. В 1902<sup>2</sup> году началась Русско-Японская война 23 декабря. Япония напала и потопила наших три крейсера. Инженер говорил, что победа будет на нашей стороне. Япония крошечная держава, мы ее шапками закидаем. 23 декабря был совершен молебен о даровании победы, и так по воскресеньям служили молебен с многолетием Христоролюбивому Всероссийскому воинству.

За разные недозволенные шалости наказывали нас поклонами. Налагать наказания уполномочен дядька и регент. Если подрались двое, то они должны пасть друг другу в ноги и просить прощения: «Отец Иван, прости меня ради Бога». Обиженный отвечал: «Бог простит! Ты меня прости», — и этим ссора должна кончиться. Но были из нас способные на разные пакости. По моем приезде, неделю спустя, приняли в наш хор маленького цыгана (9-ти лет) с хорошим дискантом. Он беспрестанно просил у всех нас что было съестное. Был он наравне с нами обеспечен, но прежде всех спешил съесть, а потом шел просить: «Благослови „грошку”» — (немножко). Но потом нам надоело благословлять и стали давать по маленькой крошке.

Тогда цыган улучал время брать тайком. У одного певчего вагана Гриши он стянул печенья из посланной из дому посылки. Гриша был большой сорванец и решил отомстить цыгану. Он взял конфет, вынул начинки, вместо начинок положил человеческого кала и аккуратно заделал, что никому не заметить и держал конфеты на виду для соблазна. Цыган украл одну конфету, раскусил ее и закричал: «Ой, горько! Ой, вонько!» Дядька и все встревожились в чем дело. Обследовали конфету, а она начинена калом. Преступление налицо. Гриша, недолго запираясь, сознался. Тут вина падала и на дядьку, что не смотрит за нами. Преступление преступлением, а главная беда в том, что это выйдет наружу — позор будет всему хору. Доложили регенту. Он опасался более всего, что за стенами люди могут услышать эту пакость. Решили регент и дядька дать такой наказ: если кто вынесет это дело наружу — будет исключен из хора и отослан в Муксалму на скотный двор возить навоз. Хотели дать самое позорное наказание: снять с Гриши подрясник, халат и колпак и одеть в дырявый серый халат, и в таком виде — в виде пугала, стал бы он ходить на клирос, стали бы монахи допытываться, чем Гриша заслужил такое наказание. Решили дать в наказание 300 земных поклонов по 10 поклонов в день перед иконой преподобных Зосимы и Саватия. Так это дело и не вышло наружу. Но много было волнений у дядьки и регента. Боялись, если дойдет до Настоятеля.

По принятии меня в хор, через неделю или около того, приняли на клирос два человека. Бритые — один высокий, белый, с рыжей небольшой бородой, другой — высокий, черноусый, с большим носом. Белый, с рыжей бородой — контроктава, приятно слушать. Черный, с большим носом — высочайший тенор с приятным тембром. Ходят в своей одежде, но заметно, что регент и все басы относятся к ним с особенным почтением. Потом стали говорить, что они из Москвы. Получили они халаты, подрясники и колпаки, и разнеслась молва среди монахов, что они много украсили хор.

И, действительно, справедливо. Контроктаву звали отцом Василием, а тенора — отцом Павлом. Их поместили в наш Зосиминский корпус, в маленькую келью с двумя окнами, с фасадом на большую дорогу. Из окон — видно весь монастырь, обе гостиницы. Пользовались они полной свободой, гуляли по всем замечательным местам, ходили в купальню купаться и знакомились с паломниками. Прогуливаясь по достопримечательным местам, зашли они в длинный коридор, ведущий в Успенский собор, на стенах коридора изображены знаменитыми художниками картины из жизни святых, чудеса из Евангельской истории и из жизни преподобных Зосимы и Саватия. Прогуливаясь, они не заметили, видимо, Настоятеля, а Настоятель их заметил и все выслушал, как они, щелкая пальцами и посвистывая, напевали какой-то романс.

<sup>2</sup> Ошибка памяти мемуариста: война началась в январе 1904 года.

Вскоре дан был приказ регенту снять с знаменитых певцов подрясники, халаты и колпаки. Одеть их в дырявые серые кафтаны, и никто не знал их преступления, кроме Настоятеля. Сами-то виновные, может быть, и догадывались или, может быть, чувствовали себя терпящими напрасно вопиющую обиду. Без смеха мы, малыши, не могли смотреть. И кто-то сумел дать им прозвище: «Васька-швабра» и «Пашка-нос». И мы между собой привыкли так их называть. (Конечно заочно.) Вся братия удивилась и недоумевала, за что такие знаменитые певцы наказаны. Были или нет огорчены такими наказаниями, но они по-прежнему были веселы и шутили. Догматики 8 гласов пели среди церкви по большой книге, ноты очень крупные, видно издалека, знаменный напев без изложения на голоса в унисон. И вот выходят в таких кафтанах, похожих на пугало, на середину церкви, и нас тянуло на смех.

В воскресенье, сырной недели (масляница) в 6 часов вечера бывает великая вечерня с великим прокименом: «Не отврати лица Твоего от отрока Твоего яко скорблю». Это в высшей степени торжественный прокимен и умилительный. После стихир на стиховне<sup>3</sup> поются стихиры Пасхи: «Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его» и до последнего стиха — «И тако возопиим», но «Христос воскрес» не поется, и Настоятель делает отпуст и «Христос Истинный Бог наш» и т. д. Настоятель в царских вратах становится на колени лицом к народу и говорит всей братии: «Отцы честные, простите меня грешного, аще кого оскорбих чем или унизих» и т. д. Тогда находящиеся в храме (клирос выходит в это время на середину церкви) падают ниц и просят прощения у Настоятеля: «Прости нас, преподобный отче».

Если бы «Васька-швабра» и «Пашка-нос» поклонились и просили прощения у Настоятеля, то, возможно, сняли бы с них кафтаны, но они не вышли поклониться, а ушли с клироса другими дверями. Знали цену себе, наверное, гордились своими кафтанами. «Да исправится молитва моя», — пелось на середине церкви, всегда пели «трию». И вот выйдут такие певцы петь. (Третий певчий в подряснике.) Какое исполнение, какой эффект. Мы и ждем, когда назначат их петь «Да исправится» — отца Василия и отца Павла. Они стали обрастать бородами и волосами. Накануне Пасхи приказано было выдать им халаты, подрясники и колпаки.

Замечательно то, что в Крестопоклонное воскресенье за всенощной поют Пасхальный канон «Воскресения день», о чем в уставе Триоди постной разъясняется, что прошла половина Четырнадцатницы, выносятся Честный крест как знамя победы над врагом и плотию, и во имя этого торжества положено во обителях святых петь Пасхальный канон.

Мне неотвязно представлялась поездка домой. До первых весенних пароходов остается не более месяца. Стал чаще ходить к дяде. Он очень любезно принимал меня. К нему заходили монахи из соседних келий по-домашнему (без халата, в одних рубахах). У одного я увидел на груди цепь, скрещенную крестообразно и перекинутую через плечи. Я не догадался сам, а дядя разъяснил мне, что многие монахи носят на себе «вериги» — это металлический широкий пояс со словами: «Аз язвы Господа моего на теле моем ношу». На некоторых веригах надпись: «Томлю томящего мя».

Мама пишет: живи в монастыре, дома будет делать нечего. Дядя устроит в какую-нибудь мастерскую. Приближается Пасха. Ведутся общие спевки к встрече праздника — к Торжеству всех Торжеств.

А нам, малышам, радость — идти к Настоятелю с концертом. На спевке повторяется концерт «Да воскреснет Бог» — придется петь у Настоятеля и за причастным за Литургией. После утрени христосование Настоятеля со всеми находящимися в храме. Начинаем петь часы. В Пасху служба идет по скору. Идем в покои к Настоятелю. Заходим в огромно длинно залу, огромные пальмы по ту и по другую сторону дорогих широких ковров, получается пальмовая и олеандровая аллея. Олеандры цветут. В келью мы не входим, а Настоятель в епитрахили с крестом выходит из кельи и обращается лицом к иконе «Воскре-

<sup>3</sup> Стихиры — церковные песни, составленные в честь праздника или святого. Стихиры, которые поются в конце вечерни, между стихами, взятыми из псалмов, называются «стихиры на стиховне».

сение Христа» и сам поет трижды «Христос воскрес» хорошим тембром тенора. После стихир Пасхи, концерта «Да воскреснет Бог» в сей нареченный и святой день прикладываемся ко Кресту, целуя руку Настоятеля. Наш дядька дожидается нас у выхода.

Монахи и взрослые певчие получают по красоулю<sup>4</sup> красного вина — около стакана — и пьют благодаряще Бога и Настоятеля, а нам келейник раздает кульки мятных конфет. На трапезе братии великое утешение: пироги с семгой. Трапеза приготовлена по последнему искусству повара. Монахи (хотя не все) отдают свои порции пирогов нам. Придя домой, нас ждут наши соседи по комнате — вкладчики и инженер, чтобы мы пропели «Христос воскрес» и стихиры Пасхи, а подарки у них заранее приготовлены. Ворох питания, хватит на две недели — торжественная служба всю неделю, и булки, и пироги. Будь же доволен цыган — не проси и не воруй.

К Настоятелю с концертом пришлось ходить в течение года 8 раз: в день кончины преподобных Зосимы и Савватия, в день ангела Настоятеля, тезоименитства Государя Императора и супруги его, рождения наследника Алексея. В Вознесение Господне пели концерт «Взыде Бог в воскликновеньи», а в остальные праздники любимые им концерты: 1-й — Реку Богу заступник мой еси, 2-й — «Се, что добро или красно, но еже жити братии вкупе». Первый концерт минорный — сольмиор — трио, а второй — четырехголосной — до мажор. Он состоит из псалма 132 и кафисма 18. Оба концерта неизвестных авторов. Последний стих его «Живот до века» повторяется семь раз, и такая очаровательная мелодия, что поешь и чувствуешь восхищение. Недаром она полкубилась Настоятелю и пелась при прежних Настоятелях.

Пришла весна. На прогулку стали нас водить на луг к морю. Поиграть мячиком с расчетом времени, чтобы не отрезан нам был путь вернуться обратно домой. Прилив воды затопит дорогу, и нам придется сидеть 6 часов до спада воды. Наиграемся, лисиц и оленей насмотримся, возвращаемся в пять часов к чаю. В 6 часов благовест к вечерне, а на праздники к всенощной. Зима была теплая — ниже 15 градусов холода не было. Море замерзло, но приливы и отливы не давали льду окрепнуть, и ветром, и течением лед отрывало и уносило в море. Все с нетерпением ждали очистки моря ото льда и наблюдали в бинокли с колокольни, есть ли лед около берегов Соловецких островов.

Монахи хотя порвали с миром и исключены из мирского светского общества, но как люди не лишены всех человеческих влечений и немощей. У них есть близкие друзья в мире, которые посещают их летом и привозят предметы и вещи, удовлетворяющие их большие и не остывшие еще потребности — табачок. И во славу Божию для праздника можно выпить и винца. А богомольцы, а может и спекулянты, ждут навигации к Соловецким и научились, как провозить и сдать свой запретный товар.

Вот уже отправился первый пароход в Архангельск, и все с радостью ждем возвращения с паломниками — людьми светского мира. Зимой монахам скучно однообразие монашеской жизни, а тут полный храм молящихся, непроходимая масса людей перед раками св. мощей Преподобных, непрерывно продолжающееся пение молебнов перед раками Преподобных. Богомольцы говеют и причащаются св. Таин. Лошади стоят с экипажами весь день готовые представить паломников на любой скит.

(В 7 часов утра регент объявил, что едем встречать в склепе гроб и колокол. В 8 часу сели мы на соловецкий пароход «Вера» и пристали к огромному пароходу «Ксения», стоящему на рейде в 20 — 25 верстах от пристани. Палуба парохода «Ксения» выше парохода «Веры» на 2 метра. Сначала спустили ящик размером около 50 — 60 сантиметров, обтянутый материей. Спустили с парохода «Ксении» широкую, гладкую площадку под углом 45 — 50 градусов и по ней спустили длинный ящик, обтянутый материей. Отпели литию по усопшем боярине Кельсии. По выгрузке на пристани гроб-ящик распечатали, в нем находился хрустальный гроб и над ним хрустальный колпак. Готова была на пристани особенная телега с балдахином, и поставили гроб с футляром на телегу.

<sup>4</sup> Красоуля — монастырская чаша, братина.

Распечатали ящик, в нем оказался колокол весом предположительно около пуда, блестящий, чистый. Привезенный гроб внесли в Преображенский собор и поставили на левой стороне храма. После литургии поставили на середину храма и совершили отпевание. Могила приготовлена на площади в 4-х метрах от стены храма Святителя Филиппа. В могилу спущен бревенчатый сруб. Гроб опустили и наложили на него футляр, земли не кидали, а сверху набрали бревенчатый потолок. Замечательно то, что никаких скорбных сожалений родственников и плача мы не заметили. А откуда и кто был боярин Алексей или Кельсий, нам — малышам — такая мысль не пришла в голову.

Приехавшие хоронить гости обедали за настоятельским столом. А откуда и чей колокол? Об этом никто из нас не поинтересовался и, по-моему, можно безошибочно предположить, что это жертва боярина Алексея, удостоенного чести быть погребенным не на общем кладбище, а в ограде монастыря, видимо, похоронили не как простого смертного, но как заслужившего такое благоволение от св<ятой> обители. О колоколе говорили, что он серебряный. Им заменили сигнальный колокол, в который трижды ударяли перед благовестом в большие праздники. Звук его не рассеянный, оч<ень> высокий, приблизительно такой же, если ударить на пианино в голос дисканта.)<sup>5</sup>

Я позабыл написать про купальню на Святом озере (ведь в ней должен был выкупаться каждый из паломников). В первое посещение нами монастыря <в> 1895 году нас с мамой отправили в купальню, где нам дали ярлык-удостоверение, что мы купались и можем ночевать в гостинице и вступить во Св. ворота монастыря. В последнее посещение нами монастыря в 1914 году — обычай этот, видимо, не соблюдался.

Пришел наконец первый пароход с паломниками, и чем-то радостным повеяло на нас, кажется, и воздух переменился. Мы не знали, почему нам регент категорически объявил, что нам не разрешается в одиночку без дядьки ходить не в строю и знакомиться с паломниками. А паломники многие, увидав маленького долговолосого монашка, на перерыв зазывали в гостиницу, и готовые подарить чем угодно. Многие из нас, получив увольнение от дядьки, по какой-либо причине гуляя среди паломников, возвращались домой с подарками. Все это было некоторым из нас очень лестно. Очень соблазнительно это <было> для цыгана, но ему почему-то не очень везло, он не воздерживался от своей цыганской привычки — просить и этим отвращал от себя богомольцев.

Знаменитые певцы без предупреждения и не попрощавшись с клирошанами уехали неизвестно куда, и хор и монастырь лишились знаменитых певцов. Это ощутила вся братия, и, вероятно, настоятель Иоанникий. Многие из нас — мальчишек — готовились домой на родину и стали уезжать, но нельзя же всех сразу распустить — необходимо хотя одного или двух самостоятельных певцов в партии оставить хотя бы еще на один год. Пришлось договариваться и жить в монастыре с согласия родителей и плотить по согласию с ними.

Рейсировали три парохода: «Зосима и Савватий», «Михаил Архангел» и «Вера» в Архангельск, Кемь и Онегу. Приходили частные пароходы с паломниками, столько паломников, что не помещались в гостинице. Привозили больных всевозможными болезнями, чтобы получить исцеление от мощей Преподобных.

За богослужением хор поет. Вдруг открывается дверь храма и ведут иногда связанного, безумно кричащего, иногда богохульными словами. С клироса взрослым все это видно — они высокого роста, а мы не можем ничего видеть — стенки клироса высоки. Крики смешиваются с пением хора и возгласами священнослужителей, и таких больных приводили по несколько человек. Не всех могли подводить к самой раке, а прикоснуться тем более — он может все опрокинуть и пролить все лампадки, поэтому таких буйных всегда связывали и клали на пол вблизи раки, не отходя от больного. По окончании пения вечерни мы, все певчие и все монахи, прикладывались к раке св. мощей (это было

<sup>5</sup> Тексты, отмеченные скобками, взяты из второй части записок И. С. Карпова и вставлены публикаторами в общую канву повествования с целью сохранения единой хронологии событий.

обязательно) и часто видели таких больных связанных и покрытых особым покрывалом, а что далее с ними было, я не знаю.

Только при посещении нами с женой Соловецкого монастыря в 1914 году я насмотрелся на такого больного у раки мошей, покрытого таким покрывалом. И стоящий у раки и благословляющий людей схимник подошел с книгой и стал читать продолжительную молитву и в конце молитвы громко прочитал: «Именем Господа нашего Иисуса Христа повелеваю тебе, нечистый демон, изыди из него и не входи в него». Глухо, с каким-то шипящим звуком отвечает: «Не изыду, не изыду никогда». Схимник: «Изыдешь, изыдешь». Мы вышли из храма последними, а дальше не знаем, что было с этим больным. Я неоднократно рассказывал об этих событиях врачам, и врачи с уверенностью утверждают, что это артисты, они берут на себя такую роль за громадные деньги, которые платят богатые монастыри артистам, чтобы утвердить веру в чудеса и вообще поддержать религию. Но я возражал, что не может взять на себя такой роли никакой артист, т<ак> к<ак> больной абсолютно бессознательный и ведет себя бессознательно, он может убить человека или нагворить худших бед, весь он в слюне, пене, весь омокнется на полу. Такое мнение настоящих врачей, что все-таки мнимобольные и мнимые их путеводители, проведя такого больного по богатым монастырям, получают огромную сумму денег. Не могу согласиться с таким выводом современных врачей.

Самый большой наплыв паломников был в 1903 году ко дню 8 июля, ко дню памяти нападения англичан на Соловецкий монастырь в 1854 году во время Крымской войны. Народ съезжался для участия в крестном ходе вокруг (внутри) крепости монастыря. Внутренний простор крепости не вмещал всех людей, а окружность стены 1 верста 250 сажен, так что первые вышедшие уже обошли по крепости, а задние только начинают входить. Архангельская гостиница, расстрелянная, как решето, стоит и служит доказательством жестокости англичан — сколько они могли выпустить пушечных ядер, но каменная монастырская стена устояла.

Кроме своих монастырских пароходов приходили с паломниками и частные пароходы, и тут привозили таких свирепых больных и как раз во время богослужения. Крики больных и шум ведущих нарушали богослужение. Каких только больных тогда не привозили: и безногих, безруких, трясущихся, слепых. У одной женщины был рот не на месте, не тут, где должен быть, а около уха на щеке — всех не перечислить. Но зачем сюда к мощам Преподобных привели их? Видимо, никакая медицинская наука не могла оказать им никакой помощи, и вот по вере их и по вере путеводителей привезли их сюда.

В Великий четверг происходило омовение мошей. После литургии в Великий четверг посредине церкви ставился стол, приносили из алтаря щит, в котором вделаны золотые и серебряные дощечки. В эти дощечки вделаны мощи св. угодников самые крошечные. Есть тут часть древа Креста Господня, миро от мошей св. Николая Чудотворца, св. великомученицы Варвары, но всех не запомнишь — нужно было записывать. Иеромонах (ризничий) опоясывается длинным полотенцем, из сосуда наливает воды, кропляет отдельно освященной водой каждые мощи и вытирает полотенцем. Так же омывают мощи Преподобных Зосимы и Савватия, св. Филиппа в Филипповской церкви. Но это омовение совершается в присутствии только начальства: Настоятеля, Наместника, ризничего, Благочинного, духовника. Рама со стеклом с раки снимается, доски с изображением ликов Преподобных снимаются, вынимаются пелены, а как происходит омовение, нам не показывали. После омовения все водворялось на свое место: пелены, доски с изображением лика Преподобных и пелены и стеклянная рама. Ко всем мощам с коленопреклонением прикладывались. В пятницу Великую трапезы не было. В субботу трапеза с растительным маслом и вином труда ради бденного.

В Вологодской области (губернии) по всем уездам в 1902 году летом была страшная засуха: травы засохли, хлеба сгорели от жары. Мама пишет: «Хлеб не уродился, сена очень мало, люди сбывают коров и лошадей. Воз сена стоит 25 рублей и корова 25 рублей. Я продала своего хромого коня за 90 копеек и с уздой свела коня на скотобойню. Целого рубля не дали за коня. Домой не ездил,

оставайся в монастыре, т<ак> к<ак> дома с голоду помрешь. Я приеду посмотреть тебя, когда посеют яровые и посадят картофель. Вася чуть не умер от скарлатины».

У многих певчих приезжают матери — взглянуть на своих детей. Матери хорошо одетые, а некоторые по виду культурные женщины. А мне хочется домой. Последние два месяца я все думал о приезде мамы и поездке домой. Мама написала, что такого-то числа из дому выедет. Несколько раз отпрашивался встречать маму. Приехала одетая в ветхое рубище. Со мной пришли два моих товарища-певчих, а мне тяжело смотреть на нищую. А товарищам в насмешку, что я нищий — мать кусочки собирает. Пошли к дяде в келью, поплакали.

Дядя и мать убеждают меня не ездить домой. Если голоса не будет — будем учить мастерству. Но ничего со мной не поделали — не убедили меня. Сходил к Настоятелю за благословением, получил два рубля денег на билеты для проезда в дороге. Получил свою деревенскую одежду и два рубля денег.

Приехали с мамой домой. В течение года я вырос на целую голову, головой ударялся о брусья полатей и грядки<sup>6</sup>. В избе убожество, темнота, окна — маленькие дыры. Волосы отросли ниже плеч. Деревенские соседи пришли смотреть: Ваня-монах приехал. Вася мало подрост. Не знаю, чем они жили, питаюсь зиму, — ведь хлеба не хватило, да еще нужно было плотить государственную подать с трех наделов около 4-х рублей. Сенокосные надельки мама отдала за пашню трех наделов. Положение безвыходное. В таком положении нестарые соседи уходят подальше от дома и, не найдя никакой работы, — нищенствуют, собирают кусочки подаванием. К весне являются домой к посеву яровых и посадке картофеля.

(Вернувшись домой из Соловецкого монастыря в 1903 году, отбив годовое обещание, я увидел и понял свое убогое нищенское положение. В хозяйстве нет ни лошади, ни коровы, сенокосные надельки отданы мамой за пашню трех земельные надельки. Рабочих рук нет, т<ак> к<ак> брату Васе еще всего пять лет, а мне 15-летнему тоже не к чему рук приложить, а мама исхудала 50-летняя постница-богомолница — плохая работница. Да и земля без удобрений и <при> плохой вспашке наемными руками начала пустеть — зарастать сорняками. Сам-собой напрашивался вопрос, что без лошади и скотины хозяйство — пашня — запустеет. Но как приобрести лошадь?

Посоветовали нам обратиться в Уездную Сольвычегодскую кассу взаимопомощи. Написали заявление о выдаче ссуды в <нрзб> на покупку лошади. По правилам требовалось иметь трех поручителей, но никто из соседей не согласился быть поручителем за наше нищенское хозяйство.

Получили извещение из кассы, что наше заявление передано на рассмотрение смотрителя для обследования нашего хозяйства. Приехал на почтовых лошадях красивый, толстый барин. Мы нищие с мамой вышли к кибитке, я снял шапку, не зная, как почтить барина. Рассказали с мамой свою нужду, да он и сам хорошо видел нашу некультурность и нищету. Сказал, что о выдаче ссуды решит сессия через неделю.

Получили извещение: за несостоятельность хозяйства и отсутствия поручителей в ходатайстве отказать. Как выйти из безвыходного положения?

Додумались предположить так: в случае приобретения лошади я дал обязательство соседу, который летом ездил в Архангельск на работу, вспахать его землю 4 надельки и получил 12 рублей задатка. Мама, падая с поклоном в ноги доброй учительнице Любви Светлосановой, получила 5 рублей (взаимобразно), и крестный погибшего отца, капитан парохода Александр М. Журавлев дал 5 рублей. Тетушка, сестра мамы, дала 5 рублей.

В соседней деревне купили кобылу за 25 рублей. Сельскохозяйственный инвентарь был в сохранности своей. И вот с полной молодой энергией я начал обеспечивать себя отоплением и не упускал случая заработать себе копейку на удовлетворение своих нищенских нужд.

<sup>6</sup> Здесь — шест, слега, жердь, соединяющая стены, подка вровень с полатами.



Пришла весна, вместе и заботы пахать и обсеять землю соседа и свою. Лошадь хотя невидная, но для работы хороша. Лето в 1905 году было жаркое, в Петров пост при вывозе на пары навоза оводы заедали до крови лошадей. Пахать приходилось ночами, а днем отдыхать. За 2 дня до Петрова дня, 26 июня (ст. ст.), около 10 часов вечера поехал я пахать ночью — не жарко. Допекают комары. Приехав домой и закусив чего нашлось, мама положила на пол полено, на него подушку и я с устатку уснул крепким сном.

Приснилось мне, что иду я по вытоптанной скотом глинистой дороге, едва перешагивая за высокие глинистые высохшие бугры, и несу на плечах всю с оглоблями соху. Колечко, за которое привязана лопатка для очищения сора с лемеха, при перешагивании за бугры издает звук: тиль, тиль, тиль. Вижу — открыта кузница Ивана Егоровича Ладкина, дошел до двери и снял с плеч соху и поставил к стене. Заглядываю в дверь и вижу — Иван Егорович лопатой кладет угли в горно, в котором находится коса-горбуша. Потом взялся за рычаг и начал мехами надувать воздух в горно. Коса накалилась добела, он вынял косу, положил ее на наковальню и начал обрабатывать ее молотом, причем искры с треском полетели и на меня. Прodelав такой прием три раза, он положил косу в воду. Подошел ко мне и спросил густым басом: что у вас? Я говорю, вот что случилось. Лемехи отлетели с деревом. Этакая беда-то, как лошадь-то цела осталась. На этом сон мой кончился.

Мама разбудила меня, приготовила поесть, что пригодились, и, пока не жарко и не поднялись овода, часов около 4 — 5 поехал пахать. Приехав на пашню и проехав борозды 2 — 3, вижу: лошадь моя фыркает, сторожится и дрожит — чего-то боится, остро глядит в стороны. Доезжая до межи, она направляется идти домой, но я поворачиваю ее обратно и, наконец, несмотря на мои усилия удержать ее, бросилась бежать домой, а я, уцепившись за вожжи, хотел остановить ее, но из опасения быть изрезанным острыми лемехами отпустился от вожжей.

От быстрого бега образовался столб сухой пыли, а лошади в пыли не видно. Неизбежно лошадь должна отрезать себе ноги, т<ак> к<ак> лемехи были у самых ног лошади. Сознывая эту опасность, я с рыданием бежал вслед лошади и вижу один лемех (ральник) глубоко уткнулся в землю, отломившись со всем деревом, второй лемех, зацепившись за бревно, отломился и отлетел через изгородь в сторону. Лошадь цела, стоит у ворот сарая, вся трясется. Выпрягли лошадь, привязали к столбу, и начали с мамой бичевать лошадь ивовыми прутьями, толкнули во двор и в наказание оставили без корма.

Сейчас же взвалил соху на плечи и, взяв лемехи, пошел в кузницу по вытоптанной скотом глинистой дороге, едва перешагивая высокие глинистые засохшие бугры, неся на плечах всю с оглоблями соху. Колечко, за которое привязана лопатка для очищения земли с лемехов, при шагании от сотрясения издает звук: тиль, тиль, тиль. Кузница Ивана Егоровича открыта. Дошел до двери и снял с плеч соху и поставил к стене. Прихожу к двери и вижу — Иван Егорович лопатой кладет угли в горно, в котором находится коса-горбуша. Потом взялся за рычаг и начал мехами надувать воздух в горно. Коса накалилась добела. Он вынял косу, положил на наковальню, предупредил меня — поберегись — и начал обрабатывать молотом косу, причем искры с сильным треском полетели на меня. Произведя такую операцию три раза, он положил косу в воду. Подошел ко мне и спросил густым басом: что у вас? Я говорю: посмотри, что случилось, лемехи отлетели со всем деревом. Этакая беда-то, как это лошадь-то цела осталась?

Когда серьезно, здраво вдумался в происшедшее и благоговейно перекрестился, да ведь это не сон, это свыше — Перст Божий, вразумляющий меня и укрепляющий веру в Бога. Во-первых, обыкновенные простые сны не сбываются, и им верят простые суеверные люди. Да и вообще сны у всех людей беспорядочны, неразумны, сбивчивы и верить им неразумно. По опыту высоконравственных людей достоверно фактически доказано, что бывают сны особенные, пророческие, которые сбываются в абсолютной точности с виденным и по утверждению св. Феофана — Затворника Вышенского — и других богословов бывает только один или два раза в жизни. Чтобы сбылся такой сон в точности, неизбежно приходится признать, что Кто-то, какое-то всевидящее Око свыше знает сцеп-

ление всех причин и обстоятельств, проникает в сокровеннейшие мысли и изгибы человеческого сердца и определяет будущие желания всех людей, эти требования не может выполнить никакой человеческий ум.

Следовательно, когда мы видим, что виденный сон сбывается в абсолютной точности с виденным, в той самой обстановке, с теми людьми и их действиями и предметами, в абсолютной точности с виденным, тогда мы без всякого сомнения должны или даже вынуждены признать, что сон послан по вдохновению от Бога и воспринять его может только душа человека. Кроме области материальной, есть область высшая — духовная, к которой ум человеческий, как не совершенный, не может войти с ней в общение и применить свои научные исследования. Но Бог в помощь человеку сам открывает себя достойным людям в сновидениях для поддержания веры или для предупреждения какой-либо опасности, и это так неопровержимо и достоверно, как достоверно и неопровержимо само наше существование.

Виденный мною сон сбился в абсолютной точности. Через  $1\frac{1}{2}$  часа. И поражает чудесностию в том, что, если бы не отломилась лемеха, неизбежно погибла бы лошадь, изрезавшись острием лемехов, и отломилась лемеха в таком прочном месте, где никак невозможно отломиться.

Висела над нами большая беда и горе. Лошадь еще не оплачена, и мы остались бы без лошади и должны 25 рублей. Нестерпимая утрата, нестерпимое горе. Приходится признать неизбежно, что нас сохранило от беды какое-то всевидящее и вседеприсутствующее Око, которое видит и знает все наши будущие мысли и намерения. Это для меня так утешительно, что приходится вспоминать каждый день в текущих ежедневных делах и задавать себе вопрос: смотри, какую милость явил тебе Бог, — ты узнал и увидел всеведение и вседеприсутствие Божие, что дороже всякой мудрости человеческой.

Как необходимо и плодотворно это знание. Оно дает человеку неопишущую радость, успокаивает страсти и в минуту жизни трудную, когда теснится в сердце грусть, с души как бремя скатится, и будет легко, легко. Не будь у меня этого откровения, натворил бы я немало безнравственных дел, но благо мне, что у меня есть в памяти это всевидящее око и я вынужден радоваться и благодарить, что открыто мне свойство божества и вседеприсутствие.

Послушает мою такую исповедь современный ученый-атеист и подумает: лишился ты, неграмотный старик, ума, проповедуешь сказки, посмотрит на меня с презрением или с сожалением и скажет: «Отстал ты, старина, от современной культурной жизни».

Не отвергаю учености, напротив — благоговею перед ней. Но в то же время подумаю: жалок ты — прошел все науки, а не узнал самого драгоценного, что я знаю, малограмотный мужик.)

### Глава 3-я

Рук приложить мне было не к чему — в хозяйстве нет ни лошади, ни коровы. Сенокос отдан за пашню наделов. Как мне жить далее — нужно чему-то научиться, чтобы добывать кусок хлеба. Часто, выходя из церкви после обедни, вижу на площади рынка привезенные из Вятки товары: стулья, шкафы, столики, наблюдники, ложки.

Где же научиться такому прекрасному мастерству? В соседней деревне был столяр — работал оконные рамы, деревенские стулья и столы, что требовалось в небогатой крестьянской обстановке. Он слыл богатеем: имел ларек мелочных товаров: чай, сахар, табак и часть мануфактуры. Человек он был непьющий и экономный. Вот к нему я и решил обратиться с просьбой принять меня в ученики столярному делу. Он не устоял и не интересовался научить кого-либо, но меня решил принять на тех условиях, чтобы мне на моем содержании отработать одну зиму бесплатно, а если я буду работать у него и другую зиму, тогда он положит мне плату по 10 копеек в день. Я охотно согласился, сознавая, что я пользы ему не принесу.

Так я и работал у него зиму, обстрагивая доски и бруски. Старался от всей души угодить своему учителю. С собой из дома на обед я брал поджаренные ломти хлеба с солью и больше ничего. Во время обеда я хлеб обливал горячей водой и сьедал. Семьи у них не было: муж и жена. Мне хотелось бы поесть картошки с постным маслом, но они, такие недогадливые, не понимали этого. К чаю приносили по одному калачу, сушки, а я обливаю свой жареный ломоть и ем. Видимо и соседям нечего было делать зимой и они целый день просиживали у моего верстака и курили. Я так много настрагивал стружек и уставал, что до утра спал на стружках, мягко! Ранним утром ходил домой за хлебом. Я присматривался, как мастер чертит рамы, ящики, резает шипы и долбит проушки. К концу зимы я уже вязал рамы и вязал к комодам ящики. Успехи радовали меня. На вторую зиму мой учитель обманул меня — предложил учиться на прежних условиях — бесплатно. Правда, и у него заработок невелик, 10 — 15 копеек в день, но это для нас клад — в теплом углу заработать 10 — 15 копеек в день. Хотя бы часть питания дал, ведь у него ларек продуктов питания. Пришлось мне согласиться еще зиму работать бесплатно за вычку.

В субботы и праздники в школе изредка служили всенощную, и я не пропускал ни одной всенощной. Приехал на смену молодой учитель-скрипач и поет жиденским баском. Любовь Николаевна — альто-сопрано, поет вся школа. Чувствую у меня образовался тенор, с учителем и учительницей я подпевал аккорд, и они чувствуют это и знают, что я был в Соловецком хоре. Они стали всегда извещать меня о служении всенощной.

Я начал работать дома, насколько позволяли инструменты: делать наблюдники, табуретки, обеденные и кухонные столы. Сработанное в течение недели на салазках везу в Черевково на рынок иставляю свой товар. Цена табуретки — 15 коп., наблюдника — 15 коп., стол обеденный — 1 рубль. Не всегда удается сбыть свой товар, оставляю до следующего воскресенья, когда еще привезу столько же.

А если выручить 1 рубль или 1,50 коп., тогда я чувствую себя богачом — могу обеспечить себя на неделю или более питанием и купить чего-нибудь для хозяйства.

Учитель мой разбогател, обстановку в доме завел с комфортом, резные фоторамы позолотил. Устроил ветренную мельницу для обдергивания и размола зерна, изобрел очень практичную льномялку — все это стало давать доход и без того богатому хозяйству. Поставил огромную мачту для радиоприемника и слушал сколько угодно.

Учитель и учительница — страстные любители музыки и пения. А скрипка — это душа музыки и пения. Они стали приглашать меня для того, чтобы составить полный аккорд в пении. Они под скрипку пели разные гимны. Но более, я думаю, они видели мое сиротски-бедняцкое положение. Я, стеснительный, нетактичный, боялся сесть за стол, когда предлагали закусить или стакан чаю. Моя нечесаная голова и неуклюжая одежда стыдили меня. Но они, оказалось, нуждались в моем голосе.

Так шло время. Учительница очень жалела мою маму. Она не раз заходила в нашу убогую и темную избу, приносила маме и брату белого хлеба и калачей. Однажды я делал токарный станок для обтачивания дерева, ученик приносит мне записку с подписью учителя и учительницы такого содержания: вчера нашу школу посетил обозреватель училищ протоиерей Смелков. Мы доложили ему о тебе, как о бедном сироте, чтобы походатайствовать перед Епископом В<елико>-Устюжским Алексеем, не разрешено ли будет явиться мне в город В<еликий> Устюг в Архиерейский хор на испытание и принять его, если окажется достойным, он участвовал в хоре Соловецкого монастыря. Протоиерей вписал их ходатайство в свой памятный блокнот.

После этого прошло более трех месяцев, вероятно, позабыли и учителя, а я увлекся своей столярной работой, да и мало верил в осуществление такого счастья. В декабре месяце 12 или 13 числа меня вызвали в школу и объявили, что от протоиерея Смелкова получили письмо, в котором упомянуто и обо мне, что Епископом Алексеем разрешено мне явиться на испытание, и если будет полезен для хора — будет принят.

Пришедши домой, я объявил матери и брату, что я завтра ухожу в Устюг. Что тут повелось у нас! Мама голосит: «Никуда не пойдешь», брат катается по полу, кричит: «Ваня, не ходи, образумись!» Мать говорит: «Тебя не примут, потому что ты оставляешь нас беспомощных на голод». Любовь Николаевна успокоила маму. Ведь это все к лучшему. Архиерей-то Алексей очень добрый, он и Васю устроит в Духовное училище, а Ване даст где-нибудь при церкви место псаломщика. Решение мое неотвратимо. Сложил в котомку имеющиеся сухари, целые, без заплат, валенки (в дорогу надел старые — заплатные), тужурку поношенную. Помолились в слезах Богу, и я отправился. Любовь Николаевна послала со мной письмо в Устюг знакомому учителю с просьбой, чтобы он пустил меня переночевать, и заранее изготовили удостоверение моей личности с подписью священника. Денег на дорогу нашлось целый рубль.

В первый день я отошел 25 верст. Пустили ночевать в богатом доме, вероятно, с подозрением, как нищего. Хозяин — кузнец. Я смиренно приютился на лавке у двери. Хозяйка и хозяин справляются с вечерней хозяйственной работой. Кипит самовар. На столе появилась сушка, сахар и конфеты. «Молодец, садись кипятку пить!» Я развязываю свою котомку, но они возражают, что у нас хлеба хватит! «Так скажи, откуда ты и куда пошел?» И я со всей откровенностью сказал: «Иду в Устюг поступать в Архиерейский хор». — «Пойди-ка ты, молодец, домой, разве примут таких в Архиерейский хор. Ты наверно жениться хочешь, невеста молода и идешь с прошением к Архиерею». — «Нет, иду в хор поступать». Не знаю, поверили или нет мне. Точно такая же картина на следующей ночевке. Вечером я попил чаю со своими сухарями. Спал на полатах. Утром расспросы: куда и откуда, и недоверие. От такого недоверия и советов вернуться домой я стал иметь неуверенность себе. Но удостоверение личности и ходатайство прот<оиерея> Смелкова подкрепляло меня.

Наконец на 5-е сутки дошел до Устюга и добрался до Михаило-Архангельского монастыря. Я явился в дом Архиерея Алексея. Вышел келейник, и я рассказал причину прихода и отдал ему свои документы — удостоверение личности с ходатайством. Келейник смерил взглядом мою деревенскую фигуру и одежду, не пустил меня, думая, что неприлично пускать таких некультурных, взял мои документы и показал Архиерею. Но Епископ потребовал меня лично налицо. Келейник — светское лицо, в изящной городской одежде, учит меня: «Войдешь, по правую сторону икона Успения, когда услышишь шаги, что Владыка идет, ты помолись на икону и сложи вот так руки. Владыка благословит тебя, поцелуй его руку, низко поклонись и расскажи ему, кто ты и за чем явился». Келейник думал, что я совершенно не знаю, как подойти к Архиерею. Я, получив благословение, подал свои документы, а там начинается: «Сим свидетельствуем, что это тот гражданин Иван Степанович Карпов, о котором ходатайствовал протоиерей Смелков». — «Протоиерей Смелков, протоиерей Смелков, а, помню, помню, так вот какой ты! Так что же вам нужно?»

Я с полной откровенностью, как мог, рассказал свое бедственное положение, был в хоре Соловецкого монастыря и прошу Вашего Пресвященства испытать меня по пению и принять меня в хор. — «Доброе дело! Спевки у нас в храме, завтра приходи. А где вы будете жить, у нас квартир нет. В хоре у нас певчих мало, поют ученики духовного училища. В Соловецком монастыре — это хорошо! Это хорошо! Бог благословит!»

Я поклонился низко и вышел. Келейник и говорит мне: «Я думал, что ты Пресвященного удивишь и рассмешишь». Пошел я по адресу письма искать учителя, меня приняли, и я прожил целую неделю, на спевке был два раза. Рубль свой, взятый из дома, уже скоро израсходуется. Учитель сказал, что мне надо где-то прописаться, иначе меня и вас оштрафуют, ведь здесь город, а не деревня. На спевке был бас иеромонах Нифонт. Он просил меня навести порядок в его келье: вымыть пол, выхлопать на снегу ковры, протереть стекла оконных рам, наготовить дров.

Результатов я не получил, не знаю, что скажет регент идти домой или меня примут. О. Нифонт спросил регента и я был принят. Но где жить? В монастырском братском корпусе была одна узкая — в 2,5 метра шириной комната, в ней было по три кровати по ту и другую сторону стены, одно большое окно. В ней

помещалось 12 человек, спали по 2 на одной кровати. Жили в ней три опальных священника, посланные на эпитимию за поведение, два псаломщика, исключенные из духовной семинарии, семинаристы, и еще такие, как я, сироты, но только духовного сословия. Вот в эту квартиру и поместил меня о. Нифонт. Священника срок эпитимии кончался, и одна кровать предполагалась быть свободной. Все находящиеся в этом помещении выполняли работы по бытовым требованиям монастыря, состав которого был: 4 иеромонаха, 2 дьякона, 2 пономаря, пекарь, повар, два звонаря. Всех иеромонахов нужно обеспечить водой и другими услугами. Из всех здесь находящихся пел в хоре, кроме меня, один молодой парень из области Коми.

Служба ежедневная, в будни на клиросе пел один человек, остальные выполняли ежедневные по хозяйству работы. Я захватил из дома алмаз, и как он пригодился. Битых стекол уйма — в коридорах, в кельях, в бане и в церкви, и все это мое дело — вставить и замазать. За чистотой храма следил иеродиакон, он давал всем работу: обтирать павлиновой щеткой пыль с иконостаса, с паникадил и люстр, со стекол на иконах и киотах — следы, остающиеся при целовании. В восьми верстах от монастыря был монастырский земельный участок, и мы ходили жать, копать картофель и молотить.

Трапеза была для всех одинакова: 1-е — рыба с квасом, второе — поре картофельное и в мясоед — молоко. Питание скудное, но небольшую долю получали из церковной кружки. Хор брал со ставленников в священники по 25 рублей, не знаю, куда поступали эти деньги, но за пение кирии элейсон и аксиос певчим слишком велика плата, если все спустить в кружку. От просфор в поминовение — 5 копеек. От этого много не наберется. Делили кружечные деньги между иеромонахами, а нам доставалось около 3 рублей в месяц.

Мама и братец прозябали дома одни, питались чем Бог послал. Вася успешно окончил школу, и учитель и учительница решили ходатайствовать перед Владыкой о принятии Васи в Устюжское духовное училище. Мама и Вася приехали с заявлением к Преосвященному. Пошли мы к Преосвященному втроем, одежда на них нищенская, речь и поступок не культурная, не тактичная. Но Владыка, невзирая на это, добродушно рассуждал с нами, принял заявление и подал надежду, что Васю примут и это выяснится через неделю или около того. Маме нашли работу — помогать старушке-пекарке печь булки, носить воду, дрова, а, главное, помогать месить квашню с тестом. Теперь мы собрались всей семьей в монастыре.

Брату Васе разрешили обедать с нами. На доске-киоске духовного училища было объявлено: в числе принятых был и мой брат, принят на бесплатное обучение. Ясно, что милость Архиеерея к тому еще, что мы не духовного звания, а черносошные крестьяне. Брат мой не уронил себя — все четыре класса кончал с наградой денежной, хорошими книгами: Катехизис большой, Поучения, жизнь и труды ап<остола> Павла, Палестина, Св<ятой> Димитрий Ростовский и его труды. Бесплатно учился <Вася> в Вологодской Духовной семинарии до 4 класса, до закрытия семинарии во время революции.

В начале ноября мама ушла домой в Ляхово справлять дела в своем хозяйстве. Хлеб с 1  $\frac{1}{2}$  наделов получила, отопление из дров старого овина и старой бани. Мама пишет, что ей одной жить невозможно — в избе мороз, дрова приходят к концу. Ей в питании помогала тетушка, сестра маме, у нее была корова и овцы, хозяйство исправное. Время подходило к Рождеству. Неизбежно приходила мысль, что надо устраивать свою судьбу, матери и брата. И я решился со страхом спросить Владыку, не благословит ли он назначить меня псаломщиком какой-либо церкви, т<ак> к<ак> на моих руках и мать, и брат.

Жду выхода Владыки из церкви, стал в коридор и вижу, что Владыку окружили нищие и протягивают руки, он подает, но думаю, что и Архиеерею не хватит денег, если ежедневно подавать всем по копейке. Я низко поклонился и, получив благословение, высказал свое положение и просьбу назначить меня в псаломщики в свободный приход. — «Благославляю! Можешь писать заявление». Я, не медля ни минуты, написал по форме: «Желаю послужить Господу Богу и его святой Церкви, осмеливаюсь просить Вас, милостивый отец и Архипастырь, назначить меня исправляющим должность псаломщика при какой-либо церкви и буду ожидать милостивого Вашего Архипастырского удовлетворения».

И тотчас же снес заявление и отдал келейнику. На доске-киоске значилось свободное псаломническое место, и я ежедневно и ежечасно ходил смотреть. Прихожу и вижу, что приход зачеркнут, а в другой рубрике написано: назначен послушник монастыря И. Ст. Карпов. Побежал к келейнику советоваться, как попасть на место, и он разъяснил, что прежде всего получишь указ о назначении, а потом напишешь прошение Заведующему Стефано-Прокопьевским братством о выдаче ссуды на такой случай и по своему материальному необеспечению. Одежды у меня не было никакой, кроме принесенной с собой из домашнего холста тужурки. Из Братства по заявлению выдали мне 8 рублей. Принял во мне участие добрый келейник, купили на толкучке (рынке) поношенное сильно пальто, починили, и денег осталось 2 рубля. Как ехать или идти пешком? Но и тут счастливый случай помог мне. Надумалось мне искать на постоялом дворе приезжающих и нашел я человека из Красноборска, и он охотно увез меня до самой церкви за два рубля.

(Прибыл я из Устюга на Лябл 11 декабря, явился священнику, а у него за целый год запущено письмоводство — не писаны метрики и исповедные, работы не выполнишь за месяц. Сам он страдает ревматизмом, не может держать ручки или карандаша старик о. Пармен 79 лет. На другой день по моем приезде является ко мне женщина средних лет — акушерка Красноборской районной больницы и горько плачет. Услышала, что на Лябл приехал псаломщик на место ее пропавшего без вести сына, и я заплакался вместе с нею.

Она рассказала, что сын ея Дмитрий Александрович Венецкий в 1910 году кончил Духовную семинарию, в январе месяце назначен был к сей церкви псаломщиком. Прослужил всего 8 месяцев и пропал без вести. А 30 августа вышел Указ о назначении священником Цывозерской церкви. На Лябле он снял урожай хлеба, измолотил и зерно продал богатому мужику Александру Яковлевичу Попову. Деньги — 80 рублей он получил не все, т<ак> к<ак> зерно еще не сдано. Для рабочих по молотбе и для клирошан он устроил угощение — пирушку. Все изрядно напились и поехали за Двину к дояркам с гармонью, но псаломщика с собой не взяли — был очень пьян и остался дома. На следующий день он дома не оказался, бесследно исчез.

Прошло 9 месяцев и никаких сведений. Было два допроса, и все участники пирушки показали одно и то же — никаких расхождений в показаниях не было. «Будь добр, прислушайся к разговорам прихожан, когда пойдет со славой в Рождество, ведь такое печальное событие без молвы не бывает, а потом мне расскажете». — Я обещал рассказать об услышанном. Пошли мы в Рождество по приходу со славой и почти в каждом доме главный разговор о пропавшем без вести псаломщике. Я внимательно прислушиваюсь и замечаю, что говорят со священником на ушко — шепотом, опасаясь, чтобы никто из посторонних, а особенно дети, не слышали. Многие из соседей деревни знали трагическую историю с псаломщиком, но из опасения привлечения в свидетели, молчали по пословице: незнайка дома сидит, а всезнайка по дороге бежит.

Купивший у псаломщика хлеб прихожанин был очень богатый, имел ларек продуктовых товаров, а главное — снабжал Северо-Двинское пароходство дровами. Для Александра Яковлевича Попова работал на заготовке почти весь приход, т<ак> к<ак> в то время никаких работ в сельской местности, кроме г. Архангельска, не было. Но репутация Александра Яковлевича была плохая: он обсчитывал и задерживал плату. Рядом с домом А. Я. Попова был богатый дом водника-капитана Федора Васильевича Попова, он был капитаном парохода «Св. Николай Чудотворец», пароход этот назывался пароходом «о. Иоанна Кронштадтского», о. Иоанн ездил на нем в Суру — женский монастырь, будто бы им основанный. Протоиерей Кронштадтский не один раз ночевал у капитана, служил в Лябельской церкви и подарил о. Пармену рясу, в которую при смерти положили о. Пармена в гроб. Бедным прихожанам в виде милостины о. Иоанн раздавал деньги по 3 — 5 рублей, а одной вдове, у которой медведь задрал единственную телку, дал на корову 30 рублей.

Этот капитан, т. е. Федор Васильевич имел такой же ларек продуктовых продуктов и, вероятно, на почве конкуренции между соседями была непримиримая вражда. Они никогда не ходили друг к другу и избегали встречи.

После моего приезда прошло 9 месяцев, наступила сенокосная пора — август месяц. По установленному издревле в волости закону никто не имел права начать сенокос ранее Ильина дня (20 июля ст. ст.). За 4 дня до Ильина дня собрались все прихожане делить сенокос. Все уголья сенокоса в лугу в списках поименованы и каждое продается с торгов. На этих торгах и нам со священником выделяли сенокос, и священник послал меня находиться среди прихожан, чтобы не забыли и нас наделить.

Ал. Яковлевич (Янко) чем-то сильно оскорбил жену капитана Пелагею Павловну, и она при всех собравшихся закричала: «Что ты на меня наступаешь, больно-то я тебя испугалась, это ведь не псаломщика убивать!» — «Ах, ты, сволочь ты такая, я псаломщика убил!» — «Ты убил, я не боюсь и уряднику скажу это!» Приехал урядник, составил акт с подписью собравшихся, причем и Пелагея Павловна подтвердила свои слова. Еще нужно было допросить девку Параньку Гришкину, бывшую прислугой Ал. Як., т<ак> к<ак> детей у них не было, но эта девка ушла от них и уехала в Конецгорье. Были или нет допросы Параньки — неизвестно.

Теперь для всех яснее ясного становился вопрос исчезновения псаломщика. Соседи не скрывали и того, что в ночь, когда была пирушка у псаломщика, они слышали скандал на крыльце дома А. Я. и стук в ворота дома или сеней. Подозрения на Янке становились вероятнее. А тут еще слух, что псаломщик пришел к Янке ночью пьяный просить неуплоченные за проданный хлеб деньги, но Янко пьяному денег не выдал. Тогда псаломщик взял полено и начал бить в филленку двери и ругаться. Хозяин открыл дверь и ударил псаломщика в висок, и удар оказался смертельным.

Куда девать мертвеца? Втроем с женой и прислугой стащили труп в скотный двор и закопали в навозе, а темной ночью стащили труп в Двину и с камнем из лодки опустили в Двину.

Все такие слухи о исчезновении псаломщика крепили и принимались за действительность. Но трупа, неизвестно где находящегося, не обследуешь и акта для суда не составишь. Так и остались эти слухи не разъяснены до моего отъезда на родину 1928 года.

Никакого судебного процесса Янко за клевету со стороны Пелагеи Павловны не возбудил. А тут постигло Янка второе грозное событие. В декабре месяце 1912 года к Ал. Як. пришли ночью воры. Начали отрывать двери с косяков у магазина, но хозяин услышал и сообразил, что вора нужно застигнуть врасплох. Вооружившись железной палкой, он вышел дверями скотного двора, и пока вор увлекся сломкой косяка и двери, Янко незамеченным подкрался и ударил вора по шее и перешиб сухожилие, вор был ошеломлен и упал, а караульный не успел подать сигнала и убежал. Так не совершилась кража.

Вором оказался Петр Макарович Пепельницын — силач, огромного роста, известный взломщик магазинов и амбаров с хлебом. Вор показал свою силу, он нажимал на дверь так, что лопнул косяк двери, и достаточно было одного сильного нажима и дверь открылась бы. Все приходящие смотрели на дверь, и я смотрел и видел, какие усилия нужны человеку, чтобы расколоть косяк и выдвинуть задвижку замка. Александр Яковлевич задал вору хороший самосуд, вор едва уволок домой ноги, а идти нужно 2,5 км. Хотя и силач был вор, но слег.

Молва об этом событии в минуту облетела весь приход, все с удовольствием отнеслись к этому событию, что нарвался же вор на достойную расправу. Лежал вор в агонии. Врач или фельдшер определил около шеи повреждение позвоночного столба и повреждение ребра. Через две недели вор умер. Когда я стал вносить акт о смерти в метрическую книгу, священник велел в рубрике, где озаглавлено «От чего помер», вписать, что от побоев.

Жена умершего Фекла Пепельницына подала на Янка в суд. Для произведения следствия приехали следователь и врач Пьянков. Народу собралось очень много смотреть производство следствия. Откопали могилу, вынули гроб, труп положили на стол. При 30-градусном морозе врач Пьянков, надев маску и



засучив рукава халата, острым ножом обвел вокруг черепа — повыше глаз и ушей, разъединил кожу и пилой спилил череп и начал обследовать мозг. Следовательно и писец со слов врача все писали в свои книги. Потом врач таким же приемом вскрыл грудь до начала ребер и спросил: сильно ли умерший курил табак, легкие и мозги почернели. Присутствующие подтвердили, что умерший курил из трубки и беспрепятственно. Следствие со слов врача Пьянкова записано.

Написали акт обследования и всенародно прочитали и последний вывод: помер от туберкулеза легких. Никто публично не возразил, но между собой недовольны были. Высказывали недоверие врачу и следователю, что всей этой историей руководят деньги. Как переживал А. Я. такие моменты? Но теперь он остался непричастен к смерти Петра Макаровича, не найдено следствием каких-либо признаков побоев.

За два года ранее описанных событий в 1910 году, в августе месяце, поднялась сильная гроза, молния опалила позолоту иконостаса, но ничего более не повредила, только вспыхнули и сгорели два суслона ржи. Позолота почернела. В 1912 году пригласили Велико-Устюгских мастеров золотить иконостас. Средств церковных не хватало, и Александр Яковлевич помог осуществить такое святое дело. Кроме сего, он за свои средства позолотил огромную икону Михаила Архангела и стал часто посещать храм и коленапреклонно молиться пред иконою, им позолоченною. Стал участвовать неуклонно в крестных ходах на воду и вокруг храма, неся хоругви или икону. Видимо произошел какой-то переворот во внутреннем мире Александра Яковлевича.)

#### Глава 4-я

Пришел я на первую всенощную. Народу собралось немного. Зимой служили в приделе Михаила Архангела, и никакого клироса не было, а у стены был аналой. Ко мне пристали трое мужчин, поют в унисон своеобразно, искаженно. Я прочитал шестопсалмие, канон и первый час. О. Пармену, через людей слышу, понравилась моя служба, но сильно не понравилось, что я из мужиков; он говорит, что мужику нужна соха, а не псаломщиком быть. К обедне собралось больше молящихся — смотреть молодого псаломщика из мужиков. В приходе большая часть водников: капитаны, лоцмана, баржевые, народ развитый, бывалый. Богатые шубы, вся одежда, а на мне старое, изношенное, купленное на рынке пальто с облезлым воротником, а при случае и раздеться нельзя, более на мне ничего нет.

Пошли в Рождество со славой. В домах водников роскошь: гардеробы, зеркала, трюмо, граммофоны. Я услышал, про меня идет молва, что я, мужик, Архиерею в Устюге баню устроил, и он дал мне место псаломщика. Угощают нас чаем со всевозможными закусками и у многих праздничные роскошные обеды. Не знаю, в шутку или всерьез, меня спрашивают: давно ли со скамейки. Я говорю, что я Архиерею баню срубил и рамы для бани сделал, мне ничего не платили, а послали сюда к вам, т<ак> к<ак> у вас давно нет псаломщика.

О. Пармен не мог выходить на крыльцо из-за ревматизма и старости, и я был его поводырем. Мне ничуть не оскорбительно было, что меня — мужика — из-за постройки бани назначил Архиерей псаломщиком, а смешно.

Церковь стоит на самом берегу Двины, и под церковью полой<sup>7</sup>, в котором зимуют баржи и пароходы. Крысы, а крыс в баржах кишмя кишит, зимой убегают в деревни, и от крыс весь приход страдал, в каждом доме их кишит. Я ночью слышу, что по мне бегают крысы, и вижу: лазят по рамам и обдирают бумагу, которой оклеены рамы. Старушка-дьяконица беспомощная — ей какая-то за мужа пенсия дана, но маленькая, она нищенствовала — собирала милостины.

Поехал я на родину Ляхово за мамой, нанял там мужиков погрузить все ее имущество, состоящее из 10 пудов зерна, ушаты, столярный верстак и материал для столярных работ. Приехали, выгрузили и, поужинав, уснули. Проснувшись, обнаружили, что взятые на дорогу продукты питания съедены крысами, а кузова и корзины прогрызены.

<sup>7</sup> По лóй — речной залив.

И стали со мной жить две старушки. Средств у меня никаких, и ни одежды, и у мамы как у нищей. До церковного жалования 96 рублей надо ждать целый год и до урожая год. С Рождественской славы мне присчиталось 12 рублей, из них я послал долг Стефано-Прокопьевскому братству 8 рублей. Если нет службы в будний день — я уходил в лес рубить дрова, ведь надо позаботиться и о будущем. Ближний лес недалеко, нарубаю дров на круглый год, плачу налог за древесину, нанимаю работника с лошастью и обеспечиваю себя отоплением.

(Беседа со старообрядцами в 1910 г. /20 июля/.

В нашей Ляховской волости из стариков было много староверов-раскольников. Они в церковь не ходили, хулили и ругали ее. Всех православных, кто ходит в церковь исповедоваться и причащаться, раскольники-староверы считали нечистыми — погаными, а себя чистыми — святыми, и с православными не пили, не ели. Чтобы не поганить себя, они всегда носили с собой чашку, ложку и стакан и только после молитвы над пищей и водой ели из своей посуды.

Если православный человек зайдет к ним в дом и перекрестится, когда они обедают, то эта пища считается оскверненной, и они ее не едят, а отдают скоту. Лавки и стулья, где сидели православные, они обмывают. У нас в Ляхове по речке Тядиме у них построена моленна — большой дом, с куполом и крестом, а около моленны настроены маленькие двухкомнатные домики, в которых живут старики и старухи старообрядцы.

Их населилось много — не менее 60 человек. Они называют себя «Филипповское согласие». Много староверов по деревням, но это другая вера, они называют себя «федосеевцами».

Эти двое веры непримиримые враги между собой. При переходе из веры в веру перекрещиваются с проклятием старой веры. У нас земельные наделы чересполосица и раскольнические наделы чередуются с нашими наделами. Летом у нас обычай в Петров пост служить молебны на полях, но раскольники не разрешают поганить их поле, и были не единичные случаи, когда они прогоняли священника и всех присутствующих, вооружившись колями.

В 1910 году, 20 июля, в Ильин день было объявлено по деревням, что в 3 часа дня в церкви св.<ятого> пророка Ильи будет беседа со старообрядцами. Приехал миссионер, и раскольники дали согласие на беседу. Мы с соседом Афанасием Ив<ановичем> после обедни остались послушать беседу.

В церкви на средину поставлен аналой, на нем крест и Евангелие. Для миссионера сделано возвышение, для старообрядцев наставлено много скамеек. Народу было очень много, паперть, два придела — Ильинский и Никольский — полны народом. Раскольники принесли много книг. Встали, пропели «Царю Небесный», «Верую во единого», и старообрядцы сели.

Отец Харламгий Пулькин начал объяснять, что представляет из себя Святая Соборная и Апостольская Церковь. Господь наш Иисус Христос нашего ради спасения основал на земле св. Церковь, обещая ее незабываемое пребывание до скончания века, учредив в ней непрерывно ведущуюся Иерархию до окончания века, учредив три ступени Иерархии: Епископ, Священник, диакон и семь святых таинств: крещение, миропомазание, причащение, покаяние, священство, брак и елеосвящение. Глава св. Церкви сам Иисус Христос и Епископ, а без Епископа Церковь не есть Церковь, а самовольные сборища безблагодатные. К сей-то св. Соборной и Апостольской Церкви мы имеем счастье принадлежать.

Миссионер Николай Александрович Соколов предложил, чтобы без разрешения со стороны слушателей в беседу не вступать, а желающим выступить — поднять руку. Беседу на начатую тему доводить до конца.

Священник о. Харламгий попросил слова и сказал: «Господь наш Иисус Христос сказал, что он есть истинная виноградная лоза, а Отец Мой виноградарь. Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, отсекает. Как ветвь не может приносить плода сама по себе, не будучи на лозе отсекается и засыхает и ее бросают в огонь, так и отторгшийся от св. Церкви не может получить спасение, не питаясь и не освящаясь св. таинствами, установленными Иисусом Христом»

и Апостолами. Слова Иисуса Христа непреложны: небо и земля прейдут, а слова Иисуса Христа не пройдут».

Миссионер: «Теперь спрошу вас, как вы себя называете по обычаю сектантов — староверы, старообрядцы?» — Они сказали: «Мы старообрядцы или старoverческие церкви.— Миссионер: «Старообрядец — звание почетное. У нас есть единоверческие церкви, не отделившиеся от св. Церкви, подчиняются св. Синоду, имеют полное согласие с догматами св. Православной Церкви и наши православные в единоверческих церквах причащаются, венчаются и принимают все таинства. Святейший Синод, снисходя их убеждениям и требованиям, разрешил им содержать старые обряды. Для них название «старообрядцы» считается почетным».

Миссионер: «Теперь спрошу вас, старообрядцы, есть ли у вас св. Соборная и Апостольская Церковь?» — Наставник-филипповец сначала подумал и ответил: «У нас нет церкви и у вас нет церкви, а где она обретается, мы не знаем». — Миссионер: «Если ты не видишь у себя церкви, то должен указать, где она находится, т<ак> к<ак> Церковь без вести исчезнуть не может, согласно обетованию Иисуса Христа, а св. Златоуст говорит — «Церковь святится яснее солнца, и никто не может погасить светлости ея». — Наставник: «У вас нет церкви потому, что все изменено». — Миссионер: «Докажите!» — Наставник: «Не те персты слагаете для крестного знамения, имя Иисус изменили на Иисус, в «Верую» слово «истинного» оставили, в молитве «Богородице Дево радуйся» вместо — обрадованная Мария — поете — Благодатная Мария. Поэтому ваша церковь лишилась благодати, в ней нет спасения».

Выступил федосеевский наставник: «У нас есть церковь, хотя нет Епископа. От дня Вознесения до дня пятидесятого кто был в Апостольской Церкви Епископом?» — Миссионер: «Сам Иисус Христос и Апостолы были Епископы». — Федосеев: «Апостолы были не Епископы, а простые посланники, и первая церковь была без Епископа до дня пятидесятого, вот по этому наша церковь сходна с апостольской церковью». — Миссионер: «Так вы считаете Апостолов простолюдинами?» — Федосеев: «Да, до дня пятидесятого — сошествия Св<ятого> Духа — они благодати не имели, — были простые посланники».

Один мужчина попросил слова и сказал: «Несправедливо равнять Апостолов с простолюдинами». — Тогда взял слово священник о. Харлампий: «Св. Евангелист Матвей повествует: в первый день недели вечером, когда ученики были вместе, явился Иисус ученикам и сказал: дана мне всякая власть на небе и на земле. Идите, научите все народы, крестяще их во имя Отца, Сына и Св<ятого> Духа, и я с вами во вся дни до скончания века. Евангелист Иоанн благовествует в первый день недели вечером, когда ученики были при запертых дверях в горнице Сионской из опасения иудеев, явился им Иисус и сказал: мир вам! Как послал Меня Отец, так и я посылаю вас. Сказав это, Он дунул и сказал: примите Духа Святого, кому простите грехи — тому простятся, а кому не простите — на том останутся. Вот видите: Апостолы в первый день по воскресении имели все дары Св<ятого> Духа, имели повеление пройти всю вселенную крестить, прощать или не прощать грехи Епископами. А когда избрали вместо Иуды Апостола Матфия, Апостолы возложили на него руки с молитвою: Ты, Господи, сердце всех, покажи сего единого от двюнадесятем, и причтен был Матфий к единонадесяти Апостолам».

Миссионер: «Спрошу вас, старообрядцы, веруете ли вы во святое Евангелие? Если веруете, то почему отвергаете слова Иисуса Христа: «Созижду Церковь мою, и врата ада не одолеют ея», отвергаете установленное Иисусом Христом таинство брака? Книга Бытия говорит: Адама и Еву Бог благословил и сказал — раститесь, множитесь и т. д., а во св. Евангелии Спаситель сказал: оставит человек отца своего и прилепится к жене своей, и будут одна плоть, и чего Бог сочетал, того человек да не разлучает. Апостол Павел предписал отношения между мужем и женой, а уста Павловы уста самого Иисуса Христа, вот это и доказывает, что вы не веруете во св. Евангелие, отвергаете Богом установленные св. таинства, и вера ваша не истинная, богопротивная, не старая, а новая вера, вами самими выдуманная. Такой веры никогда не бывало от времен Апостольских и на Руси от времен св. князя Владимира. Такая вера не есть старая вера,

а новая вера — выдуманная ложными учителями. Брак, установленный Богом, считаете блудом, а распутство считаете законным. По вашему учению теперь люди рождаются только от блуда».

Наставники сказали: «Мы этому не причина, т<ак> к<ак> теперь церкви нет, священства нет, а по сложившимся обстоятельствам и по нужде и применение закона бывает». — Миссионер: «Не обстоятельства и не нужда привела вас в такое бедственное положение, вражда и хуление на Св<ятую> Церковь».

Тут взял слово один из православных, он сказал: «Живем мы, православные — соседи с ними, они нас, православных, считают погаными и пальцы наши поганые. А послушайте, православные, какая у них святость. У нас, когда подрастут девки, стараемся отдать в законный брак, а если какая пожелает — в монастырь. А у староверов некуда девать девок. Отдать в замужество на блуд — вера не позволяет. Приходится девке позволить жить распутно, и если родит, то это прощается, а если выйдет замуж — это никогда не простится. Мы знаем их законы. Кто вступает в их веру, не должен жениться, а если женится — должен развестись, иначе не примут в свою веру. Все они Федосеевцы и Филипповцы развелись со своими женами «на чистое житие», живут в отдельных комнатах, но бывают грехи — разведенные рожают. Если родит девка, то ребенка сразу и крестят, а вот для разведенных-то беда — надо нести наказание усиленным постом, тысячными поклонами, не допускают до общего моления, еды и питья, а ребят не крестят, пока родители не выдержат наложенное наказание, т<ак> к<ак> мать кормит ребенка нечистым молоком. Полное у них распутство. Вон Алешу застали, так он едва успел окном выскочить». Тут поднялся смех, и некоторые стали упрекать за непристойность смеха в церкви, но миссионер успокоил, ничего, ничего!

Миссионер: «Вы послушайте, православные, старообрядческих наставников, в какое печальное и невероятное положение завели своих пасомых. Ведь это не жизнь, а прежде вечной муки на земле мука. Старообрядцы Федосеевцы и Филипповцы смотрят на своих жен, как на врагов, которые могут лишить их спасения. А как смотрят дети на своих родителей. В настоящее время вероучения и хуления раскольнические все изучены, их насчитывается 36 вер, все они в непримиримой вражде между собой, многие поделались на мельчайшие секты, и теперь число их до 70 и, вероятно, еще увеличится. Это болезнь церковная, т<ак> к<ак> государство крепко единством веры, а раскольники не молятся за царя, считают его Антихристом, а министров считают слугами антихриста. По регистрации за 1909 год раскольников числилось 12 миллионов».

Миссионер: «Теперь скажите, старообрядцы, каким священнодействием получили вы власть пасти стадо своих овец?» — Наставники сказали, что нас избрало и благословило на пасение стада свое старообрядческое общество.

Миссионер: «И это избрание и благословение общества сообщило ли вам благодать Св<ятого> Духа на совершение таинства крещения, исповеди и прощения грехов и вы вполне ли уверены в этом?» — Наставники: «Да, уверены, т<ак> к<ак> крещение по нужде разрешается простому мирянину, а не только благословленному наставнику, а исповедь совершаем согласно наставления св<ятого> Апостола Иакова: «Братии, исповедайте друг другу свои согрешения».

Миссионер: «Общество ваше благодати на пасение стада преподавать не может, и вы самовольно решились взять власть вам не принадлежащую, вопреки учению Иисуса Христа: входяй не дверью во двор овчий, а перелазай инуде вор есть и разбойник, и вы подпадете под грозное прещение Господа. А Апостол Павел изрекает грозное прещение на хулителей св. Церкви, отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия умирает, кольми паче горшей подвергнется муке, иже кровь пречистую скверну возомнив и Духа благодати укоривый! Из сказанного в этой беседе мне желательно, чтобы вы высказали свое бедственное положение, находясь в этой духовной болезни, и есть ли у вас желание избавиться от нея. И что же для этого нужно? Как зашла эта болезнь, зная это, противоположно тому действуя, можно излечиться от нея. Отпали от святой Соборной Апостольской Церкви по неразумению своему, отвергнув веру в Евангельское и Апостольское учение, нужно восстановить эту веру. Конечно, нелегко это сделать старообрядцу, родившемуся в этой ложной

вере, но нужно усиленно молить Бога и искать истину без гордости, не считая себя наставником и учителем. Искренняя молитва несомненно будет услышана. Другого пути нет. Только вера в Христа и учение Евангельское и Апостольское поможет вам избавиться от сей погибельной болезни». Никто из присутствующих слова более не просил.

Миссионер: «Вы, старообрядцы, если чувствуете, что мною все говорено было резко, и вы чувствуете недовольство, но я должен так говорить, потому что само содержание беседы заставляет. Не раскрыв полностью сущности беседы и темы ее, нельзя достигнуть положительных результатов». Со стороны старообрядцев ничего более не было заявлено.

После этого все стали и пропели «Достойно есть». И что тут поднялось! Все в восторге благодарят Миссионера, просят чаще посещать и беседовать хотя бы с одними православными, т<ак> к<ак> многие склонны к расколу, а раскольники тоже не дремлют — тайком да молча пугают наших неграмотных старух и стариков, уверяя, что в церкви антихрист, церковь поганая, а из-за страха человек решается перейти в раскол, как к великой святыне, там строгий пост, тысячные поклоны, по четкам молитва Иисусова. Как тут не уверуешь в такую святую жизнь. В такую святую крестятся некоторые, не очень старые сразу не решаются — а вдруг еще согрешат — и откладывают крещение до полной старости, а некоторые делают завещания окреститься в веру при самой смерти.)

...С о. Парменом я служил два с половиной года. Его заместил сын его о. Иоанн, переведен из Вятской Епархии по болезни отца. Мама неспособна стала по слабости ни к какому хозяйственному делу и живущая с нами такая же беспомощная дьяконица. Мама стала говорить, что мне нужно жениться. А мне жениться не хочется, потому <что> у меня нет ни одежды, ни стола, ни стула, ни дома, а церковный причтовый дом развалился. Все прихожане советуют мне жениться, а я говорю: «Постройте мне квартиру, ведь старая-то, видите, развалилась». Забота о постройке церковного дома — это дело попечителя. Собрали церковный совет и прихожан и вынесли решение купить для псаломщика в Красноборске недостроенный новый многоквартирный дом. Купили, перевезли, поставили, рамы я сам сделал, остальное оставили в недоделанном виде, потолок не залили, печь — одна русская пекарка, вместо крыльца — ходить по трапу. Сделана была раскладка по 15 копеек с душевого надела, но средств на доделку дома не хватило, деньги ушли на покупку дров к церкви. На свои скудные средства я не мог достраивать не принадлежащий мне дом. Так и жили мы, мучились в доме, пока не выселили меня с семьей во время революции.

Мама категорически стала заявлять — ищи невесту. В соседнем приходе жил старичок-псаломщик с двумя дочерьми, остальные сыновья и дочери были устроены, старший сын был священником, два сына учителями и дочь в замужестве. 15 августа 1912 года помолились с мамой Богу, и с благословения матери я пошел посмотреть девиц псаломщика. Явился, откровенно отрекомендовался, рассказал свое семейное положение и что я, мужик-крестьянин, по милости Архиепископа назначен псаломщиком. Рассказал всю жизнь с самого детства.

Старшей дочери было 35 лет — она в замужество не пойдет, младшей одни годы со мной — 22 года. Сделал предложение младшей. Отец и говорит, что тебе потребуется приданое, а у меня ничего нет и у дочерей так же. Я говорю, что и у меня тоже ничего нет сейчас, заживем так наживем! Кроме псаломщичества я буду столярить и сам себе могу сделать всю мебель и домашнюю обстановку. Старик говорит, что это дело быстро не решается, подожди ответа до тех пор, когда напишем о твоём предложении сыну священнику о. Николаю на реке Онеге в приходе Пияла и сыновьям учителям, тогда дадим окончательный ответ.

Молва о моем сватовстве быстро разнеслась. Начали приходить ко мне разные бабушки-тетушки расхваливать невест, они жнут и молотят, ткнут и прядут, одним словом чудо — не девки. Дошли до старика-псаломщика и такие слухи, что я девкин сын, мать нищая, по миру ходила, а про невесту разнесся слух, что она жила в Петербурге и нехорошая и для меня не годится. Я не ожидал таких слухов и меня смущало это. Была в ближайшей деревне женщина-старуш-

ка, век свой прожившая в Питере, пошел к ней просто поделиться мыслями. — «Какой же порок ты усматриваешь, если невеста жила в Питере — ведь Питер не деревня темная. Я вот век в Питере прожила, но думаю не такая я темная — слепая, как все деревенские женщины и девицы. Ты молодой, жизнь только начинается, ты псаломщик и тебе деревенская девка не подходит. А семья у невесты интеллигентная, а это значит у них культурные обо всем понятия. Это, Иван Степанович, задело всех прихожан, что вы здешних богатых невест обошли, а посватали дочь бедного дьячка». До того доходили и дохвалили, что я стал говорить: «Мне нужна только одна, а нахвалили мне десять».

Земельный свой участок я засеял ячменем и овсом, треть оставил под посев ржи (пары). Нанял пахаря за 50 рублей. Ячмень и овес измолотил и продал за 80 рублей и пары засеял рожью для будущего урожая. Сходил к старику проведать получен или нет ответ на посланные письма. Поинтересовался старик, что Архирей предпочел мужика определить, а духовных сирот сотни не определены. Я сказал, что был в Архирейском хоре и удостоен такой милости и буду из учеников школы устраивать хор — обучать их нотам, т<ак> к<ак> меня назначили учителем пения в школе.

Наконец получил извещение, что ответ от сыновей пришел положительный. Пошел на окончательное решение. Стал спрашивать добровольное согласие невесты связать со мной свою судьбу навек. — «Смотри на меня, я открыл себя со всех сторон, кто я есть. Мать моя, бедная мученица, неспособна ни к какому труду. Брат окончил Духовное училище с переводом в первый класс Духовной семинарии». Договорились мы ехать в Красноборск за покупками материалов для одежды, как мне, так и для невесты, и тут же отдать на пошив портному. У меня созрела мысль провести свадебный стол без вина, пусть это будет противно обычаю, я заявил, и не отверг этого ни старик, ни невеста. А про себя я скажу, что я боялся вина как смертельного яда. Мой отец из-за вина повесился, два дяди стали ужасными алкоголиками, один был часовой мастер и по всем механизмам работал, он держал вино на столе и пил рюмочкой, без этого работать не мог. Второй дядя шел с мельницы пьяный, в поле замерз. Все это отвратительно действовало на меня.

И в Архирейском хоре ходили в Рождество и Пасху к торговцам Ноготкову и Дебенеу с концертом и к другим, по пропетии концерта приглашают к столу — на одном стол роскошной кулинарии, на другом — всевозможные сорта вина и радушное приглашение хозяина: «Пожалуйте, господа, пожалуйте». И вот наши «господа» так нажалуются, что идут веселыми ногами в церковь и поют пьяными голосами, а молящиеся слушают пьяное пение. Но меня отнюдь ни разу не соблазнило вино, из кулинарии я брал сколько требовалось и дожил до 83 лет, не пробовав никакого вина, нашел для себя великое счастье.

И так мы обоюдно решили провести свадебный стол без капли вина. Священнику отнесли вино на дом, хотя он был за брачным столом. Пусть это будет не по традиции, но для меня и для невесты удовлетворительно — нет ни галдежа, ни бессмысленных песен. Достаточно было гармоники и гитары послушать опытного игрока. И так мы соединились в церкви законным браком.

Брачная жизнь только начинается. Надо приобрести хозяйство, теперь домашняя бытовая работа легла на супругу. Меня воодушевляла мысль устроить хор. В школе я обучал только молитве перед началом учения и после учения. А на уроках пения от себя решил познакомить учеников с нотами. На классной доске писал гамму и объяснял музыкальные знаки. Нашлись мне сотрудники. Один из прихожан учился ранее в Архангельском городском училище и состоял в хоре и у него первый тенор. Другой прихожанин — такой же обещанный на год в Соловки, но только он пел не в соборном хоре, а в Анзерском скиту — на одном из Соловецких островов — у него средний бас. Ноты он знал только по обиходу, и вот я уцепился за них со своей неотвязной мыслью создать хор и достойное храма Божия пение и нашел в этих прихожанах страстных любителей.

Молодая учительница не любила пения или была неспособна, поэтому и назначили меня учителем пения. Два урока в неделю — небольшой труд, пропеть из «Октоиха» на гласы «Господи воззвах». Молодую учительницу перевели в другую школу, приехала учительница другая, средних лет — Мария Павловна

Беневоленская. Не отказалась и она от нашего общества, знала ноты и голос альты-сопрано. Учеников она приводила в церковь к обедне, и за всенощной ученики читали шестопсалмие и первый час. Не жалела времени учительница и на спевки, которые бывали раз и два в неделю. Все мы с нетерпением ждали большого праздника, когда наш хор пропоеет обедню или всенощную. Зимний храм у нас маленький и нашего «хора» достаточно.

О. Иоанн Кубенский, сам семинарский певчий, сначала был равнодушен, не веруя в наши мужицкие знания, да к тому еще вводить новости в храме Божиим — вызовет недовольство и ропот прихожан, не слыхавших никогда ничего лучшего, кроме своего мужицкого пения, к которому с детства привыкли. Первое наше выступление было в день праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы, когда спели, чувствуем, что поем с успехом. Не знаю, как это отразилось на музыкально неграмотных молящихся. Но священник просил нас не расходиться, а повторить «Ныне отпускаеши», ему теперь поверилось, что мы, мужики, можем создать. Мы были в восторге. Мария Павловна, единственный пока голос, который был дорог нам. Учеников я готовил 6 человек. За литургией спели «Милость мира» Старорусского, задостойник попросту. Супруга моя и мама прислушивались к суждению молящихся — все одобряют. Но были и такие молящиеся, которые порицали: разве в церкви полагается так петь, затянули ос-а-а-ан-на-а-ан-а и конца нет.

К Великому посту влились в наш хор и те 6 учеников, которых я готовил. Теперь мы с большой уверенностью в свой успех стали готовиться к Пасхе. О. Иоанн приходил в школу на нашу спевку и своей критикой делал нам пользу. Мы решили, не жалея времени, делать спевки два раза с участием тех 6 учеников. Все это время, проведенное на спевках, было для нас большим наслаждением. Разучивали Пасхальный концерт «Днесь всяка тварь веселится и радуется» Дегтярева. Самое эффектное место переключки: воскресе, воскресе и ад пленися. Соло «Тебе воскресшаго, Бога нашего, во гласе пений величаем, яко Крест и смерть приял Еси за род наш». О. Иоанн, приходя на спевку, принялся сам за дирижерство, но в переключке у него не получалось — не мог выдержать паузы между тактами.

С большим воодушевлением ждали Пасхи, разучили Пасхальный канон волынского распева, и то редкость — здесь никто его не слыхал. Но признаться, мы теперь пели не для прихожан, а более для себя. В Пасху на литургии издревле за причастными пели стихиры Пасхи — «Да воскреснет Бог», а мы во время причастного запели концерт «Днесь всяка тварь веселится и радуется, зовет всех к веселию и радости», а чувствуем это торжество мы — поющие. Священник после обедни пригласил весь хор к себе спеть концерт, и матушка всем участникам подарила по кульку конфет. Прихожане идут на клирос поздравить с успехом не слыханного никогда нового пения. Волостной писарь Якутов предложил устроить подписной лист и сам подписал 30 коп. Сразу же в 3 часа утра пошли мы со славою по домам с иконами: крест, Спаситель, Богоматерь. Иконы на древках. Я предлагал подписной лист более зажиточным и сочувствующим пению прихожанам и все подписывали, хотя небольшую лепту. Один такой любитель (мельник) подписал целый рубль. И так по 10 — 20 копеек с приходом собрал я 9 рублей 80 коп.

Время шло. Наши страсти к пению не унимались, а росли. Все праздники хор наш отмечал чем-нибудь новым из песнопений. Во время каникул приезжали к о. Пармену, который доживал последние дни, страдая от ревматизма, все его внуки — ученики Духовного училища и сыновья-семинаристы — участники хора Вологодской Духовной семинарии. Явилась возможность усовершенствовать хор при наличии новых певчих с голосами. В соседнем приходе Евда, где был псаломщиком Орест Васильевич Спасский с женой Наталией Васильевной, тоже был создан такой же хор из учеников и своих детей, и сами певчие. Мы договорились обоюдно помогать другу другу. В это время Спасские переведены были на Белую Слуду на учительство в Белослудскую школу. И теперь удивляюсь их увлечению пением — не пожалеть времени и труда прийти за 20 верст на Ляблу с ребенком на руках ко мне, необразованному, нетактичному, и все для того, чтобы пополнить наш хор.



Время шло. У нас родилась дочка — первый ребенок. Дела супруге Марусе прибавилось, появилась люлька, надо качать и кормить ребенка. Брат Вася с успехом окончил первый класс Духовной семинарии и переведен во второй. Он уже 6-ой год играет на скрипке и уже на 4 позиции, но в пении не участвует, но в случае моей отлучки меня заменяет. Скрипку ему подарил священник Черевковской церкви за успехи в учении. Никаких музыкальных инструментов я пока не приобрел, но скрипка пленила, и я пожелал начать пока знакомиться с первыми приемами ее овладения. Брат был моим учителем. Он имел школу по обучению игре на скрипке (школа Соколова). Игра сложная, нужно знать, как стоять, как правильно деку упирать в подбородок, строго соблюдать штрихи смычком. Сольфеджио меня не затрудняло, а вот развитие левой руки не вдруг давалось. Целых два года была в моем распоряжении скрипка и у меня уже облупилась кожа с пальцев левой руки, и я уже одержал победу над гаммами первой позиции и перешел на гаммы второй позиции. Но, видимо, не судил Бог идти дальше этого. Все это выяснится из дальнейшей нашей судьбы.

В 1914 году решили мы с супругой съездить в Соловецкий монастырь поклониться преподобным Зосиме, Савватию, Герману. Как люди небольшого достатка, сели в Красноборске на пароход с билетом 4-го класса — палубным. Время летнее, с ребенком на руках — дочкой 5 месяцев. Приютились около машины на нижней палубе. Возле нас за столиком четверо: двое мужчин и двое женщин занялись картами. По их речи нам показалось, что люди не очень нравственного общества. Принесли газету и громогласно читают: в Соловецком монастыре вспыхнула забастовка, монахи учинили бунт, требуют смены Настоятеля, улучшить трапезу и изменить устав. Нас такие вести почти разубедили ехать в Соловки, но желание повидать дядю в Соловках и родственников в Архангельске склонило ехать.

Приехав в Архангельск, узнали, что в действительности уже в Соловках это произошло, и пароходы в Соловки не ходят, а стоит специально подготовленный пароход в ожидании уполномоченного св. Синода — следователя по этому печальному делу. Но из Синода получено сообщение, что уполномоченный представитель не придет, и через сутки из Соловков пришел в Архангельск пароход. И мы решили ехать. С нами поехали монашки — весь хор Велико-Устюжского женского монастыря. Они ехали по палубному и, вероятно, бесплатно. Мы тоже по палубному. Погода благоприятствовала, одна рябь на воде, чуть-чуть движется воздух. Монашки пели самые простые мелодии и самые простые стихотворения: «Слава, слава в вышних Богу, дух мой радостно воспой», «Дай, добрый товарищ, мне руку твою» — это незамысловатые мелодии. А вот, когда запели «Вскую мя отринул Еси от лица Твоего, свете незаходимый» под управлением дирижера, то я думаю, что каждый, не чуждый понятия о музыке, должен был обратить внимание и прислушаться.

Приехав в монастырь, сразу заметили, что что-то изменилось. Паломников не видно. На приехавших паломников не обращают внимания, никто не встречает, как было ранее. Пошли в собор к литургии. Великолепный хор поет умирительно. Вышли из собора, а тут тревога — объявлена война России с Германией. Объявлено на плакатах, чтобы никому не отлучаться из пределов монастыря, прибыл военный пароход и идет проверка документов. Военнообязанных, подлежащих мобилизации, было много из послушников монастыря, которые не исключены из общества и не приняли монашества. Поднялась паника среди приехавших богомольцев и среди монахов. Видимо, было дано приказание Синода убрать из монастыря ризницу — самую главную ценность монастыря. Началась погрузка ценностей в ящик, заколачивание и перевозка на пристань и погрузка на пароходы. Пароходов у монастыря три: «Зосима и Савватий», «Михаил Архангел» и «Вера». Погрузка и подготовка шла в большой поспешности. Кажется, вся братия занята была этим тревожным делом. Не удалось повидаться со своим дорогим дядей Прокопием Петровичем. Не больше полутора суток пришлось побыть в монастыре.

Пришлось сподобиться поклониться раке Преподобных один раз и то самым последним и при очень знаменательном случае. Перед нами шел тот самый человек, который при нашей посадке на пароход в Красноборске сидел за

карточным столом и игрой и читал газету «Север» о бунте монахов, вступил на ступеньку, чтобы подняться и приложиться к раке. Стоящий тут схимник быстро сошел со своего места и преградил ему путь и жестами приказал ему отойти. Но человек снова пытался подняться и приложиться и снова был отстранен. Тогда человек стал на колени, сложил, но неправильно, руки для благословения, но схимник не благословил, а быстрым жестом указал уйти и указал на дверь. Человек, видимо, озлобился и не оглянувшись ни разу назад, вышел из храма.

Мы ужаснулись, думая и нас не допустят, но мы беспрепятственно приложились и приблизились к схимнику, сложив для благословения руки. Я подошел первый с младенцем на руках. Схимник благословил меня и сказал: «Дьяконом будешь — неверных в дом не пускай». Я не понял и сказал: «Я не дьякон, а псаломщик». Посмотрев на дочку-младенца, сделал дуновение два раза и сурово сказал: «Вот ты ее на руках носишь, а вырастет она — какая-то будет», — не благословил ее. Дал нам с супругой по небольшой свечке, по отгарку свечи, а жене почерпнул ложечкой масла из лампы от раки и велел выпить.

Перед ракой на полу — покрытый золоченой пеленой с изображением преподобных лежит человек и ненормально стонет. Схимник подошел к нему с книгой и начал читать длинные молитвы, а потом громко произнес: «Именем Господа нашего Иисуса Христа повелеваю тебе, нечистый демоне, изыди из него!» Человек громко презрительно говорит: «Не изыду, не изыду!» Схимник снова повторил: «Нет изыдешь! Христос повелевает тебе изыти!»

Мы со страхом вышли, не дождавшись конца этого события, но с камнем на сердце, что схимник, вероятно, прозорливый, не удостоил нашего младенца благословения. Я вспоминаю это событие с нами и не забуду до смерти. И не знаю, случайное ли совпадение, но слова схимника сбылись в абсолютной точности.

Только что спустились со ступеней церкви, а там уже всем сообщают, что посадка на пароход объявлена и что в монастыре никого не оставят из богомольцев. Время уже около 10 часов вечера. Вся публика пассажиров едва поместилась на верхней палубе трех пароходов при невообразимой тесноте, вероятно, классы были полностью загружены ящиками с ценностями. Отправка от пристани была без свистков и без огней, в темноте, и не знали мы, куда нас везут. Но пассажиры, может быть, местные моряки, узнали, что везут нас в совершенно противоположную сторону. Счастье еще, что ветер умеренный, а то окатило бы всех морской соленой водой. Наконец, видим вдаль берег. Пассажиры уже определили, что это Онежская губа, и мы приближаемся к городу Онеге. Всех объял ужас. Еще я вспомнил, что отправляясь от пристани, я вижу группу мальчиков человек до 10. Это, вероятно, годовики-певчие. И, когда они, обратившись лицом к монастырю и сняв головные уборы, стройно запели тропарь Преподобным, я заплакал, вспомнив, что я таким же певчим был и очень сожалел о них, что не пришлось им выполнить своего обещания.

И о, ужас! Нас высадили на берег в гор. Онегу не одну тысячу человек без средств, и к величайшему горю мы узнали, что путь в Архангельск заминирован, и сообщение прервано. Что делать? Поднялись рыдания, отчаяние. Идти пешком 350 км без средств существования или сидеть в городе до открытия пути в Архангельск, но ведь будущее неизвестно никому. А наша участь еще горчая — у нас на руках ребенок. При утомленности пришлось искать пристанище хотя бы на одни сутки. Вот тут и пришла нам мысль ехать вверх по течению Онеги в приход Пияла к священнику о. Николаю — брату моей супруги — моему шурина. Это был единственный выход попасть нам домой.

Ценности с пароходов погружены на телеги, и сотня или более лошадей направлены вверх по течению до станции Порог в 25 верстах от города Онеги. Масса пассажиров идет по этой дороге, и мы идем вместе с обозом. Я несу на руках свою дочку. Тут я вспомнил про хор Устюжских монашек и их горькой участи. Но у нас есть надежда выбраться из плена. Дошли мы вместе с обозом, каждую телегу охраняет монах в военной тужурке и с саблей сбоку. Порог, это грозное зрелище, вода падает под уклоном в 45 градусов, шипит, пенится, шум слышно за несколько километров. Обоз остановился у переправы на другой берег.

Первые телеги уже заранее переправлены, теперь переправляются остальные 50 — 60 телег. А куда они будут следовать, жители деревни Порог говорят, что не иначе как в Кожеезерский монастырь, потому что трактовая дорога ведет туда. Отчаяние наше смягчилось мыслью, что мы свидимся с о. Николаем, но предстоит путь проехать вверх по течению реки Онеги 90 километров.

Регулярное передвижение по реке производится через два дня, и нам пришлось гостить под открытым небом еще сутки. Вся река до отказа запружена строевым лесом, она узкая с крутыми болотистыми берегами. И вот посадили нас всех пассажиров около 45 человек в большой карбас, ничем не покрытый. Маленький пароходик «мышка» потянул нас вверх по течению. Часто останавливались в местах, где возможно пристать к берегу для исправления неотложных нужд пассажиров. Останавливались у приходов церквей: Турчасово, Вазенцы, Чекуево (и еще приход забыл) и, наконец, Пияла — цель нашего путешествия. На каждой пристани проводы мобилизованных, рыдания, жены кидаются на шею мужей, падают в обмороке. Ехали мы до Пиялы четверо суток под открытым небом.

Наконец явились неожиданные гости к о. Николаю. Утомленность требовала отдыха. Для нас, как дорогих гостей, сделан радушный прием. Но все-таки мы не дома, а в плену. Проезжая, мы видим, что за пашней, за плугом все женщины, сенокосят женщины, сено и хлебные снопы везут на санях, а о телегах здесь мало понятия, почва — болото, и в деревнях дороги устроены из бревенчатых настилов. Если свалится с настила корова или лошадь, то без помощи человека она не выберется.

Каким транспортом нас отправлять — это была трудная задача. На санях лошадь не довезет 95 километров до станции железной дороги «Обозерская», а телег здесь никогда не бывало. Отец Николай разведal, что в ближайшем приходе Чекуево у одного кузнеца есть два брошенных за негодностью колеса от телеги. Починили и навели шины, потом он нанял из своего прихода мужика, и он смастерил колымагу на двух колесах, чтобы усесться троим.

И вот посадили нас двоих, а ямщик сидел, свесив ноги к хвосту лошади. Дорога — болото, устланное строевыми бревнами, по бревнам на колесах тряска страшная, берегись — язык откусишь. Добравшись до твердой почвы, нужно отдышаться-отдохнуть. И так доехали до станции, проехав 45 верст, осталось еще ехать 50 верст. Станция — хижина, разделенная на две конуры, по одному окну в каждой. Клопов и паразитов полно, нельзя присесть, пришлось отдыхать на воздухе.

Остальная дорога была поглаже, и мы легче доехали до станции. До Архангельска по железной дороге осталось ехать 133 км. Прибыв в Архангельск, мы узнали, что путь в Соловки открыт. Погостив у шурина, мы отправились домой. На каждой пристани происходит посадка на пароход мобилизованных. Рыдания жен и обмороки. Нас потеряли, предполагая, что по случаю войны завезли нас в другие края. Брат Вася замещал меня во время поездки. Во время нашей отлучки умерла старушка-дьяконица, истопила баню и угорела в ней до смерти.

## Глава 5-я

С приходом войны пришли все горести и невзгоды. Взяли на войну самых сильных работников в хозяйствах. Начались бесконечные мобилизации в армию. Уже приходили извещения об убитых и раненых. Наступила для всех нерадостная жизнь, кажется, и воздух-то переменялся — пахнет войной. Взяли для армии лучших лошадей, пахать землю стало недостаточно лошадей, и мне пришлось идти в батраки к одному воднику-капитану, пахать его землю и мою на его лошади, и так шло время три года подряд. Жизнь стала сильно дорожать. Мобилизации продолжались регулярно.

Двое из моих певчих ушли на фронт, остался я без хора, да и сам работал в батраках. Едва находил время для церкви, пахать приходилось во время ночи. Повторилась мобилизация и на лошадей — угнали еще годных для армии лошадей. И так тянулось тяжелое грозное время.

В 1922 году вышел указ св. Синода искать лиц достойных священства хотя бы даже из крестьян. Меня вызывает благочинный, пишет Архиерею, чтобы удостоить меня сана дьякона, а потом с Божьей помощью он может достигнуть сана священника. Я не верю, что это осуществится, ну какой же из меня будет дьякон или священник-проповедник, когда я кончил только начальную четырехклассную школу.

Благочинный послал мне свое заключение о моей характеристике и велел идти к Архиерею. Никакого экзамена мне не было. Явился к Владыке, и он отослал меня в канцелярию духовного правления, а там уже изготовлена и проведена документальная запись на рукоположение и грамота. 6-го декабря 1922 года рукоположили меня в сан дьякона.

Время грозное и для Церкви самое печальное. Со дня революции 1917 года в правлении Керенского уже была борьба за землю между крестьянами, но не все крестьяне согласны были на новые реформы, борьба только начиналась.

Появилась партия большевиков и меньшевиков. Шли непрерывные собрания под руководством большевиков о создании коммуны в Красноборске, об отобрании церковных земель.

Появились новые деньги: червонцы, тысячи, миллионы. Деньги совсем потеряли ценность. Взамен отобранной у священника и псаломщика земли назначили от прихода годовое жалованье: священнику 6 миллионов, а мне, псаломщику — 2 миллиона. Получив в конце года два миллиона, я мог купить на них две коробки спичек.

В церковь стало ходить людей мало. Дров для отопления почти не привозили, служили в холодной церкви иногда при 5 градусах холода. Появилось столько бумажных денег Керенского, грубой копоры на простой бумаге, что ими платили государственные учреждения за выполненные работы трехметровыми отрезами с копорой 40 и 20 рублей. Но в обращении между населением деньги мало ходили — уж слишком были дешевы. Пуд хлеба на деньги стоил много миллионов, пуд картошки и за 10 миллионов не купишь.

Нас со священником, согласно закона, лишили избирательных прав, и мы были свободны от всех собраний, беспокоясь за свою будущую участь и за участь Церкви. Органами власти была произведена инвентаризация церковного имущества и отобраны церковные богослужебные сосуды, имеющие большую ценность. Оставлены самые простые — не имеющие ценности и то по одному экземпляру: один Крест, один потир, один дискос, одно кадило. Не забуду того дня, когда представитель райисполкома зашел в храм Божий с грязным мешком, не снимая головного убора, своими руками с престола и жертвенника поклат священные сосуды в грязный мешок. Закурить в храме постеснялся — закурил в паперти, а мы, провожая глазами мешок со св. сосудами, чувствовали сожаление до слез.

Вполне естественно возникал у меня вопрос, а как же далее существовать будет Церковь и как существовать нам дальше? Вручили нам анкеты (опросные листы) с содержанием множества вопросов: первый вопрос — отношение к религии, лояльность к советской власти, классовая принадлежность, происхождение, был ли судим, имущественное положение. Заполняешь в рубриках эти ответы на вопросы и подозреваешь, что этот учет требуется власти для какого-то над нами насилия, а тут еще по Двине от Архангельска до Котласа регулярно рейсирует броненосец «Светлана» с Чрезвычайной комиссией, забирает уже известных лиц на пароход и в первую очередь священников.

Немногие из священников отсиделись, но большинство из них съездили на крейсере «Светлана» до Архангельска и обратно. Какой там гостеприимный прием оказала Ч.К. сразу можно было определить по наружности ездивших на «Светлане». Протоиерей Красноборской церкви с рыжей бородой вышел со «Светланы» совершенно белый, а другие долго не забудут синяков на своем теле.

Создался в Красноборске кружок «Союз воинствующих безбожников», появились плакаты «Воинствующая церковь», которые расклеивались на заборах. Начались диспуты на антирелигиозные темы. Никогда не забуду диспута, проходившего в Красноборске в 1924 году. Было объявлено священникам и всему населению о диспуте на тему: «Был ли Христос и есть ли Бог». Народу

пришло так много, что в каменном большом здании, бывшем ранее купеческим магазином, было тесно.

Ораторов съехалось до 15 человек из Сольвычегодска и Устюга. Какая ученая сила собралась! На эстраде, кроме ораторов, сидели 9 священников. Диспут начался с объявления председателя Волисполкома — Синцова.

Первый оратор прочитал тропарь празднику Рождества и стал объяснять: «звездам служащие» — видишь — молились звездам — были идолопоклонники, «звездой учаюся» — по звездам гадали о своем счастье или несчастье. «Тебе кланяться Солнцу правды» — видишь, молились солнцу — были идолопоклонниками. Третий оратор: все это говорит о том, что в те времена не научились сельскому хозяйству и не могли обеспечить себя хлебом и зимой голодали, и в областях, где солнце не показывалось по несколько месяцев, люди были рады отблеску зари, не только солнцу. Скоро будет тепло, солнце согреет землю, и мы будем сеять хлеб. Я, малограмотный, ожидал с удовольствием послушать ученых философских речей, но меня смешило. Один из священников, административно высланных, все речи записал в свой блокнот. Председатель объявил, что доклад закончен. — «Теперь вам, отцы, предлагаю возразить на эти вопросы». Никто из священников не пожелал.

Тогда высланный священник о. Николай Авдаков с крестом на груди поднялся на трибуну, грациозно смело произнес: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа» — и спросил, который теперь год? Один из ораторов вскричал: «При чем здесь годы?» — Но председатель быстро остановил его: «Вы свободно высказались, теперь они должны свободно возражать». — Священник: «Докладчики для темы доклада избрали тропарь праздника Рождества Христова и не уразумели даже смысла его. Какому солнцу правды пришли поклониться звездочеты, какое тут изображено солнце объяснить вы даже не могли или знали, но умолчали. Почему вы не выбрали для доклада всемирную историю, историю Рима, Писателей Еврейских, о всемирной переписи при императоре Августе — и тогда ясно увидели бы, что Христос есть истинная историческая личность». Очень длинная была речь священника Авдакова из истории древней Еврейской. Предполагаю, что не только священникам, но и многим грамотным видна была неготовность ораторов к диспуту, что они показали только свое невежество.

Тут выступил дьякон Телеговской церкви Дмитрий Иванович Чецкий с обращением ко всем присутствующим с просьбой простить его, что 20 лет несознательно служил в церкви, понял всю ложь религии, снимаю с себя сан дьякона, порываю связь со всеми ложными церковными обрядами и хочу искупить свою вину служением Советской власти, а всех здесь присутствующих отцов прошу последовать моему примеру, оставить свою приводящую в мрак и невежество работу и работать во имя прогресса и науки. Из толпы раздался голоса: «Иуда, Иуда!» Председатель быстро окинул взором всех и вскричал: «Кто сказал Иуда, граждане! Не оскорбляйте человека — этот человек поступил правильно — он прозрел несмотря на то, что был в заблуждении 45 лет. И вы лет через 10 будете такие же Иуды, как этот теперь честный гражданин. Все вы одурочены, слепые, но прозреете так же, как и он».

Тут стали поступать записки председателю и священнику Авдакову с вопросами: почему оставили вторую тему доклада «Есть ли Бог?» Председатель предложил диспут на эту тему, но не последовало согласия ни у кого из ораторов беседовать на эту тему. Священник Авдаков вышел на трибуну и объявил, что ему поступили записки с вопросом: «Есть ли Бог?» Не все нужно спрашивать, а нужно самим трудиться — искать Бога. На этом диспут кончился. Через два дня в районной газете «Колхозник» опечатано все прохождение диспута, что священники не могли возразить ни на один вопрос доклада. А о. Николая Авдакова из Красноборска куда-то выслали.

Газеты издавались одни советские, и о положении Церкви можно было узнать из переписки между священниками. Слух шел, что в Москве собрался собор Епископов совершить обновление Церкви согласно требования обстоятельства и по духу времени и с необходимостью облегчить тяжкое бремя единобрачия священников и безбрачия Архиереев. Я не читал постановления собора, но уже постановление проведено в жизнь. Церковь разделилась на два

общества церковных: старая Церковь и церковь обновленческая. Обновленческая церковь для власти была не только терпима, но, как видимо, и поощряема, потому что вносила раздор в Церковь. Епископов старой Церкви сместили и заменили Епископами обновленцами. Но священники и благочинные не все приняли обновленчество.

Когда начали служить по новому стилю, народ поднял недовольство и мало стал посещать церковь. Двубрачие священников тоже для сознательных верующих казалось незаконным — противоречило апостольским писаниям. Новые обновленческие архиереи не совсем <себя> прочно чувствовали и, объезжая свои новые епархии, обильно сулили разные льготы духовенству, священникам и дьяконам, в то время обложенным тяжко непосильными налогами. Тяжелое для священников время! Наш Велико-Устюжский Епископ Алексей был смещен, и занял его кафедру обновленец Николай. Наш благочинный о. Алексей Вешняков перешел в обновленчество. Летом 1924 года обновленческий Архиерей поехал по церквам принятой им Епархии. Когда разнеслась весть, что обновленческий Архиерей едет по церквам, прихожане и священники начали делать собрания, чтобы решить принять или не принять обновленческого Архиерея и везде выносили решение — не принимать.

Но благочинный, как сам был обновленец — объехал всех священников, убеждая вопреки постановлению прихожан принять Архиерея, иначе задушат налогами и церкви закроют. А налоги были невыплатимые, да еще впереди будут ужаснее. А если принять Архиерея, то Архиереи уже ходатайствуют об освобождении от налога. Кончилось наше в церкви собрание и решено — не принимать.

Не успел я домой ступить за порог и вижу, что к дому подъехали две лошади с пассажирами, и идет ливень грозового дождя. Архиерей с протодьяконом вошли в дом священника, и ворота в секунду были заперты. Два ямщика, до нитки перемокшие, остались на улице мокнуть под ливнем. К несчастью или к счастью, митра архиерейская осталась под облучком тарантаса, и ни Архиерей, ни протодьякон о ней не вспомнили, а мужики в отместку за то, что не пустили их в дом священника — увезли митру в свой приход за 15 км.

Проснувшись, Архиерей и протодьякон вспомнили о митре, но, о ужас! — митру мужики увезли в свой приход. Рано утром будит нас матушка-попадья встревоженная. Несчастье! Ведь митру-то мужики увезли. — «Садись на нашего Воронка и поезжай скорее в Шоломя, ведь ты знаешь мужиков-то». — Снова прибежала, что решили послать Проню-сторожа — он скорее лошади сбегает, лесом прямым путем не более 9 верст, а меня заставили делать кафедру, на помощь пришел мужик. Поставили кафедру, постелили ковры. Время благовестить, а о митре никакого слуху. Вернулся Проня, сказал: «Мужики митру передали женщине, которая принесет в Красноборск, а там передадут в церковь с попутчиками». Уже время скоро двенадцать, а митры все нет и нет. А митра была продана мужику нашего прихода, богатый мужик, но до церкви-то равнодушен. Жена его ушла в церковь Архиерея смотреть, а ему смешно — пусть звонят, а я погуляю сам в архиерейской шапке. Надел митру на голову и хвалит: ах, ах, какая мягкая архиерейская шапка, а у него зеркало-трюмо и любитесь на себя в трюмо.

Наконец принесли митру, надо встречать Владыку. Владыка без мантии — в одной ветхой рясе. Мне было поручено с Владыки снять рясу. Я облачился, протодьякон с крестом на блюде — и ждем. Архиерей распахнул рясу, я взял за воротник и хотел поднять рясу и, о, ужас! Напрочь оторвал воротник и дрожу с перепугу. Но Владыка жестом руки успокоил меня: ничего, ничего! Матушка-попадья спешно подхватила рясу (тяжелую, ватную) и унесла пришивать воротник. Ни посоха, ни трикирий<sup>8</sup> не было. Служил как простой священник. Пели мы втроем насколько позволяли наши силы. Протодьякон, как Иерихонская труба, выводит все прошения по нотам, а мы поем просто: «Господи, помилуй». Наслушались знаменитого певца. За причастным спели «Свыше пророцы».

Владыка вышел с проповедью. Народ стоит во втором отделении, к амвону и алтарю не подходит. Архиерей стал руками манить — подходите, подходите,

<sup>8</sup> Т р и к и р и й — трехсвечник, употребляемый вместе с двухсвечником (дикирием) во время архиерейского богослужения.

но никто ни с места. Начал речь: «Вероятно, еще до моего посещения врагами Церкви Христовой распространен слух, что бритый, женатый обновленческий архиерей едет. Никаких бритых, женатых архиереев, никаких обновлений, все нерушимо свято остается и неколебимо. Грешно так думать! Рассуждают о бритых архиереях, а посмотреть на вас, то я думаю, что найдется немало из вас таких, что и крестиков на себе нет». По окончании службы на благословение никто не подошел.

Пошли на квартиру священника, на обед или на чай. К столу матушка подала две небольших рыбки, да по стакану кофе и все тут. Принесли из церкви ширму, сел Владыка за ширму и стал принимать к себе на совет по одиночке. Были староста, попечитель, члены церковного совета. Говорил ласково. Мне сказал, что положение критическое, налоги невыплатимые, но мы ходатайствуем о сложении налогов и получено уже сообщение, что налоги сложатся в том случае, если Церковь примет обновленческую реформу. — «Но скажите, какие мнения и суждения здешних церквей». — «А у нас вчера на собрании церковного совета и прихожан было постановлено обновления не принимать». — «Очень сожалею», — сказал Архиерей. Я не видел, как они отбыли — уж не пешеходом ли ушли к следующей церкви за 10 верст. Не приняли обновленческого Епископа Красноборская, Цивозерская, Белослудская <церкви>. Эти две церкви на другой стороне Двины, и сообщение с Красноборском через реку перевозом — и лишило Епископа посещения этих церквей, и они не примкнули к обновленчеству.

Благочинненские обязанности принял на себя священник Красноборской церкви о. Николай Вячеславов. Он два года тому назад лишился молодой жены, вдовствовал, не примкнул к обновленчеству. По данной ему инструкции и согласно правил св. Церкви престолы, на которых совершали богослужение еретики Епископы, были осквернены, и сослуживцы требовали покаяния. И вот благочинный о. Николай всех священников, дьяконов (нас было двое) призвал в Красноборскую церковь на исповедание грехов своих. В храм он нас не пустил, а стал вызывать поодиночке, вопрошая, почему приняли обновленца, не подчинившись постановлению прихода, были в сослужении с обновленцем, приняли на себя тяжкий грех. Храм и св. престол и антимины<sup>9</sup> по уставу Церкви требуют малого освящения. После исповеди, пришедши в свой храм, приступили к освящению храма. По чину, положенному по требнику, при чтении положенных псалмов священник делал помазание св. миром св. Престола, жертвенника, иконостаса, стен, паперти и входа. Вот сколько принес огорчений обновленческий Архиерей.

Обновленчество держалось еще долго. Рядом с Красноборской церковью обновленец благочинный и Евдской церкви о. Николай совершали богослужение по новому стилю и поминали новых обновленческих Архиереев, но народ поднял недовольство, когда услышали, что поминают обновленческих митрополитов, стали говорить, что в церкви за коммунистов молятся, но мы поминали Епископов старой Церкви. Постепенно все церкви перешли на старый стиль. Но обновленчество еще не кончилось. Приехал к благочинному обновленцу обновленец архиерей Варсонофий и, видимо, не рассчитывая на подачу транспорта, он ходил переходом к священникам и по домам. Не старый, высокого роста, в подряснике, опоясанный широким цветным препоясом, посещал запертые на замок церкви. В беседе со священниками старой Церкви он выражал глубокое соболезнование, что закроют церкви, если не примут новой реформы, и задуют налогами. Далее не было посещения обновленческими Архиереями. Наступал голод.

(В 55 верстах от Красноборска, по лесной реке Устья, есть деревни — Новошино и Шадрино до 180 дворов с населением до 700 человек жителей. Место лесное — тайга. Сельское хозяйство слабо развито, т<ак> к<ак> хлеб и картофель часто убивает ранними заморозками. Большинство жителей занимаются охотой на зверя и птицу и сдают кооперации пушнину. Население

<sup>9</sup> Антиминс (греч. «вместопрестолние») — шелковый плат с изображением положения во гроб Христа; в плат вложена частица мошей; литургия совершается только на антимиинсе.



безграмотное, церкви нет, и за удовлетворением своих духовных нужд обращаются в Пермогорскую церковь, путешествуя непролазными болотами и дорогами. В 1920 году кончили постройку небольшой деревянной церкви и просили Велико-Устюгского Епископа Алексия послать священника.

Вызывает меня благочинный и предлагает меня, как дьякона, принять сан священника, убеждая меня, что получен указ св. Синода искать лиц достойных сана священника хотя бы даже из крестьян. Но я не мог решиться взять на себя такую ответственную должность — быть пастырем и учителем веры по своей малограмотности, как окончивший четыре класса начальной школы, да к тому же с семьей в 8 человек забираться в такую лесную глушь и бросить в 17 лет насиженное гнездо.

Согласился на предложение благочинного дьякон Красноборской церкви Александр Кичанов. Как кандидат в сан священника, он съездил в будущий свой приход и договорился с будущими прихожанами о материальном своем обеспечении. Семья его — одна жена. Был сын у него, но убит еще в империалистическую войну. Постановили будущие прихожане, согласно требованиям дьякона, плотить с каждого верующего по 20 фунтов зерна и по 2 фунта коровьего масла. Кроме того и от церкви доход за требы и поминания.

Такому обеспечению завидовали служители других приходов. Обеспечение гораздо лучше Красноборского, где все прихожане — мещане, не наделенные землей. Рукоположенный в сан священника, он не требовал для службы псаломщика, каковую должность исполняла матушка-попадья. В Красноборске, видимо, материальное обеспечение было неудовлетворительно, и дьякон приработывал — прикупал во время ярмарок пушнину, шерсть, телячьи опойки, лен и, имея связь с агентами-закупщиками, сдавал им.

Приехав на Устью, он всецело предался торговле. Прихожане (охотники) охотно сдавали пушнину на месте, также телячьи опойки и лен, который сеяли на выжженных полянах, и он давал хорошие урожаи. Но, не довольствуясь этим, батюшка уезжал за покупкой пушнины в другие районы на целый месяц и более.

Сам о. Александр был трезвенник, но тайно торговал и спиртными напитками, и это не ставилось ему в вину, так как вина тогда в магазинах не было, и многие гонили самогон, как было и у нас на Лябле. Во время отлучек о. Александра умирали старики и дети-младенцы от болезней — скарлатины, дифтерии, дизентерии и неисповеданные старики. Но эта вина, падавшая на священника, не остановила его. Успехи наживы по торговле невозвратно увлекли его.

Создалось недовольство тем, что при сдаче зерна он браковал и требовал лучшего, хотя зерно было хорошее. Матушка не принимала масла, считая его кислым, требовала сепарированного. Некультурные лесные усяки возмутились, вынесли на общем приходском собрании убрать негодного священника и написали прошение Велико-Устюгскому Епископу Алексею и передали благочинному. Ждали решения Епископа, но решения не было, предполагали, что благочинный задержал прошение. Подали второе прошение, и опять нет никакого решения. Но, как выяснилось, Владыка не всему верил, что написано в жалобе, полагая, что на священников часто клеветают.

Чтобы убедиться в справедливости возведенной на о. Александра вины, Владыка предписал благочинному собирать всех священников подведомственных его благочинию в Красноборскую церковь с одним представителем от каждого прихода и всенародно выяснить виновность о. Александра Кичанова. Все 9 священников с представителями явились, а усяков явилось 8 человек, обиженных поведением священника, но сам о. Александр на собрание не явился и не объяснил причины неявки.

Прочитали жалобу прихожан на о. Александра, усяки принесли вдобавок новые жалобы. Нам не нужен такой жадный поп. Дали ему 60 пудов хлеба, 3 пуда масла, а за что? Тогда как церковь по неделям и месяцам закрыта, а хороним умерших без священника неотпетыми, покойника ведь не будешь месяц держать, а сколько детей умерло от скарлатины неотпетых.

Спросишь матушку, где батюшка, отвечает, что по делам к о. благочинному уехал. Один из прихожан заявляет: «Я пришел заказать заупокойную обедню по

родителям и спросил, чем плотить». О. Александр сказал, что за обедню один пуд ржи, в церковь особо уплотить. Я расстроился и сказал: «Слишком дорого, батя!» Я, не договорившись, пошел, но батя бежит в догонку за мной и кричит: «Услышиши звон-то, так приходи». Что пушнину и лен покупает, так это ладно — нам не надо в Красноборск на ярмарку идти за 50 верст, но обидно то, что выменивает за водку и самогон. В Красноборске 8 ярмарок в году, и батя неделю и более уделяет на каждую ярмарку, закупает лен, пушнину, опойки, а потом сдает торговым агентам. Строили, радовались церкви, а теперь нет желания в церковь идти, невольно чувствуешь обиду на священника. Просили благочинного послать псаломщика, послали молодого, кончившего духовное училище, но батя не принял, потому что на псаломщика нужно выделить 4-ю часть кружечных доходов — невыгодно! Лучше своя попадьа поет.

Владыка ждет точного справедливого решения. Все священники поодиночке высказали свое личное мнение, сознаем, что очень глубоко оступился наш собрат и обязан был по вызову благочинного явиться к нам и осознать свою вину, но он не явился и оказал полное неуважение к досточтимому собранию. Запятнал, унизил свое достоинство и также всего священного сана. Такое неблагоприятное дело среди священнослужителей разнесется по всей епархии на соблазн и упадок веры в такое и без того наступившее время безверия. Пусть наш собрат искренне сознает свою вину перед Богом и людьми, а Владыка произнесет свой Архиепископский правильный суд на благо и исправление собрата нашего о. Александра.

Время шло. Была ли какая эпитимия о. Александру, но он все священствовал на старом месте. В 1933 году священники нашего благочиния все были арестованы как враги народа.

Священник Лябельской церкви о. Иоанн Кубенский овдовел. Матушке сделала операцию горла, кормили ее искусственно и через два месяца она померла. По какой милости волна арестов не коснулась о. Иоанна — не знаю, но знаю, что при вручении анкет некоторые священники записали себя неверующими, оставили свою службу и, видимо, поэтому избежали ареста. Слышим — о. Иоанн совсем спился. Осенью 1933 года он скрылся и месяца 2 был без вести. Объявился в Котласе заведующим складом Двинского речного пароходства и счетоводом. Он оставил новый свой дом с полной мебельной обстановкой и в подполье 11 пчелосемей. Дом его конфисковали, и дом занял учитель Н. А. Неволин, пчел взял колхоз, а Неволин был пчеловодом, но дело без опыта с пчелами не пошло, и пасека ликвидировалась.

Усыяки рады были избавиться от попа, да и сам о. Александр рад был выбраться из лесной глуши и видеть культурный свет, и переведен был на Лябле вместо сбежавшего о. Иоанна Кубенского. Прослужив на Лябле 10 месяцев, о. Александр заболел, а квартира его с матушкой была в церковной сторожке, и жили они вместе со сторожем церкви. О. Александр в сторожке и помер. Некому было отпевать и похоронить. Услыхал о смерти о. Александра старец иеромонах Коряжемского монастыря Никон, он нищенствовал, и он совершил погребение. Схоронили о. Александра в ограде по левую сторону церкви.

В 1939 году до мая месяца я был в заключении. 5 мая 1939 года, вернувшись из заключения, слышу: на Лябле церковь не закрыта, и ношу в себе мысль, что надо исповедаться и причаститься. Осенью, в октябре месяце, подходя к крыльцу храма, вижу — каменный рундук с лестницей разбит вдребезги при снятии упавшим 400-пудовым колоколом. Вхожу в храм — идет обедня. В церкви 5 градусов холода, в алтаре поставлена железная печка и проведены трубы в большую церковную печь. С потолка каплет на голову, со стен течет вода.

Матушка покойного о. Александра выполняет должность псаломщика. На следующий день я помог ей — прочитал Апостола и вместе пели. Священник, маленький старичок, о. Симеон, после обедни вышел из алтаря с озябшими руками, пошел в свою квартиру — церковную сторожку, и мне с псаломщиком вместе пришлось идти отогреваться. О, убожество! В сторожке штукатурка со стен облезла, стены засижены тараканами и клопами. Вверху сделаны полати.

В это время пришла старушка, видимо, очень религиозная и принесла небольшое ведро картошки, поклонилась в ноги священнику и сказала: «Прими, батюшка!» Батюшка высыпал картошку в свое ведро и поставил за печку.

Матушка сказала: «Ведь мне картошка-то нужна, мне есть нечего». Пришлось батюшке делить картошку — четвертая часть псаломщику-матушке. Священник брал в руки три картофелины, а матушке одну. Осталось три картофелины, и матушка заявила, что эти картошки ее. — «Прошлый раз ты мне две не дал и опять забираешь», — но священник взял себе три картофелины, а матушка заплакала. У священника нет даже подрясника — ходит в полупальто из солдатской шинели. Старичок, видимо, истощенный.

Поговорили со старостой церкви. Староста говорит: «Не нравится нам священник, да где взять лучшего-то? Замерзаем, дров для церкви не возят, да и не на ком. Лошадей в первую войну взяли, а теперь с Северной войной на Двине остальных всех. Вот кому нужно обедню, то обязан сначала принести хотя бы охапку сухих дров. С этой железной печкой испортили позолоту икон и иконостаса. Вероятно, священника хотели арестовать. Неделю тому назад приходил представитель власти какого-то учреждения для проверки имущества священника и выразил даже сожаление, когда нашел в корзине краюшку хлеба, несколько вареных картофелин и три селедки».

Сразу же с Ляблы я поехал в Котлас с целью найти по своей специальности работу или устроиться в садоводстве коммунального треста. Вспомнил об о. Иоанне, с которым служил на Лябле 14 лет, и что он работает в Котласе в конторе Двинского речного пароходства. Встречаю своего знакомого с Ляблы и спрашиваю: «Не знаешь ли квартиры о. Иоанна?» — «А ты разве не встретил его, сейчас мимо тебя прошел. Да тебе его не узнать, теперь он начисто обрился и изменился». Знакомый мой указал мне квартиру: небольшой домик с двумя окнами по фасаду. На другой день утром я пошел на свидание и вижу замок на воротах квартиры. Подождав с час времени, пошел спросить у хозяев соседнего дома, сказали, что сегодня ночью Ивана Кубенского арестовали. Так и не пришлось видеться с о. Иоанном.)

## Глава 6-я

По случаю голода наехали из городов в деревню люди с меной, променивали на хлеб и другие продукты свои ценные вещи — хорошую одежду, мануфактуру, но большей частью ночью, т<ак> к<ак> члены Ч.К. и актива следили за тем, кто променивает хлеб, и имели право обыска и отобрания излишков. В Архангельске от голода померло много людей. Наши водники-капитаны, лоцманы, баржевые наменяли за хлеб ценных вещей. За пуд муки можно было выменять дорогую шубу на лисьем меху, за фунт масла кровать или гардероб.

С приходом интервентов в Архангельске все изменилось. В магазинах появились всевозможные товары и продукты питания. Мобилизация в армию населения и наступления в разных направлениях. Весь северодвинский речной флот включен в войну на Двине. Все наши водники на Северо-Двинском фронте. Вся Двина дымит пароходами. Не стал рейсировать броненосец «Светлана».

Ходили ложные слухи о быстром продвижении интервентов по Двине, о возможности взятия Котласа. Каждый зажиточный крестьянин беспокоился о сохранении своего имущества, скота. Делали тайные хранилища в земле на случай прихода интервентов.

Пароходами интервентов не остановили, без брони пароходы не выдерживали простых пуль и в открытый бой непригодны. К зиме интервенты закрепились вблизи станции «Борок». Мобилизовано все население и лошади в перевозке для фронта боеприпасов, колючей проволоки, обмундирования. Лошади не имели отдыха ни на час. Прекратились все домашние на лошадях работы и не на чем было привезти дров себе для отопления.

В Ляхове — на моей родине — началась копка окопов по обе стороны Двины, окопы в два ряда и в два ряда колючей проволоки. На рытье окопов мобилизовали всех бывших купцов, хотя и престарелых, лишенцев, кулаков. В Красноборск пришло два полка красных войск, разместились по деревням района. В доме священника поместили 8 человек офицеров, у меня 12 армейцев, и так до марта месяца. К церкви на поле навозили на лошадях обувь, горы колючей

проволаки и делали перегрузку на других лошадей. Служба в церкви шла обычно. Офицеры заходили в церковь и радушно со мной разговаривали, осмотрели мои рукописные ноты, двое из них были певчие. У священника они помещались в отдельной комнате, и пришлось их отоплять, но что сделаешь — война! А нам пришлось мучиться вместе с бойцами в одной избе. Бойцы подстилали под себя на полу бурку из шерсти и спали на полу, окутавшись шинелями. Кухня у них была рядом с моим домом — кипятик всегда готов.

Ко всем ужасам и тяготам войны пришло еще страшное горе — появился среди армейцев «сыпной тиф». Болезнь заразная и опасная. Она быстро распространилась среди армейцев и населения, вероятно, способствовали эпидемии теснота и скученность людей, и потому, что у армейцев было много вшей. Хотя мылись армейцы в незанятых деревенских банях, но, видимо, этого было недостаточно для избавления от эпидемии. Начали болеть целыми семьями, и болезнь уносила в могилу людей в цвете лет — самого лучшего возраста. В Пермогорье у сестры моей жены переболела вся семья от тифа, и померла свекры ее и 18-летняя дочь.

Умер от тифа главный врач Красноборской больницы Петр Николаевич Попов, сын священника Красноборской церкви. Отцу Протоиерею хотелось совершить погребение по церковным правилам, но не разрешили (от кого могло быть запрещение) и пришлось панихиды и отпевание совершать в церкви заочно. Весть о похоронах разнеслась по деревням. Народу на похороны собралось так много, что едва вмещала главная улица. Шествие началось от здания больницы. По главной улице стройно шли за гробом ученики школы, медицинский служебный персонал, воинская часть, гроб под балдахин, массой пели: «Вы жертвою пали в борьбе роковой, в любви беззаветной к народу» и т. д. Надгробную похвальную речь говорил один из учителей, а после него было говорено несколько кратких похвальных слов.

В марте белые, видимо, начали наступать на станцию «Борок», была артиллерия. Полк, который размещался в нашем приходе, ушел на фронт, остался один отряд Чекистов под начальством Хаджи-Мурата. По сведениям Мурат занимался реквизицией имущества больших торговцев и объехал всю Двину. Он с отрядом из 10 человек квартировал зимой в доме нашего прихожанина в полуверсте от церкви. У него был склад привезенного имущества в большом хозяйском амбаре. В складе были ценные вещи: одежда, мануфактура, комоды, гардеробы, зеркала. Бойцы его, черноусые здоровенные молодцы, и такие же при них солидные красавицы-дамы. Страшно было подходить к дому хозяина, в котором они квартировали.

Но удивились мы, когда в Пасху после пропетия пасхальных стихир и «Христос воскрес», сам начальник Хаджи-Мурат, раненый — на двух костылях — подошел и приложился ко Кресту и поздравил нас с праздником, а потом подошли все бойцы его и дамы.

Весной в конце марта после боев под ст. «Борок» целый полк белых добровольно перешел на сторону красных. Полк был направлен на Котлас. И вот тянулись белые вояки целыми ротами и полуротами по нашей трактовой дороге: веселые, хорошо одетые и обутые.

Время шло, и разруха и голод росли. А тут еще вспыхнула эпидемия лихорадки (малярия), очень жестокая, и существовала по три года кряду. Я болел по 2 года, начиная с весны и до окончания лета. Забирала регулярно через сутки. Сначала начинается, а потом усиливается озноб до такой степени, что стучу зубами, весь озяб как во льду, лезу на горячую печку под тулуп и трясусь от холода. Через два часа наступает такой жар в теле, что рад бы ринуться в снег или в холод, и появляется нестерпимая жажда, но врачами строго запрещено пить. Прописывают для облегчения хину, но ее в больнице так мало, что дают по одной таблетке, т<ак> к<ак> весь район болеет. Видимо, хиной спекулируют. За одну таблетку плотят фунт коровьего масла.

Придумали люди против малярии много домашних средств. Первое средство: нужно сильно испугать человека. Второе средство: нужно срубить елку или сосну и тащить по земле за вершину в задор сучьями, и, если встречный человек спросит, почему тянешь за вершину, тогда больной бросает елку и быстро

бросается наутек, а лихорадка переходит на встречного человека. Но этот способ разгадали и стали молча проходить при встрече с елками, боясь, чтобы лихорадка не перешла на него. Третий способ: набрав воды в рот идти до Красноборска, отворачиваясь от встречных и неся с собой битую корчагу или горшок и, если спросят: зачем и куда несешь горшок, его нужно разбить (да он и так битый).

Под горой прямо Лябельской церкви из горы течет маленький ключик, зимой намерзает много льда. За этим льдом приходили из соседних приходов и шли молча, отворачиваясь от встречных, поили больных после нашептывания этой водой. Медицина считала главными возбудителями эпидемии особых заразных комаров. Обследовали подполья у населения, и почти у всех в щелях под полом скрывались комары, но неизвестно заразные или нет. Такое тяжелое заболевание вспыхивало по 2 года, а на 3 год было слабее.

Время шло. С сокращением лошадей обработка пашни и другие хозяйственные работы неизменно вздоржали. Пахать не только пашню, но и огород пришлось обрабатывать своими руками и запрягаться в соху по несколько человек. Некоторые прихожане, видя как в других областях приучают к пашне бычков и телок, стали приучать к пашне и бороньбе своих коров, и этим выходили из создавшегося положения. Я свой огород вскапывал своими руками.

Брат мой Вася кончил четыре класса духовной семинарии, поступил на работу в Черевковский райисполком на должность плановика и начал строить из материала старого дома в Ляхове себе избу.

С 22 года жизнь стала улучшаться. Не стал рейсировать по Двине крейсер «Светлана». Стали появляться в магазинах товары, и стали появляться прежние торговцы, хотя с небольшим ассортиментом товаров. В Красноборске открылся большой каменный магазин Устюжских купцов Дербеневых.

Даже на удивление всем дело пошло на улучшение сельского хозяйства. Обложение налогами снижено, обложение коров молоком не обязательно, а для желающих сдавать за установленную удовлетворительную цену. Разрешено держать скот без ограничений. На рынке в Красноборске появились в продаже коровье масло, мясо, яйца, шерсть и все свободно — без запрета. Вышел указ правительства о разделении крестьянских земель на хутора. На Лябле некоторые хозяйства вышли на хутора, им нарезали землю в одном участке и оградили ее столбами, также вырезали сенокос. Нашу церковную пахотную землю в старых границах оградили столбами, также и на лугу сенокос. Но такая операция так дорого оплачивалась, что не выдержит среднее крестьянское хозяйство.

При улучшении жизни появились новые стремления по восстановлению и ведению сельского хозяйства. И мне неизбежно пришлось приобретать лошадь для обработки своего земельного участка. Лошади были очень дорогие, и можно было купить только на хлеб, а не на деньги. Прицениваюсь и вижу, что за рабочую крестьянскую лошадь, не молодую, нужно плотить пудов 40 хлеба зерном ржи, а за молодую лошадь 60 пудов.

Не имея никакого опыта по этому делу и не посоветовавшись с кем-либо опытным, я договорился с прихожанином купить у него коня, за которого он просит 40 пудов ржи. Конь маленький и не молодой, но для моего хозяйства и этот хорош, в извоз мне не ездить. Договорились, помолились на церковь Богу, как водится по обычаю, и хозяин лошади, взяв заднюю левую ногу, сказал: «Вот смотри, выше копыта под щеткой небольшой нарост, разделившийся надвое». Я не придавал этому никакого значения, и он далее ничего не объяснял.

На следующий день я поехал за сеном за Двину. На обратном пути с сеном попадает мне навстречу обоз лошадей шесть. Мне пришлось сворачивать в сторону в глубокий снег, но лошадь моя маленькая и малосильная не могла своротить, и ехавшие с обозом мужики насильно завели мою лошадь в сторону и отодвинули мой воз с дороги. Проехали и не помогли мне выбраться из стороны. Так и застрял я с возом и лошадей в глубоком снегу. Пришлось выпрягать и вытаскивать лошадь из снега на дорогу, а проезжающие помогли вытащить воз и запрячь.

Тут у меня появилось сомнение в том, что я сделал большую ошибку — купил такого малосильного коня. О моей покупке лошади узнали все прихожане и говорят: «Зачем купил ты хромую и бессильную лошадь, у ней мокрец — она только обмочит весной заднюю ногу и будет хромая». Я обеспокоился, поехал в

Красноборск к ветеринару, и он сказал, что эту лошадь я знаю, я лечу ее летом, у нее мокрец левой задней ноги. Советую тебе отвести лошадь обратно, если хлеб за нее не уплочен. И прихожане из его деревни приходили и сожалели о моей ошибке и советовали отвести лошадь. Через две недели будет Крещенская ярмарка, нагонят лошадей из Вятки и других мест, тогда за сорок пудов дадут тебе лучшего коня-рысака, а этот конь и двадцать пудов не стоит.

Поразило меня горе, но сам виноват — поторопился, не подумал. Как решиться отвести лошадь — ведь мы обоюдно согласились и привели в свидетели Бога — оба помолились Богу на церковь, пожелали счастливо работать, и хозяин по совести не скрыл — не утаил болезни лошади. Отвел я лошадь обратно, не зная куда деваться со стыда, думая, что меня обругают или поступят со мной еще хуже, но хозяин и виду не показал, что оскорблен, а я сказал, что я продам лошадь на Крещенской ярмарке. Не знаю, как он переживал обиду от меня, а я потерял покой совести и тем более, что прихожанин этот почитатель Церкви, и поэтому приходится часто с требами бывать в его доме и терпеть упреки своей совести.

Наступила Крещенская ярмарка в Красноборске. Нагнали со всех сторон лошадей разного сорта — молодых и старых, рысаков. Привел хозяин и отведенную мною лошадь, и она выглядит среди лошадей, как маленький цыпленок. Я попросил своего прихожанина — знатока лошадей — выбрать мне рабочую лошадь. Приценились. Есть за 30, 40 и 60 пудов. Облюбовали рыжего молодого коня у приезжего с Пучуги за 40 пудов. Запрягли, поехали, все сторонние смотрели, что конь в беге хорош и обученный.

Я согласился плотить 40 пудов ржи. Помолились Богу и поехали за хлебом, свесили, пожелали счастья друг другу. Поехал за сеном — вижу, что конь обученный, смиренный — какого я желал. А отведенного мною коня хозяин не мог сбить на ярмарке, продал дома за 18 пудов. Все переживания с конями улеглись. Хорош конь в работе. Сам я сделал хорошую четырехколесную телегу, в Красноборск не надо ходить пешком.

На следующий год в начале зимы, когда замерзла река Двина, поехали мы с соседом за Двину за сеном ранним утром, чтобы в короткий осенний день засветло управиться. Переезжая за Двину, встретили обоз, и нам нужно было своротить в сторону, но увернуть мешают по обе стороны тороса льда. Лошадь соседа, ехавшего впереди, лошадь обоза зацепила за гуж и прет ее на мою лошадь, некуда деться, и моя лошадь оказалась всеми ногами в саях соседа, а в саях был воткнул топор, и топором перерезало левую заднюю ногу моего коня. Черкнули спичку, и видим из ноги льет кровь. Что делать? Перевязали тем, что было под руками, и я поехал домой, обливая дорогу кровью, шесть километров.

Конь чуть двигался на трех ногах и у самого порога двора упал, а кровь все льет. Я, не медля ни минуты, взял лошадь в деревне и быстро привез ветеринара: Рыжко стонет, жутко слушать. Распрягли, и ветеринар обнаружил — перерезано ахиллово сухожилие, положение безнадежное — нужно не мучить лошадь, а пристрелить. Как тяжело было смотреть такую картину! Но мы не решились на эту меру.

Ветеринар предложил, давайте попробуем лечить, все же будете питать какую-нибудь надежду. С помощью соседей перетащили коня во двор, и ветеринар, зная свою практику, принял коня подвешивать. Нашли большой парус, в потолке двора просверлили дыры, подвели парус под живот коня, концы паруса прикрепили к потолку, конь оказался подвешенным — задние ноги не касались земли. Ветеринар сшил сухожилие (с три пальца ширины), зашил рану, забинтовал и так через трое суток ездил на перевязку. Ужасно распухла нога, при каждой перевязке много гноя — страшно смотреть. Начал конь быстро худеть, так что через два месяца выглядели одни кости. Опухоль стала уменьшаться, а зашитая рана стала увеличиваться, как раскрытый рот. Но врач говорит, что это так и следует быть.

Делали прижигание раны ляписом. С января до мая прошло 4 месяца, стало казаться с виду, что на ногу можно наступать. Ветеринар попробовал вывести коня на улицу, но через порог нога не сгибается, выняли порог и поводили исхудалого коня по улице. Подкармливали овсом, и стал конь постепенно приходить в прежний вид, но нога толстая и шрам на ноге большой. Перестал посещать ветеринар. Не утерпел я и запряг Рыжка в соху и только поехал первую

борозду, из рубца засочилась кровь. Побежал к ветеринару, он успокоил меня, дал ляпису и велел обводить вокруг раны и не велел беспокоить коня, пока не снимет шва с раны. Так и не пришлось пахать на коне до посева ржи. В течение лета конь принял на себя прежний упитанный вид, но нога и рубец раны утолщенные. На следующее лето конь пахал хорошо. Писать хорошо, а как трудно пережить это.

Моя мать, великомученица, стала очень слаба и ни к чему неспособная. Теперь она не пропускала ни одной церковной службы — даже будничной. О Васе вся ее забота и молитва. На женитьбу она смотрела, как на несчастье, и все ее желание было, чтобы Вася не женился по пословице: «Одна голова не будет бедна». Особенная ее забота была и обо мне, что <бы> я, часто бывая на обедах и свадьбах, не попробовал вина. — «Не бери в рот этого зелья». Также и Васе был от нее строгий наказ.

Духовное училище не привнесло ему каких-либо вредных привычек — еще несовершеннолетнему, и мама от радости в нем души не чаяла. Но в духовной семинарии у Васи стал другой кругозор и взгляд на соприкасающиеся вещи, и мамыны наказания стали казаться суеверными предрассудками. Появилась у Васи страсть к картежной игре. Кончив 4 класса духовной семинарии, он стал и выглядел культурным и тактичным человеком. Поступил на работу в Черевковский райисполком на должность плановика.

Жизнь вдали от матери-старухи ничем не стесняла его, а на квартире жил у молодой вдовы. Вот она и воспользовалась случаем заманить его в свои сети. Стала варить пива и бражки, чем и ранее занималась, и попал Вася в ее сети — сделался ее сожителем и неисправимым алкоголиком и не сознавал своей гибели.

Прихожу я к брату на квартиру и он предлагает с ним пообедать. Накрошил в чашку хлеба, вылил бутылку водки и выхлебал все содержимое, и в таком виде пошел на работу. Не помогли слезные молитвы матери. Из Черевкова переехал он в г. Кемь на должность бухгалтера, и там дошел до худшего состояния. Пишет мне и моей супруге: помолитесь Богу обо мне, чувствую, что погибаю от вина, но нет воли победить себя. Забыл и мать, и ее золотые слова: не бери в рот вина. Весь бухгалтерский коллектив были пьяницы. Справляли вином праздники советские и церковные.

Случилось это в 1942 году, 7 апреля, в день Благовещения Пресвятой Богородицы. Справляя праздник, все перепились и пошли по домам. Зона запретная — строились военные корабли, и все имели пропуска для прохода по запретной зоне. Молодой часовой, первый раз на посту, увидав пьяного брата, на оклик «Стой» — не обратившего внимания или не услышавшего — застрелил его. Так кончилась молодая жизнь моего дорогого брата Васи на 41 году жизни.

## Глава 7-я

Весной 1923 года в Красноборске, проходя мимо дома купца П. А. Толубенского, я увидел через ограду три домика-улья, пчелы кучно вылетали и прилетали в домик с гулом. Я такое увидел в первый раз, и как раз в этот момент из калитки вышел мальчик, и я с его разрешения зашел в калитку, и он привел меня на беседку, и сидим с ним, смотрим на пчел.

В это время вышел из дома сам Павел Александрович и с негодованием спросил: «Вам кто разрешил войти сюда? Это ведь не Господи помилуй!» Я извинился и сказал, что увлекся такой картиной. Я никогда не видел пчел. Я вышел за калитку, и П. А. запер на задвижку калитку. Я ушел обиженный нетактичностью и грубостью богатого человека, да к тому же он знал меня как дьякона, и мне случилось в их церкви служить. Вероятно, он боялся конкуренции, чтобы кто-нибудь не вздумал заняться пчеловодством, кроме его.

Появилась у меня неотвязная мысль научиться пчеловодству и самому иметь пчел. В Красноборске у одного учителя был один улей, но он за ним сам не ухаживал, так как летом был в отлучке, а уход поручил агроному, который был мне знаком. Агроном охотно разрешил мне вместе с ним делать осмотр улья, и я с Ляблы приходил в назначенный день. Тут я окончательно увлекся этой



благородной работой с пчелами и, хотя дело громоздкое, но я, как сам столяр, без труда сделаю весь пчеловодный инвентарь.

На нашем семейном совете мы к согласию не пришли, т<ак> к<ак> дело для всех темное, неизвестное, никто из населения района пчел никогда не имел. Жена против — средств нет на покупку пчел, а пчелы дорогие — 45 рублей улей — и корова 40 — 45 рублей. И купить лучше 2 улья, на случай неудачи, хоть один улей останется. Без коровы остаться нельзя — семья, дети. Где найти выход? Где найти 90 рублей?

Я рискнул продать свое хорошее зимнее пальто за 35 рублей, да у Маруси хорошие ботинки за 7 рублей. Об остальной сумме пока думать отложили. Поехал я к пчеловоду в Комарицу Прокопию Подсекину, у него пасека 32 улья, он согласился продать на тех условиях, если я сделаю ему 6 ульев по 8 рублей из своего материала, а для меня такие условия выполнимы, и договоренность состоялась с внесением 25 рублей задатка.

Тут пошла молва, что псаломщик распродал свои пожитки и одежду на покупку мух, от которых никто не разбогател. С наступлением весны, во время половодья, я увез два улья домой и поставил в своем огороде. Какая была радость, когда пчелы в первый ясный день, освобожденные от закупорки, пошли на облет. Сделанные мною ульи сын пчеловода погрузил в лодку и увез домой на пасеку в Комарицу.

Пчелы куплены, но нет пчеловодного инвентаря: во-первых, вошины, дымаря, маточных клеточек, каток для навешивания рамок и проволоки. Все эти вещи имеются в продаже только в городе Устюге.

Оставив вместо себя заместителя по службе и следить за пчелами, я отправился в Устюг. Приехал накануне праздника Вознесения Господня в день отдания праздника Пасхи, когда служба вся пасхальная, звон праздничный. Я накупил все нужное и в ожидании парохода сел у пристани к кипящему кубу с водой для пассажиров и занялся чаепитием.

Пассажиров еще не было. Подходит ко мне человек годов 25 — 30, изящно одетый, здоровый, но на левой скуле большой шрам, можно палец в него положить. Я подумал, что на войне ранен был. Увидев у меня в раскрытом коробе пчеловодные вещи, он догадался, что я пчеловод. Из его слов я вижу, что он человек развитый и говорит увлекательно.

Он отрекомендовал себя жителем Устюга, а дедушка у него на другой стороне Сухоны, в двух верстах от Устюга, тоже пчеловод. Я был очень рад собеседнику, а он из ласкательной беседы узнал от меня, что я служу в церкви и у меня еще первые шаги по пчеловодству. Поговорили по душам, и он ушел, вежливо попрощавшись, а я пожалел, что кончилась наша беседа.

Не прошло 10 минут, и он является снова и объявил, что он агент по приему и продаже реквизированных вещей у богатого населения, и вещи продаются с аукциона и за бесценно. Пальто, сапоги, а поповские рясы и подряски почти даром отдаем. У меня мелькнула мысль: купить бы что-нибудь детям для перешивания — ведь у них одежды не лишка. Сапоги новые и бродни отдает за 5 рублей.

Я, говорит, пришел сказать тебе, чтобы вы воспользовались этим случаем. Времени в запасе целый час. Я с полной верой в этого красноречивого человека решил идти с ним. Он повел меня не по улице и объяснил мне, что вот этим местом, через склады бревен и дров, очень близко и сюда пойдем. Дошли в тупик до ограды, в которой три доски удалены, перелезли в эту дыру, и он привел меня к сидящему молодому человеку, одетому в костюм дорогого сукна защитного цвета, такая же фуражка и дорогие сапоги.

И человек этот держит игральные карты. Путеводитель мой с суровостью спросил: «Ты откуда тут взялся?» — «Я взялся! Я из Вятки приехал, новую игру привез, давай сыграем!» — Взглянув на меня, мой путеводитель сказал: «А что, разве сыграть!» — А меня беспокоит то, что пароход отойдет, и я останусь на сутки, и никак не догадался, в какую угрожающую жизнь беду я попал.

Путеводитель мой сделался совершенно другой: изменился в лице, жесты стали быстрее. Взял карты, перетасовал, положил ему на колено, из левого рукава своего костюма вытряс большую бумажную копию и сидящий такую же. Поднял карту и выиграл.

А я потерял терпение и рад был уйти обратно на пристань. Перетасовали карты и снова поставили уже по две монеты, и путеводитель просит меня: «Вот что, друг, подними ты за меня карту. Я с боку посмотрю. Я сомневаюсь в нем — он шулер». Я сказал ему, что с роду не держал карт в руке и никогда не намерен брать их. И он уже не просительно, а принудительно, с грубостью, сказал: «Да ты человек ли есть-то! Чего боишься-то?»

Только сейчас я понял, что надо убежать. Я сделал быстрый шаг прочь, он схватил меня за воротник плаща, ударив по моему коробу, который был на спине, короб был обмотан кушаком, и я держал через плечо крепко рукой.

Рука его непрочна захватила воротник, и я сколько есть силы бежал с криком и слезами. Только схвати меня или же подставь ногу, я бы упал. Свидетель один, подросток, перекладывает упавшую поленницу и слышит мой неистовый крик. Место открытое. На самом берегу Сухоны церкви, и я спешу к калитке, и, к счастью, калитка не заперта. Я увернул из калитки в сторону пристани и без сознания несся вихрем возле ограды до самой пристани. Только слышал последние слова: а ты, а ты, а ты, и матерщину. Сухона была в полном разливе, берег отвесный, как стена, и я бежал возле реки и ограды по площади, не шире одного метра.

На пристани уже много пассажиров. Я без сознания обращаюсь к каждому, что меня чуть не убили. Это дело милиции, иди к земляному мосту, и указали куда идти. Побегал и вижу у моста стоит будка и милиционер. Я, все еще волнуясь, рассказал милиционеру. Он быстро поднялся вверх по лестнице, снова прибежал — спросил, в каком месте произошло. — «Теперь не уйду, наши сейчас уже там. Счастлив ты, сбросили бы тебя в Сухону. Уже сколько таких произведено ограблений и убийств».

Уезжая в Устюг, я велел в случае жаркой погоды днем снять с ульев верхние подушки и раздвинуть пошире летки, но мой наказ жена и шурин забыли. День выпал жаркий, в улье поднялась высокая температура, соты растаяли, пчелы укатились в меду и воске и погибли. Один улей уцелел, т<ак> к<ак> был не сильный.

Приезжаю домой, открывает дверь плачущая жена, не смея объявить постигшего горя. Я бросился к улью, и при открывании верхних подушек бросился из улья горячий пар. Сложил в ведро мертвых пчел и закопал в землю. Ох, тяжела эта рана была для нас. Ведь мы поставили на карту последнее, что имели.

Следующая неделя, воскресенье девятое после Пасхи — была ярмарка в Краснороске. После обеда я пошел посмотреть на ярмарку. Множество народа, приезжих торговцев в разбитых временных палатках, местные товары: горшки, деревянная посуда, чугуны, лемехи к сохам, бороны. В середине рыночной площади поставлена карусель, и возле ее и кругом столько народа, что через это кольцо не протискаешься. А привлекает больше всего к карусели мальчик лет шести-семи. Он выучен делать такие номера, какие может делать самый опытный клоун или артист. Сядет покататься какая-нибудь деревенская девушка, а он начнет ей предлагать такие любовные комплименты, что никто не может удержаться от смеха, вся публика хохочет. Все женщины и даже старухи, услышав такую новость, говорят, что идти нужно парня-то посмотреть.

А вокруг карусельной публики все время ходят два солидных молодых человека в изящной дорогой одежде, с красивыми тросточками в руках. По походу, по осанке я предположил, что это какие-нибудь с высшим образованием люди: инженеры, геологи, посещающие наш край. Один из «инженеров» запустил руку в карман молодому мужчине, вынул и стал передавать кошелек своему товарищу-«инженеру». Но их обоих схватили и завязалась смертельная драка. Хотя «инженеров» двое, но они тростями защищались, одного смяли, а другой с деньгами убежал, хотя гнались за ним, но он послал в догонщики кол, сам перепрыгнул через забор и скрылся. Многим досталось от этих «инженеров».

Задержанного били кому не лень. Бабы кричат: «Да убейте вы его, разбойника!» Сбежалась вся публика, а человек лежит окровавленный, из зубов и ушей течет кровь. Пришел милиционер и запретил бить его. Пришел второй милиционер. Вдвоем подняли подмышки с земли, сняли костюм, осмотрели, ничего в карманах не нашли, обратили внимание милиционеры и вся публика на широкий серебряный пояс, к которому приделаны кармашки и цепочка, как сереб-

ряные. Милиционер потянул цепочку, а она уходила в правый карман брюк и поддавалась с усилием, и наконец вытащил из кармана отточенный на три грани нож сантиметров 30 длиной. Более ничего не нашли. Взяли трость с ручкой, как у зонта, развинтили ее и вынули такой же трехгранный нож, к которому прикреплен ручка. С ужасом и удивлением смотрел я, а так же и публика. Потасили его — идти он не мог — и положили куда следует.

Тут же возле карусели расположился китаец со змеей и попугаем. У него публики много — не пролезешь. Берет он со зрителей его работы по 5 копеек. У него в блюде с дырявой крышечкой змея. Открывает крышку, обливает змею приготовленной у него водой, берет голову змеи себе в рот, и она выходит ему ноздрей до трети туловища и ворочает зигзагообразно головой. Потом залезает в другую ноздрю и выходит обратно ртом. Попугай твердо грубым голосом кричит: «Ты, мужик, дурак!» Кричит про распутную барыню и ругается нецензурной бранью. А народ все: ха! ха! ха!

Я никогда не позабуду этого зрелища с «инженерами». Если бы в Устюге я не устоял — подчинился просьбе своего путеvodителя — поднял карту, то что бы могло быть. Ведь он и деньги вытряс из левого рукава и карты тасовал левой рукой, оберегая правую. Могло быть в правой какое-то оружие, а сидящий с картами мог бы схватить мои руки и зажать мне рот. Последние их звуки: а ты, а ты, а ты и матерщина ясно говорят, что они оба оплошали — не могли взять меня, когда я был полностью в их руках. Видимо, Бог сохранил меня от этих злодеев ради своих малых детей.

Остался один улей, жаль погибшего улья, хожу, как в тумане, печаль заедает, даже посторонние замечают. Улей в силе, раз скоро должен быть рой. Рой вышел, привился на сосенку, приставленную ранее в ожидании роя. Вечером посадил в новый улей. Около Петрова дня начался медосбор. Пчелы залили медом гнездовые рамки, пришлось поставить сверху ящики (магазин) с рамками. Рой хорошо работает, к осени должен укрепиться и будет годен для зимовки. Через 6 дней после поставки магазина улей был полон меда. Откачали, оказалось 25 фунтов — 10 кг. За время медосбора качали 5 раз — получили 35 кг меда. Не поверили бы ранее, что пчелы могут дать столько дохода. С одного улья получен рой — 25 рублей, 35 кг меда по 50 копеек кг — на 17 рублей 50 копеек плюс 25 рублей, всего 42 рубля дохода с одного улья.

Теперь все мысли мои были направлены на увеличение пасеки. В 24 году осенью, в день праздника урожая, была районная ярмарка и выставка сельского хозяйства и районных изделий. Меня и еще из соседнего прихода крестьянина Александра Максимовича Шадрина, имеющего один улей, обязали организовать отдел пчеловодства в здании школы.

Я привез улей своей работы, медогонку, по стенам развесили гербарий цветов. Такая редкость для населения, как пчеловодство, привлекает всех. Агроном сам впускал в помещение по 10 человек. Я как мог объяснял о пчеловодстве, так же и Ал. Шадрин. Тут вдруг разнеслась тревога: на рынке горит!

Народ побежали на рыночную площадь, а там книги жгут. Наложена огромная куча книг, а сверху соха. Как это люди могли равнодушно смотреть на такую картину — не жалеют такой ценности. Хотя книги и духовнонравственного содержания, но зачем их уничтожать. А соха столько лет была помощницей-кормилицей мужика. Таков был дух общества того времени. За проведение выставки пчеловодства нам, как пионерам пчеловодства, дали премию — медогонку ценою 30 рублей. Я свою часть сдал ему, получив с него 15 рублей.

(В 1928 году церковный сенокос отобрали в пахотную землю, оставили занять яровое и рожь для будущего 30 года. Но это заранее было предусмотрено активом бедноты, чтобы отобрать у нас урожай после обмолота. И мы без всякого подозрения, что над нами учинено такое коварство, что обрабатываем чужой урожай, наняли пахаря, вложили семена, наняли молотить — затратив средства для обработки чужого урожая. Без всякого подозрения ссыпали зерно своему работнику в амбар 65 пудов. В 29 году, переехав на родину в Ляхово, получили извещение, что хлеб увезли в сельсовет. Какое убийственное горе напало на нас — остаться без куска хлеба в самое голодное время.)

## Глава 8-я

Что сулило нам будущее никто не знал. А приближалось время грозное. Начались диспуты на религиозные темы. В Красноборске организовался союз «воинствующих безбожников», печатались плакаты «воинствующая церковь». Появился и рейсировал броненосец «Светлана» с оркестром. Слышим — начались аресты торговцев и богатых мужиков.

Опять собрания всех граждан по обложению коров молоконалогами по 25 пудов с коровы, но население упорно не принимало. Тогда налог увеличили до 40 пудов с коровы, а с лишенцев 60 пудов. Кто на собрании публично высказался против — были арестованы и отбыли по одному году заключения.

Псаломщический церковный дом отобрали под школьную ночлежку. Мне было дано 24 часа срока на выселение. Поместился в ближайшей деревне, перегнал корову и перевез 3 улья пчел в подпол новой квартиры. Зимовка для пчел хорошая.

Слышно, что в Архангельске сильный голод, люди поехали из Архангельска и других городов променивать на хлеб вещи из одежды и прочего. Теперь положение мое при Церкви при непосильном 5000-~~ом~~ налоге грозило мне, что опишут все мои пожитки и продадут с аукциона.

Я с горестью решил оставить свою церковную службу и переехать на родину в выстроенный братом дом. Я рассчитывал, что, освободясь от церковной службы, буду освобожден от налога или хотя часть его скинется; но ошибся — нисколько не скинули.

Прежде, чем переселиться на родину, я сходил спросить согласия соседей на мой переезд. Собрались все соседи, я рассказал про свое тяжелое положение, что мне некуда деться с семьей 8 человек, и я хочу вернуться в свою родную деревню на свое родное пепелище. Бригадир: «Кто за то, чтобы Карпов переехал к нам в деревню, поднимите руки». — Никто не поднял руки. — «Кто против?» — все подняли руки. Слышу такой разговор: не захотел работать топором в деревне, уехал на сладкие пироги в церковь махать кадиллом. Горько было выслушать такие упреки.

Другого выхода из положения не было. Вот тут-то, видя мое безвыходное положение, и стали посещать меня учитель местной школы и снявший с себя сан дьякона на диспуте в Красноборске Дмитрий Чецкий, советовать мне принести раскаяние — скинуть с себя сан дьякона, и тогда скинется налог, устроят на работу, и дети будут приняты в школу на дальнейшее образование. Не лежало сердце стать на такую дорогу.

Подумали с супругой, поплакали, но совесть твердо говорила, что ведь это иудино предательство и есть, нарушить присягу, данную пред Крестом и Евангелием при рукоположении, и быть таким же иудой, как Дмитрий Чецкий! Нет, уж лучше поедем на родину против желания соседей в недостроенный дом брата.

Пчел весной пришлось выставить на заполье в лес и нанять караульщика, т~~ак~~ к~~ак~~ в деревне нет места. Вручили анкету с вопросами об отношении к религии, власти, семейно-имущественное положение, происхождение и прочее. Пчелы благополучно перезимовали, отроились и дали два роя и по 2 пуда меда. Сенокос отобрали, а пахотную землю разрешили засеять (здесь имелось в виду отобрать у меня урожай хлеба, и отобрали). Пришлось, как цыгану, просить по дворам по клочку сена для своей коровы. Я соседям в Ляхове на родине не объявил, что у меня есть 5 ульев пчел из боязни, что они не примут меня на родину (все равно не приняли). Налог наложен непосильный — 5000 рублей. В дальнейшем описании видно будет дальнейшее наше положение.

В 28 году, в июне месяце, я один без семьи переехал на родину с 5 ульями пчел, поселился у соседа, пчел поставил напротив своего дома в косогоре у ручья, у своего старого овина. Ручей весь в тугую был забит строевым лесом, т~~ак~~ к~~ак~~ во время весны вся Двина в тугую была запружена строевым лесом. Под караулку пасеки я занял свой старый овин, прорезал окно, острогал стены, спал ночью и в то же время следил за ульями. Прихожу к ульям, а тут лежат огромные комья сухой глины, и у одного улья проломлена крыша. Видимо, глина летела с горы, и злоумышленники хотели сшибить с кольшков улья. Это огорчило и насторожило меня.

Стал я замечать, что трое соседних ребятишек шепчутся и следят за мной. Большой палец правой руки не давал мне покоя, особенно ночью, и я не находил покоя, бродил по полям куда глаза глядят. Костный панораций требовал операции. Ночью я ушел, не зная покоя, в поле и задержался, вероятно, ребята выследили меня в этот момент и нарушили всю мою пасеку: изо всех 5 ульев рамки повывинмали, часть набросали в воду, пчелы кучами лежат на земле, часть сидят без рамок в ульях. Собрал все рамки, 30 рамок не хватает. 2 рамки нашел в воде. Добавил запасных рамок, собрал в два улья ползающих пчел, посадил в ульи, не рассчитывая, что живы матки, считал, что все погибло. Пошел заявить в сельсовет и прямо указал, что пасеку разорили трое: Александр Шиловский, Михаил Карпов и Владимир Журавлев. Сельсовет сообщил в район.

Я попутно зашел в больницу на перевязку пальца. В ожидании очереди сижу и вижу: двое из воров приехали на телеге — Шиловский и Карпов — и не могут подняться на крыльцо, их ведут под руки — они не могут шагать. У обоих лица распухли, нос раздуло, как пузырь, шея сравнялась с подбородком, говорят шепотом, нисколько не похоже на человека. Фельдшер В. Коржавин дал направление в Черевковскую больницу.

На следующий день из района приехал какой-то представитель, осмотрел место пасеки, опросил меня, посмеялся над ворами, что не сумели сделать дела — ведь только бы вылей ведро воды в улей и свободно бери рамки, а крайне неопытные воры — напоролись на такую беду.

В больнице воров допрашивали, и из показаний сельсовет узнал: шли мы вечером по деревне, а пчелы Ивана Степановича набросились на них. Такое событие быстро распространилось по всем учреждениям. Родители воров пришли ко мне с угрозами подать на меня в суд, если я добровольно не уплочу вора за дни работ, за время, проведенное в больнице в горячее время сенокоса. Я прошу их посмотреть пасеку и на работу ваших сыновей. Я не думал, что они останутся живы, говорится, что человек может перенести не более 65 ужалений, а воры приняли их тысячи. Пчелы изжалили им все тело, проникли в рукава и штаны и рубахи.

Через 3 недели воры были уже дома. Не знаю, ставилось ли им в вину такое преступление, а, может быть, потому что пасека дьякона-лишенца, то нет для них и преступления. Опыт научил их, как нужно грабить пасеку безнаказанно. Все трое комсомольцы: Шиловский — сотрудник НКВД и тайный агент. Все колхозники боятся его, как способного на всякое грязное дело.

Вскоре все выяснилось. Когда стали расти в лесу грибы, люди стали приносить из лесу куски пчелиных сотов и рамки ко мне на дом, спрашивая, не твое ли это? Да, мое, говорю. Выяснилось и то, почему В. Журавлев не пострадал от пчел, оказалось, что он стоял на карауле. Тогда медосбор еще не наступил, в ульях меду было не более килограмма — все была черва и воры унесли черву вместо меда. Говорила ли в них хоть сколько-нибудь совесть: принять на себя такой позор перед всеми служащими района, но, оказалось, нисколько не отразилось на них, что будет видно из дальнейшего.

Живу я один на родине, а Маруся на Лябле, и еще не получила такого печального письма. И сообщать-то не решаюсь и умолчать нельзя. Пишет Маруся, что молоконалог выполняет — сдает по 6 литров в день, для детей ничего не остается, т<ак> к<ак> корова стельная и молоко убывает.

У меня из пальца фельдшер выпустил гной, удалил косточку, ношу руку без подвешивания, боль снижается.

В обоих ульях сохранились матки, начался медосбор, прибавил пустых рамок для меда. Для себя я меда не ждал, а лишь бы на зиму пчелы обеспечили себя медом. Обида и расстройство не проходят, вся жизнь отравлена, и все время будь начеку. Как ни караулил усиленно, а прихожу на пасеку — вижу, что одного улья нет — исчез, лежит одна крышка, побежал искать в бревнах леса — нет, стал искать в ельнике, на другой стороне ручья, нашел все 10 рамок, аккуратно сложены, мед с воском кусками выломан, пустые куски смяты в один кусок, все сделано по-хозяйски — видимо, вор все хранит для себя.

А где же улей? Вышел на бугор и увидел на нашей стороне, в ячмени стоит улей. Подошел и вижу — пчелы кучами лежат на земле, залитые водой, в улье

вода и в ней плавают пчелы. Теперь для меня ясно, что воры приобрели полный опыт грабить пасеку. Что делать? Идти к ворам не хватает силы побороть себя, не поругаться с ними, да и счел это бесполезным. В суд подать? Нет уверенности в суде, ведь судить-то будут активисты-комсомольцы, они же будут и обвинителями, а не подсудимыми.

Пошел я поделиться своим горем с пенсионеркой-учительницей Любовью Николаевной, своей благодетельницей, которая содействовала моему поступлению в Архиерейский хор в 1910 году. Она жила у фельдшера Василия Ефимовича Коржавина, как бездомная, а у него как прислуга. Побеседовали с ней по душам. Василий Ефимович подробно ознакомил ее о случившемся со мной и с ворами. Оказалось, в больнице едва сохранили им жизнь. Они не могли принять твердой пищи 7 дней, во рту все распухло. Не было мочи — доставали искусственным способом. Пчелы изжалили все тело.

Я спросил Любовь Николаевну и Василия Ефимовича, что если бы я подал на них в суд, то какие бы были решения суда? Они сказали, что вернее всего жалоба ваша осталась бы без последствий, а воры в отместку натворят вам еще не таких бед. Плакаты-то о твоём дьяконстве пишут и рисуют они. Икону над церковью и за престолом расстреляли они. Ведь Шиловский не только комсомолец-активист, он сотрудник НКВД и тайный агент — это сила, даром, что хромой, едва ходит и туловище набок. Вернее всего перенести с терпением эту тяжелую рану, чем навлекать на себя в будущем большего горя.

Хожу разбитый, потерял равновесие, не зная, на что решиться. На Лябле — ни квартиры, ни земли, на родине ничего, кроме худого, нельзя ожидать. Сидя в овине, слежу за единственным горемыкой-ульем, жду, что и тот украдут.

Маруся пишет, что за 5000 налог начислят много пеней, то и пени не выплатить, не только налога. Пишет, что матушка о. Иоанна померла — ей оперировали горло, вставили в горло трубку и питали ее искусственно. Через 1½ месяца померла.

К зиме неизбежно нужно войти в свою квартиру (вернее брата Васи), а нет ни рам, ни печи. Наготовил брусков на 9 рам, верстак предоставил сосед, инструменты у меня на Лябле. Возле дома вора Шиловского приходится ходить не один раз в день. Вижу, сколачивается по-топорному улей, видимо, хочет заняться пчеловодством. Грустно смотреть из овина на единственный улей. Пустые ульи при помощи соседа я сносил в овин. Только один сосед для меня опора. Он плотник и столяр, но хозяйство самое бедняцкое. Отец ранее нищенствовал, пять лет назад помер, померла и мать. Женился, померла через 2 года и жена, и он жил один с 12-летней дочерью. (Дочь получила образование и работает педагогом.)

Прихожу проверить улей, а в нем нет ни рамок, ни подушек и ни одной пчелы. И на земле нет ни одной пчелы. Ясно, что самый опытный вор сумел взять пчел для своего задуманного пчеловодства, и искать бесполезно. На следующий день, проходя мимо дома Шиловского, вижу на балконе под крышей дома стоит новый, топорной работы улей. День был холодный и пасмурный, и нельзя было узнать, есть ли в улье пчелы. У меня твердое убеждение — если в ясный теплый день полетят пчелы из улья Шиловского, то это мои пчелы.

Дождлся я такого теплого дня, пошел и вижу полный лет пчел из улья на балконе. Пошел на свою пасеку, а пчелы кучами сидят на колышках улья и вновь прилетают. Чтобы убедиться, я взял дымарь и муки и обсыпал пчел мукой и дымом прогнал, а сам быстро побежал к улью Шиловского и вижу — белые, обсыпанные мукой пчелы лезут в улей. Поймал вора, что делать? Говорить с потерявшим всякое чувство совести, более чем бесполезно. Носи тайную злобу и убийственную жалость в себе, и более ничего.

И так кончил я свое пчеловодство. Начал учиться с грубыми ошибками и кончил за упокой.

Маруся пишет, что приезжай немедленно домой, мать в плохом состоянии. Я немедленно поехал и застал маму в сильной агонии — страдала от головной боли. Данные фельдшером лекарства не помогали, да и возраст 70 лет. В агонии силсилась повернуться с боку на бок, и все время были в движении руки, и

стонала. Прошло минут 10, и начала приходить в спокойное состояние. Последние три редких вдоха и кончилась.

Брат Вася не застал живой мамы — молитвенницы за нас. Сделали гроб, сами выкопали с шурином и Васей могилу у самой церковной ограды. После омовения священник совершил панихиду и положили в гроб. Обедню и отпевание пели все втроем: я, Вася и брат Маруси, Михаил Иванович. В настоящее время нет и следа церкви — разрушена, а могила мамы застроена гаражом. Тяжелая была доля мамы. Никому не взвесить ее слез. Не видала она тихой мирной жизни. А какое ее замужество? Алкоголик — наш отец — повесился. Схоронила 9-х детей. Жизнь нищенская, сиротская. Проезжая в автобусе возле могилы матери, смотрю на гараж, как на надмогильный памятник.

Поехал я на родину, захватив с собой столярные инструменты. А на Лябле уже хлеб с поля убирают на гумна. Наш работник тоже убрал наш хлеб и сложил на его гумно и засеял рожь для будущего года. Я, приехав на родину, начал делать рамы для своей избы. Надо приступить к битью глинобитной печи. Рамы сделал я, нужно на остекление 9 полос стекла. Стоят они около 5 рублей, и такая сумма в нашем хозяйстве не находится. Пришлось взять работу у Черевковского рабкоопа на выделку стульев, и этим вышел из положения, получив в задаток 10 полос стекла. Зиму пришлось жить с одними рамами.

Уже давно идут собрания, совещания о создании колхозов. Одновременно с этим начали организовываться комитеты бедноты из членов самых бедных хозяйств. Лишенные избирательных прав не допускаются на собрания по таким серьезным вопросам. Самыми главными решителями таких вопросов являются комитеты бедноты. Члены его более активны. Зажиточных и средних крестьян нужно было убеждать, чтобы все было без принуждения. Но это было не так.

К нашим собравшимся крестьянам приехал организатор колхоза и объявил, что колхозы будут созданы только для бедняцкой части, и зажиточные, и выше среднего, и лишенцы в колхоз не войдут. Он сразу стал записывать желающих вступить в колхоз. Первый вопрос: «Бедняк, середняк? Какой налог платишь?» Бедняк налога никакого не платит и безусловно принимается, а плательщик е. с. х. н. (единый сельскохозяйственный налог) допускается по оценке комиссией его хозяйства. Не решившимся сразу записаться организатор говорит, что суши сухари. Это означало, что выселяйся с территории колхоза на другой земельный участок.

Начались ежедневные собрания об организации колхоза. Никто необдуманно не может сразу решиться сдать свое хозяйство, нажитое в течение жизни тяжелым трудом, в общую собственность. Бедняку или самому маломощному нечего обобществлять — у него нет ни лошадей, ни коровы, ни упряжи, ни телеги. Еще не выработан колхозный устав и правила приема имущества.

Вызывают меня в сельсовет по касающемуся делу. Вызвано 20 человек. Приехал уполномоченный какой-то государственной организации с допросами о знакомстве с называемыми им лицами. Вызывает к себе в кабинет по одному человеку, обращается вежливо, предлагает стул и просит закурить лежащими на столе папиросами. Берет из целой стопы большого размера листы, где крупными буквами напечатано: «ДЕЛО», и каждый ответ записывает в эту тетрадь. Вопросы все по одному шаблону: знаком ли с этим человеком. Сидишь с подозрением — для чего это? Ответишь на все вопросы и он скажет: «Вы свободны, никому ни слова», — значит никому не разглашай.

В течение месяца было 2 допроса мне и бывшим со мной, а другие лица вызывались в другие дни. И вопросы все о знакомстве с лицами, о которых у него запись, и все ответы записывает в дело. Я осмелился спросить: «Для чего же нужно вам знать знакомство людей между собой?» — «А вам для чего это знать? Мы и сами не знаем, а поручение дано и делаем. Теперь на каждого гражданина будет иметься дело». Для меня ясно и понятно, но для чего знать о знакомстве — это не понятно. Поделались мы с теми, кого допрашивали, оказалось, что их спрашивали о знакомстве со мной, а меня о знакомстве с ними, и у всех одинаковый порядок и уходящему запрет: «Ни слова!»

Так и думалось, что готовится что-то для нас нехорошее. На собраниях комитетов бедноты выносились постановления о ссыпке хлеба в общие амбары.



По этому вопросу были общие собрания всех граждан, но большинство крестьян были не согласны. Последнее собрание было в Черевкове — собрание бурное, к решению вопроса не пришли, и всех несогласных арестовали. На следующий день собрались в Холмове и ляховцы, и черевковцы, и составили от имени всех собравшихся прошение об освобождении невинно арестованных, но ответа не получили.

На другой день все собравшиеся в Холмове черевковцы и ляховцы пошли с целью добиться освобождения арестованных. Толпа была около 150 человек. Их предупредили, что это будет рассматриваться, как выступление против советской власти, но толпа близко подошла к райисполкому, по ней дали залп из винтовок, 6 человек убили, 25 ранили. Остальные бросились бежать, кто куда мог.

Я писал уже, что пахарь наш на Лябле сложил сжатый хлеб на свое гумно, нанялся измолотить и сыпать хлеб в наши лари и кадки. К нему во двор поместили всю нашу хозяйственную утварь: соху, борону, четырехколесную телегу, хомут, сбрую и дуги. Осенью при первом установившемся санном пути переехали всей семьей в Ляхово в братний дом. Взяли с собой хлеба (мешок муки, опасаясь взять более в такое опасное время). Корову перегонили заранее.

За хранящийся на Лябле хлеб мы очень-то не беспокоились, так как работник был самостоятельный. Но ведь бедняцкий актив знал, что дьякон хлеб хранит у работника в амбаре. Постановили хлеб и весь хозяйственный инвентарь отобрать. Получили извещение письмом, что хлеб наш — рожь и ячмень — всего 65 пудов, увезли в сельсовет, и весь инвентарь, и прихватили 10 овчин и 5 фунтов коровьего масла у хозяина. Получив такую печальную весть, не удержались от слез. Пошла жена в Красноборск в канцелярию <сель>совета, по справкам оказалось, что поступило всего 14 пудов. А где остальные 50 пудов? Впоследствии все выяснилось, но мы, как лишенцы и церковники, могли ли поднять какой-либо протест. И так остались мы без куска хлеба в такое голодное время.

(Еще опущен мной факт, о котором нельзя умолчать. В 1927 году, 24 сентября, в пасмурный и холодный день вышел я на улицу около 4 часов дня и вижу на середине реки Двины летит что-то ослепительно светлое и приближается к берегу и к нашему дому. Летит на высоте 6 — 7 метров от земли. Я быстро вызвал из комнаты жену, и мы с ужасом смотрели на ослепительную и невообразимо чудесную картину. Форма этого чудовища, как скелет огромнейшей рыбы или колоссальной змеи. Туловище чудовища состоит из ослепительно раскаленных колец, которые сжимаются и растягиваются, середина туловища утолщенная, кольца постепенно уменьшаются и, видимо, раскаленность их ближе к хвосту уменьшается, так что хвост чуть красный — оранжевый. Последние кольца самые мельчайшие — как у змеи, а не у рыбы. Голова, как у рыбы, глаза огромные — прожектора ослепительные. Летит медленно, с шипением тянет за собой воздух. Третьей частью туловища зигзагообразно виляет — как чудо чего-то ищет на земле. Концом хвоста быстро делает колечки.

Мы были ошеломлены от страха, боясь, что коснется нашего дома. Особенно страшно было, что телом врежется в телеграфную проволоку, проволоки было 7 рядов, но чудовище поднялось выше и обогнуло телеграфный столб. Летело с северо-востока и держало направление на юго-запад. Скрылось на горизонте в лесу, но свет виден был много минут. Случись бы это ночью, то встревожились бы все жители всего района — ведь такое колоссальное чудовище не менее 100 или более метров ослепило бы светом.

Обратился я за разъяснением этого явления к учителю Василию Арсентьевичу Никонову, у которого своя лично огромная библиотека, в которой 80 томов научной энциклопедии и целый дом книг, но В. А. Никонов для разъяснения ничего не нашел. Обратился он с описанием явления в Москву.

Получил ответ: наука не знает таких явлений, а это, вероятно, шарообразная молния или мираж. Но это предположение академии слишком ошибочно. Мираж и шаровая молния не однородны, не похожи на виденное нами. Ведь чудовище колоссальное, художественно оформлено. Вообразите колоссальную рыбу или змею, отнимите у них тело, оставив один скелет, и получится точная копия виденного чудовища. Это неминуемо наводит меня на мысль, что наука

до сих пор не знает таких явлений и отрицает их, а они есть — это факт неопровержимый и реально существующий.

Прошло с момента виденного нами чудовища 43 года, и вот встретил я недавно одну старушку, которая рассказала мне, что такое же точно чудовище ослепительное в 1909 году, в августе месяце, на сенокосе в ракульском лугу на Двине налетело над ними, и все люди со страху скрылись, кто куда мог: кто в сено, кто в земляной станок (помещение в земле). По рассказам ее чудовище той же формы и величины.)

(Еще до организации колхоза в 25 верстах от Ляхова в Тимошинском сельсовете была организована коммуна «Север» и существовала она 6 лет, а потом ликвидировалась. Организатор ее, учитель Митин Александр Федорович, принял на себя труд организовать коммуны и у нас в Ляхове. Прибыв в наш колхоз «Звягинец», своей речью стал доказывать, что неизбежно нужно вступить в коммуны, убеждая, что колхозы явление временное — это только первый шаг в коммуны. И начал записывать желающих. Из колхоза «Звягинец» записалось 12 человек, из колхоза «Маяк» — 7 человек. Записавшиеся должны в течение трех дней подать заявление. Подал заявление и я.

По обсуждении характеристики каждого — все были зачислены в будущую коммуны «Якорь», а мое заявление оставили без последствий. Кто-то из колхозников напомнил организатору о моем заявлении. Организатор сильно ударил линейкой по столу и неистово вскрикнул: «Нужно знать, чем он дышит!» Меня очень поразило и обидело такой грубостью со стороны образованного педагога. Убила меня безвыходность положения, и в то же время, кончив пчеловодный сезон, в колхозе на второй сезон будущего года райисполком не разрешает расходовать колхозные средства наемному лицу.

Не прошло и недели, не успели приступить к организации коммуны, последовало распоряжение через газету в статье «Головокружение от успехов», и организация будущей коммуны «Якорь» не осуществилась. Так по-прежнему и остался колхоз «Звягинец».

Куда же мне деваться с семьей 8 человек. Написал своему другу Михаилу Александровичу Зайкову, члену Красноборской коммуны «Коммуна на Перевале», которая существует уже второй год. В ней 19 хозяйств и все мои знакомые, бывшие мои прихожане. Организатором ее был — дер<sup>евня</sup> Якушкино — Ширяев Михаил Александрович и — деревня Бережная — Юрьев Федор Дмитриевич, инвалид — герой Русско-Японской войны, потопивший миноносца «Стерегущий», открывший кингстоны на дне миноносца.

Михаил А. Зайков да и все знакомые мне коммунары обещали ходатайствовать о принятии меня в коммуны. Для организации коммуны конфисковали двухэтажный дом священника Николая Попова, перевезли на территорию, занимаемую ныне Красноборским аэродромом.

Поехали с женой в коммуны «На Перевале» посмотреть бытовые условия коммунаров и хозяйственный порядок. День был теплый, солнечный. Подходя к дому коммунаров, увидели вопиющую бесхозяйственность. Конюшня и скотный двор на расстоянии 8 — 10 метров от дома. У дворов два года не убирали навоз, мух рой — нельзя рот открыть. Михаил Александрович повел нас в дом на верхний этаж. По середине коридор, по ту и другую стороны — комнаты, отделенные одна от другой тесовыми досками. Почти у каждого в люльке качается ребенок. От сушки детских постелей запах — глаза слезит. Тараканов очень много. Захолонуло у нас на сердце.

Вышли коммунары делать во дворе уборку. Валяются изъезженные сани, разбитые телеги, негодные колеса, распрямившиеся дуги. Коммунары переругиваются. Федор Дмитриевич Юрьев говорит: «Нам, ребята, с таким порядком ни дна, ни покрышки не видать».

Зашли на кухню. Повариха готовит обед. Накрошила картошки, нарезала селедок, луку и вложила в 3-х-ведерный котел, закрыла крышкой для защиты от мух, а мухи густым роем кружатся над котлом. Не знаем, чем еще пополнен коммунальный стол — мы не дождались обеда. Поехали на дневном пароходе домой с унылым настроением и упадком духа. Куда приклонить голову с семьей в 8 человек?

Побывав зимой на Лябле и в Красноборске, вижу: у коммунаров суслоны ржи на поле, сенокос не закончен, копны сена на застогованы. Не знаю, в котором году ликвидирована коммуна «На Перевале», но знаю, что государство потребовало с коммунаров возмещения каких-то убытков, причиненных государству. Пришлось возмещать своим личным трудом. Ширяев Михаил Александрович на принудительных работ в Архангельске отработал 2 года, Зайков М. А. 1,5 года отработал в Архангельске, Юрьев Ф. Д., как инвалид войны и к тому же еще больной, был освобожден.

Все стирается временем, но такие громкие дела невольно вспоминаются. Большой захват земли при малом числе рабочих рук и машин приводил к ликвидации коммуны по старинной пословице «Один с сошкой, а семеро с ложкой». Но вообще в такое время разрухи и голода у многих, а особенно у бедняцкой части была сильная тяга в коммуну.

Самая большая тягость была лесозаготовки. Вся рабочая сила колхозов была в лесу. Самовольный уход из лесу карался судом. Женщины, не кормящие грудью, работали в лесу, дети, 16-летние подростки. Но трудность в том, что нет одежды и питания. Идти в лес со своими продуктами и одеждой очень тяжело. Хорошо, если есть овечка, ее заколоть и взять в лес, а на одной картошке не много заработаешь.

Товаров в магазинах не было. Пришлут на деревню пару подметок, машинных ниток, пару кусков мыла, женских платков, ночь сидят за распределением, сколько спору, недовольства.

Приехал из области <у>полномоченный представитель — контролер по выполнению плана лесозаготовок. На собрании один из активистов заявил, что в настоящее время нет даже необходимой одежды для лесорубов, в лесу последнюю одежду порвали, одних рукавиц за зиму нужно 6 пар, а у некоторых в сундуках лежит одежды на много лет. Нельзя ли, товарищ уполномоченный, у некоторых проверить в сундуках и поделиться излишками с неимущими? Но представитель сказал: «Нет, дорогой мой, мы еще не доросли до такой братской взаимности. А вот недалеко время, когда войдем в коммуну, тогда будет все общее: пища, одежда, вещи домашнего обихода, а пока придется потерпеть».)

## Глава 9-я

В 29 году было распоряжение правительства обязательно иметь колхозам пасеки. Пчел выслали пакетами с Украины, Кавказа, Краснодарского края. Наш колхоз получил 15 ульев. Ухаживать за пчелами было некому — нет пчеловода. Колхоз стал ходатайствовать о принятии меня в качестве пчеловода, но как не члена колхоза, а как постороннее наемное лицо. Исполком разрешил. Я колебался принять на себя ответственность и заявил, что мою пасеку воры, ваши колхозники, погубили, ограбят пасеку, а я отвечай. Назначили строгий караул. В наущение дали женщину. В свободное от пчел время я делал ульи.

Для медосбора была благоприятная погода, но в засуху загорелся лес. Пожар распространился на 5 км, горел торф, угрожало полям с рожью и овсом. Все население погнало тушить, и меня взяли с пасеки и не отпустили даже для выкачки меда. Милиция ночевала вместе с народом. Жара, дым разъедает глаза. Воду для питья возили на санях, потому что на телеге в лесу не проедешь. Так и не угас пожар до осенних дождей, а торф и зимой горел.

Выгорела площадь 15 км вдоль и 10 км вглубь. Змеи, спасаясь, бросились за Двину, по деревьям ползут. Сколько изжалили коров, прекратилось молоко, у одной коровы раздуло один бок и вымя. Моя соседка наступила на змею босой ногой, ее всю раздуло опухолью, лицо так распухло, что похожа была на труп. 10 дней хлеба не ела. Плывут змеи за реку быстро, высоко поднимая голову.

Боялся за сохранность пасеки. От 15 ульев получено 9 роев, 300 кг меда. Исключительно благоприятный год. Семьи пчел в пакетах присылаются слабые, они в течение лета усилились и пошли на зимовку с полными запасами меда. Я был воодушевлен радостью, что так благополучно прошел пчеловодный сезон. У вора Шиловского не стало на балконе улья с пчелами, и не известно никому о причине, по всей вероятности, пчелы не перезимовали.

Построили новый омшанник в крутом косогоре. Вкопали новый бревенчатый сруб, потолок завалили землей в полтора метра толщиной и поставили 26 ульев на зимовку. Срок моей работы кончился, и я год кой-как пропитался. Мне было положено в месяц 2 пуда зерна из-под триера<sup>10</sup> отбросов, два пуда картошки и 1 литр молока в день.

Наступил праздник Октябрьской революции. Колхозу разрешено было произвести товарищеский обед. Для этого разрешено было забить теленка, наварить супа, отпущено сахара, молока для печения шанег и колобов домашним способом, отпущено калачей (сушки). Дали повестку приходить на обед. Позвали и меня, но чтобы шел со своей ложкой и чайным прибором.

Прихожу со своим сыном. У бригадира составлен посемейный список, и по членам семьи наделяют всех шаньгами, колобами, сушкой, сахаром. А когда всех наделили, а меня не вспомнили. Один из соседей говорит: «А как Ивану Степановичу?» — Бригадир говорит: «Я проголосую. Кто за то, чтобы Ив<ана> Ст<епановича> наделить печеньем и обедом, поднимите руки!» Никто не поднял. Один из колхозников сказал: «Да дайте ему хоть калач», — взял мой сынок калач и убежал домой. Стою, сгорая от стыда. Один из них говорит: «Да я дам тебе кусок-то сахару, выпей хоть чашку чаю». Я взял кусок, выпил чашку кипятку, сказал спасибо и пошел домой оскорбленный такой грубостью, некультурностью, дикостью колхозников и думая — как мне в будущем оставаться среди таких неблагодарных дикарей. Прихожу домой, а жена говорит: «Как тебя хорошо угощали! Я так и думала, что голодные усяки ничего тебе не дадут». Калач дети разделили на 6 частей — всем без обиды.

Зиму пришлось работать на реке по добыванию бревен изо льда. Рвали лед аммоналом и извлекали лес на лед. Опасная для жизни работа. При взрыве летят вверх и в стороны бревна, лед и вода. Спасаемся, припав лицом на лед.

Приехав на родину, поместились у соседа. На следующий день пошел в сельсовет и вижу на заборе большой плакат: нарисован дьякон в голубой рясе с кадиллом в руке и большими буквами написано: «Во имя отца и сына и святого духа деревни Звягинской, Ляховского сельсовета, Карпов Иван Степанович не пожелал заняться честным трудом крестьянским, уехал из деревни и неизвестно где подвизался, но в минуту трудную вспомнил и о деревне, приехал и просит наделить его семью землей. Граждане! Не поддавайтесь на удочку дармоеда — не наделяйте его землей! Амины!»

Подпись «АКТИВ».

На доделку дома пришлось продать самовар, нужно было сбить глинобитную печь и выложить из кирпича трубу. Брат Вася не принял никакого участия в доделке дома. Он работал в городе Кемь бухгалтером.

Был голод, и менялы с вещами непрерывно ходили по деревням, предлагая свои товары, товаров-то у населения давно никаких нет. Выбросят на деревню пару подметов, ниток машинных, кусок мыла, ситцевый платок, и вся деревня сидят за распределением товара. Споры, недовольства сколько! А тут менялы товар на дом приносят.

Предложил райисполком немедленно внести налог 5000 рублей, в противном случае репрессия и продажа имущества. С моей коровы (как хозяин — лишенец) налог 60 пудов, кроме того обязательно для всех выкормить теленка. Не имея сена, мы вынуждены были кормить корову заваренной в кипятке соломой, и за недостатком молока теленок был еле живой. Ежедневная сдача молока — 6 литров — с моей коровы на половину не выполнялась, и себе не оставалось ни капли. За невыполнение все подлежали штрафу, а с меня, лишенца, более строго.

Назначили ревизию по надою моей коровы. Доили до 3-х суток, признали, что при таком корме и плохой упитанности коровы молоконалага и вскармливание теленка не выполнить, и мне разрешили сдать корову и теленка в колхоз на лучший корм в счет моего дьяконского налога.

Приближается весна, в апреле должна быть выставка пчел. На колхозном собрании выяснилось, что райисполком не разрешает расходовать колхозные

<sup>10</sup> Т р и е р — зерноочистительная машина, отделяющая от зерна сор и примеси.

средства стороннему по найму лицу, а меня, как лишенца, в колхоз не имеют права принять. Женщина, которая работала со мной, не решилась взять на себя пчеловодство, она согласилась быть помощницей. Постановили сдать пасеку на ответственность Шиловского А. А. Видимо, нужда заставила колхоз сдать 26 ульев на ответственность крайне ненадежного Шиловского.

Пчеловодный сезон по медосбору был посредственный — пчелы дали много роев, но мало меда. Видимо, не велика была у пчеловода практика, когда рои прививались по деревьям на отдельных деревьях.

По укомплектовании пасеки при последней осенней ревизии пчел, осталось 65 рамок меда на случай весенней подкормки. Мед в рамках хранился на пасеке в караульном помещении. Обнаружилось, что мед из шкафа исчез. Колхозники знали, что Шиловский мед украл, но из-за боязни навлечь на себя месть со стороны Шиловского, придумали очень мудрую историю.

В Тимошине — в 25 верстах от Ляхова — был знахарь-колдун Демид, он был у населения на авторитетном счету, точно указывал, где найти краденое, где найти потерявшуюся скотину, к нему обращались за помощью в таких несчастных случаях, и он точно знал и верно указывал. Идти к нему не собирались, а послали двоих, более надежных с наказом никуда не ходить, а сказать, что ходили к Демиду, и колдун Демид сказал, что молодой хромой парень с бабой унесли мед и закопали в подполы в завалину.

На собрании обсудили вопрос, и вина падала ясно на Шиловского, он же хромой, и туловище набокое. Осмелились идти к Шиловскому с ломом в подполье, нашли все 65 рамок. Дело передали в суд. Суд присудил 7 лет лишения свободы. Брат его, Николай Алексеевич Шиловский — председатель колхоза, коммунист с военными отличиями, и актив ходатайствовали о снижении наказания, и отсидел он 2,5 года.

В эти два года произошло укрупнение колхозов, и наш колхоз слился с соседним колхозом. Слились и пасеки. Всего ульев стало 52. Но, видимо, не суждено пасеке существовать. Ночной караул пчел в омшаннике был поручен старику 75 лет. Случилось это дело в день масляницы, и колхозники в доме председателя пировали. Сторож в омшаннике, видимо, уснул и столкнул лампу со стола и пробудился, объятый пламенем. Пока шел до деревни и дошла весть до пирующих колхозников — все объято было пламенем. Прибежали пьяные и начали смертельно бить сторожа, а он просит: «Убейте меня, убейте меня!» Суд ему ничего не присудил, так как он по возрасту не подходит работать сторожем, и колхоз неправильно поступил — назначив его сторожем.

Колхозный хлеб почти целиком шел государству, и колхозники получали отбросы из-под триера при сортировке зерна. Ели торицу (мелкий горошек), белый мох, вересовые ягоды, но все же небольшая работящая семья могла, хотя бы скудно, питаться хлебом пополам с картошкой. Терли картошку своей работы терками, из натертой картошки после извлечения крахмала из отирков пекли хлеб, прибавляя шелуху льно-семени, мякину, отруби, белый мох. Весной перекапывали картофельные участки и, найдя в земле сгнивший картофель, промывали и извлекали крахмал.

Как ни тяжело было, но пришлось 2 своих детишек послать просить милостину у голодных колхозников, а как им было стыдно просить, а нам смотреть на приносимые ими крошечные кусочки хлеба, испеченные с примесью всяких отбросов, приходилось сушить их, а потом истолочь в порошок и вложить в какую-либо похлебку.

Двух сыновей я отправил в Архангельск, одного приняли в токарно-слесарную мастерскую, другого в игрушечную мастерскую. Две дочери устроились в няни. Осталось еще двое — дочь и сын 5 — 7 годов. Я занялся в свободное время делать из березы ложки, тогда самый необходимый товар — ложек нигде не было в продаже, плотили мне и молоко, а иногда и краюшку хлеба.

И удивительно. Люди все ночи сидят на собраниях — решают свои текущие дела, а меня, как лишенца, никуда не беспокоят, куда-то меня готовят выслать. 5000 рублей налог не уплачен, зачтена корова и теленок. Вызывают в налоговую часть райисполкома, объявляют трехдневный срок уплаты, и как у злого неплательщика продадут с торгов все хозяйство.

Я не мог воздержаться — заплакал навзрыд, просил обследовать мое хозяйство и убедиться, что мои дети с колхозников кусочки собирают, а дом принадлежит брату Карпову Василию Степановичу, а не мне. Я уже отдал в счет налога корову и теленка, и какая-то цифра из налога 5000 рублей должна быть вычтена. Сельсовет обследовал мое хозяйство и скинул налог ввиду очевидного доказательства несостоятельности хозяйства и принадлежности дома брату Василию.

Церковь на родине была закрыта, колокола сброшены и разбиты на мелкие части. Невыносимый был визг при разбивании колоколов. Скучно, тяжело было переживать такие чрезвычайные события.

Я решил идти на Пасху в Черевковскую церковь, услышав, что там будут петь хором адм<инистративно> высланные, а они певчие. Один из них артист императорских театров контр-октава. Поразительно было пение, хотя трио — бас и два тенора. Даже приятно слышать один такой бархатный бас. Поразительно хорошо исполнили концерт Дегтярева: «Днесь всяка тварь веселится и радуется!»

Вокруг церкви на стенах зажжены фонари с буквами: «С сегодняшнего дня колокольный звон умолкнет навсегда». При входе в храм сделана трибуна, и с начала богослужения открыли митинг.

В день Пасхи утром в 9 часов открылось шествие по дороге, шли к церкви и везли на 4-х-колесной телеге посаженных рядом: в середине царь в короне, по бокам поп и кулак. Вместо оглобель к передней оси телеги приделаны длинные жерди, за которые тянут люди телегу, а на груди у них наклеены надписи: кулак, подкулачник, шепгун, нытик. Процессия пришла на рыночную площадь, и открыли митинг.

Я сказал уже, что я, как лишенец, свободен был от всех колхозных собраний. В 34 году перед Пасхой была объявлена антипасхальная неделя. Учительство, члены сельсовета и актив обязаны были обойти все дома колхозников с разъяснением о Пасхе как суеверном пережитке старых некультурных людей, и чтобы Пасху ничем не отмечали: не украшали ничем своих квартир, не пекли ничего праздничного. В пасхальную ночь всем колхозникам выйти на субботник.

Я, как свободный, пошел в Ягрышскую церковь к Пасхальной утрени. В 12 часов ночи началась Пасхальная утрени, запели первую часть канона: «Воскресения день», и вдруг заиграла гармонь. Трое комсомольцев стоят на лавке с гармонью. Народ возмутился, но все были женщины-старушки. Колхозники все были на субботнике по вывозке на поле навоза. Священник вышел из алтаря и заявил, что он не может совершать богослужение, пойдёмте, православные, из церкви. При выходе из церкви на крыльцо, пришли 2 человека — член райисполкома, председатель колхоза с трехметровой доской, отобрали у сторожа ключ и приколотили на двери церкви доску, и церковь закрылась навсегда.

В час ночи я пошел домой, народ весь на полях, возят навоз. Дальние колхозники не знают меня, и я без стеснения шел, а когда подошел на территорию своего колхоза, решил обойти колхозников в сторону кустарников и так прошел незамеченным. Подходя к своему дому, вижу соседа с топором в руках, я, говорит, в лесу сегодня вырубил 65 кольев. Так я встретил Пасху в 1934 году.

Наступил ледоход на реке Двине. Еще не очистилась полностью ото льда река, и вдруг покрылась вся река строевым лесом. Видимо, лес плыл изо всех рек: Сухоны, Вычегды, Виледи, Уфтюги и всех маленьких сплавных речек. Лес густо покрыл всю Двину и все залитые водой луга. При направлении ветра в который-либо берег реки, к берегу туго набивает лесу, что по нему ходили, и он стоял неподвижно, его набивало до отказа во все ручьи. Начала убывать вода и начали принимать меры — очищать берега от бревен, но почти безрезультатно, у берегов так много леса, что течением не подвигает его. На отмелях и песке обсохло леса в тугую. На лугах (луг 8 км ширины) сплошной лес. В рытвины, кустарники набило лесу, как спичек в коробку. Если така<я> же картина и в Архангельске, то это был лес из ближайших к Архангельску рек.

Наступил сенокос, но прежде, чем косить, пришлось собрать с луга в кучи лес — освободить место для косьбы. Пароходы ломали колеса и плиты. До самого ледостава бродили мы в ледяной воде, отталкивая бревна от берега, греясь у костра и выливая из сапог воду, но работа была мало полезна. В самом узком месте Двины «Орлецы» запрудило лесом всю реку до дна, вода поднялась на

7 метров выше уровня, затопила много деревень, причинила много несчастий и материальный ущерб жителям. Какие специалисты могли уничтожить такую колоссальную zapруду?

Не забуду до смерти этой зимы, когда лес вмерз в лед и всю зиму доставали лес из льда. Ужасно вспоминать. Раздаются оглушительные взрывы, и летит от взрыва вверх и в стороны лед, лес, вода, причем отлетают с шумом и визгом в стороны концы бревен длиной по метру и больше. Такой способ спасения бревен мало полезен, он портит бревна и опасен для жизни. Долбить лед — это затратить тяжелый малополезный труд. Без взрыва не доставем ни одного бревна.

#### Глава 10-я

В 1936 году из-за голода выехал в г. Архангельск и поступил как столяр в столярно-мебельную фабрику «Якорь». Предложил свое посредственное искусство резьбы по дереву. Техник целую неделю сидел у моего верстака, смотря на часы, следя за работой и отделкой моих фигур на карнизах и филенках шкафов. Комиссия признала, что такая работа для широкого потребления дорога, поэтому резьбу по дереву отложила.

Я перешел на работу в художественную мастерскую делать рамки и рамы для натяжки и наколачивания полотен с картинами художников. Работа нехитрая — можно делать из нестроганных досок или брусков — и заработок удовлетворительный. Не один раз объявляли, чтобы не состоящие в профсоюзе вступили в профсоюз. Я спросил: «Принимаются ли лица, служившие в Церкви?» Ответ был, что принимаются. Подал я заявление с приложением своей фотографии.

Вызвали в контору профсоюза. По прочтении моего заявления спросили: «Какое отношение к религии в настоящее время, ведь со дня оставления вами церковной службы в 1928 году до сего 37 года прошло 9 лет». — Я сказал, что я верующий. — «Как же ты не смог перевоспитаться, осознать вредную роль религии?» — 4 члена комиссии говорили, что мало ли в профсоюзе верующих, и наше дело принимать, а не о религии вести суждения. Но согласия с председателем не последовало, и вопрос о принятии не решили. Но я и не беспокоился, думая: живут и работают люди без профсоюза.

Через 2 дня (это было 12 декабря 1937 года) в 1 час ночи разбудил меня стук в дверь. Вошли мужчина, женщина и с ними вооруженный из ГПУ. Заставили одеться и служащий подал мне бумагу, но я с испугу не мог читать, тогда он сам прочитал: согласно санкции прокурора 4-го района я обязан произвести обыск и арестовать вас. Приказал мне неподвижно сидеть на стуле, он и пришедшие с ним начали обыск. Всю одежду перерыли, в карманах все проверили, в выдвижном ящике кухонного стола всякий скарб высыпали на стол, весь мусор осмотрели, у дочки перечитали все ученические тетрадки. Велели одеться и следовать за ними.

Вышли на улицу, а на ней целая рота арестованных, и меня поставили к ним в ряд. Темно. Повели по незнакомым улицам и привели к 3-этажному зданию тюрьмы. Ворота ограды отворились, мы вошли, и началась переключка, и группами уводили по лестнице и впускали в камеры тюрьмы. Впустили в наполненную до отказа камеру, в ней три яруса полатей из нестроганных досок, и все полаты забиты людьми. Мне нашлось место на самых высоких — третьих полатах.

От духоты и зловония спирает грудь, слезятся глаза. Волнение, отчаяние создают мучительное состояние. Но, видя таких же несчастных, как и сам, и успокаиваешься. Стало клонить на отдых. Постель готова — на голых досках свой плащ — постель и одеяло, шапка — подушка, а к ней в придачу с ног валенки или сапоги. Рядом со мной оказался соседом узбек, черный, усатый, а с другой стороны сосед по нарам рабочий прораб с Ваги-реки.

Большая моя ошибка, что я не захватил с собой кружки и ложки. С верхних нар спускаться очень трудно, почти невозможно, и нам обед подавали в тарелках, состоял он из тресковой ухи с ячменной крупой. Выдавали в день 400 гр. хлеба и два кусочка пиленого сахара. Пить хочется, но у меня нет ни кружки, ни ложки, пришлось просить милости соседней.



Начал чувствоваться голод и болезненное томление от неподвижного состояния, заболели все органы, а выпускали один раз в коридор, пропитанный хлорной известью. У всех без исключения прекратилось мочеиспускание, животы вздуло, как тугие мячи, никакие усилия не помогали помочиться, и такое состояние не проходило более месяца. А о смрадной «параше» с ужасом и вспоминаешь.

Мои соседи по несчастью стали знакомы друг другу. Узбек отреккомендовал себя, что он уже второй раз в заключении и имеет опыт в арестантских делах. Он стал шутить надо мной. Он подушку мою (шапку) возьмет из-под головы, оденет мне на ноги и говорит: «Ты храни больше всего ноги, они спасут тебя от смерти, тебе придется и много ходить, а твоя голова не стоит шапки — привела тебя в тюрьму».

Просидели мы 2,5 месяца, отвыкли от движений, от недостатка пищи, стало нас тянуть на отдых. Бани не было. Паразитов в щелях полатей выжигали паяльными лампами. Свыклись со смрадным запахом «парашей» и позабыли, что на свете существует чистый воздух.

Через два с половиной месяца наконец вызвали меня на улицу тюрьмы, где уже стояли в строю заключенные, и нас строем повели через Двину на железнодорожный вокзал, где уже стояли для нас вагоны с железными решетками. На дорогу выдали нам по буханке хлеба и несколько селедочек. Посадили в такие вагоны, что сидеть только согнувшись и так тесно, что не сидеть, не стоять.

Стены, проклятья. Стоим сутки — никуда не везут. Жажда с селедочек невыносимая. За ложку воды отдал бы не знаю что. Часовой ходит около вагонов, и мы просим его кинуть нам через решетки окна сколько-нибудь снега. Как ни просили, говоря, что умираем от жажды, но он не обратил никакого внимания. И теперь, в настоящий момент, чувствуется эта жажда.

Наконец, подали паровоз, и мы тронулись с места, но через несколько часов опять отцепили наши вагоны, и мы стояли на месте 4 дня. Вот пытка. Хлеб и селедочка и ни капли воды. Скотину свою хозяин держит в подходящем помещении и дает досыта подходящий корм, а нас, как негодных червей, вбили в смрадный до отказа полный ящик и неизвестно куда повезут.

Привезли в лагерь «Пукса» (это название реки в лесу). Поместили нас в парусиновые палатки, в которых двоим нары. Воды пей — досыта. Уха тресковая и из воблы 2 раза — утром и вечером. Сахару 2 пиленых кусочка в день. Ежедневное хождение на рубку леса за 5 км. Требовалось выполнение нормы, но никто не выполнял — у всех малосилие, а, может, не выполнимый по кубометрам план...

(На второй день погнали нас без дороги по снегу метровой глубины за 5 км. А на отведенном участке уже начали рубить. Деревья валятся рядом с нами, и никто не предупреждает об опасности. Одному из нас — арестантов — ударило самой верхушкой падающего дерева по голове, и он даже не трепенулся и не проявил никаких признаков жизни. И никто не соболезновал, а желал себе такой же безболезненной смерти. Опасность со всех сторон. Топоры годные в утиль-сырье, норма на половину не выполняется, все получай 400 грамм хлеба и 2 кусочка сахару.

Поступил в столярную, предполагая, что на знакомом деле лучше будет, но попал из огня да в полымя — в ней нет даже топора хорошего, не только инструмента, да и где его взять, видимо, была везде разруха. О выполнении нормы нечего и говорить — столярная всех ниже по выполнению. Я едва передвигал фуганок и уставал до изнеможения. У меня и у прочих начали пухнуть ноги, и я едва поднимал их за порог.

Врач определил склероз сердца, и меня положили в стационар на нормальное питание. Давали рыбий суп из кильки, гречневую кашу с маслом, сладкий чай и кофе. Опухоль уменьшилась, но не прошла, но до конца не долечили и через две недели выписали и назначили на воздушную узкоколейку, проложенную по столбам на 10-метр<овой> высоте.

10-метровые столбы засыпались землей, а по насыпи клали шпалы и рельсы. Работа физически не трудная, но жутко сидеть на площадке. Ветер пронизывает до костей. Но мне повезло: одному из арестантов прислали рабочее пальто, и он свою дырявую фуфайку хотел выбросить или сжечь, но я взял ее и из своей рубахи подвел подклад под спину и рукава, и теперь на вагонетке сидеть стало терпимо.

Хороших сапог с ног не снимали из опасения, что украдут, и спали в сапогах. Я один раз не воздержался — снял сапоги и положил вместо подушки в головы. Проснувшись, я остался без сапог, без белья и без сухарей от посылки. Вместо сапог выдали ботинки из моржовой кожи 8 кг весом, едва передвигал опухшие ноги. Сапоги свои увидел на ногах арестанта, заведующего столярной мастерской, у него марка «У.Б.» — уголовный бандитизм, заявить ему, значит riskовать жизнью. Да и кому заявишь?

От Маруси получил письмо, болеет от расстройства и горя, уже ухаживает за ней Афанасия Ильинична и Клавдия Лапина, может быть, пишу последнее письмо, прости. Писано вразброд дрожащей рукой.

Сижу на вагонетке и плачу навзрыд. До чего я несчастен! Жена при смерти, обокрали меня до нитки, остался бос и наг, и дано 10 лет заключения, не имея никакой вины.

Проработал один год, остается еще 9 — это вечность. Видно не видит Бог и нет справедливости у Бога. Забыл я в этот момент виденный и сбывшийся с абсолютной точностью сон и возроптал укоризной на самого Бога. Очень, до бессознания, велика была моя скорбь. Но вспомнишь сон, опять появилась успокоительная надежда.

От чудовищных тяжелых ботинок заболел большой палец левой ноги. Врач определил «костный паноритиц», и меня поместили в стационар. Лечили палец горячим марганцем. Через 2 недели выписали и назначили дневальным, несноснейшая из всех работ и ответственная. Нужно ночью следить за выходом из палатки, чтобы чего не украли или не сбежали. Днем обеспечить всех 80 человек кипяченой и сырой водой. Заготовить дров для железных печек и топить их все время, т<ак> к<ак> парусиновая палатка тепла не держит.

В палатке 160 человек и обслуживают их два дневальных. Сутки дежурю и сутки отдыхаю. Нормального сна нет и ночью, стоя на карауле, внезапно схватывает сон, и внезапно падаю на пол (пол земляной) и можно насмерть убится. Скука до отчаяния, но убеждение в том, что всевидящее Око видит меня — смягчает мою скорбь.

Приснился мне чрезвычайный, не похожий на обыкновенные повседневные, сон. Подхожу я к неширокой реке, которая полна навозной жижи и нужно мне перейти на другой берег, искупавшись в навозной жиже. Вижу недалеко деревню. Вошел в пустой, но отопленный дом, богато внутри отделанный. В комнате русская печь, и я растянулся во весь рост и чувствую себя в полном удовольствии. Особенно привлекала мое внимание дверь для прохода на кухню из передней комнаты. Дверь тонкой столярной работы со светло-коричневыми филёнками и я не отрывал глаз от нея и слышу мужской тихий голос: у тебя пятнадцать ульев. Проснулся опять на тех же голых нарах, подушка — шапка в головах. Этот сон насторожил меня, проник все мое существо. Я даже поблагодарил Бога хотя за минутную радость, и осталось какое-то невыразимо приятное удовлетворение и не забывается он до самой смерти, хотя в абсолютной точности сбывлся через 17 лет.

Всех просят писать жалобы на помилование, на освобождение по совершенной невинности без суда заключенных. Висящий на стене ящик заполняется прошениями, освобождается и снова заполняется. Один экскаваторщик под конвоем направлялся за запчастями в Киров, и он сказал мне, что он арестант опытный и знает, что эти жалобы никуда не отсылаются, а сжигаются. — «Ты пиши Верховному прокурору Вышинскому. Дай мне имеющиеся у тебя 7 рублей, и я твою жалобу спущу в почтовый ящик».

Как утопающий за соломинку, я ухватился, решил на это. Описал свое в детстве бедственное положение, как отец-алкоголик повесился, как мать меня 12-летнего по обещанию отдала на год в Соловецкий монастырь, где научили меня церковному пению и музыке, я был псаломщиком Лябельской церкви и за это мне, как верующему, дано без всякого суда 10 лет заключения. Нахожу это вопиющей жестокостью. И во имя правосудия и милосердия прошу освободить меня.

Отдал экскаваторщику письмо и деньги 7 рублей. Рассудив, что написал порицание и упреки на незаконные действия советской власти — сажать в тюрьму на 10 лет ни в чем не повинных людей — я этим отравил себе и без того

до последних пределов отравленную свою арестантскую жизнь, страдая и упрекая себя за этот шаг целых 8 месяцев. Ждал худых последствий от рассмотрения жалобы, страшись, что прибавят лет заключения. Какие события висели над нами — этого никто не знал.

В 1939 году, 18 января, с вечера поднялся очень сильный снежный буран, явление здесь редкое. Вечерняя переключка показала всех арестантов налицо. Двоих отправили на кухню чистить картошку. Команда — спать! Вдруг погас свет. Темнота, шум ветра — визг проволоки. В палатке совершенно темно, не узнать, кто из палатки уходит, кто приходит, а знать — это обязанность дневального. Так прошла для меня темная бурная ночь. Снег облепил и засыпал потолок парусиновой палатки, обязанность моя огрести снег с парусинного потолка палатки, чтобы не текла вода с потолка от таяния снега.

Утренняя переключка показала, что двоих арестантов — Осиечко и Зарубы не оказалось — убежали. Поднялась тревога. Двое стрелков с собаками отправились в разные стороны искать, но никого не обнаружили, следы завалило снегом — и без того глубокий метровый снег.

Я, осматривая уборную, увидел у самой уборной рыжую шкуру с внутренностями и кишками на снегу, заявил старосте, и пришедшие стрелки узнали собаку начальника лагеря. Следствием выяснено, что собаку убили, изжарили с картошкой на кухне повар и шесть человек чистильщиков картошки.

Событие совершилось для лагеря грандиозное. Виновных посадили в карцер на 400 грамм хлеба и стакан воды, где нет света, кроме окошечка для подачи хлеба и стакана воды. А куда переслали виновных, мы не знали, но в нашем лагере их не оказалось.

А как собака оказалась в лагере. Предполагали, что начальник со стрелками во время сильного урагана проверяли караульные посты с собаками, а собака осталась в зоне, а как она попала в руки арестантов, об этом можно только предполагать. Таковую катастрофу и наказание на всех арестантов навела собака и 8 человек, сожравших ее.

Началась расправа. Дано распоряжение в 6 часов утра выгнать из палаток всех арестантов с имеющимися у каждого вещами, и начался строгий осмотр вещей, который длился 2 часа. Когда ушли на работу, я начал приводить в порядок палатку. Слезил на крышу смести снег, чтобы не протекала вода во время топления железных печек. Вдруг зашли в палатку 8 стрелков с лопатами, топорами и начали варварски до основания разрушать нары, землю под нарами перекопали, подушечки и матрасики распорили и вытрясли сухую траву, все вещи арестантов вверх дном перевернули. Я в ужасе стою немым зрителем, как разрушается самый убогий приют арестантов. И есть ли где такое вопиющее варварство, это ад кромешный. Что будет со мной, когда придут с работы — ведь воды и дров не подвезли, все остались без кипятка и топки печей. Пришлось снова создавать свое арестантское убогое убежище.

При возвращении с работы ворота лагеря широко раскрывались, и шедшие строем арестанты целыми ротами входили в зону, а теперь раскрылась одна калитка и впускали по одному человеку, снимая с него верхнюю одежду и прощупывая с ног до головы, для чего потребовались часы времени для стрелков, и на морозе не очень приятно. Собака причинила такое злополучие, не исключая и стрелков.

И потекла моя дальнейшая жизнь с сознанием полной обреченности и безвыходности. В ожидании решения на жалобу идет уже 8-ой месяц со дня отправления, рассчитывая, что, может, к счастью, она не дошла или забыта и уничтожена, так как экскаваторщик сбежал, конвоир вернулся один и находится под судом. Напрасно мечтать о счастливом будущем, когда у меня остались нос да впалые щеки и опухшие ноги. С такими мыслями хожу и засыпаю. Остается отбывать 8,5 лет.

...В 1939 году в праздник 1 мая в заключении два дня не работали, и мы с дневальным обоюдно согласились заготовить дров и воды, чтобы в праздник облегчить свой труд.

3-го мая все ушли на работу, и я занялся приведением в порядок палатки. Вдруг вбегает стрелок и требует явиться в контору. Кольнуло в груди, думаю

пришло решение на мою жалобу. Именем Советской республики согласно решению суда заключенный Карпов признан невиновным и освобождается из заключения. Я почувствовал приступ к горлу слез, но плакать не мог, что-то мешало, какой-то упадок сознания.

Послешно вложили в руки пакет, и я опрометью побежал в палатку взять свой дырявый плащ и чемодан. Стрелок открыл дверь гауптвахты, и я вышел на свободу. Открывается на гауптвахте окно, и начальник стрелков грозит мне пальцем, как малому ребенку: «Ты забудь своего Иисуса, а то опять сюда придешь». Такие слова удивили и насторожили меня. Я в недоумении не понимал, какое отношение имеет стрелок ко мне и к моему Иисусу. Стрелок не знает моего внутреннего мира, да он едва ли видал меня и ему даже запрещено разговаривать с арестантами. Делаю такой вывод: среди заключенных был доносчик-шпион, который следил и доносил о моем поведении.

Тысячи были написаны жалоб, но в течение 1,5 лет не было ни одного освобождения. Счастливым случай отправить жалобу через экскаваторщика решил мою судьбу, он сдержал свое слово — спустил жалобу в почтовый ящик. Не получив освобождения, пришлось бы навечно остаться на Пуксе. Уже несколько человек внезапно померли, наевшись досыта посланной из дома посылки. Вырвался, как Иона из кита, как из адской пасти, ведь 1,5 года не был в бане. Три раза летом водили на озеро купаться в белой воде, т<ак> к<ак> почва из белого камня. В Плесецкой главной конторе лагеря, чего я не ожидал, выдали мне по лицевому счету 61 рубль, оказалось, что даже я получал зарплату 13 коп<еек> в день. Проводник посадил меня на поезд. Прощай, злостная Пукса, пусть никогда бы во сне не приснилась.

Виденный в 1938 г<оду> сон сбывлся в абсолютной точности через 17 лет. Он свеж, как сейчас свершился. Сейчас чувствую, как наяву перехожу с навозной жижей реку, искупался, захлебываясь в навозной жиже, лежу на печи в благоустроенном внутри доме в полном благополучии и люблюсь изящной дверью, слышу мягкий мужской голос: у тебя 15 ульев. Свежо все, как сейчас совершилось. В настоящее время свой дом и виденную мною дверь считаю драгоценными экспонатами. Сны! Как они благовременно были посланы Провидением для поддержания в критические минуты. Доживаю 85-ый год жизни и эти сны вспоминаю каждый час, они свежи, как сейчас увиденные.

Для меня теперь ясно стало, почему священники, арестованные в декабре 1937 года: Пермогорский о. Александр Попов, Красноборский о. Николай Вячеславов, Евдский о. Николай Попов, Телеговский о. Николай, Белослудский о. Алексей Вохомский не вернулись из заключения. Вернулся один Черевковский о. Николай Кириков, отсидел 7,5 лет. Правительство сбавило срок заключения на 2,5 года. Нужны невероятные силы выдержать жестокие бытовые условия, привычка к тяжелому физическому труду и моральная поддержка.)

## Глава 11-я

Освободившись из заключения, я еду домой через Котлас. Это произошло так быстро и неожиданно, что я не успел сообщить жене. От пристани в Ляхово (на моей родине) нужно пройти до дому 5 км. Люди пугаются меня и моей одежды. На ногах арестантские ботинки полпуда весом, грязная шалка-ушанка и такой же рваный плащ. Я решил идти возле реки берегом, скрываясь от людского взора. Внезапно явился домой. Открываю дверь, жена у стирального корыта. Ой, и заплакала от радости, не поверила, что я свободен, думала, что я сбежал.

Сходил с документами в сельсовет. Все узнали о моем освобождении, и в тот же день председатель колхоза пришел предложить работу на пасеке. Но мне не работа, а отдых нужен. 1,5 года голодовки довели меня до такой слабости, что едва передвигал свои опухшие ноги. Да и не забыл я своих колхозных активистов, думая, опять плакаты расклеят о моем освобождении. Решили с женой, что дома жить будет беспокойно, люди в колхозе все те же, и я пошел справиться относительно работы в Черевковский совхоз.

Работы там непочатый край, нужны столяры, плотники, есть пасека 32 улья, а пчеловод без опыта, и дело не идет, а при пасеке столяр необходим. А зимовали

ульи в здании совхозной конторы (в подполье). Хороших бытовых условий в такое трудное время требовать нельзя. Зарплата 130 рублей в месяц (13), готовая квартира в крестьянской избе, бесплатный транспорт на подвозку дров для отопления. Каждому рабочему совхоза наделяли 3 сотки пахотной земли для посадки картофеля — а это главный способ существования. Снабжение продуктами: рабочему 500 гр. хлеба, нерабочему — 300 гр. 400 грамм сахару в месяц. Платная столовая: щи из капусты, толокнянка и стакан молока.

Зачислился на работу по специальности пчеловода-столяра с условием приступить к работе через две недели, т<ак> к<ак> нужно ехать в Архангельск за столярными инструментами.

Приезжая домой, вижу чудо Бог сотворил. Наше запустевшее гумно все застлано рыбой, закрыто бердами<sup>11</sup>, парусами, половиками. Наши соседи — рыбаки рабкоопа поймали неводом в Двине полторы тонны рыбы: лещей, язей, шук — и все крупная рыба. После улова в доставке в двух лодках прошло более суток, да доставить в Черевковский рабкооп сколько времени пройдет — рыба потеряет ценность. Решили рыбаки разложить рыбу на землю в один слой, чтобы не согрелась, затенили от солнца. Ждали машин из рабкоопа. Случилась сильная гроза и сильный дождь, машины не могли подняться на угоры, и было дано распоряжение продать рыбу на месте. Цена: 2 р. 70 коп. лещи и язи, мелкие лещи — 2 руб., щука 3 р. 15 коп. килограмм. Быстро развесили, бери сколько угодно. Хотя рыба и потеряла часть своей ценности, но в такое голодное время большая поддержка в питании. Мы часть рыбы увезли с собой в совхоз.

По приезде из Архангельска пошел в совхоз уточнить, где моя будущая квартира, дрова для отопления, материал для столярных работ. Квартиру мне обещали привести в порядок: вымыть стены, пол, т<ак> к<ак> в ней хранились бочки с квашеной капустой и картофель. Пообещали дать две лошади с двумя рабочими для перевозки семьи и необходимого инвентаря. Приехали молодые деревенские парни, и мы уехали с женой, сыном и дочкой и со всем необходимым для жизни скарбом. Сентябрь месяц — самая распутица, разбитая непроездная дорога, наконец, добрались до квартиры. Оказалось, что комендант не забыл, позаботился, квартира была очищена и вымыта.

Пасека находилась в 2,5 км от конторы. В начале октября выпал снег, и пчел на санях перевезли все 32 ульи и поместили в подполье конторы, где и прошлые годы зимовали. Под полом очень низко, уход за пчелами приходилось делать в лежачем положении. Территория совхоза растянулась на 7 км, роскошные луга. Совхоз животноводческий, скот крупный, холмогорской породы, очень продуктивный. Все население деревень работает в совхозе, но рабочей силы очень недостаточно, чтобы обработать такую территорию пахотной земли и сенокоса, потому что часть населения разъехалась по городам в поисках лучшей жизни в городских предприятиях, а многие высланы из сельской местности по раскулачиванию.

Приезжаем и видим, что картошка не убрана, овес и ячмень под снег пошли, на лугу копны сена не застогованы, часть копен сена и перевалов осталась на зиму неубранные.

Зимовка пчел прошла удовлетворительно. В течение зимы я сделал 15 ульев. Выставили пчел на новое место — пустырь, недалеко от конторы. Время подходило уже к роению пчел. Приехала ревизия и директор, и бухгалтерия. Задумали качать мед для угощения контролеров, не внимая на мои уверения, что меду в ульях нет, еще не наступил медосбор, выкачали со всей пасеки какие имелись капли прошлогоднего меда, накачали 15 килограмм засахарившегося меда, напомнили мне, что не ты хозяин, делай то, что приказывают. Такое варварское отношение к пасеке возмутило меня и насторожило. Такая ценная отрасль сельского хозяйства, а начальство не понимает этого и не заботится об уходе за пчелами — для него был бы только мед.

Жену мою назначили помощницей на пасеку, дали карточку на 500 гр. хлеба. Первый сезон нашей работы за 1940 год был благоприятный для медосбора, получено 20 роев и 60 пудов меда. Нами с женой отданы были все силы для получения таких высоких успехов, но никто из начальства этого не заметил, а

<sup>11</sup> Б ё р д о — кочная летель ткацкого станка.

между тем всех заслуживших премировали мануфактурой, обувью, бесплатными обедами в столовой. В товарном магазине продуктов питания не было, на полках лежали детские салазки и лыжи, да по карточкам хлеб и другие продукты. Зарплату не выдавали месяца по 2, приходилось питаться своими средствами. В 41 году построили омшанник для зимовки пчел, взяли для постройки старый бревенчатый сруб, т<ак> к<ак> пасека увеличилась до 60 ульев.

В 1941 году началась отечественная война, и в первую же мобилизацию и в последующие одну за другой взяли из совхоза почти всю ценную рабочую силу, нависла угроза, что не убрать хлеб с полей и сенокоса. По распоряжению власти колхозы организовали бригады, отдавая последнюю рабочую силу в помощь совхозу, но и эта помощь была недостаточна. Часть несжатого хлеба и сенокоса шла под снег, картофель тоже. Весной, по стаянии снега, все идут собирать сгнившие колосья и копать сгнивший картофель, после промывки остается крахмал, из которого пекут лепешки, подбавляя отрубей или муки из размолотых колосьев. Купили мы козу, и мне разрешили накосить сена в кустах, где невозможно было косить машиной.

В 1942 году пасеку в числе 70 ульев перенесли на новое место в 1,5 км на пустошь. На ночной караул назначили старую женщину Матрену. Она жила отдельно от сына, снохи и внучки. Сын ее Александр, здоровенный детина, слыл за лодыря и был в совхозе на счету как лодырь. Он обворовывал мать, отнимая у нее последний кусок. Старуха была добросовестная, своевременно приходила и уходила с караула, и мы были спокойны за пасеку. Сын ее Александр таил злобу на всю семью за упреки, что не хочет работать.

Случилось это в день женского праздника 8 марта, в 4 часа дня дом нашего караульщика — Матрены — загорелся. Я прибежал, когда крыша дома была объята пламенем. Ворота заперты на замок. Прибежали на пожар по-праздничному одетые, никто даже ведра не принес. Были и пожарники, но подступиться к горящему большому зданию невозможно, пожарную машину подвести не на чем и не на ком, по случаю болезни лошадей наложен строгий карантин. Когда уже стала проваливаться крыша, увидели, что в огне стоит человек и закричал: «Вон, Олька-то, вон, Олька-то!» Наверное, в петле. Так и не узнали, куда делись хозяева, живые или сгорели. На следующий день приехала милиция, разобрали головни и кирпичи и нашли 3 безголовых трупа, скелет козы, под кирпичами даже валенки не сгорели совсем. А где же 4 труп? На следствии выяснилось, что Александр отрубил всем головы, трупы положил в подполье под печь, рассчитывая, что обрушившаяся печь засыплет трупы, а сам повесился, а где же головы — не выяснено до сего дня.

Перезимовали пчелы удовлетворительно. В помощь мне назначили мою жену. В этот сезон было очень много роев и много меда. Около Ильина дня ночью пришел на пасеку вор, раскрыл 2 улья, но сторож услышал, поднял крик, вор бросил в сторожа тяжелую палку, побежал и закричал: «Пасеку грабят!» Разбудил директора и меня стуком в оконную раму. Сбежался на пасеку сонный народ, директор приехал верхом на лошади, все бегают, ищут вора во ржи, ячмени, кустарнике. Больше всех старается искать вора сам вор. Так вора и не нашли. Для безопасности и сохранности пасеки дали второго сторожа и дали ему ружье.

Продукты питания очень дороги, кг хлеба на рынке 60 руб. Фунт масла 500 руб., пуд картошки 300 рублей. Хотя крали совхозные овощи рабочие, но причастные к этому злу были и служащие, и все же не очень строго судили до сих пор. А вот положение изменилось. На общем собрании рабочих и служащих директор заявил: «У нас в совхозе началось нестерпимое воровство: обрезают колосья у суслонов, крадут картошку, морковь и свеклу. Имейте в виду и учтите, что с сегодняшнего дня за кражу совхозного имущества независимо от количества и стоимости десять лет заключения. Запомните!» И не вникая предупреждению — многие поплатились свободой. 4 женщины украли 10 кочанов капусты и осуждены на 10 лет заключения.

Летом в 43 году прибыл в совхоз военный эстонский полк, не знаем помочь совхозу или другая была причина, разместился по квартирам в деревнях. Армейцы большого роста, дисциплинированные, но плохо говорят по-русски. Хотя у них в полку свое довольствие, но тоже скудное, работники хорошие, но в совхозе

им, вероятно, работать не разрешалось. Полк занялся восстановлением проезжих дорог, ремонтом мостов, которые не ремонтировались уже 20 лет. Как это было для совхоза кстати, но полк через год или около того отозвали в другое место. Культурные были армейцы, у них свой духовой оркестр.

И опять же трудности по уборке урожая хлеба, овощей и сенокоса. Хотя с 9 колхозов бригады помогали совхозу во время уборочной, но этого недостаточно. Не знаем, по какой причине, а, может быть, такое распоряжение правительства, на помощь совхозу назначен лагерь заключенных. Отведенную территорию начали обносить трехметровой высоты забором из досок и горбылей и делать каркасы для натяжки палаток. Прибывают отряды заключенных человек по 50 и более — рабочей силы для совхоза достаточно.

Оказалось, что эта сила для совхоза и населения опасная, развратная. Не все заключенные законвоированы. Гуляя свободно днем и ночью, грабят огороды и, работая на огородах, делают ямы и ссыпают картошку, а потом ночью уносят. Особенно нуждались заключенные табаком, а также и население нуждалось — выращивали табак и курили самосад, сами обрабатывая его.

Совхоз доверял заключенным мешки для погрузки картофеля и других продуктов, топоры и лопаты. При первой возможности заключенные променивали хорошие мешки населению на какие-нибудь обрывки гнилых мешков, новые топоры променивали на утиль-топоры. На общем собрании выяснено, что совхоз почти полностью лишился мешков 1500 штук, топоров 400 штук, растеряны все заступы и лопаты. Все это перешло в руки населения, потому что у всех был кризис в этом инвентаре.

Директор, военный, в чине полковника, Бисти Матвей Егорович, ведет себя оскорбительно для служащих. Хотя речь идет с бригадирами заключенных, которые сквернословят так, и они считают это нормальным, но директору это очень не к лицу, он так и сыплет слова в бога мать, в бога мать. И это сквернословие у заключенных вошло в норму и для них незаметно изругаться для крепости. Начальник общего снабжения (ЧОС) подошел к директору и сказал: «Нельзя ли, Матвей Егорович, как-нибудь помягче — ведь здесь люди есть». Видимо, по мнению директора и ЧОС заключенные не люди, а только сторонние зрители люди.

Тут пришла на совхоз новая беда — падеж лошадей от болезни «анемия». В течение двух лет погибло 200 лошадей и оставшиеся были все заражены. Заражена вся территория, строжайший карантин и запрет въезда и выезда на лошадях по территории совхоза, запрет отпуска сена в незараженные местности. Для уцелевших, хотя и больных лошадей, построили барак для содержания и лечения и, видимо, лечение не давало результатов, все лошади погибли.

Ох, тяжелое было время! Пришлось взаимно помогать друг другу — впрягаться по 5 человек в соху и тащить вчетвером, а пятый управляет сохой. Совхоз начал обучать к пашне и перевозке грузов быков-производителей, и для этой цели стали кастрировать и приучать к работе двухлетних бычков, а многие начали обучать своих коров — и удивительно, как хорошо они поддаются обучению. Наготовили специальных хомутов и начали приучать бычков к пашне, бороньбе и запрягать в телеги. Жаль смотреть, как бычок везет с усилием телегу с грузом и, если в гору, то упирается лбом в землю, а тянет. А вот зимой очень плохо. нога на льду и снегу скользит, а подковать ногу копыто не позволяет.

С приходом заключенных страшно стало работать на пасеке. На одном конце работаем, а с другого конца, не страшась ничего, уже рамки потащили. Ночью приходится сторожу непрерывно сидеть с ружьем у ульев. Пасека доведена до 105 ульев, доход уменьшился — получалось перенаселенность пчелами и решено было половину пасеки вывезти на вторую ферму за 7,5 км, а для пчеловода дать лошадь ездить на вторую ферму для работы с пчелами. Таков был план. При постройке омшанника взяли бревенчатый сруб с гумна, зараженный грибком и никто этого не подозревал, а я в этом деле не сведущий, не придавал значения тому, что зимой на стенах выступила белая плесень. При уборке омшанника обмету плесень метлой и спокоен.

Пчелы — 105 ульев стояли в двух рядах на стеллажах в три яруса. Прихожу в омшанник и, о, ужас! Обрушился потолок с землей и на ульи, взбудораженные



пчелы вылетают из ульев. Бегу в контору, пришли конторские, пришли плотники с топорами, но без сеток — к пчелам не подступишься, а работать надо немедленно. Завязавшись шарфами и полотенцами кой-как сняли с верхних рядов упавшие бревна, сбросив их между рядами ульев. Так весь март месяц до выставки пчелы стояли без потолка. Большого ущерба для пасеки не было.

Половину ульев в июне месяце перевезли на вторую ферму. Так распорядился новый зоотехник, прибывший из заключения Кривец Павел Васильевич, а мне на лошади надо ежедневно ездить на II ферму за 7,5 км на работу с пчелами и в то же время выполнять работу на своей пасеке — по мнению зоотехника эта работа выполнима для одного человека, а нас с женой двое. Я заявил, что это для меня невыполнимо и подал заявление на расчет, имея в виду, что через три месяца мне исполняется 60 лет.

Не рассматривают моего заявления, и у нас забота о том, как пчелы и где будут зимовать? Дрова для отопления пасеки с падежом лошадей перестали возить — привезут один осиновый кряж, пока чахнет осина, температура падет до 8 градусов холода. Вот тут и болей за пасеку. Провалившийся потолок заменили новым. Перевезенные пчелы в тот же день вернулись на старые места обратно, все с пергой, облепили колышки. Тут зоотехник увидел свою ошибку, узнал, что пчел надо увозить не ближе 10 км. Пришлось сметать пчел в роевни и везти обратно на II ферму. На следующий день та же картина. Для отопления своей квартиры пришлось возить дрова на салазках своим плечом. Одно было хорошо, что в ближайшем лесу за 2,5 км осенью росли грибы-грузди, и я имел возможность заготовить на всю зиму. Этот гриб самый ценный для засола. С картошкой и растительным маслом хорошее блюдо, хотя масла у нас и не было.

Питаю мысль, как бы вырваться из совхоза. Приезжает с моей родины из Ляхова счетовод Перевозников с предложением и с просьбой переехать на работу в свой колхоз на место пчеловода, т<ак> к<ак> после пожара на пасеке колхоз снова выписал из Украины пчел 11 семей, а пчеловодство доверить некому.

Я чистосердечно открылся ему, что мне не место у вас работать, потому что вы постановили своим колхозным собранием, чтобы я убрал с территории вашего колхоза свой пустующий дом, и ваши комсомольцы (актив) пишет плакаты о моей церковной службе, и разрушили мою пасеку, так на что я могу надеяться у вас в будущем. Когда я был у вас пчеловодом, с 36 ульев дал 15 роев и 87 пудов меда, а когда был товарищеский обед в Октябрьский праздник, всех колхозников наделили продуктами своего печенья и провели колхозный товарищеский обед, а мне пришлось со стыдом уйти, когда бригадир проголосовал давать ли Карпову печенья и обедать ли, то никто не проголосовал за это. Я тогда с семьей более нуждался, чем вы — колхозники. Вот это меня и наводит на мысль, что для меня у вас не найдется места для работы.

Счетовод сказал, что действительно, тогда так было, а теперь у нас порядки не те, и люди те отстранены от дела. Я говорю, а чем помешал мой дом, если приказываете убрать его, и куда убрать, а продать — еще самому может пригодиться. Ведь из-за дома пришлось идти к прокурору и получил точные разъяснения, что нет такого закона, чтобы собственный дом хозяина сносить или убирать.

В этом 48 году пчеловодный сезон был посредственный, пчелы дали по 15 кг на улей и немного роев — не выполнили плана 17 кг на улей. И по животноводству план не выполнен, а пчеловодство числится в одной рубрике с животноводством. Вот и придумало начальство по предложению зоотехника создать фальшивый — не существующий доход пасеки и это перевыполнение плана пасекой перечислить на животноводство.

А как это сделать? Ведомости о количестве меда в ульях для зимовки составлены в 3-х экземплярах — меду для зимовки оставлено достаточно. А по мнению зоотехника меду в ульях лишка нельзя держать — лучше весной подкормить пчел. Проверили ведомости и из каждого улья исключили по 2 кг, которые можно изъять из ульев как бы для весенней подкормки. Ведомости нужно переписывать. Я не пошел на эту меру — не стал переписывать своего экземпляра и заявил, что я за пасеку не согласен отвечать, если пчелы за недостатком меда в ульях будут гибнуть.

Тут на меня поднялась вся контора: вот новый бунтарь, не подчиняется начальству. Я ушел, написал заявление на расчет и передал директору. На следующий день вызывают меня в контору, и главный бухгалтер и прочие с вежливостью сообщают мне: мы нашли выход, давайте печатаем пустой шкаф, будто в нем хранится 150 кг меда сего года сбора и этот несуществующий излишек пойдет на покрытие не выполненного плана по животноводству, тогда получим две государственных премии — одну по животноводству, другую — по пчеловодству.

Я спрашиваю: «А если этот пустой опечатанный шкаф проверят, а там ничего нет, то за это кто отвечать будет?» — «Никто не будет проверять. Ведь у Павла-то Васильевича — зоотехника — не корчага вместо головы!» Директор убеждает меня, что это выгодно очень сделать, и получим от государства две премии. Я сказал, что в вашей власти это делать, но только без моего участия. Директор: «Нет, это ты должен сделать!» — Я сказал: «Рассчитайте меня, я не могу в таких условиях работать, как я могу хранить пустой шкаф, в котором должно быть 150 кг меда». Думаю — на опасную дорогу меня толкают.

Ведь на самом деле я не подчиняюсь начальству, и подчиниться страшно, и совесть подсказывает, что нельзя. Но уже исполняется мне 60 лет жизни. На следующий день четвертый раз пошел к прокурору, чувствуя и страшась беспокоить своей навязчивостью. Я упросил прокурора выслушать меня. Три заявления подал о увольнении и не рассматривают заявления. Заставляют хранить несуществующие 150 кг меда в пустом шкафу. Я страшусь подчиниться их приказу. Прокурор звонит директору совхоза: «Ко мне уже в 4 раз приходит ваш пчеловод Карпов, и вы несправедливо поступаете — не увольняете его, уже имеющего права на пенсию, а насчет заместителя, как вы говорите, то это не его дело — вы сами ищите. Карпов живет на подведомственной мне территории, а поэтому я и делаю вам замечание. Вы должны сегодня же его рассчитать!» — и положил трубку, но вдруг снова звонок: «Товарищ прокурор, вы знаете с кем имеете дело, ведь этот человек недавно рясю снял». — Прокурор ответил: «Ну и что же, что снял рясю — ведь это ни вас, ни нас не касается!» Прокурор повесил трубку (говорил это не директор, а начальник кооперативки — полковник Остапенко). Прокурор сказал мне: «Иди спокойно домой — завтра вас рассчитают». Прихожу со страхом в кабинет директора и вижу на столе под стеклом свое заявление и резолюцию — рассчитать. Какой камень отвалился от моей груди, и сейчас чувствую это.

## Глава 12-я

Все 9 лет работы в совхозе я не пользовался месячным отпуском, хотя бы в зимнее время, и не видел ни одного человека, с которым можно поделиться своими мыслями. Церкви были закрыты, и я неотлучно находился в совхозе до половины августа 1948 года. Опишу памятное событие. Это было в августе 1944 года.

По деревням совхоза ходила женщина в виде монахини, рекомендуя себя, что она послана из Архангельска от Архиепископа объявить в совхозе, что придет священник крестить детей. Население было почти все верующие и рады были такой вести, ведь церквей нет вблизи, нужно для крещения ехать в Архангельск или Котлас, где не закрыты церкви, а сколько нужно женщине перенести трудностей с ребенком в поездке, а тут счастье — священник сам приезжает в деревню. И без всякого подозрения все верили этому.

И, действительно, появился человек в подряснике и скуфье на голове, и никто не догадался спросить документы. Он остановился в нашей деревне у соседки. Стрекомендовал себя священником, посланным Архиепископом крестить детей. Видимо, все верили его словам. Женщина предоставила для совершения крещения свою избу и кадку для купели.

Еще рано утром пришли десятки женщин и привели по 2 — 3 детей. А было объявлено женщиной, что за крещение плата 30 руб<лей>, и деньги эти будут сданы в государственную кассу. Очень сожалеею, что эта весть не дошла до нас своевременно, и я ушел в лес за грибами. Какое последование крещения происходило я не видел, но, по словам очевидцев, у священника был один фартук

(епитрахиль), деревянный крестик и книжка (требник, а может молитвенник), а помазание делал ватой маслом. Окрестил он 45 человек, не погружая в воду младенцев, а чуть коснувшись воды. Крестились 6 и 7-летние. Как жаль было, что не пришлось видеть такого важного события.

Я ранним утром пошел на свидание или, вернее, добиваться свидания со священником, но хозяйка сказала мне, что батюшка ушел в Черевково внести в кассу полученные за крещение деньги. Перешел батюшка в другую деревню и начал крестить. Одна добрая женщина принесла хороший большой платок, постлала на стол, считая, что неприлично совершать крещение при непокрытом столе. Кончив крещение, священник завернул в платок свои священные вещи, вероятно, предполагая, что платок пригодится при следующем крещении или, может, с намерением присвоить платок, перешел в другую деревню. А женщина пришла за платком, а священник ушел в другую деревню; женщина бросилась в погоню за священником, а платок уже продан за 90 рублей.

Она взяла платок, так как свидетели — очевидцы всех деревень, а священник исчез. Оперативники искали его, но не нашли. Так я и не удостоился видеть, как совершал крещение сей проходимец. Многие женщины спрашивали меня, крещены ли наши дети, и поп или бродяга какой крестил. Я предлагал им спросить священников, и они разъяряют этот вопрос.

Мой заместитель без всякого опыта по пчеловодству взял на себя ответственность за 105 ульев. Он работал бухгалтером, и начальство выдвинуло его на эту работу. И начал он получать ежегодно премии по 3 пуда меду и по 1000 руб<лей> деньгами. Человек, не имеющий опыта, в течение 4-х лет довел пасаку в 105 ульев до 25 ульев, а приписывали это печальное явление не по вине пчеловода, а непригодности для зимовки пчел вновь построенного омшанника.

Из беседы со своим приятелем-агрономом я узнал, что я подлежал премии не только за работу на пасеке, а за красоту сработанных ульев. А лишился ты премии за свою честность. При взвешивании меда при сдаче не весь нужно было записывать, хотя 3-ю или 4-ю часть скидывать, а начальство, боясь твоей честности, не смело предложить тебе этого. Тогда Ч. О. С. (начальник общего снабжения) завалил бы премиями — были бы тебе и сапоги, валенки, ботинки и получал бы ты положенное тебе конторское снабжение продуктами. Твой заместитель смысленнее тебя, а ты не пошел на такой путь. Ты доказал на пчеловодстве активность и честность, ежегодно сдавал 70 — 80 пудов меда. Отсылали по 2 года по 12 пудов на фронт. Я и сам видел и сознавал, что я на учете у начальства как церковнослужитель, а это для начальства совхоза, как бельмо на глазу.

Работая в совхозе, я уже стал планировать, что не вечно же жить в совхозе презираемому, надо искать постоянное место жительства и завести какое-нибудь хозяйство. На родину ехать не лежит сердце — не дадут заняться пчеловодством. Куда решиться ехать из совхоза? Планируя ехать, я уже завел для себя пасаку из 5 ульев и сработал запасных 5 ульев. При переезде на новое место нужно найти источник существования в преклонном возрасте.

В Пермогорье была сестра моей жены — учительница, вдова с 3-мя детьми, Александра Ивановна Попова. Она пережила голодовку, т<ак> к<ак> при карточной системе и одно учительское жалованье не обеспечивает существования. Она предложила нам переехать к ней в Пермогорье в свой дом, где есть все условия развести пчел и прекрасная зимовка. Договорились, чтобы вместе вести пчеловодство, огородничество и садоводство. Дети трое, все учатся и все разъехались на работу.

Жили мы общей семьей в одной комнате. Два наших сына погибли в армии. Один сильно раненный из госпиталя отпущен домой и через два месяца помер, от второго пришло извещение — убит на подступах к Берлину — не дожил нескольких дней до победы. Итак, решено ехать в Пермогорье.

Я, чувствуя презрение за свою церковную службу, за 9 лет не заметили моей работы, даже незаконно урезали карточки — жене 300 гр., дочке 200 гр., едва поверил, когда приказано было директором дать 2 машины для перевозки моего имущества. Одну машину под 10 ульев, другую для нас и нашего скарба. Пчел поставили в огороде Александры Ивановны.

Ох, трудное было время! Приходилось делить каждую кроху хлеба. И сама Александра Ивановна голодала, приходила к нам в совхоз за картофельной кожурой, которую мы для нее сушили и хранили.

Получил с родины из Ляхова письмо, приезжайте, устраивайте свой дом, иначе все растащат. Приехал и вижу, настил рундука у амбара исчез, новый потолок у амбара выбран, кирпич в амбаре исчез, ограда исчезла, вместо — изгородь из ивовых горбатых жердей. Был парник и 6 хороших парниковых рам в амбаре — все исчезло. Заколочено в окнах 18 новых рам — опасаясь, что и те украдут. Не может быть дом без хозяина. Что делать с домом? Колхоз ждет, чтобы я убрал, но дом, кажется, никому не мешает. Решили продать дом, и деньги положить в сберкассу, и при случае купить в Пермогорье.

Сделали вопиющую ошибку — не купили сразу по приезду в Пермогорье дом. Целые деревни домов пустуют. Народ разъехался в поисках лучшей жизни, часть раскулачена и выслана на север. Без всякого запрета отаплиются домами все учреждения: школы, клуб, изба-читальня, сельсовет, почта, больница, детясли. А дрова-то из домов хорошие, сухие и дешевые.

Но положение быстро изменилось. Люди стали возвращаться в деревни. Красноборск заселялся новыми приезжими людьми, и дома стали раскупаться нарасхват, хотя дома и недороги, но уже все раскуплены и увезены в Красноборск. При переезде нашем были деревни по 10 — 12 домов, и все раскуплены и увезены.

Деньги были переведены на новый счет, из наших 10 тысяч оказалось по новому счету только 3 тысячи. По сложившимся обстоятельствам зять и дочь Александры Ивановны приехали домой — в Пермогорье и заявили, чтобы мы покупали для себя дом. Да и сами <мы> поняли это, но упустили возможность — купить было уже нечего, только полуразвалившийся какой, годный на дрова. Купили в ближайшей деревне старую избу за 1200 (120 руб<лей>), перевезли, сложили, насколько могли — устроили и достраиваем уже 16 лет, а все еще не доустроено.

Пасека с Александрой Ивановной доведена до 16 ульев. Очень хорошие были ежегодные медосборы. Колхозные поля были засорены васильком и другими сорняками-осотами, ячмень и рожь выглядели издали, как синее море, на васильках с утра до вечера от пчел гул стоит, и получается мед васильковый. Перевез я пчел к своему дому в количестве 10 ульев, перевез ягодный сад — смородину, мичуринскую рябину, крыжовник, малину, землянику, увнес огород 3-метровым забором, согласно пчеловодного законодательства. Но, видимо, и в Пермогорье посмотрели на меня, как на служителя Церкви.

И на общем собрании колхозников было вынесено решение отобрать у меня огород с садом, а пчел оставить 5 ульев, а 8 семей сдать в колхоз. Такое постановление вынесено для имеющих в личном пользовании коров пенсионеров и учительства — плотить 500 рублей с коровы за выпуск на покотину. Что делать?

Поехал я в Архангельск в облземуправление с заявлением, мне в конторе сказали: «Поезжай, дедушка, домой, никто ничего у тебя не отберет». Я говорю, что уже отобрали. От углов дома отмеряли 4 метра — это моя территория, а остальное в огороде с садом все колхозное. О сдаче в колхоз уже предупреждение, если не сдам 8 ульев в течение 3-х дней — будут приняты репрессивные меры. Так и уехал домой без полного разъяснения, оставив свое заявление.

Слышу через колхозников — председателю колхоза из земуправления запрос: «На каком основании у пенсионера Карпова отбираете пчел и сад?» Председатель ответил, что это произошло ошибочно, а сам подписывал бумаги о сдаче.

Я получил из областного управления указание такого содержания: пчеловодство, а также и ягодное садоводство наивыгоднейшая ценная отрасль сельского хозяйства. Согласно закона все организации советской власти и лица обязаны оказывать всякое содействие и помощь лицам, занимающимся пчеловодством, не исключая рабочих и пенсионеров, а особенно в Архангельской области, особенно богатой медоносами, но пчел в области так мало, что в некоторых районах нет ни одной пасеки.

Поэтому вы, тов. Карпов, имеете право держать на своем огороде неограниченное число ульев, а также и садовых ягодных культур.

Облземуправление, дата.

Имея на руках такое разрешение земуправления, я держу 10 ульев пчел и совершенно спокоен за их существование.

### Заключение

Направление в мой жизненный путь дал мне Соловецкий монастырь, куда я по обещанию матери еще 12-летним в 1902 году был отправлен, где в соборном церковном хоре развился у меня вкус к пению и музыке. Отдал этому изящному чувству и искусству всю жизнь и нашел для себя в музыке и хоровом пении счастье и удовлетворение. Музыка и пение затрагивают лучшие струны моей души, уводят меня в другой — высший мир, в минуту жизни трудную являются единственным утешением и успокоением. Как приходится сожалеть, что созданное Церковными композиторами такое неопределимое богатство в настоящее время отвергнуто — презрено и запрещено издавать на грамзаписи.

Но что делать? Новое воспитали общество — новый в нем вкус и дух. Дух нового современного общества — отвержение Бога и всего священного, что освящает человека и отличает от животных. Современный образованный человек находит счастье работать на благо общества, на увеличение материальных благ, цель очень высокая и все мы должны стремиться к ней, как к высшему идеалу, но в то же время возникает неизбежная мысль: что такое человек без веры в Бога? Только высшее всех тварей земных животное и больше ничего. В последнюю минуту жизни, не веря ни в Бога, ни в душу, отходит (умирает) с сознанием полного небытия за гробом. Печальное положение, ужасное!

Теперь каждый неверующий — ученый современного общества делает вывод: если есть Бог, то Он уже не заботится о человечестве, и если бы был, то не допустил бы безбожия одерживать такие победы: разрушать св. Храмы, монастыри, кощунственно надругаться над дорогами для верующих святынями, и такие действия исходили из духа современного нового общества. Но есть другой — высший мир, к которому наука не может приложить свои исследования по несовершенству человеческого знания и понимания, т<ак> к<ак> вопросы эти уходят за пределы человеческого понимания.

К счастью человечества Бог не оставил человека в полном неведении о Своем бытии и создании вселенной, и во время потребное открывает о Себе, и сподобившиеся такого откровения сознают, что везде присутствующее, всевидящее око Божие видит все его дела, мысли, намерения и желания и все будущее человечества. И это для меня так достоверно и непреодолимо, как неопровержимо-реально мое существование. В Боге мой покой.

К такому вышеизложенному выводу привела меня моя пройденная и мятущаяся жизнь, жизнь трагическая — быть презираемому служителю Церкви, отставшему от современной жизни и культуры человеку. Но это, по моему мнению, вполне естественно, т<ак> к<ак> в настоящее время религия наукой считается пережитком суеверных первобытных дикарей.

Публикация и подготовка текста

Г. В. МАРКЕЛОВА и С. С. ГРЕЧИШКИНА.



## МАРК БОГОСЛАВСКИЙ

\*

### ЗАБЫВ СКАЗАТЬ ПРОЩАЛЬНЫЕ СЛОВА

*Представляя широкой читательской аудитории неизвестного ей доселе замечательного русского поэта Марка Ивановича Богославского, я испытываю смешанное чувство вполне понятной — и за него, и за себя, и больше всего за читателей — радости и в то же время горечи, неловкости, невольной вины. Еще не вчитываясь, а просто пробежав глазами несколько первых попавшихся, наугад выхваченных строк этого поэта, любой любящий стихи читатель убедится в том, что ни в чьих рекомендациях такой поэт не нуждается. Я был уверен в этом еще сорок лет назад, когда после возвращения из сталинских лагерей в родной нам обоим Харьков впервые познакомился со стихами Марка Богославского. Поэт «от Бога», то есть по отпущенному ему природой поэтическому таланту, по дару, по призванию, он уже и тогда удивлял друзей необычным для молодого поэта профессионализмом, культурой, техникой, требовательностью к своим стихам, с которыми он знакомил нас неохотно и крайне редко, постоянно и долго работая над ними. О публикации этих стихов в те годы не могло идти и речи — и не только из-за их содержания, но и из-за бросающейся в глаза и уши, непривычной, подчеркнутой, выпирающей формы.*

*Марк Богославский — участник Великой Отечественной войны, на фронте был тяжело ранен. Окончив после демобилизации Харьковский университет, несколько лет преподавал литературу в сельских школах русского Севера в Архангельской области, потом вернулся в Харьков, где тоже работал школьным учителем. В настоящее время он преподает русскую литературу в Харьковском институте культуры, преподает с любовью и пользуется ответной любовью студентов. Многие годы мы живем в одном городе, дружим, встречаемся, разговариваем и спорим о литературе, о жизни, о главном в жизни. Когда-то нас было много, а сейчас осталось совсем мало.*

*Для меня никогда не было сомнения в том, что стихи Марка Богославского интереснее и значительнее моих собственных, и поэтому то обстоятельство, что в последние пять лет «пробились» к читателю мои стихи, а не его, и что представлять читателю приходится мне его, а не ему меня, я отношу к тем «чистым случайностям», которыми так богата наша литературная жизнь, такая же бессмысленная и нелепая, как и вся наша жизнь вообще. И, несмотря на то, что стихи, кажется, «сейчас никому не нужны» и читают их в нашей стране меньше, чем когда бы то ни было раньше, не сомневаюсь я и в том, что стихи Марка Богославского, не зная о них, читатель давно ждет.*

Борис ЧИЧИБАБИН.

#### Русская зима

Бомбовые грубые удары  
Снега, сбрасываемого с крыш.  
Щеки женщин — словно помидоры.  
А вокруг нас снеговые горы!  
Господи, да что же ты творишь?

Для чего, с какой безумной целью  
Воздух обжигает мне чело  
И его морозное веселье  
Слаще, чем домашнее тепло?

Кровь кипит и требует движений,  
В теле и душе — такой простор,  
Будто бог холодных умозрений  
Посадил меня на свой престол.

А когда январские морозы,  
Как мальчишки, разевают рты,  
Возникает из презренной прозы  
Синева небесной красоты.

Наши вековечные печали  
Сотворили эти чудеса:  
Отковали и отшлифовали  
Ветки, иней, снег и небеса.

Внятно, повелительно и громко  
Изъясняется со мной зима:  
«Вот она — алмазная огранка  
Совести и смертного ума!»

Холод — государственное дело.  
Холодом приказа и тюрьмы  
Семь веков Россия-мать студила  
Наши раскаленные умы.

А они пылают на морозе;  
До чего ж вокруг белым-бело!  
То ли Бог решил покончить с мразью,  
То ли, как алмаз, шлифует зло.

\* \*  
\*

Мне природа подает примеры  
Вечной глубины и высоты,—  
И костяк необъяснимой веры  
Обрастает мясом красоты.

Действие всегда чревато болью,  
Кровью, трупным смрадом, ложью и  
Смертной схваткой гнета и свободы.

Под забором расцвела крапива,  
Воздух вздрогнул и забормотал,  
И десница Божья укрепила  
Дух, что от безделья устал.

Успокойтесь, глупые народы,—  
Так смолкают утром соловьи.

И опять решаю я задачу —  
Ту, которую не разрешить.  
Светится в душе моей незрячей  
Некая негаснущая нить.

Одинокий голос тронет воздух,  
И раздастся медленный шелчок,  
Мягкий, удивительно бескостный.  
И опять вселенная, весь космос  
Рот сомкнули — и молчок, молчок!

За бездействие — да будет кара:  
Продырявлена вся плоть стыдом!  
Только зря меня ты упрекала  
За Голгофу или там Содом.

Предаю бездействие проклятью!  
Проклинаю действие — вдвойне.  
Думаю о Понтии Пилате  
В мокрой соловьиной тишине.

\* \*  
\*

Душа оторвалась от тела,  
И тело, напрягая слух,  
Пытается узнать пределы,  
В которых обитает дух.

Распев печальный и упругий  
Трубы у смерти на виду.

Земля трясется: там, на юге,  
Разваливаются дома!  
А здесь ночами, на досуге,  
Беседует со мной о друге  
Покойном мировая тьма.

И вот он спит, с душой расставшись,  
А я по улицам хожу,  
Все не решусь, все не отважусь  
Уйти за белую межу.

Мы с ним шатались и глазели  
На девок и на лошадей,  
На разговорчивую зелень  
И гвоздики степных дождей.

Снежок со мной устало шутит,  
Воробышек клюет зерно,  
И в уличном холодном шуме  
Та баба в соболиной шубе  
Показывает на окно,

Еще в шинелишках солдатских,  
Последней коркой поделаясь,  
Мы гнули истинам салазки  
И ладили с бессмертьем связь.

Где свет погас, где в теплом мраке  
Любви свершается обряд  
И женские нагие руки  
За жизнь и смерть благодарят.

Перебывали друг у друга  
Баб,— не считая за беду

В который раз мы с Даниэлем  
Ведем неутомимый счет  
Дождям, распутицам, метелям,  
Бутылкам, женщинам и елям —  
Всему, что в вечности живет.



## Мысль

Веселие Руси не пить, а спорить.  
Сойдутся изумленные умы,  
И мысль сверкнет над теснотой застоля,  
Как молния среди библейской тьмы.

Мысль — это теплокровный организм,  
Имеющий и нервные волокна,  
И легкие, и даже очи-окна,  
Распахнутые в мировую жизнь.

Убейте плоть плюгавую мою,  
Дыхание из тела изымите!  
Прощая вас, я об одном молю:  
Не обрывайте мысленные нити!

Мысль ярче и крупней, чем человек:  
В ней тайна нашей гибели и муки,  
Она глядит из-под опухших век  
И в ваши недра, правнуки и внуки.

Она неосвязаема, — но в ней  
Плач пленных дев и дикий конский топот,  
И этот куст, который зеленой,  
Чем наш младенческий тысячетный опыт.

\* \*  
\*

Я знаю интимную тайну —  
Осеннюю тайну твою —  
И сам, словно сахар, растаяв,  
Нежнее и слаще люблю.

В ступенчатых переходах  
Зелени в алую медь  
И в солнце, спешащем на отдых,  
И в ртутно-мерцающих водах  
Намек есть на честную смерть.

Мы с Богом, хозяином Смерти,  
Ведем нескончаемый спор.

Нас ангелы просят: умерьте  
Ваш гонор и детский задор!

Но сто воробьев, на рябине  
Сидевших, взлетают, шумя,  
И бешеный взрыв воробьиный  
Швыряет на землю меня.

И, став на колени, я долго,  
В осеннее небо вперясь,  
В груди ощущаю иголки —  
С незримым бессмертием связь.



---

---

МИХАИЛ РОЩИН

\*

## НА ОТКРЫТОМ СЕРДЦЕ

*Из книги «Америка»*

Пишется эта «Америка» уже лет десять, не меньше, и пишется каждый день, и снова и снова уплотняется, уточняется, — вот эти строчки я буквально пишу накануне нового отлета в Штаты — в девятый, между прочим, за эти годы раз, — читатель легко поймет, какое множество набралось за столько-то разов впечатлений, но вы увидите, что это не просто очерк, не одна лишь моя личная малая история, как ни велика она для меня; я торопился хоть с первой частью, с этими давними главками успеть, — пятьсот лет назад открыли Америку, мы все открываем ее для себя по-прежнему каждый день, и я хочу участвовать в этом открытии, плыть в команде Колумба — с любовью и сердцем к этой земле, такими же, как к своей земле и ко всем своим...

*Автор.*

### Закон жанра

**И** так, началось. Сидим в клинике самого Д. Б., знаменитого хирурга, его вызвали откуда-то сверху, мы внизу, у его кабинета, ждем. Коридор без окон, с неоновым светом, стены неопределенного ровного цвета, одинаковые желтые таинственные двери, в коридорной перспективе возникают белоснежные фигурки медсестер. По контрасту с этой чистотой и порядком мы — словно беженцы: Дита сидит в шубе, Мая в своей зеленой войлочной шляпе со свалывшейся под ней прической, я в свитере и зимних сапогах, а вокруг на полу наши сумки, мои дубленка и шапка, чемодан, журналы, бумажные стаканчики с кофе, аккуратные букетики-розетки, которыми нас встречали. Мы из Нью-Йорка, где три дня валил снег, а потом все замерзло, а здесь, в Техасе, в аэропорту — солнце, трава зеленая и южный влажный ветер, словно прилетели в Сочи.

Между прочим, до спектакля ровно два часа, только-только успеть принять душ, переодеться, доехать. Я уже понял: город огромен, разбросан, взглядом еле охватишь даже с самолета. Одноэтажная Америка. Только в центре, в даунтауне, торчат небоскребы. Там и театр. Туда надо, туда. Хотя хочется лечь, еле сижу и умом понимаю: лечь бы, укол, чтоб не болело, чтоб дышать, успокоиться. Но нет, я лучше умру в театре, зачем я летел, не каждый день у русского драматурга премьера в Америке, как-нибудь обойдется.

— Поедем, — говорю я, — мне лучше, ей-богу.

Мая машинально переводит и только потом пугается моих слов, просыпается, дергает головой-шляпой. Дита даже не отвечает: она расслабилась, откинулась, привалилась затылком к стене, распушила по рыжей шубе рыжие волосы, несвежего уже после дороги вида, глаза прикрыла. И, не открывая глаз, грозит мне пальцем: молчи, мол.

Глядя на Диту, я вспоминаю ее первый приезд в Москву. Мы встречали в Шереметьеве, еще в старом здании, кучу американских режиссеров: была разрядка, детант, широкий культурный обмен, сновали наши из министерства культуры, американцы из посольства, журналисты, актеры, режиссеры и драматурги. К нам первой выпорхнула Дита. Немолодая и молодая, прекрасно, хоть и

после долгого перелета, выглядела, прекрасно была одета и причесана, в чем-то палевом, развевающимся, в этой самой, что и сейчас, дорогой рыжей лисьей шубе, миниатюрная, крепкая, красивая, живая, полная радости и доброжелательства к нам, совершенно незнакомым ей тогда москвичам. Восторженные приветствия, знакомства, букеты, Дита — центр всей этой кутерьмы, организатор, менеджер. Американцы глазят по сторонам, их больше всего занимает толстый иней на стеклах и снег на улице. А на улице и в самом деле морозище, январь, и достаточно пройти из дверей аэровокзала к машинам, чтобы опалило ветром и холодом; Дита же, разумеется, как и большинство иностранцев, с непокрытой головой.

А там понеслись, полетели московские денечки, истовое русское хлебосольство-гостеприимство, днем театр, вечером театр, обед, обед, ужин, еще ужин, концерт в консерватории, мастерские художников, на два дня в Ленинград и обратно, — нашим только разреши, задушат в объятиях. Гостеприимства — море, а сервиса — капля. В поезде мерзли и укрывались своими лисами и норками, потом в «Минске» на два дня вообще отключили горячую воду — лопнули трубы, по дороге в Загорск застряли в сугробе, посадили аккумулятор, час прыгали на морозе, пока грузовиком вытаскивали и заводили «Волгу». И вот дней через восемь русской жизни я увидел нашу Диту такой: она входила с мороза в гостиничный буфет, где я ждал ее уже минут сорок — что само по себе невероятно для американской деловой женщины. Но мало того, что она опаздывала по-русски — она и выглядела соответственно. Надо сказать, у американок культ волос, кажется, полрекламы отдано шампуням и мылу, лакам и феноам, щеткам и расческам; зимой и летом, на улице и в метро, в офисе и театре вы обращаете внимание на замечательно ухоженные волосы. Таково правило, таков стиль.

Но в том самом нечистом и провонявшем сардельками буфете «России» я увидел, что волосы Диты спрятаны под один платок, а сверху повязаны еще другим, оренбургским, словно у какой замоскворецкой бабки. Щеки густо намазаны гусиным жиром. Из-под шубы выпирают толстые ватные брюки, заправленные в войлочные боты «прощай, молодость». Такие боты, мне кажется, могли отыскаться только где-нибудь в чулане у Май, — Мая уже тогда была у Диты переводчицей. В руке у Диты болталась взамен всех ее элегантных пакетов холщовая сумка с самодельным портретом Аллы Пугачевой, а маникюр ее был подобен маникюру кондукторши, — помните эти пальцы, торчащие из обрезанных перчаток, черные от мелочи, с облупленным лаком?..

Мало того, Дита утерла нос рижской варежкой, пришитой наспех к рукаву шубы, и закричала вполне грубым голосом в стеклянную пустоту буфета: «Эй!» Ей хотелось хоть чего-нибудь горячего, да и от рюмки водки она наверняка бы сейчас не отказалась. Ее «эй!» прозвучало вполне по-русски, даже излишне грубо, хоть и с некоторым акцентом. И из стеклянного буфета ей невидимо, по-русски же ядовито ответили: «Эй!» сбедает!

Так проходила ее ассимиляция, и, помню, даже на Старый Новый год в Дом актера она явилась хоть и в шелковом платье, но в байковых рейтузах до колен, которые так и кричали о себе через шелк платья. И при всем том она еще потолстела килограмма на два.

Между прочим, это все ее рука: и идея поставить мою пьесу здесь, в Хьюстоне; и радиограмма сюда, в клинику Д. Б., с борга самолета о том, что мне плохо и я нуждаюсь в медицинской помощи.

Но мне лучше, честное слово. И я хочу в театр. Где этот знаменитый Д. Б.?

Приходит молодая, пышнотелая и веселая негритянка в белых, как ангел, одеждах. На груди ее пластиковый жетон с ее же цветной фоткой и именем: Кони. Она просит меня пройти в ту дверь, возле которой мы сидим уже минут тридцать. Оказывается, где-то в недрах этого огромного здания о нас помнят, на наш счет отдаю распоряжения.

Дита тут же вступает с Кони в быстрый разговор, выясняется, что доктор уже идет, спускается, и Дита спешит его встретить. А я оказываюсь в крошечном смотровом кабинете. Почти целиком его занимает высокая кушетка (чтобы врачу не очень наклоняться), и есть приступочки, чтобы пациенту подняться и сесть высоко. В головах на стене рулон бумаги, как в туалете, только широкий, в ширину кушетки: потянула Кони, накрыла как простынькой, — пожалуйста, прилягте, все чисто, стерильно, никто до вас не лежал. Потом оторвем, выбросим.

Я умиляюсь: какие молодцы, как все продумано и придумано. Когда меня спрашивают, какое отличительное свойство Америки, я говорю: если вы в

Америке в незнакомом вам доме в ночной час войдете в темную комнату и инстинктивно протянете на ощупь руку, то как раз там и окажется выключатель. В писчебумажном магазине (среди великих чудес писчебумажного магазина) я долго вертел в руках трехгранную резинку с круглым отверстием внутри, никак не мог понять, что это. Пока какой-то мальчик не насадил резинку на карандаш и не объяснил, что резинка надевается затем, чтобы грани карандаша не натерли вам мозоль на пальце (!!!). Или вот еще: в одном туалете висит на веревочке карандаш и твердый лист бумаги — для любителей писать на стенах. А в ресторане, когда вам принесут пол-лимона, чтобы поливать рыбу или устриц, лимон окажется в симпатичной марлевой юбочке. Зачем? А чтобы не сыпались вместе с соком косточки, когда будете давить.

А все же лежать на бумаге, которая шуршит под тобой, действует на нервы и лопаются, как только повернешься, совсем другое дело, нежели когда добрая Прасковья, делая тебе кардиограмму, непременно перевернет подушку, которую она переворачивает не для каждого, да еще вынет новую наволочку, которой накроет подушку, и наволочка будет пахнуть чистым. А над Прасковьиной кушеткой белеют и желтеют выдранные из календаря вечные ромашки или календарная же японка в кимоно улыбается на фоне белой башни отеля Нью-Отия, — Господи ты Боже мой, неужели когда-то я и это увижу воочию?..

Кони измеряла мне давление добрыми пухлыми черными руками с белыми ладонями и розовыми ногтями. А между тем у самой двери уже звучали голоса. И вот стали входить, входили, пропуская вперед Диту и Маю, мужчины, высокий Д. Б. в голубой медицинской пилютке и высокий О'Доннел — этот в костюме и галстуке, красивый, как сенатор, только с фонендоскопом на шее. Они говорили все разом, громко и приветливо между собой и тут же стали приветствовать меня, знакомиться, пожимать руку.

Д. Б. в халате, марлевая повязка на груди, на ногах белые пластиковые сапоги, словно он прямо из операционной (может, и так), у него орлиный нос, большие руки с красивыми точеными пальцами, какие бывают у восточных мужчин. Говорят, он ливанец. И говорят, предки его были сапожниками — они шили сапоги, а он шьет сердца и сосуды. Он сутулится, на нем красивые очки в тонкой оправе, он моет свои мощные волосатые руки над белоснежным умывальником, задает мне через Маю краткие вопросы. Он улыбается, он вспоминает Москву, он не раз бывал в Москве, он даже делал там операцию одному очень высокопоставленному человеку, он знает наших академиков, руководителей институтов и клиник. Некоторых я знаю тоже, разговор приобретает почти светский характер.

И я радуюсь, потому что чувствую: пожалуй, удастся отпроситься в театр.

Д. Б. ливанец, О'Доннел ирландец, Кони негритянка, мисс Элиза, которая принимала нас первой, помощница Д. Б. (сейчас она тоже заглядывает в дверь), — типичная итальянка. Это еще одна из особенностей Америки: ее тотальный интернационализм, смешенье всех рас и наций на свете. Может быть, поэтому нет и никакого подчеркнутого интереса ко мне как к русскому, к тому, что вот такой случился случай, что у меня, между прочим, премьера, и она вот-вот начнется, — нет никаких эмоций, врачи есть врачи. Хотя Дита держала перед ними довольно длинную и пылкую речь обо мне, из которой Мая перевела лишь несколько слов. Я продолжал вибрировать и волноваться, мне и в голову не приходило другое, только театр, театр... хотя...

Я впервые видел этих людей и даже представить себе не мог бы, скажи мне кто в ту минуту, какую роль они сыграют в моей жизни. Если бы уметь видеть вперед, хоть что-то знать о своем будущем! Впрочем, как сказать. Ведь стоило только задуматься, за-ду-мать-ся, сопоставить и проанализировать факты, понять реальность (а не исказить ее постоянно собственными о ней представлениями, в которых желаемое всегда преобладает над действительным), и можно было бы, возможно было бы кое-что предугадать. Разве и наука (исследования), и мои собственные наблюдения не говорили мне, что состояние мое все ухудшается и ухудшается, а на протяжении последних двух-трех лет особенно? Разве я не отлеживал по месяцу-два в году в больнице? Разве не бросил год назад и курить и пить, хотя так любил и то и другое?.. Перед самым отъездом в моем институте, где меня лечат, разве не стояли мы с моим лечащим врачом Таней Никитиной на лестнице, прощаясь, и разве я не спрашивал ее, пошучивая: «Таня, ну это точно? Ну неужели уж так плохо, что всякое может случиться?» Таня не принимала моих шуток и твердила одно: зима, перелет, перепады, давление, климат.

Вот и теперь, кажется, надо бы задуматься, увидеть себя: в этом самолете, или как я не мог подняться на пять ступенек без передышки, и как лежу, глотаю воздух часто, словно рыба на песке, а эти замечательные врачи склонились над мной с непроницаемо-недовольными лицами, — остановись (уж и кушетка высока, и бумага плоха), выкинь из головы театр, и игру, оставь эмоции, не шути, это терапевт и хирург над тобой. Стань серьезней, и ты увидишь: это твой замученный ангел-хранитель привел к тебе этих людей и тебя к ним.

Но что говорить. Все это понимаешь, когда глядишь на события издалека, а пока до последней минуты не веришь в исключительность ситуации, все кажется, обойдется, не в первый раз, ну полежу с капельницей два-три дня. Удивительное человеческое свойство: чувствовать, интуировать, как животное, ощущающее приближение грозы или извержение вулкана, и — не слушаться, не искать спасения, а, наоборот, употребить все силы на камуфляж, на переориентацию с главного на второстепенное, на свое же ланье, которое оказывается сильнее всего, даже угрозы смерти. А потом в отчаянии колотим себя по голове и кричим: «Я чувствовал! Я знал!»

Мне кажется, осмотр не занял и пяти минут. Д. Б. и О'Доннел профессорски похмурились, слушая меня в два фонендоскопа, понимающе переглянулись, показывая согласие друг с другом, перебросились двумя-тремя фразами: мол, не о чем и спорить, все ясно. Мая переводила их вопросы, глаза ее все больше круглели от испуга. Дита в начале осмотра ушла в коридор. До спектакля оставалось полчаса. Я все еще верил, что меня сейчас отпустят.

Кстати, мне стало легче дышать: сердце всполошилось присутствием столь больших специалистов, которые допрашивали его вперекрест, как опытные следователи, оно тут же выдало все свои тайны и пороки, облегчило себя честным признанием и пошло стучать ровно и скоро.

Я могу одеться, сказала Мая, и я стал натягивать рубашку, пахнущую потом моего долгого перелета и моего страха. Д. Б. опять мыл руки, вернее, лишь ополоснул и вытирал выдернутой из металлической коробки, висящей на стене, бумажной же салфеткой. О'Доннел вышел в коридор за Дитой. Я хотел спрыгнуть с кушетки, но Д. Б. меня остановил. По панике в Маином взгляде я чувствовал, что дело принимает невеселый оборот.

И вот на меня наконец посмотрели прямо из-за стекол красивых очков большие, увеличенные этими стеклами глаза: глаза спокойные, доброжелательные, серьезные, с тонкой-тонкой усмешкой. С усмешкой потому, что они предлагали мне оставить браваду, юмор (я то и дело острил на свой счет), суетность, хотели напомнить, что я не дитя, что я мужчина и должен приготовиться к чему-то. Прежде чем были произнесены слова о том, что дела мои плохи, глаза сказали еще нечто такое, что я тоже сам знал, а знать не хотел, но теперь, тут же, должен был решить и обдумать.

С той минуты, как Д. Б. появился (и почти постоянно потом), он выглядел человеком, глубоко на чем-то сосредоточенным, почти отсутствующим, занятым не тем, что в данную минуту перед ним, а совсем иным, посторонним. И говорил он с вами ровно, чуть монотонно, вроде без интереса. Но вот он обращал к вам глаза, сосредоточась наконец на вас, и это был миг, когда он вас видит. Взгляд краткий, но достаточный. Вы ему понятны. С точки зрения дела. Симпатии, антипатии, ваш внутренний мир, характер, биография, происхождение, раса, общественное положение, — все это в конце концов второстепенно. Перед врачом вы стоите голым и беззащитным даже не человеком, а существом. На остальное нет ни времени, ни внимания. Современная медицина, и в первую очередь американская, держится доктрины интенсивного и стремительного лечения. Вы — пациент, медицина вступает в отношения не с вами, а с вашей болезнью. Вы — лишь поле боя, на котором разыграется эта схватка, и интересуете полководца лишь в той степени, в какой его интересует место боя.

Но мы-то люди. Когда мы больны, наша самососредоточенность увеличивается десятикратно. Мне пришлось однажды в течение трех суток помирать, испытывать страшные почечные боли, и я помню, как эта боль скрыла от меня мир, оставила меня один на один с собой и этой болью, — никто не мог мне помочь. Никто не способен был испытать мою муку, стать со мной на одну доску, чтобы подлинно, а не притворно сострадать мне. Не зря говорят, что каждый умирает в одиночку. Лишь один человек что-то может — Врач. Не зря мы раскрываем перед ним тело и душу, делаемся маленькими и беззащитными, — кто же, как не он, поймет и спасет? Врач, Доктор, Профессор. Не какой-то

конкретный Иван Иванович или Джордж Смит, а Врач. Так для детей в школе учитель — это Учитель, для новобранцев командир — это Командир. И мы не хотим думать, что у учителя много учеников, а у командира солдат, — я, я, только я, только мне он говорит «дышите, не дышите» и считает пульс, я у него один.

Короче, мы рвемся установить с врачом самые тесные, домашние, почти родственные отношения, врачу же они чаще всего мешают, ему некогда.

Естественно, в тот же миг, когда я увидел обращенные на себя глаза Д. Б., я захотел тут же выделиться, заинтересовать его собой, сообщить ему всю меру своей исключительности или по крайней мере исключительности ситуации, в которую я попал: премьеры, событие, перелет через океан, я русский, советский, со мной полсамолета прессы и театральных деятелей и т. д. и т. п.

Суета, отвечали мне глаза доктора через очки, суета, и не в этом сейчас дело. И желание выделиться, понравиться, войти в контакт — тоже мелочи. Не в этом дело, не в этом. Я вижу все, не надо. Подумаем о другом... Хорошо, тут же отвечал я, хорошо, я понимаю, вы в данную минуту высшее существо, которое будет выносить приговор, решать, а я — лишь вспаханное поле, которое должно принять все, что будет ему брошено. Но я... я хочу в театр, и все! Почему я должен безусловно подчиняться?

И не в этом тоже дело, отвечали мне глаза, не в этом, кому подчиняться, кому не подчиняться, бросьте вы эти маленькие мысли. Вместе с вашим театром. Бросьте маленькие ради одной большой...

Тут я вспомнил одного больного, с которым лежал когда-то в палате. Это был матрос по фамилии Фокусов. Он сроду за сорок пять лет ничем не болел и вдруг занемог от стенокардии, вынужден был бросить работу на буксире, оформлять инвалидность. Этот матрос Фокусов, весьма среднего облика, среднего роста и способностей человек, вдруг отличился невероятным упрямством и самостоятельностью. Приходила сестра утром измерять температуру, Фокусов говорил: у меня нет температуры. Давали таблетки — он допытывался, какая для чего, и одну принимал, а другую ни за что. «Я сам знаю», — повторял он упрямо. Одни уколы принимал, другие отвергал. Курить брошу, говорил, это яд, а пить не брошу, оно не вредно. И несмотря на постельный режим, выходил на улицу за четвертинкой. «Вам надо лежать сегодня целый день», — говорил лечащий врач. «Я сам знаю», — отвечал Фокусов и вставал. Но самое интересное, что он был прав. Так объяснил всем потом завотделением, к которому приходили жаловаться на Фокусова. Матрос болеет впервые в жизни, объяснял завотделением, психика его столь возбуждена и напряжена, что Фокусов, со всем вниманием вслушиваясь в себя, в самом деле способен лучше других пусть не понять, но ощутить, что ему нужно, а что не нужно.

Я тут же собрался рассказать Д. Б. о матросе Фокусове и тем самым перевести все-таки разговор поближе к театру. Но Д. Б. уже прямо остановил меня. Как раз вернулись О'Доннел с Дитой. Мая, дрожа шляпой, взяла Диту за руку. Возникла атмосфера произнесения приговора. Глаза из-за очков, непомерно увеличенные, в сочетании с мощным носом Д. Б. и бровями, делали его похожим на орла, сидящего на вершине. Глаза предлагали мне подняться на ту же высоту. Оставить все, остановить свой бег. Подняться, осмотреться и подумать.

О'Доннел снимал с шеи и убирал в карман фонендоскоп. Дита смотрела на меня так, словно она стоит на берегу, а я на борту отплывающего корабля. Все было решено. Жизнь не в первый раз устраивала мне такой сюрприз. Я, может, и пьесы-то начал писать оттого, что то и дело оказывался в подобных ситуациях. В подобных, но не в такой все-таки. Когда говорят: срочно, опасно, немедленно. Н-да, законы жанра. Летишь на карнавал, прилетаешь в реанимацию. Не зря Булгаков придумал Берлиоза, который никак не хотел поверить, что Аннушка уже масло пролила. А драматург Артур Миллер, когда его пригласили однажды прочесть лекцию о том, что такое драматургия, взял лист бумаги, показал аудитории: видите, белая? Потом повернул — лист был черный. Это и есть драматургия. Вот вам и вся лекция.

F-402

А машины подкатывают к театру. Черные машины подкатывают к театру... Принимаю душ, бреюсь, вынутый из чемодана костюм отвисает на вешалке, галстук змеится по раскинутой на кровати рубашке, сияют башмаки...

Нет-нет, все это только в воображении. На самом деле мы опять в коридоре, я сижу, остальные стоят, исполнительная Элиза заносит в блокнот распоряжения, все изредка поглядывают на меня. А у меня чего только не проносится в голове!..

Появляется некто любезный, стройный, вышколенный, — улыбки, улыбки, карманный калькулятор, дощечка с зажимом для бумаг, на которой писать, типа блокнота, бланки, бланки, — фамилия, возраст, о, приятно, мне тоже 44, но прошу прощения, я, кажется, выгляжу сегодня получше вас, но ничего, ничего, от нас вы выйдете совсем другим, поверьте мне, все будет хорошо, я вас провожу. Наша клиника очень знаменита, к нам едут со всего света, вам, вероятно, известно, Д. Б. великий хирург, он один из первых в мире, кто начал операции на сердце, нет-нет, не беспокойтесь, речь идет не о вас, у него золотые руки, вы видели бюст Д. Б. у входа? О, я вам потом покажу: в монолите — его лицо, золотая маска, и руки, тоже из золота, довольно эффектно, очень известный скульптор...

Доктор Смит, представляющий администрацию, продолжает свой любезный разговор, а я наконец уже вполне по-деловому соображаю, что меня укладывают в этот распрекрасный госпиталь. И без всяких церемоний. Позвольте, господа, а не провокация ли тут какая? Во мне выпрямляется запуганный границей советский человек. Как это вы все решаете? Какие такие золотые маски? Тут и денюжки надо платить золотые. А откуда они у нас? Или это нарочно не хотят пустить советского драматурга на его премьеру? Нет-нет, господа, к ответу! Вот у меня телефон советского посольства, давайте-ка будем выяснять, как и что.

Я подзываю Маю и начинаю с ней советоваться, вернее, почти велю ей звонить в посольство, узнавать, как быть. Но оказывается, и это уже сделано, сообщено, в клинику Д. Б. не положат просто так, не узнав, сможете ли вы расплатиться за ее услуги. Я все-таки нервничаю, я сразу чувствую потребность увидеть кого-нибудь из наших, но говорят, в Хьюстоне русских вообще нет, а дипломатов и журналистов сюда не пускают. И мне опять, тем более мучительно хочется оказаться в театре. Как же так, черт побери, в конце-то концов! Матрос Фокусов вселяется в меня, заставляет меня встать, но тут же кружится голова, я стараюсь улыбаться, а сам не вижу ничего, марь, глаза косятся от головокружения. И черные машины подкатывают к театру...

Юноша-негр, возникший из-под земли, грузит на тележку весь наш скарб, собирает в пластмассовый ящик образовавшийся после нас мусор. Д. Б. исчез, О'Доннел тоже. Дита все так же в шубе, Мая в шляпе, я еле-еле, негр с тележкой, — все мы под руководством мистера Смита движемся по коридорам мимо одинаковых желтых дверей, нигде ни души. Как выяснилось потом, у них вообще нет сторожей, никто не допрашивает: зачем, к кому, куда ты идешь, не выдает посетителям белых халатов. Кому надо, тот идет, кому не надо, не ходят.

Мы выезжаем с тележкой, входим в огромный лифт с металлическими стенами, и мне хочется опуститься, сесть на пол. И — снова коридор, точно такой же, как внизу.

Но вот словно оазис среди пустыни — холл, диваны, картины по стенам, застекленная конторка, где белеет пилоточка дежурной сестры. И неподалеку на двери одной из палат уже приколотой острой цветной кнопкой бумажка с моей фамилией. С моей и Д. Б. Отныне я его пациент. Палата F-402. Ну-ну. А черные машины, значит, пусть подкатывают к театру без меня?..

Оказывается, я еще продолжаю подумывать: как там костюм, не очень ли помялся в чемодане? Но так призывно, так уютно отогнут угол простыни на кровати, так сияет кремовая подушка!.. Широкая и мощная кровать занимает чуть ли не треть компактной палаты. Над нею к низкому потолку подвешен телевизор. Свет неоновый. Кондишн. Стеклопанель, рифленая дверь в туалет, в душ, без ванны. Два белых стула. Шкаф. Симпатичная, скромная палата. Ничего особенного. Нормальная. (В том смысле, что так и должно быть.) Ах, черт возьми, мало я валялся по своим больницам, теперь еще по американским? Стыдно как-то. И между прочим, дорогой доктор Смит, спроси-ка его, Мая, отдельная палата, надо думать, стоит подороже, чем палата на двоих-четверых? Мая не переводит доктору Смиту моего вопроса, а спрашивает меня: может, я попрошусь еще лежать в коридор, как лежат у нас в Москве?..

Я стаскиваю свитер и от одной этой процедуры так слабею, что сажусь на стул и отдуваюсь. Хреновато. Появляется дежурный доктор Браун, негр, педантичный, серьезный, крепкий. Несмотря на всю свою сдержанность, он глядит на меня во все глаза. Оказывается, впервые в жизни видит живого русского. Его



поражает, что я смеюсь. Не потому, что я в таком состоянии не теряю юмора, а потому, что смех не вяжется с его представлением о русских.

Дита ищет телефон (спектакль начнется через час), удивляется, что в палате нет телефона (действительно — Америка!), уходит в коридор. Я прошу Маю открыть мой чемодан, доктора Брауна — сделать мне какой-нибудь укол; я порываюсь улизнуть в туалет и все-таки под душ: пока есть еще время до спектакля, надежда меня не оставляет. Но я уже в руках у доктора Брауна и дежурной сестры Кони — это уже другая Кони, стройная, светленькая, очень симпатичная. При ее появлении я даже приободрился, опять заговорил о спектакле. Мне снова меряли давление, раздевали, слушали (а я стоял у входа в театр, в своем новом костюме, в сверкающих ботинках, с нью-йоркской стрижкой — зачем я отдал за нее пятнадцать долларов?), и сестра Кони мило улыбалась мне, слушая автоматический Маин перевод. Горячие черные руки Брауна, прохладные пальчики Кони, Маина шляпа, стеклянная дверь — вдруг все закрутилось вмиг, меня настигло знакомое и дикое, ужасно пугающее головокружение, спазм, мгновенная потеря сознания, дурнота, и я стал валиться набок со стула.

«...Живот болел, а съемки шли весь день: на жаре, с лошадьми, со взрывами, дубль, еще дубль, торопились, потому что с юга уже напоззало, темнело, к вечеру — совсем дышать нельзя, душно, устали смертельно, за ужином выпила стакан водки. И еще бы выпила, да не было больше. Устала, и грызла еще тоска: вернулась сюда без него, а все было — его: гостиница, берег, лодки, куда ни ступи, пароходы на Днестре, пристань. Вечером часов в одиннадцать обрушилась наконец гроза, полило, похолодало, а утром с первой «ракетой» надо переезжать в Кременчуг, там опять съемка, войска, бой. Живот все болел, и водка не помогла, и сердце ныло, ни телеграммы от него, ни звонка, уже ничего не знала трое суток, не видела, не слышала. Ночью спала в плаще, гостиница без отопления, лило и лило. И на «ракету» волоклись по грязи, без завтрака, пришлось наорать на помрежа — бешено, неприлично, доведя девушку до слез... А в «ракете» сидела на полу с цыганами («ракета» тоже — его, как плыли в первый раз, он всюду нос совал, рассказывал, ему нравились всякие корабли, без него она бы ни на что и внимания не обратила, читала бы или дремала). Низенькая шустрая цыганка — личико точеное, грязное, глаза — вишни, вся в монистах, ровесница, тоже лет двадцати пяти, не больше, но такая взрослая, ушлая, тертая, — привязалась, стала гадать. Перемена тебе в жизни будет, милая, в конце месяца жди, а твой тебя будет всю жизнь любить и переживет на один год, ой, мучается он, все говорят, ты ему не пара, он у тебя старше, у него жена была, а? А детей у тебя не будет... Дождь все лил, «ракета» редела и мчалась по серой реке, под серыми небесами, волна расходилась до обоих берегов. Не война же, не холера. Ни о чем не могла — только о нем, любила до муки, до сухих слез, до иступления, все другое неинтересно. Вот так кончают жизнь самоубийством — ничего больше не надо. Если его нет — все. Глядела в гнутые окна на серые небеса, клялась великими клятвами, хотела от него детей, детей, не одного ребенка, а сколько Бог даст, двоих, троих, молилась: Господи, не оставь... Под Кременчугом летела в тачанке, на лошадях, с тяжеленным маузером в руке, настоящим, по ним били из гаубиц, и она умирала, упав лицом в землю, только ветер шевелил волосы и траву, с открытыми глазами, и Дима-оператор кричал: умница, умница, еще капельку не дыши!.. Один раз умирала, в одном дубле, и в другом, — падала на всем скаку, лежала убитая, а сама опять думала только о нем, выла и стонала про себя: к нему, к нему... И что ж ты врала, цыганка, ребенок уже был, уже жил, зародился, дождь над Днестром и серые небеса уже посылали ему свой привет...»

Лежу на огромной, высокой, как танк, кровати, к тому же она и подвижна, как танк: туда, сюда, вверх, вниз. Кони делает мне укол в предплечье, глядит милыми, сочувствующими глазами, две девчонки-негритянки прикатали кардиограф на колесиках, снимают кардиограмму, утыкав мою грудь круглыми присосками. У меня легкий озноб, волосы еще мокрые от пота: при подобных приступах холодный пот окатывает все тело, словно из ушата облили. В дверях разговаривают серьезный Браун и высокий, сутулый Д. Б. и тут же исчезают. Или мерещится, как мерещатся подкатывающие к театру машины?.. Нет ни Диты, ни Маи. Который час? Уот из тайм?.. Кони тихо улыбается и не отвечает: мол, успокойся ты, ради Бога.

Неужели Дита и Мая уже уехали, оставили меня?

Кони спрашивает: как я? Улыбаюсь, как заправский американец, киногерой, простреленный в шести местах, но невозмутимый и нестигаемый: мол, хелло, Долли.

Две девчонки, которые все время шушукались и колдовали (одна, как я понял, учила попутно другую), уехали, распахнув аппаратом обе створки двери. Кони с ленточкой кардиограммы ушла за ними следом. И я вдруг остался один. Как давно я не оставался один!.. От укола стало заметно легче, я согрелся, задышал, ощутил движение воздуха, пахнущего кондиционером, самолетом, запах белья, тепло-шершавого на ошупь. Тепло медленно продвигалось сквозь холод моих рук и ног. Бог ты мой, что происходит? Неужели мне действительно так худо? Не верю. Не чувствую.

Мало того, недуг любопытства, как известно, сильнее всех иных недугов: ну-ка, что тут у нас? Столик, кнопки, телевизор. Видимо, дистанционное управление. Да, телевизор. Сколько у вас здесь программ в отличие от Нью-Йорка, где для них уже не хватает каналов? Шелк — точно шутливыми выстреливает в меня экран; шелк — певица с ансамблем, шелк — мультик: собака летит по воздуху, машет лапами и ушами, шелк — танки идут по пустыне, шелк — пастор благословляет детей. Мир жив, мир дышит, крутится, спешит, как всегда. Шелк — симфонический оркестр, чаша театра. Да, в этот час мир съезжается к театрам... К черту! Не будем, выключаю.

Что тут еще? На столике Библия. Как в любом отеле. По-английски, разумеется. Жаль, лучше бы по-русски. «Жил человек в земле Уи...» Что еще? Другие кнопки. Наждем. Из недр столика — тут же голос сестры Кони: да, слушаю. Спасибо, Кони, извините, все нормально.

В изголовье прямо из стены — трубки, краники, провода. У нас во многих больницах это тоже есть: подача кислорода и прочее. Правда, не всегда действует. У них-то наверняка действует. Кручу краник — шипит.

Да-да, мне надо думать о другом, дорогой Д. Б., я понимаю, закрыть глаза и сосредоточиться. Но отчего же мне не хочется и я предпочитаю отвлекать себя всякой ерундой? Ей-богу, лучше было бы отпустить меня в театр. Потому что еще немного, еще десять минут, пять минут наедине с собою, и я в самом деле стану думать о... А Москва? Дом? Жена, дети, моя мать, друзья? Книга?.. Я нарочно не вынул страницу из машинки: вернусь и сразу продолжу. Вы хотите, чтобы я подумал об этом?

Мне тепло, мне спокойно, я даже начинаю, кажется, дремать. А черные машины...

...Он думал о жене, и вся Америка целиком не могла ее вытеснить...

В самолете я всегда сажусь у окна, справа, поближе к хвосту, я так привык за всю жизнь, сколько летаю, а тут по билету место оказалось впереди, по левую сторону, между двух других кресел, в одно из них, как раз у окна, быстренько и с удовольствием сел Алан, а другое занял мужчина-атлет и сразу притиснул меня. Я увидел, что Алан тоже любит сидеть у окна и неудобно просить его поменяться. Кроме того, он тут же — с американской манией устроиться как можно удобнее, вестя себя как нравится, — стянул пиджак, толстые зимние башмаки, распустил галстук, откинул спинку кресла и уже шелкал над головой пальцами, чтобы попросить у стюардессы выпить. Раздевшись, он стал еще тщедушнее на вид, в вязаной безрукавке, лысый, с темными кругами-подглазьями, но большие, умные глаза, обычно наполненные «всею скорбью еврейского народа», сейчас глядели весело — он сам ставил спектакль, не имел минутки, но легко собрался, чтобы полететь на один вечер на нашу премьеру из Нью-Йорка в Техас, и теперь был доволен собою, своим поступком, кратким отдыхом. Я понял, что места у окна мне не видать, и расстроился: и без того еле дышал. А Алан тем временем уже познакомился с моим соседом справа: прямой затылок, короткая стрижка, внушительной челюстью он походил на старого боксера. Он то жевал жвачку, то курил сигару, то попивал виски, не разводя его содовой, а заливая; когда принесли пластиковый поднос с обедом, запечатанным сверху другим подносом, атлет, быстро съев симпатичный, но крошечный салатик с одной маслиной, ломтики салами и ветчины, горячую курицу с жареной картошкой, укрытую фольгой, и кусок сладкого шоколадного торта, тут же попросил вторую порцию. Оказалось, мистер Оутс и в самом деле в прошлом спортсмен, но не боксер, а пловец и даже чемпион каких-то игр. Но теперь один из директоров известной

фирмы спортивного инвентаря и спортивной одежды. Я все еще суеверно страдал оттого, что сижу не там, где надо, и прислушивался к своему самочувствию, но через пять минут мы с Аланом уже держали в руках по красочному каталогу, где шикарные девушки, великолепные мужчины и жизнерадостные дети мчатся на лыжах, санках и коньках, демонстрируя замечательные зимние куртки, комбинезоны, свитера, шарфы, шапки, рукавицы и, конечно, лыжи, лыжные ботинки, крепления, коньки и прочее. Бог ты мой, какое обилие, пир красок! Белое, синее, зеленое, банановое, морковное, кофейное, красно-синее, бело-зеленое, в талию, не в талию, без рукавов, с рукавами, под горло, не под горло, — мистер Оутс, наваяв на меня, дымя сигарой, тыкал в каталог крепким пальцем с серебряным перстнем и холеным ногтем и нахваливал свой товар, в самом деле красивый, добротный и вполне доступный, хотя и модный.

У меня рябило в глазах, запах сигары душил, в ушах лопались пузыри от перепадов давления, и я уже в который раз доставал цинковую трубочку с нитроглицерином. Второй день мне было худо, сегодня я еле поднялся в своем холодном номере отеля, но не признаваться же было, не оставаться, когда меня ждут премьеры, штат Техас, театр «Элли».

«Вам плохо?» — спрашивал Алан. «Ничего, — отвечал я, — пройдет». «Надо выпить, — говорил Оутс, — у меня рефлекс: сядишься в самолет — выпей, может, это твой последний стаканчик». Он похохатывал.

Так мы летели. Родители Алана еще до революции бежали из России от еврейских погромов, он хорошо знал русский, любил русский театр, Толстой и Достоевский не сходили у него с языка. Он стал одним из энтузиастов театрального обмена, продвижения русской драматургии на американскую сцену, и его голос значил немало, потому что к этому времени он был одним из видных режиссеров Америки. Маленький, невзрачный, лысый, одетый кое-как, небогатый, печальный, он представлял собою тем не менее один из тех умов и талантов, которые двигают любое дело и совершают открытия.

Стоило ему пять минут полистать каталог с летящими по снегу девушками в черных очках и вязаных шапочках, и он тут же начал импровизировать: давайте сочинять пьесу, будем ставить спектакль, как группа молодых людей отправилась на уик-энд кататься на лыжах и там, в горах, — ну, ну! — подстегивал он меня, — что? что?.. Каждый костюм имел в каталоге свой номер и название, женские костюмы назывались женскими именами: Розы, Ивонна, леди Виктор, мадам Бандит, мужская куртка — Эдвин, а детский комбинезон, например, Игорь. Что тут придумывать, они сами просились в список действующих лиц. Ивонна влюбилась в Эдвина, который приехал с сыном Игорем, — молодой одинокий отец, но пригласила Эдвина леди Виктор, а Розы была ее дочь, 15 лет, но уже наркоманка и шлюха, почти все женщин, вместе взятых. Все думали, что это рука мадам Бандит, но мадам Бандит оказалась школьной учительницей и девственницей, она только умела лихо стрелять, поскольку занималась биатлоном. Ну и так далее.

Мы смеялись, мистер Оутс, слыша знакомые имена, расцвел, а мы стали уверять его, что в самом деле сочиним такую пьесу. Он растрогался и обещал прислать нам, нашим женам, детям и всем родственникам бесплатные зимние костюмы, если наши герои будут прославлять его фирму. Мы смеялись, я — через силу и все с одной навязчивой суеверной мыслью, что если бы я сел, как всегда, у окна сзади, то все было бы в порядке. А теперь с каждой минутой мне становилось все тяжелее. Алан увлекся: «Клянусь, если раскрутить эту идею, сделать хорошую музыку, дать шикарный пейзаж со снегом, метелью и прочее, Бродвей это съест». — «Ваш Бродвей все съест». — «Не скажите».

Тут нам принесли по стаканчику виски, и каждый из нас поставил его на свой самолетный столик. «Глотните, — сказал Алан и поглядел на меня пронизательно. — Ведь плохо?» «Ничего», — сказал я и потянулся чокнуться. Но в Америке принято, черт возьми, обязательно спросить вас, когда вы берете билет, какое место вы предпочитаете, у окна, не у окна, курите ли вы, не курите, и дадут вам такой билет, какой вы хотите. (У нас даже в СВ непременно продадут, не спросив, одно место мужчине, другое женщине.) И как это я, дурак, не предупредил, какое предпочитаю место.

Глоток виски проник мне в самое сердце, зажег его, облегчил на минуту, а потом стало еще хуже. И сделать еще глоток я не мог. Это последнее обстоятельство озадачило моих спутников уже всерьез.

А мы все летели и летели, и я терпел, молчал, откидывался, расстегнул на себе ремень и пуговицы, хотя лететь становилось все невыносимее. На подъеме нас трепал встречный ветер, и это было невыносимо, и запах сигары невыносим, и солнце, которое стало шпарить в окна, когда мы набрали свои десять тысяч метров, и оживило и украсило самолет, — в Нью-Йорке, между прочим, ни разу не выглянуло солнце, — и невыносим свитер, и разговоры о театре, и мысли — все об одном: о спектакле, о Москве, об оставленном. Мы продолжали нашу игру, и я даже подавал вялые реплики то за мадам Бандит, то за крошку Розы, которая связалась еще с неким Банановым Свитером, но уже все плыло у меня в глазах, и я думал с обидой, что сядь я справа у окна, ничего бы такого со мной не случилось.

«Клянусь, мы поставим с вами какую-нибудь пьесу, — сказал Алан весело, но, поглядев на меня, осекся. — Вам плохо». Я вытряхивал из трубочки еще один кубик и мотал головой: «Ничего, ничего, долечу». «Что мы можем сделать? — сказал Алан и стал нашаривать ногами внизу свои ботинки. — Тут полсамолета артистов, режиссеров, газетчиков, а вы наш гость, вы что!» — «Бросьте, Алан, я потерплю». — «Как вы, русские, любите терпеть». — «Национальная черта. Не поднимайте паники, я не помру, не бойтесь». — «Пустите-ка, — он уже обулся и встал в своей безрукавке, маленький и решительный, — я не боюсь, но никто из нас не знает, где и как он помрет». Тут Алан заставил меня и задремавшего было мистера Оутса встать и пропустить его. И выбрался в проход.

«Никто из нас не знает, где и как он помрет». Разумеется. Я смотрел, как Алан пошел по проходу, шаркая незавязанными ботинками на толстом ходу, как остановился у одного кресла, у другого, показывая глазами в мою сторону. И вот уже светловолосая голова Диты, моего доброго американского гения, поднялась над спинкой кресла и повернулась ко мне. Рядом с нею заколыхалась теплая зимняя зеленая шляпа Май. Я делал Алану знаки, чтобы он успокоился. Он отмахивался. Мы глядели друг на друга, уже дружески связанные, уже объединенные одной опасностью, но ни он и ни я не знали тогда, что я выживу и проживу еще долго, а он через пять лет, в Лондоне, торопясь по обыкновению, перебегая улицу, будет убит насмерть мчащимся автомобилем, и очередной задуманный им у англичан спектакль останется непоставленным, как и наше призрачное самолетное шоу с лыжницами.

Ох эти американцы! Они не стали меня слушать, долго размышлять, советовать, откладывать: прямо с самолета по радио связались с самой лучшей клиникой в месте нашего назначения и попросили о помощи.

«...Кашель начался внезапно, ни с того ни с сего, и часа через три это стало ужасом: человек не мог так кашлять, непрерывно, едва переводя дыхание, не в силах откашляться, — в этом было что-то противестественное. Он закуривал — на минуту затихал, но не успевал еще понять, отчего утихло, как спазм начинался снова. Таблетки от кашля, сладкий чай, жженный сахар, коньяк, горчичники — все было испробовано, и ничего не помогало. Вдруг подействовал нитроглицерин, затихло, но он не мог принимать его подряд — разлеталась на куски голова.

Был май, прекрасная ночь, все цвело, окна и дверь на балкон стояли настежь, на подоконнике в вазе — букет черемухи. Все убрали, все закрыли — может, аллергия? — хотя никогда не страдал аллергией. Шел третий час, над лесом корпусов нового района занимался рассвет, слышно было, что за стеной из-за кашля не спит соседка, а наверху тоже выходили на балкон и с намеком покашливали. Что он мог сделать? Он не ложился, ходил из комнаты в комнату босиком, в джинсах и старом пуловере с продранными локтями на голое тело, слезы текли из глаз, уже грудь и спина болели от проклятого кашля. Было воскресенье, жена знакомого врача сказала, что Борис на даче и приедет прямо на работу, к восьми. Но до восьми еще было далеко. Он уходил на кухню, запирался в ванной, чувствуя, что сеет ужас, но был бессилен.

Она была уверена: он кашляет нарочно. Ну вот голову на отсечение. Такого кашля не бывает. Ну не коклюш же у сорокалетнего мужика. Главное, вдруг ни с чего. Нет, это деланный, ненатуральный, странный кашель. Он нарочно начал, сыграл, чтобы она пожалела его, обратила на него внимание, носилась с ним, а теперь вот не может остановиться. Лицедей. Подлец... Как нарочно, она мучительно хотела спать. Чтобы успокоить нервы, приняла три таблетки суксенна, пила валерьянку, но раздражение не унялось, а спать хотелось. Ужас, ужас. Чем дальше он уходил и запирался, тем пронзительнее доносился этот гнусный

кашель. О, Господи, за что?! Она дала ему термопсис, ставила горчичники, ходила к соседям за коньяком, она предлагала вызвать неотложку,— нет, неотложку он не хочет, боится. Боятся, что его тут же раскусят с его придурочным кашлем. Ну что еще, что? Сочувствия? Пожалуйста! Но уж не обесудьте, сочувствие такого же качества, как ваш кашель. Нет, это невозможно, ну вот, по часам: если будет кашлять еще пять минут, нервы лопнут, и она закричит в голос: а-а-а-а!..

Потом все-таки приехала неотложка. Небо уже посветлело. Вошли две заспанные девки, не поймешь, где доктор, где санитарка, не помывши рук, послушали, больше глаза по сторонам на ободранную квартиру — уже полгода собирались делать ремонт и разрешили маленькому сыну и всем приходящим гостям расписывать фломастерами стены,— черт знает чего там только не понарисовали, голые японки из календарей вырезаны и налеплены прямо на обои, художник Красногрудов с «Мосфильма» нарисовал в духе Дюрера дерево до-потолка и в рост дерева Адама и Еву, а дерево обвито зеленым змием. Врачи стала слушать, и, разумеется, кашель тут же утих, он бухал теперь глухо и мирно, как старая собака, и у докторши не сходило с лица классическое «неотложкинское» выражение, когда вам всячески дают понять, что из-за таких пустяков, как у вас, врачей по ночам не тревожат. «Между прочим,— сказала молодая докторша, выписывая рецепт на капли датского короля, которыми поят от кашля младенцев,— каждый вызов «скорой», чтоб вы знали, обходится государству в двести рублей. Никакого воспаления легких у вас нет».

Но конечно же, как только они уехали, он начал кашлять опять. Так же натужно, беспрерывно, невыносимо, нарочно, нарочно, отвратительно, мстительно, подло, бесстыдно, чтобы только мучить, мучить, держать на себе внимание, выпрашивать жалости, ласки, довольствоваться таким же подлым притворством, каким притворяется сам, ну ужас, ужас, надо задушить его, чтоб не кашлял!..

А он ходил из угла в угол по светлеющему от рассвета дому среди белой, дорогой, но совершенно разбитой, ломаной, изрисованной мебели, по липкому от грязи полу, и в нем росло ощущение опасности, некоей страшной опасности, причину которой он еще не понимал. Что-то уже происходит, а он не знает. Дорога каждая минута, а он бездействует. Как будто уже летят в небе вражеские самолеты и чужие танки переходят границу, а он спит, ничего не ведает. Инстинкт самосохранения включился и сигнализировал: что-то делать, срочно, а то будет поздно.

И тут она вылетела из спальни как пробка из бутылки, шелковое красное покрывало зацепилось и тянулось за ней, как плащ леди Макбет, и она на ходу отдирала покрывало от себя, и вот, мотая этими отдирающими руками, с ужасным лицом, стриженная как из сумасшедшего дома, с надутыми на шее жилами, она заорала: «Замолчи!» — и руки скрюченными пальцами тянулись к нему, готовые в самом деле впиться в горло. И театрально рухнула на пол, голая на голый пол, и зарыдала рыданием самой несчастной женщины на свете.

Казалось бы, от такой встряски любой кашель должен остановиться, но кашель продолжался, и, может быть, на счастье, потому что он воспрещал, не давал вниманию переключиться, как это бывало всегда, на взаимоотношения с этой женщиной, его женой, которая (он понимал) подозревает его в игре в кашель,— надо же так не любить меня, думал он потом, чтобы такое могло прийти в голову. Кашель не давал приблизиться к ней, поднимать с пола, утешать, объясняться,— словом, пройти все стадии истерики от «задушу!» до задушивания в иступленных и очистительных объятиях. Кашель требовал сосредоточиться на нем, кашле, и ни на чем другом. Оставь, говорил он, у тебя больше нет на это времени, есть дела поважнее. «Она важнее всего»,— отвечал он, а сам кашлял... Надо было собрать сумку, положить в нее бритву, щетку, последний флокот, трусы и носки, фотографию мамы (ее) с сыном со стола, и все. Кашляя, он одевался, кашляя, спускался по лестнице, кашляя уже на светлой, розовой от восходящего солнца и умытой поливалками улице, открывал свою машину. И сам сел за руль, сам поехал в свою больницу, где лежал в последний раз, сам доехал, все время стучаясь от кашля грудью о руль. И вовремя, потому что это был сердечный кашель, начало отека легких, а промедление в таких случаях действительно непоправимо.

А она глядела из окна, как он уезжает, стояла, завернувшись в эту самую красную занавеску, и, да простит ее Бог, желала, чтобы он больше не приехал никогда, чтобы разбился, кашляя на ходу, умер в своей больнице, освободил бы

ее раз и навсегда, и она бы тут же обменяла эту ненавистную квартиру с низким потолком и фанерными дверями, не доходящими до пола, на любую, пусть хоть в битком набитой коммуналке, где она жила всю жизнь, комнатенку, но только в Москве, в городе, а не на этих выселках, в этом проклятом районе, который, может, и станет через сто лет самым лучшим в столице, но пока что гол, омерзителен, ненавистен ей, она не хочет больше так жить, не хочет, не может, не будет!!!»

А черные машины...

Да, черный лак, черный цвет, черный блеск — цвет соболей и норки, аристократических смокингов и длинных платьев, черных «кадиллаков», подкапывающих к подъезду, — здесь не увидишь японской «хонды», дешевенького «фиата» или яркого «рено», сплошь «кадиллаки», «роллс-ройсы», «мерседесы», лучшие в мире марки, длинные и черные, точно гондолы или катафалки. Шоферы, в фуражках, перчатках, куртках с блестящими пуговицами, высакаивают и оббегают машины, чтобы раскрыть дверцы. Или это делает швейцар в белых перчатках, почтительно склоняясь, и черные соболя, смокинги, сверкающие туфли и башмаки, тоже лучшие в мире, и выхолненные проборы и тщательно продуманные и исполненные прически, седины, лысины в коричневых старческих пятнах, галстуки с бриллиантовыми булавками, тонкие женские шиколотки, обтянутые черным тонким чулком, притемненные очки цвета черного виски «Джонни Уокер», — сама нефть, черная, лоснящаяся, отражающая нарядные огни, выплескивается на тротуар из лакированных автокарет и спешит — куда? — к подъезду театра, да-да, к подъезду Театра, господ, празднично озаренному, тесному от вливающейся публики, осененному плещущим на фасаде премьерным полотнищем, красно-черно-белым флагом сегодняшнего спектакля, — сюда, сюда, милости просим, ярко освещена и битком набита застекленная кабинка администратора, вот, пожалуйста, ваши места, ах, кого мы видим, какая честь, мистер N, — и называется имя, о, какое громкое имя, известное лишь тем, кому следует знать такие имена, — сюда, сюда, пожалуйста, проводите, пожалуйста, мистера N, как вы чудесно выглядите, а вы просто очаровательны сегодня, миссис N, а ваша дочь чудо, я всегда люблюсь ею, право, ах как вам идет этот мех! И румянощекый старик, обезжиренный до размеров мальчика тоже самой лучшей в мире диеты, и старуха с проредью серебряных волос, сквозь которые младенчески отсвечивает кожа уже сохнувшего черепа, с выражением восторга в выпученных базедкой глазах, и пятидесятилетняя дочь-калека с лицом старой девочки, крохотная, как обезьянка, в белых мехах, которую вынес на руках из машины гигант негр, а шофер тем временем выкатил из задней дверцы сверкающую коляску, и дочь поместили туда осторожно, как брошь в футляр, и монументальная монахиня в огромном белом клубке повезла ее в партер, а обезьянка с глубоким возбуждением глядела вокруг пронзительно-умными глазами девушки, девушки-калеки, — о этот выход в свет, подавленное смятение, гордый флаг равенства, жажда жить и вызов всякому, кто посмеет... но кто же посмеет?.. А рядом молодые рослые женщины как на подбор, выхолненные и умашенные, точно породистый скот к выставочному дню, все вроде бы на один манер, здесь не принято выделяться, и косметика одного лица, кажется, повторяет косметику другого, и тонкие запахи духов одинаково тонки, и драгоценности на руках и шеех, в ушах и волосах сверкают одним блеском, — да-да, все сливается, все вместе составляет одно облако, как дым сигар, сигарет и трубок, уже плывущий в вестибюле и с трудом разгоняемый кондишеном, — да, все так, но стоит приглядеться, и ни одно платье не повторит другое, и каждый «сюсон», схваченный лаком, чем-то отличится от остальных, и лица поразят разнообразием, спрятанным под знаменитой американской улыбкой и светским выражением приветливого внимания и восторга, обращенного к собеседнику. (Вы можете двигаться по улице в толпе, войти в набитый лифт, втиснуться с трудом в вагон метро, вы озабочены, вы спешите, но если вы встретитесь с другим человеком взглядом, особенно с женщиной, она ответит улыбкой. Вы даже смешаетесь на секунду, подумав, что вы знакомы, — нет, это просто американская улыбка, знак вежливости, — отдают же военные честь друг другу, здороваются же деревенский житель с любым встречным, так почему бы нам всем в самом деле не улыбаться другу другу, встречаясь глазами?..) Но вот съезд гостей достигает своего пика, машины уже нетерпеливо упираются бампером в бампер, — о, мы этого не любим, американцы никогда не ждут, не привыкли ждать, никто не

пойдет второй раз туда, где ему пришлось, где его заставили почему-то ждать. Почему? Надо выяснить и сделать так, чтобы не ждать, вот и все. Иначе вы неконкурентоспособны. Но если все-таки приходится ждать, это напрочь испортит настроение. Так что быстрее, быстрее. Уже публика наполняет зал, скапливаясь сначала у прохода, ожидая снующих без передышки капельдинеров в униформе, потому что вас непременно должны проводить до места, вручить объемистую лакированную брошюру программы-плейбилл. Кто хочет, сдает пальто, кто не хочет — не сдает, и в театрах зимой вечно кучами лежат шубы, шарфы, шапки на ручках кресел и на полу. И все идут в зал с бумажными стаканами воздушной кукурузы, со стаканами сока, кока-колы или пива, запечатанными сверху бумажной крышечкой, из которой торчит пластиковая соломинка. И хрустят фольгой шоколада, сосут конфеты, грызут жареный картофель. И оставляют после себя на полу горы мусора: пакетов, стаканов, рассыпанной кукурузы, оберток, а в дешевом кинотеатре и окурков. Так принято.

Но не здесь, не сегодня, не на премьере, куда собрались отцы города и киты города, пайщики театра и благотворители; сегодня каждый билет стоит сто долларов, о-ла-ла, кто это может себе позволить, сегодня не просто спектакль — событие, завтра в «Нью-Йорк таймс» уже будет статья «Детант по-техасски», а в вечернем выпуске теленовостей покажут и фасад с полотнищем, и «кадиллаки» у входа, и мелькнут как бы между прочим детская фигурка мистера N, его румяные щечки и полуулыбка одобрения, обнажающая замечательно исполненные дантистами зубы. И даже «Голос Америки» сообщит ночью о премьере, оценивая как художественные достоинства постановки, так и политический аспект происходящего.

Нет, нет, сегодня никто не ждет, сегодня нет воздушной кукурузы, сегодня норковые манто висят в гардеробе, охраняемые полицейскими, и полицейские в такой нарядной, увешанной множеством побрякушек форме, что кажется, будто это тоже молоденькие актеры, загримированные полицейскими, хотя их торчащие из кобуры кольты блестят по-настоящему.

Редеет толпа зевак у подъезда, глазевшая на великосветскую публику, отплыли машины, утирает белой перчаткой пот со лба швейцар, интеллигентно и мелодично подается электронный третий звонок, кто-то еще наспех докуривает сигарету в опустевшем вестибюле и бросает ее в урну с белым песком, утыканным окурками с рыхлыми фильтрами; спешит опоздавшая пара — он в гороховом пальто с поднятым воротником, с непокрытой головой, и она в короткой, до талии, лисьей черной шубке, — они поднялись лифтом с шестого подземного этажа, где искали, должно быть, место для стоянки своей машины (или спустились с шестого, потому что этажей этого немислимого гаража одинаково что вверх, что вниз).

Тишина! Начало! Я даже не хочу думать, что делается в этот миг за кулисами, у меня сразу начинает бухать сердце, молчу. Но нет, не начало. До начала происходит еще вот что: играют гимн. Играют гимн, и все встают. Да-да, господа, все встают, потому что играют гимн Советского Союза (Боже, это было так недавно — Советский Союз, гимн, гордость, что он звучит «у них»!), потом американский гимн, и надо стоять, когда играют гимны. Два-три старика не встали: двое, кряхтя, сделали вид, что им тяжело вставать, а третий не встал демонстративно, с вызовом глядя вокруг и бормоча, что не хватало, мол, ему еще вставать в честь этого большевистского самовоспевания. И он бурчал и ворчал и в сердцах забыл встать и при звуках американского гимна. Но может, ему было плевать и на американский? Я встречал таких, особенно среди стариков эмигрантов, которым и советская Россия не по нутру, и Америка — вечная мачеха.

Ну вот, а теперь уже начало. В зале темно, совсем темно. Потом в углу сцены загорается настольная лампа. Письменный стол, лампа, стул. Больше ничего. И выходит Автор. Такое должно быть начало.

Неужели я не увижу всего этого? Братцы, сжальтесь!

«...Мальчик. Ночь. Мать. Она соскочила с постели, чтобы посадить его на горшок. Тесная комната, ковер, мягко, душно, красно, огонь-лампа, ночник, может быть, свеча. Душное, зимнее, закуренное. Мать большая, сонная, в рубахе, но быстрая, молодая. Она соскочила босиком на ковер и напоролась на гвоздь. Кровь на белой ступне, на самой выемке ступни. Ужас. Это Мальчик виноват. Это он днем играл на ковре гвоздями, у него отняли, собрали, но один



затерялся, и теперь мать поранена. Настоящий ужас. Мать отделяется и обретает черты самостоятельного, отдельного от Мальчика существа, — должно быть, это впервые. Почему-то кровь на эмали горшка. Возможно, она держит над ним ногу. Сердце стиснуто ужасом. Это самое первое воспоминание. Страх вины, вопль жалости, ужас содеянного. Мальчику не больше двух, — он потом будет спрашивать мать, она не вспомнит. Какое должно было быть сильное потрясение. Всегда смотрите на самых маленьких как на людей; вы даже не подозреваете, что может вдруг испытать Мальчик и сохранить рубчиком на сердце на всю жизнь...»

Мне снится, что я звоню в Москву матери, она плачет и говорит: «Не едешь ты в эту Америку, там тебя убьют, там всех убивают». Я смеюсь, я говорю с ней из туалета через какое-то странное переговорное устройство вроде душа, поскольку телефона в палате нет. Я смеюсь, но меня охватывает подозрение, что все устроено нарочно, что это ФБР устроило провокацию с больницей, чтобы не пустить меня на премьеру, и зря я дал делать себе уколы, — что это за уколы, откуда я знаю, и отчего я так глуп и доверчив, ай-ай-ай!.. И как это я легко вошел в эту палату, лег, вроде так и надо: наша доверчивая привычка к больнице, докторам, — пожалуйста, делайте что хотите. Нет, прав матрос Фокусов. Я вижу мать лежащей в ее постели, с телефонной трубкой, с запавшим беззубым ртом. Нет-нет, я ощущаю свою палату как место спасительное (так во сне я сживаюсь с ней, с F-402-й), сквозь гофрированное стекло туалета мягко расходится свет от моей кровати-самоходки, я должен вернуться туда, не бояться, не слушать даже родную мать...

### Именины сердца

Утром в шесть часов совсем как у нас — без церемоний, пошли ходить, будить: за дело, за дело! Градусники, давление, кровь, моча, «гуд монин», «гуд монин», и совершенно не важно, что ты отвечаешь, на каком языке, здесь привыкли ко всякому, каждый должен выполнять свою операцию, больше ничего, — великий американский конвейер запущен, остановок не будет.

Паренек-негр с прической Анджелы Дэвис, — одна улыбка при входе, другая — присаживаясь около меня, третья — беря меня за руку, четвертая — подбадривающая, пятая — на прощанье, — берет из пальца кровь и тут же по хронометру определяет индекс на протромбин.

Толстая девушка-индианка, закутанная в смоляные волосы, точно в сари, лица не видно, берет кровь из вены (те же улыбки в той же последовательности), и делает это вот как: у нее короткий двусторонний шприц без поршня, одну иглу — в вену, другая торчит наружу, и на эту торчащую насаживается пробирка, запечатанная сверху тонкой резиновой пленкой. А в пробирке вакуум, воздух выкачан. Игла пробивает пленку, и кровь тут же начинает бить в пробирку фонтанчиком. Одна пробирка, другая, — пробирка за пробиркой моментально отскакивают в гнезда штатива. Я насчитал одиннадцать пробирок.

Не успевают махнуть прощально в дверях медленной бабочкой индийские ресницы, как входят Кони и другая, сменяющая ее сестра Алис, тоже беленькая, тоже в брючном, как бы у нас сказали, форменном белом костюме, чертовски хорошенькая. Они тащат кучу вещей, от тапочек до термоса для льда. Они помогают мне встать, умыться, оправляют постель. Алис измеряет мне температуру: пихает стекляшку в рот, и у нее в руке, на счетчике, тут же загораются цифры. Секунда. А стекляшка летит в корзину.

У них все летит в корзину. Это я узнаю позже: все одноразового действия, от копеечной пробирки до мощного фильтра машины кровообращения, который стоит сотни долларов.

Запястье правой руки охватывают пластиковым браслетом, заклеивают — внутри бумажка с моим больничным номером, датой поступления, фамилией, с индексами, обозначающими, что род у меня мужской, что я белый, а не цветной, с датой рождения. И с именем Д. Б. — я его больной.

Опять же я ничего не знаю, не подозреваю, а этот браслет останется у меня на руке на целый год, изотрется, истреплется, а я все буду носить его на память, а потом по типу этого... но об этом в своем месте.

Улыбки, улыбки, — Кони везет в палату весы: вес — обязательно утром и вечером, это очень важно. Потом, много времени спустя, в приемной Д. Б. я увижу плакат, типографски отпечатанный и тиражированный: Д. Б. в своей

неизменной шапочке и опущенной на грудь марлевой повязке, симпатичный, улыбающийся, подняв палец, обращается к вам: «Почему я так хорошо выгляжу? — гласит текст. — Потому что я не курю и всегда слежу за своим весом».

Итак, все делается быстро, хорошо, приносит, выбрасывается, но — это я тоже узнаю позже — все ставится вам в счет. И весы, и температура, и каждая таблетка — все фиксируется безжалостным компьютером. Кроме улыбок, надеюсь.

Сестры работают здесь постоянно, у них есть дипломы, а остальное — анализы, уколы, уборка, помощь — делается студентами-практикантами, каждый день будут приходить новые. Со временем выяснится: я нахожусь в одном из блоков огромного медицинского комплекса с разнообразными отделениями, колледжем, лабораториями. Алис приносит карточку меню на день, чтобы я выбрал себе, что хочу, на завтрак, обед и ужин, и картинка на титуле меню изображает фасад госпиталя, похожий на церковный алтарь с распятием, и имя госпиталь носит — Методистский. Отсюда началось осуществление гигантской национальной программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, здесь сделаны уже десятки тысяч операций на сердце и сосудах, ведутся исследования по созданию искусственного сердца. А главный человек здесь, руководитель и вдохновитель, — Д. Б.

Я выбираю себе блюда, выбор невелик: салаты, протертые супы, курица, котлеты, много соков, фруктов, холодный чай, айс-ти, столь любимый американцами: это свежезаваренный и охлажденный чай, куда кладут лед, сахар, лимон. В ресторане те, кто вообще не пьет, чаще всего просят принести айс-ти.

Калейдоскоп процедур занял все мое внимание (я еще добрался до душа, изучал регулируемую его головку, поворотом которой можно усилить или уменьшить струи, крутил замечательные американские краны с «самодоверткой»: когда вы его закручиваете, кран еще как бы сам делает последний шаг вперед, и уж никогда никакая капля воды сочтется из него не будет), но подспудно что-то меня тревожило. И вот теперь, вдруг, я сообразил, и даже жаром меня взяло: карточка меню напомнила мне театральную программку. Как же я забыл! За все утро не вспомнил, они явно вкатили мне вчера какой-то антипремьерный укольчик.

И правильно вкатили, потому что я тут же начинаю волноваться. Покрываюсь потом, ищу телефон, которого так и нет до сих пор в палате, удивляюсь: почему никто ко мне не идет? Не пускают? Где Мая, Дита, главный режиссер театра Найна, где Галина, которая ставила спектакль, где Алан, который сегодня утром уже должен возвращаться в Нью-Йорк, в свой театр? Может быть, он улетел, не зайдя ко мне? Вряд ли. Или не пускают? Или об авторе, как всегда, позабыли, кому он нужен, автор, когда спектакль уже готов?..

Начало девятого, стройная девушка-негритянка (опять новое лицо) приносит на подносе завтрак. И никакой записки, ни ответа ни привета. Скорей всего все дрыхнут, вчера наверняка сделали хоть какой-нибудь банкет. А вдруг там провал?

Откидываюсь на подушки, не хочу есть, сердце бухает, отпиваю лишь глоток апельсинового сока из запотевшего стакана, включаю телевизор. Утренняя программа новостей под названием «Гуд мунин, Америка!» — очень разнообразная, часовая, интересная, с несколькими ведущими, с кучей информации по стране и со всего света (с нее содрали потом наши «120 минут»). Показывают заносы в Нью-Йорке, обсуждают, кто виноват, кто отвечает за снегоуборку, положение отчаянное.

Вчера и позавчера я это видел своими глазами. Город терпел бедствие. Сугробы на улицах поднялись до вторых этажей, они похоронили под собой большинство машин и груды пластиковых мешков с мусором, черных и кофейного цвета, похожих на большие толстые сардельки, закрученные с одной стороны. Мусорщики объявили забастовку, и за три-четыре дня мешки заняли тротуары. Снегоуборочных машин нет, дворников нет, лопат и ломов нет. Иные мешки лопались, другие на бегу полосовали бритвами хулиганы-мальчишки, негры и пуэрториканцы. Мусор вываливался под ноги, прямо среди дня по нему сновали крысы. А франговатые ньюйоркцы бежали мимо, точно ничего не замечая (это не наша проблема, это проблема муниципалитета), перешагивая через мусор, прячась от холода в любом магазинчике или кафе, — благо они буквально на каждом шагу, — и не теряя при этом своего нью-йоркского шика: все равно с непокрытой головой, в одном пиджаке, лишь подняв элегантно воотник, укутавшись длинным шарфом, купленным не иначе как на Мэдисон

где самые лучшие и дорогие товары. Бедняки и нищие нахлобучили на себя все, что могли, раздулись от одежд, железными прутами еще больше потрошат мусорные мешки, выискивают барахло в мусорных ящиках. Впрочем, немало явилось сразу на улицах шикарных шуб, мохнатых шапок, дубленок, и, если я не ошибаюсь, именно с той зимы пошла мода на стеганые, легкие, на пуху, пальто, куртки, сапоги-«дутики».

Кстати о мусоре. Кто-то рассказывал: специалисты-американцы приехали к нам, чтобы договориться о поставке мусороперерабатывающего оборудования, заводов-мусорщиков. Прежде всего требовалось изучить сам мусор. Они его изучили и пришли к выводу: у вас мусор «неинтересный». Я готов в это поверить: по сравнению с американским — наверняка. Когда наши телерепортеры, показывая «контрасты капиталистического города», повторяли все одну и ту же картинку, как старый бедняк негр копается в мусорном баке, я тут же, справедливости ради, во-первых, вспоминал, что и у нас во дворе есть такой старик, который любит порыться да поглядеть, не выброшено ли чего хорошего, а во-вторых, хотелось объяснить, что американцы выбрасывают за день не меньше, чем покупают, и мусор этот не совсем обычный. Надо учесть, что вещи, вышедшие из моды (а мода меняется быстро), чуть ношенные, чуть чем-то испорченные, деть практически некуда. Их никому не подаришь, скупок для них нет, хотя и у них есть барахолка — гараж-сейл и фримаркет. Реклама каждую минуту настойчиво велит купить новое, свежее, модное, все газеты заполнены объявлениями о распродаже, о скидке на добротные, приличные товары, которые часто можно купить за полцены, а то и меньше. Куда девать старое? И вот вполне приличные вещи, еще пахнущие хорошими духами, летят в мусорные баки.

Кроме того, не надо объяснять, что такое в Америке упаковка. Как и повсюду на Западе. Пока у нас на рынке тетя Маша все крутит кулек из позавчерашней газеты «Советская торговля» или «девушка» из-за галантерейного прилавка рывкает: бумаги нет! шпагата нет! — мир создает такие коробочки, баночки, бутылки, футляры, что, глядишь, от самого импортного товара уже и в помине ничего не осталось, а коробочки и бутылочки все хранятся: красиво, жаль выбросить.

Но американцы выбрасывают. Они не сентиментальны. Они относятся к упаковке как к упаковке: донес, вынул — гуд бай! Так рождается «интересный» американский мусор, «классовый», если угодно, мусор страны, где много богатых людей, где один выбрасывает такое, что другой не погнушается подобрать да еще спасибо скажет.

Ей-богу, я много раз ловил себя на том, что меня так и тянет заглянуть в мусорный бак, в котором роется нищий. Особенно когда он вышвыривает, разгребая содержимое, книги или журналы — книги и журналы, естественно, тоже летят в мусор каждый день, потому что покупается их каждый день несметное количество, а оставить у себя мало что хочется.

Нет, можете смеяться, мусор — великая вещь. Будь я живописцем, рисовал бы всякий мусор: как много он рассказывает о людях! Не зря криминалист никогда не погнушается вывалить на пол содержимое мусорного ведра и порыться в нем власть. А кто-то из художников сказал: ведро с мусором, которое стоит за дверями картинной галереи, — это ведро с мусором, но как только его внесут внутрь — это уже произведение искусства.

Итак, я смотрю программу, и там так же долго, как и я теперь, говорят всё о мусоре и о мусоре, что делать и как быть, мусорщики бастуют, горы мусора растут, снег не тает, в квартирах холодно, отопление стоит баснословных денег, уже кто-то где-то замерз. И я вспоминаю, как холодно было в нью-йоркской гостинице: на моем тридцать втором этаже не было горячей воды, я спал в носках и тонком свитере, за ночь так и не согрелся. Это еще Нью-Йорк сорвал мне сердце этим холодом, спешкой, там проходил симпозиум по драматургии, надо было выступать, сидеть тоже в каком-то холодном подвале: американцы говорили о своих молодых драматургах, которых никто из нас не знал, мы о своих, о которых они тоже слыхом не слыхивали. И все время было дурное настроение, ощущение, что занимаемся каким-то густым делом, и холод прямо-таки допекал, и вид пропадающего от снега города навевал мрак. Мне еще ко всему попалась репродукция: какой-то художник придумал, написал Нью-Йорк со стороны моря, в том ракурсе, как мы привыкли его видеть на многих картинках: залив, слева — маленькая статуя Свободы, а впереди — небоскребы, выступившие на самый берег, Манхеттен, самая деловая его часть, две новые башни торгового

центра и прочее. Картинка как картинка. Яркая, солнечная, голубое небо, желтый радостный город. Но что-то не так. Что-то там еще. Начинаешь вглядываться и — о ужас! — оказывается, сзади наполоз ледник. Города, стало быть, уже нет, это последние дома, и сквозь них повсюду уже провисли языки льда, как паста из тубика. Еще немного, и этот ледник поглотит все, перевалясь к морю. Раньше делом человека было — биться со стихией, теперь он хочет взять стихию в союзники, чтобы она расправилась с тем, что ему не нравится, с чем сам он не в силах совладать.

Но где же они, где хоть кто-нибудь?..

Пришла сестра Алис, открыла окно, день там оказался серенький.

«Открыла окно»... Окно сделано так, что не открывается. На нем шторка-жалюзи. Покрутишь регулятор, который висит, как шнурок, жалюзи изменят угол — увидишь кусок улицы, полдерева на той стороне, полкуса неба и рядом, в нескольких метрах, стену соседнего корпуса — там круглые настольные лампы, макушки очкастых, согнутых над приборами лаборантов. Еще покрутишь — жалюзи опять изменят угол, и все скроется.

Вспорхнула напоследок желтокожая, раскосая не то китаянка, не то эвенкийка с Аляски, по две улыбки расточала там, где все обходились одной, с готовым уже шприцем, зажатым ваткой, всадила без лишних церемоний его в ягодицу и упорхнула.

От укола стало горячо и легко.

Ну и черт с вами, сказал я, ну и не приходите. У меня уже была премьера в Америке, совсем недавно, вот, только дотянуться до моей толстенной записной книжки, где я вел записи и теперь веду, это мой американский скетч-бук, купленный сразу по приезде на Корсо, мы пошли с Верой в писчебумажный, потому что у меня не было с собой ни блокнота, ни ручки, и там я купил эту книжку. Где эта запись?..

«...Не хватало ее. Хотелось ей все это показать, с ней вместе смотреть, смеяться, оценивать, дарить ей этот город, горбатый и причудливый, как Владивосток, с блеском зеленого океана или бухты вдали, откуда ни взгляни, столь же многолюдный в конце дня, с забытыми улицами, портом, кораблями, но еще, разумеется, залепленный вывесками, рекламой, витринами — китайскими, итальянскими, русскими, испанскими, японскими, огнями и плакатами, флажками и флагами, лентами и фонарями, и — толпа, какая толпа, нарядная, пестрая, богатая и нищая, уже належке, по-весеннему; только начало марта, но океан дышит на город теплой влагой, и в тот вечер мы идем тоже в одних костюмах, вниз, пешком от своего «Кортеса» спускаемся в самое месиво перекрестка, в кутерьму огней, которая сгущается там, на «дне» улицы, как звездная туманность. И медленно движется рядом лакированный и сверкающий поток машин, время «трафика», час пик, и народу все прибывает. Лица, лица, лица, в машинах тоже. Освещенный подъезд театра выходит прямо на тротуар, по-домашнему, весь распахнут, озарен, вверху на фасаде старинного, причудливого дома с колоннами и балконами, на наклонных флагштоках висят гигантские полотнища флагов с эмблемами театра, тоже подсвеченные софитами, — А-В-С, — и у входа клубится люд. Реккер с женой, доктор Гер, Вартан, молодые русские из Рашен-тауна, русского города, где проживает, между прочим, восемьдесят тысяч русских, советские из консульства, Женя, Наташа с букетом в руках, — все уже свои, друзья, знакомые, переводчица Вера, все возбуждены, приподняты, нарядны. Впервые за тридцать лет в порт вошел советский пассажирский турбоэлектроход, и в театре ставится советская пьеса: Ах, как ее не хватает, как нужно, чтобы она это увидела, прожила вместе с ним. И он сказал американке Лиз, которая первая подошла теперь к нему, чтобы встретиться, взять под руку, вести внутрь, чтобы еще кому-то представлять, с кем-то знакомить: слушай, Лиз, сказал он, сюда бы сейчас мою жену. В руках у Лиз тоже цветы, дафнии, и надо было бы, чтобы и она увидела эти цветы, и стояла сейчас рядом, — она бы больше всего обрадовалась теплу, тому, что можно стоять без шубы, без платка, без сапог, без этих проклятых сапог, на которых то ломается каблук, то молния, то расплываются и засыхают безобразные белые пятна от соли, которой в Москве посыпают зимой тротуары, — эти пятна потом никак не ототрешь...»

«Хирурги пьют кофе, не снимая перчаток. Хирурги пьют кофе, не снимая перчаток. Хирурги пьют кофе, не снимая перчаток...» Кто сказал эту фразу?..

Палата F-402 уставлена розами.

Бэт в белой атласной блузке и узкой юбке прислонилась у косяка, курит наружу в коридор.

Сесть некуда, хотя два кресла уже прикатили из холла. Галина, Найна, Дита, Мая, Патриция, — каждая из них в одиночку могла бы занять целое помещение и сделаться его центром, — сидят тесной и яркой группой кто как, Патриция прямо на полу, скрестив по-турецки ноги.

Мужчины стоят: Рей, Алан, Тэд, О'Доннел. О'Доннел ушел, опять пришел, в руке бумага, лист официальный.

Кто по-русски, кто по-английски. Хохочут.

Ирэна приносит все новые и новые стаканчики с кофе. Кому с кофеином, кому без кофеина. Эти бумажные стаканчики, оказывается, пропускают тепла: можно налить кипяток и спокойно держать пальцами. Мне кофе не дают, идут мимо с улыбкой.

«Хирурги пьют кофе, не снимая перчаток...»

Но в центре внимания сейчас не я — Галина. Она королева, она победительница. Русская женщина-режиссер впервые ставит русскую пьесу в Штатах — сенсация. В незнакомом театре, с незнакомыми актерами, всего за шесть недель — сенсация. Спектакль имеет успех — сенсация. Она впервые в Америке, она не знает английского, ей это не помешало — сенсация. В «Трибюн» ее портрет, она весело смеется, обнявшись с Найной, главным режиссером театра, где осуществлена постановка. Здесь же рецензия знаменитого театрального критика Генри Попкина, он хвалит — сенсация. Она сама, отмечают журналисты, общительна, откровенна, темпераментна, у нее короткая лихая стрижка, дань моде, она толстая, она не выпускает изо рта «Мальборо», у нее дорогие туалеты, кожа и мех, на пальцах — бриллианты, она говорит, что думает, что захочет, — сенсация.

Крупная высокая Найна низко сидит в кресле, а Галина рядом, боком, на подлокотнике, Найна слушает ее, подняв вверх лицо, она глядит на Галину восторженно и влюбленно — что же, она в ней не ошиблась. А все это, разумеется, было не так просто: выбрать эту пьесу в Москве, этого режиссера, рискнуть, договориться с Вашингтоном и с властями своего штата, договориться с Москвой. Но был момент тепла, момент взаимных желаний, н о р м а л ь н ы х отношений друг с другом — все было возможно. Я не раз видел на лице Найны дежурную, светскую, «наклеенную» американскую улыбку — на переговорах, на официальных встречах, перед объективом фотокамеры. Она скрывала ею все, что хотела бы скрыть. Сегодня ее крупные черты, большой рот, улыбка, глаза — все отдыхало в движениях естественных и размягченных. Она растекалась по креслу, она не делала усилий светскости, усталость выходила из нее, гора свалилась с плеч. Ее большой рот был, пожалуй, даже чуть вялый, она мало говорила, она кивала большой головой, у нее, казалось, не хватило бы сейчас сил на деланную улыбку.

Больше двух десятков лет создавала Найна театр в этом городе, где прежде и слышать никто не хотел о театре, где публику развлекали, в крайнем случае, заезжие гастролеры, где привыкли к джаз-банду и невысокого пошиба танцовщицам. Театр Найны ютился в дюралевом ангаре, бывало так, что она сама красила декорации, сама продавала в кассе билеты и сама играла в один и тот же вечер. Но она не бросила театр и верила, что он будет когда-нибудь необходим. И она добилась, она растрясла городских толстосумов, ее стараниями построили замечательное театральное здание в деловой, центральной части города, где когда-то, собственно, город и начинался и где теперь поднимаются год за годом великолепные новенькие небоскребы, создаваемые по проектам лучших архитекторов мира. (Последнее такое чудо в 81 этаж поднялось за два с половиной года.)

Найна расслаблена и довольна, она отдыхает, только умные ее глаза не знают отдыха: когда мы встречаемся взглядом, она тут же автоматически включается во весь круг проблем: насчет меня, насчет Галины, критики, спектакля, зрителей и прочего. И она незаметно поглядывает на часы. И она бросает два слова Дите, и Дита, как всегда, отправляется звонить (телефона так и нет).

Найна обеспокоена моей болезнью и еще ничего не знает о своей. То есть каждое утро что-то скрипит и побаливает, Найна уже немолода, и время от времени приходится лечиться. От чего? Никто толком не знает от чего. А это самое худшее.

Но слава Богу, и мы еще ничего не знаем и не подозреваем о ее болезни, и этот счастливый день есть и ее день счастья, и, может быть (только теперь, спустя годы, это понимаешь), он был одним из последних таких дней в ее нелегкой, насыщенной и, я думаю, в общем счастливой жизни.

Для меня она так и будет всегда сидеть в кресле, среди цветов, афиш, актрис, с запрокинутой головой, с завязанной на шее косыночкой, чтобы скрыть немолодые складки шеи, усталая, умная, выигравшая свою ставку, обнимающая Галину.

Галина же с вечной актерской непосредственностью и напором рассказывает присутствующим то, что они уже знают и сами видели: кто вчера был, как шел первый акт, что сделала Лиз в такой-то сцене и чего не сделала Кэролин в другой и так далее и так далее.

Дита и Найна слушают ее, словно сами не видели и не слышали, мимика их повторяет живую мимику Галины, и они то ужасаются, то хохочут.

Патриция, не понимая по-русски, тем не менее догадывается, о чем речь, и лишь проверочно стреляет глазами с лица на лицо: мол, так ли она поняла? И тоже хохочет. Она крупная, очень красивая женщина, с гладкой прической, — волосы словно натянуты на голове и связаны на затылке в пучок, декорированный цветочками. Она сидит, по-турецки скрестив ноги, свободно, рубашка мужского покроя низко расстегнута, там мелькает не по росту Патриции небольшая незакрытая грудь, — ей уже явно кто-то понравился здесь, перед кем-то она играет, собирает внимание. А большие глаза так и прыгают, так и говорят с выражением двухлетней девочки: что вы, что вы, я ничего такого. Артистка. Разноцветные пластмассовые браслеты стучат на обеих руках, золотая цепка посверкивает на шее, красные низкие сапожки с раструбами, какие прежде носили шуты (не меньше сорок второго размера), выглядывают из-под раскинутой колоколом юбки. Опоздав на такт, она начинает хохотать всех громче, потом кокетливо спохватывается, припечатывает пальцами рот. Очень красивая, ничего не скажешь. И демонстрирует себя, демонстрирует, только тем и занята. Она играла одну из главных ролей вчера, сыграла хорошо, и теперь ей море по колено.

Бэт, в белой атласной блузке, худая и смуглая (отец у нее индеец), глядит издали, от двери, темными внимательными глазами, шурит от дыма, спрашивает взглядом: не устал ли я, не надо ли чего? Бэт — второй режиссер здешнего театра, она работала вместе с Галиной, помогала, они сдружились.

Ирэна пронесит мимо меня очередной стаканчик с кофе, улыбается, спрашивает потихоньку по-русски: не устал ли я, не нужно ли мне чего? Спасибо, киваю, спасибо. Ирэна совершенно русская, русая, светлая, скуластая, милая, длинная, застенчивая. Чуть что — покраснеет. Она тоже помогала Галине, поскольку хорошо знает русский. Мать у нее русская, отец финн, выросла в Англии, замуж вышла за немца, уехала с ним в Америку, двое мальчишек знают и по-русски, и по-фински, и по-немецки. Муж богатый, своя фирма, дом выстроен новый и большой, по последней моде; Ирэна не работает, конечно, поэтому могла день за днем проводить в театре, который она любит.

Рей преподает русский в местном университете. Он никогда не был в России, только мечтает поехать в Ленинград, в Пушкинский Дом и там послушать записанные по деревням русские былины, — это его специализация, его докторская: наши былины. Говорит он по-русски очень тщательно, медленно, правильно, архаично. Он строен, моложав, симпатичен, аккуратен, в синем пиджаке, в голубой рубашке с синим галстуком, очень элегантен. Особенно рядом с Тэдом, худым и сутуловатым, в очках, в вязаной кофте и какой-то под нею майке. Рей коренной техасец, но он, ей-богу, ничем не отличался бы и в московской, и в рязанской, и в новгородской толпе. Они говорят с Тэдом о русской филологии, и время от времени в их английской речи звучит по-русски: «Ну еще бы!», «Как пить дать!» (Почему чуднее всего в чужих устах звучит именно идиома?)

Тэд — переводчик моей пьесы. У него сегодня тоже праздник, удача, все отмечают высокое качество перевода. Мы с ним познакомились еще в Москве, встречались потом в Лос-Анджелесе. Он выглядит очень смешно, но в Америке трудно кого-либо рассмешить чьим-то нелепым видом: привыкли ко всякому да

и не принято обращать внимание: это ваше личное дело, как вы выглядите. Но в меру, разумеется.

Рей на секунду отвлекся от разговора, повернул ко мне голову и хотя не переменял своей спокойной позы со сложенными на груди руками, но словно бы подошел, словно бы наклонился спросить: не устал ли я, не нужно ли мне чего?.. Спасибо, Рей, спасибо, отвечал я взглядом, и взгляд, думаю, у меня был счастливый: какие внимательные и милые люди.

Удивительно: ни я, ни они, Рей, Бэт и Ирэна,— мы еще ничего не знаем, не предполагаем, что с этого дня начнется наша дружба, что они со временем станут одними из самых близких мне людей, а я в их жизни тоже займу немало места. Нас будут связывать и связывать все новые и новые нити — жизни долгой и наполненной. Они оберегут меня, не оставят, откроют мне себя, свой город, Америку, они проводят меня (совсем скоро) туда и встретят, когда я буду возвращаться.

Странно, что ни они, ни я ничего этого еще не знаем. Но что-то чувствуется, когда Бэт присаживается ко мне на край кровати, я отпиваю потихоньку глоток кофе из ее стаканчика. Я же не реагирую на Патрицию, на ее происки, а голос Ирэны мне приятен, у нее совершенно наша речь, словно она училась со мной в одной школе или в университете или ездит всю жизнь на работу в московском трамвае и метро. Из всех присутствующих мужчин мне наиболее симпатичен Рей. Хорошо бы с ним поговорить, расспросить.

В тот момент, когда я держу двумя пальцами взятый у Бэт бумажный стаканчик, кто-то и говорит, что здесь хирурги пьют кофе, не снимая перчаток. Что это значит?..

Все толкуют о театре. Театр, театр. Театральный бум. Алан присаживается на мою кровать рядом с Бэт, обнимает ее за плечи. Как и у нас, все актеры и режиссеры в стране друг друга знают, видели, слышали, «в курсе», кто что делает или сделал. Меня, по-моему, уже и в счет не берут. Дита рассказывает, что премьера вчера была объявлена благотворительным, в пользу театра, спектаклем, поэтому и съехалась элита, поэтому и брали за билет по 100 долларов. Нет, шумит Найна, это потому, что русская пьеса впервые в жизни в этом штате, в этом городе, куда сроду не пускали даже русских журналистов или дипломатов. И сроду, между прочим, не было такого нового, роскошного, дорогого театра, выстроенного по последнему слову техники.

Американская провинция больше не желает ни слыть, ни оставаться провинцией. Делают свое дело как истинные культурные запросы, так и примитивное желание быть не хуже людей. Каждый штат, каждый крупный город ощутил потребность в своей филармонии, театре, картинной галерее, студии. Выросло новое интеллигентное поколение. Оно жаждет овладеть мировыми культурными ценностями. И оно имеет для этого все возможности: время и деньги. Америка — богатая страна, что говорить. Очень.

Алан горячо доказывает (кому? себе?), что Европа продолжает глядеть на Америку, как старая фрейлина на свинопаса, который явился с мешком золота за красавицей принцессой. И с этой точкой зрения Европа может сама остаться в дураках. Америка — страна, которая умеет удовлетворять спрос. Спрос рождает предложение. Разумеется, удовлетворить высокие духовные потребности потруднее, чем низменные, плотские. И на этом быстро не заработаешь. Но все-таки: если кучке чудиков нужен театр — будет театр. А другой кучке нужен еще какой-то театр — будет еще какой-то. Опыт американского кино, американской литературы, живописи, музыки, архитектуры, скульптуры,— мы должны это признать,— доказывает, что Америка способна на самый высокий творческий, в данном случае художественный, взлет. И она будет иметь тот, в частности, театр, того высокого уровня, потребность в котором она ощутила. Дело облегчает новый закон, по которому богачи облагаются гораздо меньшими налогами, если они жертвуют деньги на культурное строительство: создание театров, музеев, библиотек. (Помню, в Лос-Анджелесе нас принимала г-жа Амудсен: на деньги ее мужа построили новый культурный центр — театр, филармонию. Амудсена уже нет, а имя его осталось,— тоже немало. Или, например, в газете вы можете натолкнуться на открытку-объявление: «Купи кирпич!» Там сказано, что идет сбор денег на строительство нового театра. Внесите, сколько можете, условный кирпич стоит 25 долларов. Можете вырезать прямо из газеты эту открытку, написать свое имя,



номер счета и послать. А строители обещают вам, что на одном из кирпичей нового здания будет выбито ваше имя. (Даже мое тщеславие выиграло, я выжал из себя 25 долларов, послал. Пускай, думаю, говорят потом, что я построил в этом городе новый театр.)

А л а н: Я же хорошо помню, еще совсем недавно, даже после войны, пойти в театр было событие. Кто туда ходил? Избранные. Нужен был наряд, прическа, деньги. Смокинг брали напрокат. Вы что, пойти в театр! Человек вспоминал потом пять лет, что он ходил в театр. Жених приглашал в театр невесту, торжественно — вот что означал театр... А теперь? В театр идут все кому не лень. Как это интеллигентный человек не посмотрит «Корус лайн» или «Вишневым сад»? Невероятно. Все идут, все смотрят, молодежь, старики стоят в очереди за билетами. Вы где-нибудь видели в Америке очереди? А на балет, на концерт, на спектакль стоят ночами, как в Москве!..

В самом деле это так. Серьезный драматический театр превратился из элитного в истинно демократический. И тем самым оздоровил, обновил сам себя, поднялся на новый уровень. То есть тут много всяких «но», противостояние подлинной культуры и мелкобуржуазной, культуры «массовой», но суть такова. И тут, конечно, понадобился опыт мирового театра, взалкали опять Станиславского, конечно, Чехова, Мейерхольда, опыта русских сценографов, режиссеров, музыкантов (не говоря уже о балете).

Принято поносить американцев за то, что они испокон веку сманивают к себе чужие «мозги». Пользуются чужими достижениями, перекупают, перехватывают, внедряют у себя то, что могло бы быть внедрено на отеческой почве той страны, откуда «утекли» мозги. А потом тем же самым «отцам» продают новинку втридорога. Даже спектакли теперь продают по лицензии, целиком. Например, идет с успехом пьеса на Бродвее, ну-ка, протолкнем ее в Мексику или в Гондурас: с музыкой, оформлением, мизансценами, костюмами, — берите, ребята, оптом, ставьте, успех обеспечен, делать ничего не надо, только гребите денежки и отваливайте нам за лицензию. И вам хорошо и нам хорошо.

Если так, то, конечно, не больно красиво. Но в принципе что плохого, если люди рыщут, носом чуют новое, хватают, внедряют. Поучиться бы такой расторопности и противопоставить ей свою. Чтобы не утекало. Чтобы не из дома, а в дом.

Во всяком случае, пришло время, и это у них возникла потребность поставить современную русскую пьесу, пригласить русского режиссера, по сути перенести к себе московский спектакль. Собственно, все это уже было, началось еще в начале века, или, точнее, в двадцатые годы, а потом опять — политика, политика, война, холодная война, а бедные музы молчат не только тогда, когда говорят пушки, но когда говорят политики. Циничная политика вспоминает о музах, когда ей это выгодно, когда ее невежеству требуется культурная маска. Доверчивые музы принимают призыв политики к сотрудничеству за чистую монету, они воодушевляются, раскрывают рот, настраивают инструменты, натягивают балетные башмачки, но не дай Бог музе спеть не то, сыграть не то, даже станцевать не то, — музу вытолкают взащей.

А коммерция? Кроме политики, есть еще Госпожа Коммерция, она еще главнее. Я, например, интересуюсь, почему в американском театре новый спектакль играется без передышки день за днем месяц-два, как заранее намечено и определено договором с актерами. Алан и Бэт наперебой рассказывают: все очень просто, самое дорогое в театре — это переставлять декорации. Если платить рабочим сцены каждый вечер за перестановку, вылетишь в трубу. Кроме того, актеров собирают на спектакль, как у нас собирают актеров на фильм. Стационарных, постоянных трупп весьма немного, содержать большую труппу практически невозможно. Существует сложная система финансирования театров, система пайщиков, цены на билеты растут с каждым годом, постановка большого спектакля обходится в миллионы. Но по крайней мере появились, укоренились постоянные, так называемые региональные театры, со своими постоянными главными режиссерами, костяком постоянной труппы, планом постановок на год или больше. Среди них есть свои лидеры, есть и неудачники, но и те и другие озабочены главным образом одним: где взять деньги? Чтобы содержать театр, чтобы ставить, чтобы держаться не на пошлом и низком уровне дешевого варьете, а на уровне серьезном и глубоком. Создать театр — все равно что создать завод: построить, собрать, научить и расставить на свои места людей, запустить дело в ход и выпускать каждый день радость, красоту, добро, высокую печаль, веселье и мудрость.

Алан и Бэт, перейдя на примеры — один театр расцвел, другой прогорел, — пошли в коридор курить, а на их место пришел Тэд. Мы с ним, конечно, и переговорить толком не смогли. И теперь он уже улетает, у него через два часа самолет. А никто другой, кроме него, не рассказал бы мне толково, без прикрас о спектакле, реакции публики. Он человек молодой, независимый, очень честный. Я говорю, что все делают комплименты его переводу. А самой пьесе?..

— Все нормально, — говорит Тэд и легонько касается моей руки. — Это принято. Вам привет от Нэнси, она сожалеет, что не приехала. И я тоже. Я хотел бы, чтобы она это увидела.

Это уже похвала.

— Спасибо, — говорю я и улыбаюсь, вспомнив Нэнси.

Тэд спрашивает, что я сделал нового за то время, пока мы не виделись, то есть почти год. И я хочу, но не могу сказать ему о книге. Боюсь. Суеверие. Неохота раньше времени, хотя обычно я разбалтываю, выбалтываю свои замыслы, и тем самым всегда проверяю их: и на тех, кому рассказываю, и на себе — как звучит, как формулируется. Теперь я, может быть, и поделился бы с Тэдом, но не время и многовато народу. Вон как веселится Патриция. Правда, тут же опять зажимает рот, и даже, кажется, собирается заканчивать визит: меняет свою вольную позу, становится теперь на колени.

Я слежу за Патрицией, а сам вдруг все-таки говорю:

— Пытаюсь не сочинять, а вспомнить детство.

Вот и сформулировано.

Тэд смотрит внимательно, чуть кивает, думает.

— Очень трудно, — говорит. — Сочинить легче.

Теперь я киваю: еще бы, конечно.

— Совсем без сочинения не выйдет, — говорит он.

— Да, но это уже будет другое.

Ах, книга, книга, ты и сейчас здесь, со мной, все мое со мной, никуда не делось.

Тэд очень внимателен и вдумчив, хотя я знаю, он торопится. Я с ним прощаюсь, шлю привет Нэнси, его жене.

Тэд начинает откланиваться, и все тут же спохватываются, что и им пора.

Галина в этот момент рассказывала, как вчера перед спектаклем несколько человек ходили у входа с плакатами, демонстрировали против постановки советской пьесы в их городе. «Долой» и все такое, «коммунистическая пропаганда», «никаких контактов с Советами». Они ходили сами по себе, люди шли в театр сами по себе, — Америка.

Вернулись Алан и Бэт. Вернулась Дита, которая уходила звонить.

Кутерьма прощания, поцелуи, сочувствие, все будет о'кэй. Дита шепчется с Маей, и по тому, как та тарачит на меня глаза, я понимаю, что за всей этой кутерьмой там, в недрах клиники, и еще дальше, должно быть, в Вашингтоне, в Москве, что-то варится, решается насчет моих дел на самых разных и неведомых мне уровнях. Ну-ну, посмотрим.

Рей улыбается и говорит, что заедет позже, если нужно. Ирэна с такой же улыбкой делает рукой «пока» от двери, уходя, набросив на одно плечо пиджак. Патриция целует меня в щеку, обдав пышущим от нее облаком тепла, аромата, возбуждения, выдирает из головы алый цветочек и кладет мне на подушку. Бэт не умеет скрыть тревоги и сострадания, она просит разрешения заехать завтра утром, пораньше, и до репетиции. Поскольку спектакль выпущен, сцена освободилась, на нее уже завтра выходит другой, следующий спектакль, и Бэт там работает. Великий театральный конвейер не останавливается. Галина меня тормозит, целует, шумит, что ждет меня вечером в театре, хватит, понимаешь, тут симулировать, мы тебя живо вылечим, там пятнадцать артисток занято в спектакле, и все жадут увидеть автора, одевайся, приходи, и все дела. Завтра она уже улетает в Нью-Йорк, в крайнем случае денька через три она ждет меня в Нью-Йорке, и уж там мы дадим шороху. У нас успех, у нас все о'кэй, мы еще покажем этим американцам, что такое русский театр. Скажи, Алан? Скажи, Бэт? Давай, давай, вставай, ничего у тебя страшного нет. Скажи, Дита?..

Это она так утешает меня, усыпляет мою бдительность. Представляю, что и как они будут говорить, едва выйдут за дверь.

На бурную тираду Галины Дита откликается слабо, нас не принят. Она тоже прощается со мной, но прежде приглашает подойти О'Доннела. Она кладет свою руку на мою, похлопывает, подбадривает. Надо подождать до завтра.

О’Доннел протягивает мне типографски отпечатанную бумагу. Пожалуйста, еще один автограф в этот счастливый день. Мая, кивая шляпой, испуганно переводит. Я должен дать согласие на коронарографию — маленькую операцию-исследование.

Вот как? Я знаю, что такое коронарография. Обычно ее делают, чтобы убедиться в том, что...

Ничего страшного, не надо волноваться, говорит О’Доннел в своей быстрой и чуть как бы небрежной манере (а Мая переводит слепо, без всякого выражения, боится), все анализы собраны, они подтверждают предварительный диагноз, но чтобы знать все точно, необходима коронарография. Не волнуйтесь, вот здесь надо поставить свою подпись и вот здесь.

Смотрю на Диту. Почему? Кто это решил? А деньги, деньги откуда? Где, наконец, этот телефон, я должен позвонить в посольство. Галина? Мая? Почему мне ничего не говорят толком?..

— А то без тебя не позвонили! — говорит Галина и кивает: подписывай.

Да-да, похлопывает по руке Дита, что тут думать. Я вспоминаю своих московских врачей: одни говорили, надо делать коронарографию, другие — не надо. Что бы сейчас сделал на моем месте матрос Фокусов?

Суд да дело, а рука тем временем сама ставит подписи: одну, другую. Мая прямо-таки трепещет, Галина и Найна выходят, обе крупные, источающие море энергии, и палата моя сразу пустеет.

И когда же коронарография?.. Как когда? — О’Доннел совершенно небрежен и как бы чуть застенчив. Завтра с утра. А что тянуть? Сразу все будет ясно, примем решение. О’кэй, отдыхайте. И он быстро уходит. «Хирурги пьют кофе, не снимая перчаток». Все обыденно, элементарно.

Неужели я всего лишь сутки в палате F-402?..

### Как я покупал рубашку в Лос-Анджелесе

Это было тогда, в тот счастливый весенний приезд. Мы полетели в Лос-Анджелес на один день. Чисто по-американски. Кто-то сказал: вот у нас есть свободный день и один маленький самолет, он возьмет четверых, кроме пилота, а пилотом будет некая милая женщина из Голливуда, и вы посмотрите Голливуд, Диснейленд, новый театр и филармонию, только лучше лететь сейчас, сразу после завтрака, вот машина, о’кэй? О’кэй! И мы улетели, не заезжая в гостиницу, не взяв даже зубных щеток, — подумаешь, щетка, а то в Америке нельзя купить зубной щетки!..

...Красный самолетик, зеленые холмы, синь океана, купол небес. Извив берега прошит белой ниткой прибора. Забытые ощущения полета на малой высоте, с треском мотора, свежим ветром, который вдруг сносит, вздымает, кидает вниз, надо не говорить, а кричать, вздрагивать, глазеть, показывать пальцем — а вон, а вон! — махать такому же маленькому встречному самолетику, где за штурвалом тоже, кажется, женщина или длинноволосый парень в самолетных очках, как у нас, и в рьжких перчатках, и все время страшно, замирает сердце страхом и восторгом, и от возбуждения еще хочется выпить, глотнуть из плоской охотничьей фляжки, обтянутой тонкой кожей, которая передается со смехом и шутками по кругу, и в этой эйфории не заметить, как подлетаешь к мегаполису, гиганту городу, «яичнице» Лос-Анджелеса, с высоты в самом деле похоже на гигантскую глазунью из нескольких слепившихся друг с другом городов, — но не с той высоты, небольшой, на которой мы подлетаем или, вернее, уже давно летим над пригородами, а с высоты 9 — 10 тысяч метров, где лежат трассы лайнеров или с еще большей, — вот оттуда отчетливо видна гигантская яичница, растекшаяся у океана. А мы видим, как вьются среди холмов шоссе, бегут по ним автомобильчики, в бесчисленные полосы, круги, линейки вытягиваются типовые домики, каждый из которых пришит к зеленому полю ландшафта голубой кнопкой своего бассейна во дворе. Тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч домиков и возле каждого бассейн. Вот тут, рядом, рукой подать — синь океана, и рядом эти синие же незабудковые глазки бассейнов. Почему? А не купаются практически в Тихом океане. Холодный он, Тихий океан. И волна у него океанская. Потом, когда мы будем возвращаться вдоль берега на машине и часто выходить в заповедных и просто красивых местах, где понравится, мы увидим, стоя высоко на утесах, какую великую волну гонит в ясный безветренный день

великий океан, как несравнимо и ошутимо огромен и грозен он в сравнении с любимым морем, как гремит и гудит, какую являет собою силищу необозримое его пространство, — маховик его прибоя, тон его завораживающей музыки, магнитная и магическая его синь, высасывающий сердце простор, изъеденный им, измочаленный и истертый берег, — пойдешь как можно ближе, перепрыгивая и перебираясь со скалы на скалу, остановишься там, куда уже летит густо водяная пыль долбящего базальты прибоя, — а до воды еще десятки метров, — и замрешь, зачаруешься, останешься прикованно стоять в этом грохоте, криках птиц, мокрой сыпи, пронзительных запахах соли, сырых водорослей, ветра и солнца — Океана. Кроны корявых сосен вытянуты в одну сторону — от океана к суше — словно волосы под ветром, с такой силой и постоянством дуют здесь пассаты. Величие природы, игра стихий и люди, которые не побоялись вступить в эту игру со своими слабыми мускулами, но с могучим умом и великим упорством.

В Америке немало вещей, которые стоят памятниками Человеку — мыслящему, работающему, творящему, соперничающему со стихией. Этот человек проложил дороги там, где нельзя было проложить, возвел дамбы, пробил тоннели, где, казалось, это невозможно, перехитрил ветры, землетрясения, снега, водопады, — он работал вольно, без крепости, за деньги, напрягая все силы, часто надрываясь и пропадая от бешеной этой работы, попирая ногой срубленную секвойю, размазывая по белозубью черную нефть из первой бады, поднимая на крюке блока рыбину в пять раз выше себя, гоняя день и ночь трактор по целине, сроду не взрачивавшей ни единого злака. Океанам стихии вчерашние англичанин, швед, немец, украинец, итальянец, еврей, индеец и африканец, назвавшиеся американцами, противопоставили стихию великой работы. Провозгласив себя страной свободы, Америка хлестала бичом черного раба (никто не миновал в своем историческом, даже кратком развитии эпоху рабства), и она же устыдилась этого бича, сама вырвала его в конце концов из рук плантатора. Но не одним, конечно, рабским трудом была создана великая индустрия — промышленная, сельскохозяйственная, культурная, — и побеждена стихия, покорена география гиганта, лежащего меж двух океанов, Острова, продуваемого всеми ветрами и ураганами. Нет, в конце концов человек уселся на террасе своего дома в кресле-качалке, раскурил трубочку и имел право сказать себе: я все сделал сам, черт возьми.

Но вернемся в Лос-Анджелес, в солнечный и ветреный день, в кутерьму встреч, знакомств, обедов и ужинов, вернемся к тому моменту, когда мы идем по городу, по его центру, с Нэнси и Тэдом, уже в конце дня идем одинокой тройцей у подножия новеньких небоскребов, в их тени и блеске их непроницаемых окон. В Лос-Анджелесе странно идти пешком, вплоть до того, что если вы идете пешком, к вам может подрулить полиция, сверкающей амуницией патруль и поинтересоваться, не случилось ли с вами чего, не нужна ли помощь? В gigante городе, разбросанном на десятки километров, почти нет городского транспорта, все ездят на своих автомобилях. Иначе невозможно. Я видел улицы, где для пешеходов оставлен узенький, чтобы идти всего одному человеку, тротуарчик. Зато расширена проезжая часть для машин. Безработные ездят здесь искать работу на своей машине.

Итак, мы идем под вечер и ищем мне рубашку. Поскольку с того утра, когда мы летели в самолете, и до сего часа, когда нам опять надо идти куда-то на прием, мне стоило бы переменить уже три рубашки, если бы они у меня были. Итак, идем, идем, заходим в один магазин, в другой, мне или не нравится, или нет моего размера. Я начинаю посмеиваться, говорю: братцы, в чем дело, где мы? А до закрытия магазинов полчаса, а до приема час. Нэнси почему-то не реагирует на мои шутки и вообще, я чувствую, странно смотрит на эту мою потребность в рубашке, на бегание по магазинам. Между прочим, сама Нэнси весьма причудливо одета, — здесь этим не удивишь, да и я не удивился, но отметил: в чем-то она совсем непонятном, сама длинна, худая, голову держит надменно, и все на ней висит, все вязаное, разношерстное, из кусочков, на ногах вязаные вроде бы из веревки тапочки, почти лапоточки, и пестрые вязаные же носки, не натянутые, а уже опавшие вокруг щиколотки колбасками. Сначала я посчитал, что это мода, что так и надо, но когда началась охота за рубашкой и Нэнси, я понимал, все скептически глядит на меня, я чуть растерялся. «Ну куда же еще можно пойти?» — я обратился к Нэнси. Она пожала плечами. И тут Тэд объяснил (он сам был в майке, сшитой из розовых и зеленых полосок, в куртке и весьма странных брюках с короткими штанинами, причем одна, ей-богу, была

короче другой),— Тэд объяснил, что они, собственно, не знают, где что продают, они почти ничего не покупают в магазинах. Как? В этих магазинах? Битком набитых, где все ломится от какого хочешь товара и особенно женского? С таким я еще не сталкивался. Тогда Нэнси, гордо воздев подбородок, объяснила, что надо все делать для себя своими руками, все, что можно, стараться ничего не покупать, только самое необходимое, как когда-то крестьяне: соль, спички, гвозди. Покупать — это значит поддерживать капиталистов, поощрять торгашей, давать им жить, а тем самым, следовательно, участвовать во всеобщем обмане и наживе, в их подлой морали, которой они затопили мир. В этот момент девушка-китайка в очередной лавочке, заваленной стопками рубашек, обмеривала мне шею, и я, наклонясь, чуть не падал от головокружения. После слов Нэнси меня охватил стыд: в самом деле, что я? Та не нравится, эта не нравится, тысячи рубашек, а та кой, как мне хочется, за которую я готов выложить тридцать долларов или больше, нет и нет. Хорош русский интеллигент, здрасте! Вместо того чтобы поговорить о Достоевском, о Мережковском, о судьбах человечества и русском мессианстве, он бегаёт битый час за рубашкой. В Америке рубашки не может купить! В Лос-Анджелесе нет для него рубашки! Ну-ну!.. Пока китайка со слабой улыбкой выкладывала передо мной стопки рубашек (мы одни в этот час в магазине), Нэнси говорила словами Вольтера, что каждый человек должен возделывать свой сад, что человек просто даже не пробует сократить свои потребности, поддавшись оголтелой капиталистической рекламе, тупо покупая все, что ему ни навяжут, вместо того чтобы обходиться малым, лишь самым необходимым... «Одной рубашкой вместо десяти»,— заканчиваю я ее мысль. «Да,— отвечает она,— причем сшитой своими руками»,— и при этом берет пальцами свои самодельные лохмотья и потягивает ими. Тэд безучастно молчит. Я понимаю, что дело мое плохо, оставаться мне в грязной и потной рубашке. Но нет, пожалуйста, Нэнси пожимает плечами, готова идти дальше. Мы выходим. Попадаем в какую-то «галерею» — так называются теперь модные торговые центры типа гигантских пассажей, где под единой крышей собраны иногда сотни магазинов. Кругом надписи по-английски и тут же по-японски: сюда, на западное побережье, приходят в день десятки самолетов с японскими туристами. И говорят, они покупают все, как саранча. (Неужели и рубашки?) Мы идем, и перед нами закрываются то одни двери, то другие, магазины заканчивают работу. Сквозь стекло витрины я смотрю на последнюю рубашечную лавку, на три стены, заполненных рубашками, на продавца, который предупредительно замер в дверях: зайдете, господа, или закрывать? Нэнси предлагает мне войти,— мол, пожалуйста, дело ваше,— но я уже не могу: черт с ними, в самом деле, с капиталистами, с их товарами, не дадим им нажиться на моей рубашке, пусть бьются в конвульсией кризиса. Да, Нэнси? Да, вполне серьезно кивает Нэнси, и мы покидаем роскошный торговый центр, не купив там и нитки.

Идем по улице. Улица пуста, магазины уже тоже пусты, офисы закрылись. Нам нужно брать такси. Тэд повторяет, что в этом городе даже школьнику, а тем более студенту нужен автомобиль. Без рубашки можно, а без автомобиля нельзя,— Америка.

Мы ловим такси, едем на прием, где я занят только тем, что стараюсь не думать, не чувствовать на себе своей рубашки, я мою в туалете шею и подмышки, вытираюсь бумажными полотенцами, в результате на рубашке остаются еще и мокрые пятна, которые я сушу, промокаю теми же бумажными полотенцами. А люди в пиджаках, а люди в бабочках, а у людей рубашки прямо-таки из-под утюга. В полосочку, в клеточку, с пуговичками на воротничках, с запонками или небрежно расстегнутые, с открытым воротом, но мягкие, красивые, ч и с т ы е!.. Господи, а завтра рано утром улетать, магазины опять будут закрыты. А сдать рубашку в стирку в гостинице можно только с утра, и обычно приносят ее к вечеру или на другое утро. Проклятье!.. Дело кончается тем, что глубокой ночью у себя в номере я «сам возделываю свой сад», крошечным кусочком гостиничного мыльца шмыгаю под краном свою рубашку, полошу в раковине, просушиваю полотенцем, развешиваю на плечиках, распрямив и разгладив как только можно, потому что гладить мне ее утром, как я понимаю, будет негде. Я устал, я прилично выпил на этом приеме, меня звала кататься по берегу одна милая дама в своей новенькой японской «хонде» и даже позволяла мне самому сесть за руль. Но в голове у меня была рубашка, стирка, завтрашнее утро, я извинялся, жалко улыбаясь, и лишь одна Нэнси в своих веревочных петлях, лоскутах и антимоно-

полистических узелках и обрывках глядела на меня взглядом одобрения и солидарности. Ее уважение ко мне росло прямо на глазах.

Утром, разумеется, рубашка была мокрая, жеваная, я старался ни к чему в ней не прикасаться, мне было противно и холодно на утреннем ветерке, когда мы вышли к подъезду, чтобы сесть в ранний рейсовый автобус, идущий в аэропорт. Я стоял, подрагивая, оберегая сомнительную чистоту своей рубашки (до моего чемодана еще ехать и ехать, лететь, взлетать и садиться), и тут откуда ни возьмись явилась довольно жуткая фигура: шел человек, пошатываясь, почти закрыв узкие глаза, с длинными смоляными волосами по плечам, схваченными на лбу ремешком, в сабо на босу ногу, в рваном пончо,— высокий и будто сонный, не проснувшийся. «Индеец, наркоман»,— сказал швейцар и потянул меня за руку, поскольку я стоял прямо на пути этого человека. Но было поздно. Индеец открыл глаза (он медленно что-то жевал), пробормотал несколько слов, протянув ко мне руку за подаванием. Швейцар, человек невысокий, плотный, в форменной ливрее respectable своего «Хилтона», две минуты назад сама любовь, тут же угрожающе закричал на него, как закричал бы на бродячую собаку или скотину, ткнувшую морду в чужую изгородь, а меня старался оттащить, оберечь. Я же, не ожидая ничего дурного, напротив, замороженно глядел на молодого плосколицего гиганта, словно сошедшего со страниц Фенимора Купера или из фильма Формана «Пролетая над гнездом кукушки» и пораженного наркотической болезнью. Сердце сжалось, и я впился в сонно-тупое лицо с опухшими глазами-шелками в обрамлении грязных смоляных волос. Я готов был помочь, обернулся к швейцару, чтобы освободить руку и полезть в карман за деньгами. И в этот момент, отвратительно гримасничая, жуя вывернутыми губами, индеец плюнул, пустил струю желтой табачной жвачки, и она плюхнулась прямо на мою несчастную рубаху, на грудь и карман. «А!» — закричал швейцар и бросился вперед. Я инстинктивно тоже, но индеец в ту же секунду побежал так резко, куда девалась его вялость, и вмиг исчез, как провалился. Швейцар тут же вернулся ко мне, озираясь, словно оберегая меня и следя, не грозит ли еще откуда опасность. И на плотном щекастом лице его я увидел выражение, знакомое по американским фильмам: когда выхватывают пистолет, когда объединяются белые против цветных, когда убивают на месте. Я еще был в растерянности, и в недоумении, и в обиде (ведь я пожалел и готов был помочь), и хотя тоже бы врезал сейчас индейцу с большим удовольствием, но я — это не то, реакция же швейцара была однозначна: был бы «кольт» в кармане, взял бы и выстрелил. Уж он сказал слова! И в адрес индейцев, и наркоманов, и вообще всех проходимцев, которые попрошайничают, не хотят работать, придуряются, грабят туристов, а порядочным людям надо платить налоги, чтобы кормить этих паразитов. «Перестрелять всех, как бешеных собак». Он побежал искать мой багаж, чтобы помочь мне переодеться, и я с трудом мог объяснить ему, что ни багажа, ни другой рубашки у меня нет. Он взглянул на меня повнимательней: может, я тоже такой же? Не важно, что я ночевал в хорошем отеле, что я иностранец,— мало ли что! Кстати говоря, в Америке отношение к иностранцам прямо противоположно русскому: здесь выше всех сам американец, и в международном аэропорту вы можете увидеть вход для американцев (там все идет без задержки) и вход для иностранцев (где вы постоите в очереди на паспортный контроль). Если вы на машине сделали нарушение и лебезите перед инспектором: я, мол, не знал, вот видите, у меня московские права, то-сё, я иностранец,— никакой поблажки не будет, инспектор выслушает вас с полным равнодушием. Иностранцев слишком много, в сущности, в Америке все когда-то были или остаются иностранцами, есть п р и в ы ч к а, и при высоком чувстве собственного достоинства предоставление им каких-либо привилегий напрочь исключается.

Итак, я опять стирал свою рубашку в туалете, с отвращением прикасаясь к ней, спешил, надел совершенно мокрую, а швейцар тем временем задержал автобус, рассказал, в чем дело, и немногие пассажиры встретили меня сочувственно, дружно глядя, разумеется, на мою мокрую рубашку с неотмывшейся рыжей полосой. Швейцар повторял, что я русский, что мой багаж в Сан-Франциско, что все магазины еще закрыты, и не успели мы отъехать, как парень моего роста, наголо стриженный, в очках, с кучей газет, которые он листал, не обращая, кажется, ни на что внимания, наклонился, достал из-под ног длинную спортивную сумку, а оттуда яркую полосатую рубашку и бросил мне через два сиденья. При этом он жевал жвачку, глаза его были прикрыты полутемными очками в стальной оправе, он не сказал ни слова, кроме того, что рубашка чистая, и снова

взялся за газеты. Я стал отказываться, но все загудели: мол, бери, бери, в чем дело, надевай. И кажется, кто-то еще готов был лезть в свой багаж. Я сказал «спасибо» и тут же переоделся, с остервенением сунув свою оплеванную рубашку в карман переднего сиденья. А сам оказался вот в какой рубашке: в цветную полоску, в разных кубиках и треугольниках, вязаную, причем связано было так, что каждый цвет выпускал наружу свой хвостик и смысл состоял в том, чтобы, скажем, красный хвостик попал на следующую синюю полосочку, а синий на белую, а из белого квадрата на черный,— словом, я был лохматенький, полосатенький, безрукавый, на одном плече погончик, на другом карманчик, воротничок стоячий, пуговицы золотятся, еще висят две ленточки, чтобы сделать бантик,— ну, чудо, привет от Нэнси! И застегивалось, по-моему, на женскую сторону, в чем я сразу не разобрался.

Вот так вот обстоит дело с рубашками в Америке.

### Остаться одному

«...Привезли и свалили в нашем переулке трубы для канализации. Они лежали пирамидой, сверху облитые варом, изнутри ржавые, и дети играли возле или взбирались на них, приликая ладошками, сандалиями и коленками. И один раз Заяц закричал: «А кто всю трубу пролезет? Кто пролезет? Слабо!» И Мальчик закричал в ответ: «Я пролезу, я пролезу!» — «Не пролезешь!» — «Пролезу!» — «Не пролезешь!» — «Пролезу!» И Мальчик полез. Труба была длинная, узкая, ржавая, но там, в конце, впереди сиял кружок света. Все сгрудились и смотрели, как он влез. Заяц прыгал и вякал: «Не пролезет, не пролезет!» Час стоял закатный, последний, когда особенно играет, потому что скоро всех погонят домой ужинать, спать, мир кончится до завтрашнего утра. Никого из взрослых близко не оказалось, Мальчик полез смело, ничего не боясь и уже думая, как он выберется с той стороны, вскочит на ноги и все закричат «ура!». В трубе было жарко, душно, грязь, ржавчина драла голые коленки, впивалась в ладоши, а на животе ползти выходило долго. Эта труба была нижняя, и казалось, что другие трубы дают сверху. Сзади кричали, подбадривали, голоса гремели очень громко. А потом и спереди стали кричать, и круглый просвет то и дело заслоняли детские головы. Мальчику казалось, он прополз уже почти всю трубу, но нет, не добрался еще и до половины. Слышался голос Зайца: «Не пролезет, не пролезет!» Внезапно стало страшно: а вдруг не пролезть? И от страха он пополз быстрее. Снаружи вдруг заорали, загомонили, и впереди в круглом просвете Мальчик увидел нечто страшное: огонь. Он подумал: закат, но дети вопили, и свет огня прыгал и плясал. И дым ударил в нос и в глаза. Это Заяц решил напугать его и зажег перед трубой факел из газеты. А кто-то стал факел отнимать, там шла борьба и крик, Заяц тыкал факелом в других детей, а потом взял и бросил в трубу. Мальчик этого не видел, но пламя и особенно дым затянуло сквозняком прямо в трубу, Мальчик задохнулся и закашлялся. От страха стал пятиться назад, но это было хуже, труднее, чем ползти вперед, труба больно обдирала ноги, и ничего не видно. А вдруг сзади тоже развели огонь и там нет больше круга света, как и спереди? Зачем они это сделали? Куда ему ползти? Вперед, вперед. Он уже плакал от обиды и страха и от дыма и кашлял. Но вот огонь пропал, и дым рассеялся, и опять там сгрудились детские головы и стали звать его, чтобы он полз скорей. Но Мальчик остановился. Вдруг обида взяла верх надо всем. Он не хотел вылезать им на посмешище в слезах, с ободранными ногами, грязный. Лучше остаться навсегда в этой трубе. Маленькое его сердце плакало и болело от обиды. Он хотел выйти героем, он бы прополз, но он не ожидал такой подлости... И он остановился, замер в трубе, пахнувшей ржавчиной и смолой, сжался и молчал, не отвечал на крики детей. А потом дети побежали за взрослыми, за милиционером, и милиционер свистел в залихватистый свисток и кричал, что идет за овчаркой. Потом позвали мать Мальчика, и она то умоляла, то грозила ему, чтобы он отозвался. Тогда он закричал сквозь слезы: «Пусть все уйдут!» И целая толпа народу, собравшаяся у двух концов проклятой трубы, отступила, отошла в сторону... Мальчик выскочил быстро, вскочил на ноги и, минуя распахнутые ему руки матери, побежал. Ему кричали, звали, побежали было за ним, но он ушел ото всех, бежал, бежал, пока не задохнулся и не упал где-то на камни...»

Хуже всего — оставаться одному. Надо закрыть глаза, побыть с самим собою. Но Бог знает что делается. чего только не проносится в голове, чего только не



выбрасывает память, едва касаешься того или иного ее отсека. Или она бушует сама, стихийно, что еще опаснее.

Я листал оставленные мне газеты, журналы, сделал две-три записи, включил и выключил телевизор, раздражаясь, что не понимаю языка, дикторы и актеры говорят слишком быстро. Я томился и боялся думать о предстоящем.

Хоть бы кто-нибудь пришел, поругал, велел поспать, отдохнуть, поговорил, спросил, как я тут, не надо ли чего?

Нет, никто не приходит, не спрашивает. Потому что здесь так, я уже заметил: если надо, скажи сам, нажми кнопку. А без нужды никто не зайдет. Во-первых, некогда, во-вторых, будет считаться, что тебе мешают. Справляйся сам, ты ж не маленький.

Листаю свой скетч-бук. Натыкаюсь на запись, сделанную в Нью-Йорке: «Никогда не знаешь, кто войдет в лифт на следующем этаже». Ах, как глубокомысленно.

Не хочу, не могу думать о своих, о доме, но пролистываю еще две-три странички и вижу список в одну колонку, довольно большой, на левой стороне и на правой. Читаю и улыбаюсь.

### Spisok weshey

...С чего начинается поездка советского человека за границу?

С задания, говорят иностранные разведчики и советологи. И они правы: с задания.

Волнения, проводы, аэропорты, одесский маяк за кормой, Белорусский вокзал или Шереметьево — это все ерунда.

Оформление паспорта и билета, обмен денег — родных десятков и четвертных — тоже ерунда. В конце концов, где-то перед самым отходом или отлетом, с валидом под языком, взмыленный, с растаявшими в кармане шоколадками, которые надо было совать в разные окошки разным девушкам, избегавший по этажам и прозвонивший по автоматам тысячу двушек, ты все-таки получаешь все документы и понимаешь, что все это — ерунда. По сравнению с заданием.

Даже укладывание чемодана и шекспировской страсти проблема «что надеть?» (что надеть советскому человеку в Индию? Или в Испанию? А во Францию?) — ничто по сравнению с заданием (все равно надеты были и в Индию, и во Францию, и в Монголию — костюм с галстуком, розовая кофта поверх зеленого платья, а также шляпа и мохеровый берет. А также непрременный тренировочный костюм и родимые тапочки в целлофановом пакете).

Наконец последняя ночь. Чемодан уложен, такси заказано, дети пошли спать, и вот тут... Дверь закрывается и...

К вашим деньгам, документам, семейным фотографиям предлагается присоединить небольшую узенькую бумажку, уже тщательно сложенную. Она должна быть так спрятана, чтобы чужому носу в нее не влезть, но чтобы была под рукой в любую минуту. Упаси Боже ее потерять.

Я подозреваю, некоторые из наших, попросивших убежище за рубежом, сделали это исключительно потому, что не могли выполнить своего задания или, бедняги, потеряли бумажки. Потому что если не исполнишь, лучше не возвращаться, это уж точно.

Я, например, был однажды свидетелем, как один мой друг, проснувшись утром в замечательном номере замечательного отеля «София» в утро возвращения на родину, шаря по карманам своих брюк, — а сам еще сидел в трусах и обвисшей майке на кровати, — шаря по карманам в поисках завалевшихся левов, на кои можно было бы спросить пивка, вдруг вместо спасительной валюты отыскал завалевшуюся и совсем позабытую им бумаженцию с заданием. Мы провели в братской стране замечательную театральную неделю, когда слово «плиска» звучало не реже, чем слово Станиславский, и мне казалось, что в это утро мой друг не способен на проявление сильных чувств. Но тут задрожал, сделал невероятный вдох, с всхрипом, глаза его, дотоле заплывшие, выкатились из орбит, и со страшными русскими словами, с какими выбежал бы пастух к стаду, нечаянно забредшему в болото, мой друг ударил кулаком с зажатой бумаженцией по прикроватному столику, и столик повалился набок. И друг мой тоже повалился набок на подушку и закричал: «Потерял! Скажу, потерял!» И стал рвать проклятую бумажку зубами, драть ее, жевать и выплевывать. «Пропал! — кричал он. — Все!»

Итак, ночь, вы получаете бумажку и соответствующий инструктаж. Вы разворачиваете ее наспех, только взглядываете и, естественно, ваша первая реакция проста: «Нет! — кричите вы полузадушенно. — Ни за что!» Отказаться, во что бы то ни стало отказаться, не брать греха на душу. «Спрячь», — говорят вам холодно. «Как? Каким образом? Откуда?» — пытаетесь вы отбиться. «Тише, — говорят вам, — что сможешь...» И своей рукой прячут бумажку в бритвенно-тонкую пачечку вашей валюты.

Что делать? Нечего делать. Забыть. Хоть на первое время. Не думать. И поначалу это удается. Вы в пути. На земле была премерзкая погода, зима, слякоть, люди уже месяц не видели солнечного света, а тут, через пять минут полета, на крутом подъеме высоты, пробив облака, самолет выносит вас с веселым ревом в такое солнце, блеск и голубизну, что все расцветают улыбками. Вы еще думаете о доме, о близких, провожавших вас, — как говорится, первую половину пути мы думаем о том, что оставили, а вторую о том, что нас ждет. Это милое, но старинное наблюдение: самолет быстро нарушает этот порядок и все смешивает в одну кучу. Прощальные взмахи рук, но уже и попутчики, и облачные одеяла внизу, и глянцевого проспекты. Вы летите не в Салехард и не в Богучаны, здесь количество стюардесс явно переходит в качество, все обязанности исполняются по высшему классу, в том числе и обязанность услаждать ваш взгляд. Запахло кофейком, отдыхом, дымком американских сигарет, стройная негритянка уже повела маленького негритенка в хвост в туалет, весело болтая с ним на ходу, где-то музыка делает блям-ды-ды-тудль-там-бэн-ды-ды-ша! — и вы понимаете, что жизнь, черт возьми, прекрасная штука.

Летим, летим, попиваем цинандали, обедаем, намазываем хлебушек черной икрой, болтаем, знакомимся, курим, дремлем, читаем (не читается, ничего не идет в голову), кокетничаем со стюардессами, свешивая в проход голову, чтобы оценить демонстрируемые нам формы. Потом, когда уснут соседи, изучаем содержимое своих карманов: рассматриваем эту самую валюту, кто там нарисован, что написано, крутим так и сяк свой новенький паспорт, пахнувший клеем и краской, разглядываем свою фотографию с выражением вытарашенным или до того важным, что смех берет. А вот толстый самолетный билет, где написана куча неведомых вам правил и обязательств, в том числе и то, что в случае чего ваша семья получит очень даже приличную страховку. Тут же багажная бирка, тут же... господи, вот она! бумаженция падает вам в колени, как с неба. Вы берете ее, оглядываетесь, осторожно разворачиваете.

«М — пл, Н — ком, Сш/бр — бр, Сш/м — ф/п, Ля — мндш, Ли — мнп, Ж — спш, я — ч/н, сб — тр, свтр, Вл — бтр/тай, дет — жв, об — 36, 37, 38; М, Н, С, С, Л, В, мн, сб, — дж, дж!»

Ну, шифровальщики Пентагона! Ну, ищейки Интеллидженс сервис! Ну, агенты 007, 008 и так далее! Кто возьмется?.. И тут вы с ужасом соображаете, что и вам-то не все понятно. Только этого не хватало.

И мука начинается.

Какие это насекомые откладывают яйца в живое тело ближних своих, и они там созревают, растут личинками и пожирают своих носителей?.. Крохотная бумаженция с заданием будет владеть вашими мыслями, временем, приведет в такие места и сведет с такими людьми, о которых вы и думать не думали. Она будет вас держать на короткой волне с родиной и избавит от ностальгии. Вы будете заниматься глобальными проблемами, перелетать с континента на континент, встречаться с историческими личностями и, может быть, сами сделаетесь причастны истории. Но где-то для кого-то важнее всего будет ваше задание, и вы в конце концов подчинитесь ему и приложите все силы, чтобы его выполнить.

Итак, раскроем код. Повторим инструкции. Не ошибиться. Не перепутать. Боже упаси.

«М — пл» — это просто. Это означает: «маме плащ». Хотя на кой черт маме плащ именно из-за границы, никто не знает. Это уж извините! Походит мама и в нашеньком плаще. Дальше. «Н — ком». Это — «Наташе — комбинезон». Дочке. Модный. Нигде не достать. Мечтает. Нет уж, мои дорогие, пусть учится получше, комбинезон! Она мне даже рисовала этот комбинезон, пихала в чемодан картинку. Нет, не выйдет. «Сш/бр — бр». Ну, ладно, это можно. Саше-брату бритву. А вот «Сш/м — ф/п» — это вряд ли. Маленькому Саше-племяннику фотобумагу для поляроида. Нет, мальчик, дороговато. «Ля — мндш». Это Ляле, свояченице, мундштуки антеникотининовые, баловство. Захочет — бросит без всяких мундштуков. Ну и так далее. «Дет — жв» — это, я думаю, ясно: детям — жвачку. «Об —

36, 37, 38» — это, само собой, обувь, — видите, все размеры им годятся. «Я — ч/н» — это означает, жена себе просит «что-нибудь». Какая скромность, какое самоуничижение! Все последние буквы, заканчивающиеся жужжанием: «дж, дж!» — означают, что маме, Наташе, Саше, Маше, мне, себе и так далее надо везти джинсы...

Дверь отворяется, въезжает сверкающее спицами кресло-каталка, его толкает непомерно толстая молодая веселая девица-мексиканка, почему-то без бирки с именем на лацкане, — поехали на рентген. Я порываюсь идти сам — нет, нельзя.

Мы катим по коридорам, заворачиваем, въезжаем в лифты, выезжаем. Почти никого не встречаем. В одном месте длинный юноша-негр в передничке и перчатках пылесосит и без того идеально чистый пол, а вот спешат врач и сестра, в руках все по тому же бумажному стаканчику кофе. Мне все любопытно, все интересно. Мы едем по стеклянной галерее, соединяющей два здания на высоте примерно седьмого этажа, и внизу и сверху выступают углы и сочленения однотипных одноцветных зданий с одинаковыми окнами, глухой марсианской архитектуры. Где-то вьется на ветру американский флаг. В переходе оживленнее: снует медперсонал, катят такие же кресла с больными, моя провожатая с кем-то весело здоровается.

Рентген. Меня быстро поставили под аппарат — щелк, щелк! — сделали снимки. Перемолвились с моей толстухой, она изумилась, глянув на меня, и мы двинулись обратно.

Когда ехали на рентген, девушка напевала, решительно разворачивала кресло, — я был для нее безликий груз, больной из номера F-402. Теперь я зафиксировал на себе ее внимание: она сзади засматривала мне в лицо, прыскала смехом, пожимала плечами. В лифте я поглядел на нее с вопросом, она фыркнула и ткнулась в стену.

Я оглядел себя, ощупал — лицо, волосы, бороду: может, измазали бариевой пастой, которую я глотал с ложечки?

«Ты что?» — спросил я ее, когда покатали дальше. Она лишь рукой на меня махнула, рассмеялась. И покатила с ветерком до самой палаты. Приехали, я сказал, не выйду из кресла, пока она не расскажет, в чем дело. Она со смехом убежала.

Потом выяснилось: она слышала, что есть какая-то Россия, но не верила, что на самом деле есть. И когда ей сказали, что этот, мол, человек — русский, то, выходит, и Россия должна все-таки быть. И ее это изумило.

Тогда я расспросил про девушку. Оказалось, уже 20 лет дурочке, школу закончила, родители мексиканцы, среднего достатка. В больницу каталку катать пошла специально: чтобы целый день бегать, жир сгонять. Не знает ничего, лицо детское, безмятежное, какая там Россия!.. Я слыхивал, что американцы мало про нас знают, но чтобы до такой степени!

Вообще на самом деле американцы знают о нас гораздо меньше, чем мы о них. А то, что знают — приблизительно или фантастично. Дело, думаю, даже не в соответствующей пропаганде — правдивую информацию найти нетрудно, — дело, мне кажется, в том, что они вообще меньше и н т е р е с у ю т с я. Не только нами, русскими, но вообще. Дает себя знать исторический изоляционизм, американский индивидуализм, занятость своим делом. «Благотворительность начнем со своего дома».

Не буду утверждать, что казахский чабан или ткачиха из Вышнего Волочка много знают о жизни в Аризоне или Айдахо. Но все-таки если им рассказывать, то им будет и н т е р е с н о. А американцу не очень.

Помню, в первые дни на американской земле мне все время чего-то не хватало. Хожу, смотрю, думаю и не понимаю, в чем дело, чего-то не так. А надо сказать, недели две до отъезда или больше я старался регулярно слушать «Голос Америки», чтобы быть, так сказать, в курсе, что-то почерпнуть. А когда слушаешь «Голос», создается впечатление, что Америка только тем и занята, что волнуется о делах во всем мире и особенно в Советском Союзе: как мы да что? Взволнованные, напряженные голоса дикторов, десятки часов вещания, полная информированность, далеко сбгоняющая нашу собственную, комментарий по всякому поводу, по каждому пустяку. Словом, спим и видим тебя, Россия.

Приехав, я оказался в положении человека, который всю жизнь слушал репортажи о футболе по радио или телевидению, а сам никогда на стадионе не был. И он ничего не понимает. Не слышит комментатора. По радио или

телевидению футбол показывают тебе непосредственно, и у каждого из нас возникает впечатление, что это зрелище вообще затеяно для тебя. А на живом стадионе до тебя и твоих впечатлений никому нет дела. И некому и некогда тебе что-либо объяснять. Идет игра, Игра, ИГРА.

Вот так я понял: в Америке мне не хватает «Голоса Америки».

Как и любая другая страна (а может, и более, чем любая другая), Америка прежде всего занята собой, своей жизнью, своей игрой. Существует известная, любимая американцами и особенно ньюйоркцами карикатура из журнала «Нью-Йоркер»: эдакая рисованная карта мира, ландшафт. В центре мира — Пятая авеню, потом Шестая, Седьмая. Девятая уже чуть расплывчата. И это уже почти граница. Гудзон в тумане, штат Нью-Джерси, соседний, обозначен тоже приблизительно, а за ним — одинаковой примерно высоты холмики с надписями: «Техас», «Азия», «Индия». Там уже все одно.

Они шутят, но в этой шутке немало правды: Нью-Йорк, кстати, такой мир, которого человеку более чем достаточно. В той же, видимо, степени, как москвичу довольно Москвы, парижанину Парижа. Все мы днем готовы улететь хоть на Луну, а к ночи хочется быть дома. Глобальные внешнеполитические проблемы вызывают здесь общенациональное раздражение и гнев. Американец полон чувства превосходства, Америку он считает превыше всего, он, в сущности, так и не понимает, кто ему угрожает, кто может ему угрожать и каким образом. Он видит одно: год за годом жизнь становится жестче, проблем все больше, деньги все время летят у него из кармана и летят на ветер. Ему говорят: виноваты коммунизм и Россия. Тогда он сдвигает сомбреро на лоб, приоткрывает веки и спрашивает: Россия? Это где?..

Я утрирую, и американцы, разумеется, разные, и многие обожают путешествовать, например, и видеть мир. Американцы — нация наций, и есть Америка Юга и Америка Севера, Запада и Востока. Чтобы хотя бы приблизительно ощущать эту разницу, достаточно представить себе, как разнятся между собой наш Ленинград и Баку, Киев и Свердловск, даже Вологда и Рязань... И всюду чужие проблемы при наличии своих вызывают только досаду.

Лежу и думаю: как мы легко оперируем понятиями «Америка», «Россия», «Европа», «Азия». Все вмещает в себя маленький человек (в том числе и космос), и даже больной, даже... а дом его так мал, так узка кровать, и одного окошка ему достаточно...

Две незнакомые девушки приносят обед. Одна за дверью со сверкающим агрегатом вроде тех, что стюардессы возят по самолету с обедами, другая подает поднос. На нем стакан сока, чашка с протертым супчиком, ломтик поджаренного хлеба, салат (молодая капуста, морковь), кусочек курицы с горкой обжаренного в масле картофеля. В ширину кровати ставится поверх меня узкий столик и на него поднос. Приятного аппетита. Хочу встать, есть сидя, — не разрешают.

Ем пластмассовый этот обед среди своих цветов и афиш, в полном одиночестве, и, ей-богу, слезы готовы навернуться на глаза. В такой-то день, в премьеру, вернее, поутру после вчерашнего, в Москве что бы тут было, дым коромыслом, и я бы шумел среди друзей, махал руками, в левой сигарета, а в правой висит зажатая между пальцами длинным горлышком бутылка сухого и в этой же руке непрсыхающий бокал. Все называется хорошим русским словом «гудеж».

Грущу, лениво болтаю ложкой в непонятного вкуса и запаха супце, и тут приотворяется дверь и заглядывает Ирэна. Боже, как хорошо. Как я радуюсь. А она с прекрасной своей, зубастой, сразу и смелой и застенчивой улыбкой, лихо встряхивая прической (от смущения), говорит: «Я подумала, вы тут в одиночестве остались, может, вам грустно? Ехала, ехала, уже домой приехала, потом села, поехала обратно. Ничего?.. Вы ешьте, ешьте, не обращайтесь внимания, я пойду тоже возьму себе кофе». Прямо чудо какое-то. Душа у меня отмякает. Она уходит за кофе, я ем и улыбаюсь. Потом она сидит рядом в кресле, рассказывает про своего маленького сына Макса, ухаживает за мною, убирает поднос и столик. Голос ее звучит высоко, она то и дело смеется, ее русский совсем не отличается от моего. Но она рассказывает, что читать и писать по-русски ей трудно: она же никогда не учила его в школе, азбучно. Удивительно: такая русская, так говорит по-русски, а никогда не бывала в России, и родилась не в России, и не знает русской азбуки. О, XX век!..

Мы сидим за нашей мирной беседой, и тут опять приоткрывается дверь, и в нее заглядывают и входят Рей и за ним Бэт. «Мы подумали,— говорит Рей с милой улыбкой,— что вам, должно быть, грустно здесь одному, и решили заехать...» Ирэна краснеет, мы все смеемся, и я, конечно, совсем размякаю от их заботы.

Бэт спешит, у нее в самом деле всего несколько минут, мчится на спектакль. Она переделалась, теперь на ней темное платье с бордовым бантом и бархатный пиджачок, сумка на плече, в которой она непрерывно роется, ищет то записную книжку, то ключи от машины, то деньги — заплатить за стоянку. Ей хочется меня о многом спросить, рассказать о спектакле, о реакции публики, она говорит обо всем сразу, торопясь и умоляюще взглядывая на Рея и Ирэну, чтобы скорее переводили. Но странно — я сам все понимаю. Хотя говорит она быстро, медленно просто не умеет, такой уж темперамент, но я так хочу понять, так сосредоточиваю внимание, что в конце концов и понимаю. Мы даже проводим эксперимент: Бэт говорит без остановки, Рей и Ирэна молчат, я слушаю, а потом рассказываю, о чем шла речь. И — все правильно. Настолько она хочет быть понятой и настолько я хочу понять. Вот как надо учить иностранные языки. Язык — как музыка: если собрал внимание и слушаешь, поймешь, если не слушаешь — не поймешь никогда.

Бэт убегает, Рей едет с ней, поскольку они на одной машине, Ирэна от смущения говорит, что ей тоже пора. Прощаемся, они глядят на меня милыми, добрыми глазами, полными сочувствия, я тоже тянусь к ним, вслед за ними, и потом, когда закрывается дверь, совсем без сил, но с оттаявшим сердцем откидываюсь на подушки.

Входит сестра Кони со шприцем (пальцем с ваткой зажата игла) и делает очередной горячий и болезненный укол. Но мне уже как-то и не больно и не страшно.

«...он маленький, а им заполнен дом, время, внимание, и это при том, что с 12 ночи до 6 утра, до утренней кормежки, он всегда спит, так в роддоме привык, пока она там болела почти месяц, лечила свои почки, измученные алкоголем. Он крепнет, уже садится, смеется, веселый, голова еще лысая, круглая, пьет капустный сок, кефир, с трех месяцев дают ему сначала по крошкам, а теперь уже по ложечке вареного прокрученного в мясорубке мяса, молока у нее, конечно, нет, кончилось уже на третьем месяце. Он спит в тещиной лоджии на морозе, щеки как розы, писает высоким фонтаном, какает густо, сам хватается бутылку с соской и, надеясь, начиная играть с бутылкой, но еще не отдавая ее, ей-богу, подмигивает. Повсюду его игрушки, штанишки, ползунки, соски, коробки с питательными смесями. Ни свет ни заря зимним утром надо бежать на молочную кухню за бутылочками. Он поет, рычит, плюется, смеется, цепляется, научился целоваться, тянет губы и чмокает. Ухватится и дерет волосы, не отцепишь. Все время веселый, и смотреть на него весело и умирительно. Каждый вечер купание. В очереди. В морской соли. Барахтается. Попробуй окуни — намертво вцепляется в палец, боится за свою жизнь. Кажется, понимает уже так много, знает, видит, мы даже не подозреваем. Только что не говорит. Как собака. Но пытается. «Ба-па, па-ба...» Смотрит телевизор. Маленькое мышленное веселое беззащитное (и защищенное броней взрослой защиты) животное. Ум работает. Остается только речь, СЛОВО, чтобы перейти в человека... Этого не может быть, это невероятно, но иногда я вижу и равнодушие, и скуку, и усталость, когда ей приходится долго возиться с ним. О чем она думает, чего она хочет? Что гнетет ее?.. И во мне поднимается убийственная и мрачная ненависть. Она говорит не «наш сын», а «мой сын». Подругам, по телефону, своей матери. «Еще раз услышу,— сказал я,— задущу»...».

Сестра Кони торопливо вносит телефон — тяжелый, основательный, кремового цвета, на кружкэ номеронабирателя непривычно много букв и знаков,— ставит около меня, втыкает в стену у кровати штепсель (кстати, штепсели, вилки в Америке тоже не такие, как у нас, не круглые, а плоские, пружинящие) и дает мне трубку: «Москва!» Она рада за меня, подбадривающе улыбается и выходит. А из телефона на всю палату, стереофонически, космически, громко и ясно, словно говорят из соседней комнаты по мегафону, звучит голос моей жены: где я? что со мной? что случилось?.. А я смеюсь, отвечаю, ничего особенного, спрашиваю: как дома? Сын кричит: «Папа, здравствуй, ты мне ковбоев приве-

зешь?» (Еще недавно в Америке не было солдатиков, а только ковбои и индейцы, а теперь есть и какие хочешь: немцы, русские, десантники, морская пехота, танки всех марок, а я из первой своей поездки привез ему кучу замечательных ковбоев и индейцев, даже на лошадях.) Потом трубку берет мой друг Володя, в своей манере пошучивает: у меня, мол, тоже вчера болело сердце, пришлось выпить почти целую бутылку коньяку, пока не прошло, выкурить пачку «Беломора» и просить одну знакомую поставить на сердце горчичник. Попроси и ты у них, старичок, стаканчик виски, сигару и отвали ночью из больницы в какой-нибудь ихний развратный вертеп. Жена выхватывает трубку и, слышу, посылает Володю далеко. Она спрашивает о премьере и, когда узнает, что я там не был, пугается. Я прошу, чтобы позвонили в театр, в издательство, маме, и слышу, Володька басит: ничего, мол, мне не сделается, если я продолжаю интересоваться делами. И тут разговор прерывается, и еще через несколько минут сестра Кони уносит от меня телефон. Оказывается, его забирают нарочно, чтобы не волновать больных. В самом деле, я весь в поту, перед глазами круги, я перенесся в Москву, побывал дома, обнял их, поглядел на них, ощутил родные запахи, вернулся назад. Нелегко. Какой вообще бесконечный и наполненный день, — и все не кончится! — какое тут сердце выдержит? И еще книга, все время книга...

«...Мальчик жил у моря и всегда рисовал один и тот же пейзаж, во весь лист бумаги: пол-листа — море, пол-листа — небо, в середине половина солнца, которое садится, и на синем море — красная дорожка от него, а в небе — красные от заката облака... Всегда, с маниакальным упорством, в десятках вариантов — одно и то же море и заходящее солнце. И ни кораблика, ни самолетика. Что это означало?..»

#### Утро. Коронарография.

Это похоже на кусочек фильма о пришельцах, на операцию в космосе, в космическом корабле. Здесь нет ничего, что было бы мне знакомо, понятно (если не считать зеленой шляпы Май, которую она не снимает, видимо, никогда, даже ночью). Но я не ощущаю ни опасности, ни враждебности. Сосредоточенно движутся две сестры в зеленых хирургических одеждах, шапочках, масках, тут же О'Доннел в таком же наряде, и к нему я тянусь как к родному — он по крайней мере не марсианин. Я на столе, пристегнуты руки-ноги, операционное поле — сгиб моей правой руки, и над рукой склонился О'Доннел. Я знаю, что у нас делают коронарку через ногу, здесь через руку, и почему-то через правую. Ну, им видней. Одна сестра наиболее активна и решительна, она в непроницаемой маске, очки в золотой оправе, за ее спиной качается Маина шляпа. Потом исчезнет: Мае станет дурно от брызнувшей крови, и ее усадят на стул.

Молчаливый О'Доннел между тем не закрывает рта, Мае надо переводить. Он рассказывает мне все, что и как со мной делаю, для чего, что будет, чего я должен ждать. Мне нравится этот американский принцип, сделавшийся привычкой. Например, если вы летите в большом «бойнге», где есть телевизор, его включают еще перед взлетом, и камера покажет вам кабину пилотов, их самих, а потом командир корабля, направив объектив на взлетное поле, детально расскажет пассажирам, куда он рулит, что делает, сколько осталось до взлета, и так покажет и расскажет, не теряя ни юмора, ни серьеза, весь процесс подъема корабля в воздух. Благодаря гласности американец сопричастен всему, в чем участвует, и имеет право знать все, что хочет знать. (Ему навяжут даже то, чего он знать не хочет.) Точно так же и американские врачи: в отличие от наших, у них принято говорить больному то, что есть. В чем, по крайней мере, врач уверен. И если у вас рак, вам скажут: рак, и сколько вам примерно осталось, чтобы вы могли закончить свои земные дела и не обольщаться надеждой.

Техника моей маленькой операции такова: взрезав на руке артерию и вену, пускают два длинных гибких катетера (О'Доннел их предвзвешенно показал) до самого сердца. Затем вводят лекарство (или контрастную жидкость, не знаю) — «сейчас будет горячо, неприятно, потерпите», и снимают, как я понял, рентгенофильм. Потом, прямо тут же, показывают на экране: две змейки воткнулись головками в мое сердце, я вижу, как оно пульсирует.

Впрочем, к этому моменту, кажется, и любопытство мое уже ослабло: процедура все же не очень приятная, болезненная, и длилась не меньше часа.

Мая в изнеможении опять брякнулась на стул, — надо сказать, она переводила добросовестно все до слова, несмотря на свою дурноту. О'Доннел, кажется,

готов был хлопнуть меня по плечу и улыбался во все свои неправдоподобно роскошные зубы. Золотоочковая сестра сняла и маску, и очки, и зеленый колпак, и из-под лягушечьего наряда явилась совершенной Василисой Прекрасной. И одарила меня улыбкой высшего класса, № 1, какие сияют с журнальных обложек.

Еще в награду — стаканчик сока. Руку даже не забинтовали, они не любят бинтовать, — заклеили пластырем — и гуд бай, все о'кей.

Ну что ж, вы так, и мы так: вернулся в палату как ни в чем не бывало, включил телевизор, стал смотреть утренние мультики. Маю увезли в театр.

Уолт Дисней когда-то придумал компанию постоянных героев, из серии в серию переходили Микки Маус, утенок Дональд и пес, — и этот принцип компании героев так и оставался и используется на всю катушку; так вот, среди этих постоянных персонажей мне опять встретилась замечательная собака — меланхолическая, с карикатурно-английской невозмутимостью. Вокруг — бам, трах, бац — бегут, ловят, ее понукают тоже, и она движется, не меняя пластики, не прибавляя скорости. И вдруг кто-то из спешащих на всем ходу — блямя! — разлетается вдребезги. И длинноухая, длиннотелая собака садится и начинает хихикать. Не может удержаться. Даже сама от себя не ожидала, а помирает со смеху. Трясется до самого пуза. Очень смешно.

Вошла высокая милая белая сестра Джуди, остановилась в изумлении: лежу после операции, высоко на подушках, один, рука, заклеенная на отлете, весь в розах, и помираю со смеху.

Джуди покачала укоризненно головой, выключила телевизор.

Я утер слезы, а перед глазами сразу — вместо замечательной собаки — две змейки в сердце, два катетера окровавленных, какими их уже извлекали из меня. Ну-ну, не стоит, ничего страшного. Все относительно. Вспомним лучше пациента доктора Бернарда, которому пересадили сердце; была такая фотография: он сидит на кровати, держит в руках склянку, где лежит его старое сердце. Его сердце. А в груди в это время бьется чужое.

Часа через два (я дремлю) входят Рей, Д. Б., О'Доннел. Строго мужская компания.

Обменялись улыбками, сели, Д. Б. ко мне на кровать, в ногах. На нем, как всегда, голубоватая хирургическая шапочка, вроде пилотки, марлевая маска спущена на грудь, белые пластиковые сапоги. О'Доннел в отличном костюме в крупную полоску, в красивом галстуке. Рей в куртке и джинсовой рубашке с джинсовыми пуговками, застенчивый, как юноша.

Д. Б. сидит, потирает пальцами пальцы, рассматривает их, на меня поглядывает искоса, говорит без предисловий: все, дескать, было ясно и сразу, но теперь анализы, рентген, коронарография подтверждают: я нуждаюсь в операции. В срочной. Протезирование митрального клапана. У меня так называемый стеноз, случай весьма запущенный, для меня это, видимо, не новость, а если новость, то я должен это знать и мужаться. Медлить нельзя, и без того удивительно, что я еще жив, я счастливчик.

Я счастливчик, это точно.

Для их клиники, продолжает Д. Б., такая операция не представляет проблемы, я не должен особенно волноваться, все будет хорошо.

Для вас не представляет, думаю я, а для меня? Как это все будет? Неужели такая необходимость? Нет, лучше отлежаться и лететь домой. Где я возьму деньги? Да и вообще. Операция на сердце. Я понимаю, я читал, и вот доктор Берnard, у нас тоже делают, и я лежал в палате с такими послеоперационными больными, стеноз, клапан, где этот клапан, какой он, вырезать его и вставить искусственный, шарик или диск, который будет прыгать под током крови, биться и... И это мне одному здесь, без всех своих, без родных, без врачей, без Москвы?.. Впрочем, это не аргументы. Надо что-то отвечать, люди ждут.

Рей, волнуясь, переводит каждую фразу долго и старательно, он понимает важность разговора, и я вижу, хочет мне помочь, поддержать. Он старается быть точным. Д. Б. сам позвонил ему в университет и просил приехать. Д. Б. уже воспринимает его как моего друга.

Д. Б. как будто опять отсутствует, говорит, как мне кажется, свою речь почти автоматически, отвлеченно. Но вот оборачивает ко мне голову, и я опять вижу сквозь очки увеличенные стеклами глаза. Они полны мудрости и внимания. И опять в них тень улыбки или даже иронии, нет, не иронии, но покоя и снисходительности — так взрослые смотрят на детей.



Да, отвечаю я, все понятно, я знал, но не думал, что дело зашло так далеко. У нас тоже производят такие операции (Д. Б. кивает, он бывал в Москве и даже в «моем» институте), и, может быть, мне все же лучше вернуться домой... то есть я понимаю, у вас огромная практика, у вас условия лучше, но... как Москва, посольство, как моя семья? Операция есть операция, мало ли что... Но главное, — я окидываю взглядом палату, — пребывание в вашем госпитале и операция стоят, я думаю, недешево, а?..

Все уже в курсе дела, отвечает Д. Б., и Москва, и посольство, и даже радио, давая сообщение о премьере, успело сказать, что автор заболел. Так что на телефонных разговорах вы как раз можете сэкономить. Что же касается денег, то думать сейчас надо не о деньгах, а о жизни и смерти. Вопрос стоит именно так.

Он ясно произнес эти слова: «о жизни и смерти» — и поднялся. И стал, сутулясь, ходить по палате, заложив руки за спину. Высота его роста сразу обнаружилась, что потолок в палате низок. А лампа дает отвратительный «дневной» свет. Кондиционер, тоже вмонтированный в потолок, нагоняет холод.

— Для меня, для нас, — сказал Д. Б., и О'Доннел чуть поклонился, — большая честь помочь вам, русскому человеку, писателю, — он бросил взгляд на цветы, афиши, вырезки из газет, которые Бэт вчера прикрепила к стене красивыми красными кнопками, — вы нужны вашей стране, вашей семье, представьте, что с вами произошел в пути несчастный случай. Разве ваша страна бросает своих граждан в беде? Не думайте о мелочах... — И тут он опять стал надо мною и взял мою руку у запястья, где пластиковый браслет с моей и его фамилиями, нашел мой пульс и умолк.

В самом деле, о чем я говорю? Какое им, собственно, дело до моих сопутствующих соображений? Надо решать главное. А у меня засело в голове: сколько это будет стоить, могу ли я обременять кого-то, почему за меня надо выкладывать несколько тысяч долларов, не проще ли сделать операцию дома? Надо отвечать: да, нет.

Хорошо, говорю, я все понял. Делать так делать. Но все-таки я хочу поговорить с посольством.

Да, кивает Д. Б., разумеется.

И еще. Я сажусь и прошу Д. Б. присесть тоже. Он садится, опять близко ко мне, на край кровати, продолжая держать мою руку. Я, слегка пошучивая, прошу его понять вот что: у меня натура, так сказать, чувствительная, лирическая, воображение гипертрофированное, и не может ли так случиться, что чужеродная штука в сердце, механический клапан, который я волей-неволей буду все время ощущать в себе, нарушит мое психическое равновесие, испортит в конце концов мне жизнь? Не случилось ли такого в его практике?..

Д. Б. опять поглядел внимательно (О'Доннел в стороне слегка рассмеялся), улыбнулся, чуть пожал плечами.

— Я понимаю, — сказал он и покивал головой, — понимаю.

Потом снял свои очки и подержал их на весу, протянув ко мне. Глаза его сощурились и пропали.

— Вы носите очки? Вы к ним привыкли?.. Ну вот, клапан не более механическая штука, чем очки, — засмеялся и встал.

Так все решилось.

«Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю». Не могу найти лучшего слова: упоение открывшейся опасностью, упоение ближнего боя охватило меня. Операция на сердце. Вырежут кусочек твоего живого сердца, вставят механическую штуковину. Где-то в Америке, вдали от дома, от своих, я один на один с этой Америкой. Мама на аэродроме заплакала и сказала: «Не ездил бы ты туда, там ведь всех убивают». И все это уже решено, уже близко. Ну и что? Что такого-то? И прекрасно. Сделают все, как надо, уж не хуже, чем у нас. У нас бы я сейчас лежал в палате человек на шесть, нянечка Варя застилала бы старые и грязные матрасы, которых лежит по три штуки на койке, рваными простынями, стелила бы одну простыню, а поверх другую, чтобы дырки первой прикрылись бы цельным местом второй, а дырки второй легли бы на цельное место первой; и запихивала бы жиденькую подушку в наволочку с черными казенными штемпелями, которые равнодушная и глупая рука вечно старается брякнуть где попало, и штампель потом неделю чернеет у тебя под носом, пока не переменят белье. И потряхивала бы баба Варя выдавшим виды одеялом, взятым вроде бы из чистки, а вроде бы и со

вчерашнего покойника, и бормотала бы при этом, сердешная: «Ну всем хорош институт, всем хорош, только нет ничаво».

А институт и вправду хорош, замечательные врачи, хирурги, полным-полно докторов и кандидатов наук, все читают по-английски, и ездят сюда, в Штаты, и знают все новейшие мировые достижения, и методики, и технику, и сами делают сложнейшие операции на сердце и сосудах, а «нет ничаво», потому что помещение старое, а новое никак не выстроится, денег нет, и только на лекарства деньги забраны на три года вперед, а больных с каждым годом не меньше, а больше, и еще надо думать о детях, расширять детское отделение, где делают операции крохам-младенцам, как только обнаруживают у ребенка врожденный порок. Ну и так далее, так далее. Так что скажите спасибо, сэр, что вы попали в такое место, в такие руки, бросьте свои сантименты и дрожь в поджилках, все будет о'кей. И признайтесь: все решилось, и вам легче. И вообще уже даже некоторая появляется гордыня: мол, смотрите, где я лежу, что со мной будут делать, каков я есть гусь лапчатый. Да-да, пусть делают, зарежут так зарежут, на роду, значит, написано, да и то как-то оригинально: слышали, мол, как он помер? В Америке, на операционном столе! Ай-ай-ай, вы подумайте! Да один поэт, между нами, все бы отдал, чтобы эдак-то преставиться! Да, шикарно, шикарно!.. Ну, а не зарежут, значит, спасут, вылечат, возвращаюсь со щитом, прихожу к своим врачам: вот, братцы, смотрите, слушайте, извините, что из ваших лап ускользнул, вроде все о'кей. И главное, я буду здоров, буду дышать, ходить, бегать, водить машину, любить жену, поднимать на руки и подбрасывать в воздух сына, плавать, сидеть, как я люблю, по десять часов за машинкой, летать и ездить, пить с мужиками спиртягу или бормотуху, — словом, быть богатым и здоровым, а не бедным и больным. Вперед, в операционную, на стол, и ничего не бояться. И не надо врать себе: как будет, да что, да как я тут один, да откуда деньги. Все это чушь. Деньги, между прочим, дадут кой-какие за ту же пьесу, потом пойдет еще что-нибудь, или попросим Министерство финансов принять рубли, а отдать американцам доллары. Обойдется. Образуется. В самом деле все мелочь по сравнению с тем, что предстоит. Есть, между прочим, люди, которые ездят за границу даже зубы себе лечить, и некоторые (не будем указывать пальцем) за счет государства. Обойдется. Все обойдется. Судьба знает, что делает: второй раз за один год шлет меня в Америку, устраивает мою премьеру в том самом городе, где работает знаменитый Д. Б., и передает меня прямо в его руки. Что-нибудь это да значит. Надо довериться Провидению, как писалось в старинных американских романах. Довериться. Слушаться и идти.

...Темные острые веселые глаза, точеный носик, взбитая прическа, милый овал лица, и словно бы что-то знакомое, свойское. Без халата, в серой юбке, сапогах, в сером свитере, белеет воротничок. Лет тридцати. Убирает на ходу пустой стакан, поправляет простыню, глядит на меня с открытым интересом, тараторит с еле-еле заметным акцентом и только кое-какие слова говорит неправильно: «я сейчас побегу в сумку за ручкой с блокнотом, все позаписую». Все время что-то делает, не стоит на месте, потом села, словно распалась: «Как я устаю, ты бы знал!» Сразу на «ты» со мной, как со своим.

Рассказывает: я чешка, из Праги, Алена Поручикова, училась в Ленинградском меде, уж это десять лет назад, а то больше, уехали в шестьдесят восьмом году. Не могла я видеть ваши танки в Праге, я не такая, чтоб терпеть, а молодая была, совсем как черт, а тут еще мужа с работы сняли, из партии исключили, да пропадите вы совсем, поехали, Владя, к черту отсюда, а у него дядька в Канаде. Я на нервной почве ребенка больным родила, слез пролила над ним не знаю сколько. А в Канаде в этой все чужое, дядька який-то псих, мне сразу под юбку, Владя его в коридорчик вывел, поговорил, вернулся: собирайся, мол, Поручикова, поехали дальше. Сюда приехали, я хоть малость по-английски умею, а Владя мой никак, учиться надо, переучиваться, советский диплом — нет, сдавайте экзамен опять на врача, а у них на врачей двенадцать лет учатся, экзамен компьютер принимает, ошибся — до свидания. Но я видишь какая? Я упорная, я до работы злая, яки беси. Сидела день, ночь, денег нету, работаю санитаркой, ночами дежурю, Владя язык никак не возьмет, с мексиканосами черную работу в порту ломит, туда ехать два часа, больше бензина сожжешь. Врачи получают здесь много, самые денежные — это врачи и адвокаты, но если без диплома — фи!.. Я одного вашего русского знаю, еврея, тоже врач, в Москве в детской

Филатовской работал, здесь тоже в маленький госпиталь хирургом пошел. Но на новый диплом не сдал, лентяй, не могу, говорит, и все, ну их к черту, полторы тыщи мне и так хватает. Понимаешь, полторы только получает? А можно три и больше. Я на двух работах работаю, они на меня косо смотрят, они этого не понимают. Все время работать? А жить?.. А я за один год столько заработала — дом купила, машину, видишь, как щепка стала? За ребенка врачам сколько денег даю — ужас. А твои пьесы в Ленинграде видела, ей-богу. Слышу, у нас русскую пьесу ставят. Лет пять назад я от одного слова «русский» зубами скрипела, а теперь ничего, что с вами сделаешь, весь мир с вами ничего сделать не может... Один русский дурак, другой умный, как везде. Слышу, твоё имя говорят. Нет, думаю, дай посмотрю. Я думала, ты старый, а ты вон какой, еще ничего. Мы тебя вылечим, ты не бойся...

Вот такая явилась ко мне гостья, славянская душа. «То мне не любо, то мне не треба... не схочу — так не буду...» Убеждать ее, чтобы она не ругала советскую власть, бесполезно, выгнать по этой причине и не разговаривать, — но если следовать этому принципу, то за границей вообще невозможно было бы общаться с людьми. Глупо. Мне, наоборот, надо слушать, знать, понимать, в судьбе одной такой Алены — сгусток истории, трагических ее противоречий, несообразностей, ошибок. У меня у самого душа рвалась на куски 21 августа 1968 года, когда наши танки вошли в Прагу, и я не думаю, что в тот день много нашлось людей, которые радовались бы по этому поводу.

Мы говорили о том о сем, оказалось, Алена работает у Д. Б. анестезиологом (она все-таки сдала экзамен), стоит рядом с ним на операциях. Я стал ее, естественно, расспрашивать как и что. Она беспечно махнула рукой:

— Да я тебе все покажу, не переживай. — Потом, глядя на афиши и рецензии, опять заговорила о спектакле, сказала, что обязательно пойдет смотреть.

— А тебе-то как? — спросила и диву далась, что я не видел. — Как это так? Петел поглядеть и не видел?

Я объяснил. Она вскочила, стала бегать по палате. Возбудилась до крайности, не могла меня понять.

— Ну, ты хочешь поглядеть-то?

— Ну а как ты думаешь? — Я уже начинал злиться.

— Фу ты! Вот ведь народ! Хочет, а сам лежит!

— Так нельзя же!

— А на свете ничего нельзя!.. А ну вставай! У тебя справа тут? — И она уже распахнула стенной шкаф, где висела моя одежда и стоял чемодан.

Господи, а ведь в самом деле, подумал я, какого черта! И дух матроса Фокусова вселился в меня. Я же хожу, двигаюсь, силы у меня есть. И если уж предстоит операция, то какая разница, нагрузу я сердце еще раз в своей жизни или подержу его в покое до ножа?..

— У меня коронарка была сегодня, — заикнулся я напоследок, но уже спускал ноги с кровати.

— Да брось ты! — махнула Алена рукой. — На, одевайся, давай помогу. — И без стеснения натягивала на меня носки, рубашку, прихорашивала, причесывала.

Я смеялся, сердце у меня колотилось, а Алена вырабатывала план действий: идем тихо, мимо сестры, главное, я ей скажу чего-нибудь... там до лифта... внизу я подгоню машину и поедем...

До сих пор не понимаю, как я доверился, как согласился, пошел, поехал, ничего не боясь, ни о чем подозрительном даже не подумав. Должно быть, она устыдила меня, должно быть, мое желание оказаться в театре оставалось столь сильным, что не позволило ни одному сомнению, ни одной тревожной мысли остудить мое легкомыслие. «Хочет, а сам лежит!» Ну в самом деле! Какого черта мы так привыкли слушаться чужого «нельзя» вопреки своему «можно»?

— А как же врачи? — говорил я, выходя из своей палаты, а Алена все махала рукой: — Ну шо врачи? А я тебе не врач? Сейчас слухай меня... Поедем, пять минуток там поглядишь, и душа у тебя успокоится, не так?..

И мы прошли коридором, спустились лифтом, я ждал без пальто у выхода, пока Алена подошла здоровый драндулет — «форд», в котором уже гудела, гнала тепло печка, и мы поехали, черт побери! В ночь, по незнакомому городу с шелестящими среди зимы деревьями, одноэтажному, с фонарями, которые качает ветер, с горящими в ночи рекламами, названиями гостиниц, ресторанич-ков, с закрытыми магазинами (а витрины освещены); с редкими прохожими и яростным потоком машин на магистрали, пересекающей город насквозь. Развил-

ки, виадуки, яркие, хорошо освещенные (белое на зеленом) дорожные знаки, которые сами ведут тебя, не спутаешь. Потом, много раз, я буду сам рулить по этому городу, с трудом разбираясь в его дорогах, районах, магистралях, которые до конца не освою без карты, так никогда и не пойму, куда ехать. И только дорожные знаки, названия, номера дорог будут всегда безошибочно указывать путь и приводить на нужное место.

Глядя, как лихо Алена управляется с машиной, мчит в вечернем густом потоке, я думал: быстро умеет Америка приучить человека к своему ритму, порядку, правилам, необходимости вот так включаться в конвейер. Даже такую вот вольную славянскую душу. А как иначе? Куда ты денешься? Мчись вместе со всеми.

Минут через семь-восемь мы были у театра. И я увидел освещенный фасад, и премьерное полотнище с названием своей пьесы. В центре города, где находится театр, в районе небоскребов, где никто не живет, поздним вечером было светло, чисто и пусто. Даже машин немного, и лишь светофоры, переключаясь, оживляли картину (хотя трудно назвать живым светофор, который мигает будто сам для себя). И театр, и подъезд, и улица — все оказалось не таким, каким было в моем представлении. Главное, ни души и ни звука.

Мы стали там, где стоять нельзя, я остался в машине, горячей всеми стоп-сигналами, а Алена ринулась в театр, в стеклянную дверь, которая сама распахнулась перед нею. И через минуту уже бежала оттуда без пальто, в блузке с бантом Бэт, и Алена за нею, и длинноволосый статный парень в черном свитере (он играл, как выяснилось, Автора). И Бэт взяла меня за руку и повела. В пустых фойе раздавались звуки спектакля. Надо было подниматься по лестнице, и мне приходилось останавливаться и отдыхать через каждые пять ступенек, хотя я держался храбро и улыбался вроде бы над самим собой. И в конце концов мы вошли в темноту зала, на самый верх зрительских кресел, расположенных крутым амфитеатром, и я увидел, как мне показалось, далеко внизу огненный финал своей пьесы. Мы где-то сели, Бэт не отпускала мою руку, Алена стояла сзади, пот лился с меня градом, зал был полон, дышал, жил, головы, головы, плечи, настал тот момент, когда вот-вот заплещут аплодисменты, а кто-то из зрителей, пригнувшись, уже выбирался из рядов, спеша в раздевалку (в этом новом шикарном театре был гардероб). И пахло театром, несмотря на все развевающий кондишн, и капельдинерши в униформе уже отдергивали занавески у выходов.

— Надо обратно,— говорила мне на ухо Алена,— давай.

Но матрос Фокусов уже вполне обжился во мне и не хотел покидать театра. Тем более что Бэт успела сказать: после спектакля Галина собирает актрис на прошальную вечеринку, ведь завтра она улетает. И матрос Фокусов решил остаться, показаться артисткам, поздравить их, проститься с Галиной. Ведь она еще, должно быть, и не знает об операции.

Мы не успели выйти из зала — появились Дита, Мая, Найна, директор-распорядитель театра; Бэт побежала к Галине, которая только что выходила поклониться на сцену в черном красивом платье, сверкая причесанной головой, камнями в ушах и на пальцах. В американском театре не принято вызывать актеров по несколько раз, и лишь по интенсивности, продолжительности и слитности аплодисментов дано судить о зрительском впечатлении. Хлопали внушительно, и, судя по тому, что все мои друзья сияли и были взволнованы, спектакль прошел удачно.

И меня повели, повлекли, спускали на лифте, берегли как могли, и привели за сцену, и усадили, хотя все стояли на американский манер с бокалами и бутербродами, а Галина выставила заветную банку черной икры, здоровую синюю банку, и говорила за меня тост, особенно благодаря за веник. Почти два десятка актрис, костюмеры, рабочие, администрация — все мелькало и плыло перед глазами, вспыхивали еще фотомолнии, и по рукам тут же ходили цветные поляроидные снимки,— мне кажется, я помню эти полчаса более по этим нескольким сохранившимся у меня снимкам, чем сам, своею памятью. И совсем не помню, как мы возвращались, пробирались назад в палату, была ли Алена, или только Бэт, взволнованная и, кажется, на Алену сердитая — она вела меня, крепко удерживая за руку. Но, может быть, не было и Бэт, а мне только хотелось этого.

Во всяком случае, меня увезли после первого тоста, когда вечер только начинался. Даже матрос Фокусов не стал возражать. Тем более что душенька его была довольна.

«...Мальчик в одних белых трусиках ползет по холодному утреннему полу среди раскладушек. Это старинные раскладушки, их косые деревянные ноги схвачены в перекрестье железным болтом, а брезентовый верх прибит гвоздями. Тела провисают в них, как в гамаках. На полу так и сяк валяются детские тапочки и сандалии, еще полные вчерашнего песка, с написанными внутри химическим карандашом фамилиями. Мальчик ползет мимо них, мимо тумбочек, от которых пахнет пионерским лагерем: зубным порошком, мылом и залежавшимся печеньем. В руках у Мальчика тоже сандалии. Надо выбраться потихоньку, следом за другом Юркой, который разбудил Мальчика, ткнувши кулаком в бок. Еще очень рано, солнце не взошло, до подъема, когда надо быть опять на месте, часа два.

Юрка уже тут, нетерпеливо машет рукой. Мальчика и без того потрясывает легкий озноб — волнение, холодный пот, — а здесь еще холоднее, воздух сер, все кажется бесцветным, мертвым. Только в кронах акаций просыпаются, возятся птицы. Белеет тропа, усыпанная толченой ракушкой, на ней упавшие за ночь кипарисовые круглые шишки.

Мальчик торопится, сует ноги на крыльце в сандалии. Юрка ждет. Юрка гораздо старше, ему уже двенадцать, он черный от загара, худой, на затылке отросли длинные волосы, а на груди на шнурке болтается амулет — рыбий зуб. Этим Юрка похож на Маугли. На нем черные трусы и майка, сшитая из тельняшки. У Юрки мать повариха, и он не боится в лагере никого. А Мальчик еще мал и бел, лицо круглое, в веснушках, плечи облезли, нос облупился и чубчик выгорел. Не застегнув ремешков, он бежит поскорее по тропинке: вся земля будет суха, колючка, ниже пойдут камни, кусты, босиком никак нельзя.

Ракушка хрустит, Юрка с досадой делает знак: тише, и они бегут, уже вместе, как можно осторожнее, — вниз, вниз, прыгая через камни и съезжая по осыпям, — к морю.

Как Мальчику хочется походить на старшего друга, но как? Тот черный, а ты белый, у того нет веснушек, а у тебя есть, тот ловкий и быстрый, а ты, например, увидел: дикий голубь слетел на ветку, да как-то маленько промахнулся, и копошится, стыдно ему, подправляет себя нелепыми взмахами крыльев, сердится, усаживается, — как тут не засмотриться? Юрка бы так не сделал.

Иной раз часами старается Мальчик походить на друга: и ступает так, и руки забросит за голову, и строго смотрит, и говорит кратко: «А ну-ка! Кому сказано!» Но потом забудется и живет опять самим собой: бегаёт, на одной ножке прыгает, хохочет, от обиды губа дрожит, вот-вот заплачет — Юрка бы такого не позволил. И отчего это одни люди такие, а другие такие?

Все спускаются к морю деревянной лестницей в несколько длинных маршей, проложенных по изгибам горы. Но мальчишки — только своей тропой. Она заросла шиповником, барбарисом, ежевикой — колючими и сухими кустами, и здесь всегда обдерешься. На Юркином черном теле остаются красивые белые царапины, а у Мальчика — красные и вспухшие, с проступившей капельками кровью.

На ходу приходится все-таки застегнуть сандалии: на осыпях ноги выше щиколотки уходят в землю и в песок, того гляди сандалий там и останется. Песок сверху ночной, сыроватый, а внутри приятно теплый, там еще вчерашнее тепло.

Сквозь кусты уже видно море, словно бы стоящее стеной, без горизонта и неба, и маленький каменистый пляж среди скал. Это место называется греческим названьем Форос. Форос, Форос — звучит в душе с детства неведомое слово, и море плюхает в скалы, красный мак цветет на круче, чайки падают на волну, и остро пахнет морской гнилью, выброшенной на камни. О, Форос, туманные рыбацьи челноки на свинце воды, прохладный утром, а днем раскаленный и белый булыжник, тонкие мальчишеские тела, ныряющие со скалы в белую пену. Восторг и счастье детства, живущего каждый день, как целую жизнь, как тысячу лет, как две тысячи и три.

Их уже ждут, там еще двое черноголовых мальчишек из аула, они стоят на коленях под скалой и выкапывают оружие. Юрка легко свистит и первым спрыгивает сверху на пляж, бежит к ребятам. Мальчику никак не удастся так же ловко скакать по круглым, кладающим под ногой камням. Кроме того, он поражен пустотой и чистой пляжа, который днем бывает забит ребятей, все орут, вожатые в красных галстуках кричат команды и врач в белом халате тоже. А сейчас тишь, гладь, только еле дышит, плещет море, и чайки несутся сюда, углядев людей, надеясь пожить. Отчего всегда так чисто утром?..

Когда Мальчик приближается, оружие уже выкопано. Это остроги. Сделаны из крокетных палок, которые Юрка утащил из лагеря. А к палкам прикручены вилки, тоже взятые из столовой. Крокетные палки красивые, лакированные, с цветными ободками.

Мальчику тоже достается острога, правда, та, что похуже. Но он ведь и поменьше. Это только взрослые дают самым маленьким самое лучшее, а дети между собой поступают наоборот.

Мальчики бегут через весь пляж туда, где белеет полоса песка, под самую гору берега, и там мечут, пристреливают остроги, меряются: кто дальше? Остроги вонзаются в песок, уходя на всю вилку, и хищно подрагивают, как боевые копья. Мальчик тоже мечет свою острогу, и грудь расширяется, плечи наливаются силой. Так они греются, разминаются. Они ждут солнца.

И вот розовый свет, неведомо откуда берущийся, потому что горизонта все нет и небеса по-прежнему серы, без облачка, насыщает постепенно воздух, ложится на воду, делает отчетливыми скалы, дотоле безжизненные. Розово все, что вокруг: лестница, камни, кипарисы сверху, на горе, и цветные стекла старой дачи, и это насыщение гуще и гуще с каждой минутой. Необыкновенный свет возбуждает, веселит сердце: хочется прыгать с острогой в руке, мчаться, догонять, вонзять, издавая воинственные клики.

Мальчики уже движутся вдоль воды, по кромке твердого мокрого песка. Следы босых пяток тут же напитываются влагой, но море еще спит, у него нет сил тут же слизнуть эти детские следы. Охотники походя высматривают, чем поживиться, и разбрасывают, пошевеливают острогами зеленые и бурые горки морского мусора. Чистейшее море не любит никакой тухлятины, оно безразлично опускает на самое дно или вышвыривает на берег любого дохлого малька, треснувшую большую мидию, инородную персиковую косточку, добела отмытую, или длинную винную пробку с иностранными клеймами. Чайки, мухи, прозрачные морские блохи трудятся своим санитарным трудом, изничтожая падаль, и вместе с ними, не гнушась, но прыгая и красуясь с независимым видом, будто они тут ни при чем, бегают грациозные трясогузки, потряхивая бело-голубыми нарядами хвостами.

Между тем где-то вдали, не в этом маленьком небе, что над Форосом, и не в этой бухточке, что под ногами, а в большом, главном небе и огромном, бескрайнем море совершается нечто великое: выкатывает колесницей солнце. Все меняется, все изменилось. Солнце катит быстро и весело, не успеешь оглянуться — уже сияет над дальней горой. Оно слепит, точно огненная рука выбрасывает из кулака пальцы — так брызжут в лицо водой, но только кидает эта рука в глаза пучки нестерпимого света. Ослепнешь, отвернешься, пройдут круги и резь в глазах, поглядишь на мир опять, а он из тусклого, а потом розового превратился в разноцветный, настоящий, словно мокрая переводная картинка, с которой только что скатилась бумага. Все сияет. Блики от воды, как сабли, секут черные скалы. Море стало зелено, дальний бледный горизонт наконец отделил его от небес, видна также стала каждая лодочка с сидящим в ней рыбаком, и видно кто в фуражке, кто в широкополом соломенном брыле.

Вот теперь пора. Теперь чудища-крабы, продравши хитрые глазки, поползут из своих ночных щелей греться на солнышке. И тут охотники будут хватать их, кидать в старую рубаху, связанную внизу рукавами, а где не достать — бить острогой. Вперед!.. Надо кидаться в воду, плыть до ближайших скал, где они соединились невысокой грядкой, через которую переплескивает вода, и где множество лунок, щелок, дырок, омываемых сразу и морем и солнцем, — туда и наползут крабы. И там вылезать, идти, расходиться друг от друга, чтобы не мешать, но и не удаляться: надо же хватать добычей и кидать ее в общий мешок-рубаху.

У берега сразу глубоко, дальше будет еще глубже. Мальчик смело гребет по-собачьи, саженками, колотит по воде как умеет. Еще же острога в руке. Юрка не ушывает вперед, боится, а потом, сжалась, забирает острогу. И сразу легче.

Первым долгом, войдя в воду, Мальчик сделал глоток воды, соленой и горькой. Это Юрка научил: нырнул — глотни, будешь здоров и крепок. Всю жизнь потом Мальчик, плавая в море, будет так делать, и каждый раз непременно вспомнит своего друга Юрку. Этот отчаянный Юрка в пятнадцать лет на второй год войны убежит на фронт, а в семнадцать сгорит в танке. Получит посмертный орден, и все.

Вот они плывут рядом, и вылезают потом на скалы, и подрагивают, потому что солнце хоть и ярко, но еще слабо греет.

А вот и крабы, крабики, вон один испуганно побежал боком, вон другой чесанул тоже. Но это мелюзга, нечего и брать.

Между прочим, крабов можно ловить и сачком: бросить в сачок дохлую рыбину или кусочек мяса, опустить на дно или в расщелину — бери потом да тащи. Но это не так интересно и долго ждать. То ли дело идти, искать, заглядывать под каждый камень, в каждую лунку, обросшую зеленой скользкой травяной наростью, видеть, ловить, бить остройгой, поймать!.. Потом, в рубахе, стучаясь с костяным звуком, крабы будут лезть друг на друга, злиться, пускать пузыри, прорывать ткань то острым усом, то зубриной клешни. Мальчик, правду сказать, побаивается их, не умеет, как Юрка, смело схватить краба поперек панциря и поднять в воздух, чтобы тот в бессилии, беспомощно шевелил бледными членистыми ногами и посверкивал белым пузом. Да у Мальчика и руки не хватит. Поэтому на краба покрупнее и нужна острога: тюкнул, прижал его вилкой, стой, зверь, не уйдешь.

Ребята продвинулись вперед, прыгают и время от времени вскрикивают там, настигая добычу, а Мальчик, конечно, отстал; его отвлекает то глубокое дно, видимое сквозь прозрачную воду; то сверкающая стая мальков, удивительно, разом, как один, меняющая курс своего движения; то плывущая величаво и одиноко медуза цвета стакана, из которого вылили молоко. Крабы Мальчику попадаются такие же маленькие, как он сам, и острога уже отмотала руку. Если не движешься хоть минуту, чувствуешь, как припекает солнце.

Но вот он, краб! Мальчик отпрянул — такой это был большой, страшный краб, и так близко оказался перед глазами. Сидит в овальной дырке, словно для него приготовленной, на самом солнышке, чуть омываемый водой. Здоровый, старый, синий, с одной толстой клешней, а другая повисла крошкой.

Мальчик отпрянул и тотчас нацелился остройгой, но пока что не мог отвести от краба глаз. Тому все равно куда не деться. И сидит спокойно, не чувствует, что ли, опасности.

Нет, черные глазки глядят безразлично и зло: мол, ты что это, Мальчик?

Ну и краб. Мелкие белые ракушата, похожие на кончик раскрывшегося фисташкового ореха, вросли в его брюхо, точно в камень, панцирь и клешня не то что зелено-бурые от старости, а отдают именно синевой, он сидит сумрачно, как старый царь, распустив брюхо, расслабив паучьи ноги.

Разве можно охотнику вглядываться в свою дичь? Увидеть ее, подумать о ней? Мальчику хочется закричать, позвать Юрку, который не знает созерцания и жалости — ударит остройгой, и все. А Мальчику с каждой секундой страшнее, он робеет перед царской осанкой и старостью краба, перед его утренней думой на солнышке, перед мощной клешней, говорящей о прежних битвах, победах и славе, давших нелегко, и перед другой, оторванной в битве и заново еще не отросшей. Мальчику чудится: сейчас все крабы поползут из моря на защиту Синего, поэтому он и не бежит, поэтому так злы и высокомерны его глазки, торчащие по бокам туловища, словно фары старого автомобиля.

Но все же он добыча Мальчика, он — враг. И у Мальчика план: прижать его остройгой в лунке и звать ребят. Так еще можно. Что с ними будет! Такого краба сроду не ловил никто. Великая слава ждет Мальчика. Поймал крабьего царя. Однорукого великана. В самом начале охоты. Счастливчик...

Мальчик заносит острогу, и — краб в тот же миг выбрасывает вперед клешню и щелкает ею. Ух ты! Вот тебе и старый, вот тебе и дремлет на солнышке. Да он давно готов к бою. Мальчик и не заметил, а он уже пружинисто стоит на ногах, опять клацает клешней, пугает (и Мальчик пугается), отвлекает и вдруг — раз, кинулся, побежал вбок из лунки, в воду, в мох, ах ты, черт!..

Мальчик тычет остройгой, себя не слыша, зовет на подмогу, краб вот-вот уйдет, нет, удастся откинуть его назад, почти опять к лунке, потом еще пихнуть, а тот смело разворачивается клешней вперед.

Один раз Мальчику удастся попасть в него остройгой, но зубья вилки только бьют, а не пробивают синего панциря и соскальзывают с него, отломив крабу одну ногу. На Мальчика эта оторванная нога действует плохо, она складывается и прыгает сама, а краб, вместо того чтобы бежать, впиивается клешней в стальную вилку. Ну и краб. Теперь уже неизвестно, кто кого держит — Мальчик краба остройгой или краб острогу. И кажется, Мальчик был бы теперь рад, если бы краб бежал. Но Мальчик не знает, что краб — это просто



морской паук, и нрав у него паучий. Нет, нельзя приближаться к добыче, жертва всегда мстит.

Им уже не разлучиться. Мальчишки, прибегая на зов, прыгая по скалам, застают Мальчика едва не в слезах, в испуге сидящим на корточках. Острога его прижала здорового старого краба к камню, а краб намертво схватил клешней вилку — как только достал? Другие остроги тут же готовы вонзиться в краба, но Юрка просто поднимает острогу Мальчика, и краб остается висеть на ней, — вот какая упорная зверюга. Его тут же стряхивают в рубаху, где копошится уже много других крабов, и там сразу начинается суматоха, грызня, злая схватка, будто в самом деле брошен к крабам их царь.

Мальчика хвалят, Мальчику показывают большой палец: мол, ты молодец, Мальчик улыбается в ответ, но глаза его все еще испуганы, и сил нет, чтобы опять ловить, искать, бить.

На обратном пути, когда горн уже протрубил на горе побудку и мальчики карабкаются вверх, спешат, они проходят краем виноградника, что зеленеет на склоне, как раз мимо шалаша старого Халила, который всегда сидит здесь и днем и ночью. Шалаш сухой, как сухой лавровый лист, а старый Халил сух, как сухая вишня. Юрка на минуту кладет перед Халилом на землю еще мокрую рубаху, раскрывает ее, и Халил сразу видит синего краба, который оказывается поверх всех. Старик ловко выхватывает краба длинными сморщенными черными, как головешка, пальцами и с трудом удерживает его: видно, как краб извивается, выдирается, ненавидит Халила. «Красавец! — говорит Халил, цокает и качается, сидя на своих скрещенных ногах. — Ах, красавец! Ты поймал?» — «Он», — Юрка кивает на Мальчика, красного, потного и маленького, и делает нетерпеливый жест, чтобы Халил положил краба назад, они торопятся. «О! — с почтением говорит старый Халил и качается головой вперед. — Герой! Такого красавца!» Старик опускает краба в кучу, Юрка стягивает рубаху, и они бегут дальше. Оглядываясь, Мальчик видит: старик Халил шлет ему привет поднятой рукой.

А потом — кухня. Разве Мальчик не знал, что дело кончится кухней? Разве уже не ловили раньше и не варили на кухне крабов? Низкий потолок с черными раструбами для выхода дыма и пара, жара — нельзя дышать, длинная, как паропровод, плита и кастрюли на ней, словно дымящие трубы. Молодая Юркина мать, толстая и красная, как медный самовар, как красно-медная кастрюля на плите с торчащими ушами-ручками. Сначала Юрка вскакивает на табурет у плиты, а потом Юркина мать ставит туда Мальчика. И Мальчик видит ключом вскипающую воду, в которой крутятся туда-сюда лавровые листья и точки черного перца. А белые повара тем временем охают вокруг синего краба, которого держит чья-то толстопалая рука. Разве не знал Мальчик, что будет дальше? Как он мог молчать, как пропустил момент, отчего? Чтобы над ним не смеялись? Чтобы быть как все? Разве он хотел? Разве можно было синего краба туда же, вместе с другими?.. Как ужасна кухня, ее жар, белые колпаки и марганцовочные лица, вар и пар воды, куда с гиком повалили из белой рубахи крабов. И Мальчик, стоя на табуретке, на почете, как полагается герою, видит: крабы валяются в бурю и пену кипятка еще зелеными и живыми, а вылетают мертво-растопыренными и красными. Бурлит, вертит, глотает и выбрасывает: красных, красных, красных, а синего больше нет. Мальчик чувствует себя предателем, и боль и стыд предательства, непоправимого, как смерть, томят сердце.

Друг Юрка, уже сам посасывая крабью лапку, протянул Мальчику красного здорового краба, странно вспученного и круглого, и отдельно красную же и толстую клешню, отпавшую при варке. Это было так непохоже на синего краба, эти части. Как кухня на пляж, как дневной и залитый солнцем лагерь, где все бегают, прыгают и галдят, на то место, которое Мальчик видел на рассвете; тропу и кипарисовые круглые шишки. Мальчик замешкался, и Юрка сказал: «Ты что? Бери». И мальчик взял, и держал в двух руках: краба и клешню. Губа у него дрожала, он боялся заплакать. Отчего? Ведь надо было еще есть, это был его краб. Юрка ел, и другие ели. И радовались. А Мальчик горевал. Он не знал, что так бывает: одним ничего, даже в радость, а другим — горе и печаль».

«Хирурги пьют кофе, не снимая перчаток...»

Теперь я начал думать вот о чем: что они нарушат герметизацию. Даже если все будет хорошо (я уверен, что хорошо) и они заново заштопают меня, все равно произойдет разгерметизация. Глупо, но я вдруг ощутил себя банкой консервов, которую хотят вскрыть, хотя воздух в нее попадать не должен. Или косточкой в мякоти, яйцом в скорлупе, эмбрионом. Космонавтом в капсуле, наконец. (Много времени спустя в музее НАСА, еще не очень большом и лишенном всякой помпезности, я потрогаю ладонью изъеденную огнем рябую обшивку спускаемого модуля, в каком летят к Земле космонавты, и вспомню это сравнение.) Это не был страх, но что-то другое: малоприятное чувство неведомых последствий происходящего. Вторжения туда, куда вторгаться вроде бы не положено. Я все время суеверно думал: вот раскроют, разрежут, нарушат. Не ногу, не палец — грудь, сердце. **Н а р у ш а т**. Не зря потом моя мать, услышав мои рассказы, увидев мой свежий шов через всю грудь, запричитает: «Господи! Что ж сделали! Я ж тебя целенького родила!»

Вот именно, целенького. Кругленького. Запечатанного. А теперь нарушат, что-то впустят, что-то выпустят. Душу, что ли?.. Ну, душу не душу, но как-то это, видимо, отразится на мне, что-то изменится. Предрассудки? Да, я понимаю, предрассудки. Но я не врач, не хирург, не медик, для которого это обычно и привычно, у которого сотни таких, как я. Я у себя один, уважаемые господа хирурги, я не могу относиться к происходящему так же, как и вы, у нас слишком разные позиции, и рискуем мы тоже по-разному. В случае чего вас ждет лишь краткое огорчение, неприятность, — так я бросаю в сторону испорченную страницу черновика и пью кофе, продолжая печатать на машинке дальше, — но я-то рискую всем. И что будет дальше, потом, при самом лучшем исходе?.. Поймите меня правильно, уважаемый Д. Б., надо по крайней мере приготовиться, приспособиться. Оттяпать человеку ногу за полчаса — одно, а жить всю жизнь без ноги — другое. Не так ли?.. Все проще, скажете вы, все проще, грубее, яснее, не надо преувеличивать. Да-да, конечно. Но не надо и приуменьшать.

---

---

---

## МИХАИЛ СИНЕЛЬНИКОВ

\*

### ТИХИЕ ВИХРИ

#### Море

Я познал это море, постиг божество  
Пожилое, больное.  
Я тебя забывал, обнимая его,  
Засыпая на зное.

Здесь фелуки в сиреневом меркли дыму,  
Исчезали триеры,  
И всегда и всегда изменяли ему,  
И не ведали веры.

Мне уже не достанется рыбы живой,  
Самоцветов и мидий,  
Словно тени прошли в синеву синевой  
Одиссей и Овидий.

Может быть, я родился для этого дня.  
Прилегло к изголовью  
И впервые оно полюбило меня,  
И — последней любовью.

#### Мистерии

В холодном коридоре учреждения,  
Перебиваем хлюпким плеском ведер,  
Плетется скрип. С авоськами бутылок  
Последняя уборщица ушла...

Луч просквозил потемки подземелья,  
Приходит сторож в джинсах и в дубленке,  
Косметику из сумки достает.  
Поет звонок. Впускает гостя, звякнув,  
Опасливо откинутый засов.

Обнажены участники мистерий.

От раковины с проржавелым краном  
До шатких стульев, застланных дубленкой,  
Сатир и жрица, полные желанья,  
Несутся трепеща... Мелькают руки.  
И волосы, взметаемые вихрем,  
Змеятся и ликуют... Мимо кассы  
Взаимопомощи и мимо, мимо  
Шкафов, где истлевают годовые  
Отчеты с мест, анкеты и подшивки  
И сочиненья классиков монизма.

Мимо вмурованных в панель магнитофонов  
И кабинета, где хранит директор  
Эректор в нижнем ящике стола.  
И настагает эхо Эпидавра!

О, если б кто-то заглянул в окно...  
Но широки задвинутые шторы,  
А выше ходят очереди ноги,  
Неведомые катятся колеса  
И мельтешит за стеклами метель.

Но снится гул далекой литургии,  
И плачет воск, старуха семенит,  
Гремят ключами сторожа другие,  
Блуждает память жертвой эвменид.  
И сердце обрывается, пустея,  
Когда за тенью, пролетевшей тут,  
Вдогонку, словно тени «Орестей»,  
Любовники нагие пробегут.

### Опавшие листья

*Е. Рейну.*

Прогулка с Рейном. Ряд грибной  
И чистый понедельник,  
А после — очередь в пивной,  
Какой-то ресторан дрянной  
До истребления денег.  
Я вижу в приступе тоски  
Мир невозвратно-жалкий,  
Задворки, рынки, чердаки,  
Конфорки коммуналки.  
Познавши этот поздний быт,  
Истления запах тонкий,  
Я был тогда в пельменной сыт,  
Одет в комиссионке,  
Из ада в рай, из круга в круг  
Водил меня Вергилий.  
Каких теряли мы подруг,  
Какую брагу пили!  
Искусства скудную струю  
И жизни бормотуху.

И в душу заглянуть свою  
Все не хватало духу.  
О, как я молод был тогда,  
Какой еще зеленый...  
В предбанник Страшного Суда  
Чернорабочих череда  
Вливалась испуленно.  
Живые выжимки тюрьмы,  
Барыги, инвалиды...  
В тягучей очереди мы  
Стояли без обиды.  
Еще страстей, еще невзгод  
Нас не роднило сходство,  
И на лице еще налет  
Держался благородства.  
Но шло надменности взамен  
Вечернее смирение,  
Текло от монастырских стен,  
Как ветра дуновенье.

### Карма

Холод. Монгольские горы.  
В снежном лесу листопад.  
Словно заглохшие хоры,  
Тихие вихри кипят.

Отзвуки жизни таежной,  
Жуткой, как сдавленный вой,  
Завороженно-тревожный,  
Неистошимо-живой.

Все безнадежнее листья,  
Мертвенней и золотей...  
Месиво наших корыстей,  
Марево наших страстей.

Под белизною сугроба  
Скроется клинопись вех —  
Завоевателя злоба,  
Темный отшельника грех.

Злая судьба командарма,  
Скудные дни чабана...  
Медленно копится карма,  
Смерти зовет глубина.

Нежные, будто младенцы,  
Так далеко облака,  
Вечные перерожденцы,  
Двигутся издалека.

Небо высокое Будды  
Катится, словно вода,  
Через гранитные груды,  
Тянется через года.

Волны сапфирного света  
Эта вольет пустота  
В замкнутый свод Магомета,  
В космос открытый Христа.

### Римская элегия

В уличном ливне, столь сиротливом,  
Весело встретила россиянка  
С быстро лысеющим, бойко-сметливым  
Старшим кассиром из римского банка.  
Эта москвичка мила и никчемна,  
Радостнолица, горестноглаза,—  
Осточертели вахты и домны,  
Ваши месткомы, овощебазы!  
То-то подруги оторопели,  
Стали отчаянней или печальней,  
Скоро в Сикстинской очнешься капелле,  
Страхом придавит святилище спальни.  
Ты уезжаешь, чтобы смеяться,  
С холодом в сердце стягивать платье  
И подниматься к белым палаццо,  
Перелетая через объятия.  
Ты уплываешь оцепенело,  
Ты удаляешься в рестораны —  
В зарево розовых крыл Пизанелло,  
В те незакатно-вечерние страны;  
В автомобили, в отблеск витрины,  
В отзвуки виллы, в зелень канала...  
Скифской, покрытой костями равнины  
Ты не любила, ты и не знала;  
Пусть перельется жар промежутка  
В марево Рима, в звонкие пятна.  
А телефонная темная будка  
Не позабудется, вероятно,  
Пусть же вокзала зарядом тротила  
Красная не опрокинет бригада,  
И возвратится остывший Аттила  
К вечному Мраку от Вечного Града.

### Фраги<sup>1</sup>

Далёко, далёко страна Ёлотань,  
Тяжелых барханов ступени...  
Скажи о похожем на барса и лань  
Искателе рая, туркмене!  
Здесь — вечная воля, сияющий свод,  
И, если отпустишь поводья,  
Ты сам не заметишь, куда заведет  
Бездонное горе безводья.  
Свершив омовение горстью песка  
Земной и небесной пустыни,  
Одно ты поймешь: очертила тоска  
Границу кармина и сини.  
Подбросив папахи и вскинув клинки,  
Отчаянно мчались туркмены.  
И небо — повсюду, и всюду — пески,

<sup>1</sup> Фраги — поэтическое имя туркменского поэта Махтумкули.

Барханов высокие стены!  
 Сжигали бесплодную землю враги,  
 Страну сотрясали набеги,  
 И стала вселенная словом Фраги,  
 Глаголом тревоги и неги.  
 Земная здесь мудрость, подлунная грусть  
 И музыка шли не отсюда,  
 Чтоб Вамбери<sup>2</sup> стих заучил наизусть,  
 Вцепившись в загривок верблюда.  
 Чтоб тусклый гостиничный ожил ночлег,  
 Когда, переводчик московский,  
 Кляня и ликуя, оплакивал век  
 Изрубленный жизнью Тарковский.

\* \*  
 \*

Мы по снегам одной походкой  
 Идем сквозь воющий мороз  
 В деревню белую за водкой.  
 Горят в груди с печалью кроткой  
 Моя любовь, его цирроз.

Вот за окошком — край сугроба,  
 Но пьем, и в комнате тепло.  
 Что о себе мы знаем оба,  
 Все вихрем белым унесло.

Свой ранний опыт, поздний ропот  
 Мне дарит беззаботный друг,  
 И глохнет вьюги свист и топот,  
 И забывается недуг.

И лишь порой проходит мимо  
 Не заглушаемый вином  
 Напев любви неутолимой,  
 Летящей в поле ледяном.

---

<sup>2</sup> Вамбери Арминий — знаменитый венгерский путешественник XIX века.

---

---

## БОРИС ПАСТЕРНАК. ПИСЬМА К ЖАКЛИН ДЕ ПРУАЙЯР

\*

**И**же печатается русский перевод полного текста писем, которые писал мне по-французски Борис Пастернак в 1957—1960 годах. Эта публикация впервые дает возможность ознакомиться с ними, поскольку в оригинале они до сих пор не изданы. Они содержат множество сведений о последних годах его жизни, его религиозной философии, понимании сущности искусства, о той борьбе, которую он вел вплоть до самой смерти ради того, чтобы «Доктор Живаго» продолжал жить в нашей памяти.

Собранные вместе, эти письма ярким светом озаряют наименее известные обстоятельства первого издания «Доктора Живаго» на Западе. При их чтении становится более выпуклой и ясной сложная и переменчивая личность первого издателя романа Джанджакомо Фельтринелли, его безмерное восхищение «шедевром Пастернака», как он говорил, и вместе с тем постоянное желание стать единственным хозяином всего того, что создал Пастернак в прошлом, настоящем и будущем.

Эти письма свидетельствуют о том, насколько важна была для Пастернака быстрая публикация «Доктора Живаго», главным образом его русского текста. Он считал это своим святым долгом; чтобы выполнить его, он был готов на любые жертвы — кроме изгнания из родной страны.

Читатель, который еще сомневается в том, «страдал» ли Пастернак за свои убеждения, узнает правду. Вопль страдающей души поэта заставит сжаться его сердце.

Те, кто родился вскоре после войны и еще помнит духовный переворот, который вызвало в их жизни тайное чтение «Доктора Живаго», несомненно будут растроганы вновь, открыв, какой ценой заплатил автор за то, чтобы его свидетельство стало их достоянием.

Нынешние поколения, может быть, смогут лучше понять, что этот роман, теперь доступный всем, нельзя читать как развлекательную литературу. Написанный поэтом, «Доктор Живаго» в то же время роман пушкинского Пророка, который «глаголом жжет сердца людей», срывает завесы и в духовной пустыне марксизма-ленинизма провозглашает истину о предназначении человека, сотворенного по образу и подобию Божию, о страданиях и слезах своего народа.

Судьба Пастернака была жребием пророка. Хотя Провидение избавило его от тюрьмы, ссылки или расстрела в сталинские времена, хотя его всемирная слава заставила хрущевское правительство удержаться от того, чтобы открыто принять против него крайние меры, но поражение от травли, которой он подвергся «у себя дома», стало тем не менее причиной скоротечного рака легких, той болезни, которая унесла его 30 мая 1960 года.

В этих письмах Пастернак время от времени (к сожалению, слишком редко) находит возможность рассказать о себе самом, о том, что он любит или ненавидит, признаёт или отвергает, о своих планах или чаяниях. Эти письма, вернее, те их части, где Пастернак открывает свою душу и рассказывает о самом дорогом для себя, имели определенную цель помочь мне составить книгу о нем, которую издательство «Галлимар» заказало мне в 1959 году для серии «La bibliothèque idéale»<sup>1</sup>, а также общее предисловие к собранию его сочинений<sup>2</sup>, которое Пастернак за несколько месяцев до смерти настоятельно просил меня написать. Эти отрывки, отчасти мною уже опубликованные, послужили основой портрета, который я попыталась нарисовать вскоре после его кончины. Я не буду здесь их снова комментировать, но по-прежнему убеждена в их значительности. Письма свидетельствуют о напряженности внутренней жизни Бориса Пастернака, о прямоте его суждений и его восприимчивости, о том ликование, которое охватывало его всякий раз, когда страдание отпускало или он подавлял тревогу перед

---

Публикация **ЖАКЛИН ДЕ ПРУАЙЯР**. Перевод предисловия — **Е. Б. ПАСТЕРНАКА**. Перевод писем Пастернака — **Е. КУЗНЕЦОВОЙ** и **Е. Б. ПАСТЕРНАКА**. Сопроводительный текст к письмам — **Е. В. ПАСТЕРНАК**.

<sup>1</sup> J. de Pruyart. Pasternak. Paris. «Gallimard». 1965.

<sup>2</sup> Б. Пастернак. Собрание сочинений. Под редакцией Г. Струве и Б. Филиппова. Ann Arbor University Press of Michigan. 1961. Том 1. Переиздано в журнале «Горизонт» (1990, № 1) под названием «Лучезарная душа».



испытаниями, о его глубоко христианских представлениях о жизни и о мире, о том значении, которое он придавал своему тайному крещению<sup>3</sup>.

Я попытаюсь здесь в нескольких строках дать представление об этих письмах в контексте эпохи. Сосредоточусь на том, чтобы объяснить те обстоятельства публикации «Доктора Живаго», которые касаются меня и которые я, естественно, избегала до сих пор оглашать. Надеюсь, что таким образом некоторые моменты, связанные с публикацией произведений Пастернака на Западе, казавшиеся темными для современного читателя, станут яснее для понимания.

Прежде всего следует уточнить, что письма Пастернака ко мне, которые он писал с 1957 до 1960 года, служат продолжением наших долгих разговоров с ним в январе — феврале 1957 года на его даче в Переделкине. Для того чтобы объяснить то огромное доверие, которое оказывал мне Пастернак, надо немного рассказать об обстоятельствах нашей встречи и о главном содержании тогдашних разговоров.

Мне выпало счастье познакомиться с Пастернаком совсем не официальным путем, а благодаря его молодым поклонникам. Это было вечером 1 января 1957 года в Переделкине.

Обмен студентами между Францией и СССР находился тогда в младенческом состоянии. Готовясь к конкурсным экзаменам на должность преподавателя русского языка во французских лицеях, я благодаря любезности профессора Андре Мазона получила двухмесячную стипендию. Мой приезд в Москву задержался из-за восстания в Венгрии, я попала сюда лишь в ноябре 1956 года. У меня уже была степень доктора философии Гарвардского университета, поэтому мои университетские обязанности сводились к минимуму: я побывала по одному или по два раза на семинарах В. В. Виноградова, Н. К. Гудзия, С. М. Бонди и Г. Н. Поспелова. Мне было поручено также позаботиться о Библиотеке-музее Л. Толстого при Институте славистики в Париже, и я должна была наладить обмен документами между маленьким парижским музеем и толстовскими музеями в Москве и Ясной Поляне. При этом основное время я посвящала тому, чтобы узнать страну, куда я попала впервые, но к встрече с которой, живой, а не только научной, я была подготовлена давним интересом к России, лежащим в семейной традиции, и такими людьми, как профессор Пьер Паскаль и замечательные женщины — Нина Александровна Лазарева<sup>4</sup>, Вера Александровна Попова<sup>5</sup> и Анастасия Борисовна Дурова.

Через три недели после моего приезда в Москву и устройства в университете я задалась вопросом, сумею ли я пробить глухую стену замкнутого советского общества и понять, по выражению Толстого, «чем люди живы». Я была полна решимости этого добиться.

Мое знакомство с исследователями из толстовского музея и такими сотрудниками «Литературного наследства», как С. А. Макашин и Л. Р. Ланский, их интеллигентная благожелательность и случайно прорывавшиеся откровенные обмолвки убедили меня в том, что многие музеи и институты не только служат местом хранения бесценных сокровищ безвозвратного прошлого России, но в них можно найти также высокие свидетельства ее теперешней жизни.

Вот почему в один из дней декабря любовь к музыке и поиски тайной России привели меня в музей Скрябина, сложные произведения которого были мне известны. Меня встретил молодой поэт Николай Шатров (1929—1977). Он еще не знал, что вводит меня в сердце России. Его работа в качестве сотрудника музея позволяла ему худо-бедно обеспечивать себя, оставляя возможность писать неконформистские стихи, которые практически не изданы до сих пор. Заметив мой интерес к экспериментальным поискам Скрябина, быстро сообразив, что я «оттуда» и что я француженка, Николай Шатров пригласил меня в один из ближайших вечеров послушать, как Софроницкий играет Скрябина. Кроме того он познакомил меня с заведующей музеем Татьяной Григорьевной Шаборкиной. Благодаря ее лучезарной благожелательности меня несколько раз приглашали попить чаю в комнатах скрябинской квартиры, которые служили запасником и были открыты только для «друзей Скрябина», молодых и не очень молодых, но объединенных общими духовными интересами.

В этом святилище имя Бориса Пастернака произносилось горячо и с восхищением. Мои собеседники без конца повторяли, что мое пребывание в России будет лишено смысла, если я с ним не познакомлюсь.

Эти слова не давали мне покоя, тем более что в МГУ на лестнице перед входом молодые люди посмелее говорили мне почти то же самое, и от них я уже знала его стихотворения, которые в этом храме науки носили под полой и передавали друг другу («Во всем мне хочется дойти...», «Быть знаменитым...», а также «Душа», «Перемена», «Когда разгуляется...», «В больнице», «Ветер», «Ночь»).

<sup>3</sup> Единственное упоминание об этом событии содержится в письме ко мне от 2 мая 1959 года.

<sup>4</sup> Н. А. Лазарева (1890—1975) преподавала русский язык и литературу в Школе восточных языков в Париже. Дочь известной русской певицы, окончила Московскую консерваторию по классу рояля и филологический факультет Московского университета, эмигрировала в 1923 году вместе со своей подругой В. Поповой.

<sup>5</sup> В. А. Попова (1883—1970) — скульптор. Дружила с Н. Гончаровой, М. Ларионовым и А. Экстер. Под руководством Бенуа работала над масками, костюмами и декорациями для русских балетов Дягилева. Происходила из знаменитой старообрядческой купеческой семьи, еще до первой мировой войны имела собственную мастерскую в Париже.

Хотя имя Бориса Пастернака было мне знакомо еще из лекций Романа Якобсона об особенностях поэтики Пастернака, которые мне удалось прослушать в Гарварде в 1950 году, я относилась к нему как к великому, но трудному для понимания писателю. Для меня было откровением, что автор «Детства Люверс» и «Сестры моей жизни» может стать нравственной мерой и живым символом духовного сопротивления коммунизму для советского постсталинского поколения. Мое знание Пастернака оказалось недостаточным. Я даже не подозревала, что он еще жив, и не имела представления о его теперешних стихах. В ходе разговоров, имевших отношение к Пастернаку, часто и невнятно звучало имя Гамлета, упоминался доктор Живаго и его странствия. Наконец я поняла, что речь идет о романе, окутанном тайной.

Погруженная в круг этих мыслей, в конце декабря я неожиданно увидела на кухне скрябинского музея лежавшую на столе толстую машинопись в голубой обложке. Машинально открыла ее, я прочла: «Доктор Живаго». У меня забило сердце. Но этот экземпляр был обещан Дмитрию Вячеславовичу Иванову<sup>6</sup>, и мне надо было дожидаться своей очереди. Тем не менее, пока не пришел владелец, я тут же на месте прочитала некоторые страницы.

Чтобы меня утешить, друзья постарались срочно достать мне разные другие сборники стихов и прозы Пастернака. Николай Шатров однажды дал мне переписанную на машинке подборку последних стихов Пастернака. Эти двадцать страничек были озаглавлены «Из синей тетради»<sup>7</sup>. Я не могла тогда знать, что держу в руках часть стихотворного цикла, который он в то время писал.

По моей настойчивой просьбе Николай Шатров с двумя своими приятелями 1 января 1957 года повезли меня наконец в Переделкино, предварительно предупредив Пастернака.

Нам открыл сын Пастернака Леонид. Он провел нас в комнату, стены которой были увешаны рисунками его деда Леонида Пастернака, и пошел наверх за отцом.

Вскоре в дверной раме появился силуэт Бориса Леонидовича. Светло-серая домашняя куртка гармонировала с серебром его волос. Белая рубашка оттеняла загар лица и блеск ореховых глаз. Открытость взгляда и почти неудержимая живость сразу меня покорили. Четкость черт его лица и нехотят властность подбородка смягчались, однако, рисунком губ, свидетельствовавших о решительном характере, но в то же время и о жизнелюбии. Ничего лишнего, неуместного не было в облике этого человека. Сдержанность движений, особенно длинных и тонких рук, говорила о самообладании и силе внутренней жизни. Этот человек, очевидно, жил не во внешнем проявлении, его широкая душа готова была преобразить все то, что шло к нему извне. С первых слов его лицо оживилось. Взгляд засверкал весельем. Обаяние и горячая нежность баритонального тембра его прекрасного голоса сразу победили смущение, которое поначалу охватило меня, впервые оказавшуюся в присутствии поэта.

Борис Леонидович пригласил нас победить тем, что осталось от обильного новогоднего ужина. Мое присутствие воодушевляло его. Он воскрешал в памяти Париж, антифашистский конгресс писателей 1935 года, потом перешел на Аллилуеву, Манделштама, Афиногенова. Потом он определил нас, в чем он противоположен Эренбургу. Вдруг он прервал свою речь и спросил густо покрасневшего друга Коли Шатрова, не коммунист ли он, потому что он не хочет задевать его чувства. Ободренный отрицательным ответом, Пастернак объяснил значение, какое он придавал символу паровоза, единственному, активное присутствие которого, именно в качестве символа, он допустил в своем романе. При этом он заметил, что коммунизм как порождение механистического XIX века принадлежит прошлому, даже если он просуществует еще тридцать или пятьдесят лет, так же как паровозы, которые все больше и больше выходят из употребления.

Затем Пастернак перешел к сознательно ограниченному использованию символов в своем произведении, символизму Бюка и Белого. Он признавал, что на него повлиял Блок, но совершенно отрицал влияние Хлебникова.

Пастернак спросил нас, влияние какого прозаика мы можем усмотреть в его романе. Мой сосед указал Толстого, но этот очевидный ответ совсем не удовлетворил Пастернака, который повернулся ко мне и спросил: «А чье еще?»

Меня охватило беспокойство, я сосредоточилась, интуитивно чувствуя, что правильность моего ответа может привести в будущем к чему-то огромному и чрезвычайно важному. Я весьма приблизительно представляла себе роман Пастернака, а его самого видела в первый раз. У меня в голове вертелись только какие-то отрывки из «Живаго», и мне виделась возможность совпадения только на самом глубоком духовном уровне. После всего того, что было перечислено от Верлена до Блока, на Пастернака мог влиять лишь писатель редкой, из ряда вон выходящей исключительности. Несмотря на очевидную парадоксальность, я рискнула назвать Чехова.

— Молодец! Вы правильно отгадали, — вскричал Пастернак и рассказал нам, как он перечитывал Чехова, когда начинал писать свой роман. Сын лучших чеховских героев, Живаго обладал всеми их достоинствами и недостатками. В силу этой преемственности, а также из почтения к Чехову Пастернак сделал своего героя врачом.

<sup>6</sup> Д. В. Иванов — сын поэта-символиста Вячеслава Иванова, журналист, писавший под псевдонимом Жана Невсея, в то время корреспондент газеты «France Soir» в Москве.

<sup>7</sup> См. мой доклад «Природа и действительность в творчестве Б. Пастернака, размышления о структуре цикла „Когда разгуляется“». — Труды международной конференции в Cerisy la Salle. Ed. Institut d'études slaves. Paris. 1979.

Время шло. Мы попросились с нашим хозяином.

Перед тем как расстаться, в ответ на мое желание прочесть роман как следует, от начала до конца, Пастернак попросил Николая Шатрова взять экземпляр у Константина Симонова, так как он ему «уже не нужен».

На следующий день, 2 января, Пастернак передал мне первый том романа в машинописной копии, с голубой обложкой, похожий на тот, который предназначался Дмитрию Вячеславовичу Иванову.

Я вернула его 9-го и получила тогда второй том, который отдала 15 января по возвращении в Москву из краткой поездки в Новгород и Ленинград.

Сразу после моих первых визитов к Пастернаку мои друзья мне сказали, что роман переводится на итальянский. Выбор этого языка меня удивил: у меня уже создалось достаточно ясное представление о романе, его оригинальности, его современности. Его слабые стороны, по моему мнению, не шли ни в какое сравнение с важностью свидетельства о пятидесятилетней истории и всемирном значении переданной им вести<sup>8</sup>. Я могла оценить, какое значение придают этому окружавшие меня люди. Мне представилось, что «присутствие Святого духа»<sup>9</sup>, одушевляющее это произведение, должно дойти не только в Италию, но и в другие страны, в первую очередь во Францию.

9 января я предложила Борису Пастернаку, что рекомендую его роман одному из главных французских издателей, например Галлимару, и переводу его на французский язык вместе с тремя моими друзьями-русистами, про которых я знала, что они согласятся принять участие в этой работе: Элен Пельтье<sup>10</sup>, от которой накануне я получила письмо, придавшее мне решимости пойти к Пастернаку и передать ему привет от нее, Мишелем Окутюрье, о котором я узнала, что он еще до меня нашел дорогу в Перedelкино<sup>11</sup>, и Луи Мартинесом, о котором Пастернак слышал.

Пастернак очень обрадовался, узнав, что я больше десяти лет дружу с Элен<sup>12</sup>, сказал, в каком он от нее восхищении, но не сказал, что он уже дал ей экземпляр романа.

В ответ на мое предложение, которое полностью совпадало с его намерениями, Пастернак рассказал мне о Брисе Парене, писателе и философе, которого он знал издавна и который был членом редколлегии издательства Галлимара<sup>13</sup>.

Пастернак открыл мне тогда, что существует договор, который он подписал 30 июня 1956 года с миланским издателем Джанджакомо Фельтринелли на издание «Доктора Живаго» по-итальянски. Он сказал, что это произошло с согласия Союза писателей. Для него, как он писал незадолго до того Брису Парену, в передаче рукописи не было «ничего противозаконного». Пастернак «не прятал свою работу», которая была сдана во многие журналы и Государственное издательство.

Прочтя этот договор, я поделилась с Борисом Леонидовичем возникшими у меня сомнениями. Мне казалось рискованным вручать судьбу «Доктора Живаго» на Западе в руки молодого издателя, недавно добившегося громкой известности, без того, чтобы сохранить нравственный контроль над изданием текста такой значительности. Я боялась, что Фельтринелли уже почувал, как удачна его находка, и что успехи издательства интересуют его больше, чем глубокий смысл произведения: роль первооткрывателя шедевра советского писателя и первого его издателя сулила ему известность в издательских кругах, соизмеримую лишь с последующим открытием «Леопарда» Лампедузы.

В этот вечер Пастернак дал мне вторую часть романа, которую он тщательно перечитал до того, как я ему вернула первую, и которую он тоже хотел заново проверить.

Я снова выдвинулась с Пастернаком 16 и 17 января по возвращении из короткой поездки в Ленинград и Новгород и перед долгим путешествием в Сталинград, Тифлис, Ялту (где я хотела побывать в доме Чехова) и Киев. Пастернак дал мне машинопись своего второго автобиографического очерка «Люди и положения», чтобы передать его Нине Табидзе, его другу и удивительной женщине, и рекомендовал меня некоторым из своих грузинских друзей, которых я растроганно вспоминаю. Одновременно он подарил и мне экземпляр машинописи «Людей и положений», работы, на которую договор с Фельтринелли никак не распространялся, а также текст своей статьи, написанной в 1945 году к 135-летию Шопена, с удивительной дарственной надписью:

<sup>8</sup> См. слова Пастернака о «Докторе Живаго» в письмах ко мне от 7 января 1958 и 20 мая 1959 года.

<sup>9</sup> См. письмо от 2 мая 1959 года.

<sup>10</sup> Элен Пельтье была профессором русского языка в университете Тулузы. Она познакомилась с Пастернаком в Перedelкине 9 сентября 1956 года. В 1957 году она вышла замуж за графа Августа Замойского, знаменитого польского скульптора.

<sup>11</sup> Мишель Окутюрье познакомился с Пастернаком в мае 1956 года.

<sup>12</sup> Именно нашей дружбой объясняются многочисленные упоминания Элен Пельтье в письмах Пастернака ко мне и то, что он мне отвечает на вопросы, поставленные ею, в частности о времени и обстоятельствах его обращения к христианству.

<sup>13</sup> 30 декабря 1956 года Пастернак написал ему, чтобы сообщить о будущем выходе итальянского перевода романа и предупредить, что он ему пришлет экземпляр рукописи для французского издания. Пастернак добавлял, что Гослитиздат предполагает опубликовать «слегка измененный вариант». Он советовал Парену не заботиться об этом и «держаться посылаемого ему текста».

«Я надписываю Вам, милая Жаклина Яковлевна, эти несколько мыслей о Шопене, Вашей глубокой душе и Вашему имени графини Даниэль де Пруайяр де Белькур, почти такому же долгому и необъятному, как и музыкальные темы Шопена.

Шестнадцатого января 1957, вечером, когда Вы так облагодетельствовали меня и одарили в Переделкине.

Б. Пастернак».

В этот вечер Зинаида Николаевна и Леонид были дома. В ходе разговора снова возник вопрос о романе и его будущем, а также о мучениях, которых, вероятно, не удастся избежать мужественному автору. Борис Леонидович сказал мне в их присутствии, что он полностью понимает, какой опасности он подвергается сам и заставляет подвергаться своих близких, и что в семье это обсуждалось. Он идет на этот риск с полного согласия своей жены и сына, что подтвердили и Зинаида Николаевна и Леонид.

На следующий день мы снова обсуждали роман, но на этот раз с глазу на глаз. Я знала его уже значительно лучше, у меня не было сомнения, что это произведение, которое с такой душераздирающей силой передает страдания русского народа, найдет широкий круг читателей на Западе и что авторский гонорар будет соответственно велик.

Пастернак показал мне свой экземпляр договора, заключенного с Фельетринелли. Текст был составлен по-французски и состоял из восьми пунктов.

Пункт первый предусматривал, что «Владелец передает Издателю, который принимает на себя и своих доверенных право печатать, публиковать и продавать на свои средства и под свою ответственность, в любых размерах, перевод на итальянский язык его произведения „Доктор Живаго“».

Пункт третий предусматривал, что «Издатель опубликует первое издание не позже чем через два года после настоящего соглашения. В случае неиздания в этот срок настоящий договор расторгается полностью».

Пункты второй, пятый, шестой и седьмой предусматривали обычное распределение процентных выплат от выпущенных экземпляров и т.п. и никогда не приводили ни к каким осложнениям.

Но не так обстояло с пунктами четвертым и восьмым, которые, как дальше будет видно, создали необычную ситуацию: советский автор подчинен особым законам своей страны в вопросах издания и публикации и нравственно и практически лишен возможности нормально сноситься со своим издателем, поэтому — редчайший случай — произведение публикуется впервые на иностранном языке, не на том, на котором оно написано, к тому же произведение советское.

Итак, четвертый пункт может допускать различные интерпретации, почти противоположные с точки зрения автора (русского) и издателя (итальянца); при этом нужно постоянно учитывать, в какой мере здесь важна уступка доводам «советского государственного издательства», политическая линия которого тогда менялась. Этот пункт предусматривал, что «прибыль за частичный или полный перевод произведения на иностранный язык будет разделена поровну между Автором и Издателем». Это означало, что единственным лицом, которое получало право вести переговоры в общих интересах об уступке прав за границей, был издатель и что владелец связан контрактом, заключенным с издателем.

Как понимать выражение «на иностранный язык»? Для автора Пастернака и для меня в январе 1957 года было очевидно, что русский язык — язык оригинальный, на котором написан роман, а иностранным называется всякий другой, кроме русского.

Отсрочка и затем окончательный отказ советских властей от издания русского текста «Доктора Живаго» в СССР в 1956—1957 годах имели неожиданные последствия для всех, также и для Фельетринелли: итальянский перевод, который Фельетринелли по условиям договора был обязан опубликовать до середины июля 1958 года, появился 23 ноября 1957 года и стал первым изданием. На нем был поставлен копирайт издательства Фельетринелли, а издатель автоматически приобретал права издания «Доктора Живаго» во всем мире.

Последний пункт договора предусматривал, что «Издатель, помимо книжной публикации, имеет исключительное право использования произведения в любой печатной форме и передает Автору половину всех поступлений или процентных выплат, которые он за это получит». Многие трудности возникли из этого пункта договора, поскольку в нем не оговорено использование произведения в аудиовизуальной сфере и, в частности, в кинематографе. Начиная с декабря 1957 года Фельетринелли в переписке с другими издателями предъявляет свои права, как если бы он их официально получил.

В пределах того, что мы могли предвидеть зимой 1957 года, было ясно, что если роман будет иметь успех, то авторская доля составит большую сумму денег. Как распорядиться ими в будущем? Пастернак сомневался в том, что по законам своей страны он когда-либо сможет получить что-нибудь существенное из гонораров, и у него никогда не будет возможности использовать их по своему усмотрению. Пастернак об этом не слишком заботился, потому что был по природе бесребреник, но это отнюдь не означало, что он оставался равнодушен к этой стороне дела, и использование денег, которые должен был принести ему «Доктор Живаго» за границей, было ему далеко не безразлично. У него было вполне определенное желание: знать, что они служат благой цели, филантропической, художественной или религиозной. Он хотел по крайней мере с их помощью выразить благодарность своим переводчикам, в чем впоследствии сказались его удивительная щедрость. Выполнить эти желания можно было лишь с помощью доверенного лица за границей.

В январе — феврале 1957 года ни Пастернак, ни я не могли себе представить ни на минуту, что появление романа о любви поэта Юрия Живаго к своей родной земле станет причиной вспышки «холодной войны». Не зная еще ничего о сложных отношениях Фельтринелли с итальянской коммунистической партией, мы не могли представить себе, что источник авторских гонораров Пастернака будет заморожен. Мы мечтали о создании чего-то вроде английского траста или специального фонда, с помощью которого заработанные деньги, помимо выплат тем лицам, кому Пастернак сочтет нужным, могли бы пойти, когда настанет время, на реставрацию русских церквей и помощь обездоленным.

Исходя из этого и чувствуя все возрастающее недоброжелательство властей, Пастернак сначала предложил Элен Пельтье и мне взять на себя перевод и издание «Доктора Живаго» по-французски, а также «издание оригинала» (письмо к Элен Пельтье 17 января / 6 февраля 1957 года) и отдавал в наше «полное распоряжение» свои авторские права во Франции.

Через три недели, когда, вернувшись из поездки, я снова приходила к нему 5 и 6 февраля, Пастернак несколько изменил свои распоряжения, заботясь о большей их действенности, но отнюдь не желая лишить Элен Пельтье своего доверия: 6 февраля он облек одну меня всем своим «неделимым доверием во всех литературных вопросах» и обязал «переводить и готовить к изданию» его работы, «распоряжаться их печатанием и пользоваться всеми правами автора и его доходами».

Следует сразу же уточнить, чтобы больше к этому не возвращаться, что ни Элен Пельтье, ни я сама никогда не стремились получить и не получили для своих нужд ни копейки из гонораров Бориса Пастернака.

В тот же день Пастернак вручил мне три письма, которые, вернувшись во Францию, я передала по назначению — одно Гастону Галлимару, другое Джанджакомо Фельтринелли и третье Элен Пельтье.

Письмо Гастону Галлимару было кратким. Пастернак выражал ему «свое почтение и давнее восхищение» и просил доверять мне как его «представительнице во всех литературных, юридических и материальных вопросах, которые могли бы возникнуть» между издательством и им самим. В заключение он писал: «Я отдаю ей полные права и обязываю замещать меня за границей в неограниченных пределах вплоть до забвения моего собственного существования».

Письмо к Фельтринелли заняло две большие страницы и состояло из двух частей.

Первая часть этого письма позволяет яснее понять, чем были вызваны заключительные слова в письме Пастернака к Гастону Галлимару. Пастернак сообщал Фельтринелли о давлении, которое было оказано на него Гослитиздатом, с тем чтобы он «послал телеграмму» Фельтринелли с просьбой «задержать итальянскую публикацию» романа «до выхода измененного текста» в Гослитиздате. «Я предложил бы Вам, — продолжал он, — предельный срок, к примеру, в шесть месяцев. Подчинитесь этой отсрочке, если это не противоречит Вашим планам, и протелеграфируйте ответ, но не мне, а по адресу Гослитиздата. Но грусть, которую мне естественно причиняет угроза изменений моего текста, возрастет во много раз, если я узнаю, что в итальянском переводе Вы захотите им последовать вопреки моему постоянному желанию, чтобы Ваша публикация была строго верна авторской рукописи».

Таким образом, во время моего трехнедельного отсутствия Гослитиздат получил запрещение на публикацию полного текста «Доктора Живаго», поскольку стало ясно, что Пастернак никогда не согласится на редактирование его текста. Для того чтобы познакомить своих соотечественников с «делом своей жизни», у него теперь был лишь один способ — восстановить традиции XIX века и воспользоваться любой возможностью, чтобы русский текст романа появился за границей.

Я уже обсуждала с Пастернаком возможность поручить это издательству Мутона в Голландии, которое получило широкую известность факсимильными воспроизведениями русских книг, ставших редкостью или запрещенных в СССР.

Перед самым моим отъездом Пастернак передал мне первую книгу романа, которую он кончил перечитывать (вторую он мне отдал раньше), с поручением не только перевести «Доктора Живаго» на французский, а главным образом обеспечить русское издание полного текста там, где я сочту нужным, но, во всяком случае, как можно скорее.

Этим объясняется смысл полномочий, которые мне дал Пастернак 6 февраля, те «полные права вплоть до забвения его собственного существования», которые он мне доверил в письме к Гастону Галлимару и о которых не мог даже обмолвиться в письме к Фельтринелли, официально издателю итальянского перевода, соглашение с которым изначально предполагало русское издание романа в СССР.

Во второй части своего письма от 6 февраля к Фельтринелли Пастернак пробует вновь обсудить четвертый пункт своего договора и предлагает Фельтринелли «уступить французское издание группе переводчиков, одна из них, — продолжает он, — госпожа Жаклин де Пруайяр, моя представительница в литературных делах в Париже и главный инициатор издания, Вам напишет». Но если бы Фельтринелли не «пожелал освободиться от забот по изданию романа во Франции», Пастернак просил его по крайней мере переговорить с четырьмя wybranными им переводчиками (с Элен Пельтье, М.Окутюрье, Л.Мартинесом и мной).

Читатель заметит несоответствие уровней (невольное следствие автоцензуры) трех определенных мной роли: один, объяснительный, в наших разговорах в Переделкине, в письмах к Элен

и мне — это необходимость устроить публикацию не только французского перевода, но и оригинального текста романа; другой, намекающий на то же самое, — в письме к Гастону Галлимару; и третий, ограничивающий мою роль только как представительницы Пастернака в литературных делах в Париже, — к Фельтринелли.

Об этом несоответствии надо помнить тому, кто захочет понять некоторые места, мучительные, граничащие с отчаянием, в печатаемых ниже письмах, где говорится об отравленных отношениях Пастернака и моих с итальянским издателем.

В то же время надо помнить о том огромном уважении, которое Пастернак испытывал к Фельтринелли за то, что он наперекор и вопреки всему издал полный текст романа, не уступив шантажу Суркова и других.

Кроме того, только теперь, в перестроечное время, перечитывая письма Пастернака, я поняла, что в этой трагедии скрытую роль третьего лица постоянно играли органы госбезопасности, и Фельтринелли невольно оказался их союзником и в том случае, когда запрещал пиратские издания, и даже тогда, когда порывал с итальянской компартией.

С конца 1958 года, когда становится понятно, что органы не могут противостоять распространению русского текста, они содействуют тому, чтобы все авторские доходы Пастернака на Западе сосредоточились в одних руках. И им и Фельтринелли выгодно, что итальянские адвокаты, изучив законодательство о копирайте, установили, что иностранным может считаться всякий другой язык, кроме того, на котором текст опубликован впервые и который тем самым считается языком оригинала. Таким образом, русский язык «Доктора Живаго» юридически стал всего лишь иностранным языком среди других.

Заигрывая с Пастернаком зимой 1959 года, органы госбезопасности стараются присвоить, по его выражению, все известные им авторские гонорары на Западе. Все это делается легально, в полном соответствии с традицией коммунистической экспроприации. Нам с мужем, как молодым и неопытным актерам, очень трудно было определить в этой драме, до какой степени Фельтринелли был заложником в руках этих скрытых сил. Нас предупредили, что мы имеем дело с членом компартии, а не просто с издателем. Я очень скоро почувствовала неловкость, натолкнувшись на двусмысленное поведение Фельтринелли. Он тоже понял, что я не питаю к нему полного доверия. Я жаловалась на это Пастернаку. Вероятно, Фельтринелли так и не догадался, что мое недоверие к нему объяснялось не личными соображениями, а нравственно-политическими мотивами. Фельтринелли никогда не протестовал против моего участия во французском переводе «Доктора Живаго». Это было то первое издание, о котором ему было сказано, его он признавал и его пределами он в душе желал бы меня ограничить. Но он всегда проявлял ревность по отношению к моему главному поручению, тому неограниченному доверию, которым меня наделил Пастернак, и моральной ответственности за судьбу всех его изданий, которую он на меня возложил. Чтобы удовлетворить требованиям Фельтринелли, я должна была каждый раз просить у Бориса Леонидовича все новые доверенности, но Фельтринелли никогда не признавал их достаточными. Казалось, он постоянно подозревал, что я внезапно потребую у него авторские гонорары Пастернака, несмотря на мои более или менее постоянные заверения по поводу полной незаинтересованности этим предметом. Для коммунистического издателя Пастернак был *своим* автором; советский шедевр, который он открыл, был *его* вещью, и так как Пастернак повторял, что роман есть вершина его творчества, было логично, что Фельтринелли хотел присвоить все его творчество, старое и новое, и собирался охватить его своим договором целиком, чтобы оно стало *его* вещью. Я не знала, что противопоставить этим стремлениям закабалить Пастернака.

Действовать в интересах Пастернака и его работ было затруднительно с самого начала, если намерения его и его друзей не совпадали с намерениями итальянского издателя. Таков случай с Банниковым, например. Когда Пастернак уверился в том, что сборник его стихотворений, предисловием к которому должен был быть автобиографический очерк, не выйдет, он просил меня заменить заключительную часть очерка, где он выражал благодарность Н. В. Банникову за его работу над сборником, другим текстом. Фельтринелли не принимал в расчет мои советы и желание автора и опубликовал в конце очерка оба заключения, одно вслед за другим, для того чтобы обеспечить свое авторское право на весь текст, право, на которое в то время с ним не был заключен договор!

После появления голландского так называемого пиратского издания русского текста романа и присуждения Нобелевской премии опасность, в которой находились Пастернак и его близкие, требовала большой осторожности со стороны его западных друзей, если они хотели ему помочь, а не повредить. Доказательством стали те последствия, которые имела для Пастернака непорядочность журналиста, опубликовавшего стихотворение «Нобелевская премия» прежде, чем послать его мне. Фельтринелли, в оправдание его заблуждений, не верил в реальность этой опасности и всегда был готов думать, что все уладится. Был один момент, когда даже его старые сотрудники-итальянцы утратили взаимопонимание с ним. Один из них занял позицию настолько авантюристическую, что я ни за что не могла поручиться. Мой муж, адвокат, не хотел, чтобы я против своей воли была втянута в действия, которых не одобряла. Он решил, что из осторожности следует попросить Пастернака подтвердить, что я точно и верно исполнила все по доверенности, которой он меня удостоил, и дал мне «всестороннее и полное освобождение». Пастернак выполнил эту просьбу 12 апреля 1960 года.

Это не значило, что я не хотела дальше заниматься делами Пастернака, скорее просила его о непрерываемой защите против любой угрозы, жертвой которой я могла оказаться как его доверенное лицо на Западе. «Освобождение» не значило, что он отменял все данные им поручения, оно попросту служило тому, чтобы никто и никогда не мог вменить мне в вину то, как и насколько я выполнила обязанности, которыми он меня наделил<sup>14</sup>.

В этом случае нужна была порядочность Жоржа Нива<sup>15</sup>, чтобы дать понять Борису Леонидовичу, что моя просьба, а также и документ, который я прошу составить, ни в коей мере не означают взаимного отречения. Тем не менее для него и для меня было мучением, что он был вынужден принять эту крайнюю меру юридической предосторожности.

Спустя шесть недель Пастернака не стало. По французским законам, в отличие от английских юридических установлений, моя доверенность со смертью доверителя теряла силу.

Осталась только верность...

\* \* \*

Но в то прекрасное утро 6 февраля 1957 года никто из нас не мог предвидеть, что издание романа принесет нам столько мук. Наше воображение было зачаровано величием затеянного предприятия.

Пастернак проводил меня на станцию Переделкино. Мы простились на платформе. Нам не суждено было больше увидеться.

Когда я вернулась в Париж, моей первой заботой было встретиться с Борисом Пареном, что устроил его друг профессор Пьер Паскаль.

Брис Парен пригласил меня к себе 20 февраля. Элен Пельтье уже успела ввести его в курс дела. Но свой экземпляр романа она отослала в Англию, и он очень обрадовался, узнав, что я немедленно могу передать ему рукопись, тщательно выверенную автором. Мои предложения совпадали с тем, что ему говорила Элен. Вскоре вернулся из России Дмитрий Вячеславович Иванов и вновь подтвердил желание Пастернака, чтобы его роман был напечатан во Франции у Галлимара. Я показала Парену мою доверенность, копию договора с Фельтринелли и передала письмо для Гастона Галлимара.

1 марта я принесла Брису Парену рукопись «Доктора Живаго» и автобиографический очерк. Очень скоро он высказал мне свое полное одобрение обоих текстов. Редакционная коллегия издательства одобрила план издания. Камю горячо поддержал его. Парену оставалось убедить Гастона Галлимара. Будучи всегда защитником духовных ценностей и независимости писателя, Гастон Галлимар сразу же стал на сторону Пастернака. Но перед тем как принять решение, он хотел его обдумать. Конечно, он привык к финансовому риску, когда дело шло об изданиях иностранных произведений, но в данном случае не это его беспокоило. Был у него и давний опыт политического риска — со времени издания «Возвращения из СССР» Андре Жида, — так что и тут не было необходимости все хорошо взвешивать. Оставался юридический риск, который обещал быть острым.

Случай Пастернака действительно представлял собой нечто новое.

В первый раз советское произведение попадало в издательство Галлимара не официальным путем, без посредства «Межкниги». Поэтому следовало рано или поздно ожидать активного вмешательства официальных советских органов, давления, скрытых и насильственных действий. Гастон Галлимар готов был их выдержать и им противостоять. Но он не хотел игнорировать тот гораздо больший риск, которому подвергал себя Пастернак, составивший против издательской практики у себя в стране. При этом особое значение имело существование доверенного лица, которое может подтвердить желание Пастернака увидеть свое произведение опубликованным, пусть даже ценою собственной жизни.

С другой стороны, СССР, который не был членом ни Бернской международной конвенции, ни Женевской, никаким установлением не защищал права советских авторов. С этой точки зрения здесь имелся юридический пробел, который позволял действовать в пользу того, кто закладывал начало практики «самиздата/тамиздата».

В то же время возникала юридическая скованность, которую нельзя было обойти: четвертым пунктом своего договора Пастернак, ни больше ни меньше, отдавал Фельтринелли не только итальянские, но всемирные авторские права на публикацию «Доктора Живаго» за пределами СССР. Галлимар мог получить право издания «Доктора Живаго» только от Фельтринелли, которого он хорошо знал как соиздателя прекрасной художественной серии «L'univers des formes»; но скрытый характер Фельтринелли, часто непредсказуемый, и его принадлежность к коммунистической партии могли в случае с Пастернаком затруднить отношения.

Случилось, что Дмитрий Вячеславович Иванов, вернувшийся в Рим из Москвы 6 марта, приехал в Париж на несколько дней во второй половине месяца. Мы с радостью встретились с ним, чтобы поговорить о Пастернаке и «Докторе Живаго» и пригласили его в издательство на

<sup>14</sup> Полученный документ ввиду его важности был зарегистрирован парижским нотариусом как подлинный.

<sup>15</sup> Теперь профессор Женевского университета, а тогда студент, проходивший стажировку в МГУ.



переговоры с Брисом Пареном. Ему официально поручили выяснить у Фельтринелли его намерения. В письме от 29 марта он, выполняя это поручение, сообщал:

«Перевод романа готовится. При этом очевидно, что Фельтринелли не хочет, чтобы итальянский перевод опережал оригинальное издание в СССР. На него оказывается сильное давление, с тем чтобы задержать издание, и мое впечатление, что он не намерен этому противостоять.

С другой стороны, он считает, что итальянский перевод появится с опозданием на месяц после публикации романа в СССР и что, если отсрочка будет соблюдена, он получит в соответствии с международной конвенцией — содержание которой мне совершенно неизвестно, — право требовать для своего издательства копирайт за границей.

После этих известий 15 апреля Гастон Галлимар и его сыновья позвали нас — моего мужа (как адвоката, консультирующего Пастернака) и меня — к себе. Присутствовал также и Брис Парен.

Гастон Галлимар хотел услышать от меня живое подтверждение намерений Пастернака и изложил нам трудности положения. Он не мог нам предложить начать работу над переводом романа до заключения договора с Фельтринелли. Издательские переговоры могут продлиться несколько месяцев, так как очевидно, что Фельтринелли не хочет предоставить кому бы то ни было возможность опубликовать перевод романа прежде, чем он выйдет у него самого. Пока что, если у меня есть время, я могу начать переводить автобиографический очерк, поскольку этот текст не связан никаким договором с Фельтринелли.

Я взялась за этот перевод в августе 1957 года. Он появился в белой серии Галлимара («Du monde entier») в июне 1958 года, одновременно с романом.

Из предосторожности я ничего не писала Пастернаку. Прекрасное письмо, написанное 6 марта к Элен Пельтье, привез от него Д. В. Иванов. Потом период молчания продлился еще четыре месяца, когда Пастернак болел. Только в начале августа, когда он получил наконец и с радостью прочел несколько стихотворений, переведенных Мишелем Окутюрье и опубликованных в мартовском номере 1957 года журнала «Esprit», Пастернак написал нам два длинных письма — 7 августа Элен Пельтье и мне 10 августа.

Потом снова наступило долгое молчание в несколько месяцев до 3 ноября. Между тем Галлимару удалось договориться с Фельтринелли. Коллинз в Англии и Фишер в Германии поступили таким же образом. В октябре я получила распоряжение начать работу над переводом «Доктора Живаго». Мы с Элен Пельтье-Замойской, Мишелем Окутюрье и Луи Мартинесом собрались в первый раз для совместной работы. Николай Иванович Гоголев, который сравнительно недавно покинул Россию, помогал нам понять наиболее трудные выражения русского текста. Мы встречались каждые три недели, чтобы подготовить рукопись к концу марта. Роман вышел 23 июня 1958 года, и вскоре было выпущено последовательно несколько тиражей. В течение тридцати лет только во Франции было напечатано больше чем 1 800 000 экземпляров.

30—31 мая 1991, Париж.

ЖАКЛИН ДЕ ПРУАЙЯР.

*10 августа 1957. Москва.*

Дорогая Жаклин Яковлевна, госпожа графиня, перед моими глазами все еще стоит то зимнее утро, слегка тронутое приближением отдаленной весны. Мы провожаем Вас на станцию, прощаемся друг с другом, расстаемся.

Вскоре после этого я заболел почти на четыре месяца, которые частью провел в больнице, частью — в санатории. У меня было что-то загадочное в правом колене (точнее говоря, в коленной чашечке), сочетание менисцита, воспаления нерва и прочих прелестей. Я страдал от неопишуемой боли, от которой порой терял сознание, это сопровождалось и внутренними осложнениями. Невралгическая боль в ноге еще не совсем прошла, но теперь ее уже можно терпеть, она уменьшилась. В остальном я чувствую себя так же хорошо, как до болезни.

За это время произошло одно приятное событие: постановка во МХАТе «Марии Стюарт» Шиллера в моем переводе. Я не видел спектакля, так как проболел весь конец театрального сезона. Говорят, что спектакль замечательный.

Недавно с большим опозданием я увидел то, что Окутюрье напечатал в 3-ем номере Esprit. Я не судья в этой области, тонкости и литературные требования современного французского стиха не для меня и мне недоступны, но перевод кажется мне прекрасным и неожиданным своим богатством и мастерством. Я передан верно по мысли и точно по форме, это превосходит близость дословных прозаических переводов. Было бы любопытно узнать судьбу этих переводов, то, как их приняли и оценили. Высокое качество работы дает возможность проверить



(по тому, как был встречен этот номер), — вызовут ли вообще мои произведения интерес во Франции.

Я просмотрел несколько статей во французских и английских журналах, и мне бросилась в глаза общая черта, очень близкая мне (да и нам всем). Неверно делить мир на капиталистическую и коммунистическую части. Он более, чем когда бы то ни было, однороден.

Думающих молодых людей на Западе объединяет серьезность и естественность сказанного, простота и насыщенность мысли. Эта свобода языка от многословия, ненужных украшений и напыщенности, которые возникали у наших предшественников в предыдущие эпохи как следствие избытка досуга и лени, — высокое нравственное качество. Это — почти что целая новая философия, — остается лишь заполнить ее пережитым и найденным содержанием, которое найдет первый явившийся, наиболее творчески производительный человек. Серьезность тех, кто составляет это поколение, — следствие двух войн и других суровых уроков, в особенности нашей революции, первого учителя нашего времени.

Дорогая Жаклин, мое письмо становится все более тяжеловесным и скучным. Я его обрываю и заканчиваю. Я ничего не знаю о том, как идет ваша общая работа. Не раздражает ли Вас текст, который Вы сделали предметом своего длительного труда, не наскучил ли он Вам? Не забывайте, пожалуйста, что в деле использования переводов моего текста и публикации подлинника инициатива и доходы принадлежат Вам, я к этому не имею никакого отношения.

Примите мое глубокое, бесконечное уважение, и прошу передать мой поклон Вашему мужу.

Остаюсь преданный Вам *Б. Пастернак*.

Полгода, прошедшие с отъезда Жаклин де Пруайяр из Москвы, были вырваны из жизни Пастернака тяжелой и мучительной болезнью. Стараниями друзей его поместили в Кремлевскую больницу. После трех месяцев лечения так до конца и не распознанной болезни он был переведен в санаторий «Узкое».

Вернувшись в начале августа в Переделкино, Пастернак записал впечатления прошлой зимы в стихотворении «Вахханалия» и нескольких других, продолживших цикл «Когда разгуляется». Но печатание сборника, для которого поначалу предназначались эти стихи, было остановлено в Гослитиздате.

Пастернак возобновил переписку. Одним из первых и было письмо к Жаклин де Пруайяр. Оно было послано с оказией и задержалось на три месяца. Пастернак беспокоился, не имея известий о работе над французским переводом романа. Он получил переводы стихотворений, напечатанные Окутюрье в журнале «Esprit» (1957, № 3). Это были три стихотворения из «Второго рождения», два — из «Доктора Живаго» и три — из нового цикла («Знамя», 1956, № 9). Пастернак отправил переводчику письмо, восторгаясь его талантом и совершенством передачи русской поэзии по-французски.

Тем временем кончилась шестимесячная отяжка, которой Гослитиздат добился от Фельтринелли. Советское издание не вышло. Назревал политический скандал.

21 августа 1957 года Пастернак был вызван в ЦК к заведующему отделом культуры Поликарпову. От него, угрожая немедленным арестом, требовали срочно остановить издание романа за границей. Пастернак был вынужден подчиниться и телеграфно запросить у своих иностранных издателей рукопись романа для доработки. Одновременно на Фельтринелли оказывала давление итальянская компартия. Он предпочел выйти из партии, но «Доктора Живаго» все-таки издать.

Сохранившаяся в архиве издательства Галлимара телеграмма, посланная Пастернаком 8 октября 1957 года, носит сбивающий с толку характер. Он требовал возврата не существовавшей никогда фотокопии рукописи.

*Москва. 3 ноября 1957.*

Дорогая Жаклин,

Я не верю собственным глазам, когда пишу буквы Вашего имени. Как далеко все это: Ваше пребывание в России, мое знакомство с Вами, Ваш отъезд, моя долгая болезнь, больницы, выздоровление. Целая вечность отделяет прошлую зиму от этого воскресного дня, когда я начинаю свое письмо к Вам. Догадываетесь ли Вы, сколько раз я мысленно был с Вами, с вами со всеми. Два месяца назад я написал Элен, я выразил Мишелло Окутюрье свое горячее восхищение его прекрасной статьей и несравненными переводами, я и Вам хотел написать и, если я не ошибаюсь, должен был это сделать. Неужели все это ни до кого не дошло и все письма пропали?

Я хорошо представляю себе, как утомил Вас своим доктором! Не проклинаете ли Вы меня? Но, говорят, этот тяжелый, окутанный дымом поезд с Божьей помощью уже достиг места назначения. Как я счастлив, что ни Г<аллимар>, ни К<оллинз> не дали себя одурачить фальшивыми телеграммами, которые меня заставляли подписывать, угрожая арестовать, поставить вне закона и лишить средств к существованию, и которые я подписывал только потому, что был уверен (и уверенность меня не обманула), что ни одна душа в мире не поверит этим фальшивым текстам, составленным не мною, а государственными чиновниками и мне навязанными. И под прикрытием какого нравственного благородства! Мне внушали, чтобы я в этих подлых телеграммах попросил издателей вернуть мне рукопись романа только для стилистической доработки и больше ничего! Видели ли Вы когда-нибудь столь трогательную заботу о совершенстве произведения и авторских правах? И с какой идиотской подлостью все это делалось? Под гнусным нажимом меня вынуждали протестовать... против насилия и незаконности того, что меня ценят, признают, переводят и печатают на Западе. С каким нетерпением я жду появления книги!

Югославский писатель, будучи в Париже, написал мне: «Журнал *Esprit* напечатал Ваш рассказ, знаете ли Вы об этом? Я прочел его...» О чем идет речь? Не может же он так ошибиться, чтобы принять стихотворные переводы Окутюрье, напечатанные в марте, за прозу, и говорить об этом, как о чем-то совсем недавно случившемся. Или действительно речь о прозе? И о какой именно?

Я посылаю Вам маленькую тетрадку моих последних стихотворений, которые мне переписали и большая часть которых Вам известна. Пожалуйста, покажите их Мишелло и Элен. Их надо когда-нибудь напечатать по-русски вместе с автобиографией (сохранилась ли она у Вас?). Тогда внесите в нее исправление. Подклейте, пожалуйста, к странице 70, если я не ошибаюсь, вместо старого заключения, которое там напечатано, новое, которое я прилагаю. Напрасно надеяться, что что-нибудь, написанное мною, издадут у нас. Отношение ко мне все ухудшается.

Примите мои лучшие пожелания и чувство искренней привязанности к Вам, Вашему мужу и всему Вашему семейству.

*Б. Пастернак.*

Пастернак с радостью узнавал, что его вынужденные телеграммы не изменили намерений издателей. Итальянский перевод должен был вот-вот выйти в Милане, а в Англии, Франции и Германии работа продолжалась. Он пишет об этом условным языком не только для того, чтобы скрыть содержание письма от посторонних глаз, но и потому, что волнующая значительность событий заставляет его говорить об этом с некоторой иронией, скрывающей труднопереносимую радость. Особый язык, несобственное употребление понятий сближает корреспондентов, делая их соучастниками, способными понять друг друга с полуслова.

Отлученного на родине от читателя Пастернака очень волнует проявляемый к нему интерес, в частности во Франции, но отклики и публикации доходят нерегулярно. Он хочет проверить сообщенные ему Миловым Джовановичем сведения о напечатанной в «*Esprit*» (1957, № 9—19) «повести в переводе М. Окутюрье и Б. Горелого».

В Москве же медленно назревающий скандал в первую очередь оборачивается полным отказом печатать Пастернака, даже самое безобидное — лейзажную лирику последних лет. В октябрьском номере «Нового мира» должна была появиться подборка новых стихотворений. Опубликовали только одно — «Хлеб». Из декабрьского выкинули в последнюю минуту автобиографический очерк «Люди и положения» и стихи о Блоке. К очерку Пастернак написал новое заключение. Его текст вместе с тетрадкой стихотворений, озаглавленной «В перерыве», Пастернак отправил Жаклин.

Жаклин де Пруайяр ответила на письмо 12 декабря. Она писала, что переводчики работают по мере сил, сознавая, что это важно не только для автора, но и для России и истины, так как Слово не прячут под спуд, как ей сказала однажды Пастернак.

Жаклин сообщала, что пишет, лежа в постели, так как плохо переносит начало беременности. Ей пришлось прервать свое преподавание. Она представляет себе Пастернака крестным отцом своего будущего ребенка в надежде, что он унаследует его высокие духовные качества. Она обещает сделать все для скорого издания его работ, чтобы он успел их увидеть при жизни и был спокоен за их судьбу.

В Москву на рождественские каникулы собиралась Элен Пельтье. Перед ее отъездом 17 декабря 1957 года в доме у Жаклин они встретились с профессором Клеменсом Геллером и двумя сотрудниками русского издательства Мутона в Голландии. Даниэль де Пруайяр, муж Жаклин, присутствовал в качестве адвоката. Шел разговор о срочном издании русского текста

«Доктора Живаго». В Москве Элен Пельтье рассказала об этих планах Пастернаку, который с радостью отнесся к проекту.

*7 января 1958. Рождество по старому стилю.*

Дорогая, невыразимо дорогая Жаклин, что сказать о Вашем удивительном письме от 12 декабря, которое величием Вашей души, как подымающейся волною, затопило меня, унесло и захватило. Читая его, я должен был отступать перед ним строка за строкой, как шаг за шагом отступают перед наводнением. Чем мне ответить на этот прилив души, прекрасной до осязаемости?

Я сочувствую Вам в ваших физических страданиях, которые, возможно, еще не прошли.

Меня смущают Ваши слова, предложения, которыми Вы меня одариваете, близость, которую Вы устанавливаете между своим будущим ребенком и мной, меня наполняет стыдом незаслуженность Вашего выбора. Мысленно я его принимаю, храню его в душе, как событие моего внутреннего мира. Но не придавайте этому значения, идущего наперекор реальности. Я боюсь связывать явление такой мрачности и противоречивой неустойчивости, как я и моя судьба, с самым чистым и небесно ясным из того, что существует на свете, — с новорожденным младенцем, тем более Вашим ребенком. Меня восхищает смелость, с которой Вы, без всякого намека на суеверие, принимаете решение по поводу своего близкого будущего. Благодаря Вашему мужеству и Вашей вере расстояние между нами сокращается. Для меня этот желанный и ожидаемый крестник уже живет с тех пор, как Вы заговорили о нем. Я тревожусь о нем и люблю его.

Я уважаю также ту искреннюю прямоту, с какой Вы говорите о моих литературных пожеланиях: «Я надеюсь, что Господь продлит Вашу жизнь, чтобы Вы могли собственными глазами увидеть свои книги... и т. д. ... а если нет, спокойно умереть, не заботясь об их судьбе...» — Это именно то самое, что я был бы счастлив чувствовать, но кто другой кроме Вас, с Вашим характером и индивидуальностью, избежал бы банальности пробормотать, как принято в таких случаях: «Вы проживете еще сто лет... и т. д.»

Вы без труда поймете, с каким изумлением и безумной радостью, открыв дверь на чей-то стук, я увидел — о, Боже! — возникшую на пороге Элен! Всякий раз, мечтая о новой встрече с ней, я воображал, сколько сделаю всяких дел, сколько удивительных чудес разделю с ней, и рисовал в воображении эту единственную возможность! И вот настает этот удивительный случай, перед которым должно отступить все и дать место этой единственной редкой встрече, — однако продолжается ежедневная жизнь, ее заботы и привычки, и после всех ожиданий и обещаний, данных ей, Элен встречает мое озабоченное, стиснутое и черствое сердце. Я виделся с ней дважды, приближается ее отъезд, и хотя я предвижу, как буду безутешен, когда она станет недосыгаемой, я не воспользуюсь оставшимся временем, чтобы еще раз увидеться с ней, своим добрым и любимым другом, пока не подготовлю и не просмотрю для Вас свои тексты.

Ваше упоминание о Голландии и то, что мне рассказала об этом Элен, — весьма кстати. Не упускайте этой возможности, хватайтесь за нее немедленно. Убедите Фельтринелли: 1) чтобы он сам не сносился ни с кем из русских издателей за границей, чтобы он воздержался и не дублировал Ваших усилий. 2) Чтобы он согласился стать подставным лицом в будущих объяснениях по поводу загадки, каким образом подлинный текст (романа) попал в русское издательство. Пусть он позволит представить все дело таким образом, будто его рукопись была сфотографирована и распространена среди разных издателей и переводчиков и в конце концов он уже не мог помешать, чтобы рукопись появилась из неизвестного источника.

Когда я готовил для Вас текст, я перечитал еще раз роман, — после того, как за эти два года слегка подзабыл его. Меня не очень обескуражило открытие, что в его неоднородном составе множество скучных и бледных страниц заметно превосходит живые и яркие части. Среди немногих благоприятных отзывов, которые мне удалось просмотреть, я нашел немецкую рецензию, в общем положительную, но с жалобами на то, что после работ Джеймса Джойса, Фолкнера, Хемингуэя и Музиля роман кажется слишком устаревшим. Не огорчайтесь, если в будущем будет расти число справедливых претензий, упреков в недостаточной оригинальности или порочном академизме. Это скорее заслуга, чем бросающийся в глаза недостаток.

Пришло время, чтобы как раз из совокупности упомянутых современных имен и течений, богатых поисками, увлечениями, которые я тоже разделял лет тридцать тому назад, родилось нечто существенное, спокойное, прозрачное, полное, что может дать точное представление об этих течениях, исчезнувших или еще продолжающихся, об их существовании и их философии, новых перспективах, которые они видят в будущем и к которым они приходят. Если «Живаго» не стал этим произведением, то он, по крайней мере, послужит толчком в нужном направлении.

Говоря о романе, я думаю о предложении голландцев, то есть о русском издании, надеясь, что у Г<аллима> дело уже решенное и не оставляющее сомнений. Долгое ожидание выхода книги меня беспокоит только с той точки зрения, что за это время не исключена будет вероятность новых попыток сорвать французское издание. Достаточно ли хорошо понимает г-н Г<аллима> и основательно ли он осведомлен, что никакая возможная хитрость, никакая двусмысленность, на которую в будущем меня могут вынудить косвенным давлением, не должны поколебать принятого им решения? Если ему предложат миллионы отступного, пусть знает, что непримиримая позиция и выход книги принесут ему в десять раз больше. Если его будут уверять, что публикация романа грозит мне гибелью, пусть знает, что отсутствие публикации наверняка вызовет еще более страшную расправу.

Мне показали итальянскую книжку. Она оформлена, по-моему, со вкусом и благородно. Они правы, не деля текст на две книги, на два тома, как сделано в рукописи, и давая сквозную нумерацию глав, как в целом, неделимом произведении. Последуйте их примеру. Но печатать отчество в заглавии (Boris Leonidovitch Pasternak) неуместно, надо было просто Boris Pasternak.

Однако прежде чем вернуться к голландцам и к чтению этого нескончаемого письма, отдохните немного со своим очаровательным маленьким Обером или своим великодушным мужем, который с таким благородством переносит грустные и смешные превратности, слишком тесно связанные с моим призванием, и не ворчит на Вас за то, что Вы в них так глубоко погружены.

---

10 января 1958.

Ну теперь о голландцах. Речь может идти только о двух книгах: романе и книге избранных стихотворений, которой в качестве предисловия будет предпослана автобиография. Я абсолютно против полного собрания. Что там такого, чтобы восстанавливать в памяти, увековечивать, воскрешать? Большая часть моих старых стихов и прозы ничего не стоят. Надо выбрать ценное.

Если можно издать русскую книжку в Голландии раньше, чем выйдут переводы романа, и это не будет юридически противоречить правам иностранных издателей и их отношениям с Ф<ельтринелли>, пусть она выйдет чем раньше, тем лучше. Тут нечего тянуть, торопите дело, как только можно.

Пусть сборник стихов издадут под тем предлогом, что это копия книги, подготовленной в Гослитиздате два года тому назад; пусть утверждают, что эта книга по всей вероятности давно уже должна была появиться; что машинопись случайно попала в руки издателей и ее печатают без ведома автора.

Если голландские предложения содержат что-либо материально выгодное, пусть вся прибыль будет отдана в Ваше распоряжение, пользуйтесь ею по своему усмотрению, денежные вопросы меня не касаются.

Однако, дорогая Жаклин, напоминая себе, что Вас ждут радости скорого материнства, его заботы и огорчения, я задаюсь вопросом, откуда Вы возьмете время и силы, чтобы, помимо этого, взвалить на себя беспокойства, связанные с моими литературными делами.

Может быть, Вам найти помощника или заместителя по русским делам, оставив за собой только общее наблюдение?

Не надо отбирать для сборника много стихов из посланных для этого книг. Двойное, тройное предпочтение — последним книгам, начиная с 1940 года. Нужно следить, чтобы сборник состоял из действительно лучшего, главного, понятного, и больше ничего не надо. Это суровый отбор, требующий от редакторов строгого, точного и очень тонкого вкуса, и лишь против воли я соглашусь снять эту тяжесть с Ваших плеч и доверить выбор кому-либо другому. Лучшими судьями в этом могли бы стать другие члены вашей переводческой команды, — что касается стихов, то в первую очередь Мишель. Но что делать, если Элен,

Мартинес и всё вы настолько перегружены? Может быть, Вы привлечете к этой работе кого-нибудь из Ваших русских знакомых в Париже, разумеется, достаточно опытных. (Я все время забываю, что в голландском издательстве должны быть свои знатоки этого дела, за работой которых Вы можете следить и влиять издали.) Я мог бы Вам рекомендовать очень интересного и знающего человека, чтобы посоветоваться по этому вопросу, музыковед и теоретик современной додекафонической музыки Петра Сувчинского, 15 rue Saint-Saëns, Paris XV, если бы не боялся, что он окажется слишком снисходительным, восторженным модернистом, тогда как здесь нужна холодная беспристрастность.

Дорогая Жаклин, тут я обрываю свое длинное и утомительное письмо. Элен уезжает 14-го. В этот зимний вечер я мысленно говорю Вам до свидания. Завтра утром я скажу эти слова Элен вслух и во всей реальности. Такие живые, значительные прощания и разлуки — смертельная рана, некоторое подобие смерти. Увижусь ли я вновь с Элен, поговорю ли еще раз с Вами?

Да осыплет Господь Вас своею милостью с головы до ног.

*Борис.*

Вместе с этим письмом Пастернак вложил в конверт письмо к Фельтринелли, датированное 12 января 1958 года. В нем он просил его не чинить препятствий его другу и поверенной в делах госпоже де Пруайяр в ее намерениях издать русский текст романа. На этом письме было указание автора передать его по назначению в том случае, если это понадобится Жаклин. Через год в письме от 30 января 1959 года Жаклин сознавалась, что она не передала этого письма, так как там, по ее мнению, недостаточно точно определены ее юридические права, что вступает в противоречие с предыдущим договором. Она спрашивала, нужно ли отправить это письмо обратно в Москву? Ответа она не получила, и письмо сохранилось у нее.

*19 января 1958.*

Мой невыразимо дорогой Мишель, Элен, Жаклин и Мартинес, мои помощники и самые любимые друзья, мне снова не дают покоя. У меня есть причины подозревать, что «Международная книга» вмешается в ход французского издания романа и может возбудить процесс против Галлимара; желая помочь вам сорвать эти планы и избавить вас от опасений мне навредить, хочу высказать вам свои истинные желания на случай, если понадобится их официально противопоставить ложным утверждениям обвиняющей стороны.

Итак, вот смысл и направление, в которых вы можете, но слишком опасаясь последствий для меня, сослаться на мои действительные пожелания и истинные намерения. Надо лишь отнести все это в прошлое и датировать оправдательные основания летом 1956 года.

Именно в это время в письме к Фельтринелли мною были сказаны слова, которые он процитировал в газете Nuova Stampa в середине ноября 1957 года, — «пусть он публикует роман непременно, независимо и не взирая на то, что, может быть, позже меня заставит возражать самому себе, говорить против моих настоящих взглядов, против моей воли. Ибо, — прибавил я, — моя собственная судьба для меня не так важна, как судьба моих мыслей».

Если будут сослаться на интервью, которые я давал в декабре прошлого года иностранным журналистам, пусть ясно представляют себе следующее. В этих интервью я вынужден был согласиться с тем, что подписи под телеграммами с просьбой о возвращении рукописи были подлинными, что, стиснув зубы и вопреки своему сердцу, я должен был поддаться идее «пересмотра» работы и ее «улучшения». Но, — добавлял я, — невыполнение просьбы ни в коем случае не трагедия, и я не собираюсь оспаривать текст, если он будет напечатан по рукописи. Насколько глупо и бесполезно говорить об этом теперь, когда неискаженный текст уже вышел в Милане несколькими тиражами и слишком поздно пытаться фальсифицировать его добавочными «переделками» и изменениями!

Если эта новая попытка «Международной книги» возбудит процесс опирается на наиболее либеральные статьи французского авторского права (какая злобная наглость пользоваться самыми свободными возможностями законодательства для крючкотворских уловок полного порабощения духа!), пусть Галлимар привлечет Фельтринелли в качестве свидетеля защиты перед судом. Он сумеет опровергнуть эти построения, обстоятельно опираясь на свой собственный опыт и не слишком касаясь меня. Я поручаю ему также рассказать, каким образом, желая заранее обезопасить себя от всякого постороннего вмешательства в мои планы, я его предупредил, чтобы он не обращал внимания на все, что я

должен буду сказать ему против *единственного и неизменного желания всей моей жизни (видеть «Живаго» напечатанным)*, и чтобы он знал, что все противоречащие этому проявления нерешительности будут ложными документами, полученными под давлением, в той или иной степени грубым или мягким.

О как до тошноты противно вновь и вновь возвращаться к этой грязной теме! Я расстаюсь с вами, не имея времени добавить к этому хоть несколько человеческих слов.

*Борис.*

Элен, Ольга боится, что использовать написанное здесь «в полном виде» будет опасно. Тогда подумайте и сделайте выдержки в пределах разумного.

«Международная книга», о которой идет речь в начале письма, — монополия советская организация по изданию книг на иностранных языках и книготорговле. Ее валютное и юридическое всемогущество ослабло лишь в 1989 году в связи с общим развалом.

Приведенные здесь слова Пастернака, которые Фельтринелли цитировал в «Nuova Stampa», взяты им из письма от 30 июня 1956 года, которым Пастернак сопроводил подписанный им договор. Там же он, предупреждая теперешнюю ситуацию, писал: «Если обещанная многими журналами публикация романа здесь задержится и вы ее опередите, положение мое будет трагически трудным». Но, добавлял он, «мысли рождаются не для того, чтобы их таили или заглушали в себе, но чтобы быть сказанными».

В ответном письме 14 мая 1958 года Жаклин де Пруайяр сообщала, что недавно вычитывала корректуру романа и что издание ожидается через три недели. Она просила поскорее написать и прислать предисловие, пусть и небольшое, оно было бы очень ценно для издания. «Наши бараны пока спят», ими займутся в конце июня, писала она, имея в виду издательство «Мутон» и обыгрывая значение этого слова. Фельтринелли как будто согласен. Жаклин писала о трудности перевода стихотворений. Мишель уже перевел 15 из них, но ни Луи Мартинес, ни она сама не могут помочь ему, так как не поэты.

Это письмо, так же как и следующая открытка, где Жаклин сообщала, что 31 мая родила девочку, которую назвали Полин, задержалась в пути на два месяца. Известия о том, что вычитана последняя корректура Автобиографии, что «мальчики» (Мишель и Луи) кончают править перевод стихов и роман можно будет печатать на следующей неделе, Пастернак получил только к сентябрю. Тем временем он продолжает волноваться и за нее, и за свои дела.

*8 мая 1958.*

Дорогая Жаклин (какое счастье, пользуясь драгоценной возможностью, произносить звуки этого имени, выписывать его буквы и с его помощью вызывать в памяти женщину, жизнь, мир, которому было дано это имя); дорогая Жаклин, как Вы поживаете? Как Ваши надежды, Ваши ожидания? Я испытываю суеверный страх, спрашивая Вас об этом. Не то, чтобы я недостаточно верил в Вас, в Вашу счастлившую звезду. Но я не так уверен в своей «легкой руке», чтобы задавать Вам эти вопросы, полные трепещущего значения и жизни. Найдите способ как можно скорее меня успокоить.

Между прочим, некоторые, прочитав в иностранных статьях описание нашей дачи, почерпнули оттуда мой крайне упрощенный адрес (Переделкино под Москвой, СССР, мне — и больше ничего), и вся неуместная дань восхищения, все душевные излишья, иногда очень возвышенные, главным образом из Франции и Западной Германии, при таком обозначении местности благополучно доходят без всяких потерь или с меньшими, чем через Союз писателей или на мой подробный городской адрес. Может быть, по мнению почты, глухое деревенское обозначение в моем случае предпочтительнее, чем звучное столичное. Попробуйте им воспользоваться и сообщите этот затерянный географический ориентир Элен и всем, кому это интересно. Не переводите даже написанного на конверте на русский. Краткость адреса полезна для содержимого. Можете смело отправлять все, что хотите.

Правда ли, что Panteon Books и Collins уже выпустили книгу? Я в это не верю. Откуда это взялось? Почему русские планы (с Mouton'ом и другими) не движутся? Может быть, Фельтринелли (или кто-то еще) противодействует этим расчетам и мешает их движению? Учтите, что переделкинский адрес оказался удобен для всяких видов почтовых отправок, даже бандеролей и посылок. Таким образом, когда настанет время и Галлимар расщедрится и вручит Вам для

меня три экземпляра романа, отправьте их по трем направлениям. Один — в Лаврушинский переулок. Другой — через Союз писателей, Москва Г-69, ул. Воровского, 52, Иностранная комиссия, для меня, и третий: Б. Пастернаку, СССР, Переделкино под Москвой. Разумеется, если Вы не найдете лучшего пути, например, через посольство или французского музыканта, знакомого Элен. Я ей (Элен) написал открытку в таком тоне, в котором пишутся открытки для того, чтобы они дошли. Если у меня хватит времени ее переписать, чтобы, пользуясь случаем, послать Вам кружным путем, — я это сделаю. Если не успею, пожалуйста, извинитесь за меня перед моим светлым другом, которого я так глубоко люблю.

С начала года у меня возобновилась боль в правом колене. Меня снова клали в больницу, снова более трех месяцев жизни было отнято у меня.

На встрече Нового года мы уговорились с Элен, что я сделаю предисловие к французскому изданию Ж<иваго> следующим образом. В нескольких длинных письмах к Вам или Элен я предоставлю готовый материал для этого предисловия в виде соображений, которыми мы обменивались и которые Вы можете привести без изменений, как цитаты из переписки, в оформлении предисловия, написанного Вами или ею. Сюзанна Сока из Монтевидео в своем прекрасном исследовании в журнале «La Licorne»<sup>16</sup> сделала мне честь, приведя некоторые места из нашей с нею переписки, которые, даже подхваченные и повторенные в Германии, не вызвали здесь никаких упреков. Я думаю, что это единственная возможность, когда нужно напечатать без изменений текст, написанный мною для заграницы. Думаю, что подобные хитрости должны быть в Вашем духе, что склонность к школьным шалостям не совсем исчезла в Вашей душе, еще не утратившей повадок девочки-подростка.

После болезни, совершенно разрушившей мои планы, замысел этого предисловия полностью оформился у меня в голове. И эту цепочку мыслей (о революциях вообще, о нашем поколении, о том, что такое «трансцендентность», которую два или три раза упомянули в отзывах обо мне и т.д.) я Вам постараюсь изложить в следующий раз, как только у меня будет для этого достаточно времени.

(Как необдуманно я Вам пишу! Ведь я ничего, совсем ничего о Вас не знаю! Живы ли Вы? Только бы Господь не наказал меня за мое легкомыслие!)

Колено у меня иногда ужасно болит. Но теперь, когда я вернулся из больницы домой, мной овладело постоянное ликование. Весна, грязь на дорогах, прозрачные леса, птичий щебет делают за меня половину работы и подталкивают доделывать остальное. У меня кучи требующих ответа писем, и, поскольку невозможное — притягательно, я пытаюсь это сделать на их родном языке, по-английски, немецки и французски, а это отнимает время...

Но закончим, наконец. Позвольте мне обнять Вас и передайте, пожалуйста, мою самую горячую симпатию Вашему дорогому мужу и всей Вашей семье.

Ваш Б.

Не получая ответа, Пастернак забрасывает Жаклин нетерпеливыми открытками, исписанными бисерным почерком.

9 июня 1958.

Дорогая Жаклин, прошел уже почти месяц, как, воспользовавшись подвернувшейся возможностью, я послал Вам закрытое письмо. Вдруг узнаю, что мою просьбу не выполнили и, значит, Вы не получили целый список моих беспокойств. Я волновался о Вашем здоровье и близких, а теперь уже и наставших, сроках Вашего материнства, а также о баранах, к которым нам все время приходится возвращаться, и т. д. и т. д. В самый разгар моих тревог пришло письмо от Элен, которое успокоило меня своей веселостью и на зависть радостными новостями. Кроме того, я узнал, что доктора можно ожидать в Париже к концу июня, а это уже половина предстоящей радости. Я уверен, что буду плакать от нежности и душевного волнения, когда прикоснусь руками к живому чуду Вашей вдохновенной работы и целого года беспокойств и помех.

Теперь о вещах, которые так много значат для жизни в целом, а не только нашей. Я снова был болен, Жаклин, и больше трех месяцев пролежал в больнице. Это следствия прежних повреждений, которые я безболезненно переносил в течение жизни (таких, как перелом правой ноги в 12-летнем возрасте или травма

<sup>16</sup> «Единорог» (франц.).



колена той же ноги и т.д.). Два года назад эти осложнения стали напоминать о себе жестокой болью. Я думаю, что осенью попрошу, чтобы мне сделали операцию колена (удаление мениска), чтобы эти осложнения больше не возвращались (если в этом причина, — но кто может быть уверен, — ведь это всего лишь одно из многих медицинских предположений).

Я получил книги и письма от Рене Шара, дю Буше, Анри Мишо. Этот разговор с людьми разных течений во Франции, Западной Германии и т.д. много для меня значит, но я сейчас настолько беспомощен и слаб, что не могу воспользоваться представившимися возможностями. Трагедия и страдания, из которых возник доктор, сделали меня на время великим. Теперь, когда наступила передышка, это кончилось.

Лучшие пожелания Вашей семье. А бараны? Нет ли о них чего-нибудь нового?

Андре дю Буше, литератор и журналист, прислал Пастернаку свою книгу «Le moteur blanc» («Белый автомобиль») и книги своих друзей, известных французских поэтов Р. Шара («Recherche de la base et du sommet» — «Поиски основания и вершины») и А. Мишо («L'espace du dedans» — «Внутреннее пространство») с авторскими надписями. Из его письма Пастернак узнал также о делах в издательстве Галлимара и сроках выхода книг.

26 июня 1958.

Дорогая Жаклин, по-моему, я Вам писал дважды и ничего не знаю о Вас, Ваших делах и Вашем здоровье. Но не об этом я Вам в такой спешке пишу открытку. П<етр> С<увчинский> (15 rue Saint-Saëns, Paris 15), который знаком с А. Камю, Р. Шаром и супругами дю Буше, написал мне очень взволнованное письмо. Вот вопросы, которые его беспокоят:

1) толкования, которыми сопровождаются публикации отрывков из романа, он считает вредными и опасными для меня. Ему кажется, что можно было бы предотвратить эту опасность, не знаю каким способом. Его ошибка в том, что он считает меня великим писателем, автором девяти книг, который написал десятую, чьей судьбой надо правильно распорядиться и т.д. Он не понимает, что я — маленький автор большой книги, которой предстоит своя судьба, и в ней ничего не изменишь и что моя участь исходит и зависит от нее;

2) не могу ли я отправить ему, Рене Шару или Галлимару «хотя бы краткий текст, объясняющий роман»? Нет. Это либо ухудшит сложившиеся обстоятельства, либо будет отречением, что невозможно.

3) Он пишет: «Нужно во что бы то ни стало, чтобы в будущем году Вы получили высшую европейскую премию (N)» — (как будто это зависит от наших желаний). Но как средство достижения этой цели (премии) он продолжает:

4) «Нам кажется, что теперь же нужно приступить к настоящему поэтическому переводу Ваших поэм и стихов. Это должна быть большая книга, может быть, Вы сами могли бы сделать выбор и дать указания? Дю Буше и его жена готовы начать эту работу под редакцией Р. Шара».

Может быть, это Вас заинтересует, Жаклин? Посоветуйте им и привлечите их к Вашим планам, если это Вам улыбается. Полученная Вами доверенность, Ваши права и полномочия сохраняются. Поэтому я и пишу Вам, прежде чем отвечать кому-нибудь из них. П. С<увчинский> человек очень интересный, благородный и одаренный, он мой друг, и его беспокойство за меня сердечно меня трогает. Живая переписка с ним, А. Камю, Шаром и супругами дю Буше делает мне честь, я горжусь этим. Я отвечаю им, людям большого одухотворения, полной взаимностью. Но все, что со мной сейчас происходит — дело Ваших рук и Ваша заслуга. Я никогда не забуду о Вашем первенстве. Особенно в своих привязанностях.

Петр Петрович Сувчинский (1892 — 1985) — известный музыковед, издатель и критик, один из евразийцев. Его переписка с Пастернаком опубликована с подробными комментариями В. Козового в «Revue des études slaves» (Paris, LVIII, 1986, 4; LXII, 1990, 4). В письме от 8 июня 1958 года Сувчинский беспокоился, что публикация отрывков из «Доктора Живаго» в журнале «Preuves» (№ 88) в июне 1958 года может повредить автору. Отрывки сопровождалась статьей Альберто Моравиа «Юноша с седыми волосами», в которой Моравиа писал о своем знакомстве с Пастернаком в мае 1956 года. Фрагменты печатались также в газетах «France Observateur» 7 ноября 1957 и «Le Figaro littéraire» (№ 83) в январе 1958 года. Пастернак передает эти сведения на усмотрение Жаклин де Пруайяр, потому что сам не видел эти публикации и не знает, как они комментируются в прессе. Его интересует также ее мнение о сборнике, который предлагает



Сувчинский, и о названных им переводчиках; его, видимо, смущало, что при всем расположении к нему никто из этих людей, кроме Сувчинского, не знал русского языка. Тем не менее этому кругу лиц Пастернак был обязан своим знакомством с Альбером Камю, который 9 июня написал Пастернаку, что нашел в нем ту Россию, которая его питает и дает силы, и послал ему с надписью «Discours de Suede» («Шведские речи»). Пастернак ответил ему 28 июня и 14 августа 1958 года. Их переписка опубликована в «Canadian Slavonic papers» (1980, июнь, № 2).

8 июля 1958.

Дорогая Жаклин, благодаря Элен, я, наконец, узнал о Ваших счастливых новостях. Я призываю благословение неба на Вас и на малютку, на Вашу семью и Ваше общее будущее. Я делаю это от всего сердца, со всей любовью к тому, что Вас окружает, и со всею силою тоскуя о том, что отделен от Вас расстоянием и неожиданностями, которые выкидывает с моей перепиской своенравная почта. Впрочем, я к ней несправедлив. Напротив, я бываю каждый раз наказан, когда, избегая ее, отдаю мои письма в руки идиотов, которые держат их целыми месяцами, как это случилось и еще тянется с моими письмами, нужными Вам и другим людям, которые я напрасно послал с оказией более двух месяцев тому назад. Итак, оказалось, что лучший способ, чтобы тебя прочитали и услышали твои адресаты, это бросить свои слова в почтовый ящик, как это всегда и было принято. Узнайте у Б. Парена мой дачный адрес и пользуйтесь им. Поблагодарите его от меня за открытку, написанную по-русски. Я на днях отвечу ему. Но книги еще не пришли.

Появление романа во Франции, полученные оттуда письма, главным образом, личные, головокружительные, захватывающие, — все это само по себе целый роман, отдельная жизнь, в которую можно влюбиться... Быть так далеко от всего этого, зависеть от медлительности и капризов почты, трудности иностранных языков!

Я косвенным путем узнал (лучше сказать, я подозреваю), что Фельтринелли вмещается в Ваши планы, касающиеся баранов, которые я так хотел сохранить для Вас! Неужели моя мечта о том, что удивительное счастье и удача, которые Вы мне принесли, окупятся материально и возместят Ваши труды в течение целого года, — эта моя мечта никогда не осуществится из-за Фельтринелли? Жить в полном неведении о том, что тебе дорого, и не иметь возможности что-либо сделать и изменить! Извлеките, по крайней мере, какую-нибудь пользу из того, что единственно необходимые рукописи для бараньей книги, биография и сверенная подборка стихов, есть только у Вас и ни у кого больше! Дайте знать Фельтринелли, чтобы он придерживался Ваших материалов, советовался с Вами и слушался Вас, иначе издание будет испорчено.

Мне рассказывали о французской радиопередаче, посвященной Живаго, очень разумной и успокоительной. Не Ваш ли муж был ее автором? Как я ему за все, за все благодарен.

Брис Парен (1897—1971) — писатель и философ, многолетний сотрудник издательства Галлимара. Он был женат на художнице Наталии Георгиевне Челпановой, с которой Пастернак был знаком в 20-е годы, до ее замужества и отъезда во Францию. Мнение Бриса Парена было решающим в вопросе издания «Доктора Живаго» у Галлимара. Упомянутая в письме русская открытка Бриса Парена была ответом на письмо Пастернака от 10 июня, где он благодарил за книгу Ремизова «Les yeux tondu» («Подстриженными глазами», перевод с русского Н. Резниковой), которая была незадолго до того издана у Галлимара и прислана ему Пареном. В письме Пастернак сообщал свой короткий адрес, по которому быстро и без помех приходили письма от читателей «Доктора Живаго». Пастернак с нетерпением ждал вышедшее в конце июня французское издание романа.

Жаклин де Пруайяр, посоветовавшись с Брисом Пареном по поводу предложения Сувчинского перевести стихотворный сборник, писала 19 июля, что Брис Парен не пришел в восторг от намерения приготовить «Пастернака под соусом Шара (или дю Буше)». Плохие переводы не могут повлиять на получение Нобелевской премии. «Тут все дело в Вас, — писала она, — в Вашем значении и в том, что сумеет сделать для Вас Камю».

По поводу русского издания у Мутона Жаклин загадочно писала: «Барашки будут пастись на моей лужайке в течение месяца. Мой муж отвел их в овчарню. Я думаю, что они будут осенью готовы к продаже». Речь идет о том, что после русского издания «Доктора Живаго» Мутон напечатает автобиографию и избранные стихотворения. Копию гослитовской верстки невыведшего сборника Даниэль де Пруайяр отвез в Гаагу. Этот план был разрушен, когда Фельтринелли в конце июля прилетел в Гаагу и заявил свои претензии.

16 июля 1958.

Дорогая Жаклин, я встретил бедного автора Д-ра Живаго, он крайне удручен Вашим невниманием. Он считает, что родился лишь для того, чтобы к концу жизни познаться с Вами; что написал свою книгу единственно для того, чтобы за Вашу драгоценную работу ему в помощь сделать Вас знаменитой, что у него разрывалось сердце от тревоги за Вас накануне появления на свет маленькой Полин, он утверждает, что все это сделал и выстрадал в единственной надежде получить от Вас две-три строчки, но что он не отчаялся и продолжает терпеливо ждать. В тревоге, что его враги не преминут напасть если не на него, что труднее, то на его дорогих, ни в чем не повинных переводчиков, его посетила блестящая мысль, что целью и оправданием во всех случаях издания оригинального текста должна служить боязнь переводчиков, что их обвинят в искажении подлинного текста. Он добавляет, что при необходимости сам будет объяснять издание оригинала тем, что оно было вызвано дискредитацией переводчиков, подобной той, которой подвергся Фельтринелли в статье Эльзы Триоле в «Lettres françaises».

Кстати: постарайтесь дать знать А. дю Буше, что моя просьба объяснить происшедшее с «Автобиографией» и «Lettres...» отменяется. Он может об этом не беспокоиться. Все выяснилось, я прочел статью, где Эльза Триоле, как она думает, дала мне по физиономии и одержала победу. Если бы только это было правдой! — Мы вскоре услышим еще кое-что похуже. Но не будем падать духом! Меня удручает лишь то, что Вы страдаете за меня, что из-за меня к Вам несправедливы, что радость и удовольствие всех вас четверых не так велики и полны, как мне бы хотелось. И не принимайте всерьез написанное в этой открытке. Это все шутки. Никаких упреков. Я знаю, как Вы заняты. Не утруждайте себя ответом мне. И все хорошо, все прекрасно сверх ожидания, не правда ли? И он Вас так любит, бедный автор, Вас и Вашего мужа, и всю Вашу семью.

23 июля 1958 года в открытке с видом древней церкви в Тальмоне Жаклин де Пруайяр написала, что статья Эльзы Триоле «Пастернак и Маяковский», напечатанная в «Lettres Françaises» (1958, 3—9 июля), которую прочел Пастернак, откровенно рассмешила ее и Парена. Не надо принимать эту болтовню всерьез. Роман хорошо продается по всей Франции. Книжные магазины заказывают его у Галлимара. Все это к вящей славе России, где, по ее мнению, в конце концов в этом тоже должны отдать себе отчет.

3 августа 1958.

Дорогая, дорогая, о какая дорогая Жаклин, войдем же вместе в эту старинную Тальмонскую церковь, и хотя, вероятно, там не служат, возблагодарим Бога за то, что изображение этого храма было первой вестью, полученной мной от Вас. Судя по тому, что Вы пишете о Ваших пропавших письмах, их было, по крайней мере, три, о которых я и не подозревал. Мысль об их пропаже заставляет Вас, по Вашим словам, топтать ногами. Насколько же больше мое огорчение по этому поводу. Но эта грусть отступает перед более сильным чувством вмешательства третьей силы, враждебной случайности, которая хочет нас разделить и становится между нами. Более всего оскорбляет меня то, что видя, как Вас это ранит, я ничего не могу поделать,— однако почти физически ощущаемое вмешательство не может оторвать нас друг от друга, а только еще теснее связывает общим чувством горечи и отвращения. Вот все и ничего больше. Нас разными способами пытаются задеть то непосредственной угрозой, то отвратительными ограничениями, а мы надо всем торжествуем. Кроме того, эта враждебная сила огорчений и помех сама служит нам на пользу, сохраняя живым то, что мы испытали и почувствовали в своей победе и без чего она, вероятно, выродилась бы в пустую отвлеченность и напыщенные фразы...

Дорогая Жаклин, как Вам сказать, насколько все чудесно, как все полно будущим даже в этот надвигающийся час, за несколько шагов до возможного конца! Элен написала мне обо всех делах, я все знаю. Чем я могу Вас отблагодарить? Это волшебство!

Я не получил обещанных книг от Парена и начинаю думать, что их украли или перехватили. Пушки Эльзы Триоле не приводят меня в ужас. Статья «Я видел, как плачет Пастернак» меня взволновала гораздо больше. Мне показалось, что автор ко мне расположен, хочет сделать одолжение. Зачем же было в таком случае сочинять благодушный роман правдоподобного содержания, определяя

степень достоверности по своей воле, тогда как существует область фактов и реальных событий и прежде всего — опубликованная книга, которую лучше всего было бы проанализировать в том же «Express'e». Но слезы, родительский дом, величие духа, огнестрельное оружие... Как далеки от этого газетного и опереточного романтизма мои убеждения и моя жизнь.

Обнимите маленькую Полин. Лучшие пожелания вам всем.

4 августа 1958.

Жаклин, длинная открытка с лодками тоже пришла. С чего мне начать? Я прекрасно знаю, как ужасен мой французский. Но если я имею наглость писать на нем и терзать Ваш слух, то это не только по глупости, но из «почтовой необходимости», может быть, кажущейся или даже выдуманной. Простите меня и позвольте и дальше прибегать к этой возможности. Как я рад, что правильно догадался, увидав в завидном состоянии баранов заслугу Вашего мужа, Даниэля. Как было бы чудесно, если бы он нашел возможность помогать нам советом во всех этих делах, даже в тех, которые касаются литературных вопросов. Рассуждая с Вами об этом, я часто косвенным образом обращаюсь и к нему.

Я совершенно согласен с Вами и Пареном по поводу «соуса». Ничего подобного, я думаю, никогда не будет. Но пожалуйста, не будем об этом говорить открыто. Не надо ранить чувства, в этом случае такие дружеские и прекрасные, тем более что бараны сами по себе откроют путь всякого рода переводам. Желаю Вам и всей Вашей семье хорошего и спокойного отдыха, полного и приятного восстановления сил. Забудьте «Живаго», не пишите мне, не читайте критики, пусть она Вас не беспокоит, не посылайте мне вырезок. Вот решение, к которому я пришел.

Противоестественно читать что-либо о себе самом. Одна итальянка дала мне июньский номер флорентийского журнала «Il Ponte». Там я обнаружил «interventi di A. Moravia e C. Cases sul D-re Zivago»<sup>17</sup> — продолжение обсуждения, о котором я ничего не знал. Я с трудом разбираю итальянский с помощью французского, как понимают польский с помощью русского. Иными словами, я ничего в нем не понимаю, не достигаю цели. Но я почувствовал, что оба писателя опровергают пункт 1 анкеты, который, судя по ответам, должен быть: «Является ли Ж<иваго> величайшим и лучшим романом нашего века?» Это грустно и обидно со всех сторон. Кому пришло в голову мерить меня такой меркой? Моравиа рассудительно начинает: «Il secolo non e ancora finito»<sup>18</sup>. И т.д. И снова перечисляют Пруста, Кафку, Джойса и иногда мою собственную былую оригинальность, от которой я отказался в Живаго, ставшем плачевной неудачей. А мои друзья отправляются в Милан, в Париж и в конце концов (Ф<едор> П<анферов>) — в Лондон, чтобы скупить тираж и спасти мою поэтическую репутацию. Доходят до того, что посещают мою сестру, чтобы она этим обеспокоилась и повлияла на меня в нужном направлении.

И я неожиданно вспоминаю об «источках» романа. На что мне родственники, близкие, «друзья»? Нужно ли, чтобы мы любили друг друга просто так, или нужно, чтобы мы любили друг в друге бессмертное и единственно достойное? Единственное, что встает между мной, мастерами моего времени, критиками и друзьями, единственное, что я ношу и держу в себе, настолько физически, с такой страстью, и так по-земному. Это горсть русской земли и то, что, мне кажется, хотел от нас Христос.

Я еще не видел книги и не читал Вашего перевода. Сделайте для меня хотя бы фотографию обложки.

Из письма в письмо Пастернак повторяет нетерпеливый вопрос, когда же ему пришлют экземпляры «Доктора Живаго» и автобиографического очерка, вышедших у Галлимара почти одновременно. До него доходят многочисленные отклики на эти издания в письмах и печати. Статья Леона Ленемана в «Express» (26.06.58) «Я видел, как плачет Пастернак» оскорбила его мелодраматическим характером и претензией на интимность. Фальшивое сочувствие родило этот отклик с самым страшным, что предпринимали якобы от его имени крупнейшие чиновники Союза писателей. А. Сурков в октябре 1957 года ездил в Италию к Фельтринелли и как «друг Пастернака» уговаривал его не печатать роман и вернуть рукопись автору «на доработку». Такие же переговоры вел он и с Галлимаром. Федор Панферов не только пытался остановить

<sup>17</sup> «Интервью А. Моравиа и К. Казеса о „Докторе Живаго“» (итал.).

<sup>18</sup> Век еще не кончился (итал.).

английское издание, но и уговаривал жившую в Оксфорде сестру Пастернака Лидию повлиять на брата. Он обсуждал с ней свой способ спасти «друга», отправив его в творческую командировку в Баку, чтобы он описал вдохновенный труд нефтяников.

Только 17 августа Пастернак получил наконец французское издание романа, совместный труд четырех переводчиков, оставшихся не названными в книге, предмет стольких волнений и мук. Автобиографический очерк анонимно перевела сама Жаклин. Обе книги вышли в так называемой белой серии, традиционные мягкие обложки которой напоминали те, в которых когда-то Пастернак читал Марселя Пруста. Анонимность переводчиков, открытая только через тридцать лет в однотомном юбилейном собрании сочинений («Bibliothèque de la Pléiade». NRF, 1990), казалась некоторой защитой их интересов. Они как слависты нуждались в научных связях с Россией, поездках и архивах. Но для тех, кто тут отказывал в визах и разрешениях, их знакомство с Пастернаком и переписка были достаточной причиной многолетних запретов и отлучения их от России, которую они так преданно любили.

Знакомый Элен Пельтье французский пианист Жерар Фреми, учившийся в Московской консерватории у Генриха Нейгауза, получив книги, привез их Пастернаку в Перedelкино.

*18 августа 1958.*

Вчера Ж<ерар> Ф<реми> принес мне обе книжки. Я увидел их в первый раз. Жаклин, мой добрый гений и ангел-хранитель, ведь это Ваша забота. Какая радость! Как я Вам на всю жизнь обязан! Как я Вас люблю, Вас самих, милую Элен, обоих мальчиков! Давайте с этого часа будем все пятеро говорить друг с другом на «ты», — мы ведь составляем своеобразное целое, не правда ли? Если Вы согласны, воспользуйтесь этим предложением в следующем письме, а если Вам это покажется неестественным, не принуждайте себя. От Вас зависит, начинать или нет.

Вот уже два часа, как я перехожу от романа к очерку и вновь возвращаюсь от одного к другому. Кто переведил автобиографию? Я плакал от восторга над каждым определением, каждой формулировкой. Какая прозрачность! Как все передано и изложено! Какое удовольствие следить за повествованием, простым, спокойным и естественным! И такие же поразительные, или даже еще больше, — достоинства языка романа! Какой стиль, какой ритм! Может быть, это синтаксис или литературная манера? — Нет, это вереница действительных событий, ход времени, любви, крушений, медленный, серьезный, размеренный (и — переводчица страницы), — святой, торжественный. О мой дорогие, мои дорогие! А я все плачу и плачу. Какой перевод? — Гожусь ли я в судьи? Ни в коем случае. Для меня он именно такой, какого я не ждал и о котором не осмеливался мечтать.

Кажется, я говорил Элен: пожалуйста, упрощайте, если нельзя сохранить оттенки или интонацию оригинала. Но будьте осторожны, не вводите в текст добавочные красоты. Лучше сократить и опустить сложные места. Но поскольку у меня нет права судить, — мое мнение о переводе не многого стоит. Есть гораздо более компетентная и объективная оценка. На моем экземпляре стоит номер девятого издания (за один месяц!). Этот порядковый номер — экзаменационная отметка, поставленная за перевод самыми требовательными экзаменаторами — жизнью, Францией и ее читателями. И эта отметка говорит о том, что перевод превосходит, потому что какими другими средствами, кроме обаяния Вашей прекрасной работы, можно было заставить искать, покупать и читать эту книгу?.. Что до критики, которая, возможно, Вас оскорбляет и пытается посорить со мной, я Вам напишу в следующий раз. Я Вам напишу об истерии, о том, что есть в нас самого преходящего и смертного, самого бесплодного и что при этом играет главную роль в искусстве и красноречии публицистов, в течениях, которые называют новаторскими.

Свои мысли о критике Пастернак изложил в открытке, адресованной Элен Пельтье, объясняя, что недостаток места в открытке к Жаклин не позволил ему остановиться на этом подробнее. Вот что он писал:

*«19 августа. Преображение Господне.*

...Есть изнанка души, разума, нервной системы, настолько значительная и характерная, что ее часто принимают за душу как таковую, за ее лицевую сторону, за предмет интеллектуальной деятельности, за ее содержание. Это истерия. Я думаю, что это зерно нашей морали или душевного ничтожества, постоянное заболевание индивидуальности, которое мы носим внутри себя, тогда как бессмертие существует вне нас, в той великой непознаваемой бесконечности,

которая нас вдохновляет и притягивает всю жизнь, воспитывает и обновляет, в которой мы участвуем. Основы и цели социальных учений не могут быть поистине высокими и необходимыми, но их распространение без истерии невозможно. Истерия присуща второразрядному искусству, отжившим течениям, которые были когда-то исторически новыми и в своей конвульсивной приверженности старым новаторским приемам все еще считают себя такими. Истерия неотделима, например, от романтизма, литературных школ, теории искусства, ее практики и обсуждений».

27 августа 1958.

Дорогая Жаклин, у меня серьезные основания опасаться, что весеннее письмо (или письма, я уже забыл, сколько их было) Вас не минует. Если Вы хотите сохранить в воспоминаниях обо мне что-то человеческое, разорвите это страшно запоздавшее письмо не распечатывая. Оно было написано в больнице или вскоре после этого. Я был еще болен. (Видите, я не могу найти грамматического прошедшего, достаточно отдаленного, чтобы выразить, как далеко это мрачное время.) В том письме все глупо. Оно написано на еще более чудовищном французском (если это вообще возможно), чем мой обычный. Все заключенные в нем вопросы, начиная с вопроса о Вашем здоровье и кончая литературными беспокойствами, с тех пор счастливо разрешились и дела находятся в сказочно завидном состоянии. Так что, если еще не поздно и письмо меня не опередило, прошу Вас, уничтожьте эту кучу глупостей, когда она дойдет до Вас.

Я не устаю восхищаться Вашим превосходным переводом. Мне в той же степени понравилось в издании то, что там ни слова не сказано о его истории, о том, была ли книга запрещена или нет, как будто ничего такого не было. Это очень хорошо. Мне бы очень хотелось, чтобы другие издания на иностранных языках взяли с него пример и оставили эти обстоятельства в стороне. Неблагодарно и неестественно дальше упоминать об этом.

Я мечтаю передать Вам неограниченные полномочия во всех моих делах и заботах за границей, не только в денежном плане, но и в издательских предположениях, авторизации и наблюдениях за чужими попытками. Что я могу сказать о Юдж. Кайдене и его английских переводах? Хорошо ли было переводить и печатать «Повесть»? Между прочим, это новый пример выдуманных биографических подробностей, правдоподобных, но не верных. У меня никогда не было ничего общего с Хлебниковым, никакого родства и никакого взаимопонимания. Мне показывали эту «Повесть», у меня ее нет и она мне не нужна. Мне показывали также статью Мориса Надо и несколько очень хороших и умных критических статей в брюссельских, женевских и лозаннских газетах (о Д-ре Ж<иваго>, конечно).

Пусть Элен Вам покажет мою фотографию, очень похожую. Сколько хорошего мы сделали все вместе, не правда ли?

Мои лучшие братские пожелания Вам и всем Вашим.

К этому времени Пастернаку становится ясно, что у него нет сил и возможностей вести непомерно возросшую с выходом романа деловую переписку и наблюдение за переводами своих работ. Восхищенный красотой и высоким издательским вкусом французских книг, он просит Жаклин взять на себя эту непосильную задачу. В качестве примера он приводит свою переписку с американским переводчиком Юджином Кайденом, просившим авторизовать его переводы стихов Пастернака. Они были изданы в Мичиганском университете через год. В вышедшей отдельной книжкой «Повести» (Vitte. Lyon, 1958) его очень огорчило предисловие Б. Горелого, который писал, что на Пастернака влиял Хлебников — «предтеча современной русской поэзии».

Жаклин де Пруайяр ответила 4 сентября из замка Шеврельер, что она согласна принять на себя контроль за переводами с тем, чтобы никто не мог распоряжаться текстами по своей воле, без согласия автора. Это не имеет отношения к Мишелло Окуторье, но может быть нужным по отношению к Б. Горелому, который, говорят, проказник.

Далее она подробно описывает свое участие в торжественном паломничестве в Лурд, посвященном столетию явления Богородицы. Рассказывает о случаях чудесного исцеления больных. Обосновывает свой отказ писать Пастернаку на «ты».

Запоздавшее на четыре месяца письмо от 8 мая, которое Пастернак просит уничтожить не читая, Жаклин получила только 8 сентября.

*3 сентября 1958, среда.*

Дорогая Жаклин,— когда в прошлый понедельник я в двадцатый раз спохватился, что ни словом не отозвался на достойную высшей похвалы стихотворную работу Окутюрье,— вдруг, как всегда по закону совпадений, произошло три удивительных события, совершенно независимых друг от друга, но неправдоподобно родственных по смыслу и одновременности: появление Мишеля (!!!); письмо от Элен, привезенное из города через несколько минут после его ухода (в письмо вложена вырезка из Монда 22 авг. 1958 с похвалами анонимной группы переводчиков); и потом, к вечеру, известия, проливающие свет на тайну исчезновения Ваших писем и надежда получить их через два дня, в эту пятницу.

Я был безумно рад встрече с Мишеlem. Он был рассеян, молчалив, выглядел немного усталым, и казалось, что он хочет скрыть от меня огорчение,— если и не провал книги, то по крайней мере недостаточный ее успех.

*6 сентября, суббота.*

Вот они, два Ваших письма от 14 мая и 6 июня. Как утешительно знать, что с тех пор, как Вы их писали, все так продвинулось к счастливому концу. Спасибо за милые подробности появления Полин, обстоятельства издания книг, мысли о генерале де Голле, которые я, смею уверить, разделяю с Вами полностью. Несмотря на пятимесячное опоздание, ничего не потеряно, кроме вопросов о Яшвили и Табидзе, о причине появления которых у меня нет никакого представления (значит, есть еще одно письмо от Вас, более раннее, которого я не знаю). Не о чем жалеть. Гораздо лучше, что никакого предисловия не было. Сколько дополнительных недоразумений повлекло бы оно за собой, будь оно написано!

Вы должны выработать свое отношение к тем неподвластным нам изменениям, которым подвергаются иногда наши планы, самые, казалось бы, точные и неизменные. При каждой такой перемене возобновляются крики о моем страшном преступлении, низком предательстве, о том, что меня нужно исключить из Союза писателей, объявить вне закона. Эти угрожающие веяния всегда направлены так, что первым гибельным порывом захватывают моего друга О<льгу>, о которой Элен Вам должна была рассказать или еще расскажет. Она договаривается с бесами и заклинает их. До каких пор она, бедная, сможет их утихомиривать?..

И это никоим образом не мистическое наблюдение, это — чистый реализм. Но все было бы также фантастично и без этого постоянного нажима. Надо же, чтобы все было таким цельным, чтобы все части были так связаны одна с другой. Я боюсь только, что рано или поздно меня втянут в то, что я мог бы, пожалуй, вынести, если бы мне было отпущено еще пять-шесть лет здоровой жизни.

В сравнении с тем, что надо бы сделать (я слабо себе это представляю, но понимание обычно приходит в разгар работы),— то, что я прилагаю к этому письму, постыдно мало и незначительно. Эти шесть стихотворений написаны в начале лета, после выхода из больницы. Добавьте их к бараньему собранию, если Вам захочется и еще есть время,— неважно в какое место, и в том порядке, который Вы найдете подходящим.

Я продолжаю тратить все свое время на переписку с границей, на что я уже жаловался, но может быть, мне это полезно, чтобы оживить в памяти языки, которые я забыл.

Если Мишель не имеет ничего против содержания бумаги,— возможно непонятной из-за неточности выражений,— я снова в ней наделяю Вас полномочиями в еще более широком смысле, чем прежде.

Пусть взаимное опоздание наших писем, посланных не по почте, послужит уроком впредь ни в коем случае не пренебрегать ею. Будем пользоваться ею просто и прямо. И предпочтительно по дачному адресу.

Прощайте, Жаклин, самая дорогая моя помощница и советчица. Пишите мне, не принуждая себя, время от времени. Передайте большой привет Вашему мужу и всем Вашим. Пусть все у Вас сверкает от солнца и счастья.

*Борис.*

На съезд славистов, проходивший в конце августа 1958 года, в Москву приехал Мишель Окутюрье. В свободный от заседаний день он поехал в Переделкино. Пастернак надписал ему

фотографию: «Моему другу Мишелю Окутюрье, восхитительному поэту, который так победоносно перевел меня и тем повлиял на мою судьбу. Б. П.»

Пастернак снова выписал Жаклин доверенность на ведение его издательских дел за границей. В свой приезд 4 сентября Мишель засвидетельствовал подпись Пастернака. Эта бумага должна была укрепить положение Жаклин как alter ego Пастернака «во Франции и во всем западном мире за пределами Советского Союза», ограниченное лишь «ранее заключенным договором с Фельтринелли». Просьба к Жаклин самостоятельно распоряжаться его делами и деньгами на Западе обуславливалась тем, что Пастернак, находившийся под постоянным давлением, практически не мог управлять своими изданиями. В этом письме он знакомит Жаклин де Пруайяр с Ольгой Всеволодовной Ивинской, которая с 1956 года занималась его издательскими делами в Москве. Она вела переговоры по поводу стихотворного сборника в Гослитиздате, ее друг Н. В. Банников стал его официальным составителем. Она отвозила рукописи романа в редакции журналов, нанимала машинисток для перепечатки. На нее, как доверенную Пастернака, оказывали нажим издательские и государственные чиновники, с которыми сам Пастернак не стал бы иметь дела. Она передавала ему их условия и по их требованию привозила его к ним для разговоров. Она умела убедить Пастернака в необходимости подобных переговоров, потому что высокопоставленными лицами использовалась угроза ее повторного ареста (первый раз она отбыла четыре года в лагере в 1949—1953 годах). О. Ивинская достаточно подробно описывает эту ситуацию в своей книге «В плену времени» (Paris, 1972). Об одном из таких событий Пастернак рассказывал в письме от 21 августа 1957 года к Нине Табидзе:

«...Здесь было несколько страшных дней. Что-то случилось касательно меня в сферах, мне недоступных... Как всегда, первые удары приняла на себя О. В. Ее вызвали в ЦК и потом к Суркову. Потом устроили секретное расширенное заседание секретариата президиума ССП по моему поводу, на котором я должен был присутствовать и не поехал, заседание характера 37 года, с разъяренными воплями о том, что это явление беспрецедентное, и требованиями расправы, и на котором присутствовала О. В. ... На другой день О. В. устроила мне разговор с Поликарповым в ЦК».

*17 сентября 1958.*

Дорогая Жаклин, на этот раз сроки поменялись местами: Ваше большое письмо от 4 сентября, со всеми вдохновенными описаниями, обнявшими небо и землю, паломничество, ночи и дни, поездки и путешествия... это милое письмо от четвертого провело в дороге всего 10 дней и позавчера благополучно оказалось в Переделкине, тогда как упомянутая в нем открытка из Лурда, вероятно, недостаточно безбожная, еще и теперь не торопится сюда прибыть. И если, несмотря на доказанную надежность закрытых писем, я отвечаю Вам обычной открыткой, я это делаю отчасти по привычке и потому, что кроме благодарности за Ваш одухотворенный рассказ лишь один существенный момент Вашего письма требует ответа: дети. Я должен дать волю восклицаниям, которые теснятся и вырываются у меня при виде этих двух малышек, прелестных, очаровательных! Почти озорная живость Обера, остановленного в своей нетерпеливой стремительности мгновением, когда его фотографировали. (Какой красивый мальчик!) Шестинедельная Полин, настоящая будущая благородная француженка, по-праздничному нарядная. Да пошлет Бог счастье Вам и Вашему мужу в этих двух драгоценных крошках.

Вы правы во всем, о чем говорите, включая невозможность перехода на «ты».

Из всех статей, которые случайно попались мне на глаза, мне больше всего понравились две, корректные и содержательные, — статья в «Монде» и присланная вами — из «Фигаро». Английских откликов надо еще ждать, но я видел заметку в «Таймсе» от 4-го, тоже обоснованную, верную, благожелательную.

Вчера я видел английское издание. Обложка сначала показалась мне слишком броской, я предпочитаю скромность французского. Но скоро я привык к цвету. Вероятно, это неплохо. Мне писали из Западной Германии о «премии Банкарелло», присужденной книге в городе Понтремоли, в высоких Апеннинах. В чем заключается премия? Мой корреспондент пишет о распространении книги по тюремным библиотекам, больницам и приютам для бедных. Если помимо этой благотворительной части премия содержит нечто материальное, возьмите причитающееся в Ваше распоряжение или напишите, пожалуйста, Фельтринелли, чтобы он получил и сохранил деньги. Прошел слух, что роман вышел в оригинале, продается и читается. Как это произошло? Правда ли это? Тогда даже

приглашая Вас на мое грядущее четвертование, я не могу найти слов, чтобы высказать Вам мою благодарность и радость.

Как дела со стихами в оригинале? К Вам обратится человек из Дании, достойный живейшего участия, — по поводу их перевода на датский, — простите меня за постоянные беспокойства, которые я не стыжусь все время Вам причинять.

Странная итальянка позволяет моим письмам обрастать мохом в течение шести месяцев! Если бы не она, Вы бы получили несколько стихотворных дополнений к Вашему прошлогоднему собранию!

Я очень хорошо себя чувствую, но все мое время уходит на то, чтобы отвечать на письма: я ничего нового не успел сделать.

В заключение я возвращаюсь к главному — к Вашим милым маленьким деткам, нежная прелесть которых заставляет меня обливаться слезами растроганности.

Всего Вам всем самого хорошего.

Выход «Доктора Живаго» на основных европейских языках сопровождался огромным успехом. Пастернаку писали восторженные письма и присылали вырезки из газет и журналов. Ему понравились две французские статьи: А. Fontaine, «Le chef d'oeuvre de Pasternak le Docteur Jivago en traduction française»<sup>19</sup> («Le Monde», 27.08.58), и Cl. Mauriac, «R v lation de Pasternak»<sup>20</sup> («Le Figaro», 27.08.58).

Упомянутые в письме слухи о русском издании «Доктора Живаго» соответствовали истине. Оно вышло в издательстве Мутона в августе 1958 года, что было неожиданностью для Жаклин де Пруайяр. Узнав об этом в последний момент, Фельтринелли прилетел в Гаагу и заставил отпечатать снизу титульного листа: «Г. Фельтринелли — Милан». Сделанное по фотокопии с его рукописи, издание было полно опечаток. Так разрешилась несчастная ситуация, которая затрудняла решение Нобелевского комитета: мировая известность при отсутствии издания русского текста. Одновременно Фельтринелли обеспечил себе всемирное авторское право на роман, разослав по издательствам отпечатанные экземпляры.

Книга не поступила в продажу. Часть тиража была роздана посетителям Всемирной выставки в Брюсселе. По слухам, советские представители вывезли с выставки некоторое количество книг, которые потом выдавались «для ознакомления членов ЦК» во время нобелевского скандала. Всего было отпечатано немногим более 500 экземпляров.

Через неделю, 23 сентября, Жаклин де Пруайяр благодарила Пастернака за его открытку, но просила его «не утонуть в корреспонденции, этом бездонном мешке»: «Надо положить этому конец и заняться тем, что никто, кроме Вас, сделать не может». 1 октября 1958 года Жаклин сообщала, что получила место преподавателя в Туре и живет там у своей старой тетушки.

23 октября 1958 года Нобелевский комитет объявил о присуждении премии по литературе Борису Пастернаку. Через три дня Пастернак был исключен из Союза писателей. На него обрушилась лавина грязных политических обвинений. Ему угрожало лишение гражданства и высылка.

4 ноября 1958 года Жаклин де Пруайяр писала Пастернаку:

«Мой бедный, мой драгоценный друг! Сегодня первый раз за 12 дней газеты не сообщают о Вас ничего нового. Как я за Вас беспокоюсь, как я волнуюсь за Вас, милый друг, милый Борис Леонидович. Я думаю только о Вас — по вечерам, когда засыпаю, ночью, если просыпаюсь, утром, когда голова у меня не заполнена преподаванием и семьей. Но в сердце — Ваше страдание и постоянная сосущая тоска, которую я разделяю с Вашей женой и Вашими близкими. Все эти дни я хотела Вам писать, но не могла окончить свой мысленный бесконечный разговор с Вами. Не знаю, удастся ли довести до конца это письмо... Помните, Борис Леонидович, когда Вы мне сказали: и я буду страдать из-за романа. Помните, когда Вы мне сказали: «Слово должно быть сказано — не ставят свечу под ступ»? И вот пришло время. Но кто мог бы вообразить, что нападки будут такими жестокими, грубыми и подлыми и что завистливые товарищи устроят такую попытку, чтобы отомстить за Вашу гениальность и высоту души. Я хочу, чтобы Ваши молитвы были услышаны, и понимаю, что для Вас ссылка в Сибирь предпочтительнее, чем за граница».

Жаклин писала, что несправедливость по отношению к Пастернаку ничем нельзя объяснить. Что его радость по поводу получения премии разделяли, пока не разразился скандал, миллионы людей в России и во всем мире. Если бы Шолохову присудили премию, ничего бы не было, он поехал бы в Стокгольм вместе с тремя советскими физиками. Она приводит параллели из Евангелия о гонении на христиан и их последующей победе: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня; радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах» (Матф., 5, 11 — 12). Это Евангелие, которое она читала в субботу, 1 ноября, в День всех святых. Для нее он — в руках Божьих, ни один волос без Его

<sup>19</sup> А. Фонтен, «„Доктор Живаго“ Пастернака во французском переводе» (франц.).

<sup>20</sup> Кл. Мориак, «Открытие Пастернака» (франц.).



воли не упадет с головы его, он призван *глаголом жечь сердца людей*. (Выделенные курсивом фразы написаны по-русски.)

Жаклин сообщила также, что 1 ноября «Le Figaro littéraire» опубликовала стихотворение «Быть знаменитым некрасиво» в переводе Мишеля Окутюрье.

28 ноября 1958.

Дорогой друг, сколько я отнимаю у Вас времени, души и труда. Жаклин, что мне сказать о Вашем письме от 4 ноября! Я преклоняю колени перед этими полными доброты страницами, я целую Вам руки за все, что Вы говорите. Оно написано так, как если бы моя собственная душа, отделившись от меня, стала французской, оделась и села писать мне это письмо,— настолько оно мое и, можно сказать, извлечено из моего сердца.

Я Вам пишу в большой спешке и потому еще более ужасным французским, чем обычно. Чтобы сохранить рассудок и сберечь здоровье, я взялся за срочную работу (может быть, я Вам уже писал о переводе драмы Юлиуша Словацкого, который я делаю благодаря любезности польских писателей). Когда к середине декабря я окончу эту работу, если все остальное будет благополучно, я возобновлю свою переписку, как прежде.

Именно из-за этой работы, от которой я хочу как можно скорее отделаться, я никому не отвечаю и прошу мою любимую, небесную Элен и всех остальных мне это временно простить.

Я получил письма от Элен, ее благородное предложение помочь мне материально (это совсем не смешно, она многое угадала), я прочел ее проникновенную статью в «Figaro Littéraire» (какие еще богатства мне нужны, если у меня есть такие друзья, как Вы и она?). Скажите ей, что если бы можно было восхищаться ею еще больше, чем я восхищался раньше, то невозможное достигнуто. Я попытаюсь своими силами выпутаться из затруднений и горячо ее благодарю. Затем я прилагаю свою фотографию тех лет, когда ваши матери еще и не предполагали произвести вас на свет,— она нужна была для Элен, чтобы поместить ее, по-моему, в «Commege». Отвечая Вам по порядку, скажу: следует возблагодарить Бога и в растерянности гадать, какой я мог дать повод, чтобы меня могли объявить безбожником.

Чтобы сразу с этим покончить, скажу Вам, чего бы я хотел в отношении нашей переписки, изданий, публичных выступлений и других дел. Единственное, что руководит мною и ограничивает мои желания, это Ваше преподавание, чрезмерная занятость, нехватка времени, чтобы просто жить, не говоря уже о том, чтобы ломать голову по поводу моих сложностей и затруднений. В этих условиях Ваши заботы о моих делах и, может быть, обо мне самом могут стать для Вас каким-то проклятием, источником бед. В таком случае — все планы отменяются, и я умолкаю.

А то я бы пожалел, что еще не вышел предполагавшийся сборник стихотворений по-русски, где, кроме старых, должны были появиться новые неизданные стихи. Он открыл бы переводчикам доступ ко всему моему стихотворному творчеству в целом, без этого они не подозревают о существовании основной его части и ограничиваются только старыми идиотскими книжками; без такого необходимого дополнения это даже не поэзия, в силу незавершенности. Но речь идет о Вашей безумной занятости, которая связывает меня во всех замыслах и проектах.

Что до предосторожностей в отношении меня самого, я скажу Вам вот что. То, что со мной случилось и что без моего ведома, на недоступном расстоянии, чудесным образом управляет моим существованием,— так широко и безмерно выше меня, что любой шаг, любой поступок, даже безотчетный, которые сделаете Вы или совершу я, теряется и растворяется бесследно. Когда в моем положении я получаю столько писем из-за границы, со всех концов земли (однажды, например, их было пятьдесят четыре, 54 за один раз),— писать мне обычной почтой или не писать, не составляет почти никакой разницы. Пусть мне пишут. Я думаю, что при этих условиях делать все лучше, чем не делать ничего.

Надеюсь, что Вы получили мою открытку про 10 декабря в Стокгольме. Не подумав о Вашей сверхчеловеческой занятости и отсутствии времени, я предлагал Вам воспользоваться Вашей прежней доверенностью, написанной до грозы, до скандала. Я рисовал себе картину, как Вы отправитесь, может быть, в Ст<окгольм> и не по моему поручению, а в соответствии с Вашими собственными правами, примете вместо меня свободное участие в церемонии выдачи премии и по-своему скажете ответную речь, обращенную к королю. Но возможность

этого, насколько я понимаю, прошла. Тем не менее я прилагаю для Вас письмо баронессы Голштинской. Она, вероятно, посвящена в Нобелевские дела. Судя по ее словам, мой отказ не упразднил сумму, от которой я отказался, ею еще можно распоряжаться по нашему усмотрению. Может быть, воспользоваться ее советом, как Вы думаете? Не возьмете ли Вы это на себя и не сделаете ли от своего имени этот дар Красному кресту? Я со своей стороны пальцем не прикоснусь к Нобелевской теме и буду вести себя так, как будто меня не существует. Но, конечно, мы опоздаем со всеми своими решениями, все произойдет само собой, без нас.

С волнением и нежностью обнимаю вас, Вы мой истинный ангел. В следующий раз, ближе к концу года, когда я буду свободнее, я опишу Вам:

1) Все разнообразие писем и жалоб, которые я получаю со всего мира, целую статистику нравов.

2) Темные дни и еще более темные вечера времен античности или Ветхого Завета, возбужденная чернь, пьяные крики, ругательства и проклятия на дорогах и возле кабака, которые доносились до меня во время вечерних прогулок; я не отвечал на эти крики и не шел в ту сторону, но и не поворачивал назад, а продолжал прогулку. Но меня все здесь знают, мне нечего бояться.

Я отправляю это письмо, не перечитывая, со всеми ошибками против правил, разума, против логики и грамматики.

В конверт вложено письмо от Алисы Шталь фон Гольштейн от 18 ноября 1958 года из Стокгольма, в котором предлагается достойное и удачное, по ее мнению, решение — получить Нобелевскую премию в пользу Советского Красного Креста. Это устранил непонимание и обвинения. Требуется, чтобы Пастернак написал, если захочет, заявление соответствующего содержания и воспользовался ее посредничеством.

Упомянутая открытка «про 10 декабря в Стокгольме», то есть о дне вручения премии, которая давала возможность Жаклин де Пруайяр получить для Пастернака Нобелевскую премию, до нее не дошла, и возможность была упущена. Затея с Красным Крестом показалась ей нереальной. Посоветовавшись с Пареном, она не стала этим заниматься.

Статья Элен Пельтье, напечатанная в «Le Figaro littéraire» 1 ноября 1958 года, была получена вовремя и очень обрадовала Пастернака. В ней Элен рассказывала о встрече с ним в 1956 году. Просьба Элен о фотографии касалась ретроспективной выставки журнала «Comptemps», устраиваемой в Риме во франко-итальянской библиотеке. В этом журнале в 1925 году были напечатаны два стихотворения Пастернака в переводе Е. Извольской. Устроители выставки хотели проследить судьбу тех, кто печатался когда-то в журнале, и по их просьбе Элен просила у Пастернака его фотографию 20-х годов и какой-нибудь автограф. «Это их осчастливит», — писала она в своем письме от 15 октября 1958 года.

Недоумение у Пастернака вызвала процитированная в письме Жаклин фраза из его интервью, напечатанного в «Express». Жаклин писала: «газета Мендеса Франса, воплощающая дух разрушения, с огромным удовольствием курсивом напечатала Ваши слова, сказанные ее корреспонденту: «Я почти атеист». Даже если Вы так сказали, они ничего не поняли в Ваших мыслях и сердце».

19 декабря 1958 года Жаклин де Пруайяр благодарила Пастернака за письмо от 28 ноября, в котором с радостью узнавала его прежним и неизменным, верным себе, несмотря на нравственные потрясения и излившиеся на него потоки грязи и ругани. «Я так страдаю за Вас, хотя знаю, что без воли Божией с Вами ничего не может случиться, но как остаться бесчувственной к страданиям тех, кого любишь, тем более, когда нас разделяют километры молчания. Ваше письмо заставляет меня верить, что у Вас в жизни действительно существует Евграф так же, как и Лара. Когда я пытаюсь объяснить французам-рационалистам, что то, что Вы еще живете, — это чудо, как Вы сами говорите, они мне не верят. Они объясняют, что Сталин оставил Вас жить потому, что был признателен Вам за переводы грузинских поэтов. Когда я возражаю им, говоря, что Сталин расстрелял этих самых поэтов, они пожимают плечами, но все равно не могут понять, что, к счастью для русских, советской системе, как и человеку, свойственно ошибаться и что, несмотря на Гегеля и все добро и зло, которое он принес России, не все, что действительно, — разумно».

«Я повторяю им, — писала дальше Жаклин, — что, к счастью для русских, у них есть Вы».

Она рассказывала также о своей переписке с Фельтринелли, который согласился на издание романа по-русски в Мичиганском университете, поскольку не мог его предотвратить. Но в Голландии у Мутона издание романа остановлено, они поссорились с Фельтринелли из-за денег. Она писала, что не может выяснить, не сказывается ли на том, что Фельтринелли тормозит издание романа по-русски, давление коммунистической партии, хотя, как писали в газетах, он недавно вышел из нее «по личным мотивам». Жаклин спрашивала у Фельтринелли, не собирается ли он издать сборник стихотворений, поскольку Мутон не хочет его издавать под

своей маркой, боясь рисковать книжной торговлей с СССР. Он боится себя компрометировать. В следующем письме к Фельтринелли Жаклин собирается узнать, удалось ли ему переправить деньги в Москву и может ли он делать это регулярно.

Письмо было написано в поезде, на обратном пути из Тура в Париж. К письму она прилагала вырезки из провинциальной газеты «Nouvelle République du Centre Ouest» от 31 октября с откликами на нобелевские события. Здесь упоминается обращение международного ПЕН-клуба, подписанное Андре Шамсоном, к советским писателям с просьбой защитить Пастернака от травли. «Союз писателей в защиту Истины» обвиняет советских писателей в предательстве благородных традиций русской литературы. Среди подписавшихся — Клара Мальро и Морис Надо. Из Австрии сообщают, что 30 писателей поставили полную реабилитацию Пастернака условием дальнейших связей с СССР. Дания предлагает создать фонд Пастернака и назначить премии его имени. Нью-Йоркская пресса в передовых статьях возмущается тем, что Пастернака вынудили отказаться от Нобелевской премии, которую он за два дня до этого принял с радостью и искренней растроганностью. В газетах выражается протест против давления, оказываемого на Пастернака, которое они сравнивали с гитлеровским гонением на Карла фон Осецкого. О поддержке Пастернака в борьбе, которую он ведет во имя духовной свободы человека, сказал Джон Стейнбек. Отдельное обращение написал Говард Фаст. От английских писателей письмо в защиту Пастернака послали Т.-С. Элиот, Грэм Грин, Олдос Хаксли и Сомерсет Моэм. Швеция заявила, что репрессии против Пастернака в глазах Нобелевского комитета — свидетельство идеологической войны, подобной гитлеровской.

Регулярно сообщая Пастернаку об издательских переговорах с Фельтринелли, о спорах по поводу правильного текста Автобиографии и ошибок в издании романа, Жаклин передавала также отзывы читателей, которые спрашивали, почему переводчики «выкинули те места в романе, за которые Пастернака обвиняли в предательстве».

Она описывала поездку А. Микояна в Америку, его разговор с Даллесом о Пастернаке, когда он объяснял, что правительство не имеет отношения к нобелевскому скандалу, якобы спровоцированному «интеллектуалами». Газеты печатали фотографию Микояна на фоне витрины книжного магазина с «Доктором Живаго».

Письмо Жаклин де Пруайяр от 23 января 1959 года размечено рукой Пастернака. Речь идет об авторских правах и согласии мужа Жаклин Даниэля взять на себя ведение этих дел. Фельтринелли не приехал для переговоров, между тем как у него нет прав на печатание русского издания, и Жаклин хочет проверить корректуры, прежде чем давать ему эти права. Жаклин боится ставить свой копирайт, так как это помешает ей приехать в Москву.

Против рассуждений о сложностях юридического урегулирования издательских дел в разных странах Пастернак на полях написал по-французски: «То же самое повторяется в моих отношениях с Фельтринелли, которому я пишу о своих предположениях и который оформляет их юридически».

Через три дня Жаклин писала, что четыре месяца нет известий от Пастернака. Не получает писем и Элен, они обе беспокоятся. Она готовит доклад о Пастернаке и Толстом к юбилею Л. Толстого в Париже и принимает участие в подготовке выставки Толстого в Национальной библиотеке.

Она сообщила, что Автобиография напечатана в «Новом русском слове», и интересовалась, кто дал им текст и право печатать. Это грабеж. Она слышала также, что Пастернак едет с лекциями в Англию и Америку.

Кончат письмо, потому что поздно и хочется спать. Она пишет в постели, так как в комнате холодно, и надеется, что у него в Переделкине топят.

*30 января 1959.*

Дорогая Жаклин, вчера я прочел, только что получив, три Ваши письма, — у меня разрывалось сердце, когда, пробегая их, я видел перед глазами Вас, моего дорогого и большого друга, — как Вы, измотанная причудами учебного расписания и семейными заботами, во вдохновенной спешке, — главным образом из-за меня, — набрасываете на бумагу свои милые каракули между остановками ночных поездов, в которых со всей скоростью и в том же горячем бреду несетесь от одного пункта своего тяжкого жребия до другого. Я погибаю от сострадания к Вам, подкошенный такой же тяжелой ношей.

Это не ответ на те изливания доброты, таланта и других душевных сокровищ, из которых состоят Ваши письма. Я оставляю в стороне даже деловые вопросы. Все серьезные разговоры я отложу до другого письма. Я напишу Вам на этой же неделе. Сегодня я ограничусь случайным и незначительным, только для того, чтобы написать Вам, поговорить с Вами, порадоваться сходству наших взглядов, постоянному взаимопониманию, чтобы отвлечься от такого же переутомления.

Я никогда не писал Христос с маленькой буквы. Это ошибка одной из перепечаток, или скорее «исправление» моей орфографии, которую современная машинистка сочла неправильной. Хорошо, что хоть рукописи, которыми Вы

располагаете, просмотрены и исправлены мною. Сделать это в других экземплярах (не говоря уже о снятых с них копиях) у меня не было времени. Несомненно, что Ваш текст Автобиографии с новым заключением — единственно верный. Но не нужно подымать истории из-за этих расхождений. Никто в них не виноват. Можно потерять голову, если все это помнить и за всем следить.

Получая от пятнадцати до двадцати писем ежедневно, я добрался уже до посланий из Бельгийского Конго! (Вы привыкли к французским колониям, но из Переделкина это смотрится по-другому.)

Доверяйте себе и своему мнению в вопросах текстологии и вкуса. В Ваших руках не только наиболее правильные материалы, лучше выверенные, чем все остальные, но Вы сами, Ваше мнение, вкус и интуиция должны брать верх в любом сомнении, любом споре, даже против меня самого. Вы тут верховный судья.

Как я счастлив был прочесть, что мы одинаково думаем о книге, вышедшей в издательстве Seghers. Но эта книга не единственная. Ничем от этого нельзя защититься, ни отменить, ни исправить, ни ограничить. Все, что было достигнуто на пути ко всепобеждающей красоте (что составляет душу романа), все это расстроено и разрушено кучей необдуманных публикаций плохих и плохо переведенных стихов, незрелой и слабой прозы, фотографий, которые уродливее карикатуры, предельной неспособностью отличить красивое от безобразного. Это касается даже нескольких рисунков моего отца. Они чудо мастерства и сходства, но зачем делать такие невыгодные для меня разоблачения.

Мы переживаем период неизбежных неудач. Вы с *le Seuil* и Мишель можете добиться новой победы и все исправить (как я счастлив, что Вы это придумали).

Прежде чем перейти ко второй половине письма Пастернака, написанной на следующий день, нужно объяснить некоторые детали. Во-первых, разговор о Христе с маленькой буквы вызван разбором статьи Гаева в ноябрьском «Бюллетене по изучению СССР», посвященной Пастернаку и Зоценко. Здесь Жаклин понравилось рассуждение о трех градациях любви у Пастернака: обычная любовь между двумя людьми, необыкновенная любовь Живаго к Ларе, сливающаяся с мирозданием, и любовь *caritas*, о которой говорится в речах Симушки, любовь как христос с маленькой буквы, христос как понятие, а не как личность. Но Жаклин кажется это объяснение несколько притянутым за волосы, поскольку в советской литературе слова Бог, Христос и другие пишутся только строчными буквами.

Далее Пастернак пишет, что его огорчила книга, составленная Ивом Берже и недавно вышедшая в издательстве «Seghers». Сборник «Борис Пастернак» открывает большая статья Ива Берже, иллюстрированная репродукциями работ Леонида Пастернака (Боря Пастернак восемь лет и автопортрет с женой), старыми фотографиями и серией переделкинских последнего времени. Далее идут французские переводы избранных стихотворений и афористических отрывков из «Охранной грамоты», хронологическое изложение истории издания «Доктора Живаго» и нобелевского скандала под названием «Дело Пастернака».

В противовес этому случайному собранию, изданному на скорую руку, Пастернака радует предложение издательства «Le Seuil» напечатать о нем книгу. Книга Окугорье в этом издательстве вышла в 1963 году под названием «Pasternak par lui même». («Пастернак о самом себе»).

*31 января, утром.*

Я перечитываю книгу и письмо. Я несправедлив и неблагодарен. За исключением двух-трех фотографий, половина остального... переводы Мишеля, Софи Лафитт, Г. Ару, Ж. Давида и большинство других, разве они не хороши? А намерения Ива Берже?

---

Что касается денежных дел, то я еще не могу придти к окончательному решению. Я даже не представляю себе общей суммы, которую собрал для меня из разных источников Фельтринелли и которую он где-то хранит. Я не хочу этого знать, потому что и без этого мое положение в обществе мифически нереально, как положение нераскаявшегося предателя родины, от которого ждут, что он признает свою вину и продаст свою честь, чего я никогда не сделаю. Если я воспользуюсь ограниченными деньгами, то стану настоящим предателем. Я не знаю, какова общая сумма, но она должна быть велика. Если она находится под защитой (или под именем) Фельтринелли, пусть так и останется, пусть он берет оттуда деньги в соответствии с моими указаниями, если это его не затруднит и он еще согласен терпеть мои колебания и невольную медлительность.

Возможно, что атмосфера вокруг меня изменится. Но я ему бесконечно признателен, больше, чем он может себе представить, — за благородство его хлопот и услуг, за трудности и неприятности, которые у него постоянно возникают из-за меня. Он всегда был в высшем смысле честен по отношению ко мне. Не забывайте этого, Жаклин, и не спорьте с ним, не давите на него, — это чистое недоразумение, легко устранимое. Наоборот, если он устал от меня (у него есть на это право), тогда я буду умолять Вас заменить его в этой роли и чтобы он передал все деньги под Ваше наблюдение.

Но прежде всего приступим к разделу этих денег на части. Основная часть придет сюда. Я посмотрю, как распорядиться этим богатством, когда положение вещей станет светлее и легче, когда, может быть, произойдут некоторые изменения и станет возможным, кто знает (?), поехать за границу. Тогда я смогу осмотреться, изучить обстановку, принять решение, проявить какую-то благотворительность и ответить на письма о помощи, которые ко мне приходят со всех сторон. Все это придет, а сейчас отсюда невозможно ничего решить и надо отложить, и может быть, кто-нибудь из вас должен будет взять на себя тяжесть этой отсрочки и терпеливо переносить то, что я откладываю решение на ближайшее будущее.

Пока же я хочу, чтобы были посланы переводы следующим лицам (не сердитесь на незначительность сумм; *это только начало*; посмотрим, что нужно сделать, и потом, доверяя во всем Вам, я Вам поручу меня поправлять и делать то, что Вам покажется лучшим в этом направлении). К кому я должен обратиться с этим распределением? Я думаю, что к Фельтринелли. Я с запозданием напишу ему длинное письмо и попрошу об одолжении выполнить мои поручения, и письмо это пошлю через Вас, чтобы Вы все знали.

Итак, я хочу, чтобы: десять тысяч долларов (10.000) были посланы в подарок моей младшей сестре Лидии Слейтер 20 Park Town Oxford, Англия.

Десять тысяч долларов старшей из сестер Жозефине Пастернак, тоже в Оксфорд по адресу и поручению названной выше Л.Слейтер, поскольку я не знаю адреса Жозефины.

Десять тысяч долларов (10.000) Вам (надо было бы сто тысяч, я это знаю, но подождем).

Десять тысяч долларов Элен.

Пять тысяч долларов Мишелю.

Пять тысяч долларов Мартиносу.

Пять тысяч долларов итальянскому переводчику Пьетро Светеремичу.

Десять тысяч долларов молодому человеку, Серджио Д'Анджело, Via Pietro D'Assisi 11, Roma.

Две тысячи долларов некоему Гарритано, приятелю Д'Анджело, который (Гарритано) в настоящее время находится в Москве, но деньги ему надо выплатить в Италии, может быть, через посредство Д'Анджело.

Если немецкие, английские и другие переводчики узнают об этом, пусть не обижаются. Их очередь придет. Я повторяю, что это первая попытка. Надо посмотреть, насколько это выполнимо. Вероятно, будут еще две предполагаемых выплаты, о которых я скажу отдельно. Если он меня обяжет в тех размерах, на которые он рассчитывает, я буду должен Герду Руте некоторую сумму, которая уточнится через несколько дней (около десяти тысяч долларов, как я думаю). Я дам ему отдельную бумагу по-немецки, чтобы ему выплатили эти деньги.

Если я узнаю, что от этого не разразится надо мною новая гроза, я попрошу перевести официально через Государственный банк (?) сто тысяч долларов (100.000) моей жене Зинаиде Николаевне Пастернак, Москва В-17, Лаврушинский пер. д. 17/19 квартира 72. Я Вам потом об этом напишу. Может быть лучше, чтобы деньги были посланы не от имени известного издателя? Я оставляю вопрос открытым. Но если дело станет срочным или окончательно выяснится, я Вам дам телеграмму, где в соответствующем контексте будет слово Зина (например, Зина чувствует себя хорошо). Это имя будет сигналом, чтобы ей перевели деньги.

3 февраля 1959.

Я никак не могу закончить это письмо. Я прилагаю письмо к Фельтринелли. Ознакомьтесь с ним. Жаклин, Вам надо взять секретаря, чтобы справиться с литературными делами, связанными со мною. Можете неограниченно расходовать для своих личных и деловых нужд имеющиеся деньги, — в частности для оплаты помощника. Невозможно одновременно 1) быть такою Жаклин, 2) ма-

терью семейства, 3) преподавать в Туре, 4) писать в поездах работу о Толстом, 5) вмешиваться во все предложения и неясности, которые возникают по соседству с Вами или которые я Вам задаю день за днем. И 6), 7), 8), 9) и десять!!

И 11) переводить трактаты по медицине и фармакологии. А 12) я забыл и вспомню, когда письмо уже будет отправлено.

Спасибо за Вашу телеграмму с согласием и заказное письмо из Тура, которое я получил сегодня и на которое отвечаю телеграммой. Спасибо за драгоценные подарки, книги Пеги и Клоделя, которые я чуть не вернул обратно, не зная, что они от Вас.

Несколько моих писем и две или три открытки, достаточно существенные, о Нобелевской премии и других вопросах, очевидно, пропали. Но довольно об этом (о премии, баронессе Голштинской и подобных вещах). Не ломайте себе головы над этим. Ни о Красном Кресте. Не предпринимайте ничего в этом направлении!

И еще договоримся об условном обозначении, которое может оказаться необходимым. Сейчас у меня такое чувство, что мне нечего бояться в ближайшее время, возник даже какой-то проблеск надежды. Но так как время от времени и без всяких причин возобновляются страшные угрозы, я хочу уговориться с Вами вот о чем. Если, не дай Бог, арестуют Ольгу, я телеграфирую Вам, что кто-то заразился *скарлатиной*, обозначая этим словом ее арест. В этом случае надо бить во все колокола, как если бы дело шло обо мне, потому что этот удар в действительности направлен против меня.

Вы прекрасно описываете ливень, который омыл Вас от академической пыли. Как часто совпадают наши впечатления! А Ваше определение Дюамеля!

Я возвращаюсь снова к пропаже моих писем этого времени вообще или только посланных во Францию. Есть подозрительная закономерность в этих пропусках, связанная с определенным периодом или отдельными странами. Писем из Франции я не получал в течение трех месяцев.

Подумав, я добавляю к списку необходимых денежных переводов.

Пять тысяч долларов Максу Хейворду (я не знаю его адреса, так же, как и следующего).

Пять тысяч долларов госпоже Мане Харари.

Пять тысяч долларов Ивану Малиновскому в Копенгаген.

Пять тысяч долларов Рейнгольду фон Вальтеру.

Пять тысяч долларов господину Карлу Теенсу, директору Faust Museum, Stuttgart-Degerloch Albstrasse 17, Германия.

Пять тысяч долларов госпоже Ренате Швайцер Berlin W 30, Marburgerstrasse 16.

Пять тысяч долларов Джону Харрису, 3 Park Road, Darlington, Totnes, Devon, Англия.

Десять тысяч долларов Герду Руге в Германию, пусть его ищут и найдут.

*Б. Пастернак.*

Вы не только блестяще говорите по-русски, но Ваш русский в точности соответствует Вам самой. Он бежит и течет как песня Вашего сердца, нежного и скромного. — Я не припоминаю других договоров с Фельтринелли, кроме единственного, относящегося к Доктору Живаго. Все остальное было предположениями и пожеланиями, свободой по отношению к другим работам, помимо Доктора, которую я ему предоставил в своих письмах, во время нашего с Вами невольного молчания почтовых перерывов или остановок в делах. Но это, как мне кажется, не вело ни к каким дополнительным условиям. Я всегда (и по-моему, справедливо) полностью ему доверял и продолжаю сохранять признательность. И ни в коем случае я не хотел бы (даже в крайнем случае) затронуть его интересы и еще менее оскорбить его самого. Но я хочу, чтобы за Вами оставались возможности духовной инициативы.

То, что два агентства, Американское и Французское, передали в фонд помощи молодым писателям мира для испанского писателя Хосе Виллалонга деньги на мое путешествие и лекции и т.д., — полная новость для меня, это ничем не подтверждается. Я сам об этом слышу в первый раз. Естественно, что из этого ничего не выйдет.

Я прерываю письмо в страшной спешке и не могу даже с Вами как следует попрощаться.

Ваш Б.

Одновременно с этим письмом Жаклин было послано письмо к Фельтринелли, датированное 2 февраля 1959 года. Получив его, Жаклин писала Пастернаку, что передаст его Фельтринелли при первой возможности, и признает, что была несправедлива к нему, понимая, как много он сделал для Пастернака, но, как видно из дальнейшего, письмо по требованию О. Ивинской было задержано и осталось у Жаклин. Начинаясь с похвал и благодарности адресату, оно содержало суровое осуждение своих ранних работ, переиздаваемых во всем мире, и просьбу тщательно собирать и сохранять гонорары, поступающие от разных издательств. В заключение повторялся список лиц, которым надо перевести деньги. В нем, кроме сестер, Пастернак перечисляет переводчиков романа на французский, английский, немецкий и датский языки, сотрудников Фельтринелли, выполнявших его поручения в Москве, своих друзей по переписке Джона Харриса и Ренату Швайцер и, наконец, немецкого журналиста Герда Руге, автора биографического альбома «В. Pasternak. Eine Bildbiographie» (München, 1958).

В конце письма к Жаклин де Пруайяр заходит речь о приглашении Пастернака совершить лекционное турне по Англии и Северной Америке, сообщения о котором публиковались во многих газетах и инициатор которого Хосе Виллалонга был совершенно уверен в успехе затеянного им предприятия. Журналисты и корреспонденты задавали Пастернаку вопросы о маршрутах этого путешествия, удивляясь, что ему ничего об этом не известно. С обсуждения этого же вопроса начинается следующее письмо к Жаклин.

*9 февраля 1959.*

Бедная дорогая моя Жаклин, как у Вас хватает сил выдержать тот груз, который я все время взваливаю на Ваши плечи? Ни Вам, ни мне не дают ни малейшей передышки. Вчера я, наконец, получил первое письмо, написанное по-английски, от таинственной личности Хосе Луиса Виллалонга (6, rue D'Alsace-Logtaine, Boulogne s/Seine, тел. 90-29). Распространив без моего ведома и разрешения лживый слух о том, чего никогда не будет (о моем вымышленном турне по Англии и Америке), он только теперь решил заручиться моим согласием...

«Я считаю, что наступил момент для того, что в течение многих месяцев было для меня предметом сильнейших побуждений спросить Вас, хотите ли Вы предпринять поездку по Соединенным Штатам и Англии с лекциями о русской поэзии и теории литературы».

Я ответил ему английской телеграммой: Полностью отвергаю Ваши проекты прошу меня в них не впутывать. (Подпись)

Если он меня не послушается и не опровергнет публично свою, — скажем так, — досадную ошибку, если он не перестанет вводить прессу в заблуждение, придется попросить Вашего супруга, чтобы он с достаточной ясностью внушил господину Виллалонга, чтобы тот успокоился на мой счет и восстановил истину.

Меня удручает и гнетет мысль, что я подрываю Ваше здоровье, трачу Ваше время и даже покушаюсь на Вашу жизнь бесконечными заботами и неприятностями. Эта мысль теперь мое единственное несчастье. Еще одно письмо, как я надеюсь, движется к Вам медленным и извилистым путем.

Лучшие чувства и неизменная преданность всем Вашим.

---

Никогда не забывайте, что Ваше мнение для меня всегда дороже моего. Если по отношению к господину Виллалонга Вы придерживаетесь других взглядов, делайте то, что сочтете нужным.

Вскоре пришла открытка от Жаклин, посланная 30 января, с повторными жалобами на отсутствие известий. Снова Жаклин обсуждает напечатанные во всех газетах сообщения о поездке Пастернака с лекциями. Ее огорчает, что Пастернак не заедет во Францию, она так рада была бы его увидеть. Она пишет, что хотела бы поверить в реальность этой поездки, но ее одолевают сомнения. Совершенно неожиданно роман вышел на русском в Америке, в Мичиганском университете, с копирайтом Фельтринелли. Но Фельтринелли не воспользовался ее рукописью и не поставил ее в известность об издании. Тираж 5 тысяч экземпляров.

В письме, посланном в тот же день, Жаклин жалуется, что отсутствие ответов на ее вопросы мешает ей правильно действовать в защиту его интересов, что она не может оградить текст Пастернака от искажений, которым он подвергается в изданиях Фельтринелли, который наживает состояние за его спиной. Жаклин обвиняет Фельтринелли в том, что он трактует

договор с Пастернаком в недопустимо широких пределах, оспаривая права Жаклин и Галлимара. Его контракт не распространяется на Автобиографию. Права на ее издание принадлежат ей и Галлимару. Но Фельтринелли без разрешения издал под одной обложкой Автобиографию и «Когда разгуляется», параллельно русский и итальянский тексты («Autobiographia e nuovi versi», 1958). Причем первоначальный вариант «Заключения» контаминируется с окончательным, что дало основание критикам обвинять французских переводчиков в ошибке. Он продал право издания 20 различным издательствам и просит Жаклин утвердить эти контракты. Но она не хочет, чтобы в них повторялся неправильный текст «Заключения». Фельтринелли утверждает, что все деньги посылает Пастернаку в Москву, но она сомневается в этом, потому что он у нее спрашивает, можно ли посылать официальным путем. А она знает, что это запрещено. Жаклин просит новую доверенность, обуславливающую право денежного контроля и отчетов во всех случаях, хочет, чтобы было оговорено доверенное лицо в случае ее смерти и сделано распоряжение о наследных авторских правах. Ее очень мучает, что она вынуждена все это писать, но без такого документа чувствует себя не вправе давать рукописи для издания и ставить людей под удар.

13 февраля Жаклин пишет, что до сих пор не получила ни одного письма. Она сообщает также, что зарегистрировала доверенность у нотариуса Парижа метра Шардона, к которому Пастернак может лично обращаться в случае недоразумений.

Для профессора Гейдельбергского университета Д. И. Чижевского, у которого она занималась еще в Гарварде, она просила у Пастернака одну из неопубликованных фотографий и образец почерка. Пастернак послал ему письмо 26 мая 1959 года (опубликовано в «Дружбе народов», 1990, № 2).

Жаклин пишет, что ее одолевали английские журналисты по поводу стихотворения «Я пропал, как зверь в заборе...», напечатанного в «Daily Mail» с идиотской статьей. По счастью, она смогла уйти от ответа, так как ничего не знает, и просила объяснить, что это такое.

Пастернак в письме от 30 марта исправил первую строчку стихотворения «Нобелевская премия», но объяснять происшествие не стал. Жаклин сама скоро узнала, что журналист Энтони Браун получил от Пастернака несколько стихотворений с просьбой передать их его сестре Лидии. Вместо этого он напечатал в газете «Daily Mail» 11 февраля 1959 года «Нобелевскую премию» в английском переводе, прокомментировав стихотворение в своей статье как призыв к насильственному свержению советской власти:

Силу подлости и злобы  
Одолеет дух добра.

Следствием этой неосторожности был вызов Пастернака к генеральному прокурору Р. А. Руденко. Ему объявили, что на него заведено дело по обвинению в государственной измене, и потребовали, чтобы он прекратил встречи с иностранцами и уехал из Москвы на время визита премьер-министра Англии Г. Макмиллана.

В своих последующих письмах Жаклин возмущалась вероломством журналиста.

19 февраля 1959 года Жаклин де Пруайяр сообщала Пастернаку, что получила его длинное заказное письмо от 30 января со всеми приложениями. Она сделает все, что он просит, и как можно скорее. Благодарит, что включил ее в список сразу после сестер, но уверяет, что воспользуется этим последней.

Через неделю, 26 февраля, Жаклин писала, что Галлимар затеял иллюстрированное издание романа и пригласил для этого художника А. Алексева, работающего в технике симило-гравюры. Он выкладывает булавками на экране рисунок, с помощью освещения добивается нужного эффекта и фотографирует. Предлагает 400 иллюстраций.

Жаклин расспрашивала Пастернака о поездке в Крым, о котором слышала много чудесного и который она представляет себе по «Путешествию Евгения Онегина». (Вероятно, эти вопросы возникли от ошибок прессы, перепутавшей Крым и Грузию, куда Пастернак вынужден был поехать в конце февраля.)

Письмо было получено 13 марта, и на его конверте Пастернак наметил план своего ответа:

«Написать Жаклин 1) О журналистах 2) Об иллюстрациях 3) Об открытке, в которой я писал ей, что мы летим в Тифлис 4) О том, что я написал Мишелю о стихах, о поэзии 5) О том, что они все должны разлюбить меня: из-за того, что все надоело, из-за оставшихся неясностей денежных вопросов 6) получил 2 письма от Héïène.

Нельзя, невозможно много писать».

*30 марта 1959.*

Мой бедный дорогой друг, мне надо сказать Вам две вещи, которые решительным образом изменили мое теперешнее положение, еще более стеснив



его и отягчив. Меня предупредили о тяжелых последствиях, которые меня ждут, если повторится что-нибудь подобное истории с Энт<они> Бр<ауном>. Друзья советуют мне полностью отказаться от радости переписки, которую я веду, и никого не принимать.

Две недели я пробовал это соблюдать. Но это лишение уничтожает все, ничего не оставляя. Подобное воздержание искажает и разлагает все составные элементы существования, воздух, землю, солнце, человеческие отношения. Мне сознательно стало ненавистно все, что бессознательно и по привычке я до сих пор любил. Итак, для того, чтобы существовать, я должен позволить себе дышать и в разумных пределах riskовать головой. — Это первое, что мне нужно было Вам сказать. А вот второе.

Меня, наконец, вызвали в одно официальное, юридически-финансовое место и сообщили о счете, открытом в Норвежском банке, где имеется для меня немногим больше ста тысяч крон, и о другом счете в Швейцарии, в двадцать пять тысяч фунтов стерлингов. Меня спросили, что я думаю с ними делать, — эти сведения исходят от их финансовых агентов за границей. Я Вам скажу сейчас, что я предполагаю сделать, но прошу Вас пока этого не разглашать. Не знаю, что бы я делал в других условиях, но сейчас я хочу воспользоваться этой возможностью. Причитающаяся мне плата за недавно выполненные работы задержана, и зарабатывать мне больше никогда не дадут, этого лишена также О<льга> В<севолодовна>, не захотевшая публично отречься от меня, хотя живет отдельно и независимо. К тому же отказам от подобных предложений всегда придают скверную окраску. И вот на что я решился.

Я попрошу перевести всю сумму из Норвегии сюда, половину Зине, половину О<льге>. Что до денег из Швейцарии, то я подожду некоторое время и не буду открывать своего решения, пока не уверюсь в результатах норвежского мероприятия. Но у меня твердое намерение попытаться оставить больше половины (и эта доля будет увеличиваться с течением времени) там, у вас. Возможно, что дождавшись результатов испытания, десять или пятнадцать тысяч фунтов я передам в дар фонду помощи престарелым писателям, иначе говоря, той самой организации, из которой меня исключили.

Но все это не имеет отношения к существеннейшим вопросам Вашего письма от 19 февраля, или, вернее, к одному первостепенному, который легко решить в несколько слов.

Моя мечта и желание — все объединить в Ваших руках, чтобы Ф<ельтринелли> и другие были обязаны давать Вам отчет как моей единственной заместительнице, чтобы Вы свободно все владели, распоряжались, выбирали применение, пользовались всеми моими авторскими правами, без постоянной и мелочной отчетности передо мной (которая невозможна в моем положении), в той степени, чтобы все: состояние дел, Ваши планы, поступки и т.д. в этом отношении были бы тайной и от меня, поскольку у меня нет права даже переписываться на эти темы.

Если положение и окружающие обстоятельства станут более нормальными и я доживу до этого, я когда-нибудь приведу в порядок горы писем, которыми набиты все мои ящики, как на почте. Там много просьб о материальной помощи от разных людей со всего мира. Я передам их Вам, на Ваше усмотрение. Но это время еще так далеко, так далеко! И мы выработаем с Вами какой-нибудь обширный план широкой благотворительности, не правда ли? Но если до тех пор Вам придет в голову что-либо на этот счет, делайте что хотите и мне об этом ничего не сообщайте.

Выслушайте меня, Жаклин, уясните себе смысл своих полномочий. Они обязывают Вас только к тому, что Вы сами добровольно согласитесь признать своими обязанностями. Они дают Вам право братья за все в целом или по частям, как Вам заблагорассудится. В той же мере они дают Вам право ничего не делать, если у Вас не хватает времени, возможности или желания.

Положение по самой сути нереальное, фантастическое, невозможное. Железный занавес, неравная борьба одного против всех, выдуманный и искусственный мир, возникший некогда из буйного помешательства школьников, чтобы превратиться в бешенство недоучек, — скажите, на что реальное, логичное, вообразимое можно рассчитывать, можно ли бороться в этом враждебном мире всеобщего бешенства и озверения? Взгляните, — от всего, что жизнь дала мне редкостного, драгоценного — напечатанных книг, откликов, целого мира горячей привязанности, преданности, увлеченности, от какого-то богатства, наконец, —

я полностью отрезан. Это — далекий призрак в стороне от меня, по ту сторону пропасти, непреодолимой и неприступной.

Если я отдаю эту мечту, этот сон в Ваши руки, то не для того, чтобы Вы перебросили мост. Я просто хочу все это перенести из-под гнета постоянных превратностей под охрану более человечной и одухотворенной случайности, под присмотр дружеских доброжелательных глаз. Это значит, что Вам не надо ни о чем беспокоиться. Мое доверие ничего от Вас не требует. Действуйте в границах, которые легко допускают Ваши дела, преподавание, литературная деятельность, дом, семья, не тратьте на это большей части Вашего свободного времени (которого у Вас нет!). Не умножайте трудностей Вашей жизни мыслью о несуществующей, ложной ответственности и мнимой отчетности передо мной. Не пишите мне длинных писем, не обращайтесь на меня внимания, пренебрегайте всем. Не держите меня в курсе событий и ни о чем не советуйтесь. Помогите мне (постарайтесь ради Вас самих) забыть об этих двух или трех годах чудес и потрясений вокруг «Доктора Живаго», бурь, смертельных опасностей и угроз, — до тех пор, пока не будет создано и собрано достаточное количество вновь написанных работ (если я только выживу), чтобы начать новую полосу жизни, может быть, в изменившихся, более выносимых, спокойных, терпимых и маломальски человеческих условиях.

Позаботьтесь только о том, чтобы 1) тот духовный подъем, который был достигнут, не был извращен и полностью утрачен и 2) чтобы большая часть средств, примерно три четверти, временно осталась за границей, у Вас. Насколько возможно, пусть не разванивают суммы и цифры.

Я прилагаю бумагу для Ф<ельтринелли>, в которой уточняю Ваши права.

Сокращу дальнейшее, чтобы, наконец, закончить письмо. Я был не в Крыму, а в Тифлисе, я Вам об этом писал в открытке, которая до Вас очевидно не дошла. Я написал месяц тому назад Мишелю о его прекрасном стихотворении<sup>21</sup>, о поэзии и языке и, наверное, тоже попусту. — Очень интересно то, что Вы пишете о литографической технике Алексева. Хороший ли он рисовальщик? Я получил письма от Элен. Пусть она еще немного подождет моего ответа. (Этот год совсем не похож на предыдущий.) Все так переменялось вокруг меня, появилось столько затруднений! Вы все так устали от меня, не правда ли, я это чувствую. Я оказался недостоин вас, ваших усилий. Как знакома мне усталость разочарования!

В этой строке написано не «в заборе», а «в загоне» (dans une traque).

Я пропал, как зверь в загоне.  
Где-то люди, воля, свет,  
А за мною — шум погони,  
Мне наружу ходу нет.

Темный лес и берег пруда,  
Ели сваленной бревно.  
Путь отрезан отовсюду.  
Будь что будет, все равно.

Что же сделал я за пакость,  
Я, убийца и злодей?  
Я весь мир заставил плакать  
Над красой земли моей.

Но и так, почти у гроба,  
Верю я, придет пора,  
Силу подлости и злобы  
Одолеет дух добра.

Все тесней кольцо облавы,  
И другому я виной:  
Нет руки со мною правой,  
Друга сердца нет со мной.

<sup>21</sup> Письмо Пастернака от 4 февраля 1959 года было своевременно получено Мишелем Окутюрье. Оно опубликовано Ж. Нива в «Cahiers du Monde Russe et Soviétique», XV, № 1—2 1979. Стихотворение М. Окутюрье, о котором идет речь в письме, — «Avril» («Апрель»)

А с такой петлей у горла  
Я б хотел еще пока,  
Чтобы слезы мне утерла  
Правая моя рука.

Русское издание романа в Милане пестрит досадными опечатками. Это почти что другой текст, не тот, что я писал. Наберите помощников, чтобы по Вашей рукописи, которую я проверил и которая верна, подготовить издание на основе выверенного и исправленного текста.

Но вернемся к Элен. Поцелуйте ее. Это моя главная просьба.  
Поцелуемся и мы.

PS. Очень важно. Почему не выполнены мои просьбы о небольших денежных подарках? Нужно увеличить долю Герду Руге от десяти до пятнадцати тысяч долларов, потому что я у него занял половину и должен вернуть ему долг.

*Б. П.*

Помимо угроз и политического давления нависало безденежье. Сделанный перевод Юлиуша Словацкого лежал в Гослитиздате неоплаченный. Спектакли «Марии Стюарт» были остановлены. Из полного собрания сочинений Шекспира выкинули переводы Пастернака. Переиздание «Фауста» то входило в планы, то отменялось. Трагически мрачный Пастернак при встречах со знакомыми повторял: «Неужели я так мало сделал в жизни, что на седьмом десятке не могу прокормить свою семью?». Он занимал деньги у знакомых, извиняясь, что не знает, когда сможет их вернуть. Переговоры с Волчковым в Инюрколлегии по поводу заграничных денег вселяли некоторую надежду, но надо было запастись терпением, чтобы дождаться результатов. Он занимает деньги у Герда Руге и соглашается на предложение д'Анджело.

По просьбе Серджио д'Анджело Пастернак написал записку, которую тот переслал Жаклин 18 апреля и сопроводил собственными объяснениями. Он писал, что из сообщений в «Daily Mail» узнал о тяжелом денежном состоянии Пастернака и предложил ему частным путем посылать рублями деньги из западных гонораров. В конце письма д'Анджело писал, что надеется увидеться с Жаклин в Париже, после того как она урегулирует эти вопросы с Фельтринелли.

*6 апреля 1959. Москва*

Дорогая сударыня,

мой друг Серджио Д'Анджело (Rome, Via Pietro d'Assisi, 11), которого я Вам представляю этой запиской, предлагает мне материальную помощь в случае крайней необходимости и безвыходной ситуации, к которой я, кажется, приближаюсь, и обещает участие ввиду некоторой неопределенности моего положения, все еще неразрешимого. С этой целью он просит меня предоставить ему право пользоваться моими вкладами. Я написал ему, что у меня есть доверенное лицо, и это Вы, что я облек Вас полной и неограниченной властью и именно к Вам он должен обращаться со своей предупредительностью и добрыми намерениями, которые мне были бы весьма кстати, если только его планы выполнимы.

Пожалуйста, ознакомьтесь с ними. Если он может их надежно и без особой опасности выполнить и если я не настолько истощил вклад своими предыдущими просьбами, что эта уже неисполнима, откройте ему счет, ввиду моей благодарности и полного доверия, на большую сумму, ну скажем, в 100.000 долларов (кроме его собственных десяти тысяч по списку моих подарков). Пусть он черпает из него деньги для осторожных посылок мне, не стесняясь отчетами и подробными сообщениями, поскольку мне известна его неукоснительная честность и понятна величайшая трудность такой помощи.

Я написал Вам позавчера, четвертого, длинное письмо и прибавил к нему удостоверение, которое Вы просили и которое я слово в слово переписал в записке к Фельтринелли.

Количество дел все возрастает, и я все больше и больше становлюсь проклятием для Вас, Вашей семьи и Вашей звезды.

Среди писем, полученных Жаклин де Пруайяр, нет «длинного письма» от 4 апреля и приложенного к нему удостоверения, о котором Жаклин просила Пастернака еще в декабре. Этим числом, 4 апреля, датирована «записка к Фельтринелли», копию которой Жаклин получила из Милана:

«...Я поручаю госпоже Жаклин де Пруайяр де Белькур полное распоряжение моими гонорарами и контроль над теми денежными отправлениями, которые я у Вас прошу. Я хочу, чтобы Вы были обязаны отчитываться перед ней в моем отсутствии во всех авторских правах, включая гонорары за роман.

Я доверяю свободное распоряжение этими правами госпоже де Пруайяр или тому, кого она назначит в случае своей смерти.

*Б. Пастернак».*

*8 апреля 1959.*

Дорогая Жаклин, я написал Вам длинное письмо, но боюсь, как бы те короткие записки, которые я написал позднее, не опередили его и не создали путаницы, в которой уже не разобраться. Так что дождитесь первого письма, и все прояснится.

Не ставьте мне в вину всех надоедливых идиотов, которые, вероятно, раздражают и утомляют Вас. Смело расправляйтесь с ними всеми, лишь сообщая мне об этом и не советуясь, я заранее уверен в Вашей правоте. Когда они ссылаются на меня, знайте, что речь идет о моей уклончивости и ничего не значащей вежливости.

Вот Вам один пример из тысячи. Старик из Анвера, господин Анри Мато держит меня в курсе жизни всей Бельгии. Очень трогательно получать от него письма почти каждый день. И так ли велик мой грех отвечать ему лишь на каждое пятнадцатое?

Однажды он попросил меня позволить ему сделать перевод моей «Охранной грамоты» с английского на французский (он инженер-электрик, ему 83 года). Это, вероятно, очень трогательный и достойный человек, и я его бесконечно уважаю, но такое предложение заставило меня замолчать. Спустя два месяца он с огорчением пишет, что некая госпожа Наталия Азова его опередила, как будто это моя знакомая и такие вещи зависят исключительно от меня. Теперь он мне сообщает, что ему пришла в голову прекрасная мысль сделать краткое изложение «Доктора Живаго» и он уже написал об этом Галлимару. Я снова промолчу, я уже начинаю привыкать к этому. Но виноват ли я, если он будет одолевать Вас этим безумием. Есть две женщины, Аргентина Диаз Лозано и Вера Фости, которые напечатали в бельгийских газетах прекрасные статьи о романе и поэзии. Господин Мато передал им мою благодарность, потому что я не знал тогда их адреса. Я не виноват, если он когда-нибудь посоветует им познакомиться с Вами или что-нибудь в этом роде. Это человек неограниченного досуга и неистощимой энергии. Но это лишь один пример из тысячи. И разве это исключение?

Но как я несправедливо лишен Вашей дружбы и дружбы Элен, как я это чувствую и оплакиваю.

*Борис.*

В архиве Б. Пастернака сохранилось 22 письма от А. Мато. Он регулярно снабжал Пастернака вырезками из работ, публиковавшихся в бельгийской прессе. В благодарность за присланную ему статью — «горячую, вдохновенную, блестящую» — писательницы А. Диаз Лозано, бывшей в то время генеральным консулом Гватемалы в Бельгии, Пастернак писал А. Мато 8 февраля 1959 года:

«Если эта женщина с таким звучным именем действительно существует, передайте ей как-нибудь, если она нуждается в слезах признательности, что однажды, когда я был охвачен мелкой обыденностью житейских случайностей, как густым непроходимым лесом, она указала мне спасительный выход на свет...»

Диаз Лозано послала Пастернаку свою книгу «Il faut vivre»<sup>22</sup> с надписью. Ее статья была опубликована в «Journal Anversois» (январь 1959). Статья бельгийской поэтессы Веры Фости «Le vrai Boris Pasternak»<sup>23</sup> — в «Revue Generale Belge» 15 января 1959 года.

На конверте письма от Мато, полученного 7 апреля 1959 года, рукою Пастернака написано: «Предлагает выпустить сокращенного Живаго, писал Галлимару, запрашивает моего разрешения, будет беспокоить Жаклин. Ничего не отвечать».

<sup>22</sup> «Надо жить».

<sup>23</sup> «Подлинный Борис Пастернак».

12 апреля 1959.

Дорогая Жаклин, я никак не думал, что мне так скоро придется снова Вас беспокоить. Казалось, что все ясно, устроено и оговорено. И вдруг эта открытка к Вам от Ольги (о которой я ничего не знал), переданная через Элен. Именно поэтому я тороплюсь Вам сказать несколько дополнительных слов, чтобы избежать недоразумений, которые могут нарушить нашу договоренность.

Все беспокойство сводится к незначительной оговорке. Человек с итальянской фамилией, которому я назначил небольшую сумму в две тысячи, не хочет быть назван, то есть чтоб его имя фигурировало где бы то ни было в этой связи. Он согласен, как мне кажется, на анонимный подарок, но по личным или политическим причинам энергично противится, чтобы его имя стало известно.

Он не дал Ольге отсрочки на те несколько часов, которые ей были нужны, чтобы поехать за город, увидиться со мной и рассказать об этом небольшом осложнении. Она вынуждена была поступить самовольно, без моего ведома.

Все сводится к тому, чтобы господину Г<арритано> деньги были посланы анонимно (если такие выплаты возможны). Остальное в моей просьбе должно быть выполнено целиком и без изменений (только Герду Руге, которому я должен, следует не десять, а пятнадцать тысяч). И это надо сделать как можно скорее. Надо покончить с этим распределением, чтобы оно стало прошлым и далеко позади, ввиду будущих неурядиц и беспелочи, которых будет в избытке. Я не хочу, чтобы они стали препятствием или помехой в исполнении моей скромной прихоти сперва расплатиться со своими прежними обязательствами, что уже давно следовало сделать.

Простите меня за эти заботы, которыми я продолжаю Вас нагружать и которым не предвидится никакого конца. Я заканчиваю письмо. Если оно отправится не сегодня в воскресенье (12 апреля), я прибавлю еще несколько слов для Элен.

Открытка от Ольги Ивинской была тоже послана 12 апреля. Ольга Всеволодовна просила Жаклин не посылать Фельтринелли список с именами, а дожждаться нового, исправленного.

Жаклин де Пруайяр долго не писала и ответила лишь 22 апреля 1959 года, получив письмо от 30 марта — 12 апреля. Письмо с Кавказа не пришло, и она понимает, что теперь уже и не придет.

Ее огорчает, что он пишет ей о ее смертельной усталости, о том, что он ее обременяет, что она его будет ненавидеть. Она восхищена его подвигом и всей душой с ним. Пусть мир и радость ее души служат ему поддержкой в бурях жизни, пусть его посетит Творящий Дух. Ее приезд в Переделкино в январе 1957 года — самое значительное событие ее жизни. Вся ее душа — в том, что с этим связано. А куда это приведет — на то Божья воля. Не надо по письмам (ее, Мишеля и Элен) судить об их отношении к нему, так как приходится учитывать «первых читателей».

Она давно не писала, так быстро бежит время. Но она понимает, что беспокойство — сатанинский знак, а покой — знак Божий.

Страдания Пастернака проистекают оттого, что он пророк своего времени. Он выполняет пушкинский призыв глаголом жесть сердца людей. Мнения читателей о романе стали пробным камнем человеческого достоинства. Это удивило ее мужа Даниэля, которому она во всем доверяет. Он замечательный человек. Они оба понимают, какому величию служат, это ее облагораживает и делает счастливой. Пусть Пастернак не огорчается тем, что это связано с некоторыми неудобствами. По словам Паскаля, мы «отплыли» и результат плавания в воле Божией.

Жаклин под наблюдением хирурга, она носит гипсовый корсет после падения. Спускаясь с горы на лыжах, она упала и сломала позвоночник. Она не каталась два года, этот спуск был ей неизвестен, упала на камни. Когда она, очнувшись, открыла глаза, то думала, что умирает, но кругом было так красиво. Ощущение смертного часа было радостью. Затем — боль в спине, больница. Все ее очень жалели, но если бы они знали, каким источником внутренних сил и стойкости были эти пятнадцать дней, проведенных в больнице. Она приобщилась к мучениям и пониманию мученичества. Пасху она провела в постели.

Идет широкая подготовка к юбилею Толстого, Эдмунду Уилсону предложили говорить о Толстом-художнике, Карлу Ясперу — о Толстом-моралисте, Исая Берлин будет говорить о Толстом в истории и политике, Япранаш Нараян — о Толстом и свободе личности. Как было бы прекрасно, если бы Пастернак мог приехать и сказать о чем захочет. Еще год времени впереди.

Поскольку Фельтринелли сейчас в Мексике, письмо о выплатах ему еще не передали. Ей кажется, что он сознательно тянет время и ничего не делает. Скоро придет его адвокат разбираться по поводу прав на Автобиографию. Думает, что он успокоится, получив письмо Пастернака от 4 апреля. По поводу кино Фельтринелли говорит, что у него и на это есть права, но, насколько ей известно, Пастернак их ему не давал. К ней собирается приехать директор

фильма. Но, по ее мнению, на Западе фильм лучше не делать, он получится плохо, надо делать серьезный и в России.

Надеется, что Брис Парен, который собирается в Москву и хорошо знает положение, объяснит необходимость циркулярного письма к издателям.

*17 апреля 1959.*

Дорогая Жаклин,— неотвратимая и злополучная новость. Под видом «примирения» со мною государство хочет присвоить плоды, которые приносят мои работы во всем свободном мире.

Вы недостаточно знаете, до каких пределов за эту зиму дошла враждебность по отношению ко мне. Вам придется поверить мне на слово, я не имею права и это ниже моего достоинства описывать Вам, какими способами и в какой мере мое призвание, заработок и даже жизнь были и остаются под угрозой. И вот, кажется, теперь захотели или решили обходиться со мной помягче.

Мне не придется много обдумывать, что выбрать из того, что мне предложат власти. Вам знакомы их повадки. Но я буду упорствовать (если мне это удастся), чтобы ограничиться вкладами в норвежском банке и в швейцарском, о которых они знают, и должен буду согласиться на то, что их полностью переведут в наш Государственный банк.

Насколько возможно, я буду отказываться подписать неограниченное право нашего Государственного банка на все будущие и настоящие суммы, размеры и местонахождение которых мне даже неизвестны. Дело вовсе не в том, что я хотел бы скрыть деньги от их грязного, хитрого вынюхивания! Все мое существо восстает против подобной расписки, против этого договора Фауста с Дьяволом о своем будущем, обо всей божественной благодати, которую невозможно предвидеть, против ужасной системы, которая захватывает и подчиняет живую душу, делая ее своею собственностью, системы еще более ненавистной, чем былая крепостная зависимость крестьян.

Жаклин! Проникнитесь главным, основным в моей мысли, отбросив все остальное. Может быть, Ваш муж найдет какое-нибудь средство, что-то придумает. Но поймите: было бы недостойно Вас, глупо и мелочно думать, что Вы должны приспособливаться ко мне, согласовывать и соблюдать мои интересы. Ваш единственный долг по отношению ко мне это забыть меня с этого момента. Пользуясь Вашей доверенностью, захватить то, что еще можно спасти, и, захватив это, идти против меня, вплоть до полного разрыва, оспаривать каждое мое заявление, каждую ссылку на меня, обосновывая это их недостоверностью и ставя мне это в вину,— поскольку таковы всегда заявления из тех мест, где отсутствует свободная воля. И поступайте так, как подсказывает Вам Ваше воображение со всей добротой и великодушием, не думая даже обо мне, не отдавая никому отчета. Знайте, что всякий раз, когда Вы поступаете самовольно и даже безрассудно, исполняется моя мечта и меня радует мысль, что какие-то средства вырваны из рук, которые делают только зло, и отданы в руки, совершающие добро.

Я ничего не могу Вам посоветовать, я ослеплен расстоянием и окончательной разлукой, я не вижу ничего, так это далеко и так несведущ я в этих делах. Но путь, который надо выбрать, как мне кажется, все тот же, на который вступил Ф<ельтринел>ли, когда достойным доверия и близким трагической истине способом издавал меня, не глядя на меня и открыто заявляя об этом, отказываясь признавать мои аргументы как вынужденные, явно неискренние и потому не имеющие веса.

Примите меры, чтобы об этом молчали некоторое время и слухи не стали сказанным во весь голос. Я никоим образом не имею в виду Вас самих, которую никак нельзя в этом обвинить, это безусловно моя вина, что все всем становится известно, но используйте Ваше влияние, чтобы этого стало меньше, чтобы важное совершалось в тишине.

Дорогая Жаклин, в каждом письме я повторяю, что я Ваше несчастье, Ваше проклятье и это лишь возрастает день ото дня. Я не знаю, что Вам сказать. Может быть, Вы посоветуетесь с Ф<ельтринел>ли? Если Вы придете в отчаяние и не выдержите этого бремени, может быть, Вы передадите ему свои полномочия, как это было раньше?

Я падаю, тону в неопределенности. Но мысленно я осмеливаюсь рисовать себе воображаемое будущее, когда все совершенно изменится, когда у меня появятся новые работы, и если только издания всех этих «Охранных грамот»,

старой прозы и стихов, которые годятся лишь для того, чтобы обесценить «Доктора Живаго» и то, что я недавно написал, не приведут нас к полному литературному краху, настанет время, в котором я, может быть, еще успею пожить. Неужели у меня нет права мечтать о нем уже сейчас, заботиться о нем?

Итак, если Вы получите сведения о новых гонорах (весь мир знает, что Вы доверенное лицо), не позволяйте, чтобы мелкие глупые предубеждения удерживали Вас от широких и спасительных шагов, подсказанных смелым предвидением. Откройте Ваш собственный текущий счет, не имеющий ничего общего со мной. Кладите на него все доходы, которые будут проходить через Ваши руки после того, как откуда будет произведен этот грабеж и насилие (размеры и значительность которого я не могу предсказать). Храните это имущество и распоряжайтесь им как Вам угодно, не ставя меня в известность. Не останавливайтесь перед ничем не значащей видимостью. Весь мир Вас поймет, благословит и прославит за прозорливость и живую распорядительность.

Простите меня, Жаклин. Я Вас обнимаю. И не задумывайтесь о нашей смерти. Если я умру первым (что более вероятно) и в случае Вашей смерти, преемственность всегда сохраняется, другие присмотрят за тем, чтобы все было продолжено и закончено. Не проклинайте меня.

PS. Странно, что, оставляя без внимания десятки писем с просьбами о материальной помощи (когда-нибудь, когда эти просьбы можно будет законно выполнить, я выберу эти письма из кучи других), я сообщаю Вам об одной, наиболее случайной просьбе. Обратитесь, если Вам захочется, к госпоже Кларе Е. Хонеггер, Basel, Pilgerstrasse 18, Suisse, чтобы она написала Вам подробнее, в чем она нуждается... «Я по призванию воспитательница... Сейчас под моим попечением находится несколько бедных и милых русских детей, беженцев... Мы обращаемся к Вам за частной поддержкой и т.д. и т.д.». Может быть, Вам покажется, что тут можно и нужно что-нибудь сделать?

*30 апреля 1959.*

Дорогая Жаклин, по отношению ко мне вырисовываются существенные изменения. Есть признаки, что меня будут переиздавать, что мое существование будет обеспечено из здешних источников. Я надеюсь, что мне не нужны будут деньги из-за границы. Ни Элен, ни Вам, ни кому бы то ни было не надо больше беспокоиться о моем будущем.

Тем больше причин будет у Вас независимо и отдельно рассмотреть во всем объеме (в соответствии с моим последним письмом) возможности, средства и приобретения, скопившиеся в связи с моей судьбой. Пусть весь этот мир материальных и нравственных возможностей в какой-то степени окажется в стороне от меня и вне моего ведома под Вашим началом и распоряжением. Если это выше Ваших сил, облегчите себе задачу, разделив ее с Элен или с кем захотите — с Ф<ельтринел>ли, например, или даже верните ему эту тяжелую ношу, если таково Ваше желание, но если сочтете необходимым, используйте, как хотите, Ваши собственные права по своему решению и доброй воле: я перестаю существовать для Вас или для кого бы то ни было в этих важных вопросах.

Обрываю письмо, чтобы не пропустить оказию, это не письмо, а постскриптум к предыдущему.

Пусть Элен знает, что я ее обожаю и что именно из любви к ней я оставил ее без писем в течение этой мрачной зимы и не докучал ей своими делами. Что, напротив, из чистой ненависти к Вам я превратил Вашу жизнь в... сумасшедшую канцелярию, если можно себе такое представить.

Меня торопят, до свидания, целую Вас.

Б.

*2 мая 1959.*

Жаклин, Вы мне задаете работу. Только вчера я написал постскриптум к предпоследнему письму, и вот снова возникла необходимость приписать к нему пост-постскриптум.

Элен спросила меня, почему Ж<иваго> так опустился к концу жизни. Это было в природе вещей в описываемые годы заката судеб, усталости и упадка.

Она хотела также знать время моего обращения. Я был крещен своей няней в младенчестве, но из-за ограничений, которым подвергались евреи, и к тому же

в семье, которая, благодаря художественным заслугам отца, была от них избавлена и пользовалась определенной известностью, это вызывало некоторые исключения и оставалось всегда душевной полутайной, предметом редкого и исключительного вдохновения, а отнюдь не спокойной привычкой. В этом, я думаю, источник моего своеобразия. Сильнее всего в жизни христианский образ мысли владел мною в 1910—1912 годах, когда закладывались основы моего своеобразного взгляда на вещи, мир, жизнь. Но поговорим об этом в другой раз, или, вернее, не будем об этом говорить вовсе. Намекните это Элен, и пусть этого никто больше не знает. Мне и без этого хватает сложностей. Меня почти со всех сторон спрашивают о моих убеждениях и мнениях чуть ли не обо всем на свете, и не хотят верить, что у меня нет никаких. Такой взгляд на вещи для меня ничего не значит. Ибо «мнение» о Святом Духе ничего не стоит по сравнению с его собственным присутствием в произведении искусства, с чего начинается великое и чудесное. Однако вернемся к этому в следующий раз.

Я скрыл от Б<риса> П<арена>, каких страданий мне стоила совершенная невозможность ненадолго его задержать и поговорить по-человечески, — за мной следят и шпионят почти открыто. Но если бы Вы знали, как мне было больно! Мне очень жалко, что я написал документы, в которых Вы нуждаетесь, не под его диктовку. Уверен, что уклонился в сторону и сделал не то, что требовалось. Жаклин, Жаклин, добрая душа, такая близкая и понятная, такая похожая на мою собственную, как Вас благодарить за все? — Какие великолепные, удивительные часы!! И записки от Камю! Передайте ему мою радость и благодарность. Но пора проститься.

Ваш Б.

В предвидении возможных последствий я не могу датировать эти новые доверенности временем, когда тут со мной расшаркиваются. Поэтому, как видите, я подписал их задним числом.

Говоря о надеждах на переиздания, которые исправят его денежные дела в Москве, Пастернак главным образом рассчитывал на «Фауста», о котором была договоренность с Гослитиздатом. Чтобы не слугнуть эту возможность, которой его дразнили уже два года, то обещая, то отказываясь от обещаний, Пастернак подписал новые доверенности Жаклин и ее мужу Даниэлю де Пруайяру 11 апреля 1959 года.

К первым числам мая относится также рассказ Т. В. Ивановой, жены Всеволода Иванова и соседки Пастернака по переделкинской даче, о том, что ей позвонила по телефону О. В. Ивинская с просьбой, чтобы Пастернака немедленно вызвали для разговора с ней. Оказалось, что он получил приглашение к шведскому послу, — но ему сказали, что если он откажется и не пойдет, ему уплатят гонорар за перевод «Мэри Стюарт» Словацкого, который он сделал уже полгода назад, и издадут сборник стихотворений, остановленный в производстве весной 1957 года и сохранявшийся в типографии в течение нескольких лет.

О снятии запрета на печатание Пастернака было объявлено достаточно широко. Лев Горнунг записал об этом у себя в дневнике 6 мая: «Сегодня я узнал, что директору Гослитиздата Владыкину разрешили печатать произведения Пастернака. Вероятно, в первую очередь пойдет то, что было включено в план издательства. На театральных афишах разрешено печатать полное имя Пастернака, когда пьеса идет в его переводе (Шекспир, Шиллер)».

Небольшое письмо от 2 мая, которое Пастернак называет постпостскриптумом к предыдущему, служит одновременно ответом и Жаклин, и Элен Пельтье. Как уже говорилось в предисловии, это единственное упоминание о раннем обращении Пастернака. Оно нередко ставилось под сомнение, потому что по церковным правилам крещение ребенка не могло происходить без официального согласия родителей и должно было быть занесено в метрическую книгу. Но воспоминаниям всех четверых детей Пастернаков, на атмосфере дома и особенно детской сказывалось огромное влияние няни Акулины Гавриловны Михалиной, человека удивительной доброты, ума и глубокой религиозности. И то, что Пастернак пишет, что он был крещен нянею, значит, что она, обойдя официальные сложности, сама крестила мальчика, как это могут делать миряне за отсутствием священника. Христианский образ мыслей, который Пастернак относит ко времени своих ранних занятий литературой, отразился на системе образов его первых опытов.

2 мая 1959 года Жаклин снова писала о своем падении с горы, добавляя, что теперь уже все позади и на будущей неделе она возобновит преподавание. Ее завалил письмами Мато, но она не на все письма ему отвечает. Она пишет, что надеется, что после поездки в Грузию Пастернаку станет легче.

Но 6 мая пришли тревожные письма Пастернака от 17 и 30 апреля. Они показывали, что его положение не улучшилось. В ответном письме она выражала надежду, что Пастернак виделся с Борисом Пареном и имел возможность обсудить дела. Очень существенно то, что должен был



сказать Брис Парен: нужен циркуляр всем издателям Пастернака, чтобы они отдавали половину авторского гонорара Жаклин де Пруайяр.

Она послала Фельтринелли фотокопию письма Пастернака со списком лиц, кому он хотел послать денежные подарки, но от него нет никаких известий. Она слышала, что Фельтринелли и его жена вновь вступают в коммунистическую партию. Жаклин молит Бога, чтобы это было не так, чтобы «Доктор Живаго» не стал финансовым подспорьем коммунистической партии. Это было бы святотатством.

Против этого места письма Пастернак написал по-французски: «Я об этом ничего не знаю».

Прилагает текст молитвы знаменитого французского богослова отца Даниелу и фотографию барельефа работы Веры Александровны Поповой. Она видела Пастернака еще в мастерской Крахта, ей семьдесят шесть лет, ее кузина учила Жаклин русскому языку.

Она сопоставляет положение Пастернака и пророка Иова, надеется, что победа близка.

На конверте письма рукой Пастернака написано: «От Жаклин, Paris 6.V.59. Выясняется, чего недосказал Вг<is> P<again>. Вложен барельеф Веры Андр. Поповой и молитвы. Ответчено 20.V.59».

20 мая 1959.

Дорогая Жаклин, уже неделю как Ваше письмо с очередным описанием Вашего несчастья лежит передо мной. Это уже третья версия, первая была от Элен. Самое важное в этом известии слово — лыжи — было написано в конце фразы, торопливо и неразборчиво, и я терял голову от различных предположений. Я жалею Вас от всего сердца. Я переживал вместе с Вами это происшествие, день за днем перечитывая Ваши письма строка за строкой.

Успокоительные слухи обо мне, вероятно, имеют некоторые основания, но до какой степени? Это решить невозможно. Все меняется и может в любой день повернуть вспять.

Ваше намерение приехать сюда осенью — целая трагедия для меня. Представьте себе, как смогу я удержаться от желания поселить Вас на все время Вашего пребывания у нас в П<еределкине>? Подумайте, ведь может случиться и так, что я откажу Вам даже в короткой встрече? Но таковы мои теперешние обстоятельства. Как было бы замечательно, если бы Вы перенесли эту поездку на следующую осень!

Я получил от Элен два письма и ответил на первое из них. Пусть наберется терпения, я отвечу на вопросы второго письма (по поводу выставки «Comptesse» и о ней самой) несколько позже.

Я огорчен, что не сумел поточнее выяснить у Б<риса> П<арена> то, что Вам нужно. Мне в высшей степени грустно, что я оказываюсь совершенно Вам бесполезен и ничем не могу помочь в делах. Надо, чтобы Вы сами нашли какой-нибудь пригодный способ переговариваться между собой. Я не могу этим распоряжаться с такого большого расстояния.

Я хотел написать Элен о ложном толковании моего стиля, которое получает распространение. К нему присоединился даже такой знаток, как Эдмунд Уилсон. Ищут тайный смысл в каждом слого романа, расшифровывают слова, названия улиц и имена героев как аллегории и криптограммы. Ничего этого у меня нет. Я отрицаю даже возможность существования отдельных, изолированных символов у кого бы то ни было, если это художник. Если произведение не исчерпывается тем, что в нем сказано и напечатано, если есть еще что-то сверх того, это может быть только его общее качество, дух, движение или бесконечное стремление, которое пронизывает произведение все целиком и делает его тем или иным. Это не идея, которая в нем скрыта, как решение загадки, но подобие души, заключенной в теле и его наполняющей, которую невозможно из него извлечь.

Итак, если душой французской импрессионистической живописи были воздух и свет, то какая душа у этой *новой прозы*, которая создает Доктора Живаго? По своему замыслу, задаче и исполнению это было реалистическое произведение. Ибо в нем должна была быть описана точная реальность определенного периода. Это русская реальность последних пятидесяти лет. Когда эта работа была выполнена, оставалось еще одно, что надо было также охарактеризовать и описать. Что именно? Реальность как таковую, саму реальность, реальность как явление или философскую категорию: *факт существования какой-то реальности*.

Не надо думать, что это что-то совершенно новое, что раньше не задавались подобными целями. Наоборот, великое искусство всегда стремилось зарисовать

общее восприятие жизни в целом, но это делалось (истолковывалась ее неделимая цельность) каждый раз по-разному, в согласии с философией своего времени.

Например, девятнадцатый век, Флобер, Толстой, Мопассан, и прежде всего натуралисты, выделяли задний план, глубину («действительность»), подчеркивая обусловленность природы, детерминизм и причинность происходящего, характеры были ясными и четкими, все было последовательно. Отсюда проистекал серьезный и пессимистический тон великого стиля Флобера и его неизменный, беспощадный синтаксис, его обвинения действительности, рассказ о которой, то есть литература приобретала гордые и суровые полномочия судебного приговора.

Я не звезда в современных точных науках. Но простым чутьем мне кажется, что мой способ восприятия жизни, того, что происходит вокруг и в течение лет, соответствует состоянию и направлению современной логики, физики, математики. В моменты самых глубоких потрясений моей молодости я все время чувствовал — не скажу мир или вселенную, но значительность совершающегося, неизмеримо более широкую, чем мои собственные испытания, и даже в слезах, на пороге отчаяния, я любовался высотой и захватывающим величием природы — существования, которое было передо мной, надо мной и не было мною.

У меня всегда было чувство единства всего существующего, связности всего, что живет, движется, проходит и появляется, бытия и всей жизни в целом. Я любил всевозможное движение всех видов, проявление силы, действия, любил скватывать подвижный мир всеобщего круговращения и передавать его. Но картина реальности, в которой заключены и совмещаются все эти движения, все то, что называют «миром» или «вселенной», никогда не была для меня неподвижной рамой или закрепленной данностью. Сама реальность (все в мире) — в свою очередь оживлена особым волнением — иного рода, чем видимое, органическое, материальное движение. Я могу определить это чувство только при помощи сравнения. Как если бы живописное полотно, картина, полная беспорядочного волнения (как, например, Ночной дозор Рембрандта), была сорвана и унесена ветром — движением, внешним по отношению к движению изображенному и знакомому по картине. Как будто этот вихрь, вздувая полотно, заставлял его вечно лететь и улетать, постоянно ускользая от сознания в чем-то самом существонном.

Вот мой символизм, мое понимание действительности и соотношение с детерминизмом классического романа. Я описывал характеры, положения, подробности и частности с единственной целью: поколебать идею железной причинности, абсолютной необходимости; представить реальность такой, какой я всегда ее видел и переживал, как вдохновенное зрелище невоплощенного; как явление, привидимое в движение свободным выбором; как возможность среди возможностей; как произвольность.

Отсюда все «недостатки» (непонятые особенности) моей новой манеры: пренебрежение «определенностью», стирание чуть наметившихся очертаний; сознательная произвольность «совпадений», изображение прочного, как скользящего и исчезающего и т.д. Отсюда некоторый оптимизм этой манеры. Определение бытия не как того, что поработает и разочаровывает, а как удивительной и освобождающей тайны.

Превратности почты начинают сказываться после третьего листа (она борется против больших писем), я хотел ограничиться двумя. Я превысил это установление, и сомневаюсь, что Вы получите мой небольшой трактат. Подтвердите его получение телеграммой с успокоительным ответом на следующий вопрос.

Только из последних Ваших писем мне стало понятно, что за бумаги Вам были нужны. Будучи мучительно и невыносимо занят, Бр<ис> передал мне Вашу просьбу достаточно полно и отчетливо. Я даже не мог понять, зачем надо еще раз повторять то, что было неоднократно сделано. Что в этом нового? Если бы было тогда произнесено слово «циркуляр»!! Меня сразила мысль, что моя бумага никуда не годится! Если это так, напишите мне или даже отпечатайте на машинке требуемый текст, и я подпишу его. Но если прежний все-таки сколько-нибудь полезен, если им можно удовлетвориться и выпутаться, намекните мне это в телеграмме. Как хорошо бы с этим покончить и дать себе передышку!

Вы правильно угадываете мои огорчения. Так называемые милости (пока я, впрочем, их не вижу) при таком положении вещей грубее и унижительнее всякой опасности и угроз.

Пожалуйста, передайте Вашему мужу мои добрые пожелания и поцелуйте детей.

Поклонитесь и поблагодарите г-жу Попову: это чудо сделать такой барельеф «по ошибке». Просьбу Чижевского я удовлетворю в письме к Элен. Рассказывают, что видели русские издания «Доктора Живаго». Нельзя ли получить несколько экземпляров?

Это все, теперь можно вздохнуть, потянуться к работе и не найти достаточно времени...

дорогой, дорогой, дорогой мой друг.

В продолжение разговора, включающего обеих собеседниц, Жаклин и Элен, который был начат в предыдущем письме от 2 мая, Пастернак затрагивает существенную тему отличия его прозы от классического романа XIX века. Толчком к этому разговору стала работа Эдмунда Уилсона «Legende and Symbol in Doktor Zhivago», напечатанная в апрельском номере журнала «Esquire». В этой работе названия улиц и имена героев в «Докторе Живаго» расшифровывались автором как символические криптограммы.

К тому времени уже вышли фактически три издания «Доктора Живаго» на русском: «пиратское» Мугона, мичиганское и теперь в апреле Фельтринелли напечатал свое издание в русской типографии в Бельгии. Пастернак видел мелчком мичиганское, пришел в ужас от опечаток и передал книгу Ивинской. Хотел бы получить несколько экземпляров для себя. Тиражи были незначительны, провезти книгу в Москву было чрезвычайно рискованно.

Письмо от 22 мая 1959 года Жаклин написала, чтобы представить Пастернаку Женевьев де Буассон, приятельницу Элен, которая ехала в Москву и хотела его увидеть. Зная, что Пастернаку запрещено встречаться с иностранными журналистами, она собиралась официально получить разрешение на встречу. Жаклин просила Пастернака не разговаривать с ней ни о чем, связанном с делами, и сообщала также, что к ней завтра придет д'Анджело, а Фельтринелли собирался через месяц. Дела налаживаются, он предлагает сотрудничество.

На конверте пометка Пастернака по-французски: «Письмо от 22 мая 1959 с упоминанием Женевьев де Буассон».

В письме от 12 июня Жаклин писала, что Фельтринелли со своим адвокатом Теззоне были у нее и пришли к соглашению. Фельтринелли передает ей все права на Автобиографию, но она сохраняет его копирайт. Жаклин доказала, что русский текст романа был напечатан им по непроверенной копии, повторяя пиратское издание 1958 года. Подписали протокол о том, что ей принадлежит право русского издания, а также кино, радио и телевидение. Так что Пастернак может быть спокоен — кино пока не будет. Фельтринелли будет отчитываться перед нею в поступлениях. После урегулирования денежных вопросов можно будет начать распределение.

Галлимар просит Жаклин написать книгу о Пастернаке для «Bibliothèque Idéale». Ей совсем этого не хочется, но как спасательная лодка Пастернака она рано или поздно должна это сделать. Издательство хочет к осени. Но она просит год для работы, чтобы это был «выношенный» текст. Кроме того, она не хочет писать об истории издания романа, потому что этого нельзя оглашать. Но главное, она никогда не занималась творчеством Пастернака. Для этого тоже требуется время. Для начала нужны точные сведения. Может быть, О. В. напишет это за Пастернака. Биографические события, датировки основных работ и краткие к ним примечания, датировки переводов и как он выбирал источники. Короче, все, чего нет в Автобиографии, свод точных «материалов», чтобы писать конкретно.

Очень довольна его «трактатом», потому что тоже не согласна с Уилсоном. Тем не менее нужно, чтобы Пастернак написал ей о загадном Евграфе.

В отчаянии оттого, что не может найти у себя в шкафу подаренную ей Пастернаком статью о «реализме в музыке», на которой он сделал удивительную надпись. Просит у него еще экземпляр.

Следующее письмо Жаклин написала 25 июля, жалуясь на трудный конец учебного года. Она вычитывает русский текст романа вместе с В. А. Поповой. На будущей неделе пошлет исправленный экземпляр Фельтринелли, который может напечатать его уже этим летом.

Прошлую субботу к ним приезжала сестра Пастернака Жозефина с мужем. Провели очаровательный вечер. Она несколько похожа на брата. Очень боится за него и благодарила Жаклин за осторожность. Спрашивала всякие подробности. В свою очередь Жаклин расспрашивала ее о пастернаковской семье.

Говорили с Элен о статье Уилсона и письме Пастернака. Элен счастлива тем, как она точно его поняла.

Жаклин подробно описывала великолепный прием на 300 человек, устроенный ее матерью в их доме в Париже, рассказывала историю этого дома и своей семьи.

Недавно у Жаклин были в гостях Мишель, Элен и Жорж Нива, знакомый О. В. Они узнали, что «Любители стихотворений Б. Пастернака» напечатали «Когда разгуляется». Галлимар еще не нашел этих пиратов. Он продолжает настаивать, чтобы Жаклин писала книгу о Пастернаке.

Мишель пишет другую для издательства «Le Seuil». Элен читает лекции о Пастернаке, но писать не может, так как занята диссертацией. План книги в серии «Bibliothèque Idéale» заранее определен типом издания: 1) личность, 2) дни (краткая биография), 3) творчество, 4) книги, 5) страницы (выдержки из произведений), 6) фразы (краткие афористические цитаты), 7) диалоги (интервью, отрывки писем), 8) отзывы, 9) документы (библиография, фотографии, записи голоса). Биография Клоделя в оранжевой обложке, Камю в желтой. Жаклин спрашивает Пастернака, есть ли у него любимый цвет. Главным образом ее интересует то, как он писал роман. Просит фотографии, снимет с них копии и пришлет. Сестры Пастернака очень недовольны альбомом Герда Руге. Видел ли его Пастернак?

Жаклин пересылает его письмо Чижевскому, но статья уже печатается.

Через три дня, 28 июля 1959 года, Жаклин писала снова. Продолжаются пиратские издания, так как официальное почти распродано, но найти ответственных не удается. В тексте, напечатанном Фельтринелли, установили 372 опечатки по вине издателя, который печатал по неизвестной копии.

Примирение с Фельтринелли оказалось мнимым. Он внезапно отказался ратифицировать договор, составленный его адвокатом в соответствии с документами, представленными ему Жаклин де Пруайяр, не только на «Доктора Живаго», текст которого вычитала для него Жаклин, но и на Автобиографию. Он, по-видимому, не хочет печатать исправленный текст романа. Переданный список необходимых выплат поверг адвокатов в полное недоумение, они не признают, что это обязательно.

Жаклин написала тем, кому предназначены деньги. Элен ошеломлена и не понимает «безумной щедрости». Джон Харрис счастлив и хочет на эти деньги съездить в Европу.

В Милане они виделись с С. д'Анджело, который сказал, что Фельтринелли не подписал бумаг и хочет еще потянуть. Он не хочет отдавать авторский гонорар, потому что, пока нет сведений о величине суммы, можно не платить налогов, которые очень велики в Италии. Но нельзя, чтобы гонорары автора оставались в кассе издателя и зависели от состояния его дел, в случае смерти автора они оказываются собственностью Фельтринелли.

## 2 августа 1959.

Дорогая Жаклин, судя по образности Ваших приемов, Вы сами должны были бы писать романы, а не критические разборы. У меня в ящике лежат письма от Ф<ельтринелли>, и я откладываю со дня на день их чтение, зная, какие огорчения и осложнения они мне должны принести. Он жаловался на Вашу суровую придирчивость, как он это называет. О<льга>, которой было рассказано содержание письма, была встревожена угрозами разрыва с ним, судебных разбирательств и опасных, а в нашем положении пагубных, по ее мнению, разоблачений. Она (О<льга>) убедила меня воспользоваться своим влиянием. Я против воли написал об этом Элен. Она расскажет Вам и покажет письмо. Я хотел избавить Вас от этого. И если я об этом упоминаю, то только потому, что убедился, как надеялся с самого начала, что тревога была ложной и напрасной и все устроится лучшим образом. Я хотел бы, чтобы все оставалось так, как было намечено раньше. Дайте ему полную свободу, как это делаю и я сам. Он заслужил это своей успешной предприимчивостью, которой дал удивительные и многочисленные доказательства. Он достоин безграничного доверия.

Я был подавлен стыдом, узнав в конце Вашего письма, что Мишель и Вы, Вы тоже, готовы заняться моей несчастной особой.

Меня удерживает в таких случаях не должная скромность (наверное, ее у меня мало, недостаточно). Не страх политических недоразумений, которые подстерегают каждую мою публикацию, каждый литературный шаг. Положение таково, что ничто не может его ухудшить, предел достигнут.

Несоразмерно нарушено равновесие между сделанным и отраженным в обсуждениях и толкованиях. Небольшая горсточка твердого вещества (в моей книге) растворена в многословии написанного и пишущегося о ней или обо мне! И теперь, начав с увлечением работать, я чувствую себя так, как будто держу все обстоятельства в руках и как будто речь идет о том, чтобы уравновесить рост абстракции содержанием — своим, конкретным, задышающимся в спешке.

Но я хочу, чтобы Вы написали свою книгу, чтобы Вам повезло и она стала одной из лучших. И если я могу быть Вам в чем-нибудь полезен, я готов это сделать с удовольствием. Все, что я Вам скажу (кроме, может быть, установившихся мнений и понятий, лиц и национальностей), Вы всегда можете открыто цитировать из моих писем, переписав их правильно по-французски. Попутно я Вам расскажу ужасные вещи, и Вам откроется многое, чего Вы не могли ожидать.

Мое лучшее время (любимые цвета, слова и т.д.) давно прошло. С одной стороны, необходимый выбор был сделан однажды раз и навсегда. С другой, —

с течением лет сужая свободу выбора, ограничиваешься тем, что находишь, потому что выбирать не из чего. Мое нынешнее существование (внутренне очень живое) представляется мне простым следствием давно принятых и выполняемых предпосылок. Это более активное, более постоянное и прямолинейное движение, чем когда бы то ни было, полу-желание, полу-долг.

Мечтали о равенстве. Я его достиг, видя вокруг совершенное равенство всех видов несовершенства. Мечтали о братстве. Я полон безразличной благожелательности по отношению к большей части живых существ, которые толпясь наполняют жизнь,— и только она сама способна внушить мне единственную настоящую любовь — любовь к ней.

Но в далеком прошлом у меня было любимое сочетание, такое устойчивое, что могло бы меня охарактеризовать. Это был темно-лиловый (почти черный) цвет в сочетании со светло-желтым (цвета чайной розы или кремovým) в такой пропорции: например, обложка или переплет должна быть лиловая (цвета пармских фиалок), и матовая, водянисто-желтая наклейка с именем и названием или желтые глубоко вдавленные буквы.

Здесь должно было бы начаться настоящее письмо, имеющее отношение к Вашей будущей книге (я все-таки напишу его через две-три недели и отправлю по почте),— но по некоторым безобидным признакам я понял срочность того, что должен Вам доверить, чтобы прояснить свои пожелания относительно Вас и Фельтринелли. Простите мне откровенность, с которой я продолжаю.

Но вместо того, чтобы продолжать, я обрываю. Не мучайтесь любопытством и тревогой,— Вам все объяснит Элен. Я набрасываю также письмо для Фельтринелли по-немецки (в зависимости от того пути, которым оно пойдет). Конец письма к нему — обрывок моего прерванного заключения Вам. Он для Вас скопирует эту приписку (она по-французски) и пришлет. Я не могу избежать формулировки, в которой вынужден сказать, что Вы это как бы я сам вне наших границ. Простите мне бесцеремонность и некоторую долю фамильярности, которую несет в себе эта глупая формула.

Я польщен честью, которую Вы мне оказываете, и сознаю тяжесть этой роли и того унижения, которому Вы в связи с этим рискуете подвергнуться.

Фельтринелли, выполняя просьбу Пастернака, прислал Жаклин три последние страницы письма, написанные по-французски. Пастернак предлагал, чтобы Фельтринелли как главный издатель и Жаклин де Пруайяр как alter ego автора полностью заменили его во всех делах, чтобы она подписывала договоры, заключенные Фельтринелли, и контролировала выплаты как их собственница. «Пусть она будет Пастернаком для Фельтринелли в тех случаях, когда ему мало собственных прав». Пастернак просил, чтобы Фельтринелли опирался на знания, гений и благородство Жаклин, поскольку сам Пастернак совершенно лишен возможности участвовать в делах. Он нуждается в их обоюдной помощи, им следует войти в его положение и отнестись к нему с уважением и пониманием.

*13 августа 1959.*

Дорогая Жаклин, я еще не знаю, сколько их, но как к стати деньги, которые мне обещала принести дорогая госпожа Дурова,— если бы Вы только знали! Нам обещают, например, переиздать Фауста. На первый взгляд кажется, что осуществление этого произойдет за один день, за неделю. Но проходят месяцы, а о данном слове и не вспоминают. Это не предумышленная ложь. Это соответствует теперешнему состоянию всей окружающей жизни. Она приговорена бесповоротно. Так жить нельзя. Она бесцельна и бесполезна. Время не идет вперед, оно тащится по инерции. Сколько продлится этот завершающий период? Годы, десятилетия? Вы выгнали нас из безнадежного затруднения. Нужно ли говорить, как велика моя благодарность? Я благодарю Вас за то, что Вы сделали это неожиданно, без всяких просьб.

Пожалуйста, не переоценивайте идиличности моего существования. Если я Вам протелеграфирую как-нибудь: внучка подхватила ветрянку,— это будет значить, что О<льга> арестована, в моем случае будет — внук, и Вы это узнаете от нее. Тогда Вы поймете, что началось следствие по делу об измене родине (эта угроза была официально записана у нас на глазах в тайный протокол в высших сферах «правосудия» и объявлена весной), — что открыто следствие и нужно действовать, бить во все колокола.

Статья о Шопене. Нельзя ли ее перевести и опубликовать где-нибудь в журнале или газете? На этот раз это не будет новым преступлением, статья была напечатана тринадцать лет назад в советском журнале (вероятно, в несколько искаженном цензурой виде). Ни в коем случае не надо на полях публикации делать этой оговорки. Никаких расшаркиваний перед этими крестинами! Не делайте из перевода обязанности для себя. Поручите его, если Вы заняты, кому-нибудь, кто Вам понравится. Но эта небольшая работа, сама по себе незначительная, мне дорога. Мне было бы приятно знать, что ее читают.

Лондонский «Penguin Books» взял для своей серии «Повесть». Но эта проза слишком мала для их серийного объема. Они попросили меня о каком-нибудь дополнении. Я им отправил эти несколько слов о Шопене. Их адрес: Mr Richard Neunham, Penguin Books, Ltd. 15 Portman Str. London W1.

Стифен Спендер, поэт и издатель «Encounter», просит у меня, чтобы я написал статью в виде письма против приема аналитико-аллегорической интерпретации мнимо зашифрованного искусства.

Я не читал работы Эдм. Уилсона. Я говорил о нем с кем-то из американцев и немцев, людьми новыми и подчас мне неизвестными, которые пишут мне. В своих письмах они рассказывали мне об Эдм. Уилсоне. Его имя — авторитет для меня. Этот прием исследования открыл не он. Таким методом пишут теперь о классиках.

Нечаянное отступление — я продолжу разговор о Уилсоне потом. — Пришли два письма с бесконечными благодарностями, одно от Теенса, другое от Харриса. Как бы мне хотелось, Жаклин, чтобы это, наконец, осуществилось! Чтобы они благодарили и превозносили не меня, а Вас. Милый мой ангел, как я счастлив, что могу позволить себе просто и безусловно выразить свое восхищение Вами и, благодаря Вашим стараниям, сеять вместе с Вами счастье, как играют на рояле в четыре руки. Нежность Ваших забот приносит осязаемое блаженство, как будто я встал на колени и целую Вам руки. — И это знак того, что все другие разногласия с Ф<ельтринелли>, может быть, уладятся и урегулируются. Какая неожиданная радость, какая радость!

Но раз уж так, поговорим о Ф<ельтринелли>, поговорим о положении вещей. Я приведу Вам пример, и Вы сразу поймете, как в реально достижимом идеале я представляю себе Ваши (и мои) с ним отношения. Я кончаю писать пьесу. Она становится русской рукописью, результатом творчества, документом неоспоримого значения, каким был «Доктор Живаго». О<льга> относит копии в здешние редакции. Их там терзают шесть месяцев. Работу не принимают. В этот долгий промежуток времени один экземпляр рукописи попадет в Ваши руки. Вы оцените ее как явление искусства и проявление мысли. Если Вы найдете ее хорошей, появится издатель (пусть это будет Ф<ельтринелли>!! Хорошо, чтобы Вы выбрали его!), Вы с ним подписываете договор, всемирный, подобно «Доктору Живаго», охватывающий все языки и множество изданий. Но это делается от Вашего имени, Вы подписываете договор, не упоминая меня и без моего ведома, все это Вы делаете по Вашей воле в силу права, которое Вам дает старая забытая доверенность, неизвестно какого времени, какого содержания и на каких условиях составленная.

Новая законченная работа — вот чего пока не хватает для всего этого великолепного построения.

Я с минуты на минуту жду госпожу Д<урову>. На случай, если она придет сегодня (она может это сделать и завтра, у нее еще есть два дня), я предварительно прощаюсь с Вами. Я продолжу письмо под угрозой оборвать его с ее приходом. Даже и в этом случае оно будет законченным. Я с Вами расстанусь, пусть и внезапно, но сказав Вам, насколько я Вас люблю и восхищаюсь Вами, как бесконечно Вам благодарен.

Анастасия Борисовна Дурова — одна из тех русских женщин, знакомство с которыми, по словам Жаклин де Пруайяр, стало причиной ее интереса, а потом и любви к России. Наследница лучших традиций потомственного дворянства, внучатая племянница писательницы и кавалерист-девицы Надежды Дуровой, она тогда на несколько дней приехала в Москву в составе туристской группы. Девочкой вместе с родителями она уехала из России, ее бабушка и дедушка погибли во время блокады Ленинграда. Со свойственной ей самоотверженностью она взяла на себя вполне опасное по тем временам поручение обменять в посольстве и передать Пастернаку деньги из той суммы, которая была получена за французское издание «Доктора Живаго» и Автобиографии. Дальнейшие денежные посылки Жаклин тоже были из этого источника, не имеющего отношения к Фельтринелли.

«Penguin Books» издал «Повесть» Пастернака под названием «Last Summer» («Последнее лето») в переводе Дж. Риви с предисловием Лидии Пастернак-Слейтер в 1959 году. Статья о Шопене в книгу не вошла. Она была написана по заказу газеты «Литература и искусство» к 135-летию Шопена в 1945 году. Газета ее не напечатала, а журнал «Ленинград» опубликовал текст, сокращенный и изуродованный в редакции до неузнаваемости (1945, № 15—16).

По просьбе Стифена Спендера Пастернак написал три письма, они были напечатаны в журнале «Encounter» в августе 1960 года. Одно из них, от 22 августа 1959 года, опубликовано в журнале «Русская речь» (1990, № 1).

Радость Пастернака, вызванная тем, что Фельтринелли по прошествии семи месяцев выполнил его поручение и директор Фаустовского музея в Штутгарте Карл Теенс и журналист Джон Харрис получили деньги, была несколько преждевременна. Остальные посылки задержались еще на полгода. Конфликт между Фельтринелли и Жаклин де Пруайяр усложнялся, по мере того как замысел пьесы, вскоре получившей название «Слепая красавица», приобретал все более определенные очертания.

Это письмо будет бесконечным, но начинаю я его 20 августа.

У меня два желания, дорогая Жаклин, которые я должен осуществить: одно — это написать Вам, а другое — Стифену Спендеру, по поводу очень, очень важных вещей.

Не так давно, в начале века, перед первой мировой войной, еще считалось, что пытки, казни, массовые убийства, резня, боги, ходящие по земле, обнаженная догола жизнь могли существовать только во времена рабов, гладиаторов и людей в тогах. Казалось таким очевидным, что при современном укладе этого всего быть не может, что железные дороги, пиджаки, галстуки нас от этого предохраняют и служат надежной защитой.

А потом возникли два царства: то, которое у нас, и царство Адольфа.

Жизнь остается неизменной. Полная откровений и опасностей, как в лесу, она сохранилась в недрах больших современных городов. Нужно только иметь желание и мужество ее найти. Вдохновение.

Когда говорят об этом, представляют себя Дон Жуанами, отважными воинами, дерзкими мятежниками (и это не ошибка). Но я имею в виду совершенно другое. Я думаю о совсем особой жизни. В список ее действующих лиц входят: Бог, женщина, природа, призвание, смерть... Вот кто по-настоящему мне близки, мои друзья, соучастники и собеседники. Ими исчерпывается все существенное. Я не только сам всегда хотел ограничить ими свое тайное общество, круг тех, кто поистине играет плодотворную и значительную роль в моем существовании, но своими работами и характером поведения я предлагал и другим этот способ духовного счастья. Если мое скромное искусство безмолвно несет в себе этот образ существования, если мне удалось его показать, если я это сделал, то работы, которые пишутся обо мне, меня запутывают, стремятся это разрушить обилием мелких фактов и подробностей, которые я давным-давно рад был забыть и сознательно вычеркнул из памяти.

Вы просите меня снабдить Вас материалами, которые не вошли в ограниченный объем Охранной грамоты и еще более сжатый — Автобиографии. Конечно, я Вам их сообщу. Но с другой стороны, — Ваша просьба похожа на то, как если бы Вы, имея дело с рисунком, захотели его расширить, стерев контур.

Я Вам доверю многое, что не предназначено для публикации. Почему я не держусь точных биографических данных, избегаю их и стараюсь уклониться? Когда человек что-то собою представляет и рассказывает об этом, это выглядит, как будто он одобряет и соглашается с тем, что он есть и чем был. Или наоборот, он открыто восстает против, отрицает, сожалеет о том, что было, строит целую философию в опровержение. Но я не хочу ни того, ни другого. Я не хочу обсуждать ничего из того, к чему имею отношение или касательство: ни еврейский вопрос, ни вопросы нигилизма и славянского смирения, ни расхожие представления об искусстве, ни рев<олюцию>, ни контррев<олюцию>, ни свои увлечения юности, женитбы, привязанности. Все мои предубеждения всегда были несправедливы и такими же остались. Во всех своих расхождениях всегда был виноват я, а не мои партнеры или противники. Но хочу ли я и могу ли исправиться? Решительно нет. Это неизбежно и непреодолимо. То баснословно малое, что я собою поистине представляю, я вложил в свои биографические очерки и роман.

Кроме того есть и другие причины, а именно, оскорбительное упоминание близких имен. Вы никогда не поверите, каким я был иногда трусом, невнимательным и безразличным, не думающим о последствиях. Такова была моя первая



женитьба. Я вступил в нее не желая, уступив настойчивости брата девушки, с которой у нас было почти невинное знакомство, и ее родителей. Если бы они знали, как восставала против этого моя совесть, если бы они догадывались, как, давая свое согласие, я обдумывал уже, как нарушу свои обещания и обязательства, как обману их вскорости, они бы удержались от неприкрытой настойчивости. Это были совсем простые и наивные люди, в тысячу раз лучше и честнее меня, но более далекого и неизвестного мне до тех пор круга, с которым у меня не было ничего общего и который меня подавлял и удручал. Этот обман длился восемь лет. От этих отношений, которые не были ни глубокой любовью, ни увлекающей страстью, родился ребенок, мальчик.

У меня есть теория. Красота есть отпечаток правды чувства, след его силы и искренности. Некрасивый ребенок — следствие отцовского преступления, притворства или терпения взамен естественной привязанности и страстной, ревнивой нежности. Чувство несправедливости и боли оттого, что не я, виновник, а мой старший сын, не повинный в преступлении, обезображен веснушками и розовой кожей.

Представляется удобный случай ускорить прибытие письма. Ваша помощь была так своевременна и велика! Я не нахожу слов, чтобы Вас отблагодарить. Как только смогу, продолжу эту беседу в новом письме и на другие темы. Госпожа Дурова меня очаровала, передайте ей самый сердечный привет.

В словах о старшем сыне прорывается горькое чувство вины перед ним, не оставившее Пастернака всю жизнь. По-видимому, эта горечь психологически объяснима тем, что сын в это время жил вместе с ним и отец мог близко наблюдать его. После многих лет разлуки и нерегулярных встреч — из них восемь лет гарнизонной службы в провинции — сын снова, как в детстве, оказался с отцом под одной крышей. И как в те годы, опять прорвался в письмах тайный болезненный комплекс, и как тогда — страданием по поводу его веснушек.

В начале 20-х годов Евгения Владимировна Пастернак тоже считала свой брак недолговечным. Она назвала сына своим именем, объясняя это неуверенностью в том, что она надолго останется Женой Пастернак. Ей хотелось, чтобы был Женя Пастернак настоящий. Счастливые моменты их совместной жизни чередовались мучительной невозможностью совмещать семейную жизнь и занятия искусством. Одаренная художница и гениальный поэт, равно нуждавшиеся в условиях для своей работы, не умели сохранить семью.

«Тогда у меня была семья,— вспоминал об этом Пастернак в 1931 году.— Преступным образом я завел то, к чему у меня нет достаточных данных, и вовлек в эту попытку другую жизнь и вместе с ней дал начало третьей» (Послесловие к «Охранной грамоте»).

*21 сентября 1959.*

Дорогая Жаклин, кажется, я написал Вам несколько писем месяца два назад. Получили ли Вы их? Я не жалею о Ваше молчание и несколько не упрекаю Вас, напротив, не принуждайте себя, пожалуйста, писать мне раньше, чем Вы сами бы это сделали, без всякой записки от меня.

Но когда Вы будете готовы написать мне несколько строк легко и без ощущения, что теряешь время, объясните мне поточнее одну вещь. Почти одновременно с тем, как Вы так меня обязали своей большой помощью, за которую я не устаю Вас благодарить, я получил два письма и телеграмму с благодарностью от трех человек, безумно обрадовавшихся и благодарных за сообщение, полученное от Вас, о наших будущих подарках. Эти трое (в Германии, Англии и Дании) остались единственными до сих пор. Я вовсе не хочу сказать, что это плохо, что нужно было делать все сразу и без остановок, ничего подобного. Но, вероятно, я ошибаюсь или ошибался, преждевременно успокоившись по поводу Ваших разногласий с Ф<ельтринелли>, а Вы еще не помирились, как мне верилось и я был так счастлив от этого предположения. Какое несчастье, если это не так!

Скажу Вам откровенно и ничего не преувеличивая. Ваши бесконечные неприятности из-за меня — одно из двух зол, которые меня огорчают в моей сказочно незаслуженной, завидной и радостной в остальном участи.

Другая рана — это видеть З<ину> огорченной сплетнями кумушек об О<льге>. Я никогда не жалел Ольгу, как не сочувствовал самому себе. Но я не могу видеть З<ину> в слезах, которые она молчаливо пытается сдержать или скрыть, когда случайное огорчение внезапно старит ее в минуту печали, я не



могу видеть эту прекрасную голову, склоненную в безутешности. Она мне как дочь, как мой последний ребенок. Я ее люблю, как ее любила бы ее мать, скончавшаяся в незапамятные времена. Но жизнь сложилась сама собой, как пример двоядушия, допущенного и терпимого без больших, намеренно сделанных ошибок, и ничего тут не переделаешь.

Переиздадут Фауста. Я подписал договор. Это покроет многочисленные расходы последних месяцев.

Я, кажется, уже жаловался, что слишком мало работаю, не больше двух часов в день. Все же я работаю над замыслом, который охватывает некоторую протяженность действительности (воображаемого прошлого), достаточно богатую, широкую и разветвленную и в то же время достаточно устойчивую саму по себе, чтобы можно было верить в осуществление и жизнеспособность замысла, как это было с моими последними работами. Не важно, что это будет, литературная трагедия или пьеса для театра. Важно, чтобы была схвачена жизнь в драматической или какой-нибудь другой форме, но достаточно живая и покоряющая. Я возьму на себя труд предстать достойным Вашего доверия и не опозорить Вас, Элен и других самых близких из моих друзей.

Всегда Ваш, мысленно преданный Вам, с самыми сердечными пожеланиями.

Б.

Приняли ли куда-нибудь Шопена? Ст. Спендер, английский поэт, занимается этим в Лондоне и, может быть, поместит его в Encounter.

Как Вы мне дороги, Жаклин, Вы и вы все! А Ваши русские издания? Кто их когда-нибудь мне покажет?

Пьеса, о работе над которой идет речь, вскоре получила название «Слепая красавица». Она была посвящена времени крестьянских реформ 1860-х годов. Первые сохранившиеся наброски датированы июлем 1959 года. Ее основной темой должна была стать судьба талантливого человека при крепостном праве. Смерть оборвала работу над пьесой, она осталась незавершенной.

23 октября Жаклин писала Пастернаку, прося прощения, что долго не отвечала на письмо от 21 сентября, так ее обрадовавшее. Она надеялась, что издание «Фауста» не слишком его обременяет. Писала, что переводит статью о Шопене и начала писать также книгу для Галлимара. Фельтринелли отказывается внести поправки в русское издание, поэтому Жаклин не хочет присылать Пастернаку этот текст. Вышло еще одно русское пиратское издание на тонкой бумаге («Société d'Édition et d'Impression Mondiale», 1959). Но она узнала о нем только тогда, когда все уже было сделано.

Для того чтобы получить место в университете Пуатье, она должна написать диссертацию. Тогда она будет гораздо свободней.

5 ноября 1959.

Дорогой друг, передо мной Ваше письмо от 23 октября. Я желаю Вам полной и заслуженной победы в Пуатье. Вы удивитесь и даже, может быть, возмутитесь, не найдя в письме ничего важного по поводу дел. Ах, милое, милое создание, которое я сделал таким несчастным, дайте волю, пусть все идет своим чередом, не причиняйте столько беспокойств себе и своему мужу. Я не могу выносить, чтобы Вы с ним теряли из-за меня бездну времени, множество дней и часов, чтобы Вы посвящали этому бумажному царству всю жизнь!! Пусть все погибнет, пропади все пропадом.

Вы удивитесь еще больше, прочтя следующее. Я вынужден был отложить работу над пьесой. Нужно было заработать много денег в очень короткий срок. Я принял участие в издании избранных драм Кальдерона и за три недели сделал перевод Стойкого принца. Сегодня я его закончил.

Но «Слепая красавица» (таково предварительное название пьесы) — единственная вещь, которую мы (мы с Вами и все другие члены нашего тесного круга), которую мы должны осуществить, чтобы заполнить новым смыслом и свежим содержанием зияющую пустоту моей репутации и доброго имени, — это единственно важное, чего от нас хотят, то, что требуется.

И на этот раз больше ничего. Уже поздно, пора ложиться. Спокойной ночи. Всеми мыслями с Вами, преданный Вам

Б. П.

Я поблагодарил Вас телеграммой за Ваши милые подарки. Я не гожусь, чтобы судить о современном рисунке. Но мне кажется, что в книге я нашел иллюстра-

ции, выполненные в манере (или даже с мастерством) Энгра или Шассеррио, это может показаться странным и старомодным. Алексеев отразил именно дух книги. Все, что было сложного или таинственного (например, сон в главе «Против дома с фигурами»), схвачено и выполнено чудесно. Он делает гравюры даже из дыхания, из построения фразы, как, например, в трех двойных иллюстрациях в начале: *или и или и пели вечную память...* Он мне напомнил обо всем, что было русского и трагического в нашей истории, что я забыл и недооценил. Что говорят об этом издании?

Пастернак получил иллюстрированное издание «Доктора Живаго» с дарственной надписью: «Борису Пастернаку этот первый отпечатанный экземпляр как свидетельство восхищения и любви. По поручению и от имени издателя, иллюстраторов, переводчиков *Жаклин де Пруайяр*. Париж, 16 октября 1959». Книга большого формата, чудо полиграфического искусства, специальная тонкая бумага позволила печатать рисунки, выполненные в изобретенной Алексеевым графической технике, сериями, на обеих сторонах листа и на обороте текста. Достигнута передача движения, близкая к замедленной киносъемке. Алексеев сосредоточился на ключевых сценах повествования.

14 ноября 1959.

Дорогая Жаклин, я не согласен с О<льгой>, которая считает, что нужно ограничить мою переписку тем путем, каким я пользуюсь сейчас. Напротив, я не представляю, что из того, что я Вам рассказываю или спрашиваю под покровом ночи, не мог бы я доверить ясному дню обычной почты. У тайного обмена письмами есть еще одна черта. Мы ждем неслыханных откровений, рассчитываем на бездны, на то, что земля разверзнется и покажет свои недра. И не находя этого, мы огорчаемся.

Все постепенно признали, что большинство иллюстраций удачны. В них в избытке души и выразительности. Они глубоко волнуют.

Возникло несколько предложений помощи из Италии (но не от Ф<ельтринне>лли), и складывается благоприятная ситуация для того, чтобы ее принять, но совсем в другой комбинации, поэтому я написал Фельтринелли неделю назад, 5-го или 6-го числа, по-немецки — письмо пойдет через руки Х<айнца> Ш<еве>. Я просил его установить способ помощи, который при постоянном использовании не исчерпал бы (в итоге) более десятой части общей суммы. Если его устроит такое условие, пусть он посылает нам каждые три месяца, четыре раза в год (он уже это делал) примерно такие же суммы, как летом мне была передана от Вас милой кавалерист-девицей Д<уровой>.

Вечером пришли Ваши десять тысяч (в первый раз их было двадцать, пять тысяч — в следующий раз и теперь десять). Как это было снова кстати! А утром этого же дня было передано письмо Х<айнцу>. Но если бы я знал утром, что нас ждет, я не стал бы писать письмо Ф<ельтринелли>.

(Постепенно у меня возникают подозрения, что деньги, которые Вы мне так часто и много посылаете, ничего общего не имеют с Ф<ельтринелли>. Что источником этих сумм, может быть, является г-н Галлимар, любезно сохранивший их для меня. Но это слишком много. Количество присланных Вами денег превосходит все проценты.)

В своем письме Фельтринелли я выражал удивление, что мои пожелания по поводу денежных подарков еще не выполнены. Я знаю, что он — единственное этому препятствие. Но вежливость заставила меня сказать это несколько по-другому. Затяжку с исполнением я объяснял Вашей якобы неопытностью. И я выражал ему великое удивление, что в таком случае он со своим практическим умом не предлагает Вам свою помощь и совет. Также я обещал ему право пользования будущей пьесой, рукопись которой, когда она будет закончена, он сможет получить только из Ваших рук, после Вашего критического просмотра. На этот раз по моей предварительной просьбе Вы подпишете с ним контракт на условиях, которые Вам подойдут. И не забудьте моего желания и намерений: соглашаться с его планами и замыслами, ничего не бояться за меня в его предприятиях и не быть слишком щепетильной.

Еще рано говорить об этом, и всякое суеверие восстает против таких преждевременных мечтаний, но если Богу будет угодно и я доживу до того времени, когда окончу пьесу, и если я ее кончу, тогда нам предстоит обширное поле деятельности, предприимчивости, новых знакомств и отношений еще более широкого охвата, чем это было в случае Доктора (потому что эта работа

подготовлена и предвосхищена романом и к тому же это сценическая вещь, которую захотят исполнять и которую уже начали просить разные театры и театральные общества Скандинавии, Германии и т.д.). Легко предвидеть, что на этот раз поле деятельности более сложной и захватывающей, чем раньше, развернется и осуществится только на Западе (как страстно я желаю этого, как мечтаю об этом!). И на этот раз Вы с самого начала будете сердцем этого деятельного мира. И было бы так естественно, чтобы исполнителем и организатором всех этих возможностей, разносторонних или сосредоточенных в одном месте, снова стал Фельтринелли. Но если он хочет окончательно порвать с Вами, тогда Вы будете вести переговоры с Галлимаром или Коллинзом и на кого-нибудь из них опираться в своем циркулярном списке инициаторов изданий во всем мире и их осуществлений и т.д.

Я этого не хочу, но разрыв Фельтринелли с нами в этом случае будет всего лишь большим несчастьем, которым я буду подавлен и которого я опасуюсь. Больше мне бояться нечего. Его благородство спасло меня от всех опасностей. Но даже если бы это был не он, а другой, не Фельтринелли, а только его имя, прочитанное наоборот, если бы он был чудовищем, мерзавцем, если бы стало возможным, чтобы этот другой предал гласности все наши старые секреты, забрал все деньги и отказался бы их выдать... я ничего этого не боюсь, настолько я уже на пороге зарождающейся действительности и полного освобождения от Доктора и всех связанных с ним дел (не в смысле отречения от него, наоборот, в смысле замещения его произведением, которое продолжит его и углубит).

Я хотел сказать Вам два слова о пьесе, но время меня торопит и я сокращаю и кончу письмом.

Итак я снова возвращаюсь к Фельтринелли. Пусть он оценит мое уважение и дружбу. Даже в случае разрыва я хочу, когда умру, чтобы он выкупил, пусть даже за большие деньги, мое тело у советской власти и похоронил в Милане. А *Ольга* отправится хранительницей могилы. Чего Вы смеетесь, — таково мое завещание?

Я счастлив, что Вы в неведении об истинной силе моей Вам преданности.

*Б. Пастернак.*

Тысяча благодарностей Даниэлю за его драгоценные заботы и письмо. Не пишите длинных писем и отчетов. Будьте покладистой и сговорчивой с Ф<ельтринелли>. Пусть Ж<иваго> перелицовывают, унижают, опошляют, пусть его топчут и пачкают на улицах и бульварах. Ну и что? Не все ли равно? Не страдайте из-за этого! Но это восклицание в приписке — не официальное предписание. Я никогда ничем не свяжу Вашей свободы доверенного лица.

В спешке, не перечитав, передаю письмо. Мои ошибки, противоречия, пропуски!!!

В конце октября в Москву приехал немецкий корреспондент газеты «Die Welt» Хайнц Шеве. Он привез О.В.Ивинской подарки и письма от Фельтринелли, у нее в гостях он встретился с Пастернаком. Он преподносил желание Фельтринелли получить неограниченное право издания Пастернака как идеальный план всеобщего процветания и полного освобождения от всех издательских забот. Письма Жоржа Нива к Жаклин де Пруайяр этого времени передают содержание разговоров Шеве с Пастернаком, в которых вполне отчетливо звучала угроза предать огласке «компрометирующие» документы в случае, если Пастернак не пойдет на условия Фельтринелли. Он сообщил также о намерении Фельтринелли приехать в Москву с делегацией. В своей книге «Pasternak — privat» («Пастернак в частной жизни»), изданной в 1974 году, Шеве, к сожалению, ничего не пишет о содержании своих разговоров с Пастернаком, ограничиваясь комплиментами кулинарным способностям О. В. Ивинской.

11—12 ноября 1959 года Жаклин де Пруайяр послала Пастернаку свой перевод статьи о Шопене. Она предупреждала, что работа еще не окончена, язык перевода еще слишком тяжел, но она хочет увериться, что все правильно поняла. Она не знает, например, что такое 18-й этюд. Никто не мог ей помочь. Она просила Пастернака написать ей несколько слов в пояснение и сказать что-нибудь об истории текста. Она знает только, что статья написана к 135-летию Шопена. Но была ли она тогда напечатана и где?

Через неделю, 20 ноября, Жаклин писала Пастернаку о приглашении на Международную конференцию, посвященную 50-летию смерти Толстого, которая должна будет состояться в Венеции с 29 июня по 3 июля 1960 года. Устроители надеются, что ему позволят приехать с женой (законной), и для этого в список приглашенных включили Федина. Доклад может быть на любую тему, или просто воспоминания, например о поездке с отцом в Астапово.

Первый день должен быть посвящен докладам на тему: Толстой — живой человек; второй: Толстой-писатель; третий: Толстой-мыслитель. Среди приглашенных писатели: Хаксли (непротравление злу насилием), Я. Нагайли (Толстой и Ганди), Пьер Эмманюэль (Толстой и Стендаль), П. Пригчет (влияние Толстого на европейскую литературу); Кеннан (послание Толстого современному миру). Профессора И. Берлин, Адамович (место Толстого в русской литературе), Чижевский (Толстой и просвещение). Надеются, что будет Камю. Из СССР: Алексеев (Ленинград), Булгаков, Эйзенбаум, Гудзий, Гольденвейзер, Гусев, Ломунов, Никитин, П. С. Попов, Поповкин, Пузин, Родмонов, Федин и Пастернак. Приглашены члены семьи Толстого из СССР.

В следующем письме, 4—5 декабря 1959 года, Жаклин сообщала, что много занята устройством коллоквиума по Толстому. Это идея Сергея Михайловича Толстого и Татьяны Альбертины, дочери Т. Л. Сухотиной-Толстой. Просит передать приглашение Федину, так как, не зная его, не решается ему писать.

Далее Жаклин подробно описывает торжественные церемонии в университете Пуатье, мантии, знамена, цепи. Университет поддерживает отношения с Марбургом, откуда приезжал профессор, сидел до полуночи и очень интересно рассказывал, в частности, о Ломоносове и Пастернаке, учившихся в Марбурге.

Она читает сейчас Мандельштама «О природе слова» и «Заметки о поэзии», встречает упоминания о Пастернаке. Жалест, что нельзя поговорить об этом с ним, узнать его мнение.

22 декабря 1959.

Дорогая Жаклин, это ответ на два Ваши письма (третье было списком опечаток). Скажите Даниэлю, что я крайне тронут его посланием, пусть он простит меня, что благодарю его так поздно. Полин мила необыкновенно, хорошенький, перелестный ангелок!

Я попрошу Гудзюя сообщить Федину о будущем приглашении. Мы прервали отношения, но это несерьезно. Они когда-нибудь возобновятся, когда все изменится в более широких кругах, чем Союз писателей. Я живу только этой надеждой.

Естественно, что я не поеду в Венецию. Не только потому, что невозможность этого сама собой разумеется. Но если бы меня даже «сверху» благословили поехать и рассуждать не важно о чем и неизвестно как, в свое удовольствие, я бы все равно не поехал. Сейчас не тот момент. У меня нет ни времени, ни желания, ни оснований, ни права.

А теперь я Вас сразу удивлю, но, может быть, Вы, Жаклин, меня поймете. Я не могу отделить мысль о Вашей предполагаемой книге от течения своей действительной жизни. Они должны идти в ногу. Отложите Вашу работу, не торопитесь ее писать. Сейчас не время для меня отдыхать, жить за счет достигнутого, описывать это и трактовать, писать воспоминания, фотографировать места, дорожки, любимые, где я когда-то жил. Не время для меня, не время и для автора настолько мне душевно близкого, как Вы.

Мне нужно еще раз сделать теперь мучительное усилие оторваться от земли, сделать рывок вперед, ухватить новый кусок, часть этой загадочной темноты: судьбы, будущего. И, будьте уверены, я это сделаю. Потом, когда пьеса будет окончена, можно будет вздохнуть, заняться воспоминаниями, комментариями.

Как Вы опрометчивы и неосторожны! Приступать к неизвестным людям с такими сомнительными материями! А если бы эти люди из Марбурга Вам ответили: Как Вы его назвали? Б. П.? Никогда не слышали. — Такой ответ Вас бы огорчил.

Знакомы ли Вы с Жаком Катто, французским славистом? Уезжая из Москвы, он написал мне письмо на прекрасном, блестящем русском языке. К несчастью, я не мог ответить ему до его отъезда.

Он прислал мне № 156 (декабрь 1958) «Критического бюллетеня французской книги» с двумя своими заметками о Докторе и Автобиографии. Они очень интересны, справедливы, точны и глубоки. Я хотел бы поблагодарить его от всего сердца. Передайте ему мою искреннюю признательность, если Вам удастся его разыскать.

Его интересовало фантастическое в творчестве Андрея Белого, и он просил написать ему несколько строк. Это тема его научной статьи. Если бы у меня было время, я сказал бы ему примерно следующее.

Я никогда не любил и не понимал (и даже не верю в его существование) фантастическое, романтическое само по себе, как независимую область, так называемую причудливую, например, Гофмана или Карло Гоцци. Для меня искусство — это наваждение, художник — одержимый, человек, увлеченный, захваченный *действительностью*, ежедневным существованием, которое своей горячей и одухотворенной восприимчивостью представляется невероятной сказ-

кой именно присутствием в ней прозы, совершенно обнаженной, повседневной, привычной и обыкновенной.

Если бы можно было наделить даром речи дороги, леса, русскую землю второй половины девятнадцатого столетия, — их языком, языком камней, волков и сосен был бы язык Л. Толстого. Если бы зимнее ночное небо большого города, как С. Петербург, покрытое клубами черного и немого фабричного дыма, можно было бы перевести в звуки и значения, — мне нет нужды говорить, Вы сами догадаетесь, — мы узнали бы «инципит» многих произведений Достоевского.

К 1900 году поэтическим ключом, звуковым ключом городской достоверности С.-Петербурга (скопления домов и людей, уличного шума, движения) была поэзия Блока, а Москвы — проза Андрея Белого.

История любви к зимней русской столице, долгий молчаливый роман Блока с большим и таинственным городом — это не просто существенный момент его биографии. Это ответ всей его жизни на действительность. Душа этого ответа. Существование было плотным, оглушающим, до предела реальным. Надо было отвечать на него восприимчивостью предельного вдохновения. Легендарное и химерическое в его поэзии не было особенностью веры Блока или его убеждений. Необычное рождалось, росло, развивалось, поскольку жизнь превышала привычное. Неправдоподобие возникало вдогонку действительно пережитому.

Таковы же элементы сверхъестественного и мифологического (или космического) в молодой прозе Белого, в его «Симфониях», «Серебряном голубе», «Петербурге» и даже «Котике Летаеве». Эти элементы были необходимы для изображения действительного хаоса Москвы, какой мы видели ее тогда, в годы раннего детства моего поколения. Последние его произведения (как, например, «Маски») кажутся мне мертвыми и схематичными (так же, как стихи Маяковского, начиная с «Мистерии-Буфф»). Я не люблю такой вычурной прозы, нахожу, что ее невозможно читать, я ее отрицаю.

Надо, наконец, кончить это бесконечное письмо. Прилагаю к нему письмо от испанского издательства. Не найдется ли кто-нибудь у Вас или в издательстве Г<аллима>, кто мог бы из материальной заинтересованности сделать требуемые сокращения французского текста не по примеру «содержаний» или «дайджестов» г-на Мато, но как ряд отдельных отрывков (наиболее удачных) в естественном порядке, не нарушая развития повествования. Делать это, должно быть, невыносимо скучно, я не завидую тому, кто найдет в себе мужество поднять этот груз, но нужно сначала договориться с людьми из Барселоны об оплате.

Только что я получил Ваши милые подарки, книги (скажите Гулю, что его статья обо мне превосходит своей красотой и глубиной все, на что я надеялся и что заслужил), Камю, коробку конфет. Можно я поцелую Вас за это со всей нежностью, на какую способен? Но лучшее, главное — еще впереди — я еще не читал Вашего письма. (Оно оказалось в конверте с Шопеном.)

Я столько хочу Вам сказать! Если бы я только смог довести до конца пьесу, я изнемогаю под растущим бременем вещей и дел, так часто мешающих работе! Все это (духовные связи с целым миром) пришло так поздно!

Этот год, или лучше сказать, зима 1959—1960, судя по отзвукам и дискуссиям, протекает под знаком поэзии и стихов, тогда как прошлый год был занят прозой. Я всегда думал, что появление моих стихов в переводе станет моим литературным концом. Но что меня удивляет, в англоязычном мире их принимают с симпатией и снисхождением.

Один индийский писатель, некий Прафулла, просит меня написать предисловие к Квазимодо, которого хочет издать, как в прошлом году хотел издавать меня. Я ничего ему не ответил, но мог бы подкрепить свой отказ тем простым фактом, что ничего не знаю о Квазимодо, гораздо меньше, чем он, очевидно, знает обо мне. Потому что, когда вокруг меня бушевала буря, Квазимодо,

находившийся в кремлевской больнице, несомненно имел, должно быть, какие-то соображения, чтобы написать полстранички против меня в духе «Правды» и «Литературной газеты» и т.д. Мне показали этот ругательный отзыв тогда же в ЦК КПСС как доказательство так называемого мнения Запада, которое должно было меня обезоружить. Это не секрет, об этом можно рассказывать, если будет нужно. Теперь я шучу: не только я незаслуженно получил Нобелевскую премию, Квазимодо тоже.

Вы, конечно, догадываетесь о большой дружбе и любви, которую я к Вам питаю и которую не в силах скрыть это несчастное письмо и этот ободраный французский. Но не забывайте, что у Вас есть очень опасная соперница.

Скажите Элен, что я получил ее записку... от полиморфного сверчка. Она обещает мне длинное письмо. Пусть она этого не делает, ни она, ни Вы. Я имею некоторое представление о Вашей загруженности. Я сам тоже нахожусь в подобном положении. Пишите мне очень, очень редко, короткие записки только о делах. Жорж укажет Вам адрес Катто. Шопен последует через две-три недели.

Ваш крест и проклятье

Б.

Это письмо по просьбе Пастернака переслал Жорж Нива, находившийся зиму на стажировке в Московском университете. Он собирался посвятить свою диссертацию творчеству Андрея Белого, и Пастернак дал ему прочесть то, что он написал о Белом для Жака Катто. Жак Катто, студент коллежа Сен-Клу, писал в это время диплом о фантастическом у Гоголя, Достоевского и Белого. Жорж Нива в своей сопроводительной записке от 30 декабря сообщает Жаклин адрес Жака Катто, с которым был хорошо знаком.

В числе подарков, присланных Жаклин, упоминается прекрасная статья Романа Гуля «Победа Пастернака», опубликованная в «Новом журнале» (1958, № 55), которая очень понравилась Пастернаку.

В бумагах Пастернака сохранилось несколько писем, с разными издательскими предложениями, от Прафуллы Чандра Даса, издавшего «Доктора Живаго» в Индии на языке ориа. Переписка завязалась благодаря посредничеству И.Эренбурга. Желание индийского издателя опубликовать отзыв Пастернака на присуждение Квазимодо Нобелевской премии 1959 года осталось без ответа.

В письме от 5 января 1960 года Жаклин де Пруайяр поздравляла Пастернака с Новым годом и писала о страшном впечатлении, которое произвела на нее гибель А. Камю. Автомобильная катастрофа произошла оттого, что человек слишком доверял машине: лопнула шина на скорости в сто сорок километров. Теоретик абсурда нашел абсурдную смерть. Таково подтверждение пословицы «как жил, так и умер». Но при этом если мысль Камю была занята абсурдом заблудившегося мира, его жизнь не была абсурдной. Она была стремлением к правде, и он был благородным человеком. Жаклин писала, что сама она иначе, чем Камю, воспринимает мир, но любила страстные поиски этого человека. Может быть он наконец нашел мир вечного покоя, немеркнущий свет, он, который так любил светлое небо Средиземноморья. Она жалеет, что не была с ним лично знакома. Он писал ей, рассчитывая поставить пьесу Пастернака. Не желая зря отнимать его время, она ждала, надеясь узнать больше о пьесе и ходе работы над ней. Они должны были встретиться в январе, она хотела уговорить его приехать в Венецию. Он так восхищался Толстым. И вот случилось непоправимое. Камю, как каждую зиму, уехал к светлому небу, которое так любил. Но теперь ему не суждено вернуться, абсурд останется еще надолго. Это очень грустно.

Жаклин занимается анализом «Доктора Живаго» для книги у Галлимара. Это ее очень заботит. Перечитывая роман, она всякий раз делает новые открытия. Она думает совсем не в том направлении, как Уилсон, но то, как построено произведение, ее поражает, она исписывает много бумаги, надеясь, что кипение выльется в форму. Постоянно ждет от Пастернака обещанных писем о философии. Получила только одно — о реализме и символизме, то есть ответ Уилсону.

На конверте этого письма надпись рукою Пастернака: «Отвечено 21.I.60».

Через три дня, 8 января, пришло длинное письмо Пастернака о Белом и Блоке, и Жаклин вспомнила, что в первый день их знакомства, когда она приезжала в Переделкино, Пастернак тоже говорил о Блоке и Белом, об особенностях их символизма, которые он хотел раскрыть. Но не может вспомнить теперь, что он говорил тогда на эту тему. Надеется, что он расскажет это Жоржу Нива. Отослала Катто выдержки из письма.

Забавно, что Пастернака удивила решительность, с которой она остановила профессора из Марбурга. Здесь не было риска. Всемирный дух литературы существует реально. И неужели Пастернак думает, что он не оказал влияния на души людей? Даже на провинциальной почте, когда она получает его письма, его имя заставляет людей спрашивать, от того ли они великого писателя, который...

Квизимодо своей статьей вызвал презрение. Не зная условий советской реальности, в которых живет Пастернак, люди не могут представить себе последствий исключения из Союза писателей. Вкус к мелодраме заставляет их хотеть, чтобы Пастернака сослали в Сибирь. Они разочарованы тем, что он живет у себя дома. Считают, что он получает много денег из разных издательств, так же как это было бы здесь.

По поводу испанского письма — перевод сделан с русского издания Фельтринелли, с его ошибками. Она не может сама сделать для них подборку отрывков, с юридической стороны это монополия Фельтринелли.

Писала г-же Камю от имени Пастернака. Бедный Камю, он ненавидел быструю езду и всегда ездил из деревни в Париж на поезде.

*17 января 1960.*

Дорогая Жаклин, я люблю Вас, это главное, и пока я жив, это никогда не переменится... Пишу на грани слез. Спасибо за все. За то, что Вы тактично позаботились упомянуть меня в письме с соболезнованиями г-же Камю. Спасибо, мой милый ангел. Это очень тяжелая потеря для меня, крушение одной из самых прекрасных надежд. Я так мечтал, что смогу когда-нибудь познакомиться с ним в Париже. Странно, но я всегда представлял себе нашу беседу втроем с Вами.

Прибыл список опечаток. Не удивляйтесь, что я ничего о нем не пишу, кроме благодарности за тот невообразимый труд отыскать их и перечислить, который Вы взяли на себя. Мне надо столько еще Вам сказать!

Не будем терять времени, обойдем молчанием испанцев, доброго Риви, Мато Невыносимого и т.д. Кроме Родионова (очень милый человек, друг или муж вдовы Пришвина), который тоже не сможет приехать в Венецию, — все остальные в этом случае странно себя ведут, демонстрируя поддержку советской морали. Бесконечно повторяемая нелепость в силу привычки приобретает в конце концов мнимую видимость смысла. — «Юбилей Т<олстого>о в Венеции? Как так? Может ли быть, чтобы кто-нибудь принял в нем участие? Это же внука Т<олстого>, Т<атьяна> А<льбертини>!» (Как будто это имя отъявленного разбойника или известной развратницы!) В возмещение передайте госпоже А<льбертини> мое восхищение. Предположение, что она могла слышать мое имя или как-то осведомлена о моем существовании, преисполняет меня естественной и простительной гордостью.

Меня посетил один профессор индийской философии из Бостона. У меня не хватило сил указать ему в нескольких автографах для разных лиц — почти продиктованных им банальностей, например, что весь мир должен объединиться в любви к Богу или что я питаю надежду съездить когда-нибудь в Индию и т.д. Внезапно я взбунтовался против гипнотизирующего действия общих мест. «Я полная противоположность тому, что Вы заставляете меня писать. Я не моралист, не примиритель, не человеколюбец, может быть, я даже безнравственный человек и не гуманный. Дела милосердия значат для меня много, но дела гения больше, если не все, на мой взгляд», — сказал я ему на своем плохом английском. Я Вам это рассказываю, чтобы заметить, что из всех современных теологов-моралистов, вроде Альб. Швейцера, например, из всех этих прекрасных душ (действительно прекрасных), самый значительный, близкий и родной для меня — Пьер Тейяр де Шарден, чьи книги я получил от Вас больше года тому назад. Но до сих пор это еще полу-знакомство для меня, поверхностное, как все остальное, и почерпнуто, не знаю откуда, может быть, из иностранных статей, чужих мнений или немецких или английских цитат. И я не понимаю, когда приступлю к сколько-нибудь основательному чтению.

И наконец, самый главный и единственно важный пункт. Ф<ельтринелли> хочет и настаивает, чтобы я уступил ему всего себя, все свое прошлое и будущее, чтобы я ему передал все права на все, относящееся ко мне, во всех формах без исключения.

Вы должны были бы об этом уже узнать от Жоржа, который послал Вам копию договора, который я подписал без колебаний, убежденный содержанием 13-го пункта. Я представил Жоржу мои доводы и соображения, чтобы объяснить странную, обескураживающую легкость своего поступка. Я надеюсь, он Вам тоже объяснит это. Немного дальше я воспроизведу также свои соображения, в той части письма, которая только обо мне самом. Но подписывая бумагу, я упустил одну подробность. Он предлагает датировать ее более ранним числом, в соответствии с договором 30 июня 1956 года, что придаст этому документу вид



приложения, сделанного одновременно, и давнего дополнения к главному договору. Эта неправильная датировка, как и всё остальное, во многих отношениях меня устраивает, как Вы увидите дальше. Даже и сейчас, после того, как Жорж заметил эту воображаемую возможность, я не могу себе представить, чтобы Фельтринелли оказался таким наглецом и, пользуясь ложной датировкой, узурпировал все, что Вы сделали за три последних года. Но теоретически я должен был бы предвидеть эту возможность, и то, что я этого не сделал и поторопился согласиться, — моя ошибка и вина по отношению к Вам. Требуемую формальность надо было урегулировать и обговорить между вами обоими, между ним и Вами, до того, как он мне это предложил. Он мог мне предложить этот план видоизменения наших отношений только лишь с Вашего одобрения и при вашем обоюдном согласии. В прилагаемом письме к нему, которое пройдет через Ваши руки, я возражаю именно против этого и прошу это исправить.

Жаклин, мне так мало осталось жить! Во всяком случае все это происходит не в начале жизни. Кроме того, Жорж мог бы, если бы захотел, описать Вам замаскированную зависимость, в которой тайная полиция (М.Г.Б.) постоянно нас держит (меня и всю семью О<льги>, ее сына, дочь и ее саму, как бы заложников), все время шпионя и следя, судя по собственным открытым и бесстыдным признаниям этого учреждения. А тайны моей переписки! И т.д. и т.п.

Позвольте, я буду говорить не «я», но «мы», имея в виду нас с Вами или Вас и всех нас. Итак, у нас не хватает времени вести мои литературные дела достаточно серьезно и благородным образом во всех частностях и деталях, со всем множеством различных договаривающихся и заинтересованных лиц, я, лишенный права сказать хотя бы слово об этих делах (здесь), и Вы, не имея для этого ни необходимого времени, ни конторы или учреждения с кучей служащих, обязательных для работы в таких масштабах. Я предвижу, какие доводы Вы мне приведете, Вы и Даниэль. Как если бы я жил в нормальное время, в обществе, уважающем законы, был бы молодым, свободным и сильным, располагал временем, правом и мог поступать, как мне хочется, размеренно и с удобством! Будем искренни. Могли ли мы сколько-нибудь рассчитывать зимой 57-го в маленькой комнатке в П<еределкине> на то, что получится и выйдет из наших скромных замыслов с Вашей драгоценной литературной и дружеской помощью. Не поймите меня превратно. Я не настолько глуп, чтобы говорить, что тогда мы сделали слишком мало для меня, что я оказался крупнее, чем думал. Нет, нет и нет. Никойм образом. Но мы недооценили сложности момента, времени, не только очевидной внешнеполитической, но сложности тайной жизни большинства современников, мы никак не подозревали, что необдуманый и детский шаг наш заденет нерв общей трагедии. И теперь ни я, ни Вы не можем справиться с громадностью этих последствий, даже благотворных, счастливых и высоких. Что теперь делать? Повеситься мне что ли из-за этого? Или Вам меня проклясть и порвать со мной, обидевшись на мой предложение?

Нужно поделить эту область деятельности на две части, направленные к двум противоположным полюсам. Чтобы все конкретное, практическое, предпринимательское, все права полной инициативы и начинаний и т.д. перешли и были переданы ему, Ф<ельтринелли>, как он это имеет в виду в своем договоре (но пусть для Вашей и общей безопасности он продатирует это более ранним числом). Затем надо, чтобы Вы смирились с тем, что Ваша деятельность будет сведена к чисто пассивной роли человека (очень важной), перед которым отчитываются и в распоряжение которого передают деньги, предназначенные к выплате, — роли моего собственного доверенного лица. Мне хотелось бы сохранить за Вами совещательный голос. Пусть он не будет безапелляционно решающим для Ф., но, если Вы позволите и у него хватит ума, он может им воспользоваться во имя всемирного духа литературы, как Вы это называете. (Поскольку, если мне дано будет время окончить пьесу, что бы там ни было, но Вы первая будете ее читать.)

Не удивляйтесь, — это мое желание, а не только настойчивость Ф<ельтринелли>. И почему его не осуществить? С Ваших плеч спадет и будет снят, наконец, весь тяжкий груз забот и разнообразных дел, писем, разного рода раздражающих просьб. Вам останется только отправлять их в Милан, не читая и тем более не отвечая. Будьте искренни. Разве не пугала Вас при Вашей чрезмерной занятости хотя бы величина моих писем? А с другой стороны, даже если предположить невозможное, что Вы имели бы несчастье и глупость посвятить этому Доктору Живаго все: призвание, дела, свободу, дом, семью, — будете



ли Вы в состоянии охватить весь круг соображений и бесконечных неотвязных вопросов? Ну что ж, давайте уступим. Будет лучше, чтобы все это делал он сам. Повторяю, таково мое желание. Но не настойчивая просьба или требование. Пусть Ваше слово (в том, что касается меня) будет последним. Но не стоит тогда что-то говорить мне или советовать, этого окажется недостаточно. И есть ли у Вас реальный способ все переделать, перестроить всю систему и создать новый механизм, который будет действовать, играть, ворочать, функционировать и творить чудеса, как это делает он. Ну что ж, тогда смолчим и смиримся.

Вы или Даниэль будете говорить мне, что он ведет себя низко по отношению ко мне, зачеркивая или решаясь зачеркивать чистейшую сущность моего «я», ту, которая была ему самому так полезна. Как будто я спорю с Вами. Но не это интересно. Гораздо интереснее, как Вы сумеете своими силами предотвратить действие его низких поступков. Для нас недостаточно быть правыми. Надо добиться успеха.

Может быть, Даниэль скажет и будет прав, что я полностью продаюсь в рабство к Ф<ельтринелли>. Но что вы знаете о рабстве?! Если бы я мог решать, я согласился бы зависеть от Ф<ельтринелли> в тысячу раз больше, лишь бы не быть вечным рабом Н<икиты> Х<рущева>!

Вероятно, на этот раз хватит этого пятитомного письма. Вашего Шопена я держу как любимого ребенка, откладывая со дня на день тот момент, когда смогу его расспросить, приласкать и выслушать. В этом письме между нами встает еще одно из неисчислимых и явных препятствий, которые мешают нашей встрече.

Недостойный Вас и обожающий Вас и всю Вашу семью

Ваш *Б. Пастернак.*

Упомянутый в начале письма профессор Бостонского университета Амиль Чакраварти некоторое время был секретарем Рабиндраната Тагора. По дороге из Дели в Америку 28 декабря 1959 года он навестил Пастернака в Переделкине. По его словам, Пастернак говорил о близости смерти и о том, что без веры в Христа не вынес бы ее ожидания. Свои впечатления от знакомства Чакраварти опубликовал в статье «Pasternak: the poet of Humanity» («Indian Literature», N. Delhi, 1960, v.3, № 2; «Пастернак: поэт человечности»). Пастернак написал ему три письма, в одном из них идет речь о его отношении к Тейяру де Шардену, известному французскому богослову, книги которого «Le phénomène humain» («Феномен человека») и «Le Milieu Divin» («Божественная среда») Пастернаку подарила Жаклин де Пруайяр (см.: Е. Б. Рашковский, «Пастернак и Тейяр де Шарден». — «Вопросы философии», 1990, № 8).

Из писем Жоржа Нива к Жаклин вырисовывается страшная картина регулярных вызовов Ольги Всеволодовны Ивинской в МГБ то по поводу ее сына Мити, то по поводу знакомства ее дочери Ирины с Жоржем и ее переписки с ним и с Гердом Руте. Ивинской показали целую связку задержанных писем к Ирине из-за границы и велели «следить за дочерью». «На Вас с Б. Л. махнули рукой, — сказали ей. — Вы старики, но она — молодая девушка» (письмо 12 октября 1959 года).

20 января 1960.

Маленький голубой пост скриптум (я еще не насытился!).

Передайте письмо Фельтринелли, даже в том случае, если найдете его неудачным. Может быть, Вы сопроводите его своей припиской, смягчающей невежливость непрямой пересылки и сухость тона.

Оба письма (Вам и Ф<ельтринелли>) пестрят ошибками и следами невнимательности. Я их не перечитываю, у меня нет на это сил.

Надо заключить договор как можно быстрее, без промедления, чтобы это больше нас не давило. Это может быть полезно для всех нас. Нужно, чтобы он был заключен в самой подходящей форме, наиболее доходной также и для Вас, пусть он освободит Вас и поддержит материально на будущее, когда мне понадобится Ваша помощь шире и глубже, чем прежде. Если Вы не станете владелицей авторских прав и единственной и высшей распорядительницей гонораров, уполномоченной изыскивать и вкладывать средства и принимать все возможные меры, я со своей стороны попрошу, чтобы он сократил мои проценты, например, с пятнадцати до двенадцати и выплачивал Вам три. Но оговорите с ним откровенно Ваши денежные вопросы, без стеснения, согласно моей воле и уступая моим настояниям, на какой угодно основе и даже в ущерб мне, если нельзя иначе.

Шопен последует со следующей почтой, вероятно, в течение недели.

Представьте, как все это важно и благоприятно. Мы можем освободить его от нашей опеки. У него есть полное право этого желать. Новое положение дел ничем нам не повредит и будет для нас спасением. Не позволяйте, чтобы детали и частности, пусть справедливые, но незначительные в сравнении с будущим подъемом, который сулит нам только успех и радость, но для которого недостаточно одних нас с Вами,— не позволяйте, чтобы детали затмевали Вам зрение и скрывали главное, нужное, необходимое и неизбежное.

Только что пришло Ваше письмо от 5 января из Пуатье. Я передаю Жоржу эту записку, не прочитав письмо, только распечатав конверт.

Жорж Нива по просьбе Пастернака переслал Жаклин также и письмо к Фельтринелли для ознакомления. Приводим отрывки:

«20 января 1960.

Дорогой друг!

Я узнал о Вашем новом плане расширения авторских прав путем сосредоточения моих литературных дел в Ваших руках с полным правом на все то, что я написал и напишу в будущем. Я с этим согласен. Я был готов подписать договор. Я его даже подписал, когда внезапно наткнулся на неожиданность.

Я согласен с Вашей мыслью подписать договор задним числом и оформить его как дополнение. Я полностью этому сочувствую. Мне не нужно Ваших возражений, я очень хорошо знаю сам, что Вы никогда не воспользуетесь запрещенными приемами. Но не может ли так случиться, что когда-нибудь без Вашего ведома и против Вашей воли возникнут опасные следствия этой неправильной датировки для ряда лиц и документов, составленных в течение 4-х лет, которые прошли с того числа, которым якобы подписан договор, и до настоящего времени. В первую очередь, для г-жи де Пруайяр...»

Далее Пастернак просил, прежде чем давать ему на подпись договор, уладить с нею самой все старые вопросы в соответствии с совершенно новой концепцией. Дать ей гарантии против всякого ложного использования дополнительных условий. Сделать, чтобы новые предложения оказались бы допустимыми и желательными для г-жи де Пруайяр как его друга и доверенного лица. Но так как он не может создать у себя целую контору для того, чтобы получать письма Фельтринелли о всяком конкретном шаге, разбираться в них и отвечать на них («Не следует этим меня беспокоить и мешать мне работать»,— добавлял Пастернак), то всегда в тех важных случаях, когда нужно будет посоветоваться или известить о чем-либо, его заменит г-жа де Пруайяр.

«В качестве такого alter ego,— заканчивал он письмо,— я не знаю никого другого, кроме моей доверенной, моей заместительницы. Я хотел бы от всего сердца, чтобы все двигалось в направлении и согласно смыслу Вашего договора. Помогите мне, чтобы он был заключен. И избавьте меня (не обижайтесь, прошу Вас) от необходимости бросать работу и писать длинные письма.

Весь Ваш

*Борис Пастернак».*

21 января 1960.

Дорогая Жаклин,

спасибо за Ваше удивительно хорошее письмо о смерти Камю, философии абсурда и о нем самом; о Вашей встрече с теми же лыжниками, которые видели Ваше опасное падение.

Не делайте себе муки, разбирая построение Д<октора> Ж<иваго>. Пусть остается без этого. Возможно, в нем отсутствует даже тень какого-либо построения.

И большое, большое спасибо за новые деньги. Прилагаю расписку.

*Б. П.*

Известие о новом договоре и новых требованиях Фельтринелли достигло Жаклин де Пруайяр 22 января 1960 года. Ее страшно взволновало согласие Пастернака подписать договор задним числом. «С этим Вам нельзя соглашаться ни ради Вас самих, ни ради меня, ни ради кого бы то ни было. Это было бы непорядочно,— писала она.— Должна ли я заключить, что

Вы отказываетесь от всего, что я сделала или пыталась сделать для Вас с тех пор, что мы знакомы? В этом случае я должна отказаться от данной мне доверенности...

Если Вы хотите отказать мне в доверии и согласны подписать бумагу задним числом, я Вас прошу о любезности дать мне освобождение от моих прав и указать, что Вы подтверждаете все, что я сделала раньше и не считаете меня ответственной в тех последствиях, которые вызовет Ваша подпись, поставленная задним числом...

Все это важно не только для изданий у Галлимара, но главным образом для мичиганского сборника Ваших стихов в переводе Кайдена, где имеются копии моей доверенности, а также для других изданий Ваших стихов и прозы. Простите за настойчивость, мне приходится рисковать большим, чем Вы можете себе вообразить».

К этому письму было приложено объяснение Даниэля де Пруайяра как адвоката по поводу грозивших его жене судебных преследований со стороны Фельтринелли, которым ее может подвергнуть неверная датировка договора: «Вы единственный судья в том, что лучше устраивает Вас в Вашем исключительном положении, я не считаю возможным вмешиваться и быть «большим роялистом, чем король»,— писал он.— Я понимаю усталость от настойчивости Фельтринелли, моя жена не предоставила полных прав, которых он добивался силой и криком с начала 1959 года, ей не хотелось рисковать Вашим творчеством, которым будут торговать без какой бы то ни было возможности ни Вам самому, ни ей вмешаться в поступки всемогущего издателя... Нам понятны мотивы Вашего решения, хоть мы и не можем вполне его одобрить. Но подписывая документ задним числом, Вы полностью отрываетесь от моей жены и оставляете ее беззащитной в юридическом отношении».

В своем письме 30 января 1960 года Жаклин де Пруайяр просила простить ее за прорвавшееся в предыдущем письме возмущение. К счастью, Господь послал ей Элен, которая написала Пастернаку все то, что Жаклин не могла сама выразить.

Элен Пельтье-Замойская писала, что не может представить Пастернака с его благородством и чистойот вянутым в мошенничество. Намерение дать свободу своему верному другу оборачивается в этом случае полной зависимостью от Фельтринелли и его неблагоприятных махинаций. Все остальные издатели, которых Фельтринелли будет использовать, предъявят справедливые претензии Жаклин и самому Пастернаку.

Через несколько дней, 5 февраля 1960 года, Жаклин де Пруайяр писала, что хотя обмен письмами с Фельтринелли мог бы быть некоторой гарантией ее безопасности, но все-таки она предпочла бы получить полное освобождение от доверенности, о котором просила пятнадцать дней назад. Она надеется, что Пастернак увидит в этом не желание покинуть его на обочине дороги, но необходимость воспрепятствовать случайностям. Наверное, Фельтринелли не захочет рассказывать Пастернаку, что он собирается запретить Галлимару печатать сборник стихов, договор на который подписан 5 марта 1959 года. Об этом Галлимар известил Даниэля уже три месяца тому назад. В конце письма Жаклин благодарила за драгоценные поправки, которые Пастернак внес в ее перевод статьи о Шопене. Она надеется, что «он» позволит ее напечатать, но пока «он» не подает признаков жизни.

Перевод статьи о Шопене, сделанный Жаклин де Пруайяр, был опубликован в 1961 году в журнале «Les lettres nouvelles». Факсимиле пометок Пастернака на рукописи ее перевода воспроизведено в докторской диссертации Ж. де Пруайяр «De Gogol à Soljenitsyne» (Université de Bordeaux III. 1985).

*6 февраля 1960.*

Жаклин, дорогой мой друг, если даже Ваше письмо от 30 января относится к тому времени, когда мои длинные объяснения еще не попались Вам на глаза, и, следовательно, Вам еще предстоит бесконечное чтение тяжелых страниц, то не будем об этом. Все успокоилось. Вопрос временно отложен. Ничего не будет подписано. Как мне обещали, Вас успокоит письмо от О<льги>, которого я даже не видал.

Мои похвалы Вашему Шопену не имеют, вероятно, для Вас никакого значения. Вы приняли бы их за лесть, искреннюю, но пустую. Однако как бы мне хотелось, чтобы они дошли до Вашего сердца. Читая Ваш перевод и примечания, я живо ощутил красоту Вашей души, такой близкой мне! Я даже забыл, что сам имел какое-то отношение к этой статье.

У меня еще не было возможности прочесть последние письма Элен, Ваше и Даниэля. Я их прочту немного спустя. (Даже Вы, бедная и милая, изнемогающая под тяжестью бесчисленных забот и всякого рода неприятностей, от которых я все время хочу Вас освободить и чего Вы не понимаете,— даже Вы не в состоянии нарисовать себе Бедлам моей жизни скрывающегося преступника во всех смыслах, от самого интимного до самого отвлеченного и всеобщего.)

Прилагаемую фотографию сделал прошлым летом один любитель. Он показал мне ее совсем недавно. По-моему, это один из лучших моих снимков. Если нужно, пользуйтесь им как Вам угодно. Хотите, воспроизведите его.

Передайте Элен и Даниэлю мою горячую благодарность за взятый на себя труд. Моя преданность, как Вам хорошо известно, всегда с Вами.

Ваш *Б. Пастернак*.

К письму была приложена фотография Пастернака в саду с надписью: «Так жить нельзя».

Упомянутое «письмо Ольги», которое должно было успокоить Жаклин, датировано 5 февраля. Его задачей было разъяснить длинное письмо Пастернака, которое «может сбить с толку». Она просила не пересылать пока письмо к Фельтринелли, поскольку она сама два месяца тому назад уже послала ему письмо и просила найти возможности компромисса. Кроме того, она сообщала, что договор в том виде, как хочет Фельтринелли, подписан не будет. Неуверенность в будущем заставит Фельтринелли искать сотрудничества. Но с другой стороны она просила не создавать конфликтов с Фельтринелли и не искать справедливости. Важно только, чтобы Пастернак, не отвлекаясь ни на что, мог продолжать работу.

Письмо Пастернака от 6 февраля было отправлено только через две недели, Жаклин де Пруайяр ответила 29 февраля 1960 года. Ее письмо посвящено подробностям смерти свекрови. Кроме того она сообщала, что получила драгоценные замечания о переводе «Шопена» и восприняла их всем сердцем. Теперь статья, которую он так любит, а она с такой любовью переводила, готова отправиться по своему назначению. Она благодарила за очень удачную, на ее взгляд, фотографию. Надеялась, что он хорошо себя чувствует и работает.

На этом письме пометка рукой Пастернака: «Отвечено телеграммой 13.III.60». Та же пометка и на конверте со следующим письмом от Жаклин, которое она написала 2 марта 1960 года, получив пакет из Мичигана со сделанным ею списком опечаток в русском тексте романа. Рукою Серджио д'Анджело (она узнала по почерку и его любимому зеленому цвету чернил) вся работа была отменена и все варианты 1957 года вновь заменены текстом рукописи Фельтринелли 1956 года. Это значит, что они не признают последней авторской редакции. Мичиган достаточно верит Жаклин, но было бы хорошо получить телеграмму от Пастернака: «Seul bon texte Jacqueline 1957»<sup>24</sup>. Тогда возможно, что Фельтринелли перестанет вмешиваться в вопросы текста.

Телеграмма Пастернака была отправлена 14 марта 1960 года:

**СЕРДЕЧНЫЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ВАМ И ВАШЕМУ МУЖУ В ВАШЕЙ БОЛЬШОЙ И МУЧИТЕЛЬНОЙ УТРАТЕ. ЕДИНСТВЕННЫЙ ХОРОШИЙ ТЕКСТ ЖАКЛИН 1957. ЗДОРОВ МАЛО РАБОТАЮ. НЕДОВОЛЕН ПЕРИОДОМ НЕРЕШИТЕЛЬНОСТИ. С ЛЮБОВЬЮ И НЕЖНОСТЬЮ = ПАСТЕРНАК =**

*12 апреля 1960.*

Дорогой мой ангел,

Вчера вечером мне было предъявлено Ваше письмо к Жоржу от 25 марта 1960. Какая тоска, что все эти истории никак не хотят кончиться!

Я переписываю от руки текст, отменяющий доверенность, делая это против воли и с горечью, которую Вы легко почувствуете, если только не хотите заподозрить меня в неискренности.

Но это не единственный документ, который будет Вам послан с этим письмом. Вам будет послана также русская версия Вашего французского письма от О<льги> к Ф<ельтринелли>.

Возможность из двух вариантов выбрать тот, который Вы захотите, останется за Вами, подобно тому, как я Вам всегда давал неограниченную свободу (и наивно полагал, что этого добился).

Долгий приступ сердцебиения и неровного пульса. Это мешает мне писать так, как мне хочется.

О С<обрании> с<очинений>. Я всегда сопротивлялся этому не из боязни п<оли>тических противоречий. Как бы ни была велика здешняя враждебность ко мне, моя борьба (совсем другого рода) с самим собой куда более сурова. Я думаю, что Вы согласитесь со мной: лишь очень малая часть большинства этих работ может быть спасена при крайне требовательном отборе. Даже то, что при этом останется, надо переделать и улучшить.

<sup>24</sup> Единственный хороший текст Жаклин 1957.

Но раз все уж так идет, было бы бессмысленно (и невозможно) сопротивляться, спорить и доказывать. Смолчим по пословице: молчание — знак согласия. Останемся в стороне.

Нужно ли в этом случае скрывать имена Глеба Струве и Филиппова? Не думаю. Жаль, что И. Берлин отказался написать предисловие. Я был бы счастлив, если бы согласились Вы, при условии, что Вам этого захочется и у Вас будет время. Я отнюдь не настаиваю на этом.

Деньги могут и должны остаться в А<мерике> (или лучше сказать, за границей, у Вас, например). Если Вы не против, а Фельтринелли найдет возможность сохранить и эти суммы под своим покровительством, дай ему Бог, я не возражаю.

Вы первая, кому я доверил план, касающийся д'Анджело и этой сотни, о которой идет речь. Я доверил ему эту сотню с условием, что он попросит на это разрешение и уведомит Вас и Фельтринелли.

Возможно, что он назовет меня своим доверителем в ограниченном смысле и в пределах этой суммы.

Пульс у меня выравнивается, благодаря разговору с Вами я постепенно успокаиваюсь, спасибо Вам.

Даже и Вы не можете в достаточной мере понять, насколько ничтожны все касающиеся меня вопросы и как важно единственное — моя нынешняя работа, ее состояние, ее будущее.

Я всегда отдаю себе отчет в своей дружбе к Вам и никогда не теряю этого чувства. Но все время забываю, насколько Вас люблю, и вспоминаю всякий раз, когда читаю Ваши удрученные душераздирающие письма друга, которого подвергают пыткам.

*Б.*

Нужно, конечно, сохранить:

Кто она? Царевна?  
Дочь земли? Княжна?

Письмо Жаклин к Жоржу Нива, на которое Пастернак отвечал, содержало вопрос о тексте стихотворения «Сказка», две строчки которого приведены в конце письма. Кроме того, она вновь повторяла свою просьбу о расписке, отменяющей доверенность [Décharge]. В конверт с письмом к Жаклин Пастернак вложил эту расписку. Круг замыкался.

#### Отказ от доверенности

Я, нижеподписавшийся Б. Пастернак, заявляю, что г-жа Жаклин де Пруайяр, мое доверенное лицо, проживающая по адресу: 21 rue Fresnel à Paris 16-eme, прекрасно и верно выполнила поручения, которые я ей доверил, и отдала мне полный отчет в этом и во всех суммах, которые расходовала в соответствии с этой доверенностью.

Теперь я полностью освобождаю ее и от этих денег и от всего, что она могла предпринять в соответствии с этой доверенностью.

Москва, 12 апреля 1960.

*Б. Пастернак.*

На конверте надпись рукой Пастернака: «Отвечено 15 апреля 60. Décharge подписано».

«Но это не единственный документ, который будет Вам послан с этим письмом, — читаем мы. — Вам будет послана также русская версия Вашего французского письма от Ольги к Фельтринелли».

4 марта Жаклин отправила Ивинской проект письма, которое та хотела послать от своего имени Фельтринелли, с тем чтобы определить сферы деятельности обоих и обезопасить их от конфликтов. Теперь, 12 апреля, с учетом проекта, присланного Жаклин, была выработана некоторая версия, которая должна была примирить несогласных.

В сопроводительном письме О. В. Ивинская писала также по поводу доверенности, которую Пастернак выдал Серджио д'Анджело на получение 100 тысяч долларов из авторских гонораров за роман. Способ, которым д'Анджело впоследствии расплачивался с Ивинской по этим ссудам, оказался в высшей степени рискованным, что стало поводом незаконного ареста Ивинской и ее дочери в августе 1960 года. Но в то время Ольга Всеволодовна ничего такого не могла предвидеть. Она радостно сообщала Жаклин свое впечатление от письма Пастернака: «Я — счастливица, слушала пролог и несколько картин. Могу Вам сказать — это очень хорошо, жанр — а я так этого боялась — его не стеснил, талант его блещет во всю силу, простите за банальные слова — но лучше не подыщешь. Меня можете не подозревать в предвзятом мнении».

и пристрастии, я очень боялась пьесы, а после слушанья — я верю в нее и конечно все наши помыслы должны быть только о покое для него — чтобы он мог продолжать свою работу...»

В письме от 12 апреля очевидны признаки последней болезни Пастернака. Приступы усиленного сердцебиения и боли под лопаткой часто заставляли его прерывать работу. Полежав некоторое время, он вновь находил в себе силы и, стоя за конторкой, продолжал писать. Долго сидеть за столом он уже не мог. В этом перебивающемся темпе писались сцены пролога и первого действия пьесы. Он торопился, чувствуя, что сил остается все меньше, перерывы учащались. Кончив переписывать отделанные сцены в последних числах апреля, он позволил себе лечь и вызвать врача. Он сам уже поставил себе диагноз и вопреки менявшимся и иной раз обнадеживавшим медицинским прогнозам оказался прав.

В словах и ритме письма к Жаклин слышны приглушенные и смягченные лаской ноты прощания. С удивлением читаем его слова о собрании сочинений. Обозначенное двумя первыми буквами — О. с. <Oeuvres complètes>, — это понятие вызывает неожиданно серьезное отношение, Пастернак не ополчается на него с привычным негодованием по поводу сделанного им в ранние годы, он отодвигается и смотрит на него со стороны. Его сверстники выходили при жизни неоднократно собраниями сочинений: Асеев, Тихонов, Маяковский. Пастернак готовил свое собрание дважды, в 1920 году и в 1932-м, но оба раза все кончилось ничем.

Теперь этим занимались без его участия, в далекой Америке, в Мичиганском университете. «Доктора Живаго» они уже издали, и шла работа по сбору еще трех томов. Пастернак услышал в этом звуки посмертной славы (всёяние бессмертия, — скажем мы его словами) и устранился. Четырехтомное собрание, составленное Г. П. Струве и Б. А. Филипповым, скончавшимся недавно, в мае 1991 года, — подвиг в настоящем смысле слова. Рассыпанное по мелким сборникам, журналам и газетам, творчество Пастернака, забытое и растерянное самим автором, с трудом собираемое по крохам его поклонниками, впервые было представлено в полном объеме, с разночтениями и комментариями на хорошем научном уровне. Без этого была бы страшно затруднена подготовка отечественных, и без того всегда обидно неполных собраний. Пастернак не увидел этого прекрасного издания. Мы получили его через два года после его смерти в почтовом отделении в Баковке. Собрание открывается предисловием Жаклин де Пруайяр, данью преданной любви и памяти.

Последнее ее письмо к Пастернаку было послано 13 мая 1960 года, когда она узнала, что он болен. Она писала, что долго болела сама, с трудом дотянула семестр. Кончила работу о Толстом во Франции. Ей хотелось объяснить, что просьбой об отмене доверенности никак не хотела его огорчить. Она была вынуждена сделать это, чтобы избавить его от опасности и защитить себя, но, может быть, превысила меру и почувствовала в его последнем письме усталость и глубокую грусть. «Шопен» будет издан летом, а предисловие к собранию сочинений она отказывается писать.

Но этого письма Пастернак уже не прочел, он скончался 30 мая от скоротечного рака легких.

После его смерти Жаклин де Пруайяр передала Фельтринелли все деньги, оставшиеся у нее за издания Пастернака.



---

## ВЕНИАМИН БЛАЖЕННЫХ

\*

### СТРАШНАЯ СКАЗКА

\* \*  
\*

Мне снилось сердце, гибнущее рядом  
(Мое или чужое — все равно),  
Как судно, пораженное снарядом,  
Идущее в пробоинах на дно.

Мне снилось сердце матери и брата,  
Погибшее на грозном рубеже,  
Ушедшее в пучину без возврата  
И ставшее прощанием уже.

И снился Тот, кто был во всем виновен:  
В сиянии осанны и хулы  
Он плыл в водоворотах черной крови,  
Захлебывался жертвами и плыл.

И я сказал: «Ты не исполнил долга  
И предал мать, и брата, и отца.  
Тебе во тьме молился я так долго,  
А Ты был глух — и разбивал сердца...»

И Бог исчез, как чудо и как небыль,  
И в поредевшем сумраке ночном  
Я видел обнажившееся небо  
Как вечности зияющее дно.

И на могилы, боли и утраты,  
И на смертей неизгладимый след  
Струился утра свет зеленоватый,  
Такой невзрачный и обычный свет.

\* \*  
\*

*Дм. Мережковскому.*

Что за страшная ночь: мертвяки да рогатые черти...  
Зашвырнут на рога да и в ад прямиком понесут...  
Ох, и прав был монах — приучать себя надобно к смерти...  
Переполнила скверна земная скудельный сосуд

Третьи сутки во рту ни зерна, ни росинки; однако  
 Был великий соблазн, аж колочий по телу озноб...  
 Предлагал чернослив сатана, искуситель, собака!..  
 Да еще уверял, что знакомый приходский-де поп!..

Я попа-то приходского помню, каков он мужчина,  
 Убелен сединою, неспешен, хотя и не стар...  
 А у этого — вон: загорелась от гнева личина,  
 Изо рта повалил в потолок желтопламенный пар.

А потом обернулся в лохматого пса и залаял!  
 Я стоял на коленях, крестился резвей и резвей:  
 — Упаси мя, Господь, от соблазна, раба Николая!..  
 — Сбереги мою душу, отец мой духовный, Матвей!..

...А когда прохрипели часы окаянные полночь,  
 Накренился вдруг пол и поплыл, на манер корабля,  
 Завопила вокруг ненасытная адская сволочь,  
 Стало небо пылать, зашаталась твердыня-земля.

Я стоял, как философ Хома: ни живой и ни мертвый...  
 Ну как веки поднимет и взором пронзит меня Вий?..  
 А потом поглядел в потолок: чьи-то руки простерты,  
 Чьи-то длани сошлись, оградили в господней любви...

Третьи сутки пошусь... Третьи сутки во рту ни росинки...  
 Почему мне под утро пригрезилась старая мать?..  
 Помолись обо мне, не жалея материнской слезинки...  
 Сочинял твой сынок, сочинял, да и спятил с ума...

\* \*  
 \*

Меня Распутиным назвали...  
*Н. Клюев.*

Напоил меня Бог первозданною горькой отравой,  
 Шуганул по российской земле, как постылого пса,  
 И пошла обо мне нехорошая стыдная слава:  
 Я-де то, я-де сё, я-де сам, я-де вовсе не сам.

Я-де шут, я-де плут, я-де, может, расстрига Распутин,  
 От меня-де разит мужиковским рядом за версту...  
 ...Ну какой же я, к бесу, Распутин, когда я на прутик  
 Посадил муравья и молился лесному Христу?

Словно стрелы татар, обложила орда недоверья  
 (Я-де то, я-де сё); а какой в этом нищему толк?  
 Завалось в темноту, как пристало берложному зверю,  
 Может, долей моей не побрезгует сумрачный волк.

Может, боли мои лекариха залечит лисица...  
 В рыжеватый бочок от обиды запрячу лицо.  
 Буду спать да сопеть, будет сон мне диковинный сниться,  
 Как двуногие звери меня окружают кольцом.

Хорошо просыпаться и ночь неподвижную слушать...  
 Хорошо свою нору хвостом оградить от потерь...  
 Хорошо на покое, как лапу, лизать свою душу...  
 ...Вот и нет меня больше — теперь я беспрозванный зверь.



\* \*  
\*

Вот женщина; она встревожена,  
Что мужичонка захудалый  
Не воздает ей как положено;  
И ей нужны дворцы и залы,  
И лесь и грубая и тонкая,  
И даже царская корона,  
Чтоб утвердить над мужичонкою  
Свою гордыню непреклонно.

Вот женщина; она страдальца,  
И в глуби глаз ее бездонных  
Христос блуждающий рождается  
И о скорбящих помнит женах.  
Томимы буднями и страхами,  
По всем Европам и Расеям  
Бредут истощенные монахини,  
В святое верят воскресенье...

Вот женщина; она купается  
И не таит своей отваги;  
И все ей, грешнице, прощается,  
Она ведь тоже вся из влаги;  
Текуче лоно плодоносное,  
Текучи груди — два потока,  
И все плывет, и все уносится,  
И все прекрасно и жестоко...

Вот женщина; она доверчиво  
Стоит, как вечная порука...  
Вселенная ведь тоже женщина  
И, стало быть, ее подруга.  
Она расчесывает волосы  
И вся трепещет, как мембрана,  
И вся, как вечность и как молодость,  
Творит и гибнет неустанно.

\* \*  
\*

Не горюй, моя мать: мы на свете живем не однажды,  
Я клянусь, что тебе чудотворной достану водицы,  
Чтобы ртом, изнемогшим во гробе от горестной жажды,  
Ты могла этой влаги из слез моих жарких напиться...

Не горюй, моя мать: этой влаги нам хватит надолго,  
Мы не просто земные скитальцы, а божии дети,  
И я верю, что я — не зарытая в сене иголка,—  
Я, как огненный столп, засияю над верстами смерти.

Не горюй, моя мать: мне не страшно по зною и в стужу  
И живую и мертвой тобою в пути верховодить,—  
Мы еще побродяжим, старушка, по нашу же душу,  
Мы еще поживем и с душою по свету побродим...

Ибо где-то в замирной глуши затерялось начало,  
И на страшных пространствах предвечного странника — Бога —  
Сколько раз ты меня провожала, прощала, встречала,  
Сколько раз я тебя провожал и встречал у порога...

\* \*  
\*

С умершими шагать так трудно в ногу,  
У них не путь, а узкая тропа,  
Где свалены в беспомыслии убогом  
Проклятья, упованья, черепа...

То, что зовем мы праздно мирозданьем,  
Нагромождает жадно труп на труп,  
И даже рай загроможден страданьем,  
И ангелы крылами слезы трут.

# ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

## ГАЗЕТА «РУССКАЯ МЫСЛЬ»: ЕДИНСТВО КУЛЬТУРЫ ПОВЕРХ ГРАНИЦЫ

**З**арубежная русская периодическая печать несомненно еще ждет своих исследователей, ибо десятки и сотни газет, листков, сборников, альманахов, с трудом поддающиеся учету, скрывают на пожелтевших страницах поистине бесценные образцы русского духовного творчества.

Но если материалы, помещенные в журналах и сборниках, все же постепенно входят в научный оборот и доступны обозрению исследователей, главным образом благодаря книге Л. Фостер «Библиография русской зарубежной литературы 1918—1968» (Бостон, 1970, т. 1—2) и более позднему аналогичному труду Т. Осоргиной-Бакуниной, то о русских газетах нельзя сказать и этого.

А между тем только в двух крупнейших русских газетах, выходявших в Париже ежедневно, — в «Последних новостях» и «Возрождении» — печатались: И. Бунин, А. Ремизов, Н. Бердяев, З. Гиппиус, Г. Адамович, Г. Иванов, Б. Зайцев, И. Шмелев, Д. Мережковский, В. Ходасевич, В. Вейдле, П. Муратов. И «Возрождение» и «Последние новости» выходили вплоть до немецкой оккупации Франции в 1940 году.

После окончания второй мировой войны русская печать во Франции переживала тяжелые времена. Угар советского патриотизма захватил довольно широкие круги русской эмиграции; многие брали советские паспорта и уезжали в Союз (всего Францию покинули около 6000 человек, после чего многие из них, как известно, были репрессированы). Французское правительство, в котором тогда доминировали коммунисты, подозрительно и враждебно относилось к «белым» русским, поэтому возникшие после войны новые русские газеты поддерживали представления о далекой Родине, которая «простила» и ждет своих заблудших детей. Лишь небольшая группа решительно настроенных русских людей во главе с С. П. Мельгуновым открыла фронт борьбы с советофильскими настроениями среди эмиграции и начала издавать повременные сборники. Тогда же возникла мысль о создании большой русской национальной газеты, и вскоре с помощью «Французской Конфедерации трудящихся христиан» В. А. Лазаревскому, который и стал первым редактором «Русской мысли», удалось получить разрешение на выпуск газеты.

Первый номер «РМ» вышел 18 апреля 1947 года главным образом благодаря энергичным усилиям В. А. Лазаревского (вложившего в издание первого номера весь свой капитал) и самоотверженной помощи его ближайших сотрудников — В. Зеелера, В. Полянского, С. Водова, П. Ковалевского. К участию в газете сразу же удалось привлечь Б. К. Зайцева, Н. Н. Берберову, Н. С. Арсеньева, Б. Э. Нольде и в дальнейшем Г. В. Адамовича, И. В. Одоевцеву, В. В. Вейдле, В. С. Варшавского, Ю. К. Терапиано, Ю. П. Иваска, И. В. Чиннова, Н. Д. Татищева, К. Д. Померанцева, что и предопределило интерес читателей к новой газете.

После смерти В. А. Лазаревского (1953) «РМ» редактировал С. А. Водов, опытный журналист, работавший еще в довоенной газете «Возрождение». В 1968 году редакцию возглавила поэт и литературный критик З. А. Шаховская, привлекая к участию в газете новых сотрудников, уехавших из СССР в начале 70-х годов. Все чаще на страницах «РМ» стали появляться материалы из СССР, частью за подписью известных правозащитников и диссидентов, частью анонимные. Эта знаменательная линия, явственно обозначившаяся в середине 70-х годов, во многом способствовала превращению газеты из чисто эмигрантского издания в начинание общероссийское. Тенденция эта постепенно усиливалась, завоевывая все большее число сторонников и новых читателей, и полностью возобладали, когда в начале 80-х годов газету возглавила Ирина Алексеевна Иловайская. Именно тогда на страницах русской газеты, издававшейся в Париже, впервые возникли условия для диалога о путях и судьбах России, о котором в 20—30-е годы тщетно мечтали лучшие люди эмиграции, буквально задыхавшиеся от сознания несомненности своих доводов и внимательно прислушивавшиеся к голосам «оттуда» (Г. Федотов, Г. Адамович).

Но возможно ли взаимопонимание, есть ли что-то общее в столь разных мирах, длительное время разделенных железным занавесом? И. А. Иловайская твердо уверена, что искомое общее есть и оно должно быть выявлено — ибо Россию «там» и Россию эмигрантскую единит негнущее достоинство, неопределимый клад — перене-

сенные страдания. И. А. Иловайская родилась в Белграде и хорошо помнит время немецкой оккупации, облавы на людей и внезапное их исчезновение. Вместе с матерью она была арестована, брошена немцами в тюрьму и навсегда запомнила «абсолютное презрение к человеческой личности и холодную жестокость» тюремщиков. А после войны, в Чехословакии, видела, как умирала свобода в тисках тоталитарного государства. И, по-видимому, этот опыт и углубленное религиозное чувство помогли И. А. Иловайской найти линию газеты — утвердить «широкий политический подход», способствующий проявлению «спектра мнений»: всего, что «между коммунизмом и фашизмом». «Лично у меня... существует глубочайшее убеждение, что нельзя, невозможно России выздороветь, не вернувшись к христианству, — сказала И. А. Иловайская в беседе с писателем А. Нежным. — Покаяние и прощение — вот неперенное условие нравственного обновления»<sup>1</sup>.

«РМ» выходит еженедельно на 20 страницах, и все материалы группируются в нескольких постоянных рубриках (Аспекты современного мира; Религия в Советском Союзе; Советский Союз сегодня; Мнения, оценки, точки зрения; Литература и мемуары; Книжная полка; Пути русской культуры; Мир искусства; Культура и общество; Жизнь в современном мире). Есть в каждом номере и обзор событий за неделю и небольшой шахматный отдел.

Возрождение религиозной жизни в СССР находит постоянное освещение на страницах «РМ». Много писем приходит в редакцию из России, от прихожан храмов, поднимающихся из руин, — с просьбой о помощи.

Валерий Байдин, один из основателей недавно созданного общества «Возрождение», стремящегося привлечь внимание общественности к судьбам гибнущих памятников церковного зодчества и произведений религиозного искусства, пытается наметить в статье «На ступенях русского храма» («РМ», 26.07.91, № 3889) пути решения чрезвычайно сложной проблемы передачи Церкви не только разоренных и пустующих храмов, но и произведений церковного искусства, хранящихся в музеях и галереях. Байдин полагает, что поспешные решения, максималистские лозунги типа: «Все храмы — Церкви» и сопутствующее этому броскому призыву требование — все церковные ценности изъять у государства и передать в храмы — в реальных условиях могут обернуться новыми, невозвратными потерями, ибо во многих случаях Церковь не готова принять изъятые и обеспечить надлежащее хранение. Лишь добрая воля и действенное сотрудничество «музейщиков» с Церковью в ходе поэтапного процесса передачи церковных ценностей и создание в храмах и монастырях условий для их сохранности приведут к решению проблемы.

Иеромонах Филипп, настоятель храма Архистратига Михаила в селе Бородино Ивановской области, пишет о том, как во время работ по восстановлению храма из земли были извлечены груды черепов, в том числе и детских, причем все с отверстием в затылке, сразу позволяющим распознать характерный «почерк чехистов». Найдены и остатки проволоки, которой связывали руки жертвы. Ясно, что найдено не древнее захоронение, а останки репрессированных в 30—40-е годы.

Отдавая должное значимости материалов политического характера, публикуемых в «РМ», все же выскажем предположение, что для многих читателей, ищущих исхода из абсолютно политизированной действительности, еще большую ценность представляют обзоры и статьи по истории русской культуры начала века и 20—40-х годов нашего столетия, ибо и сейчас этот период нашей истории менее всего изучен. Поэтому, например, специальное приложение к «РМ» (18.05.90, № 3828), посвященное памяти русского философа Льва Платоновича Карсакина, умершего в 1952 году в концлагере на далеком Севере, несомненно будет отмечено в летописях истории русской духовной культуры.

В отделе литературы и искусства много интересных материалов принадлежат авторам из СССР. В 1991 году в «РМ» публиковались отрывки из подготовленных к печати книг: А. Саакянц о М. Цветаевой и В. Купченко о Волошине; в специальном приложении собраны и прокомментированы М. Чудаковой черновики романа «Мастер и Маргарита» М. Булгакова. Если в Париже внимательно следят за новыми исследованиями о судьбах великих изгоев русской литературы XX века, не признанных при жизни, но сейчас обретающих посмертную славу, то, с другой стороны, в СССР возрастает интерес к литературе русской эмиграции, причем печатаются главным образом произведения писателей третьей и первой волны, печатаются довольно бессистемно, а часто и вовсе бессмысленно. Такое впечатление возникает у обозревателя «РМ» Натальи Кузнецовой при чтении номеров журнала «Юность» за 1991 год. «Здесь Б. Савинков и Н. Тэффи соседствуют с В. Аксеновым и Ю. Кублановским, великий князь Александр Михайлович — с Э. Лимоновым, Н. Бердяев — с Ю. Вознесенской. Определить политику журнала мудрено. она скорее всего в том,

<sup>1</sup> «Книжное обозрение», 1991, № 5.

чтобы напечатать побольше и всех опередить». («И станут возрождаться имена, или Операция "Эмиграция"», «РМ» № 3890).

Предоставив другим обстоятельный разбор «Литературных приложений» к «РМ» — по существу самостоятельного издания, отметим наиболее значительные материалы религиозно-философского характера, напечатанные на его страницах.

Павел Кузнецов («ЛП» № 9) приветствует выход первой книги новой серии — «Из истории отечественной философской мысли», в которую вошли две самые важные дореволюционные философские работы Н. Бердяева — «Философия свободы» и «Смысл творчества». Сравнивая московское издание «Смысла творчества» с парижским (в составе собрания сочинений, изданного YMCA-PRESS), П. Кузнецов указывает, что в отличие от московского издания, ориентированного на первую публикацию 1916 года, — парижское представляется более ценным, ибо дополнено авторским предисловием, статьей Н. Бердяева из журнала «Путь» — «Спасение и творчество» — и некоторыми неизданными фрагментами.

По количеству публикаций в СССР за последние три года с Н. Бердяевым может сравниться только В. Розанов. «Последние листья» В. В. Розанова печатал в своем журнале «Книжный угол» (до 1922 г.) дружески расположенный к писателю футурист Виктор Ховин, впоследствии эмигрировавший во Францию и погибший, по-видимому, после 1942 года в нацистском концлагере. Об этом последнем друге умирающего Розанова напомнил Глеб Морев, опубликовавший и прокомментировавший письмо В. В. Розанова Виктору Ховину, вероятно, отправленное в 1918 году из Сергиева Посада («ЛП» № 10).

В том же № 10 «ЛП» помещена интересная подборка материалов «Вокруг наследия П. А. Флоренского». В беседе с Андреем Чикиным внук о. Павла и исследователь его творчества геолог П. В. Флоренский рассказал о жизни семьи Флоренского после ареста и гибели о. Павла в лагере, о хранении архива и первых публикациях статей Флоренского в конце 60-х годов. В 70-х годах автобиографические материалы и статьи о. Павла проникают и на Запад и печатаются в «Вестнике РХД». Так, в 1974 году в № 114 «Вестника» опубликована запись доклада «О Блоке». Его автор сурово изобличает демонизм, по его мнению, изначально присущий поэту; близость автора доклада к православной церкви не вызвала сомнений, в «Вестнике» автором доклада назван был о. П. Флоренский. Вскоре выяснилось, что доклад напечатан был еще в 1931 году в журнале «Путь». Андрей Шишкин в статье «Флоренский о Блоке» («ЛП» № 10) высказывает предположение, что только изучение работ Флоренского 20-х годов, в том числе «Философии культа», позволит говорить «об ответственности о. Павла за идеи и тезисы доклада».

Наряду с высокой оценкой отечественных публикаций русских философов (Бердяева, Розанова, Флоренского) встречаем на страницах «ЛП» и резко критический отзыв о философской антологии, выпущенной издательством «Наука» в 1990 году, — «О России и русской философской культуре» («ЛП» № 12). Автор рецензии А. А. называет новую антологию сугубо конъюнктурным изданием, «недоброкачественным и непрофессиональным». Публикаторы стремились прежде всего зачислить «философов Русского Зарубежья в союзники нового политического мышления», «сложившегося на основе марксистско-ленинского мировоззрения». Собранные под одним переплетом авторы (Н. Бердяев, о. Г. Флоровский, о. В. Зеньковский, Б. П. Вышеславцев, Г. П. Федотов, П. А. Сорокин) не нуждаются в какой-либо характеристике, да и набор их почти традиционен. Однако книга получилась глубоко симптоматичной: по мнению автора рецензии, «русская эмигрантская литература (в частности — философская) ныне сделалась в СССР своего рода Клондайком, где следует расторопно захватывать участки, и, надо сказать, наши составители забили колышки на весьма широкой территории, как в смысле набора авторов, так и в смысле тематики, подумать только: Россия и русская философская культура».

А. Н. БОГОСЛОВСКИЙ.

## О ЛИТЕРАТУРНОМ ПРИЛОЖЕНИИ К «РУССКОЙ МЫСЛИ»

**3** января 1985 года вышел из печати первый номер «Литературного приложения» к парижской газете «Русская мысль», и с этого момента берет начало особого типа издание, обращенное к русской интеллигенции по обе стороны границы, но почти не доходящее (как и газета в целом) до читателя в России. Первые выпуски «ЛП» состояли из 8 или 12 газетных полос, теперь же издание печатается на 16 страницах с регулярностью в среднем два раза в год. Составитель и редактор двенадцати вышедших на сегодняшний день номеров — Сергей Дедюлин.

Литературные материалы регулярно появляются и на страницах еженедельных, очередных номеров «Русской мысли», но «ЛП» имеет самостоятельное значение,

особое качество, свое уникальное лицо. Характер этого издания определился не сразу, а заметно менялся вслед тем процессам, которые шли в советской печати во второй половине 1980-х годов и которые влияли на читательские потребности. Первые выпуски «ЛП» можно определить как литературно-художественные — здесь публиковались, помимо рецензий и обзоров, новинки эмигрантской литературы, а также стихи, проза, статьи из самиздатских альманахов и сборников. Среди материалов такого рода наиболее значительные стихотворные подборки ленинградских поэтов Сергея Стратановского (№ 1), Елены Шварц (№ 2), Виктора Кривулина (№ 5). Сегодня эти поэты публикуются уже в России, масштаб их дарования постепенно становится ясен, но тогда их публичное самообнаружение в отечественной литературе ограничивалось страницами самиздатских журналов «Северная почта», «Меркурий», «Часы», «37», «Обводный канал», страницами рукописных поэтических сборников. Эмигрантская печать, и в том числе «Русская мысль», заполняла искусственно созданные пустоты в картине современного литературного процесса, и читатель имел возможность убедиться, что литература продолжала жить по своим собственным законам, не зависящим от режима или Гутенберга. Такая «непечатная» литература оказывала сильнейшее сопротивление режиму не тематикой, а самим фактом своего неуправляемого существования, демонстративно оформленного в машинописные альманахи и сборники. К названным подборкам примыкает опубликованная в № 2 «ЛП», но написанная раньше, в 1979 году, статья Александра Коломирова (раскрыть этот псевдоним — дело и право автора) «Двадцать лет новейшей русской поэзии (Предварительные заметки)». Статья эта, появившаяся впервые в самиздатском журнале «Северная почта» (1979, № 1/2), представляет собой факт интересный и знаменательный, в ней предпринята попытка обобщающего теоретического анализа непечатной поэзии 1960—70-х годов, ее школ и направлений, тенденций развития поэтического языка. Мы не будем здесь обсуждать конкретные выводы автора, а скажем о другом: подпольная литература породила подпольную критику, и это непреложно свидетельствует о том, что критика имманентно присуща литературе, органично принадлежит к ней самой как акт самосознания, а не является только внешним, социальным ее придатком.

По мере того, как становилась все либеральнее отечественная печать, предоставляя свои страницы бывшему самиздату и эмигрантской литературе, — по мере этого процесса «ЛП» постепенно превращалось из издания литературно-художественного в литературно-критическое, литературоведческое, историко-филологическое. В профессиональном сознании литературоведа обычно разведены по разным полюсам понятия «академическое исследование» и «газетная статья»; газета как бы уже предполагает общедоступность материала, адаптацию научного аппарата, даже популизм. «ЛП» успешно разрушает этот стереотип, представляя собой специальное издание высокой филологической культуры. В России таких газет для определенного, не очень широкого круга читателей сегодня не существует — в «Литературной газете» и «Книжном обозрении» находится место в лучшем случае для критики, но не для филологии. Меж тем у филологов, как и у писателей, есть потребность опубликовать свежий материал, обменяться репликами, быстро отреагировать на то или иное литературное или научное событие, а наши журналы с их неповоротливостью не могут эту потребность удовлетворить — материалы в них опаздывают на год, а то и на два. «ЛП» выходит нечасто, зато печатается быстро, и потому открывает возможность для научной полемики, для сугубо филологических, но актуальных статей и рецензий, для публикаций новонайденных архивных материалов.

За последние два-три года изменился круг авторов «ЛП» и выросло качество этого издания. Если в первых выпусках печатались в основном филологи западноевропейские и американские, то теперь большая часть материалов поступает из России и авторами «ЛП» являются признанные наши специалисты — К. Азадовский, Н. Котрелев, Г. Левинтон, М. Мейлах, А. Парнис, Р. Тименчик, Т. Цивьян. Перестав быть изданием только эмигрантским, «ЛП» демонстрирует на своих страницах то самое единство русской культуры, о котором мы так много сейчас говорим и которое на самом деле всегда существовало.

Несомненный приоритет в тематике «ЛП» отдан литературе «серебряного века» № 3/4 посвящен Хлебникову, № 6 и № 12 — Мандельштаму, № 8—9 — Ахматовой, № 10 — Пастернаку, № 11 — Кузмину (хотя в этих выпусках много и других материалов). Самым содержательным и ценным разделом «ЛП» нам кажется раздел «Архив», отведенный для впервые публикуемых текстов; из наиболее заметных архивных публикаций назовем три рассказа Д. Хармса (№ 1, публ. И. Ф. Петровичева), большую подборку из его же дневников и стихов 1931—1938 годов (№ 6, публ. Жана-Филиппа Жаккара), три письма Хармса (№ 10, публ. Е. Прицкера), два стихотворения М. Кузмина (№ 3/4, публ. Г. Шамакова), неизвестные стихи Н. Клюева (№ 8, публ. К. Азадовского), письмо Вяч. Иванова (№ 9, публ. Н. Котрелева), письмо В. Розанова (№ 10, публ. Г. Морева), черновики «Египетской марки» Мандельштама

(№ 12, публ. А. Никитаева), стихотворение Кузмина (№ 12, публ. Г. М.), письмо М. Цветаевой (№ 12, публ. К. Азадовского). За редким исключением эти публикации выполнены на высоком филологическом уровне, составитель «ЛП» предоставляет достаточную печатную площадь для необходимых комментариев и сопроводительных статей (чего нынче от наших российских издателей не добьешься). Из самостоятельных исследовательских статей рекомендуем читателю не пропустить статьи Г. Шмакова «Михаил Кузмин, 50 лет спустя» (№ 3/4) и «Михаил Кузмин и Рихард Вагнер» (№ 7), М. Мейлаха «Даниил Хармс: *Anecdota posthuma* (Посмертные анекдоты Даниила Хармса)» (№ 8), Л. Флейшмана «Письмо Пастернака Сталину» (№ 12).

Значительную долю материалов «ЛП» составляют рецензии, и круг рецензируемых книг достаточно широк: это новые художественные сочинения, разноязычные советские и зарубежные издания русских и западных классиков, книги по филологии, философии, искусству. Составитель представляет различные точки зрения на одну и ту же книгу — так, в № 6 рядом с рецензией Н. Струве на сборник статей Мандельштама «Слово и культура» частично перепечатывается рецензия Е. Толдеса на то же издание, в № 9 печатаются три различных рецензии на книгу Б. Каша и Р. Тименчика «Анна Ахматова и музыка»; на несколько номеров растягивается начатое обсуждение, что дает возможность авторам ответить на критику, что-то уточнить и дополнить, — так, придирчивая рецензия Ив. Толстого на московское издание В. Набокова (№ 10) вызвала обстоятельное письмо в редакцию А. Долинкина и Р. Тименчика, сопровождаемое редакционным комментарием и ответом Ив. Толстого (№ 11), а большая подборка «Иосиф Бродский — перекрестки мнений» (№ 7) получила продолжение в полемическом «Письме в редакцию» Л. Долгополова с комментарием от редакции (№ 8). Такие мобильные профессиональные издания, как «ЛП», нам сегодня необходимы, чтобы восстановить традиции, во многих научных кругах давно утраченные, — традиции коллегиальности и живых дискуссий взамен надуманных «круглых столов».

«ЛП» регулярно печатает материалы литературных и религиозно-философских конференций, проходящих в России и на Западе. В качестве библиографической справки для интересующегося читателя перечислим: III международная научная церковная конференция в Ленинграде зимой 1988 года (№ 6, обзор и тезисы докладов С. Аверинцева и Б. Раушенбаха), Римская конференция «Происхождение и развитие славяно-византийского христианства» в мае 1988 года (№ 7), Ахматовский коллоквиум в Париже в мае 1989 года (№ 8, доклады Я. Гордина, Н. Струве, Ю. Молока, А. Парниса), Ахматовская конференция в Дартмут-колледже в октябре 1989 года (№ 9, обзор и доклад А. Арьева), Первая международная Набоковская конференция в Москве и Ленинграде летом 1990 года (№ 10), Кузминская конференция в Ленинграде летом 1990 года (№ 11), Вторые Мандельштамовские чтения в Москве и Ленинграде в январе 1991 года (№ 12). Благодаря этим обзорам, благодаря своей оперативности «ЛП» становится своеобразным бюллетенем культурных и научных новостей, оставаясь одновременно изданием серьезным, открытым для узкоспециальных исследований и архивных публикаций.

Не имея возможности представить здесь все рубрики «ЛП», достойные внимания, скажем в заключение об одной из них — о рубрике «In memoriam», где отдается долг памяти людям, недавно ушедшим и оставившим след в литературе, в науке о литературе, в нашем сознании. «ЛП» в этих случаях печатает не официальные некрологи, а крупные словесные портреты, такие, как статья В. Топорова «Памяти Марцио Марцадури» и статья Кейса Вергейла «Человек в северном свете (По поводу смерти Л. Я. Гинзбург)» (№ 11).

Если кому-то интересны наши пожелания в адрес «ЛП», то они сводятся, пожалуй, к двум: хорошо бы, чтоб «ЛП» выходило чаще и регулярнее, и хорошо бы выровнять тематический крен, больше публикуя материалов по русской классической литературе.

И. СУРАТ.

СТЕФАН ВИЛЬКАНОВИЧ

\*

## ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ ДЕМОКРАТИИ В ХРИСТИАНСКОМ РАЗУМЕНИИ

**В** качестве заповедей автор выдвигает не истины вероучения, но выражение христианского понимания человека и общества, позволяющее осознать трудности и пути построения демократии в нынешних условиях.

1. Демократия — это не только метод осуществления власти с помощью парламентских учреждений, но и определенный тип культуры, охватывающей человеческие установки, систему ценностей, обычаи и законы. Демократия вытекает из понимания человека как существа, сотворенного Богом по Его образу и подобию, призванного к подражанию Богу и соединению с Ним, существа, любимого Богом и, следовательно, обладающего неотчуждаемым достоинством, независимо от того, является ли он эмбрионом или лицом, психически ущербным, святым или преступником.

В нашей современной цивилизации человеку угрожают многочисленные опасности, хотя все чаще идет разговор о его правах, которые находят свое выражение в законодательстве. Но одновременно существует тенденция ограничения класса субъектов, защищаемых действующими законами. Например, к субъектам права не принято относить еще не рожденных детей. Заключение о том, кому можно отказать в праве быть рожденным или на ком можно ставить научные эксперименты, часто зависит не от тех или иных убеждений в том, где начинается человек, а от более или менее произвольного дарования или лишения статуса человека, то есть решения о том, кто достоин жизни, а кто ее не заслуживает. Это — революция с трудно вообразимыми последствиями, которая представляет собой фундаментальную угрозу для человечества.

2. Человек призван к развитию, к избавлению от внешней и внутренней несвободы, к достижению способности выбора добра и возможности осуществления этого выбора. Свобода, таким образом, является правом и обязанностью человека. Это право вытекает из достоинства человека, из того, что он подобен Богу. Свобода также является обязанностью по отношению к себе и другим; она необходима человеку для собственного развития и для реализации всеобщего добра. Рабы с трудом могут развиваться и с трудом достигают настоящей солидарности. Наихудшим состоянием несвободы является порабощение одновременно внешнее и внутреннее, принуждение со стороны государства, организации или нетерпимого общественного мнения и одновременно давление пороков, пассивности, страха, стереотипов мышления, слепых страстей и парализующего эгоизма.

Человек призван к солидарности, которая является практическим выражением любви к ближнему, но одновременно — требованием, вытекающим из факта взаимозависимости между людьми, даже между самыми отдаленными друг от друга членами человеческой семьи.

Такого рода солидарности требует прежде всего угроза естественной среде обитания, избежать которой можно только с помощью международного сотрудничества в глобальном масштабе.

Менее очевидным, но не менее опасным является разделение человечества на две части — на тех, которые могут развиваться, и на тех, которые такой возможности

---

Стефан Вильканович (родился в 1924 году в Варшаве), окончил Варшавский политехнический институт и Католический университет в Люблине. С 1957 г. работает в католическом журнале «Знак» и газете «Гыгодник Повшехнь», в настоящее время — главный редактор «Знака», член Папского совета по делам мирян и участник трех комиссий Польского епископата.

практически не имеют, которые с трудом могут поддерживать свое существование и для которых практически недоступны высшие достижения культуры. Эти явления имеют такой масштаб и интенсивность, что без создания организованных форм глобальной солидарности их преодоление практически невозможно.

Место человека в обществе определяется свободой и солидарностью — эти ценности взаимно дополняют друг друга и обеспечивают здоровое участие отдельной личности в общественной жизни.

3. Это участие необходимо для развития, оно является одновременно его условием и способом его осуществления. Оно может принимать различные формы, свободно создаваемые и выбираемые, в зависимости от разных уровней общественного развития. Свободное участие в этом развитии является школой инициативы и солидарности, а их разнообразие создает условия для полной (или глубокой) демократии, выражающейся в общем характере общественной жизни и являющейся гарантией демократии политической.

Противоположностью полной демократии является пассивность и эгоизм, как индивидуальный, так и коллективный. Этот последний чаще всего выражается в урезанном понимании солидарности, как солидарности одной группы людей против другой. Полная солидарность должна охватывать всех, особенно обделенных и преследуемых, подчеркивать необходимость общего блага, являющегося гарантией добра для всех общественных групп, хотя может казаться, что оно вступает в противоречие с их сиюминутными интересами или с их стремлением к господству.

Искусство демократии опирается на умение найти это общее благо (на разных уровнях) и на работу по его реализации; следовательно, оно требует одновременно развития чувства солидарности и способности к компромиссу, к согласованию противоположных интересов. Если опираться только на игру сил, то легко скатиться к разрушительной войне всех против всех, и как следствие этого получается уничтожение всеобщего блага.

Представляется, что сила движения «Солидарность» в восьмидесятых годах вытекала, между прочим, из того, что оно выражало интересы общества, которые отождествлялись с общим благом страны и приходили в противоречие только с сиюминутными интересами правящей группы. В этом движении сосредоточились надежды на улучшение условий существования и реализацию моральных прав, то есть полноты прав человека.

В настоящее время острые конфликты, возникающие из противоположности временных интересов разных общественных групп, выявили неглубокий характер позиций, свойственных «Солидарности», и недостаток демократической культуры, легкость, с которой проявляется и усиливается групповой эгоизм, скрытая агрессивность и слабость демократических механизмов.

4. Полная демократия включает в себя парламентскую систему с классическим разделением властей, локальное самоуправление, организацию трудящихся и работодателей, всевозможные объединения с различными общественными целями. Каждый человек играет различные роли в обществе и имеет различные потребности. Он является производителем, работником, потребителем, жителем данной местности и участником культурной жизни. Как житель данной местности он будет желать устранения фабрики, загрязняющей среду обитания, а как ее работник — будет опасаться потери работы или уменьшения заработков в результате повышения стоимости охраны окружающей среды. Одновременно он будет требовать улучшения условий труда, опасаясь за свое здоровье. Он будет требовать дешевых книг или билетов на концерты, но не хотел бы платить высоких налогов, благодаря которым только и можно содержать филармонию. Он, конечно, хочет дешевых продуктов питания и поэтому является противником высоких таможенных пошлин на импортные продукты, но если местные производители сельскохозяйственной продукции не могут выдержать конкуренции с заграничными, то ему же придется оплачивать стоимость банкротства большого числа хозяйств в стране, так же, как стоимость крестьянских протестов.

Таким образом, он должен постоянно учиться разумному выбору и достижению компромиссов, необходимых для всеобщего блага.

Демократия включает в себя также экономику и культуру. С точки зрения цели дело идет об обеспечении каждому минимального уровня жизни и доступа к началам культуры через систему образования и средств массовой информации. С точки зрения средств мы стремимся к развитию обычаев, прав и механизмов, стимулирующих инициативу и творчество каждого человека, его объективное участие в экономической и культурной жизни. В области культуры речь идет не только о любительском творчестве, но прежде всего о сознательном пользовании благами культуры, об



активным их восприятию, и, кроме того, об участии в деятельности, способствующей развитию культуры во всех ее проявлениях, об участии в индивидуальных и коллективных формах меценатства.

В экономической жизни мы стремимся к развитию хозяйственной инициативы также и среди работников, к их всестороннему участию в жизни предприятия. Экономическая демократия состоит, конечно, не в митинговом управлении предприятием, а в переходе от модели авторитарно-конфронтационного управления к модели управления, в которой лучше защищены права работников и одновременно увеличивается их забота об интересах предприятия. Опыт ряда стран показывает, что это достижимо и приводит к хорошим результатам как в области чисто экономической, так и в морально-политической; но это требует достаточно высокого уровня общественно-экономической культуры. В этом случае издержки, связанные с демократическим управлением, окупаются с избытком благодаря исчезновению забастовок и более высокой производительности труда.

В рамках полной, развитой демократии лучше функционируют политические партии, пополняемые людьми с высокой общественной культурой, привыкшими действовать в области широко понимаемой политики, то есть заботы о всеобщем благе. Одновременно разного рода организации значительно эффективнее могут контролировать политические партии, чем это может сделать аморфное, порошкообразное общество... Здоровая демократия строится снизу; если переход от тоталитаризма к демократии требует быстрых преобразований, то они должны быть комплексными и в особенности не должны приводить к господству партий незрелых, приходящих на поле боя за власть без продуманных программ и средств действия.

5. Демократии всегда есть ровно столько, сколько демократической культуры. Само существование демократических учреждений не гарантирует функционирования демократии, и их легко скомпрометировать — не только посредством злоупотреблений, но прежде всего в силу простой некомпетентности, неумения принимать быстрые, но достаточно зрелые решения. Демократическая культура включает в себя достаточно ясное представление об обществе (в том числе необходим некоторый уровень правовых знаний), практическое знакомство с парламентскими процедурами, а также способность судить о происходящем и действовать с общественных позиций, то есть действовать для всеобщего блага. Эта культура не достигается с помощью одного только книжного знания, она требует практического опыта, а следовательно, функционирования демократии даже без должной подготовки к ней. Таким образом, это длительный процесс, которому всегда угрожает регресс. Он может развиваться в нужном направлении, если его участники признают себя учениками в области демократии и не считают себя демократами только потому, что боролись с врагом демократии — тоталитаризмом. Борьба с тоталитаризмом вовсе не является — по крайней мере не обязана являться — школой демократии; бывает даже наоборот, так как во время этой борьбы демократические учреждения не могут правильно развиваться, а кроме того, почти всегда происходит какое-то заражение злом, характеризующим противника. Эту истину трудно признать, ибо признание ее требует смирения, и это нелегко для тех, кто привык считать себя правым и хорошим в силу того, что они борются за правое дело.

Уровень демократической культуры в постсоциалистических государствах чрезвычайно низок, и это, безусловно, является главным препятствием при построении демократии. Относительно легким можно считать распространение сведений о парламентских процедурах и работе в команде — в этой области существует богатая литература, которой можно воспользоваться.

6. Для современной цивилизации характерна некоторая противоречивость. В ней сильна тенденция к демократизации, ко всеобщему участию в общественной жизни, можно сказать — к непосредственной демократии, но одновременно она требует все большего числа экспертов — специалистов, без помощи которых невозможно принимать наиболее ответственные решения. Все время возрастает сложность общественной жизни и взаимозависимость в глобальных масштабах, и эта сеть взаимозависимости становится все более чувствительной по отношению к помехам. Это видно на примере международного терроризма, но не менее опасны некомпетентность и небрежность людей, действующих без злого умысла. В распоряжении людей находятся все более мощные средства (речь идет не только об оружии массового уничтожения), и эти средства становятся все труднее контролировать. Спор об атомных электростанциях является здесь самым ярким примером — ясно, что решать здесь должны эксперты, но они часто сами не могут прийти к общей точке зрения, а их экспертизы не вызывают доверия у «людей с улицы», которые видят,

например, как крадут цемент, предназначенный для суперсовременных сооружений, или наблюдают уровень пьянства среди персонала, который должен их обслуживать. Мы уже знаем, к каким последствиям могут привести вирусы в компьютерах, но еще не знаем, что может произойти в разветвленной информационной системе и что из этого может воспоследовать. Довольно правдоподобно, что для своего правильного и безопасного функционирования цивилизация будущего будет требовать от всех значительно более высокого уровня знаний, морали и психического здоровья.

Таким образом, «цивилизация экспертов» требует всеобщей, каждодневной демократии, а не диктатуры.

7. В постсоциалистических государствах развитие демократии тормозится особыми препятствиями, которые являются наследством тоталитаризма. С одной стороны, мы имеем дело с аллергическим отвращением ко всякого рода ограничениям свободы, с недоверием по отношению к любой власти; имеют место также различного рода идеологические мотивации, чаще всего либеральные или анархические, но психологический источник всего этого один: опыт жизни при тоталитарной диктатуре. Это явление опасно, так как оно затрудняет построение демократических учреждений (они могут легко попасть под подозрение как источник новой номенклатуры) и служит оправданием индивидуализму.

Одновременно формируются (или проявляются) авторитарные и доктринерские группировки, которые наследуют коммунистический менталитет и только меняют знаки ценностей на противоположные. Так, прославление коллективизма переходит в восхваление индивидуализма, интернационализм уступает место национализму и т.д. Это все неудивительно, так как для «реального социализма» была характерна смесь догматизма, релятивизма и манихейства. «Истины» изменялись в ритме проведения съездов партии или пленумов ЦК, но они всегда были бесспорны, в то же время неизменным оставался черно-белый образ мира, неизбежность существования заговоров и врагов, представляющих собой олицетворение зла. Люди, имеющие таким образом сформировавшиеся установки мышления, часто меняют цели, не меняя средств. А настоящую демократию нельзя строить авторитарными средствами — цель здесь не оправдывает средства, наоборот, плохие средства ее уничтожают; так можно построить только видимость демократии — ширму для авторитарного управления.

Третьим препятствием является проявление агрессии, возникающей в общественных условиях, не способствующих развитию партнерских позиций, но способствующих проявлению отношений типа «господин — раб», где каждый подвергается какому-либо принуждению и в свою очередь принуждает других.

8. Христианская точка зрения на человека приводит к заинтересованности Церкви в развитии полной демократии, хотя она не может отождествить себя ни с каким конкретным строем или партией. Как Церковь может строить демократию? Не только своей проповедью, но также и через стиль жизни, через способ функционирования ее учреждений. Церковь оказывает влияние на общественную жизнь прежде всего через своих членов, которые действуют согласно своим христианским убеждениям, но иногда бывает, что ее иерархия и духовенство оказывают непосредственное влияние на государственную власть и администрацию. Это может происходить незапланированным образом, просто в силу морального авторитета Церкви, но может иметь и характер организованного давления. Тогда возникает риск появления точки зрения на Церковь как на одну из групп давления, борющихся за свои интересы, — то есть опасность своеобразной деградации.

Существенное значение здесь имеет цель этого давления и способ его осуществления. Одно дело, если целью является всеобщее благо, другое дело — когда целью является удовлетворение интересов какой-либо организации, конкурирующей с другими. Давление может быть приемлемым, если оно отражает заботу о человеке и уважение к людям иных убеждений; оно порождает противодействие, если оно окрашено демагогией и агрессией. Хуже всего дело обстоит в том случае, когда Церковь борется за идеалы, которые люди Церкви не осуществляют в своей жизни. Люди Церкви, как духовенство, так и светские, также подвержены разным инфекциям, они не свободны от описанных выше остаточных явлений тоталитарной системы и подвержены практическому материализму. Этот последний не обязательно выражается в алчности, но чаще проявляется более тонко, воздействуя даже на духовенство, приводя к тому, что внимание концентрируется на статистико-организационных результатах, на социологической технике, а не на проповеди Евангелия.

Таким же деликатным является вопрос о взаимоотношениях с политическими партиями. Конечно, пастыри Церкви имеют право и обязаны оценивать программы и методы действия разных партий и организаций. Однако слишком тесные связи

церковных властей с какой-либо партией представляют собой двойную опасность: со стороны партии это является соблазном использования Церкви в качестве орудия в борьбе за власть, а со стороны Церкви — это риск утраты ее универсального и трансцендентного характера по отношению ко всем группам, имеющим различные интересы. Партии, даже те, которые по своему названию являются христианскими, в разной степени стараются реализовать существенные для христианства ценности. Обычно только некоторые из этих ценностей выходят на первый план в их программах и практической деятельности — это почти неустранимо. Партии также в разной степени способны преодолеть свою партийность — то есть свойство ставить интересы партии выше, чем всеобщее благо — благо всего общества; они не всегда могут избежать демагогии и очернительства по отношению к противникам.

Задачей Церкви является евангелизация политической жизни и, следовательно, пастырская деятельность в политической среде, независимое просветительство, формирование политической культуры церковными средствами.

9. Чтобы Церковь могла эффективно влиять на построение глубокой демократии, она сама должна быть примером такой демократии. Но возможно ли это? Ведь она является иерархической структурой. Церковь — это не парламент и не общественная организация, избравшая своим патроном Иисуса из Назарета. Иерархическая структура Церкви необходима, так как через нее осуществляется передача учения и духовных даров, исходящих от Главы Церкви — Христа. Но одновременно и в Церкви необходима своего рода демократия; это нужно для развития ее членов, которые участвуют в ее миссии и несут за это каждый свою часть ответственности. Они не могут достичь зрелости как христиане, оставаясь только объектами евангелизации, не могут стать ее субъектами без инициативы и ответственности, а без них Церковь не может стать во всей полноте общиной семейного характера, а именно эта полнота выражает сущность Церкви.

Таким образом, иерархические и демократические структуры в Церкви не противостоят, но дополняют друг друга. Их взаимодействие может быть ценным образом для современной западной цивилизации (оказывающей на нас все большее влияние), в которой авторитеты исчезают и расширяются антиинституциональные установки, а люди имеют склонность колебаться между равнодушным конформизмом и духом противоречия.

В нашем обществе одной из основных трудностей является также искусственно созданный коммунистической властью клерикализм. Он возник оттого, что против всякой деятельности светских католиков власти боролись особенно активно, при одновременном распространении убеждения в том, что религия является частным делом, которое не должно никак отражаться в общественной жизни. Это постепенно привело к расширению области деятельности священников, которая вышла за рамки их пастырских обязанностей. Они стали заботиться о финансовых и административных делах, а светских католиков приучали к роли наблюдателей и потребителей, дело которых — платить и защищать, а за это они будут иметь соответствующее пастырское обслуживание. Этот план, конечно, не удалось осуществить полностью, но его влияние заметно в образе мыслей многих светских католиков и священников.

10. Формирование каждого христианина требует знаний о природе человека и общества и практической общественной деятельности. Евангелизация опирается на свидетельство всей жизни, на апостольское слово и на деятельность на пользу других, на помощь людям, нуждающимся в ней, на улучшение условий жизни, в конечном счете — на преобразование всей цивилизации. Поэтому в катехизации любого уровня и в обычной пастырской деятельности необходимо и общественное просвещение (одна из самых лучших проповедей о труде, которые я слышал, была обращена священником Юзефом Тышнером к детям из детского сада). Этот метод должен формировать привычку к самосовершенствованию также и в группах, что само по себе является повышением демократической культуры.

Практика общественной деятельности начинается в приходе с проявления инициативы, хотя бы в малых делах, и с участия в работе разного рода групп и советов. Это приводит одновременно к расширению кругозора, строительству прихода как общины, а Церкви — как объединения таких общностей, участием в развитии общества. Такая деятельность способствует выработке определенных позиций, пробуждению инициативы и учит взаимодействию с другими.

По-настоящему церковная Церковь — общность способствующих построению свободного и солидарного Общества, а Церковь авторитарно-бюрократическая затрудняет формирование такого Общества, принося вред и самой себе.

Ю. ШРЕЙДЕР

\*

## ПОИСКИ ХРИСТИАНСКИХ ОСНОВ ДЕМОКРАТИИ

*Вместо послесловия*

Мы оказались свидетелями и (вольными или невольными) участниками краха тоталитарной структуры власти. Подобный конец был неминуем с того момента, как эта власть допустила легальную возможность усомниться в непогрешимости идеологии, на которую она опиралась. Люди начали самостоятельно читать, думать, оценивать, ошибаться... Таков горький, но целительный плод «перестройки», приведшей нас к мучительной альтернативе: либо возврат к новой идеологии и новому варианту тоталитарного рабства, либо мучительные усилия на пути к демократии, к тому, чтобы стать свободными людьми.

Тоталитаризм есть система общественного устройства, основанная на тотальном контроле поведения, мыслей и намерений всех членов общества с точки зрения их соответствия заданной модели, определяемой господствующей идеологией. Идеология требует от каждого не доискиваться до того, что истинно и справедливо, но послушно принимать то, что объявляется должным с точки зрения идеологии. Тоталитаризм нетерпим к любым проявлениям свободы. Разум он еще пытается приручить, ограничив свободу его использования, но совесть и нравственные основы общества он стремится полностью разрушить.

Тоталитаризм управляет обществом путем насилия и ограничения всего, что имеет потенции вырваться из-под его контроля. Ситуация чрезвычайного положения для него есть норма. Поощрение используется в минимальных масштабах и при условии, что это поощрение не увеличивает независимость поощряемых. Поэтому основной формой поощрения являются привилегии, которые всегда могут быть отняты вместе с жизнью и свободой. Незащищенность любого индивидуума независимо от его статуса — вот основной принцип тоталитарной системы. Ни маршал, ни премьер-министр в принципе не способны заработать себе на дачу — они могут ее только получить как привилегию (или украсть в процессе приватизации). Они такие же рабы, как и все остальные. И управлять они способны только рабами. Появление в обществе свободных людей лишило их возможности управлять так, как они только и способны. Более умные сторонники тоталитаризма, понимающие провал старой идеологии, взалкали новой — они ратуют за утверждение идеологии государственности, народности и т.п. Однако тоталитаризм остается тоталитаризмом независимо от того, на какую идеологию он опирается. Противостоят тоталитаризму может не тоталитаризм противоположного знака, но демократия.

Демократия не сводится к гласности, свободе выражения мнений, парламентской системе и другим внешним атрибутам, в которых она проявляется видимым образом. Демократия — это особая культура отношения к общественной жизни, основанная на признании фундаментального достоинства любой человеческой личности — без каких бы то ни было исключений. Эта культура выросла на религиозных основаниях, наиболее полно и последовательно выраженных в жизни и проповеди Иисуса Христа.

Не случайно наиболее чудовищные тоталитарные режимы нашего столетия опирались на агрессивную-атеистическую идеологию, на преследование религиозных убеждений и подавление Церкви. Мысль о религиозных основаниях демократии для многих читателей может показаться неожиданной.

Демократия часто понимается как прямое идейное наследие гуманистов, просветителей и Великой французской революции. Правда, из знаменитой триады «Свобода, Равенство, Братство» у нас внимание обращается лишь на первые два слова, смысл которых считается достаточно ясным. Понятие «братство» мы не только не пытаемся реализовать в общественном устройстве, но даже и не стремимся осмыслить как необходимый компонент подлинной демократии. Слишком долго и упорно в нашем обществе культивировалась ненависть к иным — богатым, чужеземцам, идеологически чуждым, опальным и репрессированным личностям и народам. Сегодня нам грозит разгул ненависти к коммунистам, но демократия строится не на ненависти, а на справедливости.

Для нашего общества, занятого поиском виновных и тех, на которых можно взвалить вину за все происшедшее, странно звучит призыв папы Павла VI создать «цивилизацию любви» на смену тоталитарным и эгоистическим потребительским общественным структурам нашего столетия.

Мы привыкли думать, что демократия есть плод революции, разрушающих наследие феодального общества и духовную власть церкви, а тоталитарные режимы возникли в борьбе против идеалов гуманизма, просветительства и социализма. Я отнюдь не намерен ниспровергать эти идеалы, будучи уверен, что в них есть свои непреходящие ценности. Но в их основаниях есть некие онтологические пустоты, некая коренная недостаточность, создавшая предпосылки их исторического переворота. Дело ведь не в том, что демократию пытаются внедрить путем кровавых революций с их бесчеловечным массовым террором, то есть абсолютно недемократическими средствами. Не надо забывать, что Гитлер (в отличие от Ленина) пришел к власти законным парламентским путем. Дело в коренном пороке, присущем безрелигиозному гуманизму и атеистическому просветительству. Этот порок очень точно формулировал в личном письме ко мне профессор Павел Григорьевич Светлов. Письмо это было написано им накануне его кончины в 1974 году и отправлено мне его вдовой Ольгой Витольдовной. Павел Григорьевич писал о том, что гуманизм основан на заповеди Иисуса Христа о любви к ближнему, но эта заповедь дана Христом вместе с заповедью о любви к Богу всей душой, всем сердцем и всем разумением. Обе эти заповеди можно найти уже в Ветхом завете (Левит, 19, 18, Второзак., 6, 5), но только в устах Иисуса они оказываются нераздельными. Так вот, основной порок светского гуманизма состоит в попытке опереться только на одну из этих заповедей, что создает потенциальную возможность бесчеловечного отношения к «дальним» ради ложно понимаемой любви к «ближним». Да и само понятие «ближнего» легко деформируется, после чего начинают уничтожаться бывшие «ближние».

Гуманизм, лишенный опоры на первую заповедь Христа, заповедь любви к Богу, не в состоянии увидеть в любом человеке образ и подобие Бога. Тем самым такой гуманизм оставляет возможность отказать любой категории людей (по классовым, расовым, религиозным или национальным признакам) в полноте человеческого достоинства. Так реализуется гуманизм, лишенный милосердия, гуманизм, который вместо заповеди любви к Богу опирается на ненависть к провозглашаемым врагам. Свято место пусто не бывает. Вот отчего так трудно осуществить «гуманизм с человеческим лицом», где демократия не превращена в наглую демагогию. Милосердие не вмещается в рамки гуманизма, оно нуждается в опоре на любовь как онтологическое основание миропорядка. Без любви к Богу исполнение Его заповедей лишается глубинного смысла. Вот почему в безрелигиозном гуманизме заключается потенциальная опасность полного аморализма, позволяющего под предлогом достижения блага ближних использовать любые средства манипулирования этими же ближними. Так гуманизм оказывается хорошей питательной средой для бацилл тоталитаризма — тотального подавления всех ради прихотей одного, узурпировавшего право выступать в качестве защитника интересов «обездоленных» и «эксплуатируемых».

Важно подчеркнуть, что гуманизм сам по себе не является ложным или дурным учением, но страдает столь существенной неполнотой оснований, что реализация его лозунгов (особенно в форме принудительного ведения людей к счастью) закономерно приводит к появлению самых страшных тоталитарных режимов.

Все это заставляет серьезно думать о том, какова должна быть природа (а не только декларации) той демократии, которая действительно способна противостоять тоталитаризму. Показательно, что подлинный успех в двадцатом веке получил не националистический или феодально-монархический тоталитаризм, но тоталитаризм, спекулирующий на принципах социальной справедливости, национального освобождения, гуманизма и веры в самодостаточность человеческого разума. Порой мы искаженно понимаем происходящее противоборство как состязание (мирное или вооруженное) между социализмом и капитализмом. Это значит только то, что мы еще в плену идеологической пропаганды, убеждавшей всех нас, что все определяется базисом: средствами производства и производственными отношениями. Сами же мы жили в условиях тоталитарного контроля производственных отношений со стороны властных структур — партийно-государственной административной системы, поставившей себя над всеми объективными законами экономики. А рыночные отношения существовали в подполье в виде спекуляции, взятки, черного рынка. Эти законы в конечном счете восторжествовали — административно-командная система неуклонно вела страну к разорению, ускоряемому холодной войной и затратами на содержание «малых диктаторов» и просто бандитских шаяк, почтительно именуемых партизанами, повстанцами и т.п.

Но и капитализм в цивилизованных странах не означает того, что кроме погони за прибылями, кроме стихии рынка в обществе нет никаких регуляторов. Демократическое государство ограничивает власть монополий, препятствует наркобизнесу, регулирует инвестиции с помощью налоговой политики, в частности, способствует финансовой благотворительности. Конечно, капитализм в любом случае связан со свободой обладать собственностью и тем самым с экономическим неравенством. Социализм реально не приводит к равенству, хотя формально собственностью не обладает никто. Неравенство реализуется в привилегиях на пользование государст-

венной собственностью. Скажем, в голодной Кубе целый совхоз обслуживает Фиделя Кастро, а другой — его брата. Привилегии всегда могут быть отняты — это не собственность, гарантирующая владельцу определенную экономическую, а тем самым и политическую независимость. Если нет права на собственность, то нет и права распоряжаться своим трудом, ибо он может кое-как прокормить, но не может помочь приобрести собственность. Ведь привилегии даруются, а не зарабатываются.

(Впрочем, и капиталистическая экономика, не сдерживаемая демократическими структурами власти, способна приводить к аналогичному отчуждению труда, когда работник не имеет возможности воспользоваться своей квалификацией для достижения экономической независимости.)

Капитализм или социализм — это лишь экономические проявления структуры управления, а основное противопоставление лежит между тоталитаризмом и демократией. При этом тоталитаризм — это простейший механизм закабаления людей и не требует глубокого анализа. Идея, что «каждая кухарка может управлять государством», вполне справедлива именно для тоталитарных структур, позволяющих произвольно воздействовать на политику и производство вплоть до их полного развала. Тоталитаризм нуждается в некомпетентных исполнителях, в понижении уровня культуры до самого мизерного прожиточного уровня.

Все это довольно тривиально и сводится к банальным истинам — тоталитаризм требует от человека примитивности (отказ от культурных рефлексов, подавления духовных стремлений), и к этому, по сути, сводится механизм его действия и возникновения путем апелляции к люмпенским элементам во всех социальных слоях, в душах которых вместо любви к Богу (совести) зияет пустота. Так что объяснение тоталитаризма столь же банально, как его притязания. Еще Пушкин устами Моцарта заявил, что «гений и злодейство две вещи несовместные». И в этом таится опасность противопоставить тоталитаризму нечто столь же простое по своей конституции: гласность, перестройку, выборный парламент, национальную идею, приватизацию и т. п. Увы, простые средства борьбы с тоталитаризмом в конечном счете сводятся к провозглашению других разновидностей тоталитаризма, менее опасных лишь до поры до времени. Так, борьба против гитлеровской опасности заставила западные демократии забыть на некоторое время об угрозе коммунистической диктатуры в мировых масштабах.

В отличие от тоталитаризма демократия — это очень непростое понятие, а борьба за демократию — это не только преодоление внешней угрозы, но и борьба за способность каждого человека быть духовно свободным. Августовский путч делали люди с рабской психологией, способные руководить только такими же, как они, рабами. Им противостояли люди, обретшие духовную свободу. В публикуемой здесь статье С. Вилькановича отражен польский опыт обретения свободы.

Надо подчеркнуть, что в Польше тоталитарный режим воспринимался обществом как порожденный Советским Союзом. Воспоминания об убийстве в Катыни польских офицеров, представлявших цвет национальной интеллигенции, о предательской войне 1939 года, об отказе в поддержке Варшавского восстания, когда советские войска хладнокровно смотрели на его разгром с противоположного берега Вислы, и о массовых репрессиях после войны достаточно свежи в памяти каждого поляка. В этой ситуации имелись все объективные условия и для русофобии, и для тесно связанного с нею антисемитизма, ибо в правительстве многие ключевые посты занимали евреи, прибывшие из СССР, а руководитель госбезопасности Берман непосредственно работал на Берию. Тем более заслуживает уважения духовный опыт католической интеллигенции, отказавшейся от идеологии национализма и противостоявшей как русофобии, так и антисемитизму. Эти круги с симпатией относились к русской духовной культуре, публиковали и распространяли российских авторов. Именно в этих кругах возникло понимание, что подлинное освобождение Польши и создание в ней демократического общества возможны лишь одновременно с духовным возрождением России, Украины и Белоруссии.

С этим движением были тесно связаны интеллектуальные силы духовенства: католического университета Люблина, Папской богословской академии в Кракове и других центров религиозной мысли. Созданная в этой среде концепция устройства общества на христианской основе сыграла не только большую роль в объединении рабочего движения «Солидарность» с лучшими интеллектуальными силами Польши, но и сказалась в концептуальной основе энциклик нынешнего папы Иоанна Павла II, посвященных социальным проблемам.

Выдвигаемый Вилькановичем «Декалог демократии» основан на христианском учении о человеке и закономерно начинается с напоминания о том, что человек есть образ и подобие Бога. Этим сразу подчеркивается, что подлинная демократия основывается на христианской антропологии, на христианском учении о природе человека. Так, онтологические основания свободы человека состоят в том, что «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода» (2-е Кор., 3, 17). Равенство в христианском понимании — это не безликое тождество всех бездушных винтиков государственной машины, но равенство в Духе: «Дары различны, но Дух один и тот

же; И служения различны, а Господь один и тот же; И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех... Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания... Иному чудотворения, иному пророчество, иному различие духов, иному разные языки, иному истолкование языков» (1-е Кор., 12, 4 — 10).

Сущность демократии лежит не в горизонтальном (эмпирическом) измерении человека, но в его духовной размерности. Отсюда вытекает фундаментальная роль религии и Церкви в формировании демократического общества.

Будучи тесно связан с церковными католическими кругами, автор отнюдь не идеализирует существующее положение в католической церкви Польши.

С. Вильканович указывает и на необходимость демократизации самой Церкви. Речь, конечно же, идет не об ослаблении принципа церковной иерархии, но о более активном участии мирян в евангелизации общества, о том, что церковь не должна восприниматься прихожанами как «дом ритуальных услуг», но должна быть центром общей христианской жизни.

Еще в начале века проповедническая деятельность мирян из «Легиона Марии» в Ирландии вызывала некоторые сомнения в церковных католических кругах. Тем не менее эта деятельность была поддержана Римским престолом и распространилась по всему миру. Из Ватикана прозвучал призыв к «апостольству мирян», и этот призыв нашел широкий отклик во всех частях планеты. Именно это имеет в виду С. Вильканович, говоря о демократизации Церкви. В этой связи примечательна критика Вилькановичем религиозного фундаментализма, которым у нас нередко соблазняются мыслители, внезапно открывшие для себя значимость религиозных основ для существования общества и только начинающие осознавать религиозную природу фундаментальных ценностей. Мне приходилось выслушивать восторги по поводу фундаментализма (даже в варианте Хомейни) от нескольких философов, еще только сбрасывающих марксистские одеяния. В качестве примера католического отношения к этой проблеме можно привести практику ордена проповедников, основанного в 1215 году св. Домиником Гусманом на демократических началах, — все руководители ордена вплоть до генерального настоятеля избираются на ограниченный срок. К этому ордену тесно примыкает братство мирян — терциариев. Демократичность доминиканской организации прямо связана с присущим этому ордену (давшему трех докторов Церкви — св. Альберта Великого, св. Фому Аквината и св. Екатерину Сиенскую — из пятнадцати живших во втором тысячелетии) культивированием философско-богословской мысли. Недаром концепция социального устройства, выраженные в энциклике Льва XIII «О новых вещах» и в энциклике Иоанна Павла II «Сотый год», вырабатывались в доминиканском богословском факультете Фрибурга (Швейцария) и в Римском доминиканском университете «Ангеликум». Серьезная мыслительная деятельность возможна лишь в демократической среде, состоящей из духовно свободных личностей, способных критически воспринимать любые традиционные или ультрасовременные мнения признанных авторитетов. Опыт существования демократических структур в католической Церкви отнюдь не является новинкой.

Новостью для широкого общественного сознания может оказаться лишь то, что принципиальные основы современной демократии разрабатываются в недрах католической Церкви, которую либеральное сознание представляло себе как оплот окостеневших феодальных структур. Более того, стандартная либеральная критика коммунистического тоталитаризма очень часто основывалась на совершенно неправомерной аналогии последнего с церковной иерархией. Статья С. Вилькановича поучительна еще и тем, что она способствует разрушению этого нелепого стереотипа.

Наконец, важно предупредить об опасности связать новую концепцию демократии исключительно с католической традицией, подобно тому как некоторые наши теоретики связывают капиталистическое развитие с протестантским сознанием, неправомерно аргументируя этим невозможность рыночной экономики в условиях православной России. Подлинная демократия никак не связана с особенностями католической традиции. Более того, ее основания вполне соответствуют фундаментальным представлениям любой монотеистической религии о неразрывной связи человека с Богом.

Другой вопрос, что нам еще предстоит глубокая разработка проблем демократии применительно к конкретным условиям нашей страны с ее тяжелейшим наследием...



---

---

# ПУБЛИЦИСТИКА

ЛЕВ СИМКИН

\*

## ЗАКОН И ПРАВО

*Судебная реформа в прошлом и настоящем*

«С тоял тот дом, всем жителям знакомый...» Суд получил его в наследство от бывшего горкома, когда наше подмосковное Перово поглотила столица. Дом выходил окнами в парк, где памятники вождям, разделенные помпезным порталом, протягивали друг другу руки. Потом один из них сменила гипсовая ваза, немного странно выглядящая на высоком постаменте. Позже мне довелось здесь работать, и о былых временах напоминали обшарпанные кожаные кресла в кабинетах, прежде занятых отцами города.

Партийная власть, переселившись в современный белокаменный дворец, не оставляла суд без внимания. Помогала все больше советами — деньгами реже. Фасад изредка красили и подновляли, но уже тогда выходить на балкон, обрамленный фальшивыми полуколоннами, было небезопасно. Двадцать лет спустя столь же привычными стали протекающие потолки и осыпавшаяся штукатурка. Воду отключили несколько лет назад, а в прошлогоднюю холодную осень — отопление. Только падающие на голову кирпичи и проваливающиеся полы заставили опечатать здание и приступить к ремонту.

Вот почему этой зимой жителям полумиллионного района Москвы негде было расторгнуть брак или разделить жилплощадь, некуда нести жалобу на чиновника, ущемляющего чьи-либо права. Думаю, особенно нелегко давалось ожидание суда тем, кто обвинялся в совершении уголовных преступлений.

В Тюмени той же зимой с одним из караульных на судебном процессе случился обморок. Замеры проб воздуха показали немыслимое содержание аммиака и сероводорода — по вине, извините, неисправной канализации. И этот суд пришлось закрыть.

Неудобно писать о низком, собираясь говорить о правовом государстве. Да вот беда, под эти разговоры разрушаются прежние государственные структуры, одновременно нарушая всю систему юридического жизнеобеспечения.

Рассказываю вовсе не для того, чтобы еще раз пнуть прогнивший фасад отечественного правосудия. Читателю и без меня известно, что за ним не все благополучно. Но другой юстиции у нас нет. И если рухнет эта, многие будут погребены под ее останками.

Обветшавшие здания — полбеды. Хуже будет, если и они опустеют, покинутые тремя основными действующими лицами нашего правосудия — профессиональным судьей и двумя народными заседателями. Первый из них попал под пресс «ревтрибунала» толпы, политических амбиций депутатов, угроз преступного мира. Все той же зимой горели костры из судебных дел в Цхинвали, красноярские судьи на своей конференции требовали выдать им оружие, а судьи из подмосковного Одинцова бастовали, отчаявшись получить нормальное жилье. Что же касается двух других — народных заседателей, — то они не приходят вовсе. Их прошлогодние выборы оказались сорванными: в Москве избрано не больше половины от нужного числа, в Ленинграде — треть. Да и тех не дозвешься.

Описание событий одной отдельно взятой зимы, надеюсь, даст некоторое представление о том, что происходит в судебной системе. Еще в прошлом году она выглядела получше двух других ветвей государственного древа, состояние которых, увы, точнее всего отражают газетные штампы «война законов» и «паралич исполнительной власти». Нынче судебные дела разбираются с перебоями, в чем нетрудно усмотреть прогноз вполне возможного грядущего, в котором от прежнего правосудия отказались за ненадобностью, а к строительству нового суда так и не приступили.

У читателя может возникнуть недоумение, почему столько беспокойства именно о суде в условиях угрозы всему нашему государственному устройству, когда, по выражению Кронида Любарского, «распался самый фундамент здания, которое казалось столь величественным, и, лишенное опоры, оно рухнуло». Но если мы все



же выбираемся из-под его обломков, нет ничего более важного, чем внести в бурную жизнь общества правовое начало. Только праву дано обуздать конфликты и противоречия, остановить неотвратимую, казалось бы, смуту. Ту самую смуту, от грозной тени которой люди разбегаются из страны. Одни — не надеясь на защиту от погромов. Другие — не рассчитывая найти на родине правовую (а значит, справедливую) оценку своего труда. Третьи — опасаясь произвола властей, бессудных ли казней, расстрелов ли на площадях.

В иных странах люди могут позволить себе не задумываться об устройстве суда, как, впрочем, и других частей государственной машины. Станислав Лем как-то сравнил государство с «мерседесом»: «Человек садится, едет куда хочет и даже не задумывается, что там у нее внутри и как устроен двигатель. Он может этого просто не знать, это его не касается». Происходит это оттого, отчего люди не замечают воздуха, которым дышат, — право служит столь же естественной средой их обитания. Мы же не замечаем суд совсем по другой причине. Он попросту непричастен к наиболее волнующим общество конфликтам, которые именно по этим причинам не находят своего логического завершения. Скажем, 2-й съезд народных депутатов осудил применение насилия против демонстрантов в Тбилиси (апрель 1989 года), однако это «осуждение» не имеет ничего общего с подлинным осуждением. Не было суда и после январских (1991) событий в Вильнюсе, хотя кому же еще принадлежит право сказать, можно ли прибегать к оружию «для прекращения телепередач антисоветского содержания». Суду принадлежит особая роль в государстве, которое принято именовать правовым. И если он не займет достойного места, не заживем достойно и все мы. Эта мысль вовсе не является преувеличением, однако нуждается в пояснении, так как смысл слов «правовое государство» для многих не только не прояснился, но, наоборот, затуманился от частого и не всегда вразумительного употребления. Между тем идея правового государства существенно отличается от привычных нам идеологических представлений, никак не стыкуясь с обязательной «социалистической» приставкой.

Для того чтобы ее постигнуть, нужно прежде всего попытаться иначе взглянуть на сущность государства, увидеть в нем не «машину для поддержания господства одного класса над другим» (Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 39, стр. 73), а, напротив, средство преодоления противоречий между различными общественными слоями, путь достижения социального компромисса. Найти такой путь невозможно без правосудия. Но тогда и при его оценке придется исходить не из задач борьбы с чем бы то ни было, пусть даже с преступностью, а из роли суда как хранителя гражданского мира. Напомню забытый у нас институт мировых судей — представителей государства, призванных охранять общественный мир, принося его людям с помощью правосудия.

Иной взгляд понадобится не только на государство, но и на право. Право, не сводимое к закону, о верховенстве которого ныне широко объявлено. «Все должны исполнять законы» — эти слова сами по себе мало чем отличаются от знакомых заклинаний о социалистической законности. Нет, право выше закона, оно может и не вмещаться в его рамки. Критерий правомерности закона — его справедливость, соответствие нравственным и правовым идеалам, прежде всего идее прав человека, естественных и неотъемлемых. Закон дается государством и потому может нести в себе произвол, тогда как права человека принадлежат ему изначально. Суд же является защитником этих прав, включающих и свободу слова, и право частной собственности, и другие нормальные права гражданина в нормальном государстве.

Но такая роль суда возможна лишь при одном условии — если он имеет реальную власть. Не станем преувеличивать ее объем, ведь в ся власть в правовом государстве не принадлежит никому, будучи распределенной между законодательной, исполнительной и судебной ее ветвями. Сдерживая друг друга, они предотвращают возможность непомерного усиления какой-либо одной из них, сводят на нет вероятность произвола.

У нас в стране пока нет судебной власти — но не ее одной. Ведь мы только начали строительство государства, понимаемого таким именно образом, на полупустом месте, где прежде правила из своеобразного правового подполья партokratия, которая, по мнению известного политолога А. Авторханова, вообще не может опираться на какие-либо писанные законы.

Тем не менее о судебной власти говорить пока вообще не приходится. Принято три десятка союзных законов, расширяющих возможности судебной защиты (о собственности, аренде, земле и т. д.). Однако граждане не спешат в суды, привычно продолжая искать правду в других коридорах власти. Не верят в самостоятельность и независимость правосудия, атакуемого нынче со всех сторон, ставшего едва ли не более зависимым, чем прежде. Вот где камень преткновения судебной реформы. Почему же она вновь и вновь спотыкается на одном и том же месте? Для того чтобы

ответить на этот вопрос, решусь на небольшой исторический экскурс, прочертив некоторые сквозные линии российской истории.

История судебной власти в России — это скорее история безвластия судов, на протяжении столетий неразличимых с иными властями. Но одновременно это история попыток изменить положение вещей с помощью судебных реформ. Мы изредка вспоминаем одну из них — 1864 года, хотя ей предшествовали другие. И, самое поразительное, каждая из них преследовала одну и ту же цель — дать России самостоятельное правосудие, отделить суд от администрации. Российские реформаторы понимали (в большей или меньшей степени), что процесс модернизации всего государственного устройства немислим без выделения судебной власти. Но — такова загадочная особенность русской истории — вслед за каждым преобразованием судебной системы следовал откат, контрреформа. Отчего? Удастся ли теперь избежать этих зловещих спутников реформы? Может быть, попытаться извлечь уроки из прошлого, если, разумеется, история вообще чему-либо учит?

Слияние суда с управлением имело на Руси глубокие корни. Древнерусский князь был одновременно судьей, как и княжеские посадники и тиуны. По мере создания централизованного государства судебная власть переходила к царю, боярской думе и приказам, а на местах — к наместникам и волостелям. Существовали судьи «с докладом» и «без доклада»: решения первых утверждались государем, вторых — могли быть ему обжалованы.

Конечно, и на Западе монархи самолично вершили суд — феодализм вообще связан с обязанностью сюзерена ограждать своих вассалов не только мечом, а и судом. Но постепенно их неограниченное, казалось бы, самодержавие ограничивалось судами, все более и более обретавшими независимость. Русские цари имели власти куда больше, здесь «совмещение постов» стало прочной традицией. Не станем искать объяснений этому обстоятельству, их может быть великое множество — от географических (чем больше территория, тем чаще на ней утверждаются тиранические режимы) до исторических (сказалась азиатчина, привычки, обретенные при монгольском иге).

Суд всегда был источником дохода для князя, в пользу которого шли виру, продажи и прочие штрафы. Постепенно княжеский суд превращался на местах в суд его наместников, получавших в кормление уезды и волости. Уже не только князь, но и они были заинтересованы в получении судебного прирбытка. Кто знает, быть может, из тех времен идет традиция продажного суда, не удающаяся поныне?

Естественно, кормленщики действовали в ущерб интересам государства. В многочисленных челобитных московским царям говорилось об учиняемом ими разбое, повлекшем немало восстаний. Первым монархом, бросившим им вызов, был Иван Грозный. Я имею в виду изданный в начале его царствования Судебник 1550 года, вызванный к жизни, однако, не столько творимыми на местах несправедливостями, сколько интересами московского правительства.

К середине XVI века для центральной власти стала очевидной непригодность прежних учреждений к решению новых задач — выхода из хаоса раздробленности и превращения в единое государство, что требовало ограничить власть кормленщиков. В эти годы публикуются проекты государственных преобразований Ивана Пересветова, непримиримого врага кормленого суда. В своих сочинениях, переданных Ивану Грозному, он ставил ему в пример «неверного царя» — турецкого султана Махмета, который разослал по стране «верных своих судей», дал им жалованье, «а присуд велел имать на себя в казну, чтобы не искушались». Эти идеи не могли не влиять на окружение молодого Ивана — Избранную раду, в составе которой были такие известные политики, как священник Сильвестр, предполагаемый автор «Домостроя», Андрей Курбский, Алексей Адашев. Последний знал тогдашний суд не понаслышке, он принимал челобитные от обиженных, впоследствии по поручению царя участвовал в подборе судей.

Судебная реформа Ивана Грозного заключалась прежде всего в изъятии у кормленщиков права рассматривать дела о «лихих людях, татях и разбойниках» и передаче его губным старостам — первым профессиональным судьям на Руси. Пошлин в их пользу не полагалось. Судебник также вводил в суд целовальников, обязанных целовать крест, чтобы «судити в правду». Они, представляя население, считались носителями мирской совести и были обязаны наблюдать за правильностью судопроизводства. Последнее имело истоки в древности, когда народ участвовал в осуществлении правосудия. Дольше всего он не сходил с судебной сцены в северных землях: до XIV—XV веков.

Реформа 1550 года коснулась главным образом устройства судов, тогда как судопроизводство оставалось на допотопном уровне. Главным «процессуальным» средством губных старост была пытка. Судебник, кроме того, предусматривал судебный поединок, или поле, когда окончательное решение дела предоставлялось оружию. В основе идеи поля лежала вера в то, что победит тот, чье оружие благословил Бог.

И все же без отделенного от администрации суда не может быть сколько-нибудь справедливого процесса, и следует отдать должное первой такой попытке в русской истории. Увы, ее век был короток. Вскоре Грозный обрел главный постулат своего царствования: «...жаловать своих холопей вольны мы и казнить их вольны же». Страну покрыл мрак опричнины, под которым творились многочисленные бессудные казни.

Опричнина, а впоследствии Смута вдребезги разбили государственный механизм. «Когда зашаталась вся страна, — пишет историк права Ю. Готье, — центральное правительство для поддержания своего авторитета прибегло к средству, к которому обращались в подобных случаях правительства всего мира и всех времен: оно ввело в провинции военное положение» («Судебная реформа». М. 1915, т. 1, стр. 184). При Михаиле Романове воеводы стали назначаться во все крупные города, а не только в пограничные, как прежде. Им подчинили губных старост, возложив на тех наряду с судебными обязанностями сбор пошлин и губных податей. А затем воеводы попросту отобрали у них судебную власть, что означало возвращение к местничеству со всеми вытекающими последствиями. Фактически возобновилось кормление, только уже не как государственный институт, а как злоупотребление.

С. М. Соловьев в своих трудах приводит выдержки из расходных книг земских старост, через которые шли деньги на кормление воевод: «1 сентября несено воеводе: пирог в 5 алтын, налимов на 26 алтын... Воевода для Нового года позвал обедать, за эту честь надобно заплатить, и староста несет ему в бумажке 4 алтына, боярыне его 3 алтына 2 деньги, сыну его 8 денег, боярским боярыням 8 денег. И так на другой, на третий, четвертый день» (Соловьев С. М. «Чтения и рассказы по истории России». М. 1990, стр. 301).

Все это означало контрреформу, завершившуюся с принятием при Алексее Михайловиче Соборного уложения 1649 года, почти треть которого составляли статьи о суде. Его целью декларировалось, «чтобы Московского государства всяких чинов людям, от большого до меньшего чину суд и расправа была во всяких делах всем равная». Однако фактически с этого момента губной суд полностью утратил свою самостоятельность, став принадлежностью управления, — у губных старост появилось в Москве начальство в виде Разбойного приказа и его бояр.

1719 год. Следующая попытка судебной реформы связана с именем другого царя-реформатора — Петра I, а также первого президента юстиц-коллегии А. А. Матвеева и состоящего на русской службе иностранца, «присяжного сочинителя проектов» Генриха Фика. За образец было взято шведское судостройство — Петр не чурался заимствовать у победенных. Впервые на Руси были созданы особые судебные учреждения — надворные и городовые (или земские) суды, независимые от воевод и губернаторов. Однако Петр воспринимал эти нововведения скорее как своего рода разделение труда в управлении, чем как становление самостоятельного правосудия. Для вершения политических дел была создана Тайная розыскных дел канцелярия, в ее работе Петр принимал самое активное участие.

Сразу после смерти Петра, при Екатерине I, контрреформа уничтожила малейшие плоды его преобразований: надворные суды были ликвидированы, судебная власть вернулась к губернаторам и воеводам. В последующие полвека на слияние суда с администрацией никто не покушался.

Недолгой была история и третьей судебной реформы (1775). Екатерина II прекрасно знала, что такое разделение властей и почему нужен независимый суд: идеи Монтескье нашли прямое отражение в ее знаменитом «Наказе». Но она не могла не понимать и того, что ее неограниченное самодержавие исключает саму возможность судейской независимости. Отсюда вся непоследовательность судебной реформы. Отделенные от администрации суды были созданы, однако стремление Екатерины сделать из начальников губерний государево око привело к наделению их безграничными правами: назначать и сменять судей, утверждать приговоры в порядке надзора, приостанавливать их исполнение. Кроме того, для каждого сословия был создан свой суд, в результате чего правосудие нередко приносилось в жертву интересам дворянства или, скажем, купечества.

После Великой французской революции, напугавшей Екатерину, начался поворот к контрреформе. Последние годы ее царствования оставили больше следа благодаря «кнутобойцу» Шешковскому, в руках которого оказались наиболее последовательные сторонники реформы — Н. И. Новиков и А. И. Радищев.

«Дней Александровых прекрасное начало» ознаменовалось императорским указом 15 марта 1801 года (на второй день по вступлении на престол) о возвращении свободы всем осужденным по делам Тайной канцелярии. В их числе был и коллежский советник Радищев. Тогда же была создана комиссия по составлению законов. Благодаря входившему в ее состав Сперанскому комиссия пришла к выводу о необходимости отделить суд от администрации, отказаться от возможности пересмотра дел верховной властью. Но выводы комиссии никем не были услышаны. В 1819 — 1820 годах шла работа над проектом конституции. Ее члены — Н. Н. Но-

восильцов, П. И. Пешар-Дешан, П. А. Вяземский — сознавали неизбежность коренных преобразований в правосудии. В составленной ими «Государственной уставной грамоте Российской империи» говорилось: «Суды и лица, носящие звание судей, в отпращивании обязанности, на них возложенной, действуют по законам и независимо ни от какой власти». В связи с этим обосновывался вывод о несменяемости судей. Однако к этому времени Александр отказался от идеи каких-либо реформ правосудия вообще.

Необходимость судебной реформы осознавали декабристы. В «Русской правде» Пестеля выдвигалось требование суда присяжных, судебных гарантий при аресте, ликвидации внесудебной репрессии. А. А. Бестужев в письмах к Николаю I из тюрьмы утверждал, что юстиция брошена на произвол людей, алчущих лишь своей прибылью.

В первой половине XIX века взяточничество в судах достигло небывалых размеров. Даже министр юстиции граф Панин вынужден был в силу обычая дать сто рублей судебному чиновнику, оформлявшему рядную запись в пользу дочери министра. Драматург Сухово-Кобылин, ставший одной из жертв дореформенного суда, вложил в уста своего персонажа Кречинского рассуждения о «капканной» взятке: «...производится она по началам и теории Стеньки Разина и Соловья Разбойника; совершается она под сению и тению дремучего леса законов, помощью и средством капканов, волчьих ям, и удилиц правосудия, расставляемых по полу деятельности человеческой, и в эти-то ямы попадают без различия пола, возраста и звания, ума и неразумия, старый и малый, богатый и сирый...»

Положение усугублялось благодаря нищенским окладам служащих правосудия. М. Е. Салтыков-Щедрин, отдавший годы государственной службе, рассказывал, что «о секретарях (судов) говорили «мерзавцы», а о писарях: «разбойники с большой дороги» и боялись их. Да, впрочем, и можно ли не опасаться людей, которые получали полтинник в месяц жалованья?»

Вообще отношение государства к правосудию середины XIX века во многом напоминает ситуацию конца века нынешнего. Суды располагались в жутких помещениях — по воспоминаниям адвоката П. А. Потехина, «в четвертом этаже на втором дворе по черной лестнице». Часто не на чем было писать — «в иных палатах канцелярской суммы не достало бы и на десятую часть всей бумаги, которая употребляется в дело». (Нынешние председатели судов, вынужденные заниматься поиском возможностей для ремонта и бумаги для судебных документов, недалеко ушли вперед...)

В 60-е годы наступило время реформ. Одновременно пришло понимание всей взаимосвязи социальных изменений с состоянием правосудия, их физической невозможности при наличии рабски зависимых от властей сословных судей, творивших произвол под покровом тайны бумажного производства и компенсировавших нищенские оклады непомерными взятками. «Преобразование судебного устройства в России, — писал Иван Аксаков, — есть неотразимое последствие недавнего освобождения крестьян от помещичьей зависимости». Последовав за великим актом освобождения крестьян, судебная реформа поставила целью «водворить в России суд скорый, правый, милостивый и равный для всех подданных... возвысить судебную власть, дать ей надлежащую самостоятельность и вообще утвердить в народе... то уважение к закону, без коего невозможно общественное благосостояние и которое должно быть постоянным руководителем действий всех и каждого, от высшего до низшего» (из императорского указа Сенату от 20 ноября 1864 года).

Сама постановка таких задач свидетельствовала о крупных сдвигах в сознании государственных деятелей. Отцам Великой судебной реформы 1864 года — С. И. Зарудному, Н. А. Буцковскому, Д. А. Ровинскому и другим — принадлежит заслуга подготовки русских судебных уставов, не уступавших, по общему признанию, лучшим европейским кодексам. Они были изложены так, что их понимал каждый грамотный человек. Реформа означала не только отделение судебной власти от исполнительной и введение суда присяжных, с чем ее привычно связывают, но также гласность и состязательность правосудия, создание разветвленной судебной системы и ликвидацию экстраординарных судилищ. Установление несменяемости и реальное повышение статуса судей стало лучшим способом обеспечения их независимости.

Это означало и поворот в общественном понимании права. Начался приток студентов на юридические факультеты, в 70-е годы они составили больше половины всех обучающихся в университетах. Появились новые направления в юриспруденции, на небывалую высоту поднялось русское судебное слово. В людях пробуждалось правовое сознание. «И это пробуждение и сознание за собой прав, — писал в 1915 году юрист Николай Давыдов, — явилось не под влиянием школы, не вследствие чтения книг, а оно зародилось в камере мирового судьи, в канцелярии судебного следователя, в зале судебных заседаний с участием присяжных заседателей».

Меньше четырех лет готовилась реформа, а ее результаты ощущались на протяжении полувека. Не все потом складывалось гладко, путь реформы не раз тормозили.

с 80-х годов началось движение вспять: судебными функциями наделили земских начальников, вновь стали возникать чрезвычайные суды, доходило даже до создания военно-полевой юстиции (1905). Но существовал идеал, который было кому отстаивать.

Главный удар по реформе был нанесен в 1917 году. Всякая революция отвергает какие-либо реформы как частные улучшения режима, подлежащего тотальному уничтожению. Конечно, в период становления Советского государства вряд ли кто-либо из его отцов-основателей четко представлял себе организацию правосудия в обещанном народу царстве свободы. Однако уже тогда большевики имели твердую позицию относительно ликвидации дореволюционного суда и строительства новых судебных учреждений как орудия власти пролетариата. В отличие от тех, кто признавал русские судебные уставы одними из лучших в Европе, В. И. Ленин видел в российском судопроизводстве лишь «гнусную комедию», разыгрываемую «лакействующими перед буржуазией» чиновниками. В известном смысле Октябрьская революция явилась отрицанием Великой судебной реформы, то есть контрреформой.

После Октября не прошло и месяца, как старые суды были ликвидированы декретом от 24 ноября 1917 года, подписанным председателем Совнаркома, минуя законодательный орган — ВЦИК. Чем объяснялась такая поспешность? Не тем ли, что Наркомат юстиции был обещан левым эсерам на случай их вхождения в правительство, а те признавали необходимость автономности судебной системы и независимости судей? «Русская революция, — сокрушался левый эсер А. Шрейдер, назначенный в 1918 году заместителем наркома юстиции, — должна была сохранить в основе Уставы 1864 г.». Большевики «буржуазных предрассудков» не признавали. Вот почему они взамен разветвленной системы дореволюционной юстиции ввели местный суд — тройку из судьи и заседателей, избираемых Советом. Однако доверив ему лишь незначительные дела подсудности прежних мировых судов. Более серьезные стали рассматриваться революционными трибуналами, созданными в 1917 году «для борьбы против контрреволюционных сил». Постепенно их компетенция расширялась — «карающий меч пролетарской диктатуры» (как называл трибуналы Николай Крыленко) обрушился на головы многих и многих: «трусов и шкурников, уклоняющихся от мобилизации», виновных в «прикосновенности к белогвардейским организациям» и даже в «созыве населения набатным звоном в контрреволюционных целях». Трибуналы, пополнявшиеся за счет кадровых партийцев, могли назначать любые меры наказания, приводившиеся в исполнение немедленно. Чтобы у читателя не оставалось сомнений о природе этих органов, приведу ленинскую записку, адресованную в январе 1922 года одному из руководителей ВЧК, И. С. Уншлихту: «Гласность ревтрибуналов — не всегда, состав их усилить «вашими» людьми, усилить их связь (всяческую) с ВЧК, усилить быстроту и силу их репрессий». Что же касается самой ВЧК, то свидетельства ее деятельности на ниве правосудия хорошо известны (см., например: Мельгунов С. П. Красный террор в России. М. 1990).

И дореволюционное время знало экстраординарные судилища. Один из их активных противников, писатель Владимир Короленко, которому удавалось при царской власти спасать обреченные жертвы военных судов, писал в 1920 году наркому Анатолию Луначарскому: «Много... творилось невероятных безобразий... но казни без суда, казни в административном порядке — это бывало величайшей редкостью даже и тогда». Нарком не ответил на письма писателя. Зато в свойственной ему поэтической манере высказался на этот счет публично: «Долой суды — мумии, алтари умершего права, долой судей — банкиров, готовых на свежей могиле безраздельного господства капитала продолжать пить кровь живых. Да здравствует народ, создающий в своих кипящих, бродящих, как молодое вино, судах право новое — справедливость для всех, право великого братства и равенства трудящихся».

Что стоит за этой патетикой? Согласно декрету о суде № 1 законы свергнутых правительств отменялись, а суды должны были руководствоваться новыми декретами, в случае же их отсутствия — революционным правосознанием. Новых декретов явно не хватало, и, главное, они страдали известной односторонностью. Государство стремилось создать законы, нацеленные на борьбу с контрреволюцией, саботажем, дезертизмом, а не столь значимые вопросы защиты граждан отдавались на откуп революционному правосознанию. Последнее, правда, немногим отличалось от намерений участников самосудов, число которых заметно выросло. И. Бунин с ужасом рассказывает, как в одном из тамбовских сел «судили двух воров и приговорили их к смертной казни на основе собственного уложения о наказаниях: „Если кто совершил кражу или кто примет краденое, то лишит жизни“» (Бунин И. Окаянные дни. М. 1990).

Впрочем, русский бунт имел немало общего с террором Французской революции, с которой сравнил ситуацию известный в те годы публицист Алексей Громов. В одной из его статей упоминаются «зверские ежедневные самосуды», и в частности «выборгские издевательства над офицерами, когда их бросали с моста в воду». Официальная советская история сохранила упоминания о Выборгской стороне

Петрограда по близкому поводу. В фильме «Выборгская сторона» обаятельная молодая женщина, судья в комиссарской куртке, судит «по совести», несмотря на возражения явно несимпатичного адвоката из «бывших», по мнению которого такая форма суда сохранилась лишь у первобытных народов.

Существует достаточно распространенная точка зрения, что не следует здесь искать корни последующей деформации судебной системы, которой якобы та была подвергнута в 30-е годы. По мнению ее сторонников, следует учитывать специфику момента — гражданской войны (развязанной, кстати, теми же большевиками). Но ведь в основе их обеих лежит нечто общее — отказ от правовых принципов, принесение их в жертву политике. Уже тогда принимались и неукоснительно применялись судами законы, карающие за то, что ни при каких условиях не может считаться преступлением. Например, за инакомыслие. Не кто иной, как В. И. Ленин указывал: «...за публичное оказательство меньшевизма наши революционные суды должны расстреливать, а иначе это не наши судьи, а бог знает что».

Так создавались суды, которым можно было диктовать, и именно это стало фундаментом правосудия при последующем тоталитаризме — на месте разрушенных представлений о судебной власти. Тоталитарная система никакой судебной власти не допускает вовсе.

Незавидное положение управляемого суда характеризуется прежде всего тем, что он рассматривается не более чем винтик в государственной машине. Так, для тоталитаризма характерно представление об определяющей роли уголовной репрессии в борьбе с преступностью. Значит, надо наладить станок по бесперебойному выпуску соответствующей «продукции». Один из первых наркомов юстиции, Николай Крыленко, в 1927 году писал о необходимости «унифицировать судебную репрессию, чтобы дать в руки партии и центральной государственной власти реальную возможность управлять судами как органами репрессии».

В посттоталитарном обществе (если использовать терминологию Вацлава Гавела) в большей степени проявил себя другой аспект проблемы — воздействие на суд со стороны отдельных представителей власти не в общегосударственных, а личных интересах. С помощью суда стала проводиться местническая политика. Однако до сегодняшнего дня осталось восприятие судебной системой любого политического решения как сигнала к расширению репрессий. Те, кто применяет закон, и ныне поступают так, как хочет власть, часто и не думая сверять ее установки с правом. Речь идет не о вмешательстве тех или иных руководителей в рассмотрение судебных дел, а о готовности повернуть судебную практику в любую нужную власти сторону. Иногда даже не требуется специальных указаний — понимают с полуслова, с полунамека.

Таковы итоги контрреформ, продолжавшихся почти три четверти века. Не так уж долго, если вспомнить российскую историю. Срок жизни реформ был куда короче. Но почему все же они либо не удавались изначально, либо влекли за собой поворот на 180 градусов? Конечно, не только ошибки судебных реформаторов тому виной: суд не может быть оазисом свободы в бесправной стране.

Но и свободная страна нуждается в сильном и самостоятельном правосудии. Очевидна связь коренных судебных преобразований с процессом модернизации государственного строя. Пожалуй, это главный урок, какой следовало бы извлечь из полутысячелетнего опыта проб и ошибок. Осознать его означает понять то, что никакие политические и экономические реформы немыслимы без судебной, так же как все политические и экономические права гроша ломаного не стоят без их судебной защиты.

А коли так, то ничем не объяснишь, что нынешние изменения в политике и экономике (действительные или мнимые — это другой вопрос) у всех на устах, а судебная реформа остается на обочине весьма острого сюжета нашей жизни. Вроде бы она идет сама по себе, не требуя общественного интереса. Да идет ли? Процесс разрушения старой судебной системы, верно, начался, но скорее не реформационным, а революционным, стихийным путем. И на ее обломках пока не заметно нового строительства. Отдельные кирпичи, правда, кладут — на глазок, иногда вкривь и вкось, без четкого проекта. Так, вразнобой принимают новые законы, касающиеся правосудия, — то противоречащие друг другу, то оставляющие зияющие провалы.

Кто конкретно занимается подготовкой судебной реформы? Все... и никто. Во всяком случае, в центральных юридических ведомствах только приступают к формированию подразделений, которые целенаправленно ведали бы ею.

Рискуя навлечь гнев коллег, скажу: наука пока не готова к решению многих вопросов реформы. Подготовка теоретических моделей новых законов идет односторонне, к большинству проблем даже не приступали. Положение усугубляется еще и отсутствием какой-либо системы учета и оценки предложений по совершенствованию законодательства, содержащихся в многочисленных научных работах. В резуль-

тате много ценного уходит в песок. Правда, немало вносится надуманных предложений, нужных лишь для придания диссертациям так называемой практической ценности...

Вряд ли можно сомневаться в острейшей необходимости анализа зарубежного опыта. Он, однако, известен лишь в самых общих чертах, тогда как подготовка реформы требует знания деталей. Что привозят из заграничных вояжей чиновники, мне неизвестно — их публикаций встречать не приходилось. Ученые же выезжают по каким угодно вопросам, только не по этим. Зарубежные специалисты (в отличие от экспертов-экономистов) не привлекаются вовсе, хотя среди практикующих на Западе адвокатов есть наши эмигранты, способные сравнить достоинства и недостатки разных юридических систем.

Конечно, законы, имеющие отношение к правосудию, принимаются и на союзном и на республиканском уровне. Но принимаются вразнобой, никто не считает на несколько шагов вперед, любой шаг может оказаться (и порой оказывается) сделанным не в ту сторону. Депутаты в большинстве своем относятся к этим вопросам как к проходным, не связывая преобразование страны с состоянием правосудия. Хотя связь эта налицо. В качестве иллюстрации расскажу об обращениях в суд за защитой чести и достоинства двух оскорбленных женщин, отделенных друг от друга восемью годами.

Когда в 1983 году вышло третье издание подлой книги Н. Н. Яковлева «ЦРУ против СССР», невозможно было представить себе, что суд станет разбирать иск оклеветанной там Елены Боннэр. Автора, поведавшего миру о том, как она избивает и обирает мужа, в суд даже не вызывали. Единственным ответом ему была сахаровская пощечина. Когда же в 1991 году Казимера Прунска узнала из двух газет КП Литвы о своем отце как командире «лесных братьев» (тогда как он умер еще до их появления), такого рода обращения в суд стали обычным делом. Необычным было решение суда, который взыскал с каждой из газет в пользу бывшего премьер-министра по 25 тысяч рублей в качестве материального возмещения за моральный ущерб. Так работает Закон о печати и средствах массовой информации.

Однако мало расширить судебную юрисдикцию — надо сам суд возвести на соответствующее место, для чего изменить устройство суда и судебную процедуру. Пока и то и другое в основном осталось в неприкосновенности.

Извечная слабость российских реформаторов заключалась в отсутствии стратегии реформ, неумении реализовать общие идеи. За одним счастливым исключением, основные этапы которого не грех и напомнить:

1861 год — Александр II поручает двум департаментам Государственного совета составить записку «обо всем, что может быть признано относящимся к главным, основным началам... устройства судебной части в империи»;

1862 год — такая записка подготовлена, после чего новым высочайшим повелением предлагалось изложить соображения о тех главных началах, несомненное достоинство которых признано... наукой. Государь обращается за содействием к науке — случай небывалый! Когда эти начала были подготовлены, их опубликование вызвало широкое обсуждение;

1863 год — в созданную комиссию по подготовке судебных уставов вошли инициативные и образованные люди, изучившие за границей западное судопроизводство. Оттуда было взято все лучшее и бережно перенесено на русскую почву;

1864 год — в течение четырех месяцев (!) представленный законопроект рассматривался в Государственном совете и после доработки департаментами утвержден императорским указом<sup>1</sup>.

Пусть опыт других судебных реформ не столь удачен, однако и его учет позволяет избежать повтора одной исторической ошибки, если понять, что те реформы носили во многом половинчатый характер, заключающийся в предпринимаемых центральной властью попытках освободить суды от вмешательства местных властей, не уступая ни пяди собственных полномочий. Но таким образом достичь поставленных целей невозможно, поскольку местная власть и есть настоящая власть, в свою очередь являясь ею постольку, поскольку связана с верхами, на чем основана вся наша политическая система. Бюрократия соединяет этажи государственной иерархии с населением. Даже существенно обновившись, она будет препятствовать судебной реформе, пока не почувствует, что центр сам отказался от вмешательства в правосудие, в первую очередь от политических воздействий. Бесконечные «перестройки» последних шести лет отнюдь не свидетельствуют о том, что центральная власть отказалась решать собственные проблемы за счет судебной системы. Ей по-прежнему

<sup>1</sup> Когда статья готовилась к печати, движение аналогичного характера как будто наметилось в Верховном Совете РСФСР, где Комитет по законодательству подготовил концепцию судебной реформы и предложил ее для обсуждения другим комитетам и комиссиям российского парламента.



свойственная традиционная черта российского политического мышления — вера в то, что с помощью законов или решений правителя можно раз и навсегда устроить общественные дела. Свидетельство тому бессчетные президентские указы, где суды сопрягаются то с борьбой с экономическим саботажем, то еще с каким-либо социальным явлением.

Последовательный подход к судебной реформе означает лишь одно — кардинально решить ее основной вопрос, вопрос о власти. Когда я размышляю, почему никак не становится реальностью многократно обещанное разделение властей, перед глазами встает картина, как делили власть на 4-м съезде народных депутатов. Сколько копий было сломано при обсуждении вопроса о соотношении ее законодательной и исполнительной ветвей. О судебной никто не вспомнил. Правда, ей кинули подачку, выбросив из конституции нелепое правило о подсчетности судов Советам. Как будто раньше было непонятно, что правосудие не должно перед кем бы то ни было отчитываться, — иначе это не правосудие. В остальном же судебная власть осталась на задворках.

Признание судебной власти означало бы признание государством своих долгов перед ней. Судебная система дает в бюджет миллионные доходы (за счет госпошлины, штрафов), почти ничего не получая взамен. Постыдные условия ее существования прежде оправдывались сложной международной обстановкой, нынче ссылаются на внутренние трудности. Эти аргументы настолько въелись в сознание, что мы никак не можем представить себе иную логику отношения к правосудию.

Увидев современные судебные дворцы в ФРГ, один из моих коллег спросил у чиновника, отвечающего за финансирование судебной системы: «Если необходимо построить здание для суда и дом для бездомных, чему вы отдадите предпочтение?» Вопрос поначалу поставил нашего собеседника в тупик: «Судебных зданий у нас как будто хватает. Бездомные, правда, тоже есть, но... — тут он нашелся, — но строительство жилых домов — забота не государства, а частного предпринимательства». Может быть, его ответ не столь уж абсурден?

Судебная реформа 1864 года началась с того, что судам отдали лучшие здания. Напомню, Московская судебная палата расположилась в Кремле. По сей день в прекрасном состоянии бывшие здания судов во многих городах Западной Украины и Западной Белоруссии, занятые вселившимися туда полвека назад компартией и госбезопасностью. Может быть, правосудию они нужны не в меньшей степени?

Но почему вообще судебная система способна стать вровень с законодательной властью, если суд должен подчиняться закону и это аксиома правосудия? Каждая власть в правовом государстве ограничивается целым рядом сдержек и противовесов. Так и в основе законов лежит на столько благая воля законодателей, сколько права и свободы граждан, имеющие естественный (а не дарованный кем-либо) характер. Юридические нормы, где они находят закрепление, обычно содержатся в основном законе — конституции, которая именно по этой причине во многих странах принимается путем референдума. Контроль же за тем, чтобы законы и иные акты законодательной и исполнительной власти соответствовали конституции, возлагается на власть судебную. По-видимому, оттого, что рассмотрение возникающих в этой сфере споров наиболее эффективно в условиях гласной и состязательной судебной процедуры. Контроль такого рода может быть возложен на конституционный суд, как в ФРГ, Австрии, Италии и многих других странах. Правда, в США обходятся без него, однако там нет «войны законов» и прочих наших проблем. В России конституционный суд уже создан. Комитет конституционного надзора положил начало процессу его становления на союзном уровне; достаточно вспомнить правовые институты, признанные им неконституционными, — прописку, ограничения прав потребителя, несудебный порядок рассмотрения трудовых споров. Вопрос в другом. Как укрепить ту судебную власть, которая есть, не дожидаясь той, которая будет? Тем более что названная проблема касается общей судебной системы не в меньшей степени.

Когда некий Джонсон в знак политического протеста публично сжег американский флаг в Далласе, верховный суд штата Техас оправдал его, так как счел закон об ответственности за это деяние противоречащим первой поправке к Конституции США о свободе слова. Верховный суд США подтвердил правильность судебного решения, вызвавшего бурю недовольства американцев, включая президента Буша. Да и у самих судей оно не вызывало восторга, во всяком случае судья Антони Кеннеди заявил: «Иногда мы должны принять решение, которое нам не нравится». Возьмем на заметку спокойную уверенность судебной власти в самой возможности принять непопулярное решение. По очень простой причине: для суда защита символов государства не может быть выше свободы слова, даже выражаемой таким недостойным образом. Впрочем, судя по сообщениям нашей печати, этот сложный и болезненный для многих американцев вопрос об оскорблении национального флага до сих пор окончательно не решен.



Советский флаг почитаем нами куда меньше, чем американцами их «звезды и полосы». Поэтому недавнее повторение Валерией Новодворской поступка американского поджигателя не вызвало особого общественного негодования<sup>2</sup>. Но и ее осуждение не вызвало ни у кого ни малейших сомнений. Нет, мне вовсе не по душе ее действия. Не в чем упрекнуть и судей — они привыкли держать в руках Уголовный кодекс, а вовсе не толковать конституцию. Как приучить их не вставать навтыжку при одном лишь виде закона, а относиться к нему осмысленно? Ведь в правовом государстве именно судебной власти (разумеется, в лице ее вышестоящих звеньев) принадлежит последнее слово в вопросе о том, является ли закон правом или нет.

Когда Олег Калугин обжаловал в суде постановление Совмина о лишении его генеральского звания, у него были основания полагать, что такого постановления никогда не принималось. Он имел письменные заверения двенадцати союзных министров в том, что о заседании, где Калугина лишили бы звания, они не слышали. Кроме того, в день, обозначенный в документе, проходил пленум ЦК КПСС, и заседать Совмин якобы не мог уже по этой причине.

Судебная система не сочла возможным рассматривать эти доказательства, поскольку между ее различными инстанциями возникли разногласия, подведомствен ли суду вообще этот спор. Пленум Верховного суда СССР счел, что иск Калугина судебному рассмотрению не подлежит, ему следует жаловаться в Верховный Совет СССР. При этом была сделана ссылка на закон СССР «О порядке обжалования в суд неправомερных действий органов государственного управления и должностных лиц, ущемляющих права граждан», который позволяет обжаловать действия только органов государственного управления, а Совет Министров считался тогда «исполнительным и распорядительным органом государственной власти».

Иного мнения на этот счет был Верховный суд РСФСР. Как отметил заместитель председателя суда В. Жуйков, «гражданам право на судебную защиту предоставлено не только этим законом» (но и конституцией. — Л. С.) и «дело теперь не столько в законодательном урегулировании этой проблемы, сколько в решимости судей, усаживающихся в судебные кресла, применять закон». Не станем вдаваться в существо спора. Отметим только, что Верховный суд СССР уклонился от его решения, отказавшись толковать закон и тем самым сняв с себя ответственность за его применение.

Законодательная власть пока не признает судебную в качестве равной. Иначе никак нельзя объяснить, почему она сопротивляется установлению несменяемости судей — реальному способу обеспечить их независимость. Причем судьи покорно склоняли головы не только перед избирающими их Советами, но и перед партташаратом, не желавшим отказаться от привычки держать правосудие под колпаком. Во время прошлогодних выборов судей многие райкомы, по-прежнему относя их к своей номенклатуре, требовали согласования с ними каждой кандидатуры. И, что поразительно, председатель Верховного суда СССР счел такое положение вполне нормальным. «Без номенклатуры нам пока не обойтись», — утверждал Евгений Смоленцев в журнале «Социалистическая законность». Он лишь робко просил приподнять ее уровень: «...она должна быть, видимо, областной, а не районной». Униженное правосудие — нет зрелища печальней для юриста. Впрочем, и не юристам все ясно.

Так исторически сложилось, что партийность стала обязательным условием для занятия судейской должности. Судья просто не мог не быть членом КПСС. По мере превращения КПСС из субгосударственной структуры в обычную партию проблема утрачивает остроту. Но покуда новые партии не пожелали иметь свою «номенклатуру», в нескольких республиках приняты законы о запрете пребывания работников правоохранительных органов вообще в какой-либо партии<sup>3</sup>. В других — судьи сами начинают выходить из «рядов».

Читатель помнит, как латвийские милиционеры, расколовшись по партийному признаку, воевали друг с другом. «Теперь Рига — серьезный аргумент для тех, кто требует деполитизации правоохранительных органов, людей с оружием», — справедливо заметил Вадим Бакагин. Судьи — это тоже «люди с оружием».

Департизация судов сможет дать результат только в совокупности с установлением судейской несменяемости, лучше всего способной защитить служителей правосудия от государства, как его политики в целом, от партий и толпы, так и конкретных депутатов и чиновников, привыкших диктовать судьям.

Конечно, возникает опасение — не проникнут ли в результате этого нововведения в правосудие полутрамотные люди, от которых уже невозможно будет освобо-

<sup>2</sup> Иное дело: какотреагировали бы мы сегодня на публичное сожжение национального трехцветного флага России? (Прим. ред.)

<sup>3</sup> Уже после того, как эта статья была написана, появился указ Президента РСФСР Б. Н. Ельцина о департизации.

даться? Но во избежание этой напасти можно пойти по пути законодательства ФРГ и ряда штатов США — назначать судей первоначально на два-три года, а потом, убедившись в их квалификации, до достижения пенсионного возраста. Что же касается расширяющихся возможностей для их произвола, следует учитывать принципиальную невозможность полного освобождения судей от влияния общества, перед которым они в конечном счете несут ответственность. Независимость судей не означает, что гражданское общество и его институты не вправе предъявлять претензии судебной власти и в демократических, цивилизованных формах оказывать на суд влияние.

Когда в Англии выпустили на свободу «бирмингемскую шестерку», осужденную по сфальсифицированному полицией обвинению в терроризме, сто членов парламента подписали призыв к отставке судьи — лорда Лейна. Этот случай настолько всколыхнул общественное мнение, что была создана государственная комиссия для изучения «возможных изъянов» в хваленой английской судебной системе.

В нашей же юридической среде часто вызывает сопротивление само желание общества выяснить причины допускаемых судами беззаконий. Речь идет не о судебных ошибках — в них действительно лучше разберутся профессионалы. Я имею в виду факты прямого произвола, которым, кстати, всегда дирижирует кто-то со стороны. Зная об ответственности перед обществом, судьи, возможно, поостерегались бы следовать приказам других властей.

1-й съезд народных депутатов СССР поручил проверить обстоятельства событий 1962 года в Новочеркасске, где войска стреляли в рабочих, протестовавших против повышения цен и одновременно снижения расценок оплаты труда. Генеральный прокурор СССР спустя два года подписал документ, главный вывод которого сводится к тому, что «оружие... применялось правомерно» («Правда», 3.6.91). Оставим его на совести автора. Но происшедшее имело еще один немаловажный аспект. Допустим правоту генералов, приказавших стрелять в народ. Но ведь были и другие расстрелянные — по судебным приговорам. А о судьях (самые жестокие приговоры вынесены Верховным судом РСФСР) никак не скажешь, что они действовали правомерно. Недавно Верховный суд СССР реабилитировал десятки «зачинщиков беспорядков». Вместо невинницы генеральной прокуратуры о «допущенных судебных ошибках» следовало бы назвать имена судей-палачей. Пусть тогда они выполняли чьи-то приказы, отсутствие власти не оправдание. Суд никогда не обретет власть, если не будут нести ответственность те, кто выносит преступные приговоры. Наравне с теми, кто отдает преступные приказы.

Идея разделения властей, как уже говорилось, построена на сложной системе сдержек и противовесов. В их числе — прозрачность судебной власти. Американцам известен каждый состав Верховного суда США, каждый судья с его взглядами, консервативными или либеральными. Они тоже порой недовольны судьями, но благодаря открытости знают, кто есть кто, доверяя их принципиальности и высокой правовой культуре.

Правда, на зрелых судей может рассчитывать зрелое общество, а не то, которому традиционно представление о правосудии как о чем-то чуждом народной душе и идее справедливости. «С сильным не борись, с богатым не судись», «закон что дышло...», «от тюрьмы да от сумы не зарекайся» — вот какой образ суда сложился в народном сознании. И, заметим, не без оснований. Проводя судебную реформу в обществе с таким уровнем правовой культуры, трудно удержаться на определенной грани, не подчинившись не только свободолобным устремлениям в обществе, но и устояв перед предрассудками тоталитарного сознания, когда, например, тенденция к демократизации правосудия воспринимается как помеха в борьбе с преступностью. В той же мере опасны идеи разрушительного характера, а они всегда более популярны, чем созидательного. Для того чтобы не получили дальнейшего распространения представления такого рода, общество должно быть подготовлено к реформе.

О том, насколько состояние общества учитывается современными реформаторами, можно судить по одному примеру — введению (пока на бумаге) суда присяжных. Этот древний правовой институт рождался в момент, когда третье сословие само стремилось попасть в органы судебной власти. Мы же нынче силком затягиваем в суд людей, не имеющих ни малейшего желания там заседать. Зато это желание есть у политиков, причем как левого, так и правого толка. Если по предложению первых принят закон о присяжных, то вторые недавно также уловили в их использовании что-то свое. Один из делегатов съезда депутатского объединения «Союз» потребовал «провести серию судов над спекулянтами с обязательным условием, чтобы присяжными заседателями на них были рабочие».

Мы привыкли гордиться простотой нашего судоустройства, состоящего всего из трех-четырех звеньев. Они сегодня не устраивают нас не только оттого, что для

обретения власти их совершенно недостаточно. Смысл наличия конституционных и административных судов в западных судебных системах заключается в том, что они уравнивают иные государственные структуры, ограничивают чиновников, предотвращают возможность диктатуры. Не в меньшей степени необходимы хозяйственные суды. Возникший в годы нэпа госарбитраж мало чем напоминал дореволюционные коммерческие суды. Он был придатком исполнительной власти, наделенный судебными и частично законодательными функциями, поскольку утверждал разного рода правила и инструкции, обязательные для предприятий. Теперь, когда в хозяйственные споры могут вступать и отдельные предприниматели, нужен суд, в котором фермер мог бы поспорить с колхозом, а кооператор с налоговым органом, где можно было бы обжаловать акт любого ведомства, ущемляющий интересы участников экономических отношений.

Разветвленная судебная система многих стран включает в себя суды банкротств, по делам несовершеннолетних и некоторые другие специализированные судебные учреждения, в отличие от наших — исключительно общих. Правда, есть у нас новые суды, которые никаким законом вообще не предусмотрены. Они именуются постоянными сессиями областных и краевых судов, хотя к последним никакого отношения не имеют. Фактически это самостоятельная и, более того, замкнутая судебная система, созданная для рассмотрения дел, возникающих в закрытых городах и на режимных предприятиях. Возможно, в ее существовании есть государственная необходимость. Но пусть тогда она найдет отражение в конституции. Иначе это противоречие самой идее судебной власти, которая должна осуществляться только через обыкновенные суды, через «естественных» (как говорили во Франции еще в XVIII веке) судей.

Мы преуспели в создании единой судебной системы на всем пространстве необъятной страны, без учета национальных особенностей, традиций, культуры, веры и т. д. Между тем сами республики должны решать, какие иметь системы судов. Может быть, в западных регионах лучше приживутся присяжные, в центре — мировые судьи, а на востоке часть дел отдадут суду казиев.

Каким образом разграничить судебные полномочия между ним и субъектами федерации? Союзному государству не может быть безразлично, как на местах разрешаются дела о нарушении союзного законодательства или затрагивающие интересы других республик. Однако предложение о создании системы федеральных судов, в первую очередь для разрешения дел о межнациональных конфликтах, не находит поддержки в республиках, озабоченных своим суверенитетом. Сегодня от некоторых из них перестали поступать в Верховный суд СССР дела по жалобам осужденных. Остается другой путь — наделить Верховный суд СССР правом пересмотра лишь тех решений республиканских судов, которые будут приняты на основе союзного законодательства, делегированного республиками Союзу. Я бы добавил к ним право гражданина обжаловать туда приговоры по делам смертной казни. Как известно, при их рассмотрении местные суды подпадают под такое давление противоборствующих сил, что право Верховного суда СССР пересматривать, скажем, дела о преступлениях на межнациональной почве было бы, возможно, спасением от произвола.

Взаимоотношения судебной власти с другими правоохранительными органами должны быть построены в зависимости от того, в чем нуждается судебная система, поскольку и прокуратура, и органы юстиции и внутренних дел в конечном счете заняты ее обслуживанием. В этом термине нет ничего обидного для них — ведь речь идет об обеспечении нормального функционирования одной из трех составных частей механизма правового государства. Мы привыкли ставить суд в один общий с ними ряд. Помню, как приободрились судьи при передававшемся из уст в уста рассказе высокого начальника о том, какие изменения внес красный карандаш М. С. Горбачева в документы XIX партконференции. В дежурном перечне правоохранительных органов он переставил суды на первое место. А никто не задумался, должны ли суды вообще в нем фигурировать — или их место совсем в другом ряду, вместе с законодательной и исполнительной властями.

Судебная власть остро нуждается в организационном, материально-техническом, информационном, кадровом обеспечении. Однако органы Министерства юстиции часто не в состоянии помочь бедственному положению судебной системы, а многие необходимые судам структуры (отвечающие за охрану безопасности судей и участников процесса, за порядок в судебных заседаниях и т. п.) в них вообще отсутствуют. Функции нашего Министерства юстиции не идут ни в какое сравнение с полномочиями одноименных министерств многих других государств. Там они объединяют все учреждения, занимающиеся обслуживанием судебной власти, включая прокуратуру, состоящую при судах.

У нас же прокуратуре отводится особая роль надзорного за судом органа, хотя в правовом государстве (в отличие от тоталитарного) никакого надзора за судом быть не может. В России дело осложняется тем, что преувеличение роли прокуратуры имеет глубокие традиции, берущие начало в петровских временах, когда в ней впервые увидели «всевидящее око царев». Российский опыт никак не походил на английский, где до нынешних дней юристы, входящие в коллегии барристеров, могут выступать в суде в качестве как обвинителей, так и защитников.

Названная традиция оборвалась с реформой 1864 года и вновь была возвращена к жизни в эпоху тоталитаризма. В результате прокуратурой узурпирована такая исконная прерогатива суда, как контроль за законностью арестов. Со времен Хабеас Корпус Акта (1615) считается общепризнанным право гражданина на обжалование в суд правомерности заключения под стражу. У нас же можно жаловаться лишь прокурору, который одновременно надзирает за следствием, руководит им и поддерживает обвинение в суде.

С другой стороны, адвокатура, которой еще вчера партийные органы диктовали, кого принимать в ее состав, нуждается в укреплении независимости и самостоятельности. Когда права защитника в судебном процессе в полной мере сравняются с правами обвинителя и суд, освободившись от обвинительных рудиментов, займет единственно подобающее ему место объективного арбитра в споре сторон,— только тогда можно будет рассчитывать на защиту прав личности в правосудии.

...Приходится обрывать на середине скорбный список несостоявшихся ожиданий судебной реформы. Они станут реальными не раньше чем общество обретет уважение к самой идее правового суда. Это потребует времени, которого уже нет. Помню, как поразила меня притча времен Ренессанса, услышанная мною четверть века назад на лекции профессора З. М. Черниловского в Московском юридическом институте. «Мы попали в цивилизованную страну!»— воскликнул путешественник при виде виселицы в незнакомой ему местности. В ответ на недоуменные взгляды спутников он пояснил: если здесь есть виселица, значит, есть суд, если есть суд, то и справедливость, а где справедливость, там и цивилизация. За прошедшие столетия стало очевидно, что казни и цивилизация — не самые сочетаемые понятия. Но что касается цивилизации и суда, то все верно — одно невозможно без другого.

В России не сочиняли таких легенд. Здесь видели слишком много виселиц без суда и суд без справедливости...

Р. S. Три августовских дня, совпав по времени с подготовкой статьи к печати, не могли не сказаться на реалиях правосудия. В одночасье оказались опечатаны те кабинеты, откуда прежде шли грозные команды судам. Президент СССР отменил решения о лишении Калугина звания и пенсии. Однако правосудие, увы, к этим и другим событиям было непричастно.

Надо ли еще доказывать, сколь преступно дальнейшее промедление с судебной реформой. Если бы в свое время были осуждены другие любители вводить танки в мирные города, это могло бы предостеречь заговорщиков. Если бы мы имели не бесправный Комитет конституционного надзора, а независимый конституционный суд, на их пути оказалась бы и правовая баррикада. Право, в отличие от истории, знает сослагательное наклонение. Иначе лишена смысла разработка новых юридических норм, призванных внести разумное (то есть правовое) начало в грядущее...



АЛЛА ЛАТЫНИНА, ЮЛИЯ ЛАТЫНИНА

\*

## ВРЕМЯ РАЗБИРАТЬ БАРРИКАДЫ

О древней родословной свобод и сомнительном происхождении гильотины

**Д**вести лет назад несколько сторонников французской революции обратились к Эдмунду Берку. Защитника свободы в английском парламенте попросили высказаться в защиту начинающейся во Франции революции. Ответом Берка явились вышедшие в 1790 году «Размышления о революции во Франции».

«Я воздержусь от поздравлений по поводу новой французской свободы, — писал Берк, — пока не удостоверюсь, как она сочетается с управлением страной и правом собственности... Без них свобода отнюдь не есть преимущество, покуда она длится, — а длится она в таком случае недолго».

Откликаясь на риторику идеологов революции, оперировавших понятиями «естественных прав человека», похищенных властью, «свободы, подавленной произволом», — Берк язвительно спрашивал: «Должен ли я поздравлять разбойника с большой дороги, бежавшего из тюрьмы, по поводу обретения его естественных прав? Должен ли восхищаться людьми, которые не нашли «лучшего средства против произвола властей, нежели гражданский хаос?»»

В лице Берка не ретроград противостоял ревнителям свободы, — консерватизм противостоял радикализму. Тот консерватизм, который в начале XX века заслуженно получил эпитет «либеральный». Консерватизм, который призывает не увековечивать прошлое, а опираться на него при необходимых изменениях, ибо, по словам того же Берка, «государство без способности к самоизменению неспособно к самосохранению». Консерватизм, опирающийся на уважение к правам личности, незыблемость частной собственности и проповедующий реформирование государственных институтов в рамках этих же институтов.

Нет слова, которому меньше повезло в наших журнально-газетных дискуссиях. И это несмотря на то, что престиж антонимов — революция, экспроприация, национализация и т. п. — явно упал.

Вот едва ли не наугад.

«...Большинство консерваторов, — а так везде называют сторонников терпящего фундаментальный кризис общественного устройства, — как и до 1917 года верило, что зло от смутьянов, диссидентов, а на них управа найдется», — объясняет, к примеру, Поэль Карп смысл понятия консерватор, совмещая в своей душе симпатии к тем, кто хотел в 1917-м изменить ход истории, с симпатиями к тем, кто хочет ликвидировать последствия этого неосторожного изменения.

Консерватор, однако, — это не сторонник «терпящего кризис общественного устройства», а сторонник бескризисного развития общества.

Консерватор не хочет реформ?

Право же, давайте вспомним имена крупнейших европейских реформаторов: Ришелье, Мазарини, Кольбер, Дизраэли, Бисмарк, Столыпин... Что-то ни одного радикала: все сплошь убежденные консерваторы.

Увы! Реформ не хочет радикализм.

Для него реформаторы — врачи, лечащие гангрену припарками.

Радикалы требуют взять в руки скальпель — и берут топор и гильотину. Начинается террор: террор якобинцев, большевиков, красных кхмеров.

Если же усилий радикализма недостаточно для его торжества, их вполне может достать на то, чтобы вызвать террор всполошившихся властей. Упрекая интеллиген-

цию в «бездумном легкомыслии», с которым та готовила всеобщие стачки и военные бунты, П. Б. Струве, рьяный защитник «консервативных общественных сил, способных на государственное строительство», писал в 1909 году: теперь «государственный испуг превратился в нормальное политическое состояние, в котором до сих пор пребывает власть... Теперь потребуются годы, чтобы сдвинуть страну с этой мертвой точки».

Революция и контрреволюция одинаково противоположны реформе, ибо они подчиняются законам насилия, совершенно иным, нежели законы хозяйствования.

Консерватор считает: нет таких полезных изменений, которые внесла бы в общество революция и которые бы не могла внести реформа. И когда консерватору напоминают о революции 1789 года, уничтожившей феодализм во Франции, он вспоминает, что в те же 80-е годы реформы Иосифа II уничтожили тот же феодализм в Австро-Венгрии, — без всякого, причем, шума и крови.

Но вспоминает он и другое: что реформы Иосифа II стали на долгое время последними европейскими реформами, а дальше наступил тот перманентный «государственный испуг», в который после французской революции впали европейские государи, доселе деятельно реформировавшие свои страны в духе просвещенного абсолютизма...

Если политической реакцией на революцию является свертывание реформ, а то и движение вспять, то в сфере идей революционная утопия рождает правую утопию монолитного общества: теократическую или фундаменталистскую.

Так, реакцией на философию Просвещения, идейное обеспечение французской революции, стали блестящий Жозеф де Местр, мрачный Луи де Бональд. Мечте о законах совершенно универсальных было противопоставлено утверждение, что конституция, пригодная для всех народов, не подходит ни одному, стремлению к тотальной перекройке мира — заявление, что претензия человека на роль законодателя так же несостоятельна, как несостоятельна была б его претензия назначить различным телам их удельный вес.

Говоря о консерватизме как наиболее продуктивном мироощущении, мы не имеем в виду романтический консерватизм де Местра и Леонтьева, каковой обнаруживает тенденцию к фундаменталистской идеализации Золотого века. Речь идет о либеральном, или, если угодно, реалистическом консерватизме, который видит в ненасильственности, преемственности и постепенности главный залог духовного развития общества и никогда не отказывается от реформ, которые назрели, никогда не противится тем органическим изменениям, которые и рождают историю.

Термин «либеральный консерватизм» принадлежит С. Франку. Но само словосочетание, не говоря уже о самом понятии, родилось раньше. Достаточно вспомнить, что П. Анненков называл Пушкина либеральным консерватором.

Именно консерватизм такого рода и будут иметь в виду авторы, употребляя в дальнейшем это слово без обременительных эпитетов.

Радикализм видит в обществе неправильно работающий механизм, детали которого надо разобрать и сложить правильно. Французские просветители первыми возмечтали о создании государственной машины, «рычаги которой, несложные в управлении, не потребуют громоздкого аппарата балансиров и противовесов», — как писал один из идеологов Просвещения Кондорсе.

Простая машина была сконструирована и, по меткому замечанию Цветана Тодорова, оказалась гильотиной. Чтобы не стать ее жертвой, Кондорсе покончил с собой в тюрьме.

Консерватизм уважает личность человека и его свободу, но родословную свобод ведет от аристократических привилегий, постепенно распространяемых вширь, а не от баррикад.

Противостоя радикализму, его стремлению к строительству простых в управлении машин, консерватизм противостоит и фундаментализму, отказывающему человеку в праве вмешиваться в функционирование общества.

Радикалистская утопия призывает к прыжку в Светлое будущее. Фундаменталистская — к возврату Золотого века. Радикал — отождествляет вечное и грядущее. Фундаменталист — вечное и прошлое. Первый вручает кесарю все prerogative Бога, второй — навязывает Богу кесарево. Но у тех и у других, как замечал С. Франк, «одинаковое непонимание органических духовных основ общезития, одинаковая любовь к механическим мерам внешнего насилия и крутой расправы».

Либеральный консерватизм — не идеология, но мировоззрение. В качестве мировоззрения он подвержен воздействию времени.

Он может защищать аристократическую иерархию, увенчанную монархией, и может — буржуазно-демократические институты, принципы неприкосновенности личности и частной собственности, но он всегда противостоит унифицирующим тенденциям, столь наглядно воплощенным в социализме.

Именуя коммунистических ортодоксов консерваторами, наша демократическая пресса не задумывается, конечно же, над смыслом понятия. Однако те же самые публицисты, которые бранятся словом «консерватор», все реже цитируют Чернышевского с Добролюбовым, как, впрочем, и Плеханова с Лениным, которым было столь же ненавистно это слово. Куда чаще вспоминают Достоевского, предупреждавшего о бесовстве революции, о роковой ее диалектике: от безграничной свободы к безграничному деспотизму. Вспоминают Пушкина с его знаменитыми словами насчет русского бунта и не менее нелестной оценкой бунта французского: «Мы свергнули царей. Убийцу с палачами избрали мы в цари...»

Вспоминают даже сурового романтика охранительства Леонтьева, едва ли не с сочувствием относясь к его проклятиям «ненавистному прогрессу», неумолимо несущему с собой «проклятое равенство». Цитируют Розанова, под конец жизни объявившего о конце русской истории, об опускающемся над ней железном занавесе. А более всего, конечно, цитируют авторов «Вех», сборника, где впервые в истории русской мысли либерально-консервативное мирозерцание оформилось если не как система, то как заявившее о себе направление.

Впрочем, «Вехи» усиленно цитируют ныне, кажется, во всех лагерях. Западники и рыночники, которые хлопочут о разгосударствлении, приватизации, хотят гражданских свобод, а не принудительной справедливости, чтят «Вехи» за предсказание губительных результатов, к каким может привести общество осуществление умозрительной утопии, а исполнением задач, выдвинутых «Вехами», считают освобождение от последствий революции и возвращение к нормальному общественному развитию.

Но и в лагере, ведущем идейную борьбу с вышеобозначенным, идеи «Вех» не менее популярны. Так, Валентин Распутин в статье «Интеллигенция и патриотизм» («Москва», 1991, № 2), видя в сегоднешней национальной самокритике, стрелах, летящих в собственный народ и собственную историю, ту же наднациональность, беспочвенность и кастовость русской интеллигенции, которую обличали «Вехи», сам пафос «Вех» понимает как пафос охранительный, не задавшись вопросом: что же именно веховцы призывали охранять. В истории все оказывается ценным уже одним тем, что это прошлое, отказ от тяжкого идейного груза минувших лет рассматривается как повторное «заглушение и разрушение своего».

И тут с неизбежностью возникает вопрос: если семьдесят лет назад было разрушено пусть очень несовершенное, но все же органическое общество и осуществлен губительный социальный эксперимент, считать ли демонтаж образовавшейся системы «разрушением своего»?

А может — возвращением к своему?

Одно дело стоять за органическую преемственность с прошлым, живя в органическом обществе. Но как быть консерватору в СССР? Он за органические изменения. Но органично ли само общество? Он хочет отыскать механизмы преемственности с прошлым. Но оказывается в исторической ловушке, расставленной Октябрем, — ибо общество, возникшее в результате революции, ликвидировало эти механизмы. Налицо тягостное противоречие, о котором, в частности, писала Р. Гальцева в статье «Парадоксы неоконсерватизма», указывая на трудности «кризиса идентификации», которые испытывает современный консерватор в эпоху, когда ему нечего сохранять и когда он вынужден сменить лозунг с «сохранения порядка и свободы» на «реставрацию порядка и свободы».

Размышляя, однако, над самими идеями реставрации, нынешний консерватор не может не видеть, что реставрация прошлого, в отличие от его сохранения, может быть процессом не менее насильственным, чем революция.

На что же опереться, восстанавливая утраченную связь времен? Именно этот вопрос, на наш взгляд, выдвинулся на первое место в сегодняшнем общественном самосознании. Его открыто ставят те, кого мы привычно называем «правыми», начертавшие на своих знаменах слова «традиция», «преемственность», «заветы предков». Однако те, кто в соответствии с престижным лексиконом зачислен в «левый блок» (но хлопочет о разгосударствлении и рынке), цитируют Хайека, а не Маркса, ценят гражданские свободы, а не принудительную справедливость — хотя, в сущности, вернуть течение истории в ее естественное русло, и на поверку гораздо ближе к современным «либерально-консервативным» идеям, чем к идеям «левым», социалистическим, механистическо-распределительным.

Зеркальная, по отношению к Европе,— словно мы и в самом деле находимся в антимире — политическая терминология более или менее понятна в устах антизападника. Но не является ли первым условием вхождения в «мировое сообщество», не требующим притом решительно никаких экономических усилий, идентификация собственных мировоззренческих и политических установок, осознание их истоков и почетной родословной?

Консервативное мироощущение у нас раздваивается, и половинки его превращаются в идеологии.

«Преемственность с прошлым! Хватит исторических катастроф!» — призывает одна половина.

«Личность, свобода, собственности! Хватит уклоняться от органических закономерностей общественного развития!» — призывает вторая.

Можно ли примирить эти два суждения, которые в нормальном обществе должны дополнять, а не противоречить друг другу? Образовывать не две идеологии, а одно мироощущение?

Какую точку опоры найти в прошлом?

### Почему рокеры ломают красные звезды и аплодируют трехцветному флагу?

Статья Ксении Мяло «Погружение в небытие» («Новый мир», 1990, № 8) — одна из серьезных попыток найти механизмы преемственности с прошлым.

В самом деле, не рискуем ли мы навсегда остаться в «лакейской прихожей собственной истории», если не выработаем формулы «преодоления времени без отречения от него», как ставит вопрос Ксения Мяло?

На опасность такого рода в ее размышлениях указывает многое: и обильные цитаты, почерпнутые автором из рок-культуры, и практика андерграунда, выворачивающего наизнанку официальные ценности, что дает публицисту право отметить прорыв поэтической практики «к архаическим и мрачным истокам карнавала — к мистерии отцеубийства». И другие примеры, которые доступно умножить каждому из нас.

Достаточно вспомнить, что важнейшим культурным событием, ознаменовавшим начало перестройки, был фильм Тенгиза Абуладзе «Покаяние», отразивший скорее общественную потребность в декларативном разрыве с прошлым, нежели в покаянном акте. Выкапывание трупов отца из могилы и надругательство над ним можно вполне осмыслить в тех же культурологических параметрах, которые предлагает Ксения Мяло, — «как отцеубийство в формах вторичной смерти».

Нет сомнения, что сама тревога Ксении Мяло по поводу нашей неспособности к накоплению истории имеет под собой глубокие основания. Вопрос о возможности «духовного возрождения» через разрушение и разрыв — вопрос острый.

Да, можно понять горечь, испытанную автором в минуту, когда зрительный зал взрывается аплодисментами в ответ на не лишнее провокационности заявление молодого талантливого рокера, что тема его творчества — «профанация тоталитарного героизма». Заслуга наших отцов, защитивших отечество, «великое русское слово» в минуту, когда сама возможность национального бытия была поставлена под сомнение, ни в коем случае не может быть приуменьшена.

Война вызвала национальный подъем и в известной степени очистила воздух страны, сплотив народ, уставший от страха, чисток, доносов и взаимной подозрительности, в борьбе против реального, страшного, а не мнимого врага. Не случайно военная поэзия и военная проза наименее пострадали от установок «соцреализма».

Однако определять вслед за Ксенией Мяло войну как «манихейскую», как столкновение абсолютного добра с абсолютным злом, — значит, отринуть те сложные причины, которые вызывают не только глумление молодежной рок-культуры над «тоталитарным героизмом», но и полные горечи и боли размышления о войне многих ее участников.

Надо ли напоминать, что «силы света» не должны заключать тайных соглашений с «силами тьмы» и, согласно секретным статьям договоров, расширять свои владения силой? Надо ли напоминать о заградотрядах и СМЕРШе, о жестоком отказе от пленных, преданных дважды — сначала в немецких концлагерях, потом — отправкой в собственные?

О да, грустные мысли не могут не посещать нас, наблюдающих, с каким торжеством и пренебрежением отворачивается Европа от могил солдат, павших в этой войне. «Отворачивается, — пишет Ксения Мяло, — оставляя нам решать вопрос,



стоявший еще перед Кутузовым: «Надо ли было, освободив собственную территорию, продвигаться в Европу, засыпая ее столь досадно для нее большим количеством солдатских костей? Надо ли было мчаться на зов: «Спасите Прагу?»»

Но почему тут же не задать себе еще один: отчего, с такой поспешностью откликнувшись на этот зов, мы оставили без особого внимания другой: «Спасите Варшаву» — и спокойно наблюдали с другого берега Вислы, как захлебывается в крови варшавское восстание? Не потому ли, что поддержка варшавского восстания укрепляла шансы ненавистного Сталину либерального лондонского правительства Польши? И ради установления нужного нам режима поляков оставили истекать кровью...

И как не подумать, что, ограничься мы «спасением» Праги (оттесняя занятых тем же власовцев), не навяжи ненавистного режима, — могилы наших солдат чтити бы не меньше, чем, скажем, чтут сегодня в Болгарии могилы участников штурма Плевны. И памятники тем, кто погиб в русско-турецкой войне, — не оскверняют.

Когда в 1974 году, сразу по выходе в Париже первой части «Архипелага ГУЛАГ», наемные перья искали аргументы против Солженицына, им были подсунуты эпизоды из «ГУЛАГа», которые стали ключевыми в антисолженицынской кампании. Речь идет о Власове и глубоких рассуждениях писателя, задавшего вопрос, почему столько войн вела Россия — а такого количества «изменников» у нее не было? Ответ Солженицына дается, разумеется, не на этих страницах, непосредственно власовцам посвященных, а — всей книгой, рассказывающей об Архипелаге, который утонул в теле страны и отравил ее душу.

Если партия, «орден меченосцев», оказалась в положении завоевателя по отношению к собственному народу, — то что ж удивительного, что иным, ощущающим тяжесть и чужеродность этого ига, казалось заманчивым его сбросить любимыми средствами?

В «Круге первом» блестящий дипломат Иннокентий Володин, осознав опасность миру со стороны собственного режима, совершает поступок, который может быть оценен и как героизм, и как предательство. Выдать «враждебной стороне», Америке, планы советской военной разведки: как оценить это с точки зрения традиционного понимания патриотизма?

Пока коммунистическая идеология не была широким общественным сознанием осмыслена как антинародная, Солженицын не мог рассчитывать на сочувственное понимание коллизии романа даже в дружелюбном «Новом мире». Сейчас спорят: не был ли тот сюжетный вариант, где Иннокентий предупреждает об аресте своего старого учителя, лучше, правдоподобнее невероятного поступка молодого дипломата?

Вопрос законный. Но Солженицыну была важна не типичная коллизия. Ход мысли писателя опережал свое время, еще не готовое задать вопрос, как задал его герой Солженицына, вслед за Герценом: «Где границы патриотизма? Почему любовь к родине надо распространять и на всякое ее правительство?»

В предисловии к публикации статей П. Б. Струве в «Новом мире» (1991, № 4) Н. А. Струве не видит никакого противоречия этой любви в сдержанном отношении Петра Бернгардовича к победам советских войск. При том, что гитлеризм тот ненавидел страстно. «Он имел обыкновение повторять: «большевизм и его порождение гитлеризм в один мешок», — и даже придерживался несколько особого мнения, считая важным, чтобы немцы взяли Москву, поскольку это может сокрушить сталинский режим, но не изменит конечного разгрома Германии», — вспоминает Н. А. Струве.

П. Б. Струве был несомненным патриотом России.

Несомненно и другое: его миросозерцание было миросозерцанием либерального консерватора, и, стало быть, сама по себе мысль, что историческое самосознание народа должно прежде всего сохранять (ключевая мысль статьи Ксении Мяло), вызвала бы у него, наверное, сочувствие. Но, как видим, ничто не позволяло ему примириться с таким злом, как сталинизм, хотя бы временно, хотя бы из тактических соображений. Злу, столкнувшемуся с другим злом, не может быть придан статус добра.

Интеллектуальная пропасть разделяет культурологически оснащенную статью Ксении Мяло от топорных стихов, заполняющих пространство «Молодой гвардии» и «Нашего современника», но вчитаемся...

«Клеймят коммунистов в стране Октября, и зря Перекоп, и рейхстаг тоже зря», — сокрушается автор, для которого Перекоп и рейхстаг, победа коммунистов в гражданской и победа народа в Отечественной стоят рядом, как звенья одной истории, «этапы большого пути».

«Наши звезды ломают, топчут наши цветы, словно после Мамаевы в душах дальности», — вторит другой, приравнивая «очернительный» азарт демократической прессы к татарскому нашествию.

Казалось бы, непоследовательна попытка связать воедино революцию, разрушившую Россию, и войну, Россию защитившую. И пафос этих виршей далек от пафоса Ксении Мяло, как далеки ничтожества, окружившие трон Людовика XVIII, от блестящего и мрачного интеллектуализма Жозефа де Местра, как далеки ультраправые молодчики Ле Пена от романтического национализма Шарля Морраса и Мориса Барреса. Но есть у них и общее: желание преэминентности с прошлым — любой ценой. Меж тем в прошлом можно различить хронологическое чередование событий, биологический порядок рождений и смертей — через такое прошлое не перепрыгнешь. Но есть духовный смысл прошлого, определяемый не механическим накоплением случившегося.

Когда в Англии началась промышленная революция, — по всей стране в сараях рубили окна и ставили там станки. И какой хозяин станет строить для станка новое помещение, если достаточно прорубить окно?

Но и — велено не вливать новое вино в старые мехи...

Статья Ксении Мяло строится в основном на примерах, почерпнутых из рок-культуры, — воплотившаяся в ней «хроноцидная страсть», владеющая молодым поколением, кажется автору доказательством тревожной неспособности общества к духовному возрождению. Но заметим, что та же рок-культура, которая подвергла методичному осмеянию идеологию, власть, советскую государственность, ее символы, самого советского человека, — оказалась способна в драматические дни 19 — 21 августа мгновенно найти свои формулы национального единения и героического сопротивления. «Все вместе, как один, стеной, люди русские, вставайте», «не забудь свое, парень, прошлое», «Где ты, Родина?» — заклинал тяжелый рок людей, нашедших свое место в цепочке около Белого дома, хрупкого символа российской государственности...

Оказалось, что рок-культура способна не только профанировать тоталитарный героизм, но и воспевать героизм антитоталитарный, формулировать позитивные ценности, среди которых существенны понятия родины, общего прошлого, истории, нации, народа. И не возник ли сам собой около здания российского парламента тот всеобщий гражданский день, об утрате которого жалеет Ксения Мяло, в ту минуту, когда толпа молодых (и не очень молодых) людей, способных разорвать красный флаг, бурно аплодировала флагу трехцветному и национальным символам России, внезапно ей возвращенным?

Что же при этом произошло — разрыв с прошлым или восстановление связи с ним?

Консерватор видит в прошлом не сокровище, подлежащее охране (и не кучу мусора для помойки истории, как радикализм). Прошлое для него — капитал, который надо заботливо сохранять, чтобы пустить в дело и получить прибыль.

«Время — деньги». Перефразируя это изречение Франклина, можно сказать: «Прошлое — это тоже деньги. И деньги разные».

Новгородской гривной и царским червонцем больше не расплатишься в магазинной кассе — однако ж они сохранили свою цену и даже умножили ее. Но сталинские деньги и допавловские сторублевки — это просто резаная бумага, не обеспеченная ничем, даже мечтой о светлом будущем. Прошлое — это счет нации в банке истории: вы можете, конечно, хранить резаную бумагу в фамильном сейфе — но вам никогда не обратить ее в капитал.

Но этой метафорой не отмахнешься от серьезнейшего вопроса о смысле семи десятилетий нашей истории, на котором спотыкаются наши «правые» и «левые».

### Повинен ли Фридрих Второй в гитлеризме, а Иван Грозный в большевизме?

Концепция русской истории, согласно которой сущность советского строя кроется «не в коммунизме, а в русском прошлом» (Ортега-и-Гассет), исповедуется с равной страстностью и убежденными западниками, и убежденными антизападниками, совпадая с точностью до знака и разнясь лишь практическими выводами.

Сколько, например, наговорено в публицистике последних лет о русской общине!

То ее называют основой «тоталитарного типа русской культуры», то утверждают, что именно от «общинной структуры дореволюционной Руси идет и стиль руководства народным хозяйством», не говоря уж о триизме: община — «прообраз колхоза». Сколько раз цитировали высказывание Бердяева о склонности русского народа жить

в тепле коллектива, о том, что наивный аграрный «социализм всегда был присущ русским крестьянам» — с неперменной национальной самокритикой и сверхустановкой — преодолеть! (Или, напротив, с почти злорадной интонацией — этого наследия Россия, мол, не преодолеет никогда!)

Но вот А. Михайлов в статье «Итоги» («Наш современник», 1990, № 12) подает классический пример инверсии идеи, не без остроумия спрашивая: «Так что же будет, если мы от Бердяева скакнем сразу в этот сегодняшний день? Будет то, что с полной ясностью вспыхнет перед нами: русский народ тянут к такой организации экономики, которая не отвечает устройству русской жизни». А что отвечает?

Петр Краснов в статье «Фронт центра» («Наш современник», 1991, № 1) противопоставляет рыночникам-западникам экономистов «патриотического направления», которые, оказывается, сторонники «социалистической государственности и общественной собственности».

Большевики, получается, ничего не ломали — лишь восстановили структуры жизни, к которым всегда тяготел русский народ: едва не разрушенную Столыпиным общину, — да и заодно спасли страну от угрожающей ей капитализации.

Если так — то как не признать в большевиках законных наследников русской истории, как не признать весь 70-летний период закономерным итогом периода тысячелетнего?

О русской природе большевизма впервые заговорил Николай Бердяев, видевший в нем трансформацию и деформацию старой русской мессианской идеи.

Трансформация — показательное слово.

Концепция Бердяева стоит на идее противоречия, парадокса, иррациональности. Коммунизм есть извращение русской идеи, а истоки такой метаморфозы — в противоречивом характере русской души.

В силу этого парадокса коммунисты — одновременно и уничтожители и наследники государства.

Постепенно в трудах западных советологов — Пайпса, Уайта, Шамуэли — идея Бердяева преобразовалась в циклическую концепцию русской истории, приверженцем которой является и Янов, упростивший ее до школярской схемы, — и именно потому сделавший доступной массовому сознанию.

Но Бердяев в деформации русской мессианской идеи видел и возможность обратной, положительной ее трансформации: преодоления большевизма. Для Янова — никакая «положительная трансформация» русской идеи невозможна. Для него все просто. Ленин, как и Петр, разрушил отжившую форму государственности для того, чтобы спасти ее полувизантийскую, имперскую средневековую сущность. И все дальнейшие трансформации русской государственности — будут преследовать те же цели.

В пределах статьи, цель которой — идентификация либерально-консервативного мировоззрения в условиях нынешней действительности, трудно дать развернутую критику циклической концепции русской истории, это увело бы нас далеко в сторону. Цель авторов — лишь обозначить отношение к ней.

Что соблазняет в циклической концепции русской истории, так это, казалось бы, ее масштабность. Колхоз, выведенный из русской общины! Сталин, уподобленный Ивану Грозному и Петру! Коммунистическая бюрократия, родословная которой выводится из татаро-монгольского ига...

Не слишком ли широки рамки? — раздаются иногда скептические голоса.

«Никто не изучает современную Великобританию, исходя из результатов войны Алой и Белой розы. Редко встречается советолог, не вспоминающий в работах о Советском Союзе татарское иго или Ивана Грозного», — замечает Михаил Геллер.

Однако определять русскую душу через стремление к «общественному началу» — все равно что определять карандаш как массу, тяготеющую к центру Земли (типичный пример расширенного объяснения, характерного при шизофрении). Конечно, карандаш тяготеет к центру Земли — но является ли сие отличительной особенностью карандаша?

Порочна сама попытка объяснить историю народа, временную цепь событий через вневременные внеисторические социальные и психологические структуры.

Типологические параллели при этом ложно осмысляются как исторические связи. Возьмем ту же общину.

Обратившись к мировой истории, легко увидеть, что нет обществ, в которых не было бы начал, могущих быть описанными как общинные; идет ли речь о кельтах, германцах, италиках или аттических фратриях. Как же может быть главной причиной

коммунизма в одной из стран социальный институт, не ставший оной у других народов?

И еще. По внутреннему смыслу латинского «либери», германского «фрай», иранского «азат», свободный человек есть человек, свободный в силу своей принадлежности к определенной общественной группе.

Как духовная основа общества, свобода приходит вслед христианству, но как его органическая основа, свобода рождается из сопричастности социальной группе через длительный исторический процесс,— в том случае, если он не прерывается катастрофами...

И русская мирская сходка в этом смысле — не противоположность народного собрания, греческой еkkлeсии, исландского альтинга, германских мартовских полей. Именно в силу своей всеобщности она не может рассматриваться как причина возникновения тех или иных исторических форм.

И так — со всеми вариантами этой гипотезы.

Усматривают ли корни русской нехозяйственности в православной этике, в противоположность этике протестантской,— невольно вспоминаешь о православных фанариотах — ведущем деловом сословии **Оттоманской империи**, да и о предприимчивости современных греков...

Перечисляет ли Тибор Шамуэли восточные черты русской теократии, начиная с сакрализации царской власти и кончая доктриной «Москва — Третий Рим»,— невольно думаешь, что первый Рим гораздо более стремился к почитанию императора как бога, что именно гражданские религии античности сливают религию и политику, что не один Иван Грозный «учил, что царь должен не только управлять государством, но и спасать души»,— и капитулярии Карла Великого рассматривают грех как преступление, а заботу о душах подданных как государственную задачу...

Видит ли В. Селюнин истоки советского централизма в государственной монополии и государственной промышленности России, в частности, в горном деле,— невольно думаешь, что государственная монополия на рудники и регламентация их в течение тысячелетий были нормой. Не обвинять же нам Афины в тоталитаризме на основании существования государственных Лаврионских рудников! И никто не считает «нивелиторами» саксонских герцогов, которые дотошным образом назначают для каждого горного города писарей, секретарей, бухгалтеров, ревизоров, обжигальщиков серебряной руды и маркшейдеров.

Проводят ли аналогию между Петром и Лениным, намеченную еще Волошиным: «В комиссарах — дурь самодержавья, взрывы революции в царях»,— опять-таки задаешься вопросом: что перед нами — национально-историческая параллель между Лениным и Петром или типологическая параллель между всеми радикальными преобразователями от Диоклетиана до Фридриха II?

Читая историю задом наперед, ее легче объяснять, но труднее понять. Не выводится ли идея неизбежности большевистской революции в России из того, что она случилась? И невольно думаешь, что, сохранись в Европе национал-социалистический извод тоталитаризма, не советологи бы рассуждали о тождестве Петра и Ленина, а какие-нибудь ученые «рейховеды» рассматривали реформы Фридриха Второго как очередное выражение прусского духа, тотальной дисциплины и военной экспансии.

Соглашались бы, что «корпоративное государство» Муссолини и впрямь восстанавливает дух средневековой цеховой регламентации, помноженный на бюрократизм Римской империи...

Смело уподобляли бы Франко — Карлу V.

Рассуждали б о том, что арабское завоевание Испании, подобно монгольскому завоеванию России, навеки заронило в души испанцев стремление к тоталитаризму и т. д. и т. п.

Тут мы, впрочем, в пародийном виде задеваем весьма серьезную проблему — роль распределительного, уравнительного начала в истории человечества.

Социализм — подсознание человечества, постепенное преодоление его и составляет положительный процесс возникновения культуры. Его нельзя искоренить, можно только преобразить, уберечь себя от сумасшествия и невроза...

Наша задача, повторим, не скрупулезная критика циклической концепции, а критика идеологии, базирующейся на этой концепции. И в целях интеллектуальной провокации мы считаем возможным заявить, что идея глубокой закономерности большевизма в России не имеет никаких преимуществ перед идеей чистой его случайности.

Не оттого ли так напряженно всматривается наша литература в те моменты истории, когда судьба страны висела на волоске?

Что было бы, если б не бомба Гриневицкого 1 марта 1881 года? Если б не убийство Столыпина? Не слабость царя? Не вера царской семьи в Распутина? Не поражение Корнилова? Не разгон Учредительного собрания? Не поражение Кронштадтского мятежа?

Продержались бы большевики у власти, не введи они нэп, или сгинули бы, как чешские табориты или иранские бабиды? А не начнись сталинская индустриализация — так ли уж беспочвенны были надежды сменовеховцев на буржуазное перерождение режима?

Нет недостатка в многочисленных, произнесенных литературой «если б» — от самых серьезных до самых ернических, вроде тех, что высказал Василий Аксенов в беседе с Викторией Шохиной («Независимая газета», 20.7.91). После революции 1905 года, завершившейся углублением ненавистного либерализма, рассуждает Аксенов, Ленин стал испытывать так называемый кризис среднего возраста, «и не появившись в его кругу Инесса Арманд, кто знает, может быть, России пришлось бы еще долго ждать пролетарской революции».

Аксеновская гипотеза стоит соображений, насмешливо помянутых Львом Толстым, о насморке Наполеона, который помешал ему выиграть битву.

Ну а если оставить философию случайности литературе, а ерничество — сатире, то придется, конечно, признать, что дело не в механических случайности и необходимости. Есть очень большое искушение некоторые моменты нашей истории осмыслить, исходя из описания поведения высокоорганизованной системы в состоянии, далеком от равновесия, в так называемой точке бифуркации.

В этой точке — как утверждает современная наука — поведение сложной системы становится принципиально непредсказуемым: станет ли она хаосом или перейдет на новый, более высокий уровень организации.

Такой «точкой бифуркации» можно считать события 19—21 августа 1991 года, они у всех в памяти. И каждый может представить себе иной сценарий развития событий, зависевших в этот миг не от «уровня развития производительных сил» и производственных отношений, а от выбора, сделанного несколькими людьми и обществом в целом.

Как заметил Карл Поппер, историю никто не может предсказать, и именно поэтому каждый может в ней участвовать. В течении истории проявляются не случайность и необходимость, понятия равно механические, а свобода воли человеческих сообществ.

А где есть свобода воли, там есть и возможность впасть во грех.

Не в первый раз в истории впадает во грех общество. Целые цивилизации существовали на основе культа человеческих жертвоприношений, уничтожением и грабежом покоренных культур, пытались застыть в неподвижности, отменив историю, — и отменяли лишь сами себя.

Мы впали в грех тоталитаризма.

Что делает грешник, осознавший бездну своего падения? Раскаивается.

Вот почему не может быть никакой духовной преемственности с коммунизмом, как не может быть духовной преемственности у раскаявшегося грешника со своим собственным прежним «Я».

### Восхождение в гору или прыжок через пропасть?

Как для человека самоубийство — нечто противоположное раскаянию, преобразению, так и для общества самоубийство — кошмарная альтернатива духовному возрождению.

Не признавая никакой духовной преемственности с коммунистическим прошлым, консервативное сознание не может не уstraшить вульгарной материализации идеи духовного разрыва. Мол, камня на камне не оставим от тоталитаризма — все в разбор! Это — самоубийство.

Есть три заимствованных слова в русском языке, которые по внутренней форме необычайно близки. Революция, реставрация, ренессанс. Ре-волюция буквально — возвращение. Первые европейские революции и осмыслили себя как социальное возвращение к первоначальной и естественной свободе страны.

Ренессанс осмыслил себя как духовное возвращение к античности.

Возвращение к первоначальной свободе оказалось возвращением к первоначальному рабству. Возрождение духовное обернулось мощным высвобождением творческой энергии человека.

Става перед обществом задачу возрождения, восстановления духовных связей с дооктябрьской историей, консервативное сознание понимает, как опасно подменить эту задачу задачей реставрации.

Как ни назови стремление разом ликвидировать все те структуры, которые образовывали в государстве управленческие и хозяйственные связи, революцией или реставрацией, это будет один и тот же революционный вихрь. В «Красном колесе» Солженицына инженер Архангородский, один из явно симпатичных автору героев, практический носитель «веховской» идеологии, рассуждает: «Разумный человек не может быть за революцию, потому что революция есть длительное и безумное разрушение. Всякая революция прежде всего не обновляет страну, а разрушает ее, и надолго». В противовес идее революции он выставляет идею «черной работы» «устройства России».

«Но и дальше так тоже жить нельзя,— парирует революционно настроенная дочь.— С этой вонючей монархией — тоже жить нельзя, а она — ни за что доброй волей не уйдет!»

Таков вечный аргумент революционного сознания. И вечный спор сознания консервативного с революционным похож на спор Архангородского с его детьми.

«Вы начали скверно,— пенял французским революционерам Берк,— потому что вы начали, отвергая прошлое». Но и те могли бы возразить: легко, мол, английскому джентльмену толковать о палате общин и «родословной свобод», ссылаться на Великую хартию вольностей, на королевские декреты, покровительствовавшие предпринимателям. Легко, мол, англичанину упрекать нас в том, что, считая все в своем отечестве ложью и узурпацией, Франция глядит на за границу (то есть на парламентскую Англию) с таким пристальным вниманием,— на Великую хартию вольностей как не глядеть!

А на какое наследие прошлого опереться французам?

На Генеральные Штаты, не собиравшиеся сто семьдесят пять лет? На безумные траты двора? На крах государственных финансов? На разорительную налоговую политику, на бюрократизацию страны? На дворянство, которое сохранило все привилегии и утратило все обязанности? На тихое удушение провинциальной самостоятельности? На отобранные потихоньку в казну доходы городских коммун? На разорительные войны Людовика XIV, стремившегося к мировой гегемонии, и его мечты о мировом господстве, кончившиеся полным разорением собственной страны?

Всегда возможно объяснить, почему «так жить нельзя»: Карл I задался целью ввести тираническое правление, австриячка разорила страну, царское правительство не уйдет добром, тоталитаризм не способен к реформе изнутри... И пока они звучат в семейном разговоре или в диссидентском журнале — аргументы эти неопровержимы. Ведь и в самом деле: не уходят...

Но вот уже — заседает Долгий Парламент, созданы Генеральные Штаты, собралась Государственная Дума, избран Верховный Совет...

И что ж? Все радикальнее становятся призывы к разрушению — как раз тогда, когда открывается возможность реальной трансформации режима посредством реформ.

Сущность тоталитаризма остается неизменной! Гласность — политика обмана! Перестройка — дело рук КГБ, направленное на спасение режима! Выборам — бойкот! Между чумой и холерой не выбирают! Нами правят преступники! Горбачев — фашистский диктатор!

Все эти лозунги, эти всплески радикалистской мысли не без сочувствия и иронии рассматривает консерватор, когда они украшают страницы свободных газет или стены подземных переходов, знаменуя возникновение в обществе ситуации, прямо противоположной содержанию этих лозунгов.

Но уже с большей тревогой относится он к словам, брошенным на вечере Сахарова прямо в лицо президенту: «Пока партия не отдаст народу все до нитки, будет торжествовать сталинизм».

Мужественная и стойкая женщина, чьи негодующие речи бесстрастно доносит телевизор, имеет право так думать и чувствовать. Но любой здравомыслящий человек все же не может не заметить, что сама по себе публичность этого заявления его же и опровергает: сталинское телевидение поперхнулось бы, а горбачевское — ничего, проглотило.

Когда князь Талейран умер, парижские остроловы спрашивали: «Талейран умер? Интересно узнать, зачем ему это понадобилось?» Нынче советологи всерьез рассуждают о злом умысле бездыханной системы...

Консерватор, питающий глубокую антипатию к коммунизму, очень хотел бы, чтобы партия побыстрее ушла и собственность отдала, и ЦК КПСС перестал тайно и явно править страной, и партбюрократы на местах перестали бы совать палки в колеса приватизации, и чтоб вообще в стране завтра наступили бы покой и изобилие.

Но исторический опыт подсказывает ему, что насильственная экспроприация целого класса не может не вызвать его яростного сопротивления, и это сопротивление погубит робкие реформы прежде, чем побеги их прорастут сквозь старые структуры. А надежда на это — так основательна.

Да, теоретики тоталитаризма отрицали возможность его трансформации: для проведения реформ в государстве должен быть встроен механизм изменения социальных институтов в рамках самих этих институтов. Сущность тоталитаризма, мол, в отсутствии этого механизма.

Что ж, придется в теорию внести изменения...

Думается, за семьдесят лет советское общество претерпело больше изменений, чем американское.

Военный коммунизм — режим сколь не новый и в истории, столь и эфемерный, испробованный анабаптистами Мюнстера в 1534-м и иранскими бабидами в 1848-м.

Нэп, с его поощрением мелкого собственника из фискальных соображений, с чиновником, достаточно проворным, чтоб извлекать из своего посредничества между собственником и государством не предусмотренные законом выгоды...

Сталинский режим: где население было обращено во всенародную, вернее, всепартийную, собственность, и орден меченосцев начал систематическую войну против этой собственности. Мы сражались на трудовом фронте и бились за урожай. Надо отдать должное партии — она всегда умела выигрывать битву, а урожай оказывался проигравшей стороной...

При Хрущеве партократия превратилась в бюрократию. Упрочилась специфически чиновничья собственность — собственность в форме привилегий. Собственность на процессы распределения. Предприниматель имеет тем больше, чем он произведет. Чиновник имеет тем больше, чем он отнимет.

Но бюрократия — самый нестабильный класс на свете. Групповой интерес чиновничества противоречит личному интересу чиновника. Групповой интерес зовет к самосохранению. Личный интерес зовет к обогащению. Зовет превратиться из чиновника — в собственника, выйти на рынок с имуществом в виде привилегий и обратить его, через взятку или обман, из собственности на процессы распределения в собственность на средства производства.

Реформы Горбачева продолжили эволюцию, совершавшуюся при Брежневле.

Горбачев — наследник партии и выходец из ее рядов, подобно тому, как герцог Ришелье — выходец из рядов аристократии.

Сравнение тем более правомерное, что Ришелье, создавая сильное национальное государство, уничтожая полновластие аристократии, возвышая третье сословие и национальную бюрократию, — этим создавал рынок взамен внеэкономического принуждения феодального строя.

И подобно тому как при Ришелье социальные и экономические привилегии дворянства возрастали по мере того, как падало его реальное значение, как новые учреждения создавались не вместо, а помимо прежних чинов, незаметно превращавшихся в синекуры, — так и Горбачев преуспел потому, что начал не с разгона райкомов и с отмены пайков, не с лозунга «грабь награбленное», а с постепенной трансформации уже существовавших, но фиктивных парламентских органов.

И корни этой реформы уходят в период застоя, когда совершался медленный, но неуклонный и полный пересмотр всех идеалов социализма — та внутренняя трансформация, которая непременно предшествует и реформе и революции. В правящей верхушке пересмотр этот принял форму духовного и нравственного распада, в среде интеллигенции — форму диссидентства.

Кощей Бессмертный напрасно хвалился своим бессмертием, а его противники напрасно принимали похвалу за чистую правду.

Социализм преуспел в противлении духовным, надорганическим законам общества, — но он не смог избежать действия органических, животных законов, законов старения и перерождения.

Мы сожалеем о постепенности политических реформ.

Но ведь можно и по-другому поставить вопрос: именно постепенность реформ привела к тому, что военный переворот случился слишком поздно, когда всему дельному в прежних структурах была дана возможность утечь, измениться, переродиться.

Демократическим путем избранный парламент России, остановивший путч, был не революционным, а именно легальным органом, сформировавшимся в недрах старого общества путем реформы социальных институтов в рамках самих этих институтов; успех его действий обеспечила именно апелляция к легальному началу и лозунг защиты законной власти.

И не случайно среди первоочередных распоряжений хунты был запрет на совмещение государственных должностей и предпринимательской деятельности, — мера, направленная не столько на пресечение коррупции, сколько на разделение интересов предпринимателя и чиновника, сама собой возрождавшая партию как орден меченосцев.

Радикалистский миф интеллигенции, возобладавший в начале XX века, миф о невозможности трансформации общества путем реформ кончил тем, что слился с мифом сотворения нового общества, возникающего на развалинах старого.

В книге Михаила Геллера «Машина и винтики» приводится цитата из статьи немецкого журналиста Клауса Менерта, в 1932 году посетившего Советский Союз: «Новый миф родился в России, миф творения мира человеком. Вначале был хаос, капитализм... Потом пришли Маркс, Ленин и красный Октябрь». Хаос был преодолен ценой неисчислимых жертв в ходе ожесточенной борьбы, которую вел русский пролетариат. «Теперь Сталин создает в ходе пятилетнего плана гармонию, порядок и всеобщую справедливость», — описывает Менерт сущность нового мифа.

Похоже, нынешнее радикалистское сознание уже создало другой миф. В этом мифе роль хаоса играет социализм. Хаос должен быть преодолен в результате ожесточенной борьбы за рынок, которую демократы ведут против партократов, после чего быстро устанавливается порядок, гармония и всеобщая справедливость. Миф о рынке занял место мифа о светлом будущем в сознании одного типа. Изменились лишь приманки.

У всякого мифа есть отличительная черта: он не боится противоречий. Противоречия существуют в нем на правах аксиом. С опаской и недоумением глядит современный консерватор на газету, где статья, критикующая медлительность действий правительства по переходу к рынку, требующая «отпустить» цены, соседствует с жалостливой картинкой, изображающей сгорбленную старушку с пустой кошелкой. Негодующий текст протестует против трехкратного повышения цен, в результате которого старушке теперь и на супчик мясца не купить. «А если цены отпустить, — думает консерватор, будучи убежденным рыночником, — во сколько же они раз взвоятся? И хватит ли тогда старушке на супчик?»

Увы, в сфере экономической рынок и социальная защищенность находятся в таком же противоречии, как в сфере политической — свобода и равенство.

Инстинкт, или, как еще резко выразился Ф. А. Хайек, «атавизм социальной справедливости», — протестует против рынка. Нет ничего опасней, нежели искоренять и подавлять инстинкты, но надо осознать: требования стремительного перехода к рынку противоречат требованиям социальных гарантий. Несколько исторических картинок помогут прояснить нашу мысль.

Почему не возникла рыночная экономика и вслед за ней промышленная революция и пр., и пр., скажем, еще в Греции? Ведь уже в V веке до н. э. на каменистой почве Аттики завелось вполне капиталистическое хозяйство: промышленные оливковые плантации и виноградники. Богатые люди скупали земли, мелкие землевладельцы, разорясь, бежали в Афины. Аттика теперь не снабжала сама себя хлебом, а экспортировала вино и масло в обмен на зерно. Возник рынок товаров.

Но разоренные земледельцы были вдобавок еще и гражданами Афин. Будучи полноправными гражданами, они не могли оставить сами себя без социальных гарантий. Состоятельным людям пришлось оплачивать массу общественно полезных мероприятий — от устройства народных развлечений до снаряжения военных кораблей.

Бедняки получали от государства компенсацию — как натурой, так и деньгами. Например, за участие в судебных заседаниях. Это был замечательный суд, где присяжные, обыкновенно нищие, знали, что их завтрашний ужин зависит от размеров конфискованного в ходе заседания имущества, и перед судом было опаснее быть богатым, чем виновным.

Афинские граждане пребывали в законодательно оформленной уверенности, что богатство нужно для того, чтоб жертвовать его для пользы граждан.



Но социальные гарантии для бедняка обернулись социальной уязвимостью богача. Рынок товаров родился, но рынок рабочей силы так и не возник.

Схожая история повторилась в Риме, с той только разницей, что римский плебс кормился не за счет отечественного собственника, а за счет собственника чужеземного.

Граждане греческих полисов, приравняв право гражданства к праву кормежки, не захотели допускать к общественному пирогу иногородних и иноплеменников. Полисы оказались обречены на малые размеры, непрестанные смуты и в конце концов — на завоевание.

Социальные гарантии способствовали расцвету античной культуры, но сгубили античную экономику, а политика «хлеба и зрелищ» стала самым надежным оружием тиранов.

История, однако, не прекращала своих настойчивых попыток завести рынок. В конце средневековья в Англии вновь появилось капиталистическое земельное хозяйство: богачи скупали землю и разводили овец. Разоренные земледельцы бежали в города. Но Генрих VIII и Елизавета, в отличие от Клизфена и Перикла, не от демоса получили власть. Ответом правительства были не бесплатные раздачи хлеба, не социальные гарантии, а суровые законы о бродяжничестве. В том числе и такие, которые предписывали нищим работать на фабриках.

Возник капитализм.

Период первоначального накопления — вещь крайне жестокая, и в XX веке, пройдя опыт социалистических революций, вызванных глубоким и справедливым разочарованием в капитализме, нельзя встать на защиту законов о бродяжничестве. Нельзя сегодня сказать: пусть богатые богатеют, а бедные пеняют на себя.

Но нельзя не понимать и другого — чем больше внеэкономических методов распределения, тем меньше стимулов для человека экономического.

Не будучи экономистами, мы не беремся оценивать сравнительные достоинства хозяйственных программ, конкретные меры перехода к рынку. Но не надо быть экономистом, чтобы осознать: никакие самые беспрепятственные действия самого расторопного и компетентного правительства не в состоянии совершить чудо — примирить все интересы, создать немедленно рынок — и установить социальную справедливость, поощрять свободную инициативу — и не допустить проникновения парткратов и бюрократов в рыночные структуры, покровительствовать предпринимателю — и искоренить нетрудовые доходы.

Не надо быть экономистом, чтобы понять — рынок не может быть идеалом, и это его главное достоинство. Рынок не есть сфера нравственности, рынок — сфера хозяйственного творчества. Его преимущество в том и состоит, что он не переделывает человека, а даже индивидуальные пороки заставляет служить общему благу; что ему не важно происхождение богатства, а важно его функционирование...

Партия в опале, имущество ее национализировано.

Но рынок — рынок по-прежнему складывается из того, что есть. Из теневиков, бюрократов, снабженцев, из бывших партийных и клановых связей, из слегка трансформированных монополий. Успех на нем по-прежнему зависит не от чистого спроса-предложения, а от покровительства чиновника...

Рынок — исторически изменчивое понятие. Он начинался с государственных монополий, с фабрик по производству оружия и предметов роскоши, он развивался в Англии через частные монополии, через законодательную, а не экономическую борьбу между хлопком и шерстью, через протекционистскую политику государства, ущемлявшую свободную конкуренцию, через обнищание населения, наконец.

Разница между Фуггерами и Ротшильдами, между Медичи и Фордом — не меньше, чем между нашим АНТом и американским ИВМ. Важно другое: это разница — между семечком и яблоком. Только в сказке яблоно успевают вырасти из семечка и дать плоды, пока герой едет по хрустальному мосту на венчание с демократией...

О нет, мы не собираемся переделывать старые песни на новый лад. Утверждать, что рыночному изобилию непременно предшествует абсолютное и относительное обнищание пролетариата, а прыжок из царства необходимости в царство рынка осуществим только через диктатуру государства... Мы лишь подвергаем сомнению мифы общественного сознания, в которых противоречивые вещи существуют на правах аксиом.

Радикалистское сознание будет кипятииться. Оно будет напоминать о пропасти, которую не преодолешь в два прыжка, призывать к скачку и первым разочаруется, когда выяснится, что не так просто допрыгнуть до светлого будущего.

Но наше настоящее — не пропасть, через которую надо скакнуть. И не пригодней ли для нас совет Григория Великого: «Тот, кто хочет достигнуть вершины горы, должен подниматься не прыжками, а шаг за шагом...»

### О романтическом мастере, бюргерском домике и месте обитания культуры

Итак, история нашей страны, повисев в который раз над пропастью, удержалась на краешке, сделала шаг прочь и выкарабкалась на дорогу. Не стоит представлять ее американским хайвеем. Это всего лишь тропинка, впереди — преграды и крутые скалы, лавины и камнепады. Но все же путь уходит от пропасти, а не ведет к ней.

И рискнем заявить — главное уже свершилось. Это — начавшееся возрождение духовных основ общества, искаженных коммунизмом.

«Духовные основы общества» — название книги С. Л. Франка. Франк, либеральный консерватор, чутко ощущал различие между естественными законами и законами общественными.

И те и другие общеобязательны. Но если закон природы нельзя нарушить вообще, то законы общества нельзя нарушить безнаказанно. Общество, исходящее из ложных духовных максим, живет вопреки социальным нормам так же, как больной или голодающий человек живет вопреки нормам биологическим. Это не значит, что такое общество невозможно построить — это лишь значит, что оно не может существовать долго.

Вопреки теориям тоталитаризма, доказывавшим принципиальную его неизменяемость и неразрушимость изнутри, его разложение и перерождение началось все же под действием внутренних сил.

Уроки эксперимента, который задуман, разумеется, не в 1917 году, позволяют и более широко поставить вопрос об ответственности экспериментаторов, и о дальнейшей судьбе и месте того особого слоя общества, который мы рискнем расширительно именовать интеллигенцией. Разумеется, нам могут указать, что интеллигенция — продукт специфически русских условий жизни, на Западе ее нет, что в Советском Союзе интеллигенции тоже не было, а все расплылось в «образованщине» (Солженицын), запятнавшей себя бессовестным сервиллизмом, которой противостояла группа мужественных диссидентов, что нельзя столь не дифференцированно применять понятие, которое к тому же не имеет точного содержания.

Но нам все же кажется, что этим словом вполне можно обозначить тот специфический слой общества, который не владеет ни капиталом, ни властью, ни войском, ни привилегиями, ни землей, но владеет общественным мнением.

Но знаешь ли, чем мы сильны, Басманов?  
Не войском, нет, не польскою помощью,  
А мнением; да! мнением народным...

Как ныне распорядится интеллигенция своим имуществом? Интеллигент, строящий планы общественного развития, парадоксальная фигура.

Ни античный философ, презирающий толпу, ни религиозный учитель, отрешенный от мира, ни восточный мудрец, вписанный в канон, — не интеллигент.

На протяжении тысячелетий мировая культура осознавала себя как традиция, а не как протест против традиций.

Она сочувствовала несчастным, но не бунтовщикам. Ни Вергилий, ни Корнель не думали, что несогласие с властью предержащими — первое условие творчества. Ни Аристофан, ни Шекспир не считали, что безоглядное отрицание традиции есть первый признак творческого разума.

Культура была непрестанно уничтожаема бунтами, узурпациями, переворотами, завоеваниями. Именно поэтому она осознавала себя как нечто противоположное бунту, как начало консервирующее.

Милетская чернь могла бросать детей городской знати под копыта быков, теснящихся на токах; толпа бедняков, которой «зависть и жадность делали невыносимым блеск знатных» (Диодор), резала богачей, и очередной тиран Дионисий приходил к власти, отменяя долги и раздавая народу конфискованное имущество состоятельных граждан. Но философы не освящали резню идейными соображениями, историки порицали тиранов, а не славили революционеров, и называли «господством кулаков» то, что именуют ныне «диктатурой пролетариата».

Гунны могли грабить и резать, но никто не восклицал с надеждой: «Где вы, грядущие гунны?»

Народные восстания прокатывались по Европе, Азии, Китаю, милленаристские движения захватывали воображение толпы. Их приверженцы проповедовали борьбу со всем существующим, борьбу, разделяющую мир на два лагеря. Они учили об абсолютном обнищании масс как признаке наступления близкого царства Божия на земле; они учили, что в будущем мире не будет ни твоего, ни моего, и истребляли как можно больше не согласных с ними грешников, чтоб оставить в царстве Божием на земле, как и полагается, одних праведников.

Но народные восстания оставались явлением, посторонним культуре, не освященным ее именем, и платили культуре взаимностью, вешая грамотеев.

Даже будучи упоминаемы в анналах культуры, они осознавались как разрушительная, а не созидательная стихия.

В шекспировском «Генрихе VI» мелькает такая маргинальная фигура — бунтовщик Джек Кед.

«Все в королевстве будет общим, и мой конь станет пастись в Чипсайде. А когда я стану королем — а я им стану — денег тогда не будет вовсе; все будут пить и есть на мой счет, и я всех наряжу в одинаковую одежду, чтобы все ладили между собой, как братья, и почитали меня, как своего государя...»

Но Джек Кед — лишь один из симптомов болезни королевства. Убивает его не король, не лорд, а честный английский эсквайр Александр Айден — фермер, мелкий собственник, сказали бы мы нынче.

Кед чинит реальные разбои и реальные казни, но он выключен из высокого исторического времени. Его место — место Калибана истории.

Культура сочувствовала несчастным, но не бунтовщикам, потому что понимала себя как традицию, а не как протест; а единство традиции и веры влекло за собой единство культуры.

Интеллигенция родилась в Европе вместе с буржуа, вместе с секуляризованной культурой. В век наступающей частной собственности интеллигент попытался обратиться в собственность общественное мнение. Он занялся производством идеологии, а подобное производство приносит наибольшие дивиденды в периоды общественных нестроений. Он занялся планами общественного устройства, но при этом, в отличие от чиновника, не нес ответственности за практические последствия своих слов.

Создалась парадоксальная ситуация, в которой, как отметил Дж. Шумпетер, свободное общество не может не производить интеллигенции, иначе оно перестанет быть свободным, в то время как идеи интеллигенции могут это общество уничтожить.

Беспреданно набиваясь в соавторы к Господу Богу, интеллигент принялся сочинять конституции из головы, а не из исторических условий.

«Французской революцией,— иронизировал Алексис де Токвиль,— руководил тот же дух, что сочинил столько абстрактных книг об управлении. То же презрение к действительности, та же вера в теорию, та же потребность переделать мироустройство зараз, сообразно закону и логике, по единому плану, а не улучшать его по частям. Прискорбное зрелище: ибо преимущества писателя могут быть недостатками политика».

Григорий Андреевич Гершуни, эсер и террорист, узнав о революции 1905 года, писал товарищам по партии с восторгом: «России в двадцатом веке суждено сыграть роль Франции девятнадцатого века. Но крупнейшим счастливым результатом будет, как то мне кажется, то, что России удастся миновать пошлый период мешанского довольства, охватывавший мертвящей петлей европейские страны... Какое счастье выпало на долю партии...»

Но тот же 1905 год (и то же, вероятно, предчувствие) заставил других социал-демократов ужаснуться открывшейся перспективе, осознать всю меру ответственности, лежащей на интеллигенции за идейное обеспечение революции, и покаяться. Плодом этого покаяния явились «Вехи».

Уверенность, с которой интеллигент «творит историю по своему плану, рассматривая существующее как материал или как пассивный объект для воздействия», безрелигиозное отщепенчество интеллигента от государства и от своего народа, безоглядный радикализм, ведущий к торжеству самых левых течений,— все это подверглось осуждению.

Но важнее всего отметить, что «Вехи» призвали интеллигенцию не только к духовному покаянию и самоуглублению, но и к практической, трезвой, созидательной деятельности, той самой деятельности, которая, по словам Гершуни, имеет своим концом «пошлый период мешанского довольства...»

Призывы не были услышаны — и теперь ясно, что российская интеллигенция несет громадную долю ответственности за большевизм. И эта ответственность не снимается даже тем, что большевики возненавидели и уничтожили интеллигенцию подобно тому, как, по замечанию Бердяева, Смердяков возненавидел Ивана, обучившего его атеизму и нигилизму.

Но российская интеллигенция и раскаялась первой. Западные попутчики великой пролетарской еще рассуждали о новой надежде человечества, воссиявшей на Востоке, красные кхмеры еще не взялись за свои сорбонские диссертации, парижские студенты еще не помышляли о баррикадах 1968 года, — российская культура уже разглядела: «веслами отрубленных рук вы гребетесь в страну грядущего...»

Разделенная на два рукава, российская интеллигенция сплотилась вокруг двух извечно консервативных начал: вокруг церкви — в эмиграции и вокруг культуры — на родине.

Поэтика авангарда, поэтика протеста и бунта, была уничтожена в СССР не только правительственными постановлениями. Русская культура по существу своему отвернулась от авангарда и приблизилась к классическому мироощущению, осознав:

Двадцать четвертую драму Шекспира  
Пишет время бесстрастной рукой...

Запад продолжал воспевать Люцифера, но в России, ставшей адом, интеллигент принял на себя роль не Люцифера, а Данта.

Дант-Мандельштам спустился в ад и там погиб, Дант-Солженицын прошел ад насквозь и вышел из него не только с описаниями кругов ада, но и с тем религиозно-консервативным мировоззрением, которое основывается на признании духовных, надорганических основ общества и творческого, органического характера хозяйства.

Как не вспомнить здесь, что другой великий русский художник, Достоевский, отправившийся в Мертвый дом, пожалуй, сторонником социалистических идей, вернулся оттуда убежденным противником радикального общественного переустройства, успев пророчески предупредить современников о том кошмаре, что несет миру революционная бесовщина.

В Москве 30-х годов некий мастер сочинил еретическое Евангелие. Он отделался необыкновенно дешево — всего лишь сумасшедшим домом. Более того, герои его повествования вмешались в его судьбу.

Чего же просит Иешуа для романтического мастера? Небольшой домик, окруженный цветущими вишнями, мшистый мостик, венецианское окно, вьющийся виноград, засаженный и вечный колпак...

Как! Бог и дьявол вмешались в судьбу творца — для того, чтобы наградить его домиком добропорядочнейшего немецкого бюргера — прообразом американского коттеджа из спального городка?

Да в такую вечность Григорий Гершуни почел бы гражданским долгом бомбу швырнуть, она бы и Достоевскому напомнила, чего доброго, свидригайловскую баньку с пауками...

Но Булгаков знал, что делал. Собственный домик и мещанский уют были самой романтической вещью в стране, равно лишенной и бытия, и быта, стране, где в воздухе еще носился яростный крик:

Скорее головы канарейкам сверните,  
Чтоб коммунизм канарейками не был побит...

«На свете счастья нет, но есть покой и воля». — «Он не заслужил света, он заслужил покой».

Эти слова — предисловие и послесловие всем попыткам законодательного установления света и счастья.

Последние два столетия интеллигенция немало потрудились над тем, чтобы в обществе отмерло ощущение единства государства, хозяйства и культуры.

Культура расплатилась за это очень дорого, она стала отчуждена от государства и хозяйства, стала пониматься не как возвышение над вещественной сферой общества, а как ее отрицание.

Но XX век принес с собой и кризис такого мироощущения. Он принес крушение не только идее социализма, но и идее радикального пересоздания человека и тотального отрицания традиции, осознав себя в известной степени в положении, обозначенном Честертоном.

«Как все важничающие мальчики,— писал Г.-К. Честертон,— я пытался опередить век. Как они, я пытался минут на десять опередить правду. И я увидел, что отстал от нее на восемнадцать веков.

По-юношески преувеличивая, я мучительно возвышал голос, провозглашая мои истины,— и был наказан как нельзя удачнее и забавнее: я сохранил мои истины, но обнаружил, что они не мои. Я воображал, что я одинок,— и был смешон, ибо за мной стояло все христианство... Я старался придумать свою ересь, и когда я нанес последний штрих, я понял, что это правоверие... Правда бродячей легенды или ложь господствующей философии учила меня тому, что я мог бы узнать из своего катехизиса, если бы я его читал...»

«Свобода на баррикадах» — называется известная картина Эжена Делакруа, изображающая прекрасную женщину с развевающимся знаменем, вдохновляющую восставших парижан.

Баррикады — всегда были символом восстания, стремления завоевать свободу.

В августе 1991 года баррикады окружили здание Верховного Совета России, и по иронии судьбы они расположились на тех самых местах, где в 1905-м восставший народ тоже строил баррикады. Только те — воздвигали люди, желавшие разрушить, свергнуть законную власть, эти же — люди, желавшие защитить собственное правительство.

Последовавшие затем стремительные удары Ельцина по наиболее косным структурам довершили процесс осторожных реформ, начатых Горбачевым, в результате которых история как бы вернулась на органический путь развития, похоронив идею революционной перестройки мира, идею разрушения.

Вновь стал актуален призыв «Вех», обращенный к интеллигенции и не расслышанный в 1909 году, — заняться созидательной деятельностью. Бог напомнил человеку о его бессилии создать новый мир по самонадеянно-сумасшедшему проекту. Но вместе с тем — и о «творческой задаче человека» (Бердяев). Сфера приложения человеческого творчества обширна — наука, хозяйство, культура. Ему нет места только на революционных баррикадах.

Сумеет ли та часть интеллигенции, что в значительной степени подготовила крушение идеократии, найти свое место в получившем возможность органического развития обществе — или будет культивировать протест ради протеста?

Сумеет ли культура осознать себя как порождение традиции, как возвышение над вещественной сферой, а не отрицание ее? Сумеет ли общество выработать иммунитет против новых идеологий — фундаменталистских или радикалистских, но равно противостоящих медленному, терпеливому налаживанию жизни, — это покажет будущее. Но одно ясно — сама идея борьбы, бунта, революции, под знаком которой прошел едва ли не весь XX век, потерпела поражение.

Время разбирать баррикады.



*Литература и искусство*

**ТРИНАДЦАТЫЙ СТАКАН**

Мамлеев Юрий. Московский гамбит. «Согласие». 1991. № 2—3.

**Ч**ем это знакомым так отчетливо дохнуло из мамлеевского романа? Ну разумеется — серебряным веком. Не по стилю даже. (Изысканный, обволакивающий стилистический модерн того века для нынешней литературы уровня Мамлеева просто недостижим.) Не по стилю — по историческому и духовному самоощущению.

Они, они! Теософы, духоиспытатели, безднопризыватели, воздававшие Богу бесово и бесу Богово. Их разговоры, плавающие в паузах неизреченности. Их взаимный мистический стриптиз. Их мифологизированный облик и быт. (Хозяйка салона, разглядывая молоденькую неофитку Марину Цветаеву, у д о в л е т в о р е н н о: — Конечно, глаза зеленые. Конечно, курит...) Их ежедневная репетиция космических катаклизмов, их «великолепные кошунства». Их челомканье то с нежитью, то с гуннами, то с языческими богами, то с босьяками, принимаемыми за — народ. И уж непременно: тех, кто меня уничтожит, встречаю приветственным гимном.

В метро лет этак шесть назад ехала старушка-ветеранша «с 1905 года», вся в орденских планках. Посреди бурных политдебатов тогдашней молодежи встала она вдруг, поклонилась в пояс и громко сказала: «Простите нас, деточки, за такую революцию...»

Серебряный век этого не сказал... А не худо бы приглядеться к серебряной генеалогии наших нынешних катастроф.

Атмосфера в романе Ю. Мамлеева датирована точно: 70-ми. Все верно. Именно тогда оттепель была разрушена до основания, а затем... Затем, как водится, начался поиск. Для одних — поиск нелегально-полулегального восстановления того, чем вдохновлялась оттепель: революции с человеческим лицом. Для других — поиск альтернативы. Которая быстро приобрела очертания самодельной мистики с лицом не человеческого.

Все наши сегодняшние астралы, ШЛО, распоясавшиеся барабашки, симпозиумы колдунов, начертанные подростками на заборах лозунги «Evil for all» («Зло для всех!»), выставки сатанистов (желательно с экзотическим прихрамыванием на восточную ногу) — все оттуда. Из «альтернативы» подпольных 70-х. А та — по ближайшей генеалогии — из серебряного века.

В принципе-то у Ю. Мамлеева в романе ничего и не происходит. Собирается «неформальная Москва» то на одной квартире, то на другой, а то и вовсе на задах пивнушки. Где-то кормят бутербродами с икрой и поят ликерами. Где-то водочку хлещут из горла, сидя на шкафу. Поводы тоже разнообразны, но приличествующие и, в сущности, по кругу повторяющиеся. Выставки эзотерических художников. Чтение эзотерических стихов и прозы. Никакой политики: обрыдло! Зато перманентные кризисы кого-нибудь из компании, кого надо срочно вытаскивать из очередной канализационной ямы духа. (Варианты: запой, несчастная любовь, болезнь. А чаще — заблудился собрат в беспредельном и непостижном уму.)

Не то вот еще: ожидается некий Человек с Востока. Который придет и всех переворотит. Возможно даже, через рискованные эксперименты то ли с душами героев, то ли с их брэнной материальной оболочкой. Все время витает в воздухе подозрение насчет договора с дьяволом. Впрочем, подозрение отвергается. О т н ю д ь не по нравственным или религиозным соображениям — ни в коей мере. Просто: дьявол — это чересчур элементарно. Это уже детский садик для духовных «виртуозов Москвы».

Сюда же и бабенки — как без них? Сплошь, ясное дело, царевны. Чем вторично эксплуатируются «незнакомки», «души мира» и «небесные девы» в их земном воплощении, входившие в обязательный рацион серебряного века, вплоть до той, с толстыми ляжками, их завершительницы из «Черного человека» С. Есенина. Бабы-царевны, само собой, спят с героями. Но исключительно в видах высшего озарения. Очередной спячкой и очередной пьянкой высшие озарения и заканчиваются. Человек с Востока так и не приходит (может, его и не было). Временный же его уполномоченный на местах, Саша, укладывает в постель среднюю царевну, а прочим отодвигает «трансформацию» на неопределенный срок. Ожидавшие с нетерпением того, кто их уничтожит, те чувствуют себя в дураках и крепко, по-отечественному выражаются. Впрочем, скоро остывают и пускаются по новому кругу.

Правда, смерть — одна, но неподдельная — все же произошла. Убила уголовка собирателя редких черномагических средневековых книг. Хотя... может, и не уголовка. И тогда реальная

смерть тоже растекается, мерцает древними поверьями. Может, из астрала кто заглянул. Поди узнай их...

Смертельная болезнь (тоже одна и тоже подлинная) все-таки подстергла. Это единственная линия романа, где наметилось подобие сюжета. Не происшествие, а событие. (Ю.М. Лотман предлагал отличать одно от другого именно по такому критерию: только события, не происшествия, делают сюжет необратимым.)

Художнику Максиму ставят летальный диагноз. И Максим взывает. Не фигурально, не трансцендентно — воет по-собачьи, жутким воем обреченного. Тут-то как раз — впервые! — врывается в повседневную явь самая что ни на есть д у х о в н а я реальность. Бессмертия хочет Максим, а не черной дыры, куда ему предписали провалиться. Не бессмертия своих картин, а с в о е г о бессмертия. *Послесмертия*: существования потом, после той черты.

Хочет, а верить в него не может! А без этого вся жизнь (его теплая, осязательная жизнь) испаряется в ничто.

Однако и проблеск события гаснет. Приятели и приятельницы быстренько находят... упаси Бог, не ортодоксального батюшку, а снова-таки неформального христианина. «Мастера смерти», который умеет что-то такое сотворить для реанимации веры у тех, кто лежит уже на смертном одре. К нему Максима и увозят. Что тот будет с ним сотворять, неясно. Но это никого уже не интересует.

Единственный раз вырвался из стеклянного мистического зверинца вопль жатой души. Вопль в о и с т и н у неформальный. Заткнули его, и ладненько.

В романе-то заткнули. В истории не удалось.

За все души и за все туманы платим сегодня мы. Страна, извините, такая. Где духовное с устрашающей неуклонностью прямо в глазах способно материализоваться. Посиживали мальчишки на кухнях, обсуждая перспективы четвертой революции (с человеческим лицом). П о с а ж и в а л и мальчиков, потапывались по их биографиям, а не вытопталося. Мальчишки эти, теперь пятидесятлетние, заседают в верховных советах, служат советниками при президентах и председателях, варят экономические проекты. А милостями прессы и ТВ наша кухня с ее былыми дискуссиями перешла с ночного режима на круглосуточный и заполонила отечественное пространство. Воспроизводя психологию и социологию оттепели в государственных (ныне уже — *многогосударственных*) масштабах.

То ли еще будет, ой-ой-ой. Потому что другие посиделки, «мистические», приподнявшись слегка по срокам (ибо и были слегка моложе оттепели), нынче выхлестнули на оперативный простор. И готовы уже слиться в экстазе с темной тектоникой «родимого хаоса», с его низовым суверенно-«бунташным» подпольем. Каковое многого круче всех наших подпольных политических.

Да ведь так уже и было. Сверху трагическим тенором: да, скифы мы, да, мистагоги мы.

Снизу митинговым ревом: стрелять! вешать! делить! тащить!

Не в личный укор и не в личное осуждение говорю это деятелям серебряного века, чьи утонченно-надломленные профили замелькали сегодня на обложках книг (миллионные тиражи в совокупности своей составляющих). Л и ч н о — те уже за все заплатили. Кто из них не убит? Не покончил с собой? Не увезен в «черном вороне»? Не уплыл в злую скудную эмиграцию? Не задохнулся? Почти ни один не спасся. И я сейчас не о том — о более крупном и *сверхличном*.

Блок в одном из последних своих писем (тихом, выжженным) благодарил мать — за что? За хлеб, который она ему прислала. Блок, умирая, закричал: «М а м а!»

Отпелестели туманы, стинули изящные нефритово-зеленые кузминские трупы и призраки, леонид-андреевские некто в сером, ремизовские хари и твари — и так далее и так далее. Прощальная, чудом уцелевшая Сапфо серебряного века (тоже лично за него заплачившая кровью и плотью) — Анна Ахматова за него же и покачалась. Перед всероссийской историей, а может быть, и перед историей всемирной. Вспомните ее «Поэму без героя».

Оказалось: душе тоже потребен свой духовный хлеб — не отравленный. Воздух — не выпитый. Мать (земная и небесная) — не испохабленная.

Как уж мы нынче-то бесовщину революции обличаем! Как выискиваем ее корешки в исторических даях. Какую родословную ей составляем заново: ни единого политического «экстремиста» на сотню лет назад, почитай, не упустили. А здесь ли к о р е ш к и гнездятся?

...Никто порознь из ждавших своего уничтожения с приветственным гимном — уничтожения не х о т е л. Тем более уничтожения на родимый, шпрокоформатный, погромно-концлагерный лад. Но можно ли отсюда заключить, что в м е с т е, как явление, как «дух», — они этого не г о т о в и л и?

Сейчас в такой же ситуации находимся уже мы. И не только русские, не надо обольщаться. И не только «московские». (Притом что прописан роман Ю. Мамлеева весьма точно не лишь по времени, а и по месту.)

Пьем чай над бездной, повторяли недавно в одной редакции шутку Андрея Белого. Бездна на просторах родины чудесной обнаружила себя по-разному. Однако чай над ней пьют на диво единодушно. Первый стакан мы уже выпили, второй, третий... До тринадцатого бы не дойти.

Про это ли написан «Московский гамбит»? Сооружение не очень хитрое, но достаточно умненькое, в меру отстраненное от своего материала, в меру в него погруженное. Если прикладывать сегодняшний литературный аршин, чуточку уже «старосветское»...

Р о м а н написан еще не про это; он еще не более чем нравоописательная экзотика. И с т о р и я — вмешалась и уже дописывает. Про это самое.

Марина НОВИКОВА.

Симферополь.

## ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ТАЙНА

Гайто Газданов. Вечер у Клэр. Романы и рассказы. М. «Современник». 1990. 591 стр.  
 Гайто Газданов. Призрак Александра Вольфа. Романы. М. «Художественная литература». 1990. 701 стр.  
 Гайто Газданов. Вечер у Клэр. Ночные дороги. Призрак Александра Вольфа. Возвращение Будды.  
 Романы. Владикавказ. «Ир». 1990. 542 стр.

**Н**едавние издания произведений Г. Газданова доставили нам неожиданную и редкую радость Слова.

Из обстоятельных предисловий Ст. Николенко и из повествований самого Гайто (Георгия Ивановича) Газданова узнаем, что он, осетин по рождению, воспитанный в интеллигентной семье, в 1919 году пошел в белую армию; затем эмиграция: Константинополь, Париж, жизнь ночного таксиста и литератора, студента, участие в Сопрогивлении, работа на радиостанции «Свобода»... Из тех произведений Газданова, что изданы у нас, четыре романа и несколько рассказов так или иначе касаются гражданской войны и судеб русского зарубежья.

«Вечер у Клэр» — едва ли не лучший роман этого писателя, задающий тон и характер его последующим вещам. Почти все они написаны от первого лица в бесстрастных интонациях зоркого и стороннего наблюдателя и именно этим в сочетании с психологической точностью напоминают авторскую позицию «Героя нашего времени».

Повествователь и действователь романов Газданова нагружен особенностями характера далеко не ординарными, его мучили странные состояния:

«Болезнь, создававшая мне неправдоподобное пребывание между действительным и мнимым, заклопочалась в неуменье моем ощущать отличие усилии моего воображения от подлинных непосредственных чувств, вызванных случившимися со мной событиями. Это было как бы отсутствие дара духовного осязания...»

«Мне всю жизнь казалось, — даже когда я был ребенком, — что я знаю какую-то тайну, которой не знают другие; и это странное заблуждение никогда не покидало меня... Очень редко, в самые напряженные минуты моей жизни, я испытывал какое-то мгновенное, почти физическое перерождение и тогда приближался к своему слепому знанию, к неверному постижению чудесного. Но потом я приходил в себя: я сидел бледный и обессиленный, на том же месте, и по-прежнему все окружающее меня пряталось в свои каменные неподвижные формы, и предметы вновь обретали тот постоянный и неправильный облик, к которому привыкло мое зрение».

Газданов нигде впрямую не связывает эти «странности» с призванием писателя. Тем не менее «тайна» — постоянная потребность пересоздания реально существующих обстоятельств в воображаемые, узнавание «чудесной» формы предметов, а не той, к которой «привыкло наше зрение», составляет первооснову душевного склада Газданова и даже его судьбы. Его тайна — это самосознание творческой личности, ощущение предначертания, которое влекло его за собой. Именно это самосознание было включено им в картину мира,

наряду с событиями и предметами и, не заслуженное ими, составляло основной объект его исследования. Он знал, что его задача — не просто жить, а постигать и строить мир.

Заглянем в другие русские повествования от первого лица. В Николиньке Иртенъеве, герою трилогии Толстого «Детство. Отрочество. Юность», ничто не предвещает писателя. В его детской жизни нет «зеленой палочки», нет тайны, которая была у Толстого. И поэтому Николинька всего только персонаж талантливой повести.

Печорин наблюдателен, пронизателен, остер, он одновременно «страстен и холоден». Таков же и стиль его записок. Но ведь справедливо замечает Лермонтов (вовсе не из кокетства, как мы думали смолоду): не следует отождествлять героя с автором. И в самом деле «Демона», «Валерик», даже «Тамбовскую казначейшу» не этот герой написал. И именно поэтому в романе был убит Грушницкий, а в жизни погиб Лермонтов.

Я вообще сомневаюсь, а отражали ли эти «типичные герои своего времени» что-нибудь еще, кроме той части личности писателя, из которой исключено творчество. В романах Газданова этого вычитания не происходит.

Газданов, как Вергилий Данта, водит нас по всем кругам внутреннего мира и внешней жизни своего героя, которому он тождествен. Его «особенность» (или одаренность) всегда при нем. Это не герой времени. Он не из ряда, он сам по себе. Как говорится в сказке Евгения Шварца, «он не свинопас, он Георгий». И именно в силу этого он, находясь при чести и достоинстве, равен всякому, в ком есть лицо человеческого, образ и подобие Божие.

С его мучением и тайной у Газданова как-то связано необыкновенно чистое и глубокое ощущение природы, не видение картины или ландшафта, а именно ощущение «в сочетании с редким даром писать и описывать, со способностью находить слова будто светящиеся или пахнущие, то сухие, то влажные, в каком-то бесшумном эластическом сцеплении друг с другом следующие...» (Г. Адамович).

«Однажды, убежав из дому и гуляя по бурому полю, я заметил в далеком овраге нарастающий снег, который блестел на весеннем солнце.

Этот белый и нежный свет возник передо мной внезапно и показался мне таким невозможным и прекрасным, что я готов был заплакать от волнения. Я пошел к этому месту и достиг его через несколько минут. Рыхлый и грязный снег лежал на черной земле; он слабо блестел сине-зеленым цветом, как мыльный пузырь, и был вовсе не похож на тот сверкающий снег, который я видел издали. Я долго вспоминал наивное и грустное чувство, которое я испытал тогда, и этот сугроб». Через несколько десятков страниц мы встречаемся с этим воспоминанием в описании другой про-



гудки мальчика — в горах. И в этом описании так ясно светится безмятежный, длинный летний мальчишеский день, что будто другой воздух входит в легкие: разреженный, солнечный, свежий, и пахнет земляникой и можжевельником.

«Больше всего любил я снег и музыку». По изгибам внутреннего мира этого человека можно бродить бесконечно. Описание метели в лесу перепутывается с ожиданием внезапного чудесного воплощения Клэр (его возлюбленной). Прямо тут в темном воздухе среди снежинок видится ему сумятица ее лица, глаз, высоких коленей, картин и вещей из ее комнаты.

Тут же прозаическая лыжная станция, дорога в город. В этом кружении, в этих неожиданных переходах от рокового к обыденному, от вихря к почти механической простоте, лирическая проза Газданова сближается с поэзией XX века, особенно с Блоком. (Сумятица, сказка, непонятное удивительное очарование: «Снежная маска», «И перья страуса склоненные». И рядом: «По вечерам гуляют с дамами испытанные остряки».)

В движении романа есть множество эпизодов, вписанных в него как будто по непреднамеренному сцеплению мыслей. На самом деле сцепления эти имеют глубокий внутренний смысл. Само название «Вечер у Клэр» хочется повторять и перекачивать во рту, как Цветаева повторяла и перекачивала имя «Блок» в известном стихотворении. Первая фраза, как прыжок в воду, включает вас в самую середину иномерной жизни: «Клэр была больна; я просиживал у нее целые вечера и, уходя, всякий раз неизменно опаздывал к последнему поезду метрополитена и шел потом пешком с улицы Raymond на площадь St. Michel, возле которой я жил».

Фраза Газданова меняет свой объем и ритмический строй в зависимости от глубины содержания. Четкая, короткая, отточенная — «внешняя» информация. Сложные, длинные, многоступенчатые ритмы для опущенный и чувств. Ни одного слова нельзя заменить. Этот стиль поддерживает единство повествования.

Приученные к одномерности «реалистического» слова читатели в большинстве случаев, даже чувствуя внутреннюю цельность, создающую обаяние лирической прозы, не могут себе ее объяснить. А критики сравнивают «Вечер у Клэр» с книгой Пруста «В поисках утраченного времени». Сходство это лежит на поверхности. Женственное, дразнящее, аморальное, чуть пошловатое, неотвратимое очарование Клэр сродни обаянию героини Пруста. Долгие мечтания о любимой, несхожий с нею внутренний строй...

На самом деле книга Газданова ничуть не похожа на тягучую рефлексию Пруста. И кроме того, жестокий опыт гражданской войны, подлинный опыт XX века разделяет их резкой чертой.

«Вечер у Клэр» начинается сценой любовной игры. Тонким диалогом французских комедий. Два молодых взрослых человека в квартире у Клэр...

Потом легкая грусть о любви, которая пройдет. Потом незаметно, как мысль человека,

повествование перемещается то в клубящиеся глубины внутренней жизни героя, то в картины детства, юности, первой любви (Клэр).

Гимназист Коля Соседов (alter ego Газданова) идет на войну, «чтобы посмотреть, что такое война»<sup>1</sup>. Кроме юношеского любопытства, его влечет туда предначертание, желание вступить в свою судьбу.

Правда на стороне красных, говорит ему дядя Виталий, во-первых, красные — растущее явление, а белые — отмирающее, и этот природный процесс естествен, как рост кораллов. Во-вторых, Россия — крестьянская страна; крестьяне в армии красных. Это мнение никак не опровергнуто, но Коле не нравились коммунисты, которых ему привелось узнать в родном городе. Они были примитивны, невежественны, жестоко самоуверенны...

Коля выбрал белую армию. Подробности политики в те политизированные годы интересовали его не так уж сильно. Выбор внешней линии своей судьбы — вот что его волновало, и чтобы выбор этот соответствовал его внутренним исканиям.

Полудетское сознание: «Я сидел в деревенской избе недалеко от Феодосии, и ел хлеб с вареньем, запивая его горячим молоком...» Помните Петю Ростова?

И вот он — одинокий, ничейный мальчишка — на пароходе, уходящем в Константинополь. Он сидит, завернувшись в шинель, на палубе и глядит на отходящую вдаль русскую землю в огне пожараща.

В этом последнем небольшом абзаце сплетено все, что было, — пожараще (ведь его сильнейшее детское потрясение — страшный рассказ про пожар школы и мальчика-сироту, который потерял все-все. Его отца влекли пожары, и он с опасностью для жизни спасал из огня чужое имущество), корабль (опять-таки они с отцом каждый вечер играли в путешествие на корабле), мечты, неизвестность, Клэр, Пар и ж. Богатство пережитого превращает каждое из этих слов в знаки, почти символы. Проза, к которой мы привыкли, развивает свое повествование по горизонтали, как поезд, который движется в определенном направлении. Эта книга влечет и кружит, как серпантин, ведущий в гору. Сколько отсветов, поворотов, пропастей, вертикалей... С вершины вы видите ее всю. Только уже чуть-чуть в отдалении. А в финале — юношеская грусть, в которой так много надежды.

Но кроме мальчика-солдата, в романе присутствует другой человек, на десять эмигрантских лет старше, глубже и грустнее.

Это он теперь понимает всю жестокость прощания Коли с матерью — она остается одна, и больше уж они не увиделись. Это он

<sup>1</sup> Именно эту часть выбрала для публикации редакция «Юности», и при соответствующей подаче она превратилась в повесть о гражданской войне 1919 — 1920 годов, несколько напоминающую книгу Окуджавы «Будь здоров, школяр». Пружина действия оказалась развернута, все просто, ясно, наивно, как раз для юных. Не совсем понятно только, что такое «Клэр», появляющаяся на последней странице. Мечта, фантом, послуживший предлогом для звучного названия? Я хотела бы предупредить — не читайте Газданова в «Юности». Но поздно, поздно...

вспоминает российское детство и юность, и память его выбирает то, что осталось значимо. Например, мнение дяди Виталия о гражданской войне или его размышления о смысле жизни: «Никогда не становись убежденным человеком... и старайся быть как можно более простым».

Преподаватель-словесник Василий Николаевич, поражающий Колю глубиной знаний, правдивостью и скромностью, говорит совсем другое: «Я очень верующий человек... Кто может до конца верить, тот счастлив». Но мысль взрослого Николая Соседова комментирует: «Он принадлежал к числу тех непримиримых русских людей, которые видят смысл жизни в искании истины, даже если убеждаются, что истины в том смысле, в котором они ее понимают, нет и быть не может».

Эта вот неокончателность суждения о самых общих основах бытия и склонность выяснять их снова и снова с самим собой и разными собеседниками также составляет характерную черту Газданова и его героя.

Традиция таких размышлений, именно в этом «собеседническом» тоне, когда проблемы, встающие перед героем, неразрешимы и читатель должен сам задуматься в поисках решения, восходит к Чехову («Скучная история», «Соседи», «Три года» и многое другое).

Редкий дар глубокой чистой веры не был дан Газданову с детства и с гимназических лет (много разрушили казенные вероучители, коих всегда хватало), хотя нравственный и духовный смысл христианства всегда привлекал его. Но в отличие от многих героев Чехова, лишенных «общей идеи» и потому бездейственных, у Газданова была цель: он верил в то, что конструкция мира, создаваемая его творческой мыслью, должна воплотиться в слово и стать известной людям. Эта цель, заменявшая ему «общую идею», помогла ему быть человеком действия.

Биографически это выразилось в том, что он бежал из лагеря для интернированных русских военных и сумел почти чудом закончить прерванное образование. В литературе он следовал за своим предназначением ощущая, не всегда оставаясь верным своей звезде.

...Расставшись с Колей Соседовым на пути из Феодосии в Константинополь, с его преемником мы знакомимся на пароходе, отплывающем из Константинополя во Францию. Действие романа «История одного путешествия» происходит в Париже лет через пять после гражданской войны.

Поначалу кажется, что перед нами продолжение биографии Соседова — Газданова, только написанное в третьем лице. Володя Рогачев тоже попал из Крыма в Стамбул шестнадцати лет, он тоже гимназист из провинциальной интеллигентной семьи, он мечтатель и собирается стать писателем. Но на том сходство и кончается.

Самое прекрасное в этом романе — такое же глубокое, как в предыдущем, ощущение связи героя с природой: поездка из Греции в Стамбул на каботажном катере, ночь в Стамбуле и, в особенности, сияющий импрессионистической радостью жизни пикник в Фонтенбло. Остальное далеко не так хорошо.

Романтические декорации из черного бархата, вышитого серебром. Это вышивки некоей мечтательницы, фантазерки и ясновидящей, время от времени переживающей переселение в другие века и народы.

Светские персонажи, раскрашенные каждый в одну краску, как с обложки рекламного буклета.

Одни картинки сменяются другими: извительный юмор в изображении «счастья» Одетт, добродушная насмешка в истории Сержа Свистунова, карамельная сладость встречи Артура и Виктории.

Времяпрепровождение светской компании в Париже описано навязчиво и пресно: «Вы играете в теннис, Володя? Я играю в теннис, Вирджиния».

Нельзя, оказывается, брать на пикник холодную телятину — всякая консержка берет на пикник холодную телятину... и т. д.

Время от времени из-за этих картонных сюжетов всплывают в памяти повествователя тяжкие сцены гражданской войны. Но и тут есть «светский» вариант — лихая скачка каких-то двух англичан по бескрайним полям воюющей южной России. Эдакий российский вестерн.

Среди всех этих киношных декораций мимоходом придушили человека, пусть и дурного, и поехали на пикник в Фонтенбло. Какая-то фальшь чувствуется во всем. Как будто «Княжну Мери» Грушницкий написал.

Роман «История одного путешествия» так же, как и «Вечер у Клэр», имел успех у публики и критики, один позднейший исследователь (Ласло Динеш) даже счел этот роман вершиной творчества Газданова. Достигнутого в нем, быть может, было бы достаточно для Газданова-балетриста. Но для писателя Газданова, имеющего нечто сообщить миру, этой сладенькой сказочки о вранянии русского мечтателя в благополучную европейскую жизнь было явно недостаточно. И в 1939 — 1940 годах он начал печатать вещь, резко ей контрастную. Очень жесткую, очень социальную, очень правдивую. В этом втором автобиографическом романе, в «Ночных дорогах», особенно заметен тот внутренний свет, которого мы всегда неосознанно ждем от «настоящей» книги и который сияет так редко во всей своей ясной простоте.

Описана жизнь в Париже в промежутке между двумя войнами, но не позднее 1930 года. Герой — русский писатель и ночной таксист — кружит по городу, вспоминает прошлое, разговаривает с клиентами, с проститутками, с пьяницами в кафе, с соотечественниками-эмигрантами. Из ночи в ночь общается с людьми, находящимися на нижней ступеньке социальной лестницы, а то и на самом дне. Он не пытается «облагородить» этих людей, представить их «падшими» — жертвами бедности, обмана и пороков общества, как старались подчеркнуть писатели XIX века от Гюго и Дюма-сына до Достоевского.

В большинстве своем эти люди примитивны, вульгарны, жадны и ничуть не осознают свое «падение». Для них все это просто «рабо-

та». Нищенство — работа, проституция — работа, сутенерство и кража — вид деятельности.

Эти люди не слишком похожи на российских «блатных», на «воров в законе», считающих себя отъединенными от общества. Гарсон привокзального ночного кафе, круглый год работающий среди пьяных полонков, проститутка и бродяга, «совершенно счастлив» — исполнилась его «мечта — работать и зарабатывать на жизнь».

В сущности, как замечает клошар Платон — собеседник повествователя, «они неудачники в буржуазности... но они чрезвычайно буржуазны». Они торгуют собой, как торговали бы сосисками; завести свое «дело» — их заветная мечта.

Среди всей этой круговерти опустошенных, предельно ограниченных людей одинокими островками кое-как держатся на поверхности друзья повествователя — пьяница «философ» Платон и Ральди, бывшая красавица и звезда полусвета, а теперь никому не нужная старуха с прекрасными печальными глазами. Роман подчеркнуто антибуржуазен. Газданову на собственном опыте знакома вся лестница от среднего respectable интеллектуала, который может позволить себе, сидя, так сказать, в салоне, а не за рулем наемного автомобиля, замечать красоту Парижа, интересоваться живописью и думать о смысле жизни, до рабочего-поденщика на мойке паровозов, который в состоянии только кое-как оплатить питание и койку в рабочем общежитии, чтобы упасть на нее без сил после смены. И он стал голосом того российского интеллигентного круга, который вынужденно столкнулся с «европейской ночью» и не захотел в ней раствориться, а пожелал остаться при своих идеалах.

Чтобы исполнить эту писательскую задачу, ночному таксисту приходилось жить несколькими разными жизнями в течение одних суток, и он не мог понять, как его сотоварищи рабочие могли довольствоваться одной.

Газданов перепробовал много видов рабочего труда — однообразного, тяжелого, вредного, по его мнению, античеловечного, к которому, как он считал, люди должны были привыкать из поколения в поколение, чтобы наконец счесть его нормальным.

Будучи таксистом, он испробовал на себе высокомерие и жадность клиентов из привилегированного круга. Ему были глубоко чужды люди, поставившие себе целью «механическое накопление денег».

Но вместе с тем опыт жизни не позволял Газданову обольститься «той наивной схемой, в которую верили многие — и среди них были по-своему умные люди — это идиллическое и убогое построение безнадежного социализма».

Большинство русской эмиграции оказалось столь же антибуржуазным.

По свидетельству Газданова, те немногие эмигранты, которые ухитрились вписаться в эту французскую жизнь и пруспеть в ней, вызывали у остальных только зависть и злобу. Были и «факиры на час». Одни с русским размахом раздавали нажитое друзьям-эмигрантам, другие, обретая хоть капельку благополучия, как Федорченко («Ночные дороги»), начинали

«задумываться» о смысле жизни и прочих опасных для неукорененного эмигранта вещах, и это оборачивалось хуже отупляющей бедности (Федорченко покончил с собой).

Но Газданов был среди малого числа молодых, талантливых эмигрантов, среди тех, кто, не гнушаясь черной работой, умел спасти свой интеллект и дарования. «Муравьи номер 987, 654, 321», как сказала о себе не без иронического кокетства Берберова, не все они стали историческими лицами. Но они остались на плаву и сохранили в себе личность.

Что же касается Газданова, то, в отличие от героя его рассказа «Черные лебеди», талант-то и не давал ему погибнуть. Но кроме чисто литературного дарования, была в нем какая-то особая сила: ему нравилась Жизнь, и он стремился к полной самоотдаче. В шестнадцать лет он прошел через испытание революцией: «И все-таки, несмотря ни на что, революция была лучшим, что он знал, и революция России представлялась ему как тяжелый полет громадной страны сквозь ледяной холод, тьму и огонь...»; там были «...смерть, печаль и последнее человеческое — отчаянное или радостное иступление». Это иступление, кажется, и нравилось ему. Любовь к жизни просвечивает сквозь видимую грусть его книг. Должно быть, это был дар его кавказских предков.

Газданов шел воевать туда, где никто от него этого не требовал: мальчишком он отправился на гражданскую войну, в стан «побеждаемых»; не будучи французским подданным — присягнул Французской Республике, чтобы воевать с немцами (а потом участвовал в Сопротивлении и укрывал у себя беллецов).

У него была гипертрофия совести, что не сразу замечаешь за бесстрастным тоном его книг.

«Мне было тогда шестнадцать лет, но уже в те времена я знал чувство, которое потом неоднократно стесняло меня — как если бы мне становилось трудно дышать — стыд за то, что я молод, здоров и сыт, а они стары, больны и голодны и в этом невольном сопоставлении есть нечто бесконечно тягостное». Воображению газдановского героя не дают покоя больные, сырые, нищие и заброшенные. И в «Ночных дорогах», и в «Эвелине и ее друзьях» он выступает в роли человека, на которого опираются другие люди — друзья, случайные знакомые и совсем чужие. Они чувствуют, что именно он может совершенно бескорыстно сорваться с места и поехать куда-то по чужому делу (рассказ «Вечерний спутник»), отдался чужой беде и заботе. Чтобы как-то отреагировать на этот «комплекс», который не мог вполне развернуться в реальной жизни, Газданов написал даже целый роман — «Пробуждение» — о том, как бухгалтер Пьер долгие месяцы ухаживал за совершенно незнакомой ему женщиной, потерявшей от контузии память, и вылечил ее. И как именно в этом он нашел основу своей жизни и своей личности.

Принадлежал ли Газданов к «потерянному поколению», к его литературе? И да, и нет. Война и революция — хаос, моральное одиночество, жестокость — очень долго носили тревогу в его сны и смятенность в его произведениях. Отчуждение от повседневной

жизни, недоверие к ней как «обывательской», видимое отсутствие перспектив — все это было в его эмигрантской биографии. Газданов был на семь решающих лет старше Льва Тарасова, безболезненно превратившегося во французского литератора Анри Труайя. Хотя он сумел создать себе в Париже не «дожитие», а жизнь, но как художник он не перешагнул границу своей русской эмигрантской судьбы. Став в послевоенные годы «европейским писателем», автором романов «Призрак Александра Вольфа»<sup>2</sup>, «Возвращение Будды», «Пилитримы», «Эвелина и ее друзья», переведенных на многие языки, и заслужив у французской критики сравнение с Камю, он тем не менее не обнаружил в этих вещах, как мне кажется, достаточного внутреннего соответствия с французской жизнью или необходимого духовного импульса. Эти романы, где Газданов выказал себя блестящим беллетристом, все же не сделались таким событием в западной литературе, как произведения Набокова. И получается, что лучшие сочинения Газданова написаны под знаком той же «потерянности», тех же или сходных обстоятельств, в которых у нас в России приходилось работать последнему по счету поколению дворников, сторожей и литературных негров.

Хронологически он принадлежит к плеяде блистательных дебютантов конца 20-х годов. В 1925 году вышла «Белая гвардия» Булгакова, а в 1929-м — одновременно с «Вечером у Клэр» — «Прощай, оружие» Хемингуэя, «На

<sup>2</sup> Интересно, что один из героев этого романа, Александр Вольф, наделен как бы предугаданным литературным будущим Набокова: это русский писатель, пишущий по-английски необыкновенно тонкие, изощренные и неукорененные вещи, так что даже нельзя понять — откуда, из какой страны он происходит. Возможно, Газданов и к себе примерял этот вариант писательской судьбы, но не выбрал его.

Западном фронте без перемен» Ремарка, «Человек внутри» Грэма Грина, «Южный экспресс» Сент-Экзюпери, сборник новелл Набокова «Возвращение Чорба». Среди этого движения прозы идеология и психология «потерянных» получила наибольший общественный резонанс, и, казалась бы, романы эмигранта Газданова должны резонировать в том же ключе. Но в отличие от первых книг Ремарка и Хемингуэя в прозе Газданова сквозь многократно описанное отчаяние, сквозь «прозрачную печаль» всегда проступает какая-то упрямая надежда на человеческое сердце, — повествует ли он о простоватом счастье героини рассказа «Судьба Саломеи», inferнальной львицы, вышедшей замуж за сапожника, или о почтительной любви французских друзей к незначительному русскому литератору, Акакию Акакиевичу среди журналистов, ведущему раздел светских советов за подписью «Княжна Мэри».

Его книги тяготеют к русской традиции поэтической и психологической прозы. Ближе всего они подходят к творческой манере Лермонтова и Чехова. А в нашем веке «камерный» Газданов неожиданно сближается с теми писателями — от Булгакова до Солженицына, у которых судьба человека строится на личном выборе, личном постижении и личной вине.

В лучших произведениях Газданова за пределами психологического анализа, откровенного, как рентген, всегда остается таинственное, иррациональное очарование. Это книги для людей, которые хотят анализировать и думать, у которых развито воображение. Это красивые, сложные, «многоэтажные» постройки. В них можно заглядывать много раз и всегда найдешь что-то новое.

Конечно, это книги об интеллигенции и для интеллигенции.

Анна ФРУМКИНА.

\*

## ТРАГЕДИЯ ДРАМЫ

Восемь нехороших пьес.— В/О «Союзтеатр» СТД СССР, Главная редакция театральной литературы. М. 1990. 272 стр.

Давно и много говорят о кризисе театра. Но менее всего, думаю, в нем виноваты режиссеры. Кризис — от состояния драматургии. Ныне кажется естественным большое количество инсценировок — как классических произведений, так и современных. Разница в приспособленности к театру между пьесой и повестью стирается. Собственно, пьеса сейчас почти всегда и есть повесть (новелла, рассказ), только в сценах. Видимо, 80-е самым складом жизни и сознания людей противоречили театральности. Ведь театр — это перенесенные на подмостки столкновения решений, действий, поступков. Но в окружающей реальности поступком становилась мысль, чувство, реакция на прочитанное или услышанное. «Слова, слова, слова» объединяли советского чиновника, газетного журналиста, диссидента, рядового обывателя и

литературного героя. С другой стороны, навязчивая мечта о действительном поступке придавала жизни характер нереальный, сближала со сном. Все это проецировалось в литературу, в том числе в ее драматургическую форму. Она оказывалась только внешностью, приемом опосредования авторского монолога, а сам автор — единственным персонажем, Рассказчиком. Прочие герои из живых характеров превращались в функции, иероглифы, описывающие пригрезившийся сюжет. В нем парадоксально, гротесково, порой прямо-таки фантастически осуществлялось то, что было невозможно «в жизни».

Сказанное относится и к сборнику «Восемь нехороших пьес». Его вызывающее название выглядит анахронизмом. Не только потому, что идеологическая и эстетическая цензура как будто ушла в прошлое. Пьесы, составив-

шие сборник, никому уже не покажутся «нехорошими». Они представляют набор рестиражированных тем и стилей. От тем ланкующих юнцов и «поколения сторожей» до полурешенной проблемы выезда и нерешенных — пьянства или же еврейства. От концептуальных стилизаций до постмодернистской цитатности. И читателя, следящего за современной литературой, конечно, не изумит сексуальная окрашенность пьесы Евгения Сабурова или всеми любимого Венечки Ерофеева, как и тотальная ироничность сборника в целом. Несмотря на ограниченное число авторов, издание можно считать итоговим (на что драматургия 80-х способна) и образцово-показательным. Сама композиция сборника адекватна его материалу, а он — едва ли не новое целостное произведение литературы, только разбитое на главы. Их пять: Вен. Ерофеев, Е. Сабуров, О. Юрьев, З. Гареев, А. Шипенко — с разными датами рождения (1938, 1946, 1955, 1959, 1961), с несходством авторских манер. Каждого сопровождает критик, или философ, или писатель, или даже режиссер, не замечающий неловкости своего здесь присутствия. Это преемственность поколений, объединенных десятилетием. Однако легче увидеть их общее, нежели искать различающее.

О неатеатральности мы уже говорили. Стихи, свои и чужие, целые стихотворные интермедии размыкают драматургию. Пространные цитаты или длинные монологи, напротив, сближают драму с прозой. Ремарки разрастаются, теряют сценическую функциональность, стилизуются для чтения. Они становятся неотъемлемой частью повествования, как и авторское предисловие или посвящение, предварительные замечания, заключение или научно-шутовские комментарии. Та несколько пародийно (это скорее самопародия и самоирония человека 80-х) претворилась в драме общественная реальность: единственным событием оказывалась литературная встреча (с книгой), а неподвижную действительность подменяло литературное воспоминание (об этой книге). «Ты пьесы пишешь?» — спрашивают одного из героев сборника. Нет, «ремарки», отвечает он за своего автора. И завершающее пьесу слово критика оборачивается последней сценой, эпилогом, а он сам — последним героем, классическим «вестником». Как и должно быть в сборнике, где главные действующие лица — авторы, а вместо персонажей-личностей — амплуа (я ведь не зря вспомнил классицизм), иероглифы: еврей, художник, хиппарь, отъезжающий энкаведешник, старая дева, атаман... И наконец — Знакомый Театровед, автор сопроводительной статьи. Конкретный человек, втянутый в ауру современной драматургии, утрачивает плоть, тоже превращается в знак.

Однозначная оппозиция «Мы» — «Они» характерна для сборника. Ее не то чтобы измыслил Вен. Ерофеев (она точно так же принадлежит его читателю), а воспел, художественно утвердил с резкой поэтической силой — и в «Вальпургиевой ночи...», одной из «нехороших пьес», и в эссе «Василий Розанов глазами эксцентрика» (напечатано в альманахе «Зеркала». М. 1989). И в знаменитой «Мо-

сква — Петушки» именно эта оппозиция, не названная, пронизывает повествование. «Мы» — это отвергнутые обществом и отвергающие его, отщепенцы, изгои — притом чаще всего сознательные. То есть путевку в положительные герои дает здесь только общественное презрение — шлюхо, длинноволосому тусовщику, сумасшедшему. Особую роль в жизни многих героев поэту играет психушка. Но такой общественноборщеский пафос таит и комический, не всегда запланированный эффект: когда ореол высокой жертвенности окружает героиню, попеременно отдающуюся в сортире трем пьяным художникам, или пьяный шпаш обьявляется единственным путем к свободе, социальной и экзистенциальной.

Но все-таки любимое амплуа в сборнике — еврей. К реальной национальности он, конечно, не имеет отношения. Перед нами отражение историко-литературного мифа. И дело не в современных национально-политических проблемах. Ведь «еврей» — не сегодня придуманная традиционная для культуры фигура изгоя и разрушителя спокойствия. Поэтому Гуревич в ерофеевской «Вальпургиевой ночи...» — вождь бунта. Соня у Евгения Сабурова «уже одной ногой» смотрит на Запад, по живописному выражению персонажа. А Мириам в одноименной пьесе Олега Юрьева хитроумно лавирует между военно-политическими силами: белым офицером, красным командиром и крестьянским атаманом. Конкретно-исторические атрибуты гражданской войны никого не смогут обмануть. Все это разные варианты сегодняшнего освобождения, художественно реализованного: существования вне государства, общества, социума или национальности. Предельное выражение такого плавающего, неукорененного бытия — бродячая хиппующая старуха в пьесе Алексея Шипенко «Археология».

Пафос «золотых снов» проявляется и в предпочтении экзотического материала, и в фарсовости. Компания полухиппи-полупанков и художественная богема, молодежный жаргон и еврейский акцент, психолечебница и бабелевское местечко — в этом отношении уравниваются. Литература как бы заведомо отрешается от повседневности, где ничего не происходит, выносятся из нее. Ирония же, пронизывающая сюжеты, обеспечивает то отстояние от «серьезной» действительности, когда только и возможна Игра — в свободу, революцию, гражданскую войну, всегда, впрочем, бескровные. А фарс может быть философский, как у Ерофеева, исторический, как у Юрьева, социально-бытовой (у Сабурова) и даже — у А. Шипенко — фарс-хэппенинг. Но во всех случаях места трагедии он не оставляет. Завернутый в одеяло труп ребенка, самоубийство героини... — все это, оказывается, еще можно переиграть. Как варьирует Юрьев зловещий финал своего «Маленького погрома в станционном буфете» или репетируют шутовской расстрел шипенковские герои. Гора трупов у Ерофеева тоже кажется — понарошкой. Для литературы 80-х, а может быть, и для ее современника-читателя слезы, кровь, смерть, как и любовь — гражданские, семейные, любовные... — пе-

реживания, неотвратимо лишаются реальности и всамделишности.

Впрочем, бывают исключения. В сборник включены две пьесы Зуфара Гареева. Не знаю, обратил ли на него внимание читатель по двум публикациям «Нового мира» (1989, № 12 и 1990, № 8) и тоненькой книжечке «Московского рабочего» («Про Шекспира». 1990). Рассказы и пьесы Гареева сейчас едва ли не диковинка. Его, конечно, объединяет с коллегами по «нехорошим пьесам» и антитеатральность, и постоянная ироничность. Но может быть, оттого по-настоящему и смешны мрачноватые шутки его персонажей, что не только не приучают к смеховому, а, наоборот, заставляют все время подозревать: смешно ли? «Даже соль у тебя абсурдная, даже тараканы кретины... Почему они в соли?..» «Потому что кончился сахар...» — невозмутимо отвечает герой. Смех здесь не подменяет слезы, а перепутан с ними. Резкими, никак не подготовленными скачками от смешного к печальному движется сюжет. То есть «как в жизни», «взаправду». Я так соскучился по «серьезности» в литературе, что даже обрадовался.

И в пьесах Гареева все вызывающе обидно. Но среди повседневного быта то вдруг является человек с гробом, а оттуда поднимается умершая мать, то совсем некстати заборочет селектор, репетируя эвакуацию, а действие перемещается в какую-то вневременную реальность. Это те прошлое и будущее, которые окружают героев. Среди них было бы напрасно искать положительного. Осыпавшие друг друга упреками, традиционно для русской литературы скандалящие, они все правы, потому что обездолены. Кажется нарочитым совпадение: и у писателя из пьесы «Семейный день», и у сестер из «Действующих лиц» умерла мать. Может быть, только сиротству и осуществить братство посреди зла и свободу в этом братстве от мира, которых добивались другие герои сборника. «Мы все равно придем друг к другу...» — говорит гареевская героиня. Вот такой наивный пафос ностальгически традиционной литературы, от которого мы уже успели отвыкнуть.

Олег ДАРК.

### Политика и наука

#### МЕТАМОРФОЗЫ «ВОРОВСКОЙ ИДЕИ»

Валерий Чалидзе. Уголовная Россия. М. «Терра». 1990. 395 стр.

Валерий Чалидзе, ученый-физик, «диссидент», в начале 70-х уехал в США<sup>1</sup>. В 1973 году основал издательство «Хроника-пресс», публиковал материалы по правам человека. В 1979-м основал «Чалидзе пабликэйшнз», издательство, функционирующее по сей день, — печатал книги С. Козна, А. Антонова-Овсенко, Р. Медведева, мемуары Е. Гнедина (произведения эти уже переизданы в нашей стране). Особое внимание Чалидзе уделяет проблемам правосознания и государственного устройства; кроме рецензируемой книги в нашей стране вышли еще две — «Заря правовой реформы» (М. «Прогресс». 1990) и «Иерархический человек» (М. «Терра». 1991).

«Уголовная Россия» — это репринтное воспроизведение издания 1977 года. Как сообщает автор, сбор материала для этого исследования был им практически закончен в начале 1975 года, и более поздняя литература им не использовалась. Этот факт может разочаровать некоторых читателей книги, особенно в сопоставлении с ее ценой (10 р. 90 к.). Вся вторая часть книги, затрагивающая конк-

ретную уголовную практику, уже устарела (я не буду на ней останавливаться). К счастью, этого нельзя сказать обо всей книге В. Чалидзе. Не устарело обширное «Вступление», состоящее из двух обобщающих глав — «Русская уголовная традиция» и «Советская уголовная традиция», а также первая часть книги: главы «Воровской мир как социальный институт» и «Упадок воровского мира».

Более всего интересует автора проблема «настоящих» преступников — преступников не в советском, а в общечеловеческом смысле, поскольку, по мнению В. Чалидзе, советский законодатель не связан какими-либо общечеловеческими представлениями о том, что есть уголовно наказуемое деяние, — самые обычные поступки людей могут быть в друг, по каким-то «государственным» соображениям объявлены преступлением. Он подробно описывает «настоящий» воровской мир — как некий социальный институт («независимо от того, какие эмоции... вызывают те цели, которые являются объединяющими для деятелей этого института» — фраза эта является ключом к авторской манере и методологии). В. Чалидзе убежден, что преступный мир — естественная часть общества.

Немалое место уделено в книге В. Чалидзе тому, что он называет «русская уголовная традиция», имея в виду под национальной уголовной традицией «существование таких национальных представлений в области морали, следование которым приводит... к совершению действий, оцениваемых как уголовный деликт». Автор уверяет, что он не забывает о подобных же чертах в истории многих народов, но на деле не уделяет места для необхо-

<sup>1</sup> Не рискуя быть судьей в столь болезненных вопросах, не могу все же не упомянуть о некоторой двусмысленности репутации Чалидзе. Вот что писал о его работе в комитете защиты прав человека Солженицын: «Холодно-рациональным торможением, с ледяно-юридической кровью, Чалидзе остановил и испортил достаточно начинаний комитета, который мог бы сыграть в нашем общественном развитии и значительно большую роль» («Бодался теленок с дубом»). Как бы то ни было, «холодно-рациональной» отпечаток действительно лежит на рецензируемой книге.

димых сравнений или аналогий. Правда, он уточняет, что «рассказ о русской уголовной традиции в настоящее время, то есть за последние лет сто, есть скорее рассказ о том, какую эпоху своего развития переживает моральная цивилизация в России, чем о том, какие черты этой моральной цивилизации являются чисто русскими». Все-таки жаль, что, несмотря на эти оговорки, автор не рассматривает национальные правовые представления как некую «вещь в себе» без сравнения с аналогичными представлениями других народов, что могло бы дать более убедительные результаты. Позже, переходя к разговору о «советской уголовной традиции», В. Чалидзе объясняет, что не русская уголовная традиция была заменена советской, но установление иного политического строя настолько изменило нравы населения, что можно говорить особо и о советской уголовной традиции. Кстати, это понятие в книге В. Чалидзе еще более размыто, чем «русская уголовная традиция».

Важнейшей чертой «русской уголовной традиции» В. Чалидзе считает принципиальное неуважение к собственности чужих — не вообще к чужой собственности, а к достоинству тех, кто осознаются как чужие. По его мнению, народная этика не порицала однозначно всякого нарушения прав собственности. Автор цитирует известного этнографа С. Максимова: «Все то, к чему не приложили труд и что таким образом не представляет благоприобретенного капитала, — воровать не грех. Все барское с тех самых пор, когда оно узаконено в отдельную собственность, возбуждает самый крепкий соблазн, подвергается преимущественным нападениям, наводит на грех кражи, как придорожный горох и репа...» Местный вор и скупщик краденого вызывали у населения презрение и ненависть, в то же время разбойник (грабитель богатых, поскольку у бедных просто взять нечего) становится легендарным героем, ему приписываются небывалые достоинства и особенно — любовь к народу. Как пишет тот же С. Максимов, «под призрачным идеалом народ уже не видит в разбойнике потерянного, жестокого человека, у которого все навыворот, который запачкался во всевозможных пороках и нравственно развращен до самого корня».

Нечто похожее наблюдается и в отношении к посягательству на жизнь человека. Как в делении собственности на свою (крестьянскую, общинную), и чужую (барскую, казенную и пр.) народный взгляд различает своих, убить которых грех, и чужих — уродов, колдунов, поджигателей, воров (покушающихся на крестьянскую собственность), вообще пришло людей, к которым относились подозрительно «вплоть до презумпции зловредности в отношении них...»

В. Чалидзе безусловно относит к дореволюционной русской уголовной традиции с а м о с у д ы. Причем, как я понял, речь не идет об особой садической жестокости русского народа (как это некогда утверждал Горький); просто крестьянский мир избегал обращаться за помощью к властям, предпочитая «улаживать» свои проблемы самостоятельно, но по воз-

можности скрывая от администрации и факт преступления, и факт наказания преступника или того, кого крестьяне считали таковым. То есть речь идет скорее о глубоком, выношенном недоверии крестьянина к казенному чиновнику, чем о свойствах русского характера. Впоследствии, по мере возникновения и укрепления тоталитарного государства, контролирующего все и вся и не оставляющего места для подобной самостоятельности, традиция самосудов была пресечена (за исключением самых глухих углов). Но не исключено, что возможное ослабление необходимых государственных структур, не говоря уже о новой Смуте, может дать этой «традиции» новую жизнь<sup>2</sup>.

Что касается революционного движения в России в его связи с уголовным миром, то автор обращает внимание на то, что крупные разбойники сначала проявляли себя как разбойники, а потом становились в представлении народа или в собственных глазах «освободителями», а революционные деятели конца прошлого и начала нынешнего века сначала намеревались «освободить» народ, а потом — в интересах революции — занимались террором, грабежами и подстрекательством к грабежам и разрушениям. Склонность к экспроприациям проявляли и большевики и эсеры, а часть либеральной интеллигенции смотрела на это даже с симпатией (что, впрочем, не ново — см. книгу бывшего народовольца Льва Тихомирова «Начала и концы. Либералы и террористы»). Они не просто сами грабили и убивали — сначала как оппозиционеры, потом как властители. В. Чалидзе утверждает, что они опирались именно на русскую уголовную традицию пренебрежения чужой (чуждой) собственностью. Революционеры «объявили, что впредь сколько-нибудь значительная собственность будет общей, и благодаря этому руками подстрекаемых к грабежам пролетаризованных субъектов смогли ограбить церкви и завладеть собственностью тех частных лиц», у которых было что грабить. «Все эти грабежи совершались на основе декретов пришедших к власти освободителей, и поскольку эти освободители... основали новое государство, признанное вскоре как субъект международного права, то приходится заключить, что все эти грабежи проводились на законных основаниях...» Но с точки зрения «юридических традиций человечества» эти декреты имели не большую юридическую силу, чем «приказы разбойника Путачева». Среди крестьянства нашлось достаточно соблазненных возможностью «пренебречь» чужой собственностью — будь то помещичьи имения или позже — достояние «кулаков» (ведь и «кулаков», отмечает автор, объявили чужими). Причем новой власти так и не удалось заставить относиться к казенной собственности как к своей, в соответствии с «русской уголовной традицией» это имущество расхищает-

<sup>2</sup> «...когда озверевшие от крови толпы будут врывать в ваши кабинеты, волочь вас на улицы и втаптывать в мостовые. Когда по разбитым, пахнувшим гарью улицам ветер будет гнать тонны бумаги — все, что останется от вашей империи. И не будет вам ни закона, ни правого суда», — обращался некогда В. Букровский к власти имущим.



ся как чужое — по мелочам этим занимается почти все население.

Важнейшая тема в книге Чалидзе — воровской мир и его взаимоотношения с государством. «Основной смысл воровской идеи заключается в том, что вор обязан жить в весьма сильной степени отдельно от общества, не являться субъектом диктуемых обществом социальных связей», — пишет В. Чалидзе. Очень наглядно передает дух и суть этой «идеи» Шаламов, анализируя в своих «Очерках преступного мира» знаменитую книгу Достоевского. Так, большинство современных читателей вряд ли задумывались над тем, что в «Записках из Мертвого дома» вообще нет «блатных». «Все эти Петровы, Лучки, Сушиловы, Газины — все это, с точки зрения подлинного преступного мира... — «асмодеи», «фраера», «черти», «мужики», то есть такие люди, которые презираются, грабятся, топчутся настоящим «преступным миром»... Вор ведь — это не тот человек, который украл, — объясняет нам Шаламов. — Можно украсть... но не быть блатным, то есть не принадлежать к этому подземному гнусному ордену... Достоевский на своей каторге их не встречал, а если бы встретил, мы лишились бы, может быть, лучших страниц этой книги — утверждения веры в человека, утверждения доброго начала, заложённого в людской природе (разрядка моя. — А. В.)». Все персонажи «Мертвого дома», считает Шаламов, это «просто люди, столкнувшиеся с негативной силой закона, столкнувшиеся случайно, в потемках переступившие какую-то грань, вроде Акима Акимовича... Блатной же мир — это мир особого закона, ведущий вечную войну с тем миром, представителями которого являются и Аким Акимович, и Петров, вкупе с восьмиглазым плац-майором... Угреватый, наивный плац-майор — это их открытый враг, а Акимы Акимовичи и Петровы — их жертвы».

Так вот — и это любимая мысль В. Чалидзе — «русской истории было угодно, чтобы в соперничестве преступного мира с подражающими ему дилетантами одержали верх именно дилетанты». Это не означает, что дилетанты захватили первенство в преступной иерархии — от этого, считает автор, преступный мир сумел бы себя оградить. «Победа дилетантов состояла в том, что они (осенью 1917 года. — А. В.) захватили власть в стране и образовали свое государство, которое, подобно ранее существовавшим государственным конструкциям, располагало карательной системой для борьбы с преступным миром. Конечно, борьба с преступным миром не была с самого начала важной целью вновь организованного государства этих дилетантов. Напротив, они даже надеялись на своего рода мир с уголовными элементами: они освободили их из тюрьм и... объявили социально близкими. Они даже высказали надежду, что деятели преступного мира также сочтут их социально близкими и прекратят деятельность, которая является преступной с точки зрения новой власти. Преступный мир, похоже, не был нисколько озадачен тем, что дилетанты захватили власть... Однако объявление уголовных преступников со-

циально близкими новой власти было первым успешным шагом в борьбе с преступным миром (но не с преступностью. — А. В.)».

«До тех пор государство в России вело борьбу с преступным миром, а преступный мир исповедовал доктрину о неприкосновенности к действиям государственной власти: единственной формой контактов преступного мира с государством была карательная деятельность государства против преступного мира...» Новая власть протянула руку уголовникам, и некоторые из них ответили на этот призыв (кое-кто из них даже оказался на государственной службе и даже в правоохранительных органах). Таких «изменников» было относительно немного, им мстили; однако, как считает В. Чалидзе, «падение нравов» в воровском мире уже началось. Немалую роль тут сыграло новое, небывалое доселе положение уголовников в местах заключения. Как объясняет В. Чалидзе, уголовники пользовались бы любой возможностью притеснять «фраеров» и без пожеланий администрации, однако они не могли не знать, что этот террор угоден администрации, таким образом они действовали заодно с администрацией, выполняли ее волю<sup>3</sup> независимо от того, оформлялось ли это соучастие в какие-либо конкретные договоренности. С точки зрения ортодоксальной «воровской идеи» это был подлинный упадок воровской «морали». В этом упадке В. Чалидзе видит руку искусного режиссера, что, по-моему, вовсе не очевидно. Но как бы то ни было, с началом войны началась новая фаза этого «упадка». Под угрозой расстрела многие заключенные, включая «цвет» уголовного мира, согласились проявить свой «патриотизм» (на самом деле несовместимый с блатной психологией) и пошли воевать, то есть оказались на государственной службе, нарушив тем самым основное правило воровского мира. Отвоевав, они возвращались к прежней профессии и в лагеря, где их встречали как изменников, заслуживающих смерти, — «суки» на блатном жаргоне. Но, как отмечает автор, в истории российского преступного мира еще не было столь массового и внезапного «ссучивания» — убивать пришлось бы слишком многих. «Суки» приняли вызов, и началась так называемая сучья война, выразительно описанная В. Шаламовым. «Суки» провозгласили «новый воровской закон», разрешающий воров в известной мере сотрудничать с администрацией. Под страхом смерти часть воров приняла новый закон, часть погибла за «старую веру». Но не следует думать, замечает автор, что это был шаг к победе над преступным миром. С введением нового воровского закона легче стало быть вором, поэтому известный упадок воровского мира как некоего социаль-

<sup>3</sup> В последние десятилетия положение начало меняться. «Когда мои сокамерники узнавали, в чем меня обвиняют, они реагировали однозначно: «Так ты против коммунальков? Дайте ему лучшее место!» — вспоминает Феликс Светов. — Возможно ли это было во времена Шаламова и Солженицына? В современной тюрьме больше нет деления на «классово чуждых» и «социально близких!»» («Московские новости» 17.02.01).



ного института означал вовсе не его крах, а, напротив, повышение его жизнеспособности.

Такова вкратце концепция В. Чалидзе.

В наши дни он мог бы дополнить ее любопытными наблюдениями над следующей фазой развития преступного мира. Организованная преступность сегодня развивается, судя по всему, не столько в русле «воровской идеи», утверждающей отдельность воров от общества, сколько по образцу западной мафии, стремящейся, напротив, максимально слиться с государственными структурами и легальным бизнесом. Можно предположить, что если страна будет более или менее успешно двигаться к свободному рынку и частной собственности (а по мысли В. Чалидзе, так называемый капитализм есть просто «естественная» форма трудовых отношений), то и преступный мир будет все дальше уходить от ортодоксальной «воровской идеи». В случае же новой Смуты и падения всякой государственной власти возможно оживление этой идеи, противостоящей всему остальному обществу, причем в самой дикой и жестокой форме. Тем более что автор специально напоминает нам об опасной привлекательности воровской вольницы (вольницы вурдалаков, по выражению Солженицына): «симпатичным для многих является и стремление к отдельности от общества, стремление к свободе, обретенной посредством отказа от принятых в обществе этических ценностей и запретов; свободе за счет других, но дающей

упоение силой, дающей выход тем глубинным, пусть реликтовым позывам человеческой воли, кои по велению общественной этики должны быть подавляемы».

Как писал Достоевский, есть такие преступления, которые везде в мире считаются бесспорными преступлениями и будут считаться таковыми, «покамест человек станет человеком». А человечество, добавлю я, за всю свою историю так и не нашло иного (если не говорить о смертной казни) способа защиты от посягательства на законы человеческого общежития, чем тюрьма, хотя, конечно, исправительное значение тюрьмы более чем сомнительно. Вспомним известные слова апостола Павла о начальнике, опоясанном мечом: «Если же делаешь зло, бойся; ибо он (начальник.— А. В.) не напрасно носит меч; он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое» (Римл. 13, 4). Апостол не сказал «исправитель», но — «отмститель».

Не нужно себя обманывать: т ю р ь м ы б у д у т всегда. И всегда будут люди, в них сидящие,— виновные и безвинные. Но русская литература, мы можем это смело утверждать, никогда не утратит сочувственного интереса к человеку в неволе — правому или виноватому, ибо тогда она перестала бы быть сама собой, утратив существенную возможность сказать нечто важное о мире и человеке.

Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ.

\*

## О ПИЛСУДСКОМ БЕЗ ЛЕГЕНД И ВЫМЫСЛОВ

Дарья и Томаш Наленч. Юзеф Пилсудский. Легенды и факты.  
Перевод с польского В. И. Воронкова, В. А. Светлова, В. А. Федоренко.  
М. Издательство политической литературы. 1990. 399 стр.

Наконец-то наш читатель получил правдивую книгу о Пилсудском (1867 — 1935), деятельность которого наложила неизгладимый отпечаток на историю польского народа в нынешнем столетии. Прошло уже более полувека как его нет в живых, а влияние его слов и дел до сих пор ощущается в Польше, ибо он был одним из тех, кто воссоздавал ее независимость, играл в ней ведущую роль на протяжении почти всех межвоенных лет.

В советской историографии фигура Пилсудского представляла обычно со знаком минус. Всячески замазывались его заслуги по строительству возрожденного Польского государства, на первый план при оценке его личности выдвигались советско-польская война 1920 и переворот 1926 года. При этом в первом случае не учитывалось то, что летом 1920 года, когда Красная Армия вступила в пределы польских этнических границ, характер войны изменился: поляки во главе с Пилсудским поднялись на защиту только что обретенной национальной свободы; во втором случае довлела оценка майских событий 1926 года как фашистского (или профашистского, как утверждает в послесловии к книге кандидат исторических наук М. Н. Бобрик) переворота. Довлекло над нашими исследователями и то обстоятельство,

что в границах межвоенной Польши оказались западные районы Белоруссии и Украины.

Отрицательная оценка Пилсудского мешала правильному пониманию истории польского рабочего движения в конце XIX — начале XX века, когда товарищ Виктор (партийная кличка Пилсудского) играл ведущую роль в Польской социалистической партии. Нашим историкам трудно было понять, как же революционер превратился со временем в диктатора, хотя за примерами такого рода не надо было ходить далеко. Рецензируемая книга дает в целом верный ответ на этот и другие вопросы. Авторы книги — польские историки Дарья и Томаш Наленч — проводят через все повествование мысль о том, что Пилсудский оставался во власти одной идеи: возродить национальную независимость, а после ее достижения отстоять самостоятельность Польского государства, сделать его внутренне прочным. Удачей является то, что этот плодотворный тезис положен ими в основу объяснения действий Пилсудского как во время подготовки майского переворота, так и после него.

Можно лишь пожалеть, что в книге приведено очень мало материала о внешней политике санационной Польши и особенно об ее

отношениях с Советским Союзом. Пилсудский всерьез опасался, что распри между политическими партиями приведут только что восстановленное государство к распаду. Во внешней политике он стремился обеспечить безопасность страны путем заключения пактов о ненападении с Советским Союзом и Германией. Характерно, что после подписания такого соглашения с Германией в 1934 году он предсказал, что хорошие отношения с нею продлятся не более четырех лет.

Немало страниц в книге отведено личной жизни Пилсудского. Авторы повествуют об ее сложных перипетиях, вызванных тем, что его первая жена Мария Юшкевич не давала ему развода и фактический брак со второй женой Александрой Щербиньской был официально легализован много лет спустя, лишь после смерти М. Юшкевич. Тактично рассказывают авторы и о привязанности стареющего диктатора к своему молодому врачу Евгении Левицкой, жизнь которой трагически оборвалась в тот момент, когда, казалось, роман достиг своего апогея. С интересом воспринимается приводимый в книге материал об образе жизни Пилсудского, быте его семьи, его отношении к дочерям, режиме его работы, привычках всегда иметь под рукой револьвер, раскладывать пасьянсы, ежегодно посещать Виленщину, где он родился, не доверять врачам (он называл их проходимцами, подлецами, лодырями), употреблять в публичных выступлениях и частных разговорах крепкие слова (дерьмо, банда говнюков — в адрес правых; бордель, клоака, это свинство, пусть задохнется от собственной вони — в адрес сейма; Конституцию 1921 года он называл конституткой). Перед читателем предстает человек, нередко раздираемый противоречиями, но неизменно стремящийся к достижению поставленных целей; человек, верящий в свое призвание сыграть важную роль в судьбах польского народа.

Старательно очищая образ Пилсудского от мифов, которыми окутали его жизнь и деятельность агиографы, авторы стремятся опираться только на факты, представляя во многих случаях читателю право самому сопоставлять их. В своей борьбе с мифами Д. и Т. Наленч не просто огульно отбрасывают их, а, напротив, стараются объяснить причины их появления. В книге говорится о пребывании Пилсудского в сибирской ссылке, его победе из тюремной больницы в Петербурге, о конспиративной деятельности Пилсудского, его участии в экспроприациях, о преследованиях со стороны царских властей, которым он подвергался, о том, что, командуя 1-й бригадой польских легионов, а позднее польской армией и возвышаясь все больше над подчиненными, он делил с ними все тяготы фронтовых будней. Все это, конечно, способствовало росту авторитета Пилсудского как лидера, готову принять на свои плечи руководство борьбой за восстановление и укрепление независимости Польши.

Авторы приводят малоизвестные факты истории польско-советских отношений. Вот только два из них. Находясь в конфликте с Советской Россией, Пилсудский, однако, не

поддержал наступление на нее Деникина. Более того, он даже известил об этом советское командование, дав ему возможность перебросить часть своих сил с польского фронта против Добровольческой армии. Когда в мае 1935 года Пилсудский скончался, наряду с Германией и Францией официальный траур был объявлен и в СССР.

Неплохо подан в книге материал о Пилсудском как профессиональном революционере — о сути его тогдашних взглядов. Авторы справедливо видят их особенность в том, что Пилсудский не придавал значения идеологическим вопросам, все больше склоняясь к мысли о подготовке общепольского восстания, для чего он и создал сначала боевую организацию в ППС, а затем по договоренности с австрийскими властями сформировал воинские отряды как зародыш будущей польской армии.

Мечтая уже тогда стать в будущем диктатором Польши, Пилсудский возлагает свои надежды на войну между державами, разделившими в XVIII веке Речь Посполитую, и поэтому считал, что полякам нужен союз с одной из них. При этом он не стремился к перерастанию национального восстания в социальную революцию. После формирования в 1910—1912 годах союзов стрелков Пилсудский, как подчеркивается в книге, превращается из партийного деятеля в военного, в политика, все дальнейшие действия которого были сугубо прагматичными. В работе Наленчей показано, что его надежды на приток добровольцев в отряды стрелков после их вступления на польские земли, находившиеся под властью России, потерпели фиаско. Точно так же рухнули (даже после оккупации Варшавы немецкими войсками) усилия Пилсудского привлечь людей оттуда в польские легионы, созданные им в составе австрийского ополчения.

После участия легионов в операциях, связанных с Брусиловским прорывом летом 1916 года, Пилсудский был близок к тому, чтобы возглавить все легионы. Однако осенью того же года он был уволен со службы (отставки его потребовали немцы) и в декабре приехал в Варшаву, а в январе 1917-го вошел во Временный Государственный Совет, созданный актом оккупантов от 5 ноября 1916 года Польского государства.

В книге подчеркивается, что революция в России разрушила концепцию восстановления польской государственности в опоре на центральные державы. Пилсудский меняет фронт, своим сторонникам (бывшим легионерам) в польских воинских формированиях, созданных оккупантами, он рекомендует отказываться от принятия присяги и даже строит планы перехода на сторону России. Этому помешал его арест немцами в июле 1917 года и заключение в крепость Магдебург, откуда его освободила ноябрьская революция в Германии 1918 года.

Возвратившись в Варшаву, Пилсудский становится руководителем возрождающейся Польши. Авторы показывают, что действия Пилсудского как Начальника государства (так официально он именовался вплоть до 1922 года) объяснялись отнюдь не классовыми, а государственными интересами, прежде всего подготовкой

созыва Законодательного сейма и созданием армии. В книге анализируются основные моменты соперничества политических группировок и партий в сейме, которое Пилсудский использовал для усиления своего авторитета в стране. Именно в это время, считают авторы, и произошел окончательный идейный разрыв его с левыми, то есть со своими бывшими соратниками по партии. С этого момента Пилсудский опирается главным образом на создаваемую им армию, в которой ведущую роль играют бывшие легионеры.

Авторы рассматривают федеративную концепцию, выдвинутую Пилсудским с учетом того, что в состав Польши войдут не только этнически польские земли, его планы федерации Польши с Украиной, союза с Литвой и причины крушения этих замыслов. Подробно характеризуются в книге главные моменты польско-советской войны 1920 года, особенно «чуда на Висле», когда польская армия под руководством Пилсудского остановила наступление советских войск на Варшаву, отбросив их на восток.

Много внимания уделено в книге процессу разрастания конфликта Пилсудского как начальника государства с сеймом, в ходе которого власть первого постепенно ограничивалась. Первый маршал Польши (звание, полученное Пилсудским в 1920 году) не видел себе места в парламентской системе, у него не было своей партии. Он отказался баллотироваться в президенты в ноябре 1922 года, обвинив правых в нападках на себя и не получив чрезвычайных полномочий, после избрания первого президента Польши Г. Нарutowича передал ему власть и отошел от дел. Даже убийство Нарutowича эндеком не заставило Пилсудского вернуться к власти.

Раздел «Отшельник», в котором идет речь о времени, проведенном Пилсудским в загородном имении Сулеювек (под Варшавой), важен для понимания того, как Пилсудский, опасаясь развала только что восстановленного Польского государства, пришел к выводу о необходимости установления диктатуры ради его спасения.

Не менее интересны страницы книги, повествующие о непосредственной подготовке государственного переворота. Пилсудский, избравшая из себя демократа, вел широкую агитацию в армии, выжидая удобный момент для выступления. Воспользовавшись очередным правительственным кризисом, он 12 мая 1926 года двинул верные ему воинские части на Варшаву. Левые партии поддержали переворот. Авторы сообщают много нового о драматических майских событиях и установлении диктатуры Пилсудского в Польше.

Пилсудский стремился придать своей власти легальные формы, примирить враждующие стороны, особенно в армии. Из нее были устранены генералы — противники диктатора. Была проведена чистка госаппарата в центре и на местах. Левые партии обманулись в своих ожиданиях: Пилсудский не хотел опираться ни на них, ни на правых. В правительство, однако, вводятся консерваторы. Авторы, видимо, правы, считая, что диктатор поначалу не имел четкого представления о том, каким

должен быть государственный строй. Прерогативы сейма были ограничены, расширены полномочия исполнительной власти. Пилсудский открыто игнорировал мнение большинства сейма, фактически парализовав его деятельность.

В книге подробно говорится о попытках сейма сопротивляться нажиму диктатора, использовавшего военных для запугивания депутатов. Как показывали итоги выборов 1928 года, страна не поддерживала санацию. Однако Пилсудский не сразу решился распустил сейм. Это было сделано лишь два года спустя и сопровождалось арестом десятков депутатов, представлявших оппозицию.

Победа пилсудчиков на выборах 1930 года и болезнь диктатора (рак печени) приводят к тому, что он формально отходит от дел уже в 1931 году, оставаясь официально лишь генеральным инспектором вооруженных сил. С 1932 года состояние здоровья Пилсудского ухудшается, он все более уединяется, предоставляя свободу действий своим соратникам. Впрочем, как подчеркивают авторы, стареющий и больной диктатор не испытывал особых симпатий даже к ближайшему окружению, справедливо полагая, что после его смерти оно не сможет сохранить независимость страны...

Особый интерес представляет довольно обширный раздел книги, в котором идет речь об отношении к Пилсудскому его современников. Здесь подробно анализируются высказывания за и против него. Правда, показывая, как создавался миф Пилсудского, авторы не всегда (например, в случае с легионами) учитывают, что его деятельность объективно отвечала чаяниям народа, борovéhoся за независимость своей родины. В то же время они правы, когда пишут, что арест Пилсудского немцами в июле 1917 года и его пребывание в заключении в крепости Магдебург до ноября 1918 года придали этому мифу новый импульс.

Все попытки его противников, в первую очередь эндеков, пишут авторы, не могли поколебать легенду Пилсудского. Нагнетание его культа усилилось после майского переворота, когда широко распространяется легенда об «отце народа». Корни легенды Пилсудского, по их мнению, с которым трудно не согласиться, кроются в польских традициях. Современников Пилсудского поражал факт восстановления национальной государственности. Проще всего его было объяснить действиями выдающейся личности. В глазах многих поляков ею и стал Пилсудский, личность действительно незаурядная, что подтверждается всем материалом книги.

В качестве приложения в издание включены фрагменты книги польского писателя З. Залуского «Пути к достоверности» и «Дневника адъютанта Маршала Пилсудского» Мечислава Лепецкого. Фрагменты первой в целом мало что дают в сравнении с самой книгой Наленчей и к тому же требуют определенных коррективов. Отрывки же из дневника Лепецкого, напротив (и тут редакция права), помогают лучше понять образ мыслей и действий Пилсудского в конце его жизни.

Завершается издание послесловием кандидата исторических наук М. Н. Бобрик. Ею же составлены комментарии к тексту книги. К

сожалению, они не свободны от фактических ошибок и неточностей. Автор их опшибается, утверждая, что в 1385 году Литва вошла в состав Речи Посполитой. Это название утвердилось только в XVI веке, когда великое княжество Литовское и Польское королевство подписали Люблинскую унию. Роман Г Сенкевича «Потоп» состоит не из шести томов, а из трех частей. Вряд ли стоило в примечаниях называть ПСЛ народной партией, если в тексте книги она правильно именуется крестьянской. В Кракове на Вавеле в склепах кафедрального собора находятся не надгробия, а гробницы. Зыгмунт — это не часы на здании ратуши на Вавеле, а самый большой в Польше колокол, отлитый в 1520 году по повелению польского короля Сигизмунда I, находящийся на Зыгмунтовской башне. Ошибочно австро-германский акт 1916 года приписан царскому правительству, переводчики также неверно именуют этот акт царскими указами, хотя выше в тексте книги говорится о том, кто обнаружил данный акт и с какой целью это

делалось. Р. Трауггут не был генералом царской армии, выйдя из нее в отставку в чине подполковника. И т. д.

Оставляет желать лучшего и редакция перевода. Вызывает, в частности, сомнение отход от принятых в нашей литературе и давно устоявшихся транскрипций географических наименований (Хоролдо вместо Городло, Сморгоне вместо Сморгонь, река Вепша вместо Вепш), польских имен и фамилий (Халлер вместо Галлер, Казимеж вместо Казимир), употребление таких словосочетаний, как «государство царей» (вместо «царская Россия»), забвение того, что все польские фамилии и названия склоняются.

Замечания наши касаются главным образом комментариев. Содержание самой книги свидетельствует о том, что перед нами, как констатирует автор послесловия, серьезная и добротная историческая публицистика.

**И. СОЗИН,**  
кандидат исторических наук.

Читайте в 1992 году:

**НАТАЛИ САРРОТ**

Дар речи

*Jch sterbe* Что это? Немецкие слова. Они значат «я умираю». Но откуда это? Почему вдруг? Сейчас узнаете, потерпите немного. Они явились издалека, они пришли (как мы говорим, «мне пришло на память») из начала века, из немецкого курортного городка. Но на самом деле из областей куда более далеких... Однако не будем спешить, отправимся сначала туда, куда ближе. То есть в начало века — в 1904 год, чтобы быть точными, — в гостиничный номер немецкого курорта, где приподнялся на постели умирающий. Он был русский. Вам знакомо его имя: Чехов, Антон Чехов. Он был прославленным писателем, но в данном случае это не важно — можете не сомневаться, он не имел намерения оставить нам на память знаменитое предсмертное изречение. Нет, только не он, это было совсем не в его духе. Его слава имеет для нас лишь то значение, что благодаря ей эти слова не пропали, как пропали бы, будь они произнесены каким-нибудь заурядным умирающим. Но этим и ограничивается ее значение. Есть другая важная деталь. Чехов, вы ведь знаете, был врачом. Он болел туберкулезом и приехал сюда, в этот курортный городок, лечиться, но на самом деле (как он признался друзьям с неизменной своей иронией по отношению к себе, с той беспощадной скромностью и смирением, которые, как мы знаем были ему свойственны) — чтобы «подохнуть». «Еду туда подыхать», — сказал он им. И так, он был врачом и в последнюю свою минуту, когда у его постели стояли по одну сторону жена, по другую врач-немец, он приподнялся, сел и сказал — не по-русски, не на своем родном языке, а на языке другого, на немецком, — сказал громко и четко: «*Jch sterbe*». И упал на подушки мертвый.

И вот эти слова, произнесенные на этой кровати, в этом гостиничном номере три четверти века назад, вдруг являются... каким ветром их занесло?.. и опускаются здесь... маленькие угольки... черня, прожигая белую страницу...

*Перевела с французского*  
**ИРИНА КУЗНЕЦОВА.**

## КОРОТКО О КНИГАХ

\*

**Б. И. КАЗАКОВ.** Исхак Савельевич Мустафин. 1908 — 1968. М. «Наука». 1990. 128 стр.

Биографическая литература и жизнь замечательных людей всегда вызывают большой интерес у читателей всех возрастов. Молодые читатели ищут в ней, «делать жизнь с кого», а биография для ответа на этот вопрос убедительнее произвольного рассказа. Умудренные же опытом читатели проверяют по ней свою жизнь или погружаются в атмосферу своей юности. Молодых и старых интересуют также яркие идеи и уникальные инструменты научных исследований, способы достижения успеха в научном поиске, когда речь в такого рода книгах идет об ученых, изобретателях, первооткрывателях.

К сожалению, наша научно-биографическая литература традиционно слаба и по объему и по содержанию, хотя уже довольно давно существует специальный Институт истории естествознания, науки и техники Академии наук СССР, который время от времени создает книги научно-биографической серии. Специфические условия жизни в послектябрьский период привели к ограничению выбора возможных героев таких биографических публикаций и к существованию иерархических ранжиров достоинств ученых, в значительной степени основывающихся на их служебном или общественном положении. Между тем во многих старых, и в особенности во вновь создаваемых, научных центрах нашей страны росла и творилась наука, ширилось и эволюционировало современное народное образование, хотя известный разрыв в материальном и кадровом оснащении столичных и периферийных научных учреждений, учебных заведений, естественно, сохранялся.

Между тем в научно-биографической литературе такие периферийные ученые почти совсем не представлены. Отрадным исключением в этом смысле является недавно вышедшая книга Б. Казакова «Исхак Савельевич Мустафин. 1908 — 1968». Она один из редких пока вкладов в научно-художественную историографию советской химической науки. Научной эту биографию делает содержательное изложение трудов профессора Саратовского университета И. С. Мустафина в областях биогеохимии, аналитической химии и истории химической науки.

Автор описывает далекое татарское село Пензенской губернии, семью батрака Салеха Мустафина, в зимнее время уходившего в Саратов на работу по ремонту судов в речном порту. В 1918 году семья Мустафиных переезжает в Саратов, где Салех получает место кадрового рабочего Волжского пароходства. В

1920 году в том же затоне двенадцатилетний сын Салеха Исхак становится рабочим-котло-чистом. Он учит русский язык, поступает в судомеханическую профшколу, становится квалифицированным слесарем-наладчиком, переносит тяжелый голод Поволжья в 1921 году. В кружке Осоавиахима Исхак Мустафин впервые знакомится с химией, затем в 1928 году поступает на вечернее отделение открывшегося в Саратове рабфака, а в 1931 году он уже студент химического факультета Саратовского университета. Студентом И. С. Мустафин начинает научную работу под руководством высланного из Ленинграда в 1934 году крупного ученого профессора Н. А. Орлова. Впоследствии научный руководитель И. С. Мустафина был арестован и расстрелян как «враг народа». Мустафина исключают из партии за сотрудничество с «врагом», ему грозят серьезные неприятности. Но 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, а 24 июня Мустафин уже прибыл в район Гомеля для прохождения службы в отдельном батальоне химической защиты 21-й армии Западного фронта.

...Только в августе 1945 года он демобилизовался и возвратился в родной университет. В 1946 году И. С. Мустафин защитил диссертацию и увлекся новыми научными проблемами в области аналитической химии.

С 1955 года он возглавляет кафедру аналитической химии Саратовского университета имени Н. Г. Чернышевского, а в 1959 году защищает докторскую диссертацию. Руководимая Мустафиным кафедра становится научным центром наиболее актуальных направлений развития аналитической химии. Тесно связываются здесь теоретические научные исследования с прикладными работами общесоюзного значения и с передовыми направлениями химической педагогики. Мустафин как глава школы ведет и большую организационную работу. Но в разгар всей этой многогранной интенсивной деятельности профессор И. С. Мустафин в конце 1968 года умирает.

Нам знакомы имена многих настоящих ученых, которые выбирают себе одно из узких направлений науки, добросовестно и вдохновенно работают в нем. И все же новые пути в науке прокладывают ученые другого склада — ученые-энциклопедисты, способные охватить в своем творчестве различные научные области и направления. Именно к числу таких людей принадлежал И. С. Мустафин, который удачно решал проблемы органической химии, биогеохимии, аналитической химии и философии науки. Во всех этих направлениях его интересовали коренные вопросы: если органическая химия — то синтез новых и важ-

нейших соединений, если биогеохимия — то вопрос о происхождении топливных материалов (угля и нефти), если аналитическая химия — то поиск закономерностей в применении органических реагентов в неорганическом анализе, построение систем оценки чувствительности аналитических реакций, создание широких представлений о закономерностях выбора реагентов для определения почти всех элементов периодической системы Д. И. Менделеева.

Монография Б. Казакова написана ярко, живо, научно вполне квалифицированно. Я не знаю, химик ли автор по образованию, но он знает то, о чем пишет.

**Юрий Клячко,**  
*доктор химических наук, профессор.*

\*

**УРМАС ОТТ. Вопрос + ответ = интервью.**  
**М. «Московский рабочий». 1991. 381 стр.**

Эта книга, пожалуй, одна из самых интересных журналистских новинок нынешнего литературного сезона. Единственный ее недостаток — неудачное заглавие, длинное и несурзающее, смахивающее больше на математический пример.

Урмас Отт, журналист Эстонского телевидения, вошел в наши дома неожиданно, как бы извне, словно инопланетянин. Но возникнув однажды на экранах наших телевизоров со своим «Телевизионным знакомством» (кажется, это была беседа с Л. Гурченко), он прочно поселился во многих умах и сердцах. Собеседниками У. Отта всегда оказывались интереснейшие люди: Ирина Роднина, Алиса Фрейндлих, Марис Лиепа, Родион Щедрин, Святослав Федоров... — люди из мира науки, культуры, спорта, искусства, театра. Это было именно знакомство со знаменитостями, когда телевидение с помощью вездесущего блестящего репортера как бы запросто входило в дом, в мир известных и уважаемых людей, позволяя нам побыть с ними наедине, вслушаться в тембр их голоса, взглядеться в их лица, вдуматься в смысл сказанного ими, может быть, извлечь из такого общения определенный урок.

Да, Урмас Отт — обаятельный и остроумный собеседник. Он умело владеет труднейшим искусством вести и поддерживать живой, непринужденный разговор с людьми разных темпераментов, склонностей, характера. За те час-полтора, которые Урмас Отт беседовал с очередной знаменитостью, мы и впрямь успевали познакомиться с нею, узнав ее и с чисто житейской и с профессиональной стороны.

Отдельные проколы в программах Урмаса Отта лишь помогают понять, сколь трудно само искусство интервью. А жанр телеинтервью обладает и рядом специфических сложностей. Все происходит прямо на глазах у миллионов зрителей, и каждый фиксирует малейшую накладку, заминку журналиста, который часто лишен возможности вырезать неудачный кусок, перемонтировать текст, поскольку это, как правило, прямой эфир, и т. п. Так что формула «вопрос + ответ = интервью» — еще

никак не гарант удачи, и многое здесь зависит от тысячи случайных, часто ничтожных факторов.

Кажется, О. Уайльд как-то заметил, что любой портрет, выполненный рукой художника, это прежде всего его автопортрет. В известной мере каждая новая телебеседа У. Отта — это еще одно знакомство с ним самим. Любая такая встреча открывает нам новые грани и его профессионального мастера. То он блеснет точностью блицвопроса, то поразит знанием узкоспецифических тонкостей труда своего собеседника (например, в разговоре с композитором Р. Щедриным), а иной раз даже шокирует нас своей настырностью, вторгаясь в сферу чисто личной жизни кинозвезды (как это было в интервью с А. Фрейндлих).

Но проходит несколько минут, беседа постепенно возвращается в нормальное русло — и понимаешь, что У. Отт допустил вовсе не бестактность. Он скорее как бы нажимает на разные клавиши в душе собеседника (не забудем, что и сам журналист на наших глазах впервые беседует с очередной знаменитостью), чтобы лучше и глубже постичь его натуру. При этом он вынужден идти на риск, часто руководствуясь только интуицией. Один неверный шаг — и пиши пропало: его собеседник замкнется в себе, беседа утратит живость, непринужденность...

Признаться, я взялся за книгу У. Отта с некоторой опаской. Меня восхищает его умение вести телеинтервью. И хотя у нас сейчас немало мастеров этого жанра, У. Отт со своим «Телевизионным знакомством» занял свое, совершенно особое место. А тут возникли понятные опасения, что телеинтервью во многом проиграет, сухо изложенное на книжных страничках, в отрыве от двух реальных, объемных, непринужденно разговаривающих на малом экране собеседников.

Впрочем, подобные опасения оказались напрасными. Во-первых, У. Отт не просто механически свел свои интервью под одну обложку. Из тридцати с лишним бесед он отобрал меньше десятка, снабдив их своими ремарками и своеобразными авторскими отступлениями-комментариями, которые, как правило, фиксируют нечто существенное и важное, оставшееся в свое время за кадром самого телеинтервью.

Надо заметить, что в этих комментариях У. Отт бывает предельно откровенен, анализируя свои чисто профессиональные просчеты в той или иной телебеседе. Он, в частности, подробно разбирает причину своего срыва в разговоре с актером Е. Евстигнеевым: репортер усматривает его в известной легковесности некоторых собственных вопросов и т. д.

Перечитывая интервью У. Отта, собранные в книге, ощущаешь и другое. Первоначально, видимо, весь этот цикл задумывался как своего рода зрелищно-развлекательная программа. Об этом говорит и сам У. Отт: «Телезнакомство» — разговорная передача. На Западе такие передачи называют talk show. Люди, возвратившись домой после трудового дня, расслабившись, уютно устроились подле телеэкрана и с любовью внимают этакому светскому разговору двух интересных собеседников, в котором называются громкие имена,

мелькают кадры из памятных кинолент, звучат популярные мелодии.

Но постепенно характер этих передач, думается, понемногу начал меняться. Беседы обрели большую масштабность, глубину, социальную остроту. Возможно, потому, что менялось, ужесточалось само время, но и собеседники Урмаса Отта невольно тянули на такую дополнительную весомость и значительность обсуждаемых вопросов. Беседы теряли светскость, превращаясь, как правило, в серьезный разговор о нашей сегодняшней действительности с ее нелегкими экономическими, политическими и чисто житейскими проблемами. Да и тексты некоторых ранних телебесед перечитываешь теперь с иным чувством, как, скажем, разговор с замечательным танцовщиком Марисом Лиепой. Перечитываешь этот диалог с болью не только от сознания безвременной кончины великолепного мастера (ведь он умер вскоре после этого последнего в его жизни телеинтервью). Просто скоропостижная утрата такого человека, отлученного руководством Большого театра от любимого дела, от коллектива, четче высветила всю трагичность последних лет его жизни.

Удивительно слышать из уст самих прославленных собеседников Урмаса Отта, как мало ценят у нас подлинные таланты. Разве не дико, к примеру, узнать из скупого рассказа И. Родниной, что после третьей олимпийской медали Госкомспорт буквально выбросил на улицу знаменитую спортсменку, стоило ей оставить ледяную арену. А вот не менее «впечатляющее» свидетельство Р. Щедрина: «Я помню, когда у Шостаковича умерла жена Нина Васильевна — а умерла она в Армении, она там работала на горе Арагац, она была физиком,— то у него не было денег, чтобы купить цинковый гроб и привезти ее в Москву. И композиторы просто сложились и купили на свои деньги этот гроб. Великий Шостакович...» Только и остается вслед за интервьюером воскликнуть: «Фантастика!»

Словом, вовсе не светские беседы получились у Урмаса Отта. Но тем они, пожалуй, и сильны, собранные ныне под одним переплетом. Знакомство с героями его передач, таким образом, продолжится на книжных страницах.

С. Ларин.



## РУССКАЯ КНИГА ЗА РУБЕЖОМ

\*

**ФЕДОР СОЛОГУБ.** Неизданное и несобранное (сост. Г. Пауэр). München. Verlag Otto Sagner. 1989.

Интерес к архивным источникам по истории литературы явился результатом осознания того, что без них литературоведение обречено на неустраняемую произвольность. Составленный Г. Пауэр сборник имеет своей целью дополнить читательское представление о раннем творчестве Ф. Сологуба тремя сотнями затерянных в периодике и вовсе не опубликованных стихотворений. Основу книги составляет практически исчерпывающий свод поэтических произведений, отложившихся в московской части архива Сологуба (ЦГАЛИ). Исследователю, пожелавшему сличить опубликованный Г. Пауэр архивный корпус с прижизненными публикациями поэта или дать к стихам Сологуба развернутый комментарий, несомненно, поможет тщательность проделанной составительницей работы. Для тех же, кому необязательно вникать в текстологические тонкости, сборник открывает в Сологубе много нового и неожиданного.

**АЛЕКСАНДРУ МОИСЕЕВИЧУ ПЯТИГОРСКОМУ К ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЮ.** Wiener Slawistischer Almanach. Band 23. Wien, 1989.

А. М. Пятигорский (род. 1929) — «известный специалист по истории культуры, философии и религии древней Индии» (см. интервью с ним в № 5 журнала «Вопросы философии» за 1990 г.), преподающий ныне в Лондонском университете. Особенность творческой манеры Пятигорского — его подлинной философичности (в противовес культуроцентризму), пронизывающей даже прозаические опыты (роман «Философия одного переулочка», 1989). Лишенный чопорной восторженности, сборник объединяет в себе и академичные индологические исследования (В. Н. Топоров, А. Я. Сыркин), неизменно, впрочем, обращенные к русской истории, и иронично-пародийную литературоведческую прозу (А. К. Жолковский, И. Померанцев). Впрочем, печать постмодернистской раскованности лежит и на других материалах сборника, сочетающих в себе культурологию и мемуарность (Б. М. Гаспаров, М. Б. Мейлах, Б. Гройс, И. П. Смирнов, Н. Я. Эйдельман). Завершается сборник шуливо-самоуничижительным «Комментарием к избранной автобиографии» самого А. М. Пятигорского.

**ИЦХАК БАШЕВИС-ЗИНГЕР.** Гаснущие огни. Перевод с английского и предисловие Н. Рубинштейн. Иерусалим. Библиотека — Алия. 1990.

**ИЦХАК БАШЕВИС-ЗИНГЕР.** Сборник рассказов. Перевод с английского Ю. Винер, Ю. Миллера. Предисловие Х. Турьянской. Иерусалим. Библиотека — Алия. 1990.

И. Башевис-Зингер (1904 — 1991) — классик израильской литературы, лауреат Нобелевской премии, развивавший ныне почти утраченную традицию еврейской литературы на идиш. Книги, изданные молодежной серией издательства «Библиотека — Алия», призваны донести до русского читателя уникальность писательского дара И. Башевис-Зингера. Книги снабжены реальными комментариями, помогающими читателю ориентироваться в событиях древней и новой истории, наполняющих собой многослойную прозу видного еврейского писателя.

**БОРИС БОЖНЕВ.** Собрание стихотворений в 2-х тт. Под редакцией Л. Флейшмана. Беркли. Berkeley Slavic Specialities. 1987 — 1989.

Литературная судьба Б. Б. Божнева (1898 — 1969) типична для поколения русских поэтов, заявивших о себе лишь в эмиграции. Рассеивание поначалу тесной литературной среды «русского Парижа» привело к тому, что поэзия Божнева с конца 30-х гг. адресовалась лишь ближайшим друзьям. В подготовленном Л. С. Флейшманом собрании стихотворений представлены все напечатанные при жизни поэтические произведения, а также ряд неопубликованных текстов. Издание снабжено подробным комментарием и краткой вступительной заметкой, намечающей контуры биографии Бориса Божнева.

**В. Н. ТОПОРОВ.** Неомифологизм в русской литературе начала XX века. Роман А. А. Кондратьева «На берегах Ярины». Тренто. Edizioni Michael Yevzlin. 1990.

Важнейшим для изучения целого пласта поэтического сознания XX в. исследователь считает понятие неомифологизма — «потребности найти «подлинный», нехрестоматийный и неархеологический образ русского язычества и — шире — русской старины». Среди писателей, ощущавших эту потребность, автор книги выбирает для подробного исследования не тех, чье творчество уже в достаточной степени изучено (А. Белый, В. И. Иванов, А. М. Ремизов) или по крайней мере известно (С. М. Городецкий); основное внимание уделено творчеству забытых ныне поэтов — А. А. Кондратьева (1876 — 1967) и его предшественника в мифологической поэзии графа П. Д. Бутурлина (1859 — 1894). Так неожиданная постановка вопроса вызывает к новой жизни творчество тех, кто был несправедливо отнесен в литературе на второй (если не на третий) план.

**АЛЕКСАНДР ТУФАНОВ.** Ушкуйники (сост. Ж.-Ф. Жаккар и Т. Никольская). Беркли. Berkeley Slavic Specialities. 1991.

Если неомифологическая литература стремится к воскрешению глубинных структур поэтического сознания, то неоархаизм ищет опоры в конкретных языковых фактах древности, будь то «Слово о полку Игореве» или древнерусский фольклор. Чтобы показать, что «заумной» поэзией Туфанова руководили не беспочвенные фантазии, а серьезные лингвопоэтические штудии, составители дополнили основной публикуемый текст — «фрагменты поэмы» «Ушкуйники» — теоретическими статьями Туфанова. Этой же цели служат предисловие и послесловие к книге, воссоздающие биографический (Ж.-Ф. Жаккар) и культурологический (Т. Л. Никольская) контекст туфановского творчества.

**СВЕТЛАНА ЕЛЬНИЦКАЯ.** Поэтический мир Цветаевой (конфликт лирического героя и действительности). Wiener Slawistischer Almanach. Sonderband 30. Wien, 1990.

Структуралистское исследование основных мотивов поэзии М. И. Цветаевой — своего рода корректировка художественно-мемуарной тенденции в изучении ее творчества. При этом книга Ельницкой отличается той напряженной эмоциональностью, которая характерна для современного цветаведения. Главная проблематика работы — противоречивые взаимоот-



ношения поэта и создаваемого им поэтического мира, порождающие, по мнению исследовательницы, глубокую дисгармоничность поэтического самоощущения Цветаевой.

**В. В. ЕРОФЕЕВ.** Найти в человеке человека (Достоевский и экзистенциализм). Бенсон. Chalidze Publications. 1991.

В центре исследования — проблема гуманизма в мировоззрении Ф. М. Достоевского, Ж.-П. Сартра и А. Камю. Вопреки напрашивающейся схеме автор избегает торопливого отождествления позиций; по

его словам, «исходя из общего положения о недостаточности, «необоснованности», условно говоря, «рениссансного» гуманизма, Достоевский и экзистенциалисты сделали из него противоположные выводы». В приложении к книге помещен фрагмент письма Г. Марсея В. В. Ерофееву от 16 ноября 1972 г., иллюстрирующий основные положения книги документальными свидетельствами.

Составитель **К. Ю. Постоутенко.**

Читайте в «Новом мире» в 1992 году:

**АРМАНДО ВАЛЬЯДАРЭС**

С надеждой в сердце...

Перевод с испанского. Вступительное слово В. Селонина.

Автобиографическая книга известного кубинского диссидента о кастровских тюрьмах.

Редакция рукописи не рецензирует.

Рукописи объемом менее 2 п. л. авторам не возвращаются.

Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати».

Главный редактор **С. П. Залыгин**

Редакционная коллегия:

**В. П. Астафьев, А. Г. Битов, В. М. Борисов** (зам. главного редактора),  
**А. В. Василевский** (ответственный секретарь), **Ф. К. Видрашку, Д. А. Гранин,**  
**В. А. Костров, Д. С. Лихачев, П. А. Николаев, В. Ю. Потапов** (зам. главного редактора),  
**И. Б. Роднянская, В. И. Селюнин, М. В. Тимофеева,**  
**Е. Л. Храмов, М. О. Чудакова, О. Г. Чухонцев**

Технический редактор **А. Гинзбург**

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 21.08.91 г. Подписано к печати 21.10.91 г. Компьютерный оригинал-макет изготовлен в Издательском центре «Новый мир». Формат бумаги 70 × 108/16. Бумага кн.-журн. Высокая печать. Объем 16 п. л. (23,8 усл. печ. л., 24,0 усл. кр.-отт.). 28,02 уч.-изд. л.

Тираж 250.000 экз. Зак. 4804. Цена 4 р. 70 к.

При участии издательства "Известия Советов народных депутатов СССР".  
103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

Негативы изготовлены в редакции газеты "Курортный вестник".  
Отпечатано в ордена Трудового Красного Знамени типографии "Известий Советов народных депутатов СССР" имени И. И. Скворцова-Степанова. 103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

# **RUSSIAN BOOKS** **Russische Bücher** **LIVRES RUSSES** **РУССКИЕ КНИГИ**

ЛИТЕРАТУРА ИСТОРИЯ БОГОСЛОВ  
ИЕ ФИЛОСОФИЯ ПОЭЗИЯ БОГОСЛОВ  
ИЕ НАУКА ПОЛИТИКА ЛИТЕРАТУРА  
ИСТОРИЯ БОГОСЛОВИЕ ФИЛОСО  
ФИЯ ПОЭЗИЯ БОГОСЛОВИЕ НАУКА  
ПОЛИТИКА ЛИТЕРАТУРА ИСТОРИЯ  
БОГОСЛОВИЕ ФИЛОСОФИЯ ПОЭЗИ  
Я БОГОСЛОВИЕ НАУКА ПОЛИТИКА  
ЛИТЕРАТУРА ИСТОРИЯ БОГОСЛОВ  
ИЕ ФИЛОСОФИЯ ПОЭЗИЯ БОГОСЛОВ  
ИЕ НАУКА ПОЛИТИКА ЛИТЕРАТУРА  
ИСТОРИЯ БОГОСЛОВИЕ ФИЛОСО  
ФИЯ ПОЭЗИЯ БОГОСЛОВИЕ НАУКА  
ПОЛИТИКА ЛИТЕРАТУРА ИСТОРИЯ  
БОГОСЛОВИЕ ФИЛОСОФИЯ ПОЭЗИ  
Я БОГОСЛОВИЕ НАУКА ПОЛИТИКА  
ЛИТЕРАТУРА ИСТОРИЯ БОГОСЛОВ  
ИЕ ФИЛОСОФИЯ ПОЭЗИЯ БОГОСЛОВ  
ИЕ НАУКА ПОЛИТИКА ЛИТЕРАТУРА  
ИСТОРИЯ БОГОСЛОВИЕ ФИЛОСО  
ФИЯ ПОЭЗИЯ БОГОСЛОВИЕ НАУКА  
ПОЛИТИКА ЛИТЕРАТУРА ИСТОРИЯ

почтой — to order — à commander:

## **A. NEIMANIS**

Kataloge — каталоги

## **A. NEIMANIS**

Издательство

Книготорговля

Агентство по охране авторских прав

A. Neimanis Buchvertrieb & Verlag

Hans-Sachs-Str. 10, 8000 München 5,

Germany Tel: 089/26 30 76, FAX 26 30 77